
В. ДЮБИН
анка

Героическому Ленинскому комсомолу посвящаю.

Автор.


ДОН

ВАСИЛИЙ ДЮБИН

АНКА

ТРИЛОГИЯ

Издательство „Картя молдовеняскэ"
Кишинев * 1972

Художник Г. Остапенко

КНИГА ПЕРВАЯ



Бронзовая коса

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В иссиня-голубом небе золотистой камбалой величаво плавала луна. На белесой равнине окоченевшего зябкого моря черно́ маячили рыбацкие шалаши. В лунном половодье они казались огромными папахами, разбросанными по ледяному простору.

Шалаш рыбака Григория Васильева находился ближе других к берегу. Григорий и его жена Дарья лежали в шалаше на соломенном тюфяке, тесно прижавшись друг к другу под овчинной шубой. Они слышали, как их лошадь, стоя в затишке у саней, хрустко пережевывала душистое сено и как усиливались удары северного ветра по камышовому шалашу. Григорий спрашивал жену:

— Не холодно тебе?

— Нет, нет, Гриша, мне тёпленько возле тебя,— и высунув из-под шубы голову, она чутко прислушалась.

Лошадь перестала жевать сено и несколько раз ударила ко-

пытом по звонкому льду. Дарья привстала и насторожилась, схватив мужа за руку...

Григорий успокаивал жену:

— Дашенька, не тревожься.

— Гудит лед...

— Конь копытом стукотит.

— О чем и толкую... конь забеспокоился. Боюсь, на крыге унесет. Уедем, Гришенька. Ломай перетяги да запрягай коня.

Но Григорий решил остаться еще на одну ночь. Он погладил руку жены, уверенно сказал:

— Мерещится тебе. Не унесет... Завтра поутру уедем.

Она покорно согласилась.

Григорий снял с себя винцараду, укутал жене ноги и вышел из шалаша в одном полушубке.

— Продует тебя, — крикнула вслед Дарья.

— Ничего.

— А собрался куда?

— Сетки трусить.

— Я помогу.

— С Павлушкой управлюсь.

И, согреваясь взмахами рук, он побежал вокруг саней, у которых стояла на привязи лошадь.

Рядом находилась стоянка молодого Белгородцева. Отец его остался дома, готовился к весенней путине, и Павел выехал один. Григорий бросил лошади охапку сена, окликнул Павла. Возле саней зашевелился черный ком, потянулся вверх высокой тенью.

— Иду, дядя...

Белгородцев в движениях был неуклюж, медлителен и шел не спеша. Приблизившись, остановился, закурил цигарку. В бледной вспышке огня перезрелыми вишнями сверкнули зрачки маленьких глаз на бронзовом лице. Из-под заячьей ушанки выбивался клок черных волос, кольцами скатывался по крутому лбу к переносице. Павел смачно сосал цигарку, клубами выпуская изо рта сизый дым.

Из шалаша доносился глухой кашель Дарьи.

— Вот еще грех, — вздохнул Григорий. — Поехала, а теперь бухикает. — Он достал из саней топор. — Сетки потрусим?

Павел утвердительно кивнул головой.

Они захватили восьмиметровый деревянный шест, корзины и направились к ополони.

Григорий перевязал себя поперек веревкой, а другой конец отдал Павлу.

— Держи крепче.

Взяв топор, он опустился на четвереньки и пополз. Временами останавливался, пробовал лед. Возле большой проруби потюкал топором, крикнул:

— Лед надежный. Валяй, Павлуша!

Павел пустил по льду корзины, лег на брюхо и тоже пополз. Они перебрали сети, вытрусили два десятка чебаков и двух сомов. Григорий перевел потухший взгляд на черное пятно проруби.

— Мало. — Он отодвинул корзину, стал собирать чебаков. Возле него ползал Павел и привязывал к корзинам концы запасных веревок.

— Дядя Гриша! Может, еще поставим сети?

Григорий молчал.

— Гляди, на зорьке и наклюнется что...

Не дождавшись ответа, Павел надел на ноги бузлуки и потащил корзины к саням. Под ним гнулся, звенел лед.

— Погоди!

Павел вернулся, взял шест, стал прогонять подо льдом перетяги. Григорий ловил их в маленьких прорубях, проводил дальше.

Когда поставили сети, Павел спросил:

— А мои будем трусить?

— На заре перетрусим.

И они захрустели острыми бузлуками по хрупкому льду.

На стоянке Григорий высыпал рыбу, сердито отбросил корзину. Из шалаша вышла Дарья.

— Ни глазу, Дарьюшка. Дурной лов.

— Домой бы...

— Погоди. Может, на зорьке косяк подойдет. Жалко. Труда сколько положено.

Григорий повел взглядом и замер. В полукилометре от них бледно-розовым кустом расцветал костер. Видно было, как вокруг, словно прыгающие тени, метались люди.

«Сматываются», — подумал Григорий и вздрогнул: он услышал крик — будто крепкий удар кулаком под сердце:

— Васи-и-иле-э-э-эв!.. а-а-а-йся!..

Последнее слово не разобрал; бросил Дарье:

— Побегу узнаю!.. Чего они там...

Он бежал легко и быстро. Сердце прыгало в груди, словно рыбешка, запутавшаяся в сетях. Костер все ближе и ближе — будто сам плыл навстречу. Григорий уже видел, что рыбаки спешно сматывают сети, запрягают лошадей. И еще видел человека, который тоже бежал на костер с противоположной стороны.

— Куда ты?! — закричал Григорию дед Панюхай, сутулова-

тый старичок, повязанный поверх шапки теплым полушалком. — Сматывайся, говорят тебе!

— А что?

— Скорей, братцы... Лед пошел... — прохрипел подбежавший рыбак, падая в сани.— Четырех затерло крыгами... вместе с лошадьми...

Григорий подошел к саням.

— Видал, а? Что ж ты, чебак не курица, погибели себе пожелал? — набросился на него Панюхай.

— Где ваша стоянка была? — спросил Григорий рыбака.

— На третьей версте от вас.

Круто повернувшись, Григорий помчался к Дарье.

Услышав тревожные крики, Дарья и Павел выбрали сети, и когда Григорий подбежал, лошади уже стояли в упряжи. Ни слова не говоря, Григорий схватил топор, начал с ожесточением рубить лед. Сделав прорубь, погрузил в воду прогон и уперся им в дно моря. Край проруби медленно приблизился к прогону, тяжело налег на него.

— Тронулся... — тяжелым вздохом вырвалось у Григория. И в это мгновение по морю прокатился гул, похожий на отдаленный орудийный выстрел. Лед закачался, задрожал, резко затрещал винтовочным разнобоем.

— Гони, Паша! — И, прыгнув в сани, Григорий тронул лошадь. Он с остервенением сек ее кнутом, хлестал по крупу ременными вожжами. Сзади него кашляла Дарья, толкала в спину:

— Шибче, Гришенька, шибче! Опоздаем!

Брошенный рыбаками костер огненной птицей пронесся мимо, рассыпая искрящиеся перья. Лошади чуяли опасность и изо всех сил рвались вперед. Они храпели, вытягивали шеи, время от времени опережали одна другую. Но вдруг почти враз остановились и, вздыбившись, попятились. Впереди, метров пятьдесят в ширину, чернела полоса воды. Она заметно ширилась, вздувалась, плескалась беспокойными волнами о край льдины. Григорий соскочил с саней, застыл у полыньи.

— Вот еще грех... — прошептал он.

Справа по образовавшемуся каналу тесным косяком шли небольшие льдины. Они трещали, скрипели, взбирались одна на другую, соскальзывали и, звонко шлепаясь, ныряли в воду. Лошади, храпя и шарахаясь в стороны, молотили по льду копытами. По небу побежали темно-серые тучи, густо посыпался мелкий колючий снег.

Павел и Григорий проехали километра два вправо, потом влево и вернулись на старое места. Кругом была вода.

Луна садилась за ледяной горизонт. Ветер усиливался, менял направление, кружил снежную пыль. Дарья подошла к мужу, испуганно проговорила:

— Как же быть?...

Он обернулся и крикнул:

— Павлуша, я остаюсь с сетками и лошадью!

— Я тоже не брошу.

Григорий взял веревку.

— Идем, Дарьюшка.

Он повел ее к косяку льдин, перевязал поперек веревкой.

— Жарь по крыгам на ту сторону и беги домой. Скорей, пока не поздно. Будешь утопать, вызволю.

— Вместе пойдем. Брось все, Гриша.

— Нет, — жестко сказал Григорий и обнял жену. — Поцелуемся давай... Может... Знаешь сама, всяко бывает...Ну? — он поцеловал ее и почти столкнул на льдину. — Иди...

Дарья спрыгнула, зашаталась. Григорий попустил веревку.

— Смелее! Чего ты!..

Она перескочила на другую льдину и, взмахивая руками, пошла дальше. Григорий отдавал веревку, бросал ей вслед ободряющие слова:

— Ну, ну! Смелее! В случае чего — вызволю.

Она поскользнулась, упала на руки. В это время вздыбилась соседняя льдина, прижала ту, на которой находилась Дарья. У Дарьи подломились руки, и она шлепнулась в воду.

— Крепись, Дарьюшка! Жарь на руках! — закричал Григорий и тут же выругал себя. Он забыл дать ей бузлуки. Они облегчили бы Дарье трудный переход.

Льдина перевернулась, стала ребром. Дарья скатилась на другую, быстро поднялась и пошла.

— Вправо держи! Вправо!

Луна скрылась, и ледяной простор сковала темь. Из рук Григория выскользнул конец веревки. Он схватился за головку, задрожал от негодования: второпях взял самую короткую веревку. «Дойдет ли? Как теперь она?» — И принялся кричать до хрипоты. Но Дарья не откликалась. Он вернулся к лошадям, упал в сани и долго лежал безмолвно. Потом поднялся, махнул рукой.

— Поедем, Паша, к середке ближе. Там опаски меньше.

Они достигли угасающего костра, остановились. Григорий распряг лошадь, бросил ей сена. Когда он развернул брезент, чтобы соорудить шалаш, Павел уже развожжал свою лошадь, отпустил чересседельник и супонь. Вдруг сильный порыв вет-

ра вырвал из рук Григория брезент, захлопал им, поволок по льду. Пугливая лошадь Павла рванулась в сторону, Павел бросился следом. Ослабевшие гужи выпустили дугу, и лошадь сама собой распряглась, оставив сани у края полонии. Слышно было, как у нее хрустнули, проламываясь, передние ноги и она, хрипло простонав, легла на лед, вытянув шею. Тонкий лед не выдержал, затрещал. Лошадь судорожно забилась, замотала головой и погрузилась в воду.

Григорий встретил Павла, впрягшегося в сани, неподалеку от полонии. Бросив оглобли, Павел обхватил Григория, сильно потряс его и заплакал.

— Дядя!.. Звезда под лед пошла. Что скажет отец?

Григорий обнял его.

— Не беда. Дома другая кобыла есть. Чего ты...

Павел оглянулся, но ничего не увидел. Перед рассветом тьма плотнее жалась ко льду. Он взял оглобли и поволок сани. Григорий подталкивал сзади. Ветер дул им в лицо, задерживал, изматывал. Вскоре лед задрожал с такой силой, что они оба повалились. Опять пронесся гул, похожий на оглушительный взрыв. Кругом затрещало, заскрипело на все лады. У ног Павла огромной черной змеей пролегла трещина.

— Стой! Вода! — закричал Павел, подавая сани назад.

Когда Григорий подполз, он увидел уже не трещину, а канал метров в пятнадцать. На другой стороне, отрезанная водой, дико ржала его лошадь. Вскоре ее ржанье потонуло в гуле разбушевавшейся стихии. Их ледяной плот, грохоча и лопаясь, помчался, гонимый бурей. Григорий и Павел уцепились за сани и, сопротивляясь напору ветра, старались удержать их. Сани вдруг скользнули вперед, опрокинулись. Павел схватил две железные кошки, вонзил крючья в лед, привязал веревки к полозьям.

— Заякорил?.. — задыхаясь, спросил Григорий.

— Есть, дядя. Укрепил! — Он разыскал среди сеток бузлуки и пару передал Григорию.

— В руках держи. Надежнее так, — посоветовал Григорий.

Они легли под сани, укутались сетками. Павел пытался свернуть цигарку, но ветер рванул из рук кисет и бумагу, рассыпал табак.

— Брось, Павлуша. Не закуришь.— Григорий помолчал и добавил: — Тримунтан не даст...

Тримунтан — холодный, свирепый и самый опасный для рыбака ветер. Он стремительно налетает с севера, кромсает в куски лед и, кружа и сталкивая льдины, гонит их к Керченскому проливу. Он подхватывает огромные глыбы и разбрасывает их по сторонам

или, нагромождая, строит из них небоскребы. С быстротой полета птицы гонит он по морю целые громады льда и вдребезги разбивает их одна о другую. Он крапивой сечет по лицу, прожигает нестерпимой болью все тело, смешивает небо с морем, горячую кровь с холодной водой и мягкое тело с хрупким льдом. Он, подобно стае прожорливых мартынов, свирепо нападает на свою жертву и в мгновение уничтожает ее.

Тримунтан — неминуемая гибель.

Павел свернул кисет, сунул за пазуху. Плотную тьму пронизали огненные нити. Он протер варежками глаза, всмотрелся. И сейчас же мимо него пронеслись искрящиеся шарики, ударились об лед, рассыпались алыми снежинками, угасли.

«Костер рассыпался», — подумал Павел и невольно стал сравнивать с этими угасшими во тьме искрами свою жизнь. С тоской и болью подумал об отце, вспомнил покойную мать, потом перекрестился, ткнулся головой в сетки...

Григорий почувствовал себя неловко. «Вот грех... И как я брезент не удержал?» — Потянулся к Павлу, тронул за плечо:

— Паша... Павлушенька... Не слабь сердце. Крепись.

— Я ничего,— отозвался Павел, не поднимая головы.— Ты, дяденька, если уцелеешь, Анке скажешь... мол, завсегда она была у меня в думках... — и он хотел перекреститься.

Григорий схватил его за руку:

— Брось молиться. Ни к чему это. Пословица есть верная: «А кто бы им помог? — Конечно люди, а не бог». Так и нас, может, кто вызволит. Крепись, говорю.

Павел не слушал его. Он повернулся на спину, запел вполголоса:

— Мачты гнутся, сарты рвутся,
Отбило руль мне полосой...

Григорий ворочался, поджимал ноги, упираясь коленками в Павла, хлопал руками, стараясь не уснуть. Он чувствовал подбирающуюся к нему опасную теплынь. От нее млеют тело и кости и быстро клонит в глубокий непробудный сон, особенно голодного и усталого человека. А у него силы были на исходе. И подкрепиться нечем. Водка и продукты остались в санях, унесенных в море. Григорий двигался, нарочно толкал Павла, чтобы не дать ему уснуть.

— Ах ты, мать моя родная,
Зажги костер ты над горой,
Это будет мне приметой,
Я буду знать, где дом родной...—

сквозь зевоту пропел Павел и смолк.

Григорий потряс его за плечи:

— Паша, слышь, не спи. Замерзнешь.

— Мне тепло, дядя.

— То-то что тепло. Не спи, говорю. Светает. И ветер слабже стал.

Павел поднял голову, осмотрелся. Они плыли на льдине метров двести шириной — все, что осталось от четырехкилометровой громадины. Ветер налетал порывами, кружил их по морю. Павел снова вынул кисет, но, не успев развернуть его, широко раскрыл глаза. Навстречу белым медведем шла огромная льдина. Она ступенчато сходила вниз.

— Человек! — вскрикнул Павел, роняя кисет.

Григорий увидел размахивающего шапкой рыбака. Он стоял на предпоследней ступени и что-то кричал им. Когда льдина подошла вплотную, рыбак надел на голову шапку и прыгнул. Раздался оглушительный треск. Льдина, на которой находились Павел и Григорий, краем скользнула на первую ступень встречной. От нее откололся большой кусок, взлетел на воздух, ударив неизвестного в живот. Он взмахнул руками, переломился в поясе и, на мгновение повиснув на льдине, скатился в воду.

Льдины постояли в раздумье и разошлись. На том месте, где упал человек, медленно кружилась на воде черная лохматая шапка.

Григорий и Павел не могли определить направление ветра. Он гонял лед в разные стороны. На рассвете они шли на запад, а теперь, с наступлением дня, неизвестно куда. Кругом были вода и лед, берег не показывался. Они поставили сани, положили в них сети и брезент и укрепили кошками.

Григорий зарылся в сети, укрылся брезентом и вскоре захрапел. Павел тряс его изо всех сил, кричал то в одно, то в другое ухо, но разбудить не мог. Ветер опять усиливался, быстрее гнал льдину. Павел снял с Григория брезент, приподнял его голову лицом к ветру, потрепал за уши. Григорий не просыпался. Павел бросил его на лед и стал колотить. Вдруг его швырнуло на Григория, он перекувыркнулся и схватился за голову. Ему показалось, что над морем разразился гром, а его кто-то ударил с такой силой, что зазвенело в ушах. Он вскочил и замер от удивления. Впереди возвышалась ощетинившаяся груда льда, на которую наскочила их льдина. Резкий толчок сорвал с кошек сани, и они умчались в море. В полукилометре на острых гребнях льдин стояли люди, махая шапками, а за ними близко-близко чернела земля. Павел задыхался, не мог говорить. Он подбежал к Григорию и прохрипел:

— Берег. Берег видать. Пробудись, что ли!

Но Григорий не проснулся. Павел поднял его, вскинул на плечо и пошел. Он оступался, падал, карабкался по льдинам, но Григория не бросал. Голоса приближались, становились отчетливее. Павел пошел быстрее, ловко перескакивая с одной льдины на другую. Потом резко остановился и зашатался.

— Прямо. Прямо держись. Бечевку лови!

Павел не расслышал. У него захлопало в ушах. Ноги стали погружаться в воду, зябко занемело тело.

— Скачи на другую крыгу. Жарь ползком...

Он слышал крики, но ничего не понимал. Веки темной ночью опустились на глаза. И эту темноту вновь пронизали огненные нити. Ему показалось, что его подхватила разбушевавшаяся стихия, с невероятной быстротой понесла в черную холодную бездну.

Он качнулся и упал на другую льдину.

Первым пришел в себя Павел. Его напоили горячим чаем, покормили, и он уснул. Григорий очнулся позже, но больше не засыпал. Открыв глаза, осмотрелся и улыбнулся. Лежал он рядом с Павлом на земляном полу, в тесной хижинке с низким потолком. Посреди — столб, подпирающий толстую потолочную балку. Два маленьких окошечка. Деревянная кровать, почти голая, стол и две скамейки. Больше ничего он не заметил, кроме жарко полыхавшей печи. За столом сидели старик и старуха, упершись руками в подбородки.

— Очухался? — спросил старик.

— Да я-то что... Паренька жалко.

— Не жалкуй. Он крепче тебя. Водки дать? — и, не дожидаясь ответа, старик достал из-под скамьи литровку.

— У самого, видать, под ложечкой засосало, — проворчала старуха.

— Молчи. Бывал и я в погибелях. Знаю, как...

Григорий выпил полкружки, облизал усы и опять улыбнулся.

— Вдвоем?

— Бездетные.

— Я тоже из таких.

Старик выпил полную кружку, потом еще налил Григорию.

— Из какого поселка?

— Кумушкина Рая.

— А-а-а, кумураевцы... Знаю, знаю. — Григорий выпил еще водки, сказал: — Благодарствуем за привет и ласку, за хлеб-соль...

— На здоровьице, — поклонилась старуха.

— Далече мы от своего хутора, — вздохнул Григорий. — За день не дойдем.

— Оно, если прямо, морем, дошли бы. А то в обход придется.

Павел заворочался, проснулся. Старик налил и ему водки, но Григорий вступился:

— Табаком балуется, а водку не потребляет. — И к Павлу: — Видал? Кто нам помог? Люди, а не бог.

Павел молчал.

Утром следующего дня Григорий и Павел отправились в путь. Они прошли километров десять берегом и повернули в море.

Дул теплый южный ветер. С неба падали сырые хлопья снега. То и дело попадались полыньи, нужно было идти в обход. Кругом ни души. Только перед вечером показался их берег. Они почувствовали приток сил и ускорили шаг.

Неподалеку от берега маячила лошадь, впряженная в сани. Григорий и Павел пустились бегом. И чем ближе были сани, тем быстрее и легче бежали. Григорий даже опередил Павла. Было уже совсем близко, когда они наткнулись на широкую и длинную полынью. Возница, махнув им рукой, погнал лошадь рысью вдоль полыньи.

— Душегуб! — и Григорий послал ему вслед ругательство. — Чего ж он раньше не махнул нам? Опять крюк надо делать.

Держась подальше от полыньи, они пошли на северо-восток. А возница будто решил дразнить их: отъехал полкилометра, остановился, снова помахал.

— Потешается над бедой нашей, либо другое что? Как, Паша?

— Сдается, что кличет.

Недоверчиво пошли на зов. Когда приблизились, увидели замерзшую ополонь и закричали от радости. Григорий узнал возницу. Это был их хуторянин Егоров, выехавший на розыски. Павел бросился вперед, но Егоров остановил его:

— Провалишься. Принимай бечевки, — и бросил по льду камни, к которым были привязаны концы канатов. Другие концы привязал к саням. Павел крепко затянул на себе веревку. Глянул на Григория, и они легли на лед.

— Валяй! — махнул рукой Павел.

Егоров разгорячил лошадь, прыгнул в сани и погнал вскачь. Григорий и Павел на животах перемахнули через ополонь, вскочили и побежали к Егорову.

— Друг ты разболезный! — Григорий обнял его и поцеловал.
— Садись скорей. Конь не стоит.
— Погоди, Егоров...
— Дома Дарья. Дома. И кобыла, и сетки, все в цельности.
Григорий схватил Егорова за плечи и посмотрел на него засверкавшими глазами.
— Правду говоришь?
— Садись. А то смеркается. Приедем, поглядишь.
— Ладно...— и Григорий повалился в сани.
Когда отъехали, он тронул Егорова за плечо, нетерпеливо спросил:
— Как же спасли?
— Крыга за бугор зацепилась, что возле косы. Ну, и перетащили вброд. А тебя за пропащего посчитали.
— Сколько же пропало?
— С вами десять душ. А теперь будем считать восемь.
— Ну, а Дарьюшка что?
— От простуды жаром застрадала с нонешнего дня. Она же кобылу переводила вброд.
Больше ничего не спросил Григорий и всю дорогу молча до крови жевал губы. Дорога местами была талая, сани тяжело шли по грязи. В полночь въехали в хутор. Возле дома Павла Егоров остановился. Григорий обнял парня и сказал:
— Не слабь сердце, Павлуша...
— Да я ничего, дядя,— и понуро побрел во двор.
Егоров подвез Григория и вошел с ним в хижину. Григорий осторожно приоткрыл дверь и, пропустив Егорова, бесшумно закрыл ее за собой. Дарья лежала на кровати с мокрой тряпкой на лбу. На столе моргала керосиновая лампа. Увидев мужа, она приподнялась на локтях, сбросила со лба тряпку, вскочила с кровати.
— Гришенька! — и громко зарыдала.

II

В марте с юга теплыми потоками струится зюйд. Он прилетает от Керченского пролива и Тамани, горячей лаской пробуждает уснувшее на зиму мелководное Азовское море. День ото дня ширится у пролива ополонь. Зюйд крутит пенистые воды, крепко сжимает их в объятиях, давит ко дну и гонит подледным путем вверх. Воды шумно бунтуются, бьются заповедными косяками ры-

бы, упираются в лед. И когда лед, звонко щелкая, распускает хрупкие швы, с севера внезапно налетает свирепый Тримунтан. Он широким разворотом свинцовых туч заволакивает небо и яростно бросается на своего противника зюйда, преграждающего путь в теплые края. И горе зазевавшимся рыбакам, свидетелям жестокой схватки двух невидимых великанов Юга и Севера. За свою беспечность не один из них поплатился жизнью. Несколько дней длится поединок двух великанов. Они, как два голодных коршуна в борьбе за добычу, стремительно налетают друг на друга, взметая вокруг серебристый пух снега. Вихрем кружатся в небе, бьются об лед, оглушительными взрывами кромсают зимнюю броню моря, уносят на огромных льдинах в кипучую пучину смельчаков с лошадьми и рыболовными снастями. Бросают льдины от берега к берегу, сталкивают их, с грохотом и треском трут одну о другую, рассыпая по воде алмазную крошку льда. К вечеру, когда остывает солнце, Тримунтан подминает под себя противника, сгоняет в кучу крошево льда и жгучими заморозками кладет темно-синие заплаты на ополони, сызнова одевая море в ледяной панцирь. С наступлением дня солнце жадно сосет горячими лучами лед, распаривает швы. Зюйд полнится силами, крепнет и нападает яростней. И тогда обессиленный, с подбитыми и опаленными южным солнцем крыльями, Тримунтан уходит в холодные края — на север.

Минувшая зима была скупой и лютой. Рыбаки провели дурной лов. Днем и ночью ползали по льду, делали проруби, сыпали в них сети, проваливались на тонком льду ополоней, отмораживали руки и ноги, рисковали жизнью, — но рыба не шла. Все же рыбаки не покидали море, успокаивая себя надеждой, что нападут на косяк и хоть наполовину возместят потраченные труды и здоровье. Переходили с места на место, снова ставили сети и терпеливо ждали рассвета, греясь у костра. В половине марта метеорологическая станция оповестила все рыбацкие поселки о ледоходе. И вскоре рыбаки увидели засверкавшую на всю ночь макушку высокого кургана. Это горел костер — сигнал о приближающейся опасности. Они слышали изредка глухой треск и гул подо льдом, тревожились, ломали перетяги, но когда гул стихал — успокаивались, снова заводили прогонами сети под лед, садились возле костра, проклинали дурной лов и материли вдоль и поперек окоченевшее море.

Больше всех бранился Панюхай. В весеннюю, летнюю и осеннюю путины он дальше как за полтора километра от берега не выезжал. Боялся воды, не доверял морю. На льду он был не-

много смелее, но теперь, когда с берега просигналили о ледоходе, его обуял страх.

Рыбаки спешно собирались, запрягали лошадей. Панюхай поднял маленькое острое личико, понюхал воздух — за что и прозвали его на хуторе «Дед Панюхай»,— сощурил бесцветные глаза и в испуге прошептал:

— Господи, спаси и помилуй...

— Да вы кто, рыбалки или елки-палки? Чего мордуетесь? — закричал один рыбак, тряся бородой.

— Не видишь — чего?— отозвался другой, затягивая супонь. — Беда на носу. Кличут.

— Под носом у тебя беда, а не на носу. То бабы-поганки соскучились вот и запалили костер. Да пущай у меня борода скиснет, чтоб я на обман им дался. Не уеду, покуда сани рыбой не завалю,— и он зажал варежкой пышную бороду. Видя, что рыбаки все же собираются, подумал. «А ведь всерьез уматывают...» — и принялся было отвязывать лошадь, чтобы запрячь ее в сани.

— Может, погодим ночку? — раздался чей-то неуверенный голос. — Ветер легчает. Гляди, косяк подойдет.

— Чего глядеть! — крикнул бородач, бросая поводья. — Не один, а может, десять косяков уже подходят. Сыпь сетки, и ладно будет.

Ветер быстро стихал, погода налаживалась. Рыбаки успокоились, решили остаться и распрягли лошадей.

...В хуторе с каждым днем нарастала тревога. Две ночи жгли на кургане костер, а рыбаки не возвращались. Председатель сельсовета снарядил двух парней и послал к рыбакам с наказом — прекратить лов и вернуться домой. Но гонцы опоздали. Лед тронулся, и рыбаки были унесены бурей в море.

...Льдина ввинчивалась в жгучую крапивную темь, подхваченная бешеным Тримунтаном. Панюхай вслух прочитал молитву, закрыл лицо руками, упал на сани, громко зарыдал.

— Дитё ты мое... Дитё... И не простившись.... сгинем...

Рыбаки накинулись на него с бранью:

— Заткните ему рот кляпом... Расслюнявился, хрен старый...

— Дитё? А у нас кто, щенки, что ли?

— Чего беду накликаешь, богомол?!.. Рыбалка... — бросил кто-то с презрением.

К Панюхаю подполз молодой рыбак и, турсуча за плечи, прохрипел:

— Чего душу бередишь, страх разводишь?

— Сбрось его в море. Пущай сдохнет раньше он, а потом мы, — крикнул кто-то из темноты.

Панюхай вздрогнул, почувствовал, как у него от затылка до поясницы онемела кожа. Он вскочил, огляделся и побежал прочь. Вслед ему покатился злорадный хохот. Но вот он превратился в страшный гул, похожий на раскаты грома. Панюхая сшибло с ног и отбросило в сторону с такой силой, что у него захватило дыхание. Старик услышал, как шумно заплескалась вода, захрустел ломающийся лед, отчаянно закричали люди, и мгновенно все смолкло. На него навалилась какая-то тяжесть, придавила ко льду, и он лишился сознания...

Двенадцать суток не было никаких вестей о рыбаках. И все эти дни Анка выходила к морю, становилась у самого обрыва и подолгу смотрела в молчаливую даль. Ее зеленые глаза, похожие на морскую воду, глядели далеко и зорко, перескакивали с одной льдины на другую. Вон вдалеке — черное пятнышко, ей показалось, что оно двигается, что это живой человек. Она наклонилась над обрывом и застыла.

«Не отец ли?»

Надежда вспыхивала в тихой заводи глаз, слезы струились по щекам, прячась в уголках рта. Светло-пепельные брови, словно острые плавники краснорыбицы, то взлетали высоко на выпуклый лоб, то низко опускались на глаза. Но черное пятнышко приближалось, и глаза у Анки становились глубокими, холодными, плотно сжимались губы. Внизу, под обрывом, теснились льдины, словно рыбьи косяки собирались метать икру в заповедных водах. Они толкались одна о другую, становились ребром и хрустко ломались. Анка стояла в забытьи, смотрела вниз. Но вот она вскинула голову, обернулась. Налетевший с хутора ветер женским истошным криком хлестнул по ушам. Окинув море безнадежным взглядом, Анка побежала к хутору, путаясь в милицейской шинели. Крики летели ей навстречу от дома сельсовета. На повороте улицы столкнулась с двумя женщинами. Они вели, поддерживая, третью которая ломала руки и рвала на себе волосы. На спине у нее чайкой трепыхался белый платок с синими крапинками. Следом бежала гурьба вездесущих мальчишек.

— Что случилось?

— Муж не возвернулся. Утоп, — ответила одна из женшин.

К Анке подбежала маленькая девочка, дернула за рукав:

— Тётя. Тятя ваш возвернулся.

— Где он?

— В совете сидит.

Анка побежала в сельсовет.

Помещение было переполнено. За столом сидел председатель и по привычке дергал себя за крючковатый нос. На его голове топорщились взъерошенные черные волосы. Он прикрывал густыми ресницами единственный глаз и хмурился. Рядом ерзал на скамейке Панюхай в рваных теплых штанах и грязных валенках. У него были забинтованы обмороженные на льдине руки. Возле него плакали женщины. Одна из них, когда немного успокаивалась, всхлипывая, спрашивала одно и то же:

— Еще скажи. Как же они там?

Панюхай с трудом поднимал руку, мусолил глаза.

— А так же, как сказывал. Ну, понесло нас. Ну, обиды мне учиняли нехорошими словами. Ну...— он захлебнулся, помолчал.— В море хотели кинуть. Ну, я побёг от них. Упал, меня на другую крыгу шибануло, а их... стало быть...— он развел руками.

— И кричали?

— Кричали.

— Бога кликали?

— Не знаю.

Женщины разноголосо заплакали. Одна подбежала к председателю, застучала кулаком по столу:

— Как же так? Как же теперь? Ведь детей куча!

Председатель встал, подергал пальцами нос и еще больше нахмурился.

— Говорил я, граждане, наперёд страховаться надо было. Да разве ж вколотишь что разумное в голову нашему брату? Лучше пропьет деньги, но в дело — ни копейки. И себя и семью в несчастье сгублют. Вот и сигналили, ночами костер палили на кургане, видали, что кличем,— а пошли они с моря?

Председатель вытянул жилистую шею, пробежал по толпе красным, как у сазана, глазом. В углу вскрикнула девушка. Возле нее топтался Григорий. Он ловил ее руки, не давая биться головой об стену.

— Крепись, Евгенушка. Не надо так... Успокойся...

В это время вбежала Анка.

— Теперь круглая сирота,— шептали у двери женщины.

Анка догадалась, что отец Евгенушки погиб. Она бросала вокруг жадные взгляды, ища Панюхая, утонувшего в табачном дыму.

Но Панюхай увидел ее раньше.

— Анка!

Заметив отца, девушка заморгала длинными ресницами, прикусила губу. Дымная комната совета, и шумная толпа, и отец — все поплыло перед ее глазами.

— Анка... Что ж ты, чебак не курица...— задребезжал старческий голос, и Панюхай шатко пошел навстречу дочери.

III

Во второй половине восемнадцатого столетия крымские греки под давлением ханов Девлет-Гирея и Каплан-Гирея покинули родные места и переселились в Россию. Вывод греков из Крыма взял на себя митрополит Игнатий.

Испросив разрешение у Екатерины II на поселение в России, он привел двадцать тысяч греков на земли бывшего Запорожья. Через год Екатерина пожаловала Игнатию грамоту и утвердила план отведенных грекам земель на Азовском побережье. На правом берегу реки Кальмиус, у самого моря, Игнатий заложил первые камни в фундамент строящегося города Мариуполя и храма, а через шесть лет скончался. Его похоронили в храме на правой стороне в сидячем положении. Над гробницей повесили икону Григория-Победоносца, а позже, спустя несколько десятков лет, горожане укрепили мраморную доску с надписью:

Здесь покоится приснопамятный святитель Игнатий,
24-й митрополит Готфейский и Кефийский,
Местоблюститель Константинопольского
Патриарха в Крыму.
Оттуда увел греков в 1778 году
И, водворив в нашем округе,
Испросив для них высочайше
Привилегированную грамоту,
Скончался 16 февраля 1786года
И уцелевший доныне.

Позже на левом берегу реки Кальмиус, против города, были поселены донцы-некрасовцы[1].

---

[1] Некрасов — один из предводителей восстания крестьян и казачьей голытьбы на Дону в 1706—1707 гг., направленного против феодально-крепостнического гнета. Это восстание было подавлено царскими войсками. Некрасов собрал остатки восставших и ушел с ними в Турцию. Через сто с лишним лет потомки некрасовцев с разрешения царского правительства вернулись на родину.

Посредине реки, служившей границей между греческим городом и казачьим поселком, был укреплен обгорелый сруб высокого дерева. Так и в истории значится:

...там был укопан пень обгорелый
для знатья всякому своей границы.

Но пень не мог служить преградой для разгульной казачьей вольницы. Из года в год казаки переходили «границу», ловили в греческих водах рыбу, наводили свои порядки и всячески старались прибрать город к рукам. Казаками предводительствовал полковник Белгородцев[1].

Обиды, причиняемые казаками, греки обжаловали перед царем, и из Петербурга последовало распоряжение: полковника Белгородцева разжаловать, а казаков переселить в другие места.

Казаки разрушили свой поселок и разделились на две группы. Большинство ушло в донские степи, а остальные — берегом на северо-восток. Они шли, с короткими привалами, день и ночь. На рассвете остановились и разбили палатки на высоком обрывистом берегу моря. На юго-запад от обрыва тянулась узкая полоса песчаной отмели, похожая на вонзившуюся в море бронзовую стрелу. Она слегка загибалась вправо, образуя небольшой залив. В мае в заливе скоплялось такое множество рыбы на нерест, что казаки ловили ее руками, били веслами, глушили динамитом, рубили шашками увесистых белуг. Дальше переселенцы не пошли. Они построили на обрыве хутор в полсотни дворов, назвали его Бронзовой Косой и стали промышлять рыбой. Хутор постепенно расширялся, и ныне в нем насчитывалось до двухсот дворов.

В конце хутора стоит маленькая каменная хижина бедняка Григория Васильева, обнесенная вокруг дрекольем. У самого обрыва примостилась хижина Панюхая, такая же, как у Васильева. Через десять дворов — на высоком кирпичном фундаменте, замкнутый квадратом высокого частокола,— рубленый курень Тимофея Белгородцева, потомка разжалованного полковника. В молодости, будучи еще на реке Кальмиус, Тимофей Белгородцев влюбился в гречанку. Она была из рода Газадинова, потомка митрополита Игнатия. Когда Тимофей послал к ее родным сватов, те даже и не приняли их, заявив:

— Все казаки промышляют разбоем. Разве мы можем отдать свою дочь в жены разбойнику?

---

[1] Полковник Белгородцев был прислан на реку Кальмиус в 1854 г. для обороны Мариуполя во время обстрела города английским военным флотом.

Это было оскорблением. У Тимофея вскипела буйная казачья кровь. Он хотел с клинком ворваться в дом Газадиновых и по-своему решить вопрос женитьбы. Но девушка удержала Тимофея, пообещав сама уйти к нему.

— Тогда укради и грамоту,— сказал Тимофей.

— Зачем?

— Пригодится...

Все Газадиновы имели копию грамоты, которую царица пожаловала митрополиту, и гордились ею.

— Пригодится,— повторил Тимофей.— Грамота — это почет и уважение от людей. Шутишь ли, какого ты роду-племени! Укради всенепременно.

Девушка завладела драгоценной реликвией и ушла к Тимофею, навсегда покинув родительский дом.

Только через двадцать лет она родила Тимофею сына. Назвала его Павлом, воспитала в строгой набожности, научила греческому языку. Выезжая в город на богомолье, брала сына с собой. Приводила в церковь, ставила у гробницы Игнатия и заставляла подолгу молиться. Умирая, подозвала сына к себе и надела на шею маленькую сумочку на тонком гайтане, в которой хранилась копия грамоты.

Каждый год со всей округи в город съезжалось множество народу на поклонение «уцелевшему» митрополиту. Тимофей Белгородцев, хвастаясь происхождением жены, гордо заявлял всем, что в жилах его сына течет кровь священная, и часто напоминал об этом Павлу. Среди хуторян Тимофей пользовался уважением и в каждую путину, при выходе в море, избирался на время лова атаманом рыбацкой ватаги.

...Следующий небольшой куренек, плотно прижавшийся глухой стеной к частоколу двора Белгородцева,— бедняка Осипова, погибшего в море. В нем живут дочь покойного Евгенушка и секретарь сельсовета, он же и хуторской лекарь, Душин, сорокалетний холостяк.

Угловой кирпичный дом этого же ряда, с пятью большими комнатами — рыботорговца Урина. Появился Урин на хуторе в первые годы революции и за это время успел нажить недурное состояние.

Пересекающая улица заселена середняками. Она тянется к обрыву, поворачивает вправо и рассыпается по отлогому склону маленькими, наполовину вросшими в землю халупами сухопайщиков. Севернее, у взгорья, оторвавшись от хутора, стоит крошечный, с двумя комнатами, рубленый домик, принадлежавший ранее священнику. В нем живут заведующий клубом Зотов

и секретарь комсомольской организации Виталий Дубов. Рядом — обезглавленная церковь, переоборудованная бронзокосцами под клуб.

Случилось это так.

В девятнадцатом году, накануне отступления деникинской армии, белые праздновали временную и последнюю победу над одной из частей Красной Армии. Вокруг поселка и на берегу моря пять суток валялись трупы красноармейцев. Бронзокосцы обратились к священнику с просьбой «предать земле убиенных», но тот, служа изо дня в день молебны в честь победы «христолюбивого» деникинского воинства над «супостатами», отказал прихожанам:

— Собакам — собачья честь.

При наступлении Красной Армии священник ушел с белыми и больше не возвращался. В первые годы набожные бронзокосцы посылали ходоков в город к митрополиту и просили себе священнослужителя, но к ним никто не шел. А потом, молясь на дому, они постепенно отвыкли от церкви и вспоминали о ней только тогда, когда проходили мимо, лениво крестясь на покосившуюся колокольню. Ветхая, забытая прихожанами деревянная церковь грозила рухнуть. Комсомольцы решили переоборудовать ее под клуб и добились на это согласия хуторян. Они отремонтировали здание церкви своими силами, открыли клуб, приобрели мебель, пианино.

Правее сухопайщиков теснятся одноглазые, кривобокие, с длинными горбатыми трубами курени бедноты.

А внизу, под обрывом, моргая по вечерам крошечными окошечками, недремлющим сторожем, стерегущим заповедные воды, одиноко стоит у моря саманная халупа вдовца Кострюкова, председателя бронзокосского сельсовета.

IV

У восточного побережья на бронзовом якоре качался рассвет. В небе меркли янтарные звезды.

Потревоженная рассветом мартовская ночь чернокрылой птицей улетела на запад. Внизу, под обрывом, гусиным стадом проплывали вдоль берега светло-пепельные льдины. Все яснее становились очертания хутора, берега, и степь заволакивал горьковатый кизячный дым.

Урин неспокойно сидел на дрогах, шевелил пухлыми щеками:

— Светает, Тимофей.

Белгородцев медленно выпрямил крутую спину, повернул голову к Урину, кинув на широкое плечо конопляный, в два кольца, ус.

— Хутор пробуждаться начнет. Увидят...

— Поспеем,— прервал Тимофей, понукая взмыленных лошадей.

Вскоре дорога повернула вправо, побежала мягким песчаным настом вниз, и они бесшумно въехали в хутор. В помещении совета горела керосиновая лампа. Возле нее, низко склонившись над столом, сидели Кострюков и Душин. Урин покачал головой, собирая в жирные складки красную, как у мясника, шею.

— Сидят,— ядовито усмехнулся он, толкнув Тимофея.

Белгородцев взглянул на окно. Кострюков ерошил одной рукой волосы, а другой перебирал бумаги, разбросанные по столу. Душин сидел с выдвинутой вперед нижней челюстью и постукивал карандашом по зубам.

— Две недели ночами сидят, а что высидят?

— Поглядим,— и Тимофей повернул лошадей в проулок.

Хутор просыпался, на улицах появлялись люди. Возле своего дома Урин выпряг пристяжную и прогнал ее через калитку. Вернулся к дрогам, опасливо огляделся вокруг, легко взял под мышки два брюхастых мешка и торопливо направился во двор, на ходу бросив Тимофею:

— Поезжай скорей, пока злой глаз не видит.

Белгородцев с Уриным ездили в город за нитками и сорочкòм. Ни того, ни другого на рынке не было. Но городские тайные перекупщики, ежегодно забиравшие у Белгородцева и Урина рыбу, снабдили их сорочкòм и нитками в избытке. Выехали они за день до ледохода, и Тимофей не знал о гибели кобылы и сеток.

Гулкий, дробный стук в ворота сорвал Павла с кровати. Наскоро сунув в сапоги босые ноги, он выбежал на крыльцо. Отец стоял по ту сторону ворот и долбил их вишневым кнутовищем. Павел сбросил с железных крючков перекладину, широкими полами распахнулись тесовые ворота.

— С благополучием, батя?

Тимофей кивнул головой, взял мешки с нитками и заскрипел крутыми ступеньками крыльца. Молчание его зародило в Павле тревогу. Он посмотрел вслед отцу, подумал:«Неужто узнал? Кто ж бы это ему?..»— и повел лошадь во двор.

В курене Тимофея встретила его мать, полуслепая старуха. Она протирала пальцами одной руки слезившиеся глаза, а другой — тянула к пояснице кофточку, зацепившуюся за высокий

горб. Тимофей положил у простенка мешки, разделся, сел за стол. Старуха накрошила хлеба в глубокую миску, вылила в нее кувшин молока, поставила на стол.

— Кормись, Тимоша,— и прислонилась горбом к печи, прикрыв ладонью беззубый, весгда полуоткрытый рот. Она долго смотрела на сына, разминая пальцами пергаментные, прошитые морщинками губы. Подошла к столу, села рядом, вздохнула.

— Грех на хуторе случился.

У Тимофея замерли желваки. Он поднял голову, вопросительно уставился на старуху.

— Семь рыбаков не возвернулись. На крыгах унесло.

— Не велик грех.

— Тяжкий сынок...— она покачала головой и заплакала.

Тимофей спокойно продолжал есть. Вошел Павел. Он постоял у порога, несмело прошел к печи, снял с задвижек портянки и стал переобуваться.

— Ну, Пашка,— заговорил Тимофей, выбирая из бороды крошки хлеба.— Ниток теперь в достатке. Вон сколько,— он указал на мешки.

Павел обматывал портянкой ногу и не смотрел на отца.

— И рыбку будут свежаком забирать. Прямо с баркаса. На все договоренность есть. Улов бы богатый господь послал.

Павел молчал. Согнувшись, он набивал на ногу тесный сапог. На бронзовые скуластые щеки падали пряди курчавых волос. Тимофей отодвинул чашку, пытливо посмотрел на сына.

— Пашка!

Павел разогнулся.

— Погляди на меня. Ну? Почему закручинился?

— Звезда под лед пошла,— Павел отвел глаза в сторону.

— Как это пошла?

— Утопла...

— Раз-зява!— закричал отец, приподнявшись. У него кровью налились глаза, подломились в коленках ноги. Опустился на скамейку, выдохнул:

— Сказывай.

Павел стал рассказывать о случившемся, украдкой бросая взгляды то на стенку, где висела короткая плеть, то на отца, вобравшего голову в плечи. Тимофей все ниже гнул косматую гриву волос и хмурил лицо, шевеля колечками усов. Он слушал сына, но не понимал ни одного слова. В его сознании горела мысль только о погибшей лошади и сетках, неизмеримая жадность мутила рассудок. Ударом ноги опрокинул стол,— плесну-

лось в воздухе сизое молоко, хрустко разбилась глиняная чашка. Старуха в испуге отшатнулась к окну, перекрестилась.

— Тимоша, молил бы бога, что он хоть сына-то...

— А кобылу?— затрясся Тимофей.— А сетки?

Он тяжело поднялся и повел глазами по прихожке. Старуха поспешно ушла в горницу. Тимофей хотел обратить свой гнев на бога, что часто делал украдкой от Павла, однако вовремя спохватился.

Он не верил в бога, но дома размашисто крестился для видимости. Сына держал в богобоязни и не выпускал из-под своей воли. Воспитанный покойной матерью в строгой набожности, Павел был кроток, и когда отец в порыве бешенства кричал:«Снимай штаны!», он, несмотря на то, что обладал огромной силой и мог бы постоять за себя, оголялся до коленок, покорно ложился на скамейку и молча, не шевелясь, горел под крепкими ударами плети.

«Ищет»,— подумал Павел, не отрывая от плети тревожного взгляда. Чтобы не слышать хлестких слов, он опустил штаны и повалился на скамейку. Тимофей вздохнул, медленно прошел к вешалке, надел картуз, взял мешки и вышел из куреня. Павел выбежал на крыльцо: отец, пошатываясь, разбитой походкой шел по двору; заглянул в конюшню, в раздумье постоял и скрылся в амбаре.

Павел обхватил руками подпорку крыльца и прижался к ней лбом в мучительной тревоге: что с отцом?

Навалился грудью на высокие перила сходней и низко опустил отяжелевшую голову.

— Колокольчики-бубенчики!—вдруг раздался девичий выкрик.

Павел, встряхнув чубом, выпрямился, бросил взгляд через плечо на улицу.

— Почему закручинился?— Анка улыбнулась, закинув голову.— Ай штаны батька латал?

Павел цепко ухватился за перила. Слова Анки хлестнули по сердцу.

— Нет.

— Так ли? А почему в клуб перестал ходить?

«Издевается»,— подумал он и, сощурив глаза, отвернулся. Прежде они виделись каждый вечер, но, когда клуб перевели в отремонтированную церковь, встречи их прекратились. Анка проводила вечера в клубе, а Павел не ходил туда из-за религиозных убеждений. К тому же за этим строго следил отец.

— Ну? Придешь в клуб?

Павел посмотрел в бездонные зеленя Анкиных глаз. Три ме-

сяца назад из этих глаз хлынула на него теплая девичья ласка, на мгновенье затемнила разум...

— Почему молчишь?— спросила Анка.

— Не приду,— хмуро буркнул Павел.

— Почему?

Павел молчал.

— Эх ты, святитель. Жалко, что не достану, а то крепко потрепала бы тебя за кудри,— и она, круто повернувшись, ушла.

Павел услышал тяжелые шаги, от которых гнулся дощатый пол. Обернулся, увидел отца. Тимофей медленно шел к нему, опустив руки и тяжело дыша. Казалось,что крепкой грудью навалится на сына, сомнет его, бросит на пол. Но Тимофей вдруг остановился, слегка приподнял картуз.

— Доброго здоровья, Софрон Кузьмич.— И метнул на сына яростью сверкавший взгляд:— Ступай в курень.

Павел, уходя, украдкой посмотрел на улицу. У ворот, опершись на палку, стоял Панюхай и водил носом по воздуху. Тимофей сошел с крыльца, у калитки остановился. Не по душе ему был Панюхай. За дочку прятал в сердце злобу на него, за зеленоглазую Анку, что кружила Павлу голову, от молитв отбивала.

Нутром ненавидел, а внешне был приветлив с ним, помогал во всем. Дочка милиционером на хуторе состоит, как-никак — власть, и в случае беды какой — выручить сможет. Открыл калитку, руку протянул:

— Ко мне?— и в улыбке вымученной губы скривил.

— А к кому же еще? Завсегда к тебе, Тимофей Николаич.

— Говори, зачем?

— Городскими новостями побалуй.

— Нечем баловать,— Тимофей вздохнул.— Ни моточка ниток. Сорочка и в помине нету.

— Беда,— покачал головой Панюхай, поправляя на голове ситцевый платок.— А я-то думал, пойду, мол, к Николаичу, не добыл ли он чего в городе.

— И ниточки не привез. А тут еще грех случился. Десять перетяг и кобыла сгинули.

— А меня вовсе разорило море: последнюю конягу с сетками слопало. Беда. Старые сетки штопать нечем.

Панюхай без нужды перевязывал платок, щурил глаза, нюхал воздух. Он был огорчен неудачей, порывался уйти, но еще теплившаяся надежда удерживала его.

— Тебе с дочкой прямо хоть в комедию поступать.

Панюхай не понял.

— Ты по-бабьему, в платке ходишь, а дочка в шинель оделась.

— Чтоб не продуло. Ухо болит. А дочка же в стражниках состоит. В районе ее так уформили.

— И любо это?

— А чего ж. Теперь воля бабам дадена. Пущай свою сноровку кажут.

Он холодно попрощался и пошел не спеша.

— Погоди,— окликнул его Тимофей. Подошел к Панюхаю, положил на плечо руку.— Хоть и сам в беде, но помогу.

Панюхай вскинул голову. В его мутных глазах опять вспыхнула надежда.

— Не дослышал я. О чем ты, Николаич?

— Помогу тебе.

— Ниток дашь?

— Много не дам, но на штопку хватит.

Панюхай склонил на плечо голову, молчал.

— Только ты Анке покрепче хвоста накрути. Парню моему голову затмила, тускнеть стал. Боюсь, от бога и от меня отобьется. К тому же, срамотой нас изведут.— Тимофей склонился к Панюхаю:— По хутору слухи ходят, что они телесным грехом спутались.

— Поженить их, ежели так. Коробка покатилась, стало быть, крышку нашла.— Панюхай вытер концом платка глаза и добродушно улыбнулся.

— Сиречь — по Сеньке шапка?— сощурился Тимофей.

— А чего ж, породнимся.

Тимофей отшатнулся от Панюхая.

— А по-моему так: ежели у тебя сын, не приучай его к плохой базарной пище, ежели дочь — не дозволяй ночевать у соседа.— Он отвернулся в сторону, стал нервно жевать бороду.

Панюхай понял, что его слова пришлись не по нутру Тимофею. И, чтобы успокоить его, поднял палку, потряс ею.

— Да я ей так накручу, что она у меня!..— и смолк. Поковырял палкой песок, пошевелил морщинами на лбу и, вспомнив разговор с дочкой, добавил:— Кострюков с Душным ночи не спят. Все в бумажках роются.

— Ежели осел станет лопать траву, какой он никогда не пробовал, то понятно, что у него голова заболит. Сиречь — не за свое дело не берись.

— Какой-то из города приехал. Анка сказывала — артель затевают. Мол, артельным и нитка, и всякая подмога будет.

Тимофей усмехнулся:

— Не умирай, осел, будешь ячмень кушать. Жди, покуда не сдохнешь. Так, что ли?

— Я ей тоже сказал: зря. Бросьте губы приманочкой мазать. На удочку не пойдем. Сами рыбалки, подсекать умеем,— Панюхай засмеялся и заискивающе посмотрел на Тимофея.— А когда же за нитками приходить?

— Завтра,— и Тимофей направился во двор.

— Я ей так и сказал: бросьте губы мазать. Сами рыбалки...— крикнул ему вслед Панюхай, потрясая палкой.

Тимофей, хлопнув калиткой, торопливо пошел в курень. Павел и старуха завтракали. Тимофей бросил на кровать картуз, подошел к сыну и вырвал у него кружку с молоком.

— Лопать не дам.

Старуха вышла из-за стола, забилась в угол, за печку. Павел вяло жевал сухой хлеб.

— Грехом телесным путаешься? Кровь свою с сатанинской мешаешь?..— задыхаясь, проговорил Тимофей и стукнул кружкой об стол, расплескав молоко.— Кого к куреню приучаешь? С кем водишься? С Панюхаевой Анкой? Ложись!— закричал он и бросился за плетью.— Засеку...

Павел пододвинулся немного, распластался на скамейке.

— Штаны долой!

Павел не пошевелился.

— Шта-ны!— затопал ногами Тимофей.

— Не сниму! На хуторе смеются.

— Ка-а-ак?.. Батько?..— Тимофей широко раскрыл рот, отшатнулся и замер.

Встретившись с упрямым взглядом Павла, он выронил плеть и грохнулся на кровать, блуждая по прихожке растерянным взглядом. За печкой заворочалась старуха, всхлипнула:

— Тимоша... зачем убиваешься?..

— Сын... перечить стал...— простонал Тимофей и ткнулся головой в подушки.

Со скамейки отозвался Павел:

— Больше не сниму. Хочешь, батя, секи в штанах.

V

В безветренной синеве неба таяли белые, как пена, волокнистые облака, медленно стекая к затуманенному горизонту.

Вдали закипало море.

Дымились берега.

У обрыва сытыми боровами дремали на песке опрокинутые на бок баркасы. На железных треногах качались чугунные котлы, дышали смоляным варевом. Рыбаки суетились возле баркасов, тщательно осматривали их, конопатили щели, вбивая долотом в просветы между досок жгутовые косы рыжей пеньки. Поверх пеньки струилась кипящая смола, черным расплавленным стеклом сверкая на солнце.

Анка устало шагала по вязкому песчаному побережью, скликала рыбаков в совет. Впереди нее, приподняв плечи, в легком беге неслась Евгенушка.

— Генька, не беги.

Евгенушка повернула крошечное розовое лицо, прозвенела скороговоркой, глотая слова:

— Не могу плавать по-твоему. Привыкла бегом.

— Я тебя, рыжую, за подол буду держать.

— Не удержишь.

Анка поймала ее за руку, и они пошли рядом. Встречный ветер донес звуки бойкой песни. Плачуще вплеталась в них унылая, никому не ведомая мелодия.

Анка вслушивалась в непонятные слова.

— Богомол твой расхныкался,— засмеялась Евгенушка.

Анка дернула ее за руку:

— Не надо. Обидится.

— И что за песни поет неразумные?

— Не говорит.

— Видать, божественные. Сейчас спрошу.

Неслышно ступая по песку, подошла к трехтонному баркасу. Он стоял килем на круглых дрючьях, опираясь на боковые подпорки, готовый скатиться в воду. На носовой части лежал брюхом на борту Павел и оживлял синей краской потускневшую надпись: «Черный ворон». Анка спряталась у руля. Евгенушка приблизилась к Павлу.

— Паша!

Он поднял голову, и волосы упали ему на глаза. Стряхнул их, улыбнулся.

— Хоть бы раз по-людски спел. Непонятно, о чем ты...

— Хочешь, понятно спою?

— А ну!

Павел украдкой окинул глазами обрыв, оглянулся назад. Перевалился через борт и вполголоса запел:

— Девушка, косу твою не заплетут,
Тебя за меня не отдадут.
Иди, я увезу тебя.
Темная ночь, никто не увидит,

Евгенушка стояла, глядя на него, щурила глаза и ловила полуоткрытым ртом струившиеся сверху слова песни. Павел качал головой, вкривь растягивал толстые губы и, затихая, бросал далеко в море тоскливый взгляд.

— Девушка, у тебя длинная коса:
Обвей ею шею и закрути ее.
Если ты любишь, люби от души,
Любовь на языке — одна ложь...

Забросил ногу и верхом сел на борт.

— Ну, как?

— Теперь понятно. Кто научил тебя?

— Мать. Это старинная песня крымчан.

— А кому поешь?

— Анке.

Из-за кормы выбежала Анка. Она взглянула на Павла, засмеялась. Павел поджал губы.

— Чего дуешься?.. Откуда же у меня косы? — она сорвала платок и тряхнула короткими волосами:

— Погляди.

Павел отвернулся, взял кисть и повис на борту.

— Брось, Паша. Скажи, где отец?

— Там, где вешалы,— не поднимая головы, отозвался Павел.

Девушки ушли. Павел водил по воздуху кистью и смотрел вниз. С кисти зернисто стекала краска, синей оспой въедалась в песок. Веселый Анкин смех все еще звенел в ушах Павла. «Сатана!»— хотел крикнуть ей вслед и выпрямился. Пригнувшись, между баркасами вдоль берега бежала Евгенушка, Анки не было.

«Где же она?»

Анка шла по обрыву, взмахивая платком. Вскоре ее заслонили собой вешалы. В руках Павла хрустнула кисть...

Тимофей ходил между вешалами, перебирал сети, выискивая порванные ячеи. В руках он держал пучок ниток и роговую иглицу. Если попадалась дыра, вынимал из кармана ножницы, по

узлы вырезал поврежденные части, быстро делал на пальцах левой руки новые ячеи и штопал сеть. Возле суетились нанятые сухопайщики, кипятили в смоле сети, вешали их для просушки на слеги. Анка прошла мимо Тимофея, обожгла недружелюбным взглядом, бросила на ходу:

— В совет кличут.

Тимофей запустил в ячеи пальцы, сжал кулаки:

— Анка!

Та остановилсь.

— Что зверюгой глядишь на меня?

У нее холодком затянулись глаза, нервно зашевелились плавники бровей.

— Я ли не помощник твоему отцу в нужде какой?

— Нитки и сорочо́к, что отцу давали, я отнесла вам. У старухи спросите.

— Зачем?

— Чтобы не быть у вас в долгу,— и быстро ушла.

Тимофей прижал к груди сеть, рванул ее. Почувствовав на плече тяжелую руку, обернулся. Перед ним стоял, возвышаясь над ним на целую голову, Егоров.

— К чему, дядя Тимофей? Теперь наш брат за ниткой плачется, а ты фильдекосовую сетку порвать хочешь.

Тимофей разжал пальцы, уронил руки.

— Блудница поганая.

— Это ты про Анку? Верно говоришь,— подхватил Егоров и подумал: «Чем бы тебя ублажить?». Поковырял ногой в песке, добавил: — Пристяжная ее, Евгенка, заглядывала к нам под гору. На собрание скликала. А мы ей в ответ: «Понадобится нам собрание, сами учиним, без юбок обойдемся»,— и матюгами ее. Так запарусила в гору, не догнать,— и он затрясся от хохота.

Тимофей свел на пояснице руки, прошел к соседней вешале, оглядел просмоленные сети и направился к обрыву. Следом закачал широкими плечами Егоров.

— Дядя Тимофей. А сорочка́ у тебя не найдется?

— Сорочка́? Нету.

— Да мне малость одну.

Тимофей косо посмотрел на Егорова, взял его за широкий пояс.

— Этими малостями я разорился. Вы меня разорили. Когда нужда съедает, все на поклон к Тимофею Николаевичу, а вот ежели со мной какая беда случится...— он махнул рукой.

— Всегда вызволим.

— Знаю я...

Внизу послышались треск ломающегося дерева и крики. Тимофей оттолкнул Егорова, подбежал к обрыву и увидел, как его «Черный ворон» медленно лег на бок, а сорвавшийся с носовой части Павел, выбросив руки, головой ткнулся в песок. Тимофей схватился за грудь.

— Погубил, хамлет... Ребята! Бросай смолить! Валяйте на подмогу!— и прыгнул вниз.

За ним покатились сухопайщики и Егоров.

Тимофей подбежал к Павлу.

— Раззява!.. Сказывал же: гляди, подпорки гнилые не подсунь.

— Узнаешь их, какие они,— огрызнулся Павел.— Самые толстые выбирал.

— На сердцевину глядеть надобно. Вон, доброта какая,— Тимофей поковырял пальцем прелый обломок подпорки.— По бабьей сердечности ты мастер большой.

Тимофей лег на брюхо, пополз по песку, осматривая баркас; ласково пошлепал по осмоленным бокам и сказал:

— Просох. Время спускать на воду, а то, чего доброго, расхряпают.

— Водки купишь, Николаич,— на плечах снесем!— крикнул ему рыбак, конопативший рядом баркас.

— Две литровки ставлю.

— Мало. Прибавь еще одну.

— Ладно. Пашка! Лезь на баркас.

Тимофей подошел к баркасу, уперся спиной в накренившийся бок. На руках и шее свинцовыми прутьями вздулись жилы.

— Взяли?

— Есть, Николаич!— откликнулись рыбаки.

— Скатывай!

Баркас закачался на согнутых спинах и медленно пополз килем по круглым дрючьям, разминая и вдавливая их в песок. Он скользнул через последний дрючок и сытым, изнывающим от жажды буйволом ткнулся носом в воду. Тимофей забежал вперед, закричал:

— Не бросай! Сажай его на воду! Еще половинку прибавлю.

Под дружным нажимом плеч баркас рывком лег на волну, закачал высокой мачтой и стал круто заносить кормой. Трое ребят сели на подчалок, бросили Павлу конец веревки и на буксире повели «Черного ворона» вглубь.

— Довольно!— крикнул Тимофей, вытирая картузом мокрое лицо.— Ставь на якорь!

Павел бросил якорь и пересел на подчалок. Баркас взды-

бился, загремел якорной цепью, порываясь выйти на простор.

— Как конь норовистый, железным недоуздком звякает. Ишь ты!— кивнул на баркас Егоров, выливая из сапог воду.— Тяжелый, дьявол. Чуть плечи не поломал.

Тимофей горделиво поднял голову и посмотрел на море. «Черный ворон» нырял в пенистые волны и, осыпая себя брызгами, высоко взмывал окованной грудью, норовя сорваться с якоря. Рядом с ним звонко шлепался бортами о воду двухтонный баркас, переваливался с боку на бок. Выжимая портянки и не глядя на Тимофея, Егоров как бы невзначай проговорил:

— Вот и помогли Николаичу. Всегда вызволим. Славного человека на плечах вынесем.

Тимофей зажал в кулак бороду.

— Сорочка я тебе дам, только языком не ляскай.

— Благодарствую.

Егоров обмотал портянкой ногу, сунул в сапог, прислушался.

— Наши ребята поют.

Тимофей не отозвался. Увидев Урина, торопливо зашагал ему навстречу. Урин тяжело шел берегом в распахнутой парусиновой винцараде и, обнажив бритую голову, водил фуражкой по лицу и шее. Приблизился к Тимофею, повалился на песок, отдышался и сказал:

— Уладил. Подгорные на собрание не пошли... К тебе идут... А за ними, пожалуй, все хлынут.

— Поглядим, как отблагодарствуют...— Тимофей поиграл колечками усов и прикусил их.

Песня становилась слышнее и вскоре выметнулась из-за обрыва пьяной разноголосицей:

— «Ворон», «Ворон» чернокрылый,
«Ворон» в море нас зовет...

Наверху показалась большая толпа рыбаков, направлявшаяся вниз. Тимофей и Урин, минуя толпу, пошли вверх. Рыбаки замахали руками, двинулись наперерез.

— Тимофей Николаич! Да погоди же ты!

К нему подбежал один рыбак, дохнул в лицо водочным перегаром:

— Куда удираешь?

— На собрание.

— Да какое же собрание, когда весь хутор на берегу?— и повернулся к товарищам:— Слыхали, что Николаич сказал?

— Не пускай его, кум! — отозвались из толпы.— Пущай погуляет на нашем собрании, а потом идет в совет.

— Брюляй парус, Николаич. Не отпустим.

Тимофей хитровато посмотрел на рыбака:

— А ради чего гулянку затеваете?

— Да как же ради чего? В море скоро выходить, а кто поведет? Атамана будем выбирать.

Тимофей покачал головой:

— Нет, не пойду. Без меня обойдетесь.

— Никак нельзя, Тимофей Николаич.

— Почему?

Рыбаки переглянулись, ближе подошли. Кто-то крикнул:

— Качай атамана!— и его подхватили на руки.

В глазах Тимофея колыхнулось небо, изогнулся обрыв, потянулся вверх. Он зажмурился, обхватил руками лицо.

— Довольно! Задохнусь!

— Качай!

— Сердцем слаб, братцы!

Егоров растолкал толпу, вцепился в одного рыбака.

— Хватит! Гляди, в самом деле слаб. Случится грех, без водки и без сорочка́ останемся!— Он вырвал из рук рыбаков Тимофея, посадил на песок.

Тимофей перевел дух, поднялся.

— За честь благодарствую. Но не приму ее.

— Как?

— От греха подальше.

— Какой грех? Тимофей Николаич, не дури. Больше нам некого выбирать. Твой отец наших родителей в море водил, и тебе нас водить. Завсегда по-старому останется, пока здоровьем не захромаешь.

К нему наклонился Егоров:

— Супротив народа, стало быть?

Тимофей постоял в раздумьи, вздохнул:

— Супротив я никогда не шел. Ладно.

Порылся в кармане, бросил на песок деньги:

— Пятьдесят целковых на пропой.

— И моих столько же,— отозвался Урин, раскрывая бумажник.

За окном взметнулась рука, дробно зазвенело мутное стекло. Дремавший в углу представитель рыбного треста вздрогнул, схватился за портфель. Евгенушка и Анка прервали разговор.

Вбежала Дарья.

— Никак заснули? Пробудитесь!

Душин вытянул шею.

— Чего ты?

— А того, что берег пьяный шатается. Кого на собрание ждете? Полюбуйтесь!— Дарья выбросила руки по направлению к морю.— Водкой давятся.

Кострюков подергал себя за нос, кинул на Анку глазом.

— Объяви еще раз, что о другом будет речь на собрании. Кто не пожелает явиться, в море не пущу...— И повернулся к представителю треста:— Видали? Боятся. Думают — об артели толковать им будут.

Представитель треста зевнул и отвернулся к окну, за которым в сумерках тонула широкая улица.

...На берегу в пьяной песне изнемогал рыдающий баян.

Двое рыбаков, в обнимку стоя у обрыва, покачивались, брызгали друг другу в лицо слюной:

— «Ворон», «Ворон» чернокрылый,
««Ворон» в море нас зовет...

Третий на животе ползал у их ног, бороздил носом песок, переваливался на спину и топырил синие губы:

— Атаман... прощаясь с милой..
Эх... да...
Водку... кружкой... рразддает...

— Дошли...— горько усмехнулась Анка, глядя на рыбаков.

Возле гармониста вразвалку сидел Тимофей, расплескивая из кружки водку.

— Пей, братцы. Еще сотенную даю. Пашка! Плохой у тебя батько, а? Погляди, честь ему какая. Пей и ты. Нынче дозволяю тебе...

Павел выпил, швырком отбросил кружку, широко зашагал к вешалам. Вокруг Анки топтались рыбаки, шатко надвигались на Евгенушку. Она нырнула под вешалу, ударилась лицом о балберу и, оставив под чьим-то сапогом слетевшую с головы косынку, побежала к хутору. В руках Анки блеснул никелированный браунинг.

— Назад, не то всю обойму всажу.

— А ты что, как щука, хвостом винтишь? В мутной водице бубырей ловить пришла? В ярмо нас кличете?

— За жабры бери!

— Прижми ей хвост!

— Вырывай плавники!— И бросились на нее.

Анка странно взмахнула рукой, выронила браунинг.

С берега рухнул Павел на одного из обидчиков, схватил за пояс, вскинул выше головы, сердито потряс и перебросил через других. Сжал кулаки, отвел руки назад, пригнулся и, бросками передвигая ноги, пошел на рыбаков.

— Не сметь! Не сметь!

Рыбаки, ворча, отошли назад. Павел поднял браунинг.

— Схорони. Вгорячах стрельнешь, а потом жалковать будешь.

За спиной Павла кто-то крикнул:

— Гляди. Кобель за сучку вступился.

Павел вздрогнул, резко обернулся. В лицо ему ударил хохот пьяной толпы.

— Уйдем отсюда,— потянула его за руку Анка.

Поодаль от толпы стояли жены рыбаков. Они не осмеливались подойти к мужьям и терпеливо ждали, пока кто-нибудь из них, утопая в хмельном угаре, упадет на песок. Его брали за руки, волоком тащили до двора.

Только Дарья — ни на шаг от Григория. Беспрестанно толкала его в спину:

— Гришенька, довольно. Пойдем, кличут тебя.

— Погоди малость...

Он медленно посасывал из кружки водку и, передергиваясь всем телом, повторял:

— Горькая.

Не вытерпел Тимофей:

— Может, потому горькая, что за чужие денежки куплена?

— Горькая. Противная.

— Ну, что ж. Трескай и терпи. Время нонешнее горше водки, а мы же терпим?

Григорий исподлобья взглянул на Тимофея.

— Хватит тебе, Гриша,— вмешалась Дарья.

— Последняя.

Он выпил и сморщился.

— Время горькое? И власть советская, может, не по душе?

— На нас-то и держится она. Сиречь — мы кирпичи социализма.

— Как?

— А так...— Тимофей матерно выругался.

Григорий размахнулся и наотмашь ударил его.

Дарья вцепилась в мужа. Егоров сбросил с плеча ремень гармошки, Тимофея заслонил:

— Это за то, стало быть, что Николаич весь хутор из нужды вызволяет?

— За власть... Я кровью умывался за нее. А он...

Не досказал Григорий. Отшатнулся назад, разбросал руки и распятьем упал к ногам Дарьи. Перевернулся на брюхо, сплюнул сукровицей, пополз к обрыву.

— Братцы! Чего же вы глядите? Лупи подгорных!

Один рыбак подножкой сбил Егорова, навалился на него грудью. По песку скользнул кованый сапог, рыбака по скуле хряснул. Тот кувырнулся, тяжело застонал. Подбежал еще один, пустой бутылкой замахнулся:

— Куманек! И за что же ты свояка моего угробить пожелал?

Не успел куманек и словом обмолвиться, как бутылка звонко стукнулась об его голову, разлетелась вдребезги.

— Братцы! Верховые подгорных убивают!

Небольшая группа рыбаков бросилась к хутору, другая, развернувшись, пересекла им дорогу. Озверело бросались друг на друга, дрались кулаками, бутылками, в обнимку катались по песку, до крови искусывали лицо и руки. Одного рослого парня ударили ножом под лопатку. Он свернулся в кольцо и, загребая под себя руками, вскрикнул:

— Урезали! Ох, загубили! Предайте земле!..

Люди закружились, затопали, взревели.

Вдоль обрыва уходил Тимофей, вырываясь из рук Григория. Он был без картуза и винцарады. Ветер хлопал по телу ошметками разорванной рубахи. На повороте к вешалам споткнулся, упал на руки. Григорий поймал его за штанину.

— Стой, а то руль отобью. Власть, говоришь, поганая?

Тимофей сильным ударом ноги оттолкнул Григория, побежал в хутор. Григорий перевернулся, сполз к обрыву, полетел головой вниз. За ним покатились еще трое, зазвенели бутылки. Над обрывом взлетела кем-то брошенная гармошка. Слышно было, как она глухо ударилась о песчаный берег и замерла в последнем вздохе разбившихся голосовых переборов...

В конце обрыва Павел и Анка повстречали Дарью. Она тяжело поднималась в гору, обхватив поперек Григория. Он едва ковылял, обвисая в ее руках.

— Да иди же, иди. Совсем скапустился. Как теперь ответ будешь держать перед людьми? Совесть-то твоя где? Ведь спросят.

— Ничего... Совесть моя при мне...

— Пропил ты ее.

— Нет,— он замотал головой и стал оседать.

Дарья опустила его на песок.

— Не могу. Все силы вымотал. Паша! Помоги!— попросила она.

Павел взвалил Григория на спину и легко понес. По дороге Григорий вырывался, колотил Павла по голове, норовил укусить, но тот крутил ему руки и спокойно шагал по улице. В коридоре совета поставил его на ноги, открыл дверь и втолкнул в комнату. На пороге Григорий споткнулся, грохнулся на пол.

— Где это он налимонился?— спросил Кострюков.

— На берегу.

— На каких радостях.

— Атамана выбирали.

— Кто угощал?

— Мой отец,— сказал Павел, поднимая Григория.

Кострюков рванул шпингалет и открыл окно. С берега донеслась растрепанная ветром песня:

— «Ворон»... «Ворон»... чернокры-и-и-лый...
««Во-о-рон»... «Вор...он...»

VI

Издавна, от дедов и прадедов, пьяно шаталась по хутору беспросветная, израненная поножовщиной жизнь бронзокосцев. Вихрем кружилась в диких разгулах, чудовищем вздымалась над обрывом и, отравленная хмельным угаром, падала на землю с помутившимся разумом. Блекла, увядала, порастая горькой полынью и куриной слепотой. Вырвать бы этот бурьян, обрубить корни и сбросить под обрыв... Да не поднять одному, не осилить...

...В сельсовете шло собрание. За окном брезжил пепельный рассвет. Бледной вспышкой моргнула лампа и погасла.

— В совете — я. В парторганизации — я, и везде — один,— говорил Кострюков.— Руками и ногами заткнул прорехи. Осталось еще головой в какую-нибудь дыру ткнуться. А дыр-то немало. Видите? — указал он на Григория.— Коммунист лежит. С кем же работать? Ведь нас и без того на триста человек семь коммунистов да пять комсомольцев. Без того, говорю, мало, а мы что делаем? То пьянствуем, то рожать собираемся, то в море бежим топиться, по любовной причине, стало быть.

Евгенушка стыдливо опустила голову, подняла плечи. Загорелись щеки. Вскочила — и к двери.

— Куда ты?— задержал Кострюков.— Сиди. Не тебя касаюсь я. Знаю, что работаешь хорошо, и от учеников жалоб на тебя нет. Я вот кого,— он повернулся к Дубову.— Кто комсомольцами руководит.

— А что я?— и на Кострюкова уставились спокойные серые глаза с припухшими красными веками.

— А то, что два года буравишь любовью ухо Евгенушке, а сказал ты ей что-нибудь дельное? Толковал о комсомоле? Вовлек в свою организацию?

— Не все ж политикой заниматься. Ты-то не любил?

— Но дело не страдало. А у вас... Вон на хуторе сколько молодежи, хоть отбавляй. И ни один не в комсомоле; лоботрясничают. А все оттого, что никакой работы среди них не ведете.

Дубов нервно взъерошил шевелюру, досадливо бросил:

— На хуторе, кроме молодежи, и пожилых в достатке. А парторганизация тоже не гуще нас народом.

— Потому что один я. Один. С кем же работать? Кто помогает мне?

Возле Дубова заерзал на скамейке Зотов, выставил вперед скуластое сонное лицо.

— Ты нас пробираешь за любовные дела или за другое что, а вот Анке никогда не скажешь...

— Не цепляйся за Анку,— перебил его Кострюков.

— А толк-то от нее какой?— не переставал Зотов.— Тоже, кроме «крути-любовь», ничем не занимается.

— Тебе, что ли, тягаться с нею в работе?

— А чего ж ему не потягаться?— вставила Дарья.— Ногами выкручивает под гармонь здорово. Клуб ходуном ходит.

— А ты и на это неспособна.

— Хватит!— Кострюков встал, прошел к двери, толкнул ее ногой. В комнату ворвалась предутренняя морская свежесть. Он жадно открыл рот и уперся головой в косяк.— Евгенушка, покличь Душина!— и пошел обратно к столу. Посреди комнаты остановился, подергал себя за нос.— Жизнь обгоняет нас. Далеко ушла, чуть парусом маячит. А мы без паруса, без руля, на ветшалом баркасике кружимся на месте. Без бабаек. Руками гребем,— и, сцепив пальцы, прижал руки к груди.— Руками. Руками. Налетит шквал — килем в небо упремся и как один пойдем к чертовой бабушке в гости. Понимаете вы, что хутор в водке утопает?..— и, опустившись на скамейку, добавил:— Хоть и клуб имеется... очагом культурным зовется.

Зотова подхватило со скамьи:

— А что же я, на канате должен тянуть народ в клуб?

— Без каната обойтись можно. Заведите шашки, книжки интересные прочитайте, в газетке кое-кого протяните,— а прежде всего о себе прописать надо; пьески полезные покажите или другое что. А ты только и знаешь, что фортели ногами выкидывать

да девчат хороводить под гармошку. Культура это? В том-то и беда вся, что народ мимо проходит. Только пьяные к ограде тулются, когда «за малым» потребно сходить.

— Он сам стаканчиком не брезгует.

— Ты, Анка, обманом людей не путай. Пьяным меня никогда не встречала. В отместку, что ли? Милиционер... Всегда из-за тебя собрания срываются.

— Так ли?

— Не знаю. Известно только, что рыбаки под носом у тебя водку глушат, драки учиняют, а собрания пустуют.

— А ты прямо в клубе заливаешься.

— Врешь.

— А третьего дня кто девчат до крику щипал? Забыл?

Зотов заерзал на скамейке и сердито проговорил:

— Не виноват же я, что тебе Пашка Белгородцев синяки наставляет.

— Ну ты!— руки Кострюкова запрыгали по столу.— Латрыга. Выгоню!..— и круто повернул голову.— Товарищ! А товарищ!..

Представитель треста открыл глаза, посмотрел вокруг. Поднял с пола портфель, приблизился к Кострюкову.

— Давайте все к столу, а то заснете там.

В комнате заскрипели расшатанные скамейки, и над столом склонились красные косынки и взлохмаченные чубы.

— Я коротко,— сказал Кострюков и на минуту задумался.— Вчера рыбаки не пришли. Не являются и нынче. А еще хуже — могут выйти в море. Чего ж, атамана уже выбрали, ставь парус и отчаливай... Так вот. Сейчас же надобно обойти все дворы и объявить, что рыбалить будут те, кто договором с представителем треста заручится. А так в море не пустим. Не дозволим воровать у государства рыбу. Станем на берегу и не пустим. Есть?

Над столом еще ниже склонились головы.

— А вы, товарищ, непременно доставьте сюда сорочо́к и нитки. Без них рыбак в море не выйдет и даже хвоста от рыбы не сдаст вам, хоть и договор будет. Тайком перекупщику сплавит.

— Первыми же автомобилями, которые придут за рыбой, все будет доставлено,— заверил представитель треста.

— Ладно, если так.— Кострюков увидел на пороге Евгенушку.— Ну?

— Нет его.

— Где ж ему быть?

— Не знаю,— и тихо добавила:— Видать, позвали куда-нибудь...

Кострюков сокрушенно покачал головой.

— Помощник... Хоть в юбку наряжай его да в три шеи из совета... Зотов! Пиши!— и ткнул пальцем в стол.— «С нынешней весны объявляется запрет на самовольный лов рыбы в государственных водоемах. А потому всем рыбакам надо непременно явиться в совет для подписания договора на сдачу за деньги всего улова представителю рыбного треста. Кто пойдет супротив и не пожелает заручиться правом на лов, в море пущать не будем. Милиции и членам сельсовета строго блюсти порядок».

Кострюков внимательно просмотрел написанное, показал представителю треста. Тот кивнул головой.

— Хватит. Подробнее я буду пояснять устно.

Бумажка качнулась в воздухе, мягко легла на стол.

— Еще сорок штук таких, и жарьте по дворам. А ты, Анка, за берегом приглядывай. В море выпускать только с договорами. Воровать не дозволим,— и вышел из-за стола.

По улице прогремели дроги, послышались голоса. Хутор пробуждался. Заворочался и Григорий, перевернулся на спину. Видимо, ему приснилась гулянка; он, зевнув и уставившись полуоткрытыми глазами в стену, невнятно пробормотал:

— Глоточек один... Только глоточек... что ж вы... позабыли обо мне?

Кострюков взял его за волосы, приподнял голову.

— Нет, не забыли. На очередном партсобрании будем говорить о тебе,— и вышел во двор.

Словно веслом по голове ахнули, вышибли хмель. Шире открыл глаза, на локтях приподнялся. Возле Дарья сидит, гневом дышит на него.

— Когда за разум возьмешься, Григорий?..

Никогда не видел Дарью такой злой. Не узнал ее. Отвел глаза в сторону и ни слова в ответ. А она ниже гнет голову, сильнее обжигает дыханием.

— Стыдно тебе... А мне? А товарищам твоим каково перед людьми?

Григорий закусил губу, отвернулся...

Раннее утро полоскало улицы свежестью, бодрило людей. А Кострюкову было душно, прошибало пóтом. Он снял картуз, пиджак и расстегнул ворот рубахи. Косматая голова то ложилась на плечо, то клонилась на грудь. И казалось ему, что под ним тонким льдом гнется земля, ускользает из-под ног. Люди смотрели ему вслед, переговаривались:

— Досиделся в совете, что ни голова, ни ноги не слушаются.

— Похоже на то. Видать, с тайной гулянки ковыляет.

Кострюков слышал и понимал, что говорят о нем, но не обра-

щал внимания и ускорял шаг. Возле обрыва остановился, море глазом обнял. Внизу скучающе стояла покосившаяся родная халупа, прислушиваясь к шелесту воды.

«Не грусти. Пришел!» — хотелось крикнуть, как живому существу, махнуть картузом, но помешал долетевший знакомый кашель. Обернулся и увидел Душина на пороге крайней хижины. Он сидел на корточках, дымя цигаркой, и напряженно смотрел в полуоткрытую дверь.

Кострюков хотел окликнуть его, но Душин торопливо поднялся и скрылся за дверью.

«Прячется», — подумал Кострюков и, повернув к хижине, заглянул в открытое окно. На кровати стонала роженица, билась в судорогах. Возле хлопотали женщины, а у печи стояли Душин и муж роженицы.

— Рассыпается, — тихо сказала одна из женщин и поманила Душина к кровати.

Душин подошел к отцу, близко поднес к его лицу ребенка.

— Сын...

У рыбака радостно засияли глаза.

— Да ты завсегда сынов принимаешь. Руки золотые у тебя.

Кострюков осторожно постучал по стеклу. Увидев председателя, Душин растерялся, забегал с ребенком по комнате, не зная, куда положить его. Сунул в руки отцу, схватил аптечку и — во двор. У ворот напоролся на сердитый глаз Кострюкова, остановился. Переложил аптечку под мышку другой руки, глаза — в землю.

— Больше не буду. Бабы жалостным плачем доняли.

— Иди в совет... Работой займись.

Душин вышел на улицу и, не взглянув на Кострюкова, направился в совет.

— Погоди... В последний раз говорю, а ты хорошенько запомни: если не бросишь — прогоню. Мне нужен работник в совете, а не бабка повивальная. Ступай...

VII

Море вздувалось закипавшим крутым варевом, шумело, косматилось и тревожно билось о берег бугристыми волнами.

Бурунился негодованием и хутор, взбудораженный новыми порядками лова. Три недели праздно шатались по улицам брон-

зокосцы, не выходили в море. Пили водку, без толку кричали у совета и ни с чем расходились по домам. А рыба шла густыми косяками и уходила далеко вверх, в теплые заповедные воды Дона.

Душин сидел перед раскрытой папкой и рылся в бумагах, покусывая кончик карандаша. Представитель треста вяло щелкал замком портфеля. Ссутулясь, по комнате нервно ходил Кострюков, потрясая длинными волосатыми руками.

— Рыба идет. Табунами проходит мимо, а что мы имеем?

— Пока ничего,— вздохнул представитель треста.— А что будете иметь, пожалуй, и знать не хотелось бы.

Кострюков остановился.

— Осудят?

— Премию дадут,— съязвил председатель треста.— Ведь подумать стыдно, что апрель на исходе, а план ни на один процент не выполнен. Это преступление.

— Тяжкое...— вставил Душин. Отвернувшись к окну, добавил:— Рыбаки наши и поныне сидят дома, а рыбка уходит.

— Да. За такие дела по голове не погладят...— сказал Кострюков и нахмурился.— Ну, а как же быть?

— Арестовать Белгородцева и Урина. Выселить их из хутора.

Кострюков отмахнулся:

— Нельзя. Причины нужны.

— Можно. И причины есть.

— Нет. Не могу так.

— Раскисаешь?

Кострюков промолчал. Выпрямившись, сверкнул на окно глазом. По улице шли рыбаки, шумели. Душин ткнул через плечо большим пальцем.

— Идут. И опять бунтуются.

Рыбаки приближались к совету. Впереди Егоров. Он то и дело оборачивался назад, бил себя кулаком в грудь, возвышал голос:

— Не сдавайся, ребята! Пущай рыба уходит, пущай голодать будем, но в море не выходи!

— Эх-ха-ха...— вздохнул какой-то рыбак.— Для хлебороба — земля, а для нас оно... море... Давно кличет, кормилец наш. А мы?..

— Срамота да и только,— отозвался другой.— Чего ждем?

У Егорова задрожала челюсть.

— В ярмо пожелали?

— Так сказывай, что делать?

— Кто кормить нас будет?

— Он. Егоров. Да Белгородцев с Уриным,— раздался насмешливый голос Кострюкова.

Рыбаки обернулись к совету. У раскрытого окна стоял председатель. Егоров вцепился в него глазами, даже вперед весь подался:

— Правильно! Они кормили народ и кормят. Опроси хутор. При всякой беде помогают. А вы чем похвалитесь?

— Никому чести своей не продаем.

— Дело известное, что вы только покупаете. Но мы-то не продадимся вам. Сети порвем, баркасы потопим...

— И без того перед судом будете ответ держать,— перебил его Кострюков.

Егоров шагнул к окну, вскинул голову:

— За что?

— За срыв путины.

— Сам срываешь. Зачем на берегу нас держишь?

— А договоренность с трестом... имеется?

— Сказано уже, что в ярмо не полезем.

— И мною объявлено всем, что воровать рыбу не дозволю. Не допущу!— и Кострюков захлопнул окно. Постоял в глубоком раздумьи, направился к столу, тяжело оседая на ноги. Мысли теснились в голове. Он цеплялся за них в поисках выхода, но они быстро таяли, как зажатые в горячей ладони снежинки. «Или разрешить выход? Ведь время уходит... Сорвется путина». И сказал вслух:

— Как же быть? Где же выход?

— Выход один: в море,— отозвался Душин, без нужды перебирая заготовленные для рыбаков договоры.

— Верно, Душин, сказываешь,— поддержал Панюхай, переступая порог.

За ним несмело вошли двое рыбаков. Панюхай повел носом, приблизился к председателю, поправляя на голове платок.

— Измаялись рыбаки, от безделья бесются. Спокон веков таких порядков не видывали. Эх, зря народ баламутите.

Душин дернул его за рукав, посадил рядом.

— Болтать зря тут нечего. Говори, зачем пришел. Договор подписать?

Понюхай посмотрел на него удивленно.

— На кой хрен он мне? Что ж я, чебак не курица, руками буду ловить? Вы нитку дали? Спасибо, Тимофей Николаич уважил... А дочка вернула ему, выдра окаянная.— Он закусил конец платка, другой потянул рукой, приподняв бороду, и кивнул на рыбаков:— Им-то, гляди, и надобно, а мне...

Рыбаки топтались у порога, мяли в руках картузы.

«Видать, сдаются»,— подумал Кострюков и сказал вслух:

— Вы, братцы, ко мне?

Те подошли ближе, заговорили наперебой:

— Отпусти в море.

— Замучились на берегу.

— Тоска всю кровушку высосала.

Кострюков взял два договора.

— Это ваши. Подписывайте и нынче же отчаливайте.

Рыбаки внимательно просмотрели бумагу, переглянулись.

— Скостить бы надобно. По двести пудов многовато. Не управимся.

— Будет плохой улов — скостим, а сейчас нельзя.

— Зря!— сказал Панюхай и вышел.

Рыбаки стояли в нерешительности, шевелили морщинами на лбу, сворачивали и разглаживали руками договоры. Душин макал в чернила перо, протягивал им ручку. Представитель треста обратился к рыбакам:

— Государство обижать вас не станет. Оно будет выплачивать вам за кило селедки пятьдесят восемь копеек, за сулу — шестнадцать, за чебак — восемнадцать. Сверх того на каждые сто рублей будет выдавать полтора пуда муки, фунт табаку, сахар и другие продукты. А кто перевыполнит задание, премировать будем зимней и летней одеждой. Ну?

— Так оно, как будто, все ничего, а вот красная рыба по шестьдесят копеек дешево обозначена.

— Молочная, а икряная по девяносто. Это не дешево. Подписывайте, ребятки, и час добрый вам.

Рыбак взял ручку, еще раз прощупал глазами каждую букву договора, обмакнул перо и тяжело налег грудью на стол.

На улице их встретили молчаливо. Взгляды жадно устремились к рукам, в которых были крепко зажаты договоры. Потом кто-то крикнул, нарушив молчание:

— Заручились бумагой?

— Да!— бултыхнулось в толпу, словно в застоявшуюся воду, твердое, как кремень, слово и всколыхнуло ее. Всплеснулись голоса, вспыхнул возбужденный разговор. Рыбаки шумно обсуждали, как поступить, и не находили ответа. Одни предлагали подписать договоры, другие советовали повременить. Стоящий все время поодаль сутуловатый старичок порылся пальцами в короткой бородке, взошел на крыльцо совета и поднял вровень с головой руки.

— Ребята! Время новое, и порядки другие. Без договоренности в море выходить теперь не дозволяется, а оно кличет...

И все повернули головы туда, где шумело вспененное море, манило к себе.

— Кличет, говорю... А мы что делаем? Эх-ма... Такой срамоты наш хутор еще не видывал. Поступайте, как желается вам, а я...—он толкнул ногой дверь и вошел в совет.

Истосковавшиеся по морю рыбаки один за другим потянулись вслед за стариком. Видя, как быстро тает толпа, Егоров сжал кулаки, отошел за угол и рысью побежал на окраину хутора, откуда доносились разгульные песни подгорной бедноты и сухопайщиков. Из дворов выкатывались на улицу собаки, кружились, кувыркались, хватали его за ноги, но он не чувствовал их укусов и не слышал оглушительного лая. В конце улицы повернул вправо и ринулся прямиком вниз, по глинистому крутому косогору. Ветер срывал с его головы картуз, лохматил волосы, хлопал широкими полами винцарады, и Егоров напоминал огромную подпрыгивающую по земле раненую птицу. Внизу остановился, сбросил с мокрых плеч винцараду.

На него вопросительно уставились пьяные глаза. Он перевел дух и глухо проговорил:

— Верховые сдались...

— Так и знал... — прохрипел Тимофей, швыряя стакан с водкой.

У Урина кровью налилась шея, искривились губы.

— Вот до чего довели людей, что они грабить себя дозволяют. Порядки... — зло усмехнулся он и посмотрел на Тимофея. — Я и то дороже принимал рыбу. По совести. — Он подпер щеку рукой, безнадежно уставившись в небо. Перед глазами низко бежали плотные облака, и он чувствовал, что вот так же, как проплывают мимо облака, из-под его ног ускользает земля. «Сколько денег ухлопал, разбазарил нитку, а толку, видать, никакого не будет», — подумал он.

— Нынче или завтра, а выезжать надо, — сказал Тимофей.

— Давно пора. Душе удержу нету, — вздохнул молодой рыбак, глядя на море.

— О том и говорю. А как же теперь будем счеты вести? Ведь сетки, почитай, мои да Урина, а договоренность с государством будете иметь.

— Пустое дело. Рассчитаемся. Да так, что и знать никто не будет.

— Правильно, Егоров. Поглядим — кто кого за нос проведет.

К Тимофею подошел один из сухопайщиков:

— Ты, Николаич, кормилец наш, не кручинься. Выбрали атаманом, так бери нас и веди в море. А желаешь, и на край света пойдем. За тебя головы своей не пожалеем. Эх, ты... как отец родной! — он обнял его, потянул на себя и ткнулся губами в колючую бороду.

Рыбаки пошумели, распили остаток водки и с песнями направились к совету. Тимофей и Урин спустились к морю, пошли берегом. Тимофей шел молча, понурив голову, а Урин забегал вперед, заглядывал ему в лицо, повторял:

— Как же так? Что же делать? Ведь разор. Понимаешь, разор да и только.

— Еще не разор и беда невеликая, — спокойно ответил Тимофей.— А чтобы не разориться вконец, тебе надобно «умереть»

— ?!..

— Умереть для хутора. Смыться.

— Да ты что, спьяна или сдуру?

— Не понимаешь?

Увидев на обрыве Павла и Анку, Тимофей наклонился к Урину, сказал на ухо:

— Поезжай в город к Филатову, скажи, какие порядки у нас. Договорись с ним насчет приемки и место изберите, куда подвозить рыбу. А тут я один управлюсь.

— А как же с домом?

Тимофей нахмурился.

— Бросить все. Лучше дом потерять, чем последних штанов лишиться. Хватит, не место здесь толковать о таких делах,— и повернулся к сыну.

Павел хотел уйти, но Анка удержала его:

— Боишься?

— Нет,— и выдернул руку.

Тимофей подошел вплотную, криво улыбаясь. «Сука»,— поглядел он на Анку, а вслух сказал:

— Довольно праздновать, отгулялись, голуби. Ступай, сынок, в совет, договор подпиши. Нынче выходим в море...

Перед вечером бронзокосцы всем хутором вышли на берег. Рыбаки грузили подчалки сетями, бочонками с пресной водой, продуктами и отвозили к баркасам, стоящим неподалеку на якорях.

Тимофей перекрестился, обнял мать:

— Пора,— и пошел к подчалку.

Павел наскоро поцеловал бабку, украдкой взглянул на Анку и широко зашагал вслед за отцом. Он был в новых высоких са-

погах с отворотами. Широкий красный пояс пятью накрутами обхватывал его стан. Прыгнув в подчалок, Павел снял широкую шляпу, помахал в сторону берега, улыбнулся. Над головой Анки затрепетала красная косынка. Тимофей высадил сына на меньший баркас и причалил к «Черному ворону».

Панюхай щурился на море, ворчал:

— Людям разгул да воля, а тебе каторга на берегу. Уважил человек ниткой, так нет же, поганка, отнесла.

Анка улыбнулась, обняла отца за плечи, намереваясь утешить его, но Кострюков толкнул ее в бок, заторопил:

— Удержи его. Не пущай. И себя и баркас погубит... Скорей, а то отчалит...

На берегу, возле подчалка, раскачивался на нетвердых ногах пьяный рыбак. Возле него всхлипывала жена, тянула за полу:

— Да куда же ты?.. Погоди... Грех может случиться...

Рыбак мотал головой, ронял картуз.

— Ни-и-икакого греха... Ни-и-икак...

Задрал к небу голову, запел:

— Ты, баркас-с-сишка,
Натянутый парус...
Вези туда-а нас,
Где ры-и-бий ярус...

Потеряв равновесие, пошатнулся, упал спиной на руки жены. Потом, сделав усилие, рванулся вперед, заковылял к подчалку, споткнулся. Анка подхватила его.

— Назад. Домой ступай.

Рыбак выкатил глаза, зубами заскрипел.

— Баба!— взревел он.— Уйди!— Крепко выругался, ткнул Анку кулаком в грудь и, пятясь, повалился в воду.

Товарищи вытащили его за ноги и, бросив в подчалок, отъехали от берега. Он покрутил головой, отфыркнулся и опять хрипло затянул:

— Ты баркас-с-си-шка,
Распу-у-щены гиты...
Вези туда-а-а нас,
Где сетки погии-и-бли...

Кострюков сошел вниз.

— Стой! Велю всем на берег возвернуться на поверку. Пьяных не пущу. Не пущу!

Вскипел Тимофей. Загреб в рот бороду, не разжует никак, стал на корму, поднял руки, вращая вокруг глазами:

— Братцы!..

Рыбаки смолкли. Настороженно притих берег.

— Где мы? На берегу или на воде?

— На воде-э-э-э!

— Кто ваш ловецкий атаман?

— Ты-и-и-и!

— Кому вы должны повиноваться?

— Тебе, Тимофей Николаич!

— Ставь паруса!— приказал Тимофей, снимая с головы картуз.

Глухо заскрипела рея, взметнула просмоленный парус. Судорожно затрепетал у носовой части кливер, выпукло вздулся и замер. Качнувшись, «Черный ворон» круто лег на бок. Его подхватили волны, увлекая вдаль.

— С богом! — перекрестился Тимофей, стоя у руля.

Вслед «Черному ворону» дружно замахали крыльями парусов остальные баркасы.

Кострюков сердито посмотрел на Анку.

— Что же ты глядела?— упрекнул он ее и пошел наверх.

Навстречу ему бежала в сапогах и брюках Дарья. Она сунула под платок выбившиеся волосы, тревожно проговорила:

— Что теперь делать? Григорий опять натрескался. Не добудишься его.

Кострюков обрнулся и только теперь заметил одиноко дремавший у берега баркас Васильева. Усмехнулся невесело, покачал головой:

— Опять...

— Я одна пойду в море,— решительно сказала Дарья.

— Погоди,— остановила Анка.— Отец! Поезжай с Дарьей. Григорий заболел.

Панюхай повел носом:

— Не желаю на чужом. Мы к своему привыкшие.

На берегу топтался, с сумкой на спине, отставший сухопайщик. Он дымил глиняной трубкой и с досадой поглядывал вслед уходившим в море баркасам.

— Отстал, что ли?— окликнул его Кострюков.

— Малость задержался, и вот... Теперь Тимофей Николаич в обиде будет на меня.

— Желаешь в море?

— Да как же не желать...

— Езжай с Дарьей. Свою долю получишь сполна.

Сухопайщик, обрадовавшись, прыгнул в подчалок...

...Проснувшись, Григорий окликнул Дарью. Вышел во двор, заглянул в сарай. Ни Дарьи, ни сеток. До крови прикусил губу,

бросился к берегу. В конце улицы, на повороте, столкнулся с Кострюковым. Скользнул растерянным взглядом по сторонам, сгорбился и стыдливо опустил голову.

— Поздно... Не догонишь...— холодно бросил на ходу Кострюков.

Григорий поднял глаза. Последний луч солнца упал на воду, и его захлестнуло волной. Баркасы уплывали к синеющему горизонту.

VIII

Плотные весенние сумерки мягко ложились на воду.

Щекотной свежестью струился с востока Грега, будоражил море. Волны шумно табунились вокруг баркаса, звонко шлепались о борта.

Дарья налегала на румпелек, выпрямляла баркас. Оборачиваясь, подолгу смотрела тоскующими глазами на бледные огоньки хутора, мерцавшие вдали.

«Сгубился человек. Дурной болезнью захворал...» Перед глазами маятником качается мокрое, с перекошенным слюнявым ртом лицо Григория, от которого несет хмельным перегаром. Она чувствует тошнотворный запах водки, содрогается. Полынной горечью сушит сердце обида, подкатывает к горлу. «Всегда были вместе... Теперь одна... Зачем же так?» Она опять оборачивается, щуря полные слез глаза. Пьяно качаются едва видимые огоньки, тонут в густеющей сумеречи.

Дарья вздохнула. «Что поделаешь... Придется самой», и к сухопайщику:

— Засвети фонарь. Смерклось.

— Погоди!— отозвался он, роясь в сумке и звеня посудой.— Ветерок свежает, продрог малость.

Дарья насторожилась.

— Ты что делаешь?

— Греюсь,— спокойно ответил сухопайщик.

Бросив руль, метнулась к нему:

— Не смей пить водку!

— Чего боишься?— Он отстранил ее.— Рыбачкой прозываешься, а порядка не знаешь. Наш брат и до ветру с водочкой ходит, а как же в море без нее обойтись? Эх, ты...— и потянул из горлышка.

Дарья вырвала литровку, швырнула в море.

— Не смей, говорю тебе! А то к берегу поверну,— и села у руля.

От неожиданности сухопайщик на мгновение растерялся. Развел длинными руками и ни слова не промолвил, но глубоко затаил обиду. Надел винцараду, зажег фонарь, прикрепив его у носовой части баркаса, задымил трубкой. В неярких ее вспышках Дарья видела, как зло горели припухшие глаза, сверлом вгрызались в нее,— и чувствовала зябкую, передергивающую тело дрожь.

«Или вправду к берегу поворотить?»— колебалась Дарья, поглядывая на молчаливого спутника. Но, заметив, что неподалеку лучисто заморгали огоньки, приободрилась, крепко налегла на руль, крикнула:

— Наши!..

Баркас вскинул носом, нырком врезался в волну и, подпрыгивая, быстрее устремился вперед. Огоньки плыли навстречу, становились ярче. Казалось, они неподвижно висели в воздухе вровень с мачтой баркаса. Глазами и мыслями цеплялась за них Дарья, подгоняемая желанием скорей добраться до ватаги рыбаков, поставить сети. Молчание и сверкавшие злостью маленькие хорьковые глаза сухопайщика породили в ней тревогу, ей не хотелось оставаться с ним наедине в открытом море. Ходили о нем недобрые слухи, будто не раз преследовал он девушек и женщин и будто подгорные рыбаки не раз сильно избивали его за это. Чувство одиночества острой болью сжало сердце. Вдруг вскинула голову, застыла в испуге. Впереди отрывисто взревела сирена, шумно заплескалась вода, послышался равномерный перестук машины. Огни брызнули ослепительным светом; Дарья круто повернула руль, с отчаянием крикнула:

— Брасуй парус! Живо!..— и кувыркнулась к ногам сухопайщика.

Вздуваясь, парус перемахнул на другую сторону. Баркас накренился, рванулся вправо. Сильный удар волны в борт едва не опрокинул его. С парохода донесся свисток капитана, засуетились матросы, на борту повисли любопытные пассажиры. Смолкла машина, и запыхавшийся пароход остановился.

— Эй, кто там! Без урона обошлось?

— С благополучием!— откликнулась Дарья, облегченно вздыхая.

Через минуту пароход со свистом выдохнул пар и зашлепал по воде широкими лопастями веерных колес...

К полуночи ветер стих. Застрявшая где-то в темноте туча густо сеяла по морю теплые водяные зерна. После долгих поисков

рыбачьей ватаги усталая и промокшая до озноба Дарья решила остаться одна. Измерив шестом глубину, надела на кочеты весла, опустилась на сиделку, поставив возле себя фонарь.

— Брюляй парус и сыпь сетки. Видать, не найти наших ребят,— вполголоса сказала она.

Сухопайщик повалил рею, собрал парус, закрепил гитами. Дарья повела баркас на веслах, временами останавливаясь, а сухопайщик осторожно, но быстро перебирал сети, переносил за борт и грузилами опускал в воду. За кормой баркаса наборным поясом тянулся шмат. Сухопайщик скользил, путался ногами в сетях и, падая, грудью наваливался на борт. Дарья упиралась веслами в воду, задерживала баркас. Кряхтя и кашляя, рыбак становился на ноги, молча продолжал работу. И лишь после того, как поставил последнюю перетягу и посадил на якорь буек, глухо проговорил:

— Готово...

Дарья выпустила из рук весла.

— К берегу пойдем? Что-то и конца не видать дождю.

— Можно и тут переночевать. Для нашего брата это пустое дело.

Отчалив немного в сторону, бросили якорь, стали готовиться к ночлегу. Дарья достала из-под чердака сухой брезент и, укутавшись в него, легла на корме. Сухопайщик опустился на сиделку, закурил трубку, понурил голову. Капли дождя дробно стучали по брезенту; клонило ко сну. Но Дарья не спала. Зевая и потягиваясь, переворачивалась с боку на бок, упорно боролась с дремотой. С сиделки все чаще и чаще доносился усиливающийся кашель, беспокоил ее. Откинула краешек брезента, высунула голову. С сожалением взглянула на рыбака.

— Чего трусишься? Гляди, роба вся промокла. Иди под брезент.

Сухопайщик вскочил, недоверчиво посмотрел в сторону Дарьи. На корме помедлил минуту, осторожно прилег возле Дарьи, потянул на себя брезент. Лежали молча, отвернувшись в стороны. Вскоре сухопайщик заелозил ногами, перевернулся на спину, уперся локтем в бок Дарьи. Та отодвинулась, проворчала что-то сквозь дремоту. Сухопайщик повернулся к ней лицом, прижал руку. Дарья рванулась, привстала:

— Не дури. Григорию скажу.

— Не могу... Невтерпеж мне...

Обхватил поперек и, крепко прижимая к себе, в безумстве застонал:

— Не могу. Не могу я...

Упершись руками ему в подбородок, Дарья по-кошачьи изогнулась, с силой двинула ногами в живот. Он разжал руки, откинулся назад, скатился на сиделку.

— Не трожь, говорю, а то за борт скину. Не смей дурить!

Бросила ему винцараду, накинула на себя брезент, села и, поджав ноги, положила на колени голову. Рыбак пошарил руками по мостку, подобрал кусочки разбившейся глиняной трубки, пополз к носовой части, ворча:

— Лучше б сердце мое разбила... Как же без трубки теперь?

— Сказывала тебе, не дури,— бросила вслед Дарья.— Коли невтерпеж стало, женой обзаведись.

С чердака послышался отрывистый смех, похожий на тихое всхлипывание.

— Женой... Двадцать лет шукаю себе жену, и никто не желает меня. Никто... Даже самая поганая баба и та...

— Отчего так?

— По молодости слабосилием страдал. Ну, и разнеслось по всей округе, что порченый я. В другие края думал уехать,— не могу, сил не хватает бросить хутор. Прирос к этому берегу.

— А я слыхала, что дурную жизнь ведешь ты.

— Бабы сказывали?— и опять послышался странный не то плач, не то смех, от которого холодело сердце.— Дурную жизнь... Сорок лет мне, а я еще бабьей ласки не изведал... Так же хочу ее, как и все люди, а вот не изведал... Не знаю...— он уронил на руки голову.— Ни у кого жалости ко мне нету...

— Ну, и я дурить не позволю. У меня муж есть. Хочешь, ложись под брезент, только без баловства.

Рыбак молчал, подергивая острыми плечами.

«Плачет»,— подумала Дарья и окликнула еще раз. Не дождавшись ответа, завернулась в брезент и, согреваясь дыханием, крепко уснула.

На рассвете рыбак помял кулаками вспухшие глаза и по привычке сунул руку в карман. Вынув глиняные осколки, пропитанные едкой табачной гарью, подержал на ладони и выбросил в море, матерно обругав Дарью. Достал из-под сиделки припрятанную поллитровку, в несколько приемов высосал водку, подошел к Дарье и грубо сорвал с нее брезент. Предутренний морской ветерок защекотал ей лицо, перехватил горло, отогнал сон.

— Вставай! Пора сетки трусить.

Приподнявшись на локтях, Дарья огляделась. По небу уплывали на север две небольшие тучки. Неподалеку от баркаса подпрыгивал на пенистых бурунах согнувшийся коромыслом буек, взмахивал красным треугольником флажка. В километре от них

тяжело покачивались перегруженные рыбой баркасы хуторян, направляющиеся к берегу. Впереди шел «Черный ворон», резал белым кливером воздух.

Возле буйка кружилась стая прожорливых мартынов, жадно выслеживая добычу. Они стремительно бросались вниз, бились над водой, выхватывали рыбу, запутавшуюся в сетях близко к шмату, в воздухе разрывали ее в клочья и уничтожали в одно мгновение, дико, пронзительно крича.

— Время и нам сплывать,— спохватилась Дарья и стала торопливо подымать якорь.— Живее греби веслами, а то не поднять его так.

Увидев приближающийся баркас, мартыны взметнулись выше и закричали сильнее, недовольные появлением людей, отнимающих пищу.

«Стало быть, на косяк напали»,— порадовалась про себя Дарья, предугадывая хороший улов, и заторопила рыбака. Но у того вяло двигались руки, падали весла. Под ногами зазвенела бутылка, покатилась на мосток.

— Откуда это?— удивилась Дарья, бросая руль.

— Не суйся!

Сковырнула его с сиделки, глубоко погрузила весла, сама повела баркас.

— И к черту. Не желаю батрачить.

— Не желаешь грести, у руля садись. А то покличу ребят, пока близко, и без твоей помощи обойдусь.

Сухопайщик украдкой взглянул на проходившие мимо баркасы, поворчал сердито и крепко зажал в руке румпелек.

Поравнявшись с буйком, Дарья перегнулась через борт, потянула за шмат. В сетях тревожно забилась рыба, вырывая из рук Дарьи унизанную шматом хребтину перетяги, а ей показалось, будто ее кто-то дернул за сердце.

— Чебак бунтуется!— невольно вырвалось у нее.— Айда трусить.

Рыбак сбросил с плеч винцараду, засучил рукава, потянул сеть. Изгибаясь и отсвечивая в лучах показавшегося из-за горизонта красного, как маковый букет, солнца, чебаки бились в испуге, плескались и еще больше запутывались в сети.

Дарья, помогая сухопайщику, перетягивала сети в баркас, выбирала улов, сыпала на мосток. Баркас быстро заполнялся рыбой, заметно погружался в воду. Рыбак работал усердно, без передышки. Боковой ветер, усилившийся с восходом солнца, гнал раскатистые буруны, разбивал их о борт, сотрясая баркас. Скользя и падая, сухопайщик молча подымался и продолжал работать

с еще большим ожесточением. Последнюю сеть перебрал сам, не допустил Дарью. Та с застывшим на лице удивлением наблюдала за ним.

«С чего бы это он подобрел так?»

Весь мокрый от воды и пота, без шапки и в расстегнутой рубахе, подошел вплотную к Дарье и, подымая в тяжелом дыхании плечи, исподлобья уставился на нее мутными, как матовые стеклянные шарики, немигающими глазами.

— Насчет сеток желаешь спросить? Пущай остаются. Завтра заберем на берег и просушим. Станови парус.

Сухопайщик усмехнулся, покачал головой:

— О другом я.

— О чем? Машинбу поставить? А я и забыла. Непременно надо, а то волной захлестнет.

— Ласки мне твоей хочется. Всегда буду помогать и вот так работать, только жалость ко мне поимей.

Дарья отошла к рулю, оглянулась в сторону ватаги.

— Опять начинаешь? Не смей, а то закричу. Станови парус.

— Не поставлю...— и, приблизившись, схватил ее за плечи.— Издеваешься? Значит, не человек я? Не человек?

— Уйди!

— Не уйду. Не уйду-у-у!— взревел он и повалился на Дарью.

Дарья подставила ногу, толчком в грудь швырнула его с кормы. Сорвала с головы платок и, размахивая им, истошно закричала рыбакам. Повернулась к обидчику, трясясь от негодования:

— Григорию скажу... Нет, всему хутору скажу... Всем скажу.

Сухопайщик встал, повел вокруг налитыми кровью глазами. На лице его, одежде и сапогах мокрыми снежинками сверкала цинковая рыбья чешуя. Ветер сек по лбу мокрой прядью волос, теребил отворот рубашки. Дарья не переставала кричать о помощи и, стуча босыми ногами о корму, грозила сухопайщику:

— Вот и скажу. Все равно скажу. На весь хутор осрамлю.

Заметив, что от ватаги отделился баркас и направился к ним, сухопайщик поспешно развязал трясущимися руками гиты, поднял парус и, блестя обезумевшими от бешенства глазами, брызгая слюной, закричал нечеловеческим голосом:

— Брешешь! Не скажешь! Не осрамишь!— и, брасуя парусом, повел баркас между бурунами, уходя от приближавшихся рыбаков. Выждав момент, когда огромный бурун подкатился вплотную, он сильно накренил баркас и прыгнул на борт.

— С ума спятил, что ли? Погоди ты!— вскрикнула Дарья, выпуская румпелек.

Волна хлестнула через борт, взбудоражила еще не уснувшую

рыбу. Баркас лег на бок и погрузил в волны сопротивлявшийся парус. Взмахнув руками, Дарья сорвалась с кормы и рухнула в воду. Вынырнув, огляделась, но баркаса и сухопайщика не увидела.

— Погибли!— сорвалось с ее посиневших губ, и Дарья поплыла навстречу спешившему к ней баркасу. Руки и ноги быстро коченели в холодной воде, рубашка и шаровары свинцовым панциром облепили тело, тянули ко дну.

Чувствует Дарья: иссякают силы, не доплыть до баркаса, не поспеет помощь,— и еще сильнее стынет тело от зябкого ужаса, мутится рассудок. «Лечь на спину... Легче будет...»— думает она и переворачивается лицом вверх. Потом снова переворачивается и, напрягая последние силы, плывет наугад. Что-то ударило об ногу. Попробовала пальцами — бугор!— и ступила обеими ногами на подводную отмель. Буруны толкали ее в грудь, срывали с места. Дарья слышала, как шарахнулись мартыны, вспугнутые человеческими голосами, но ничего не видела. Она качалась из стороны в сторону, загребая под себя воду. Но вот песчаный бугор под ногами заколебался, рассасываемый водой, стал быстро таять, и ее потянуло вниз, а потом подхватило волной, отбросило далеко и ударило головой обо что-то твердое, как камень.

— Куда же ты правил? Ах, раззява... Килем голову расшиб. Вот беда...— словно сквозь глубокую дрему услышала Дарья и, когда ее за волосы потянули на баркас, лишилась сознания.

IX

Появление на хуторе полуторатонного грузовика было событием для ребятишек. Завидев его у кургана, мальчишки опрометью бросились на окраину, взвизгивая и кувыркаясь один через другого. Возле клуба они стеной преградили машине дорогу, и она остановилась. Большинство ребят ни разу не бывало в городах и видело автомобили только на картинках. Дети с огромным интересом осматривали грузовик со всех сторон, припадали грудью к земле, заглядывали под кузов, ковыряли ногтями резиновые шины, ощупывали радиатор, похожий на пчелиные соты, обжигали руки. Желая, видимо, удовлетворить любопытство ребят, шофер, улыбаясь, помедлил немного, а потом спросил:

— Где сельсовет помещается?

— Вон там, посеред хутора, где тополь растет,— дружно от-

ветили малыши.— Айда за нами, покажем,— и вперегонки пустились по главной улице, поддерживая спадавшие штанишки.

Возле совета стоял представитель треста, возмущенно хлопал себя по бедрам. Когда подъехала машина, он раздраженно обратился к шоферу:

— Почему так поздно? Ведь это же безобразие! Они знают там, в тресте, во сколько обошлись мне подводы? Они знают, сколько пропало рыбы? Вон, под яр сваливаем...

Из кабины спокойно вылез среднего роста худощавый человек с приплюснутым носом, одетый в порыжевшую и залубеневшую от времени кожаную куртку. Слегка прихрамывая и кивая головой, приблизился к представителю треста.

— Винить некого и не за что. Машины обслуживают все рыболовецкие точки побережья нашего района. Не имея передышки, часто требуют ремонта. Вот и задержка получилась.

— Нет, это недопустимо! Сколько рыбы погибло! Поеду в город, я их!..— не переставал горячиться представитель треста.— Сорочо́к и нитки привезли?

Шофер утвердительно кивнул головой. Представитель треста вспрыгнул на подножку, сел в кабину.

— Держите прямо. Поедем на пункт.

Машина вздрогнула, судорожно затряслась и задымила по улице сизым перегаром бензина. Следом за ней с криком и свистом бросились ребятишки, и вскоре улица опустела.

На крыльцо совета вышел Душин. Увидев неизвестного, приподнял картуз, приветливо сказал:

— Доброго здоровья вам. Откуда вы и зачем?

— Я Жуков. От окружкома партии. А вы председатель совета будете?

— Нет, секретарь. Председатель в районе и вернется к вечеру.

Жуков кивнул головой и задумчиво уставился в землю.

— А может, дома он?

Душин высоко поднял плечи:

— Едва ли. А то гляди, вернулся, может быть, и дома,— и, сойдя с крыльца, добавил:— Пойдемте к нему. Тут недалеко.

У обрыва Жуков остановился. Его внимание привлекла широкая яма, из которой выплескивалась перемешанная с песком глина. Евгенушка и Анка поддевали ее лопатами, отбрасывали в сторону. Жуков и Душин направились к ним.

— Что вы делаете, товарищи?

Анка задержала на весу лопату, обернулась.

— Чем занимаетесь, спрашиваю?

— Могилу роем.
— Зачем?
— Рыбу тухлую хоронить,— вставила Евгенушка, блеснув глазами.
Из ямы высунулись Дубов и Зотов. Дубов, поглядев на Жукова, прижмурил красные веки и махнул рукой:
— Это уже третий такой субботник справляем. Разве вы не знаете?
Не выдержал и Зотов:
— Полторы тысячи пудов добра угробили. Рыбалки из моря качают рыбу, а мы только и знаем, что в землю закапываем.
Жуков вопросительно уставился на Душина.
— Хранить негде,— поспешно ответил Душин.— Так, понемножку, кое-где, в сараях рыбалок... А тут еще в подводах большая нехватка. Вот и...
Анка, вонзив в глиняный бугор лопату, перебила Душина:
— Хранить есть где. Вон сарай с ваннами для рыбы и ледником. Всю весну пустует.
Жуков ощупал глазами длинный каменный сарай под железной крышей, спросил:
— Чей?
— Рыботорговца Урина, что целый век даром загребал на хуторе рыбу. А наши теперь бояться воспользоваться ледником.
— Где он сам?
— Скрылся.
Жуков вынул записную книжку, записал что-то и направился вниз. Его догнала Анка.
— Вы откуда, товарищ?
— Из округа.
— Так вот: у нас еще один богатей имеется, по фамилии Белгородцев. Всю бедноту к рукам прибрал подачками разными. Путина еще не кончилась, а рыбаки бросили лов, на берегу гуляют. Белгородцев днем и ночью спаивает их водкой. Так вот, чтоб знали вы.
— Хорошо, хорошо,— и карандаш опять забегал по листку.
Кострюкова дома не оказалось. Возле его халупы, метрах в десяти от берега, на подчалке сонно покачивался Панюхай. На носу подчалка висела сапетка, касаясь донышком воды, а поперек борта лежали два коротких удилища с поднятыми вверх острыми концами. Неподалеку ядренными вишнями горели в мелкой зыби красные пробочные поплавки.
— Тоже рыбак?— поинтересовался Жуков.
— У берега бычков ловит, а в море боится выходить,— отве-

тил Душин и окликнул:— Ну как, дед Панюхай, рыба дюбает?

Панюхай поправил сползший на лоб платок и, сощурившись, затрусил бородкой:

— А чтоб ее батьку так дюбало. Поцмыкает, поцмыкает и бросит. А тут зло тебя берет, за печенку дергает.

— Почему в море не выезжаете?— спросил, кивнув головой, Жуков.

— С чем? Со штанами дырявыми? Много наловишь.

— С сетями выезжают на лов.

Панюхай горестно вздохнул:

— А где их взять? Дожились — ни сеток, ни шматка ниток. Да людей славных, что век нас кормили, из домов выгоняем. Эх, зря...

— У нас еще никого не выгнали,— возразил Душин.— А нитки на сети ты можешь хоть нынче получить. Привезли из города.

— Ты мне губы не мажь. Хватит с нас брехни вашей.

— Вам правду говорят, что можно получить...

— Да,— перебил Панюхай Жукова,— фигу можно получить...— и показал фигу.— Я, чебак не курица, рыбалка старый и подсекать сомов ловко умею. А сам на крючок не пойду. Меня не подсекешь!— Заметив, что Жуков закивал головой, он смолк, вытянул шею.— Ага! Стало быть, правду сказываю? Согласен? То-то. Перебьемся сами как-нибудь. Вот подсеку на котел, и хватит с меня.

Он потянул за удилище, сменил на крючке наживку и проворчал:

— Хоть один понятливый человек сыскался. Сразу в толк взял, что правду ему сказывают.

Жукову хотелось одному отправиться к рыбакам, побеседовать с ними, и он, найдя предлог, отослал Душина в совет, а сам пошел берегом. Увлеченные горячим спором, рыбаки не заметили подходившего к ним Жукова. Они энергично жестикулировали, матерно бранились, порывались с кулаками к Тимофею. Павел брал их за шиворот, оттаскивал в сторону, спокойно говорил:

— Не трожь. Если в обиде какой, в суде обжалуй, а бить отца не дозволю.

— Да что же мы, только на него работали? Где же доля наша?

— У государства. Видали, почем за кило платят? — Тимофей тряс договором.— Видали? И с меня шкуру дерут, молчу же. Это прежде, когда хозяином своему улову был, платил вам, сколько хотели. А теперь что есть — и то слава богу.

— Так и выходит, что тебе да богу, а нам и хвоста не достается?

— Не моя воля,— развел руками Тимофей.— Советская...

— Да ты хоть бы в расходах на кумань поуступчивей был, и то легче нам будет. Ну как же так?

— Нет, не желаю разорять себя. Не угодно работать со мной, воля ваша. Других сухопайщиков возьму. Хватает их. Отбою нет.

— Ах, ты вот как?— и, ударом ноги расшвыряв пустую, из-под водки, посуду, один из сухопайщиков ринулся на Тимофея.

Павел заслонил отца, скрутил сухопайщику руки.

— Говорю тебе, если что имеешь, обжалуй в суде.

— Правильно!— поддержал, подходя, Жуков.— Подавай в суд жалобу. К чему драку устраивать?

Сухопайщик круто обернулся к Жукову:

— А тебе что? Убирайся к...

— Не горячись!— оборвал его Жуков.

Тимофей иначе обошелся с Жуковым. Увидев на нем наган, закусил бороду, сказал:

— Бунтарь. За мой кусок хлеба и в морду плюет. Народ неблагодарным стал,— и вздохнул.

— За что плюет?— спросил Жуков, кивнув.

— За то, что кормлю их...

Сухопайщики обступили Жукова и стали наперебой жаловаться на Тимофея: мало платит за работу, бессовестно обманывает их. Тимофей возражал, дергал за руку Жукова:

— Брешут, хамлы. Брешут. Совесть-то ваша где?

Жуков слушал Тимофея и сухопайщиков, изредка кивая головой. Тимофей недоумевающе посмотрел на него, подумал: «Чудак, что ли, какой? Вроде и нашим и вашим...»

— Видать, пьяный?— зашептали и сухопайщики; переглянулись, смолкли.

Жуков улыбнулся.

— Как раз непьющий. Контужен — это да. А вот почему вы пьянствуете и не выходите в море?— плотно сжал губы и строже:— Почему?

— А зачем ловить? Мы рыбку из воды, а они ее в землю.

— За это их и вас к ответу надо. Сберечь не умеете.

Переминаясь с ноги на ногу, как бы невзначай уронил Тимофей:

— Спокон веков двадцатого мая кончаем лов. Отцами нашими установлен такой порядок. Не от нас он идет.

— Значит, по старому порядку бросаете, а не по тому — кончилась путина или нет? Так, что ли?..

Жукову никто не ответил. Он отвел в сторону сухопайщиков, поговорил с ними, быстро исписал с обеих сторон листок записной книжки, прочел им.

— Ну, как?

Сухопайщики помялись.

— Чего ж молчите? Правильно написано?

— Правильно,— отозвался один.

Остальные подтвердили кивками.

— Подпишите.

После минутного колебания сухопайщики расписались. За спиной Жукова кашлянул Тимофей. Он беспокойно жевал ус, стреляя прищуренными глазами на бумажку через плечо Жукова. Жуков обернулся, пристально посмотрел в глаза Тимофею и, оседая на ногу, быстро направился в хутор.

Разыскав представителя треста, спросил:

— У вас ведется учет сдачи рыбаками улова?

— Непременно. А как же...

— Покажите...

Летом 1920 года у Бронзовой Косы высадился десант белоказаков под командой генерала Назарова, взволновал побережье. Из рыбацких поселков шли смельчаки, объединялись с рабочими, организовывали боевые дружины, преследовали назаровцев, совершали налеты, беспокоили их. Не усидели дома и партизаны гражданской войны — Кострюков с женой и Григорий Васильев — ушли с партизанским отрядом. В отряде Кострюков подружился с одним рабочим металлургического завода. Он командовал взводом, был храбр в бою. Как-то на одном хуторе их взвод захватили назаровцы. Жену Кострюкова изнасиловали на его глазах и зарубили шашкой, а его как казака решили казнить вместе с командиром взвода — рабочим. Их привязали к тесовым воротам, били по головам ножнами шашек, секли по лицам плетьми. И когда назаровцы успели выколоть глаз Кострюкову, а комвзводу порвать щипцами ноздри и прострелить руку и ногу, подоспела красная конница, отбила их. Они попали в разные госпитали, вылечились в разные сроки и больше с тех пор не встречались. И вот, на десятом году разлуки, судьба столкнула их на Бронзовой Косе.

...Встретив возле совета Жукова, Кострюков долго смотрел на него красным от бессонницы глазом, дергал себя за нос, хмурился. Потом медленно развел руки и бросился к Жукову:

— Жуков... Жуков... — твердил он, крепко прижимая к груди старого друга. Отстранил его от себя, посмотрел еще раз, притянул, поцеловал.— Вот уж не думал, не гадал...— и, прослезившись, пряча от него глаз, схватил за руку, поволок за собой.— Вот уж не думал никогда... Вот встреча-то...

Широко шагая, Кострюков часто оборачивался, будто боялся потерять прихрамывающего друга, и все бормотал:

— И в думках не держал... Вот уж, право, и не думал...

Жуков, приготовившийся «крыть» председателя, решил отложить это на завтра и, беседуя с ним, улыбался, охотно отвечал на вопросы. Видя, что Кострюков изнемогает, борясь с дремотой, он похлопал его по плечу:

— Давай спи, дружище, а завтра утречком потолкуем.

Кострюков согласился и не раздеваясь бросил на пол пиджак и подушку, а Жукову указал на кровать. Перед тем как лечь, Жуков спросил:

— Труп жены сюда привез?

— Нет. На том хуторе лежит. Времени не было, а теперь, видать, сгнила. Да... пожалуй, сгнила...— зевнул и вяло добавил:— А Васильева помнишь? Спился парень... Па-а-губа... напала...

— Слышал, слышал. Беда, ребята. Бить вас следует. Крепко бить.— Жуков помолчал и, укладываясь, спросил: — Отчего же он свихнулся?

В ответ раздался храп; Жуков улыбнулся и натянул на себя одеяло.

X

Утром крупной зыбью закурчавилось проснувшееся море. Золотистые, еще не греющие лучи восходящего солнца вонзились в песчаный берег, заглянули в окошко, зайчиками заиграли на чисто выбеленных стенах, забегали по кровати и земляному полу.

Жуков нервно зашевелил ноздрями, изогнул брови, открыл глаза и сейчас же зажмурился, заслонив ладонями лицо, пряча его от шаловливо щекочущих лучей. Сбросив одеяло, встал, огляделся и начал одеваться. То, что в комнате, кроме скрипучей кровати, стола, покрытого газетами, и длинной скамейки, притулившейся к стенке, ничего не было, прошло мимо его внимания.

Заметив на столе пожелтевшую фотографию, потянулся к ней и, встретившись со смелым решительным взглядом широко открытых серых глаз жены Кострюкова, сказал вслух:

— Как живую вижу перед собой. Хорошо помню. Настоящий герой. Только смерть-то какая... Подлецы...— И, глядя в окно, кивнул взлохмаченному морю, судорожно сжав рукой спинку скамейки. Услышал за дверью шаги, обернулся.

С порога ему улыбался Кострюков, облизывая деревянную ложку.

— Проснулся? А я шорбу из осетрины сварил. Уважаешь?

— Даже очень.

— Пойдем на воздух. Прямо из котла будем есть. Вот тебе ложка.

Завтрак проходил молча. Кострюков старался поймать взгляд Жукова, но тот или опускал глаза вслед за ложкой в котел, или обращал их к морю, медленно работая челюстями. Не выдержал Кострюков, прервал молчание:

— Рассказывай, как попал сюда... Вот встреча-то...

— Такая встреча, какие бывают на фронтах. Где плохо, там и встречаемся. На вашем участке тоже прорыв, вот и послали меня к вам.

— Как это в голову взять?— обиделся Кострюков.

— А так, что волыним. Волыним, дорогой мой,— и, швырнув в котел ложку, Жуков встал.— Разве это не волынка — начать путину в конце апреля?

— Погоди, Жуков. Договорá с трестом задержали...

— Брось глупости говорить. Если договорá задержали таких, как Белгородцев, то почему коммунисты не выходили в море? Почему?.. — и, махнув рукой, продолжал спокойно: — На фронте героями были, а вернулись домой — поразмякли, опустились, плесенью обросли. На ветерок бы вас свеженький, чтобы до костей пробрал, может и отошли бы.— И опять загорячился:— Рабочие промышленных центров творят чудеса в работе, им тесно в рамках намеченных планов, они расширяют, перевыполняют их, а вы что сделали? Вы, кормильцы? Я чуть не сгорел со стыда, когда заглянул в сводку. За март ничего, за апрель дали семь процентов задания и за май пятьдесят три. За июнь тоже ничего не будет, потому что еще живы у вас дедовские традиции и рыбаки свернули сети. Значит, путина сорвана?

— Я один... Совсем один... Не под силу мне...

— И виноват только ты. Один ты.

Кострюков хотел возразить, но Жуков перебил его:

— Тебе дали в руки власть, значит, надо было управлять хутором, а не распускать народ. Кто испортил Васильева? Ты. Не одергивал вовремя, поблажками баловал, не наказывал. Кто виноват в срыве путины? Ты. Не подготовил рыбаков к выходу в

море, когда следовало, и сейчас они пьяными валяются у тебя на берегу.

— Погоди! — поймал его за руку Кострюков. — Стало быть, во всем виноват я?

— Да. Во всем!

— Ты перехватил.

— Нет. И в том виноват, что рыба тухнет и ее сваливают в яр. А рабочие ждут, надеются на вашу поддержку.

— Тухнет потому, что ее хранить негде, а трест вовремя не забирает.

— Есть где. Сарай и ледник сбежавшего рыботорговца Урина. Ведь пустует же он?

— А если он вернется?

— Душа из него винтом. Взять. Взять! — и, рассекая ладонью воздух, отрывисто бросил в лицо Кострюкову: — За ши-во-рот его из ху-то-ра... Са-рай... взять... Со-хранить ры-бу... Выш-вырнуть Бел-го-род-цева... и всех... кто подпевает им... Да... Это мы сделаем. Теперь насчет приказа: без договоренности с трестом рыбу не ловить. Администрируешь ты, брат. Подготовительную работу провел? Нет. Думаешь, так: приказал — и баста? Загибаешь, Кострюков. Ой, загибаешь! — Жуков, судорожно хватая ртом воздух, пошел вдоль берега. У ног шелестела вода, булькала, звенела. Он зачерпнул пригоршню, смочил голову.

— Давай скупаемся. Вода свежая, для нервов хорошо, — предложил Кострюков.

— Ладно.

Кострюков разделся и с разбегу бултыхнулся в воду. Вынырнув, потряс головой и, обнимая волны, поплыл вглубь, выпуская изо рта длинные струйки воды. Перевернулся на спину, заработал ногами и, оставляя позади себя пену, повернул к берегу.

Жуков, войдя по коленки, сгорбился зябко приподнял плечи и быстро окунулся. Прохладная и мягкая, как шелк, вода окутала его тело, приятно защекотала. Улыбаясь и подпрыгивая, по-детски захлопал руками, осыпая себя брызгами.

— Хорошо? — спросил Кострюков.

Жуков кивнул головой и вдруг, задержав руки, испуганно повел глазами. Потом шарахнулся на берег.

— Чего ты?

— Не гадюка ли? — он показал на змеевидную полосу на воде, вблизи берега.

Кострюков кинулся вслед, зашлепал об воду ладонями завертелся — выбросил на берег сверкающего получебака, размером в кисть руки.

— Это больная рыба. У нее в желудке завелся глистяк, вот она и плавает поверху.

— А зачем прибил ее?

— Все равно сдохла бы.

Жуков посмотрел на рыбешку, потрогал пальцем и брезгливо сковырнул в воду. Одевшись, сказал:

— Вот почему давно бы надо выселить Белгородцева. Он глистяком сидит на хуторе.

— Беспричинно получится.

Жуков сердито отмахнулся от друга.

Григорий осторожно приподнял Дарью, подсунув ладонь под затылок, окликнул ее. Душин прошептал:

— Тссс... Не тревожь...

Макая вату в теплую воду, он размягчал засохшие кровяные пятна и аккуратно снимал широкий бинт. Киль баркаса проломил Дарье голову от уха до макушки. В чернеющей ране клочьями путались вдавленные волосы. Из глазницы сочилась бледно-розовая сукровица. Душин промыл рану, смазал йодом, а в глаз пустил каких-то капель и с неожиданной легкостью стал накладывать дрожащими руками марлю, стараясь не прикасаться к больным местам. Дарья выпятила грудь, затрепетала вся, крепко упершись затылком в ладонь мужа. Приоткрыв рот, едва слышно прошептала сухим языком:

— О-о-ох!.. За-чем же... так...

— Дарья... Дарьюшка...

Окончив перевязку, Душин отвел Григория в сторону и сказал на ухо:

— Пожалуй, не довезти до города. Растрясем мозги. Не выдержит. Умрет...— Взяв со стола аптечку, он неслышно вышел.

«Умрет?» — Григорий вопросительно уставился на обезображенное лицо жены, затем откинулся назад, к стенке, кусая губы. Вдруг он насторожился: Дарья, пошевелившись, заскрипела кроватью.

— Где... ты... Гриша?..

Григорий бросился к жене, схватил ее руки.

— Вот я... Вот... Возле тебя, Дашенька...

Дарья заворочалась, застонала, слегка отвела в сторону голову, и на ее губах замерло:

— Не... пей...

Выставила кверху острый подбородок, полуоткрыла рот и уже не сомкнула его. Ноги потянулись к спинке кровати, упер-

лись в нее, а холодеющие руки, выпущенные Григорием, скользнув по его груди, беспомощно упали ему на колени. Григорий долго сидел в забытьи, устремив в окно ничего не видящие глаза. Потом медленно перевел взгляд на жену, рывком подхватился с кровати, метнулся к порогу и повалился на дверь, ударившись головой обо что-то мягкое, теплое. Открыл глаза и, как в густом тумане, увидел низко склонившегося над ним Кострюкова, поддерживавшего его за плечи. Сморщив лицо, Григорий простонал:

— Дарья... померла...

XI

От берега до берега, толкаясь о кручи и цепляясь за гребни волн, бродили вразвалку белесые туманы, заволакивая сизую даль. Небо хмурилось. Солнце тускнело, становилось бесцветным, и чернеющее море тонуло в тумане.

Григорий, ломая жесткие смоляные брови, смотрел в окно.

— Белгородцев умышленно не выполняет плана, мутит рыбаков, — говорил Жуков. — Он ворует рыбу и, как жадный мартын, расхищает государственное добро. Он глистяком сидит в вашей утробе. Он ворует у вас время, бессовестно крадет у бедноты труд, обманывает власть. Где же та закалка и непримиримость к врагам, которую вы приобрели в Красной Армии? Где ваши глаза? Куда смотрите?.. На ваших плечах сидят коршуны, долбят головы, до мозгов добираются, а вы?..— обведя комнату взглядом, он нацелился на Григория сверкающими глазами.

«Опять за меня...» — Григорий смущенно опустил голову.

— Стыдно, Васильев?.. И нам больно за тебя. Ишь, оправданье какое нашел. Рыбака, мол, с рожденья в водке крестят, потому и тяга такая к ней, удержу нет. Знаем разгульность рыбацкую. Знаем дедовские порядки. Но ведь ты коммунист. А что ты сделал? Что?..— он потянулся к Григорию. — Ослепил себя дурманом... Разум помутил... Вытравил водкой все то, что дала тебе партия... и сослепу жену... жену... столкнул в могилу... Сапогом придавил... — Жуков сел на скамейку, расстегнув ворот рубахи.

Слышно было, как взволнованно дышали люди. Голова Кострюкова склонилась низко над столом, но одинокий глаз не отрывался от Жукова. Слова старого друга неумолчно звенели в ушах, будоражили, как застоявшуюся воду, уснувшее чутье.

«Тверже надобно было бы, без поблажек», — думал он.

Во дворе нарастал шум, кто-то ломился в дверь. Вскоре в окне появилась голова Душина.

— Кончайте, а то рыбаки разбегуться.

Кострюков торопливо закрыл папку, поднялся.

— Товарищи! Я предлагаю... строгий выговор.

— Нет!— вскинулся Жуков.— Исключить!

Кострюков наклонился к Жукову, тихо сказал:

— На первый раз...

— Душа из него винтом! Исключить. Знаем, сколько уже было этих разов. Довольно. А ты опять размяк? — бросил он Кострюкову и, подбежав к столу, застучал рукой.— Билет! Партийный билет сюда! Как вы, товарищи? Согласны с моим мнением?

Все молчали. Что-то тяжелое давило каждому голову и плечи, гнуло спину. Рука Григория судорожно трепетала на груди, скользнула мимо нагрудного кармана. Медленно, словно пробивал какую-то невидимую преграду, он протянул и положил перед Кострюковым красненькую книжечку и, ни на кого не глядя, шагнул к двери. Словно под ударами, торопливо прошел двор, переполненный рыбаками, перелез через забор и скрылся в переулке. А дома долго бродил по комнате, без нужды переставлял вещи. Со дня смерти жены ему казалось, что он наполовину потерял себя, что и сердце его раскололось надвое и оставшаяся половинка все слабее стучала в груди, замирала. А теперь вернувшись, совершенно перестал слышать ее биение, хватался за грудь, до крови царапал кожу. Его тупой и бессмысленный взгляд блуждал по комнате, на минуту остановился, блеснул. Стоявшая под скамейкой литровка шевельнула горлышком, качнулась, подпрыгнула и, гибко извиваясь, красноголовым ужом потянулась к нему. Что-то перехватило горло, запекло. Григорий приблизился к скамейке и с остервенением ударил сапогом по бутылке.

— Будь ты проклято, змеиное зелье!..

Скосив глаза и выставив ухо, Тимофей сидел на старом ведре, медленно перебирал пальцами бороду, по клочку запихивая в рот. Возле него ковырял пальцем в ухе Панюхай. Платок его был сдвинут на затылок. Вокруг них, кто сидя, кто полулежа, разместились по двору рыбаки, громко переговаривались. Кострюков, стуча карандашом по столу, водворял порядок. В задних рядах умышленно повышали голос. Жуков будто не замечал происходившего и, подавляя в себе нараставшую злобу, спокойно говорил:

— ...Рыба в рабочем снабжении имеет огромное значение как продукт питания. Она заменяет восемьдесят процентов мяса. И

теперь, когда в мясе временно ощущается недостаток, рыбный продукт в питании трудящихся нашей страны занимает первое место. Поэтому, чтобы обеспечить рыбой промышленные центры, для каждого рыбацкого колхоза, товарищества, артели...

— Вон куда загибает, — выплеснулось из толпы, — Так и знали...

...и единоличника-контрактанта устанавливается определенное задание по вылову рыбы на каждый месяц или квартал. Как же работает ваш хутор? Позорно. Постыдно. С большим опозданием вышли в море, работали с прохладцей, с водочкой, отчего происходили частые аварии с человеческими жертвами...

— Надо казенку закрыть, словами не убедишь! — крикнула Евгенушка.

— Заткни глотку. Ишь ты. А в море кто пойдет без водки?

— Да это она в свою пользу. Ее кобель часто нажирается и за жабры таскает! — захохотал Егоров, откинувшись к ногам Тимофея.

Евгенушка, оглушенная злорадным хохотом рыбаков, вобрала голову в плечи. Дубов рванулся к Егорову, вскинул кулак...

— Не смей! — вовремя удержал его Кострюков — Комсомолец... — И к рыбакам: — Тише! А то собрание распущу.

— Сами разбегёмся. Напугал...

Жуков выждал затишье, скользнул взглядом по толпе, порывисто выбросил вперед руку:

— Вы и сейчас пьяны. Не постыдились явиться в таком виде на собрание. Позволяете себе хулиганить. Хорошо это? Хорошо? За стакан водки вы готовы продать честь и совесть свою. Вас спаивают, вас обманывают, вас грабят.

— Кто грабит? — приподнялся Егоров.

— По глупому порядку, который выдумал себе на руку ваш же враг, вы прекратили лов, когда рыбу можно ловить круглый год.

— А-а-а-а! разноголосо простонала толпа. Кто-то ехидно засмеялся.

— Если он такой молодец, пущай заставит из стрехи капать водку и нальет мне в рот, — съязвил Белгородцев.

— Большого ума речь, Тимофей Николаич, — поддержал Панюхай и к Жукову: — Ты что ж это, братец, на берегу надысь одно говорил, а тут супротив того?

Жуков удивленно посмотрел на Панюхая. Сидевшая в президиуме Анка пояснила:

— Это мой отец. Вы как-то говорили с ним. Ну, а он вообще

немножко странный человек. Он не знает о вашей контузии и решил, что вы с ним тогда соглашались.

Жуков вспомнил разговор на берегу, и его губы чуть шевельнула улыбка. Панюхай хитро посмотрел на него, затряс бородкой.

— Ловко, а? Мы тоже, чебак не курица, подсекать могём,— и удовлетворенно засмеялся.— Тоже рыбалки...

— Братцы!— вырос над толпой Егоров.— Пущай же он докажет, кто спаивает и грабит нас?

— Вот кто. Вот!— Жуков ткнул пальцем в сторону Тимофея.— Он спаивает. Он баламутит хутор. Он грабит вас.

— Ка-а-ак это так?

— Я предлагаю выселить его...

— Кого? Того, кто кормит нас?

— Кто умышленно не выполняет план и срывает путину. Посмотрите в сводку, и вы увидите, на сколько он выполнил задание. На десять процентов. Где же рыба? Где?

— Видать, к спекулянтам уплывает.

Павел поймал взгляд Анки и, думая, что слова ее относятся к нему, покраснел.

— Неправда! Я весь улов сдаю,— сказал Павел.

Тимофей поднял руку, попросил слова.

— Братцы!.. Такой обиды и батько мой не видывал. Всю жизнь людям добро творил, в нужде помогал, а теперь? Из хутора прогонять... Что ж я, собака, что ли?

— Никто вас этими словами не обзывал. А вот что вы спаиваете рыбаков, платите бедноте за работу копейки, об этом говорилось. Вот вы не выполнили своего плана, а лов прекратили. И других сбили с толку. Зачем вы это сделали?

Тимофей отвел глаза в сторону.

— При чем тут я?.. Все бросили... Порядок такой... Да и кто в жарковую путину ловит?

— Все, кроме пьяниц и лодырей.

— Попробуй летом половить. Поглядим, что ты поймаешь,— вставил Егоров.

— Будем пробовать все. Завтра в ночь все до одного баркасы выйдут в море. Поеду и я.

— А я не выйду,— с усмешкой сказал Егоров.

— Тогда мы на твоем баркасе пойдем.

— Баркас потоплю.

— Под суд пойдешь,— предупредил его Жуков.

Тимофей дернул Егорова за рубаху:

— Сядь, ты еще...— и глухо проронил:— Никаких порядков тебе.

— Откуда им быть, когда бабы на почетном месте заседают,— хмуро проворчал Егоров.

— Когда нет людей, то и петух — Сулейман-паша.

Панюхай вспыхнул и — обиженно к Тимофею:

— Ты, Николаич, кого это, дочку мою затронул?

Тимофей посмотрел на Панюхая, пожевал бороду и, ничего не ответив, пошел со двора.

— Тимофей Николаич! Погоди, куда же ты? — и, перепрыгивая через лежащих, Егоров поспешил вслед. У ворот задержал Тимофея.

— Чего ты, Николаич? Ежели что, все за тобой пойдем. Ребята! Правильно?

— Правильно!

— Валяй за Николаичем. Делать нам тут нечего!— и рыбаки потянулись к воротам.

Кострюков преградил дорогу:

— Стойте! Собрание не кончилось.

— О чем еще там?

— Об артели потолкуем.

— Не-э-э-эт...— отмахнулся один рыбак.— В кабалу не пойдем.

— Затем и звали нас?— разочарованно сказал другой.

— Напрасно только ноги били,— вздохнул третий.

— Вы вот сейчас находитесь в кабале,— загорячился Жуков.— И когда вам показываешь выход из нее, вы отбрыкиваетесь и головой лезете в петлю.

— Какой же выход?

— Объединиться в артель. Члены артели пользуются всеми льготами и платят только единый ловецкий сбор — шесть процентов от улова. Вам, наверное, это известно? Но неволить никого не станем и толковать об артели больше не будем, раз вы хулиганите и срываете собрание. Скажу одно. Кто за артель, кто за революцию на море, оставайтесь здесь, записывайтесь в боевую дружину и завтра же — в поход за рыбой. Кто против, уходите. Держать не станем. Не станем держать!

Жуков выждал. Через минуту двор был почти пуст. Перед ним стояли пять сухопайщиков, Дубов, Зотов, Евгенушка, четыре бедняка-коммуниста и два комсомольца.

— А какие правила для нас? — спросил один из сухопайщиков.

— Порядок простой. При вступлении в артель батраки платят вступительный взнос пять рублей, а бедняки и середняки от пяти до двадцати рублей.

— Мы не против.

Жуков оглядел присутствующих.

— Будем считать артель в семнадцать человек. Пишите протокол.

И сейчас же от ворот послышалось ядовитое:

— Своя семейка собралась. Голь да моль, да сазан косой.

— Из дешевого мяса все равно не сваришь хорошего супа.

Когда избрали правление, в которое вошли Кострюков, Жуков, Анка и один из сухопайщиков, Анка спросила:

— А кто же председательствовать будет?

— Садись, Жуков, у руля. Станови парус и румпелек в руки.

Жуков молчал, нервно кивая головой.

«Вот и хорошо, что согласился»,— подумал Кострюков и вслух Душину:

— Запиши.

Жуков встал, сказал Кострюкову:

— Собери членов сельсовета.

— Для чего?

— Дело есть. Важное дело.

Кострюков предупредил Душина и Анку, и они направились в помещение совета. Когда все уселись за стол и вопросительно уставились на Жукова, он быстро проговорил:

— Сельсовет должен сейчас же поставить перед собой три вопроса, которые требуют немедленного разрешения. Первый: прекратить свалку рыбы в ямы. Сохранить для государства улов до одной рыбешки. Для этого нужно передать в пользование артели пустующие сараи и ледник сбежавшего Урина.

— Правильно!— подхватила Анка.— Давно бы пора.

Кострюков повернулся к Душину:

— Запиши в протокол,— и к Жукову:— Дальше?

— Лишить избирательных прав Белгородцева. Видали, что получилось сегодня на собрании? Надо обломать крылья этому ворону. Вот, читай,— и он передал Душину заявление сухопайщиков.— Читай вслух.

— «...а так как всему хутору известно, что он целый век обирал бедноту, эксплуатировал нас, батраков, и теперь не заплатил нам за работу, мы просим сельсовет лишить избирательных прав Белгородцева как кулака и обложить его налогом».

— Одновременно лишить избирательных прав и его сына Павла,— добавил Жуков.

Все молчали. Анка хотела что-то сказать, но замялась, глядя на Жукова.

— Ну, ну. Чего сказать хотела?

— Да вот, с Павлом как?..

— Это вопрос,— поддержал ее Душин.— Парень на хорошем счету. Исправный и...

— Кострюков!— перебил Жуков.— Поясни членам сельсовета инструкцию по этому вопросу.

— По инструкции...все, проживающие с лишенцами, лишаются избирательных прав. Надо и его...

Душин записал.

— А третий вопрос?

— Просить район об индивидуальном обложении налогом Белгородцева.

— Ну, а уж это непременный вопрос,— сказал Кострюков и к Душину:— Имущественное состояние Белгородцева тебе известно. Составь опись, приложи к протоколу и нарочным — в район.

Жуков хлопнул по плечу Кострюкова.

— Вот так и надо действовать, товарищ председатель!

На второй день о решении сельского совета стало известно всему хутору. Это было так неожиданно, что сторонники Белгородцева не знали, как им быть: горланить ли по-старому, потрясая кулаками, в защиту Белгородцева или выждать немного, присмотреться — как начнут разворачиваться события. Вскипая злобой, Тимофей внешне сохранял спокойствие. Он понимал, что кулаком и горлом ничего не добьешься. И решил: нутром оставаясь все той же хищницей-щукой, поверх себя напялить золотистую шкурку невинного карасика. И когда рыбаки обращались к нему с вопросом «Как быть?», он спокойно отвечал:

— Я, право, и не знаю, как быть. Сами посудите. Вы — народ. Вам виднее — достоин я такой «чести» или нет. Кажись, никого не обижал. Кроме добра...— тут он вздыхал, добавляя:— А последним-то судьей всем нам будет он...— и ткнул пальцем в небо.

— Не кручинься, Николаич. Мы тебя не покинем,— и на том рыбаки расходились.

...В полночь к Григорию постучали. Он открыл дверь и увидел запыхавшегося Павла. Тот стоял с взлохмаченными волосами, мокрый от пота, и держал в руке вырываемую ветром бумагу.

— Чего ты?

Павел опустился на порожек, отдышался и прерывисто заговорил:

— Дядя Гриша... Сам знаешь... Сколько работал с тобой... Да и на хуторе никому ничего дурного... Работаю хорошо... на честность с государством...

— Знаю, что парень ты славный...

— А вот...— Павел вскочил, помолчал минуту и взволнованно прошептал: — Голоса... лишили...

— Не расстраивайся, чего ты?

— Как же так? Ну, пущай отец провинность там имеет какую, а я-то при чем?

— Проживаешь с ним. Парень ты здоровый, работящий. Почему бы самому не жить? Отдельно?

— Куда же сразу кинешься?

Григорий помолчал, подумал.

— А нынче ничего не поделаешь.

Павел протянул ему бумагу.

— Я, дядя, к тебе вот зачем. Подпиши. Уже тридцать человек подписались.

— Что что?

— Заявление в район. Сам поеду. Тут и артельной бедноты подписи имеются, что я никому ничего и завсегда на честность... Заверь...

— Да я сам то теперь... в провинности... неловко как-то...

— Знаю я... но ты, дядя, красный партизан и знаешь обо мне... Заверь...

— А заявление насчет тебя только?

— Да, меня.

Григорий засветил лампу и внимательно посмотрел заявление, под которым, действительно, были подписи и некоторых бедняков и батраков хутора.

— Ну, что ж. Давай карандаш.

...Только что Тимофей завалился в постель, как во дворе послышались подозрительный шорох и скрип калитки. Не одеваясь, выбежал на крыльцо и, увидев за воротами всадника, затопал босыми ногами.

— Кто? Эй, кто там?

— Я, я. Чего ты...— отозвался Павел.

— Пашка, куда?

— В район.

— В район?.. Сынок. В район? Хлопотать, стало быть?.. Сынок. Так ты скажи же там... Слышишь? Паша! Па-а-шка!— Тимофей перегнулся через перила крыльца.—Сукин сын... Ускакал...

На улице разноголосо залаяли собаки.

Тимофей нетерпеливо ожидал возвращения сына. Тот вернулся на третий день. Как только он подъехал ко двору, из калитки вышел Тимофей. Он пытливо посмотрел на Павла и, скрывая любопытство, будто невзначай уронил:

— Ну как, сынок? Новости какие привез?

— Не знаю. Запечатано.

Павел провел в калитку лошадь, хлопнул ее ладонью по крупу, проверил, в картузе ли пакет, и пошел в совет.

— Сукин сын... от батьки морду воротит...— проворчал Тимофей и повел лошадь в конюшню.

Приняв от Павла пакет, Кострюков просмотрел бумагу, подумал, прочел вторично. Район восстановил Павла в избирательных правах, а по остальным пунктам постановление сельсовета утвердил. Председатель спрятал бумагу в стол и, глядя на Павла, сказал:

— Гляди, Павло. Оправдай доверие людей. Район уважил твою просьбу. Гляди, оправдай.

Павел не знал, что ответить председателю. Он помялся, както неловко поклонился ему и, круто повернувшись, направился к выходу. На улице встретился с Григорием, крепко сжал ему руку:

— Дядя Гриша... Благодарствую... Вовек не забуду твою доброту...— и побежал домой.

XII

Сила бронзокосцев, что стремительный горный поток в гранитных теснинах, буйствуя и пенясь, рассыпалась на десятки и сотни булькающих ручейков, ослабевала, терялась, бесцельно погибала. Преградить бы путь этой силище, направить ее по новому руслу, выбить из рук бронзокосцев скрипучие дедовские костыли и закрутить колесо новой жизни. Но некому было сделать это...

Виталий Дубов, жених Евгенушки, охваченный бешеной ревностью к Зотову, запил тайком от товарищей, забросил работу и забыл о существовании комсомольской организации. Зотов, упорно добивавшийся любви Евгенушки, целыми днями буравил носками сапог пол, а вечерами показывал молодежи новые коленца, с легкостью птицы перенося свое большое тело из одного конца клубного зала в другой. Девушки восхищались его удалью, заискивающе улыбались ему, а Евгенушка, поглощенная мысля-

ми о Дубове, не обращала на Зотова никакого внимания. Однако он не терял надежды расположить к себе непокорную девушку. Однажды вечером Зотов, без передышки протанцевав около получаса и показав множество замысловатых фигур, ухарски вскинул голову, подбоченился, пустился вприсядку, закружился, завертелся и под несмолкаемый хохот молодежи запрыгал по залу на ягодицах и пятках, поджав согнутые руки. Но Евгенушка отвернулась, вскочила и побежала к двери. Она схватила за руку Дубова и увлекла его за собой:

— Виталий, пойдем... Пойдем, я провожу тебя...

Дубов грубо оттолкнул ее, ступил обратно через порог. Но Евгенушка снова подхватила его под руку, и они ушли.

Гармошку Егорова разбили на гульбище, на пианино играть никто не умел, и клуб опустел. Молодежь без толку шаталась по улицам, коротая скучные вечера. И когда Жуков спросил Дубова:

— Ну как?

Тот заморгал ресницами и смутился.

— Работаем с молодежью?

Дубов неопределенно качнул головой, залился румянцем и неуверенно проговорил:

— Да.. работаем...

— Надо, надо... Дела на хуторе — хоть тревогу бей. Плохи дела. И силы молодые зря гибнут. Работать непременно надо. А то комсомольцев у вас,— он поднес к лицу Дубова ладонь,— одной руки хватит для счета. Старайся, паренек. Шевели ребят. Непременно надо смыть позор. Ликвидировать прорыв, ударить по врагу, прекратить хищение рыбы, повести борьбу с хулиганством, пьянками и... Понятно, а?

Дубов не задумываясь ответил:

— Да.

— Вот. Старайся, шевели ребят.

В мае Евгенушка распустила на летние каникулы детей и занялась неграмотными взрослыми. Редко встречая ее с тех пор, как молодежь перестала посещать клуб, Зотов затосковал и отправился в школу. У порога с минуту помедлил, оглянулся по сторонам, несмело постучал. Вышла Евгенушка. Сердито взглянув на Зотова, сказала резко:

— Не мешай!— и хотела захлопнуть дверь.— Уйди. А то Виталию пожалуюсь.

В классе одиноко сидел молодой парень с тупым добродушным лицом. Оторвавшись от тетради, закусив зубами кончик карандаша, с любопытством наблюдал за ними.

— Уйди,— настаивала Евгенушка.— Не мешай!

Зотов хитро прищурил глаз, кивнул головой на парня и сказал тихо, чтоб тот не расслышал:

— Другим, стало быть, можно, а мне...— не договорил и, отшатнувшись назад, схватился за ушибленный лоб. Вскинул кулаки, хотел обрушить свой гнев на закрытую дверь, но сдержался. Отвернулся и выругался про себя.

...Дубов слышал, как вошел в комнату Зотов, но не пошевельнулся, продолжая лежать ничком на кровати. Зотов медленно приблизился.

— Все... дрыхнешь?

— Убирайся к черту!— Дубов дрыгнул ногой.

Зотов помолчал, наклонился к нему.

— Дрыхнешь, спрашиваю?

— К черту ступай!

— И то ладно,— и пошел в свою комнату.

Дубов блеснул из-под руки глазом, вскочил с кровати.

— Ну?

Зотов остановился.

— Если что имеешь, говори...

— Зачем говорить, когда не веришь мне.

— Опять про нее?

— А про кого же еще? Говорил тебе, что всех подгорных кобелей за собой водит.

— Зотов!— крикнул Дубов и, прыжком очутившись возле стола, схватил нож.— Я же убить тебя могу!

Зотов стиснул ему руку, и нож со звоном упал на пол.

— Не туда нацелился... дурак. В школу загляни... Может, там...

Дубов ударил ногой в дверь и побежал к школе. Столкнувшись на пороге с парнем, пропустил его и рванулся внутрь. Как всегда, Евгенушка встретила его с сияющим лицом.

— Неуспевающий у меня есть. Задерживаюсь с ним. Но скоро догонит...

— Су-у-у-ка!— прервал Дубов и рывком шагнул к ней, будто кто толкнул его в спину.

Евгенушка вскинула брови, розовое лицо ее посерело.

— Виталий... Вит...талий... Ты опять пьян?.. Когда же хоть раз...

— Сука!— повторил он и, давясь матерщиной, ударил ее по лицу кулаком, а потом еще раз наотмашь.

Евгенушка прижалась к стене, закрыла лицо руками, громко заплакала. Дубов долго смотрел на нее, сказал с сожалением:

— Прости... Не буду...
Евгенушка не отвечала.
— Прости...— он потянулся к ее лицу.— Поцелую дай.
— Противен ты мне. Ненавижу тебя. Ненавижу!— Она толкнула его в грудь и выбежала. Возле совета ей встретились Анка, Жуков и Кострюков. Заметив на глазах у девушки слезы, Жуков спросил:
— Плачешь, а?
Евгенушка отрицательно замотала головой.
— Неправда, плачешь. Отчего?— допытывалась Анка.
— Да нет же... так...
— Наверно, Дубов или Зотов...
— Да нет же, нет...— перебила она Анку.
— Скажи правду: Дубов обидел? Ну? Чего ты молчишь? Говори...— настаивала Анка.
Евгенушка умоляюще посмотрела на нее, опустила глаза.
— Не ладит с ним. Дружили ладно, а теперь обижать стал. Ревнует понапрасну,— сказал Кострюков.
— Позвать его ко мне.
— Его Зотов с толку сбивает. Наговорами мутит...— поспешила объяснить Анка Жукову.
— Ну, обоих позвать.
Первым явился Дубов. Увидев Евгенушку, сел в углу и спрятал под нависшей шевелюрой глаза. Через минуту вошел Зотов. Бросив на девушку насмешливый взгляд, горделиво откинул голову и прислонился к дверному косяку.
От его вызывающей позы Евгенушку покоробило, и она отвернулась. У Жукова шевельнулись брови, извилисто поползли к переносице, столкнулись, разошлись и застыли на изломе. Он неестественно, нехотя кашлянул и обратился к Дубову.
— Ну, как?
Дубов молчал.
— Работаем с молодежью?
Ни звука в ответ.
— Да!— Жуков закивал головой.— Да! Обрабатываем. Стараемся. Молодежи — хоть пруд пруди, а в вашей организации пусто. Пусто, товарищ, Дубов. Отчего так? Любовь разум помутила? Взгреем. Делом заниматься надо и не отбивать от себя юношей и девушек.— И к Евгенушке:— Кто обидел тебя? Дубов?
— Нет, нет,— вступилась Евгенушка.— Он ничего. Так, немножко повздорили.
— А кто же? Зотов?

— Тоже ничего... Только скажите ему... Скажите, чтоб не приходил в школу... Не надоедал... Работать мешает...— и заплакала.

Дубов тряхнул шевелюрой, подался к Зотову. Тот оторвался от дверей, шагнул к Евгенушке, избегая взгляда Дубова.

— Врешь! Что я?

— А то, что обманом мутишь парня и лодыря гнешь!— ответила за Евгенушку Анка.— Почему у тебя клуб пустует?

— Музыканта дайте. Пианино есть, а играть на нем некому.

— На танцульки ты дюжий, а вот до работы...— Кострюков безнадежно махнул рукой.— Культурник...

Зотов обиженно хмыкнул, подбежал к столу и, оправдываясь, затараторил так, что никто не мог разобрать ни одного слова. Жуков прикрикнул:

— Довольно! Не на колокольне же ты...— и тише добавил:— Не забудь, что завтра выходим в море.

— Как?— изумился Зотов.— А клубная работа?

— Евгенушке поручим.— И к Дубову:— Подтянись, парень. А то... душа из тебя винтом...

Кострюков посмотрел на Зотова. Тот стоял с разведенными руками и полуоткрытым ртом, блуждая по комнате растерянным взглядом.

— Достукался... Говорил же столько раз... Эх, ты...— Кострюков отвернулся и сердито добавил:

— Меделян.

При выходе из совета Жуков задержал Анку:

— Останься, потолковать надо.

Анка вернулась и, усевшись на подоконник, приготовилась слушать. Как только из помещения последним вышел Кострюков, Жуков спросил:

— Давно в комсомоле?

— Год.

— А милиционером?

— Шестой месяц. Но... не управляюсь...

— Вижу. И понимаю, что трудно тебе, молодой девушке, справляться с этими разгульными буреломами. Но ничего, и ребята обломаются, и ты пообвыкнешь...

Жуков подошел к окну и опустился на скамейку возле Анки.

— Я вот о чем хочу поговорить с тобой... по душам.

«Уж не о любви ли?»— подумала Анка, невольно отодвигаясь на подоконнике.

Жуков, словно угадав ее мысль, кивнул головой и, улыбнувшись, сказал:

— О любовных делах хочу потолковать...

«Так и есть»...— Анка хотела встать.

Но Жуков остановил ее:

— Сиди и слушай. Не горячись... Так вот... Трудно тебе справляться с рыбаками. Гулянки, матерщина, непослушание. Больше того — срыв путины. Жизнь идет по старой дорожке, по дедовской. Кто же их толкает на это?

— Белгородцев...

— Нет, ты уж не церемонься с ним и говори прямо: враг... Ведь рыбаки наши — люди одной с нами крови. И если бы не Белгородцевы, то они не бузили бы на собраниях, не срывали бы путину и давно свернули бы с поросшей чертополохом дедовской тропочки. И кто же должен быть первым помощником партии в деле их перевоспитания и переделки их психологии? Кто? Комсомол... Значит, быть комсомольцем — дело высокой чести. А дорожат этой честью ваши ребята?..— Он помолчал и добавил:— Если Дубов еще раз провинится, то ясно, что мы его исключим из комсомола. А кем заменим? Кем? В район обратимся или тебя посадим на его место? Тебя, мало-мальски крепкую комсомолку?.. Но ведь и ты скрутила себя любовными путами...

Анка молчала.

— Любишь Павла?

— Люблю...

— Я заметил это в сельсовете, когда коснулись вопроса о лишении его права голоса.

— Но он совсем на отца не похож. Правда, скрытный какой-то, но смирный и уважительный. А отец всегда колотит его...

— Смирный?— перебил ее Жуков.— Помни, что в тихом болоте черти водятся, а в море акулы плавают... Он, может быть, потому смирный и уважительный, что заодно с отцом работает. Видел, как он защищал от сухопайщиков отца, который не заплатил им за работу. Да... Любить никому не запретно. Но надо знать — кого любить. И тебе, Анка, не следует забывать, что Павел сын кулака... Врага... Вот и все... Помни, что я просто предостерег тебя... что я говорил с тобой как старший товарищ...

— Благодарю за добрую беседу.

— И еще помни, что враги всегда носят за пазухой петлю для нашей шеи. Гляди, остерегайся...

Анка крепко пожала ему руку и вышла.

XIII

С утра, ослепительно сверкая на солнце, море было величаво спокойным; оно казалось застывшей темно-синей стеклянной массой. В полдень с запада подул свежий ветер, закружился над морем, обхватил его, закачал, и оно, расплескав миллионы улыбок переливчатой зыби, задрожало, взволновалось, побежало бугристыми перекатами к берегам и шумно заметалось у обрыва.

С утра дышал спокойствием и хутор. А с полудня взбудоражились сонные улицы, взволнованно зашумели. Рыбаки собирались кучками, таинственно перешептывались, задумчиво сосали трубки и, покачивая головами, остервенело растаптывали плевки. И только Егоров, привыкший говорить так, чтобы его было слышно на околице хутора, долбил себя в грудь кулаками, бросал по сторонам:

— Братцы! Как можно выходить в море, когда собрались Тюха да Матюха да брат с Колупаем и орудуют... Нынче у Урина сарай с ледником забрали, завтра у Тимофея Николаича курень отберут, а вернувшись с моря, гляди, и мы чего-нибудь не досчитаемся.

— Было хорошо прежде, а вот как появился ноздряк сипатый, так и пошло все верходонить. Видать, на крючке был, что ноздри порваны, а вот сорвался же,— намекнул кто-то многозначительно на Жукова.

— А что ноздряк? Наскочит, не сорвется. Под ребро подсеку!— Егоров потряс здоровенным кулаком.— Пущай только насильно заставят выходить в море. Баркасы ко дну, а сами на берег. Вер-р-рно?

Как только он начинал говорить лишнее, хитрый, спокойный и тонко расчетливый Тимофей ловил его за руку и резко обрывал:

— Не дури!

Егоров успокаивался, но говорить не переставал.

— Не дури!— повторял Тимофей.— Ко всякому делу думу приложить надо, а дурить не следует.

На него устремлялись десятки покорных глаз.

— Ладно, атаман. На твою голову положиться — дело верное,— соглашались рыбаки.

По окончании описи орудий лова у артельных оказалось пять небольших баркасов, четыре перетяги крючковой снасти и восемь перетяг сетей. Весь имеющийся у представителя треста запас ни-

ток, сорочка́, крючков, грузил и шмата был по настоянию Жукова передан артели. Вязание сетей взяли на себя жены артельных.

Получив наряд, Анка забежала домой и положила его на стол.

— Что это?— поинтересовался Панюхай, упершись бородой в угол стола.

— По этой бумажке получишь нитку и сорочо́к. Сети свяжешь.

— А-а-а!— протянул Панюхай, отрываясь от стола.— Без надобности.

— Почему?

— Я ж не артельный.

— Так я состою.

— А мне-то какая польза от того!— и независимо пожал плечами.

— Как хочешь. Без тебя управимся.

Панюхай вздрогнул, обернулся. Он думал, что Анка забрала наряд, но серенькая бумажка с чернильными строчками, дающая право на получение ниток, лежала на том же месте. И когда Анка скрылась за дверью, Панюхай приблизился к столу, повертел в руках наряд, положил в карман, сказал вслух:

— Окаянная девка. Хоть не желаешь, да возьмешь,— и пошел на пункт к представителю треста.

Управившись с делами, Жуков созвал в совет артельных, разбил на две бригады, повел к баркасам. К их общему изумлению, растянувшись от обрыва по косогору, стояли единоличники в полной готовности к выходу в море.

«Струсили»,— подумал Жуков и молча прошел мимо.

Но еще больше удивились они, заметив на берегу Григория, которой до этого дня нигде не показывался. Он стоял с опущенной головой, перекинув через плечо сумку, и, видимо, не чувствовал, как волны секли его по ногам. Увидев Жукова, несмело подошел к нему, помялся немного и сказал дрогнувшим голосом:

— С вами желаю...

Жуков переглянулся с товарищами, подумал, закивал головой.

— Ладно, работу твою будем оплачивать как положено, но членом артели считать пока не будем. Согласен?.. Садись...

Подняли паруса, и пять крохотных артельных баркасов сплыли вглубь. «Черный ворон» рванулся вслед, вздыбился, загремел якорной цепью.

— В море просится. Наскуча́л!— заметил кто-то, и все рыбаки, словно по команде, вопросительно уставились на Тимофея.

— Ну, как?— спросил Егоров.— Решай.

Тимофей снял шляпу, размашисто перекрестился.

— Станови парус и с богом, братцы.

— С богом, атаман!

И рыбаки сошли вниз, к подчалкам.

С Жуковым на баркасе находились два человека: хозяин баркаса, маленький тщедушный старичок, и сухопайщик лет тридцати пяти, высокого роста, с широкими покатыми плечами. Хозяин молча сидел у руля, а сухопайщик, управляя парусом, напевал грустную песню:

— Вот уж неделя, как плаваем в море,
В нашем баркасе вода.
Кругом одна смерть, везде одно горе,
Вот она, жизнь рыбака.

Ветер был встречный, и баркас, скатываясь с хребтины буруна, глубоко нырял в яму, подпрыгивал на следующий гребень и снова нырял, высоко бросая кормой. Жуков, надламываясь в поясе, плавно качался на сиделке, вцепившись в нее руками. У него колко зябло тело, немели руки и ноги. Впереди и по сторонам, кипя и пенясь, вздымались высокие волны. Обернулся назад — в глазах закачался черный берег, поплыл в противоположную сторону. Взглянул на небо,— и оно качается. Ему стало не по себе, и он, поджав ноги, опустил голову. А тут еще песня холодком обволакивает сердце, и оно падает, замирает. Так и хочется крикнуть: «Перестань!» Но сдерживает себя, сжимает кулаками виски... Наконец оборвалась песня, и сухопайщик окликнул его:

— Муторно, а?

— Что?

— Муторно, говорю?

— Да. Немножко мутит.

— Пройде-о-о-от! Первый раз?

— На баркасе — да. А на пароходе много раз.

— Пройде-о-о-от!— повторил сухопайщик.— А не страшно?

— Нет,— вымученно улыбнулся Жуков и быстро добавил: — Немножко есть,— а у самого нутро выворачивается.

— Вижу, вижу,— сухопайщик добродушно засмеялся.

— А ты не боишься?

— Го-го-о-о!— не по-человечески взревел он, брасуя парус.— Разве есть чего бояться? Нам подавай бурю! — и взмахнул рукой.— Да такую, чтоб дно морское к небу прыгало. Чтобы баркас лихоманкой затрусило и через море перекинуло. Во! А это что?

Го-го-о-о! — еще громче заорал он.— Погоди. Ночью либо на рассвете потрусит.

— Разве?— Жуков дернулся, будто на что-то накололся.

— А как же. Примета верная!— и показал на догорающий закат.— Красная зорька — рыбаку горько.

Жукова охватила тошнота. Чтобы не выказать своей слабости перед рыбаками, он стал напевать что-то про себя. Это его немного развлекло. Пел вполголоса, обхватив руками коленки и зажмурив глаза.

Как ни вслушивался сухопайщик, не мог уловить ни слов, ни мотива.

Не выдержал, спросил:

— Как называется?

Пойманный врасплох, Жуков ответил не сразу. Подумал и опять неестественно улыбнулся.

— Без названия. А что, нравится?

— Люблю жалобные песни.

— Сам сочинил.

— Вижу. Вижу...

Жуков поднялся и, пошатываясь, осмотрелся. С невидимого берега подплывали на волнах сумерки. Наперегонки с ними быстро парусили баркасы единоличников. Вот они все ближе и ближе, поравнялись, стали опережать. Впереди шел «Черный ворон», горделиво приподняв кованую грудь, подминал под себя разрубленные волны. Обогнав артельных на четверть километра, баркасы тускло заморгали фонарями, повернули вправо и вскоре потонули в темноте. Артельные прошли еще два километра, остановились. Три баркаса, которые были с сетями, отчалили вправо, а два, с крючковыми снастями, остались на месте. Старик бросил румпелек, снял пиджак, зажег фонарь.

— Ну, посыпем?

— Давай,— отозвался сухопайщик.

Бросив якорь, старик сухо рассмеялся, похлопал Жукова по спине:

— Иди на корму да приглядывайся, как и что, а то мешаешь работе. Раньше научись, а потом помогать будешь... И зачем ты поехал?

Жуков пошел на корму, прилег на брезент. Море становилось спокойнее, баркас слегка покачивало, и Жукова стала одолевать дремота. Но он перемогал себя, крепился, двигал руками и ногами, чтобы разогнать сон, наблюдал за рыбаками. Разбирая снасть, старик сгибал с угла на угол белые квадратики, потом

складывал еще раз пополам, углами нанизывал на крючки, а сухопайщик грузил перетягу в воду.

— Что это?— спросил Жуков.

— Наживка.

— Приманка,— вставил сухопайщик.

— Из чего?

— Из бязи. А то есть из белой клеенки. Те получше.

— Почему?

— Крепче, не размокают. На ракушку смахивают. Вот она, белуга или осетр, и хватает.

— И большие попадаются?

— Пудов в пять, а то и больше.

— Го-го-о-о!— сухопайщик обернулся к Жукову.— В двадцать четвертом году вот на этом месте в семьдесят пудов белугу засекли.

— В семьдесят?— изумился Жуков.

— Как один фунт,— подтвердил старик.— Но это редко бывает. За свой век два таких случая помню.

— А как же берут ее?— допытывался Жуков.

— Го-го-о-о! Легче, чем малую. Малая губой засекается, и супротиву у нее, как у быка, а большая глотает. А раз глотнула — крышка. Куда желаешь веди, хоть на шнурочке, хоть на нитке.

— За желудок цепляет?

— Мало важности. Пущай за печенку или селезенку, все равно как милая пойдет.

Жуков опустил голову, помолчал и сонно спросил:

— Как по-вашему... рыба сейчас... идет?

— Частиковая навряд, а красная гуляет: как раз пора для нее жаркая. Всегда с двадцатого мая красноловье начинается.

— А почему не выходили в море?

— С чем?— старик выставил руки, увешанные крючками.— Вот с этим дерьмом? Да и этого нету. Хорошо, что трест немного прислал, а то хоть бросай рыбалить и головой с обрыва...

Наживляя крючки, он продолжал говорить, но Жуков, хоть и слышал, понимал плохо. У него все сильнее немели руки и ноги, а потом он совсем перестал их чувствовать. Услышав, как басисто, нараспев сказал сухопайщик: «Притаилось море. Видать, перед бедой»...— Жуков хотел подняться, но не смог. Небо заморгало потухающими звездами, мягко упало на него, придавило, залило темью глаза, и он забылся...

...Проснулся Жуков от сильного толчка. Баркас так накренило и бросило в сторону, что Жуков, падая с кормы, едва не свалился в воду. Вскочил и снова повалился через сиделку. Море было по-

хоже на огромный кипящий котел. Оно то замирало на мгновенье, то снова буйствовало в дикой пляске и, обезумев от ярости, бросалось вверх, будто хотело подпрыгнуть к облакам. Цепляясь за мачту, Жуков поднялся, взглянул и невольно зажмурился. Рядом кружился баркас и никак не мог подойти к борту. У руля шатался Григорий, до хрипоты кричал сухопайщику:

— Наши ушли. Вон уже и атаманцы сплыли. Чего же вы ждете? Сплывай.

— Как у вас? — проявляя хладнокровие, спросил Жуков Григория.

— Пудов двадцать сулы натрусили. Ребята повезли.

— А как же нам?

— Бросай все. Станови парус. Ветер попутный. Донесет. А то...— и махнул рукой.

Обхватив мачту, Жуков смотрел по сторонам и ничего не понимал. Он так испугался спросонок, что сразу не мог прийти в себя.

— Попробуем?— спросил сухопайщик.

Увидев, как на втором артельном баркасе с большими трудностями извлекали крупных осетров, старик загорелся и ответил:

— Давай!— и бросился к рулю.

Сухопайщик перегнулся через борт, ловко подхватил шмат, вцепился в хребтину и изо всех сил потянул на себя. На поверхность всплыл осетр, взметнул хвостом и скрылся. Баркас рывком подался вперед, и сухопайщик выронил хребтину. У обоих рыбаков не то радостью, не то злобой загорелись глаза. Они хотели повернуть обратно, но Жуков запротестовал:

— К берегу!.. Держи к берегу!..

— Жалко же... Добро погибает.

— К берегу!— закричал он.— Станови парус!

— Где там. Перекинет с парусом. Теперь — куда вывезет,— и старик обеми руками сжал румпелек.

Баркас встряхнуло, подбросило, стремительно понесло туда, куда катились огромные буруны, по пути вдребезги разбиваясь один о другой. Жуков скользнул руками по мачте, упал на мосток и, качаясь на четвереньках, фонтаном пустил изо рта вчерашний обед и ужин. Потом опрокинулся на спину, зевнул и уснул с раскрытым ртом.

Рыбаки ожидали большой бури, но, к их удивлению, море неожиданно утихло, можно было без всякого опасения ставить паруса. Второй артельный баркас с крючковой снастью, перегруженный осетром, наскочил на бугор и глубоко врезался ки-

лем в песок. Заметив сигнал о помощи, Павел повернул свой баркас, покидая «Черного ворона», на котором находился отец. Рассвирепевший Тимофей, потрясая кулаками, закричал вслед:

— Пашка! Куда пошел?

— Помощь нужна. Люди гибнут.

— Сукин сын! Какое тебе дело до артельных? Возвернись!

Но Павел не вернулся. С другой стороны спешил на помощь Григорий. Боясь столкнуться, Павел так круто повернул баркас, что он лег на бок, врезался бортом в набежавший бурун, будто нарочито хотел зачерпнуть его, шлепнулся парусом на воду и стал тонуть. Павел бросил румпелек и прыгнул. Это произошло с такой быстротой, что Тимофей, почти не спускавший глаз с сына, не заметил, как затонул баркас, а находившиеся с Павлом трое рыбаков, не успев спрыгнуть, придавленные тяжестью баркаса, пошли ко дну. Григорий поспешно размотал веревку, бросил Павлу и направил к нему баркас. Веревка потонула, и Павел, захлебываясь, беспомощно барахтался в воде, выбиваясь из сил. Приблизившись, Григорий спустил ему якорь и с помощью товарищей переволок через борт.

— Как же это ты?— спросил Григорий, снимая с него одежду. Павел непонимающе смотрел на Григория и молчал. Ему казалось, что все это происходит во сне, что баркас цел и люди не утонули.

И даже тогда он не поверил в явь, когда увидел подошедшего вплотную «Черного ворона» и на нем отца, который рвал на себе волосы, топал ногами и вопил:

— Разор... Разор... Сукин сын... Зимой кобылу и сетку угробил, а теперь? Разор... Разор...

Берег был густо усеян людьми. Все с тревогой ждали возвращения рыбаков. С приближением баркасов над толпой затрепыхались платки, картузы, руки. Узнавали своих. А те, кто еще не опознал мужа, отца или брата, пересчитывали баркасы и ощупывали их глазами, в которых не угасала надежда. И как только баркасы стали на якоря, а от берега оттолкнулись подчалки, толпа хлынула вниз. Дети бросались к отцам с протянутыми ручонками, висли на шее, цеплялись за ноги. Жены, счастливые и довольные, принимали у мужей походные вещи, шли рядом, засматривали в глаза. Но вот, когда все сошли на берег, одна пожилая женщина, вытирая концами платка глаза, цеплялась за каждого рыбака, жалобно всхлипывала:

— Мишенька... Миш... Голубчик ты мой!

— Другой я... Чужой! — и, вырываясь, рыбак уходил.

Она повернулась к морю и, вся поникнув, беспрестанно шептала:

— Мишенька... Соколик ты мой!..

К женщине подошел Панюхай, неловко потоптался на месте, сказал несмело, но ласково:

— Акимовна... милая... не убивайся так, не надо, голубушка. Этим горю не поможешь... а в расстройство себя произведешь...

— Да как же не убиваться, Кузьмич... и мужа, а теперь и сына... кормильца мово... море поглотило.

— Эх, сердешная! Сколь оно наших рыбаков поглотило — несть числа... А ты, милая, поуспокойся...

— Теперь одна я осталась... горемычная. Одна.

— А мы?.. Рази ж мы оставим тебя в беде?.. Мир не без добрых людей... Ну, поуспокойся, Акимовна, поуспокойся, душенька, — и он погладил ее руку.

Акимовна всхлипнула и сквозь слезы проговорила:

— Тяжко мне, Кузьмич... Ох, как тяжко!

Оседая на короткую ногу, Жуков подошел к Кострюкову, поздоровался.

— С крещением тебя. Ну, как? — спросил Кострюков.

Жуков снял картуз, провел им по лбу.

— Каторжная работа, — вздохнул он.

Проходивший мимо Панюхай остановился.

— Вот и артель. А чем вы лучше других? Новины какие в работе показали, либо что? Народ только мордуете, чебак не курица. Эх, зря...

— Погоди, старина, — отозвался Жуков, — окрепнем немного, покажем. Вот мотор приобретем...

— Ишь ты! — перебил его Панюхай. — На моторе и я окажусь большим мастаком... А вы вот на баркасишках покажите народу диковину какую, либо чудо-расчудесное. Вот это да-а-а. А то — мото-о-ор...

— На них, старина, на баркасишках-то и будем чудо показывать. Руки-то у наших артельных ребят покрепче весел дубовых — что тебе слитки бронзовые. Ударь прутом, и зазвенят. И воля есть. А мотор нам нужен для того, чтобы он труд рыбаку облегчал. Мы и на баркасишках мастаки на большие дела. Погоди. Еще увидишь.

— Море завоюете, либо что? Или бурю за глотку возьмете, товарищи большаки? Эх!..

— Да еще как возьмем.

— Хвалилась синица, — усмехнулся Панюхай и ушел.

— Упрямый старик,— кивнул ему вслед Жуков.— Ни во что не верит. По его выходит так: родился человек, ну и вали сейчас на его плечи груз, да чудеса в работе показывай. Погоди. Дай подрасти да костям окрепнуть. А там посадим рыбака на мотор, и тогда попробуйте догнать его. Да...

Кострюков подергал себя за нос, подумал и сказал:

— Видал я, брат, у городских артельных ребят моторы. Большая подмога от них в работе. Ну, а где же нам взять мотор?

— Найдем. Есть на примете парусно-моторное судно. Оно конфисковано у одного турка за контрабанду. На днях буду в городе, загляну куда следует и разузнаю. Нужно будет на первый случай собрать с рыбаков немного денег на задаток. А там уже я проверну это дело. Добьюсь рассрочки. Да. Без мотора каторга. Гибнут люди, пропадает труд. А люди крепкие. С ними многое можно сделать.

— Люди прочные,— подтвердил Кострюков.

— Но для борьбы со стихией мотор необходим. Тогда такого у нас не будет,— Жуков указал на Акимовну, которая все еще стояла на берегу и выкликала из моря своего сына.

Предложение Жукова о приобретении мотора артель приняла единодушно. Собрание прошло без лишних слов и пререканий. И через три дня сборщики денег — Анка и Евгенушка — вручили Жукову первый задаток на мотор. Жуков приложил к ним свои четыре червонца и спрятал деньги в бумажник.

XIV

Сетчатые мелкие облака, прозрачно-белые, как хлопья сверкающей пены, неводами затянули небо. На северо-востоке, разрывая мягкие, тающие ячеи, запутавшимся сомом трепетало длиннохвостое черное облачко. С запада из-за горизонта вынырнули более крупные, с белыми брюшками, черноспинные тучи, белужьим косяком проплыли низом, будто разыскивая нерестилище, постояли, пораздумали и ушли на север.

Павел держал у раскрытых ворот запряженную лошадь, над которой роились надоедливые мухи. Он тоскующими глазами проводил проплывший мимо облачной сети косяк тучек и с искренней досадой, будто из рук его выскользнула живая рыба, сказал вслух:

— Эх, не зацепились. Жалко...

Красноловье было в разгаре. Шел осетр, шла севрюга, изредка попадалась белуга. Рыбаки дни и ночи проводили в море, а Павел тосковал на берегу, изнывал от безделья. С того дня, когда случилась с его баркасом авария, отец запретил ему выходить в море. В последнюю декаду, самую горячую по вылову красной рыбы, Тимофей, жалуясь на сердце, ни разу не вышел в море, поручая «Черного ворона» Егорову, и три раза куда-то отлучался из дому, наказывая Павлу:

— Кто спросит, скажешь: в город к доктору поехал.

Лязгнула щеколда. Павел обернулся и увидел на крыльце отца и Егорова. Тимофей сказал что-то на ухо Егорову, пригрозил пальцем. Тот кивнул, и они стали спускаться с крыльца. Перекрестившись, Тимофей сел на дроги, выехал со двора. Егоров торопливо направился к морю. Не закрывая ворот, Павел прислонился спиной к столбу и задумчиво уставился в небо. Облачная снасть спуталась, скомкалась и, обвисая бледно-оливковой бахромой, уплывала за горизонт. Очистившаяся от туч и облаков величаво-спокойная синеющая заводь неба казалась ему отдыхающим в мертвом штиле морем после долгого шторма.

Странное поведение отца рождало в голове Павла множество догадок, и, путаясь в них, он искал и не находил ответа на вопрос: «Почему Егоров, а не я? Почему?» Вспоминая «Черного ворона», на котором хвастливо разгуливал по морю Егоров, он выпрямлял крепкие руки, сжимал кулаки, гневно шептал:

— Почему?.. Почему?..

Не заметил Павел, как мимо прошла Анка. А увидев, оторвался от столба, окликнул ее.

— Некогда. В море выхожу,— не останавливаясь, ответила Анка, но, пройдя немного, обернулась.— Все на небо поглядываешь, мартынов считаешь? Почему дома, а не в море?

— Домоседю... Бабка захворала.

— Смотри, договор на тебя сделан, ты и отвечать будешь. Егоров туго сдает рыбу, а улов-то нынче богатый. Эх, ты... Размазня. А я-то думала...— и она ушла.

Павел вбежал в курень, рванул с вешалки винцараду, сунул в карман кусок хлеба и пустился к берегу, обогнав Анку.

Баркасы снимались с якорей, готовые к выходу в море. Павел прыгнул в подчалок и закричал стоявшему на корме «Черного ворона» Егорову:

— Погоди отчаливать!

— А что тебе?

— Я выхожу в море.

— Как?..
— Отец послал...
— Брешешь. Он уехал и наказал мне...
— А я говорю — отцом велено. Чего тебе? Баркас чей?
«Черный ворон» захлопал парусом, выставил грудь, оседая на корму, и прыгнул через бурун, с шумом врезавшись в воду. Тогда Павел взобрался на баркас Егорова, кивнул сухопайщикам:
— Валяй, ребята!
— Слезь, тогда сплывем!— запротестовали сухопайщики.
Павел поднялся во весь рост, повторил настойчивее:
— Валяй, ребята!
— А ты что за указ нам? Убирайся с баркаса!
Павел схватил обоих сухопайщиков за шиворот, сердито потряс:
— Или выкину на берег и один отчалю, или станови парус,— и сел у руля.
Когда Егоров оглянулся, он увидел пустой подчалок, подталкиваемый волнами к берегу, а следом за «Черным вороном» кувыркался его баркас. «Черный ворон», круто повернув назад, подлетел к баркасу. Егоров и Павел сцепились глазами, в руках заскрипели румпельки.
— Пусти на мой баркас!— потребовал Павел.
Егоров перебросил взгляд на сухопайщиков. Те молчали. Задыхаясь от гнева, тыча рукой в сторону Павла, закричал:
— Зачем? Зачем взяли его? Кто вам велел?
— Нахрапом влез,— оправдывались сухопайщики.— Ну, что мы?..
— Пусти,— настаивал Павел.
Но Егоров будто не слышал его и обрушил поток ругательств на сухопайщиков. Потом стих, бросил вполголоса:
— Переберете мои перетяги, а я поеду, снасти дяди Тимофея погляжу.
С угрозой посмотрел на них, покачал головой:
— Подлецы, подлецы!— и, опережая их, устремился в море.
Попутный ветер крепчал, и «Черный ворон» шел с такой легкостью и быстротой, что, казалось, не плыл, а низко летел над водой огромной однокрылой птицей, задевая брюхом гребни волн. Встречные рыбаки махали картузами и шляпами, думая, что на баркасе Тимофей, но, распознав Егорова, разочарованно спускали руки, завистливо ворчали:
— Родной сын такого почета не удостоился. Гляди, чего доброго, в наследники попадет. Везет парню, а?

А Егоров, подражая Тимофею, важно раскланивался с ними, выпячивая грудь. Миновав третью группу рыбаков, он козырьком приложил ко лбу ладонь, всмотрелся и повернул туда, где вдали виднелся одинокий баркас.

Согнувшись на сиделке и низко опустив голову, рыбак крепко спал и не слышал, как подчалил «Черный ворон». Егоров тихо окликнул его — раз, другой, третий... Потом взял связку бечевки, кинул ему на голову. Рыбак вздрогнул, испуганно отбросил бечевку и, облегченно вздохнув, улыбнулся.

— Не бунтует?— спросил Егоров.

— Нет. Когда пароход проходил, немного побаловалась, а теперь утихомирилась.

— Дай-ка поводец!— Егоров перегнулся через высокий борт.

Поводец натянулся, задрожал и, быстро слабея, упал на воду.

— Дошла,— сказал Егоров и к рыбаку:— Снимай буек и подавай к нам.

Осторожно выбрали крючковую снасть, перенесли через борт «Черного ворона», оставив в воде один поводец, и сняли буек.

— Дошла,— повторил Егоров.— Видать, глубоко проглотила.

— А мне как быть?

— Поезжай туда, где мои перетяги, и скажи ребятам, чтоб до завтрашнего вечера держались на воде. А Егоров, мол, ушел дальше косяк искать, тут улова нету.

— Зачем?— удивился рыбак.

— Пашка с ними увязался.

— А-а-а... Понятно.

Поставив парус, рыбак снялся с якоря.

«Черный ворон» пошел в другую сторону, где маячил в полуденном зное крутоспинный берег. С правой стороны папахой великана высился курган. Прямо — кручей нависал над морем берег, разрезанный зеленеющей балкой, а слева наклонно бежала покатость, заканчивающаяся у самой воды плоскодоньем. Вскоре Егоров увидел стоявшие на взгорье дроги. Рядом с ними паслась лошадь, а внизу неспокойно сидел Тимофей, разминая руками песок. Он вставал, топтался на месте, садился и опять вставал, сдвигая картуз то на затылок, то на лоб, то снимая его, то снова надевая на голову. Чем ближе подходил баркас, тем нетерпеливей становился Тимофей. Но вот «Черный ворон» замедлил ход, и якорь нырнул в воду. Егоров привязал поводец к бечевке, а к другому концу ее прикрепил железную трехкрючковую кошку, помахал в воздухе и бросил Тимофею. Три сухопайщика разделись донага, спустились в воду, поплыли к берегу.

Тимофей взял поводец, тихонько потянул, вдавливая ногой кошку в песок. Поводец рванулся и ослаб. Тимофея бросило в дрожь. Он отпустил поводец и обеими ногами придавил кошку.

— Глубокий заглот. Покорно шла?

— Не противилась.

— Ну, как же, а?— Тимофей оглянулся, будто разыскивая что-то.— Как же мы?.. Егоров, багор есть?

— Вот он!— Егоров поднял выше головы острый железный крюк, набитый на короткий, толщиною в два пальца, шест с длинной бечевкой.— Тяни!

Егоров привязал к бечевке вторую кошку, взял багор и, замахнувшись, жадно уставился на воду.

— Тяни. Спуску не давать. Все время держите натянутым поводец. А то хвост покажет. Обманет. Ну? Давай!

Поводец судорожно затрепетал в руках, замер натянутым проводом и, вздергиваясь, стал подаваться вперед. Не отрывая от воды глаз, Егоров, пригибаясь, махал на берег рукой, едва сдерживая готовый сорваться крик: «Да тяните живей! Что вы там?» С берега дружно тянули. Вода помутнела, всколыхнулась, качнула баркас. Приседая, Егоров быстро заморгал ресницами, перестал дышать. И как только впереди баркаса под водой проглянуло что-то продолговатое, похожее на черный вороненый слиток, с чердака «Ворона» метнулся багор и чавкнул об воду.

— Тяни. Не давай спуску!— Егоров швырнул на берег кошку.— Держи багор!

У баркаса закипела, вспенилась мутная вода, буруном побежала к берегу, выплеснув на отмель огромную белугу.

Сняв сапоги и бросив Тимофею топор, Егоров в одежде бултыхнулся в воду. Сухопайщики торопливо наматывали на руки бечевку от багра, а Тимофей, упершись ногами в песок, держал натянутый поводец, проглоченный с крючком белугой. Она лежала, опрокинувшись на бок, с широко раскрытым ртом, покачиваемая волнами. Видимо, глубоко засел крючок — при малейшей натяжке поводца белуга почти не сопротивлялась и подавалась вперед, избегая боли. Егоров вышел из воды, взял топор, крадучись приблизился к белуге, перекрестился, тихо сказал:

— Потяни сильней. Пущай ее тошнотой замутит!— и одним взмахом размозжил белуге голову.

Тимофей расстегнул рубаху, рукавом смахнул с лица пот и осмотрел белугу, перерезав топором у рта поводец.

— Хороший заглот. Куда там!

— Как выручим ее? Пудов на сорок, а то и пятьдесят потянет.

— Было бы чего. Ребята, давай коня! Бечевку прихватите, на дрогах лежит. Волоком потянем.

— Не осилим,— покачал головой Егоров.— Еще одного бы коня.

— Нам только до дрог дотянуть, а там ровная дорожка.

Бечевку кольцом завязали у хвоста, протянули к голове, провели под поджаберные плавники, обкрутили вокруг головы, протянули обратно к хвосту и закрепили конец. К головному кольцу привязали бечевки, идущие от гужей хомута.

— Давай!— крикнул Егоров, и Тимофей повел лошадь.

Из воды белуга тронулась легко и незаметно, а на суше сразу отяжелела, потянула на себя бечевки. Рыбаки обливались потом, шатались и, наступая друг другу на ноги, падали. Спотыкаясь, падала и лошадь, выбившаяся из сил. Еще труднее оказалось погрузить белугу на дроги. Тащили ее через задок, опустив доски и протянув между оглоблями бечевки. Дроги катились вперед, доски падали, а за ними и белуга.

— Держи дроги. Раззявы!— злился Тимофей и вымещал свое раздражение на неповинной лошади, стегая ее кнутовищем по голове.

Двое забежали наперед, уперлись грудью в дроги. У обессиленной вконец лошади подломились передние ноги, и она ткнулась головой в землю.

— Бросай!— Тимофей сплюнул.— Отдохнем.

Он присел на дроги, потянулся рукой к картузу, но не снял его, а рука так и застыла в воздухе. Протер глаза, всмотрелся и перевел на Егорова недоуменный взгляд. Держа на руке винцараду, снизу подымался к ним Павел, а возле «Черного ворона» качался на волнах баркас Егорова.

Вытягивая из воды белугу, они не заметили, как показался на море баркас и подошел к берегу, а Егоров в суматохе забыл сказать Тимофею, что произошло у него с Павлом. Сухопайщики не вышли на берег, видимо, боялись Егорова и сигналили руками с баркаса, а о чем—никто не мог понять. Грузно оседая на ноги и покачивая плечами, Павел подошел к отцу, посмотрел на взмыленную лошадь, перебросил взгляд на белугу, долго ощупывал ее глазами и, наконец, глубоко вздохнул, будто от самого берега шел с затаенным дыханием.

— Ну, что? Помощь нужна?

Никто не отозвался, ожидая, что скажет Тимофей.

— Батя! Помощь нужна?— повысил голос Павел, и глаза

его загорелись недобрым блеском.— Это так ты к доктору ездишь?..

И опять ни звука в ответ. Бросив винцараду, Павел положил доски, уцепился за головное кольцо.

— Берись, что ли? А то протухнет. Зря пропадет.

Тимофей встал, прошел к лошади. Молча взялись за веревки и кольца остальные.

— Давай, батя.

Тимофей потянул за поводья. Белуга вздыбилась, поползла и легла на дроги так, что хвост ее остался на земле. Увязав ее бечевками, Павел взял у отца поводья, запряг лошадь. Тимофей пожевал бороду, приблизился к Павлу.

— Поймал-то ее Егоров. Не наша...

— Знаю,— ответил Павел.

Тимофей помолчал и громче:

— Ведь я батька твой...

— Знаю,— голос Павла дрогнул.

— Казак ты... или...

— Батя! Пойди к той вон круче и сигани головой вниз со своим казачеством. А мне оно без надобности,— он задрожал всем телом, словно долго стоял босыми ногами на снегу.— Ты меня учил...— он застучал зубами.— Ты меня...— и, глотая слюни, с трудом выдавил:— А теперь сына обкрадываешь?..

Егоров вступился было за Тимофея, но тот оттолкнул его:

— Не мешайся!— Качнулся к дрогам, упал на белугу, простонал:— Не дам... Не дам... Пашка... Не дам...

— Чего ты распоряжаешься! — вскипел Егоров.

— Не приставай, а то...— Павел сжал кулаки.— Сомну!

Поднял отца, отвел в сторону и тронул лошадь.

— Пашка! Куда ты?.. Пашка... Ведь ты же кровь мою... пьешь... соломинкой...— захныкал Тимофей. Он надломился в пояснице, сел на траву и поник головой.

— Кровь мою... соломинкой... кровь...

Павел обернулся, не переставая погонять лошадь.

— Нет, батя, ты мою кровь пил соломинкой. Ты. А теперь дудки. Дай и мне похозяйновать. Довольно мне штаны латать за Анку. А то — ишь, взял к себе Егорова... А я что ж, чужой тебе?

Он натянул вожжи и, посвистывая в воздухе кнутом, всеми мыслями устремился в хутор. «Пущай теперь скажет Анка, что я размазня... Вон, батьку не пожалел... И пущай знает, что я ради нее ничего не пожалею... Ишь, какое добро отнял... Пущай поглядит да знает наперед, каков я есть...»— и вслух — лошади:

— Но, но, Буланый! До хутора поскорей. Или счастью моему не рад?.. Н-но, милый...

Выгнув спину дугой, Буланый усердно копытил дорогу.

У двора Урина Павел собрал большую толпу народа. Больше всего было детей, которые по дороге липли к нему, становились на хвост белуги, кувыркались и снова бежали вдогонку. Обхаживая белугу со всех сторон и тыча в нее пальцами, рыбаки выказывали свое удивление, спрашивали, как засеклась она.

— Как надо ей было, так и засеклась,— отвечал Павел.

И только один Панюхай стоял в сторонке, нюхал воздух и с невозмутимым спокойствием говорил:

— Это еще не диковина. Не таких, чебак не курица, подсекали.

Представитель треста раскрыл ворота, впустил Павла во двор, забегал у сарая.

— Куда мы ее? — и он прикинул на глаз белугу.— Центнеров восемь, а?

Павел поспешно вынул из кармана бумагу, сунул ему в руку.

— Что это?

— Договор.

— Зачем?

— Делай отметину.

— Нет, погоди. Так нельзя. Свезем в город, взвесим, тогда.

— Вали чохом,— посоветовал кто-то.

— Ладно,— согласился Павел.— Давай на глаз.

— Не могу так. Надо указать в пометке точный вес. Не беспокойся, не обманем. Ну, ребята. Берись. Давайте в ледник ее снесем.

Панюхай усмехнулся:

— И брать нечего. Разве таких мы подсекали? Скажите, диковина какая...— и пошел со двора.

...В клубе не рыдала жалобной песней гармошка, не заливалась голосистым «страданьем», не рассыпалась веселыми переборами, от которых и у молодых, и у стариков ноги сами в пляс пускаются... Знали все, что была гармошка и не стало ее. Не стало слышно по вечерам и веселья. Клуб опустел, затих. Но сегодня со всех сторон хутора сходились к нему люди. Шли медленно рыбаки, покачивая саженными плечами, торопились любопытные женщины, бежали вперегонки ребятишки. После долгого раздумья пошел и Тимофей, сгорая от любопытства: «Какую же отметину получит сукин сын?»

Войдя в ограду, по привычке снял картуз, но не перекрестился и занес на ступеньку ногу. Словно ладаном, курился махорочным дымом шумный клуб. Люди беспокойно ерзали на скамейках, вставали, переходили с места на место, громко разговаривали.

В глубине за столом, покрытым красной материей, сидели Кострюков, Анка, Жуков и представитель треста.

К ним в одиночку подходили рыбаки, получали какие-то свертки и со смущенно-радостными лицами возвращались на место.

Тимофей оттопырил ухо, вслушался.

— Костин. Восемьдесят четыре процента выполнения плана,— громко объявил Жуков.

— Два кило сахару и четыреста граммов табаку,— подхватил представитель треста.

Анка выдавала свертки.

— Шульгин. Девяносто процентов.

— Три кило сахару, пятьсот граммов табаку, два куска мыла.

— Коваленко. Девяносто восемь процентов.

— Тысячу граммов табаку, винцараду и шестнадцать килограммов муки.

У Тимофея упала рука, он брезгливо поморщился: «Покупаем, продаем...»

Незаметно прошел немного вглубь и, увидев надпись из ярких красных букв «За большевистскую путину», остановился.

Возле скучившихся рыбаков топтался Панюхай и, кивая головой в сторону Евгенушки, беспрестанно повторял:

— Ишь ты, держи ее за хвост, какие картинки нарисовала, что глядеть чудно́,— и тут же добавлял: — Анка ей помогала. Дочка моя. Тоже, чебак не курица, мастерица.

Поодаль стоял взволнованный Зотов, дергал за руку Дубова.

— Ты. Ты это все проделал.

— Отстань.

— Чего отстань. По-товарищески это, а?— он показал на стенгазету, где был изображен клуб, а возле него с поднятой рукой человек. Внизу надпись: «Просьба не шуметь и мимо не ходить. Клуб спит». Рядом другой рисунок: Зотов, обливаясь потом, скачет на ягодицах и пятках по полу. И внизу — «Клубная работа по-зотовски».

— При чем я? Люди не идут,— не унимался Зотов.

— Чего ты скрипишь?— рассердился Дубов. Подошел к газете, в соседнюю колонку пальцем ткнул:— Смотри. Не тебя одного протянули.

Комната в разрезе. На столе спит Дубов, упершись ногами в потолок. Дверь, затянутая паутиной, на замке. Маленькая дощечка с надписью: «Комсомольская организация».

— Видишь? Сам от стыда сгораю.

— Но ты же в редколлегии? Не мог это дело...

— Отстань!— и Дубов скрылся.

Панюхай почесал кадык, рассыпал по руке бородку.

— Ага? Допекает? Вот засек, до печенок достает.

— А тебя нешто не допекло?— огрызнулся Зотов.

— Мы людишки махонькие. И почтенье нам не оказано,— хитро подмигнул Панюхай одному из рыбаков.

— Разуй глаза, авось и себя увидишь.

— Что? Ну, ну!— Панюхай недоверчиво посмотрел на Зотова, подошел к газете, ткнул носом, потом бородой, отошел, приблизился и шлепнул ладонью по рисунку. Медленно развел пальцы, заморгал голыми веками, потер ладонью рисунок. Узнал. Себя узнал. У берега плавает корзина, на ней дремлет старичок с удочкой в руке. И борода камышинками торчит, как у него, и рубаха полосатая, поясок шнурковый, и все, все... Даже платок ситцевый на голове, с черными крапинками, и повязан так, что один конец, которым Панюхай глаза протирает, длиннее.

Оторвался от газеты, пощипал бородку, обернулся к Евгенушке, странно шевеля губами. А та думала, что он улыбается ей, и закивала головой.

— Ах ты, сула недоваренная... Распоганая девка...— Панюхай сплюнул и — к Зотову:— А картинка с пропиской какой, а?

— Как же. Вот: «Дед Панюхай на глубьевом лове».

— Ишь ты! А с чем выходить в море? Связал было сетки, так доченька артельным их отдала. Что ж я, чебак не курица, с черевиком или казаном пойду на глубьевый лов? Зря прописали меня. Зря. Я замажу эту картинку. Наплюю и замажу.

Тимофей заметил ему:

— Неразумное затеваешь. Этим горя не замажешь.— Подумал и сказал на ухо:— Если что, приходи. Знаешь меня, всегда помогу.

— А чего ж, и приду. Не погляжу, что безголосый ты... Я ей навяжу сеток!— он погрозил пальцем дочери.— Погоди ты у меня. Артельщица.

Зная, что отец любит поворчать, но никогда не скажет дурного слова и не обидит ничем, Анка улыбнулась и тоже шутливо погрозила ему.

Панюхай нахмурился и отвернулся.

Приподнявшись на носках, Тимофей украдкой, через головы

рыбаков, ощупал глазами газету. Пробежал заголовки первой колонки, второй, третьей, а на четвертой остановился, изогнув бровь и прищурив глаза, осел на пятки. Тоже узнал себя. Он, Тимофей Белгородцев, стоит над обрывом, играет на дудке. Возле вприсядку танцует Егоров.

Раздвинул рыбаков, подошел вплотную. «Егоров Петр, потерявший свою гармошку, пляшет под дудочку Тимофея Белгородцева». Скользнул глазами вниз и... еще: приемочный пункт рыбного треста; он, Тимофей, подает представителю треста крошечную тюльку, а за спиной прячет огромного осетра. Подпись: «Как Тимофей Белгородцев выполняет план».

Отступил назад, ударился об кого-то из рыбаков, закусил бороду.

— Обиду какую учинили человеку. Голоса лишили да еще в газетку... Ах-ха-ха!— вздыхает кто-то за его спиной.— И за что? Самый уважительный на всем хуторе.

Тимофей слышит, но не оборачивается... В президиуме продолжают читать список. Фамилии кажутся ему чужими, незнакомыми, сразу забываются. Вдруг Тимофей слышит свою фамилию... Он весь съеживается и вбирает голову в плечи.

— ...Павел,— добавляет Жуков.— Сто один процент.

— Ого-о-о!— вздыхает зал.

— Восемьсот граммов табаку, винцараду, сапоги и шаровары.

Клуб замер, только ребятишки шморгали носами да жужжала где-то в паутине муха. Все водили по сторонам глазами, оглядывались, недоумевали.

— Павел!— всколыхнула тишину Анка.— Павел!

В углу заворочались рыбаки, зашептались.

— Ну иди же, иди. Вот дурень.

Павел встал.

— Белгородцев. Подойди к столу!— окликнул Кострюков.— Чего ты?

— Да иди же, дурень!— толкали его в спину.

Павел медленнно направился к столу.

— Вот тебе и вторая отметина, — обратился к нему представитель треста.— Получай.

Анка подала ему завернутые в винцараду сапоги, шаровары и табак.

И опять за спиной Тимофея:

— Ах-ха-ха... на самого хозяина, на батька наплевали, а сыну почет какой.

Обернулся Тимофей, но никого не увидел: все вокруг закачалось, поплыло, потонуло в тумане.

— Сынок-то твой, сынок, а? Погляди, с почтениями какими к нему,— щекочет бородкой ухо Панюхай.

— Как же, вижу... вижу...— криво улыбается Тимофей.

— То-то сердечушко родительское радостью обливается, а?

— Кровью... кровью...— прошептал Тимофей и ощупью стал пробираться к двери.— За штаны продался... За лохмотья... Своего не хватало?..— обернулся, но снова ничего не увидел.— Сукин сын... Кровь мою... соломинкой...

Заметив спину Тимофея, Кострюков приподнялся, резко постучал карандашом об графин.

— Дежурный! Товарищ дежурный! Зачем впускаете лишенцев?

Все обернулись.

— Белгородцев Тимофей, оставьте помещение...

Павел посмотрел вслед отцу. Тот шел сгорбившись, цепляясь рукой за скользкий, выкрашенный масляной краской простенок.

— Ведь отец родной, а ему хоть бы что...— вздохнула какая-то женщина и хмуро уставилась на Павла.

Слова крючьями впились в грудь. Сердце обмякло, как проколотый мяч, стало жаль отца. Павел судорожно смял руками сверток, положил на стол.

— Почему?..— рванулась к нему Анка.

— Благодарствую за уважение... Не возьму.

Жуков вопросительно взглянул на Анку.

«Значит правда... враг?...»— Анка не сводила с Павла напряженного взгляда. Слышно было, как прерывисто, сдавленно дышал клубный зал да где-то вверху звенела запутавшаяся в паутине муха.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XV

Разрезая небольшое взгорье, за которым днем и ночью дымятся высокие заводские трубы, с севера на юг торопливо бежит, вскипая и пенясь у берегов, речка Кальмиус. Миновав взгорье, она круто поворачивает к городу, ударяясь о высокий суглинистый косогор, отталкивается влево и, ширясь водами, течет уже медленно и спокойно до самого моря. Устье реки настолько глубоко, что в него свободно заходят огромные товаро-пассажирские пароходы Черноморья. Левый берег — прежнее место поселения бронзокосцев — широк, ровен и пустынен. Правый берег — местами отлогий, усеянный маленькими домиками горожан, местами обрывистый. От устья реки, где с каждым годом ширится портовое строительство, по склону вползает в город шоссейная дорога.

Бывало, приезжая с Павлом в город, Тимофей напоминал ему:

— В Севастопольскую кампанию вон там, за рекой, твой прадед с казаками оберегал город от англичан и французов. Вона в стене храма засеклась бомба. Не разорвалась. Господь не допустил.

Павел со страхом смотрел на чернеющую в правом крыле собора дыру, усердно крестился.

— А все потому,— отец кивал на маленькую церковь,— что рядом находился нетленный богоугодный святитель Игнатий.— И внушительно добавлял:— Предок твоей покойной матери.

Не обращая внимания на приветственные поклоны прихожан, Тимофей со смиренной важностью входил в церковь, покупал дюжину дорогих свечей и сам зажигал их на ставниках. Павел несмело приближался к гробнице, становился на колени, упирался головой в пол и, обливаясь потом, с затаенным дыханием читал про себя молитву.

За последние шесть месяцев Павел ни разу не был в городе. Перечил отцу, перестал молиться, а если и крестился когда, то как-то вяло, нехотя. Может быть, он стал понимать всю нелепость веры в несуществующего бога; а может, оттого перестал выказывать свою набожность, что ребята в глаза смеялись над ним. Кто знает... Павел молчал, избегал лишних разговоров, и неведомо было, какими мыслями полнится его голова. Видя большую перемену в поведении сына и чувствуя, что он ускользает из-под его власти, обеспокоенный Тимофей стал с ним ласков, настаивал на поездке в город:

— Поезжай, сынок, помолись святителю, гляди, на душе полегчает.

Павел не отвечал, оставался дома. Но узнав вчера из газеты, что по требованию большинства горожан состоится вскрытие гробницы Игнатия, он решил ехать. Тимофей вдруг запротестовал, всячески отговаривая сына. Но Павел твердо стоял на своем и пошел седлать лошадь.

Тимофей подбежал к конюшне, разбросал по дверям руки и замотал головой:

— Не дам коня! Не дам! Не дозволю на мореном коне прохлаждаться зря!

— Батя. Ты же сам меня посылал...

— А теперь не желаю!

— Почему?

— Не время!— и, снизив голос, мягко, просяще:— Сынок... лучше в море выехал бы. Рыба идет. Жалко упускать добро...

«Все хитришь, батя? Обманываешь?— подумал Павел.— Эх ты... родитель...»

Вышел за ворота, постоял в раздумье и отправился в город пешком, придерживаясь берега.

Над едва заметным очертанием далекого горизонта арбузной скибкой плыл горбатый месяц. Море вздыхало, сонно ворочалось у берега, шуршало на песке. Павел шел, то замедляя, то ускоряя шаг, разводил перед собой руками, рассуждая вслух.

— В голову не возьму: родитель он мне или нет? Сыном довожусь ему или как?.. Сызмала и до нонешней поры только и знал ругню да лупцовку... А за что?.. За что?..— Остановился, поглядел по сторонам, будто ожидая от кого-то ответа, и стал спускаться в балку, до крови полосуя колючим кустарником лицо и руки и не замечая этого.— Егорова взял к себе... Как к родному с ласками... Доверяет во всем... А меня обругать да ударить норовит... Знай, как бык, по двору работай да богу молись... Почему так? Почему?..— Сломал ветку, зло хлестнул по голенищу.— Вот на этом месте поймал с белугой... От срамоты на людях уберег его... А он?.. Обманывает. Сына обкрадывает!..

Затем мысли его потекли по иному руслу.

«Скорей... Скорей бы повидать... Может, и там обман? Может, потому и пущать не хотел? Вот клуб стоит же на месте... А говорил, что провалится... накажет господь...— поднял руку, пошарил по лицу, будто хотел сорвать с глаз что-то плотное, непроницаемое, мешающее видеть, и ускорил шаги.— Не опоздать бы... к часу поспеть».

Погруженный в глубокое раздумье, Павел не заметил, как уплыл за горизонт побледневший месяц, пролетела короткая ночь и за его спиной остался вымеренный ногами сорокакилометровый путь. Разноголосая сирена встряхнула Павла, оборвала мысли. Он поднял глаза и сейчас же зажмурился. Море так ослепительно блестело на солнце, что больно было смотреть на него. Минуя маяк, в порт входил огромный белобокий пароход. На пристани суетились люди, готовили трап. Невдалеке, упираясь в небо, высилась бледно-розовая труба консервного завода. А на взгорье трепетали в расплавленном воздухе кирпичные дома города.

Утопая по пояс в бурьянах, Павел прошел к реке, переправился на другую сторону и зашагал в город.

Базарная площадь была пуста. Держа в руках мешки и корзины, торговки теснились возле ограды, намереваясь пробраться к паперти. Маленькая старинная церковь не могла вместить всех любопытных. Люди кряхтели, охали, вступали в пререкания, грозились кулаками, но никто не желал выйти из ограды на улицу. Наряд милиции едва сдерживал напор толпы,

угрожавший деревянной пристройке. Вскоре на паперти показался мужчина. Пробившись за ограду, он вытер картузом лицо, передохнул.

— Всю эту трухлявую муру по всей России давным-давно перетрусили. У нас уже девять лет в городе советская власть, а вот до сего дня позволяли этим долгогривым идолам дурачить себя. Святитель... негленный...— он язвительно усмехнулся.— Стыд один да и только.

— Богохул!— возмутилась стоящая рядом торговка.— Не смей!

— Варвар!— поддержала другая.

— Гляди — язык змеей обернется! — и третья плюхнула гнилой помидориной ему в лицо.

Мужчина потер глаза, стряхнул с пальцев красную помидорную жижицу, с возмущением плюнул.

— Тьфу! Дуры!

В него полетели заплесневелые огурцы, картошка вперемежку с базарной бранью взбесившихся торговок, забывших о том, что они находятся у церкви. Милиционеры бросились унимать женщин.

Воспользовавшись этим, Павел, врезаясь плечом в толпу, протиснулся к паперти, а затем и внутрь храма.

Возле гробницы стоял новый, видимо, только что принесенный длинный ящик, похожий на гроб. Один мужчина, положив папку на спину другого, писал протокол. Позади него неподвижно торчал высокий, с безжизненным, землистого цвета лицом дьякон, упершись полузакрытыми глазами в пол. Рядом с ним клонил на плечо голову худощавый, с реденькой бородкой священник, не отрывая ленивого взгляда масленых глаз от подпрыгивающей руки гражданина, писавшего протокол. Они стояли подавленные, хмурые, плотно сомкнув рты. Павел потянулся, заглянул в ящик и отшатнулся. Он увидел разрушенный скелет, местами покрытый дотлевающей кожей, словно пергаментной бумагой. Вокруг ящика валялись остатки облачения, распылявшиеся при малейшем прикосновении к ним. Павел посмотрел в чернеющую пустоту гробницы, перебросил взгляд на соседа, старика со строгим лицом, кивнул на ящик и вопросительно произнес:

— А?...

Старик болезненно поморщился, отвел глаза в сторону.

— Потроха Игнатия,— весело сказал стоявший между ними мальчуган, выражая невысказанную мысль Павла.

Старик сердито посмотрел на него, угостил пинком.

— Разбойник... Выгоню...

Скосив глазенки, мальчуган хотел было возразить, но в это время гражданин, пряча в папку протокол, подписанный представителем церкви, сказал:

— Освободите проход!

Будто спасаясь от пожара, люди разом бросились к выходу, сшибая с ног друг друга; застряв в дверях, подались назад, ринулись вперед, заметались из стороны в сторону, топча упавших.

— Стойте! Не беситесь, вы! — пытались урезонить их милиционеры, но, сброшенные с паперти натиском толпы, отступили к ограде. Вслед за этим рухнула деревянная пристройка.

Гражданин с папкой указал на ящик. Четверо мужчин взвалили его на плечи и пошли к выходу.

— Потроха в музей понесли! — объявил мальчуган, озорно блеснув глазами на старика. У того судорожно дернулась на груди веерная борода.

— Нечестивец...

Павел поднял голову, огляделся. Священника и дьякона не было. У простенков кое-где стояли старухи, таинственно перешептывались. Рядом мельтешила веерная борода.

Павел шагнул к гробнице, уперся руками в края.

«Вот почему не желал пущать... Вот...» Взгляд упал на мраморную доску, застыл на последней строке:

И уцелевший доныне.

Вскинул глаза выше, к иконе Георгия. У Георгия шевелились оттопыренные губы, углы рта тянулись к ушам. Бросил взгляд влево — и там все лики смеются, весь иконостас кривится улыбками. Кругом шелестит смех. Тихий ядовитый смех, от которого бросает в озноб и в жар. Павлу стало душно, будто в мгновенье выкачали из церкви воздух. Расстегнул воротник, зацепился пальцами за гайтан. Позади усиливается шепот, а Павлу кажется, что нарастает смех...

— А ведь это сынок Тимофея Николаича... Ишь, занемог как.

— В молитвах усердствует... Кровь святителя сказывается.

— Бедняжка, а?..

Павел смотрит на старух, хочет крикнуть им: «Неправда! От стыда сгораю я! Стыдно мне! Видите, горю? От стыда! От стыда!»

Но спазмы перехватили горло, затянули петлей. Рванул гайтан, покачал в руке сумочку, подарок матери, уронил на пол и поволок к дверям отяжелевшие, словно с раздробленными костями ноги. Старик поднял сумочку, вынул пожелтевшую от времени бумагу, истертую на сгибах, осторожно развернул ее.

«...Вернолюбезному нам преосвященному Игнатию Готфейскому и Кефайскому и всему обществу крымских христиан греческого закона всякого звания, всем вообще и каждому особо, наше императорское милостивое слово...»

Взглянул на вторую страницу.

«...Преосвященному митрополиту Игнатию по смерть его всемилостивейше препоручаем паству всех сих с ним вышедших и впредь выходящих из Крыма поселян, которому и состоять беспосредственно под нашим святейшим синодом...»

В конце грамоты: *«Екатерина II»*.

Старик взмахнул веером бороды, поднял кверху глаза и, ткнув в морщинистый лоб три костлявых пальца, застыл в усердной молитве...

Солнце перевалило за полдень, близился вечер, а Павел без всякой нужды толкался по городу. Он исходил все улицы и проулки, спускался к морю, вновь подымался в город, присматривался к людям, магазинным витринам, будто кого-то разыскивал. У некоторых горожан и милиционеров Павел вызывал подозрение, и за ним следили до тех пор, пока он не скрывался из виду. Забыв о еде и отдыхе, он бродил от одной окраины города до другой, и, казалось, его хождению не будет конца. И только у реки, когда проходил мимо баркасов городских рыбаков, высматривая знакомых, Павел вздрогнул, замедлил шаги: его окликнули. Чья-то тяжелая рука легла ему на плечо, и он остановился...

XVI

У правого берега реки, устремив к небу пики высоких мачт, дремали перед вечерним выходом в море баркасы рыбаков-горожан. Забегавшие в устье шалые морские волны раскачивали их, теснили, били о берег, крутым обрывом спадавший ко дну. Посреди реки, беспокойно дергая якорную цепь, рвался на волю высокобортный двухмачтовый турецкий пленник «Зуйс». Это огромное парусно-моторное судно грузоподъемностью в тридцать тонн принадлежало турецкоподданному, контрабандисту Кадыж. Немало волн разбудило оно своей крепкой, закованной в железные латы грудью, не раз ускользало от сторожевых постов Черноморья и Азовья.

Снабженное двумя парусами и двухцилиндровым в сорок сил мотором, изготовленным на одном из немецких заводов, судно развивало такую скорость, что было совершенно неуловимо. Хозяин его Кадыж — красавец, высокого роста, в красной шерстяной с золотистой кистью феске на голове, державший в городе пивное торговое заведение, ежемесячно уходил в Константинополь, до отказа набивал трюм контрабандными товарами, прятал их за бортовыми переборками и смело пускался в далекий обратный путь к советским берегам. Как-то, по возвращении из Константинополя, его поймали в порту с шелками, конфисковали судно, закрыли лавку. Не согласившись с решением советского суда, Кадыж обжаловал его через турецкого консула. И вольнолюбивый «Зуйс», привыкший к буйному морскому простору, в ожидании вестей с родины томился в омертвелом покое речной теснины, прикованный прочной цепью ко дну.

Шли дни, проходили недели, месяцы, а Турция не отвечала.

Вернувшись с Косы, Жуков явился в рыбаксоюз, растормошил председателя:

— Положите конец этому безобразию! Преступно, дорогой товарищ, держать без дела такие суда, когда они позарез нужны рыбакам! Надо загрузить его работой! Передать артели и точка. Ведь оно в вашем ведении.

— Не можем мы поступить так,— возразил председатель.— Кадыж обжаловал решение суда, и консул отправил запрос своему правительству...

— Кадыж — преступник. Получил по заслугам, и душа из него винтом! Не понимаю, какие еще могут быть церемонии с ним?

— Не волнуйтесь. Запросили еще раз консула... Если через две недели не будет ответа, канитель эту прекратим.

— Две недели?— Жуков схватился за голову и вскочил со стула.— Две недели...— и, махнув рукой, торопливо направился к двери.— Волыним, товарищ!

— А может быть и раньше!— обнадежил его председатель. Он постучал карандашом об ноготь большого пальца, спросил:— Какой артели думаете передать «Зуйса»?

— Я вам говорил — бронзокосской.

— Недавно организованная?

— Да. А что?

— Мы несем расходы по этой канители с судном. Придется уплатить нам тысячи полторы целковых. Как они там...

— Оплатят. Уже задаток есть,— перебил его Жуков и вышел.

Посасывая головастые трубки, рыбаки, готовые к выходу в море, ожидали команды старшины. Над баркасами всплывали

сизые облачка табачного дыма, цеплялись за мачты, растягивались, струились через борта вниз и медленно таяли над водой. Старшина взошел на корму моторного судна, молча махнул рукой на море. Баркасы оттолкнулись от берега, сплыли на середину реки. День был безветренный, рыбаки дружно работали веслами. Моторное судно взяло их на буксир. «Зуйс» заволновался, подергал цепь и уставился приподнятым носом вслед уходившим в море баркасам.

Каждый раз возвращаясь из рыбаксоюза, Жуков останавливался против «Зуйса» и подолгу смотрел на него. Он с нетерпением ждал того дня, когда «Зуйс» вырвется на свободу, расправит могучие крылья и понесет на них свою помощь рыбакам, облегчит их каторжный труд. Но чувствуя, что день этот еще далек, Жуков нервничал, топтался на берегу и, рассуждая про себя, возмущался: «Волынка... Волынка да и только...»

Как-то, проходя поздним вечером мимо переправы, он случайно поднял глаза и остановился, удивленно разглядывая стоявшего невдалеке парня. «Неужели Павел?» — подумал Жуков и крикнул:

— Белгородцев!

Прихрамывая, подошел вплотную, положил руку на плечо.

— Ты, что ли? По каким делам?

Павел странно посмотрел на него, повел плечом, вяло проронил:

— А... так...

— Давно тут?

— Нынче пришел...

— Пешком?

Павел кивнул головой.

— Ты болен, что ли?

— А так... Немного муторно.

— Отчего?

Павел отвел в сторону потускневшие глаза, поджал губы и ничего не ответил. Жуков переменил разговор:

— Как рыба?

— Идет.

— Вот...— сказал Жуков. Он украдкой посмотрел на Павла, поспешно добавил:— А рыбаки бросили лов. Значит, можно круглый год ловить?

«Видать, батьку моего хотел помянуть»,— подумал Павел и опустил голову.

— Видишь этого красавца? — Жуков указал на «Зуйса».— Отвоевываем для наших рыбаков.

— Как?— недоуменно спросил Павел.

— А так. Купят и будут на нем работать. Тогда никакой шторм не будет страшен, душа из него винтом.

— За что же его артель купит?

— В рассрочку по частям выплатит.

— Вот как?..— вяло произнес Павел.

Жуков спросил:

— А почему ты не принял подарок?..

Павел ответил не сразу. Помялся и пробормотал:

— А... так... Сам не знаю...

— Это нехорошо. Ты должен был взять. Тебя не покупали, а премировали за хорошую работу. Поэтому я и спрашиваю тебя, почему?.. Отец запретил, что ли?..

Павел молчал.

Жуков посмотрел на его хмурое лицо, подумал: «Да. Что-то неладное с ним».

Павел отвернулся, глубоко вдохнул знакомый солоноватый запах моря. Оно спокойно лежало у берега, освещенное луной. Павел вспомнил о хуторе, и его неудержимо потянуло домой.

— Пойду,— решительно сказал он.

— Куда?

— На Косу.

— В ночь? Нет, ты уж переночуй у меня, а завтра поедешь на трестовской машине.

— Пойду. Ночью прохладно... вольготнее...

— И чего ты...

— Не могу,— перебил Павел,— в море тянет.

— Ну что будешь делать с тобой?.. Минутку подожди,— и, вынув блокнот, Жуков написал записку,— Кострюкову передашь.

Павел спрятал бумажку в картуз.

— Потеряешь!— заметил Жуков.

— Не-э-эт! Самое надежное место,— он похлопал себя по голове и пошел к лодке перевозчика.

Павел вернулся в хутор к завтраку. У обрыва качались на кошках подчалки, норовили выпрыгнуть на берег. Далеко на горизонте маячили баркасы, возвращавшиеся с лова. Павел постоял, поглядел на сверкающее море и повернул к дому. По дороге встретил представителя треста.

— Белгородцев!

Павел остановился.

— Почему вчера рыбу не сдавал? Не выходил в море, что ли?

— В городе был.

— А-а-а! — загадочно протянул тот и пошел дальше.

Увидев во дворе отца, закрывавшего двери конюшни, Павел подумал с ненавистью:

«Снова, видать, Егоров на «Вороне»...»

Избегая сыновнего взгляда, Тимофей проговорил страдальчески:

— Прохлаждаешься, сынок, а больной батька работает. На старости лет пожалел бы меня...

Ничего не ответив, Павел поднялся на крыльцо и скрылся в курене. Тимофей пошел следом.

Снимая картуз, не заметил Павел, как уронил записку; сел за стол, не перекрестившись. Старуха подала вареную картошку и хлеб.

— Пашка!..— задрожал Тимофей.

— Лоб перекрести, внучек,— шепнула бабка.

Павел, не слушая, жевал хлеб и дул на горячую картофелину, перебрасывая ее из руки в руку. Тимофей поднял записку.

> «Товарищ Кострюков! Добиваюсь мотора. Скоро разрешится вопрос. Подробности письмом. *Жуков*»

Тимофей подошел к столу, уперся пальцами в лоб, намереваясь перекреститься, но рука дрогнула, скользнула вниз.

«Видать, самому надоело рукой махать...»— подумал Павел и спросил:

— Вчера не сдавал рыбу? Кто на «Вороне»?..

— Пашка...— Тимофей опустился на скамейку, скомкал записку, швырнул под ноги и простонал:— Да ты же кровь мою... жизнь мою...

Павел сгорбился, понурил голову, потом бросил на стол картофелину и, подняв записку, направился к двери.

— Кусок... в горло не лезет... Родитель...

— Пашка!— вскрикнул Тимофей и бросился к сыну, схватив его за грудки. Задыхаясь, прохрипел у самого лица:— Губишь меня?..Батьку губишь?..

— Брось!— рванулся Павел.

— Губишь, говорю?

— Не я, а ты меня. Скажи, где рыба? Рыба где?! Меня обкрадываешь?

— Цыц, сукин сын!

— Не замолчу!..

— Цыц!— и, развернувшись, хряснул его кулаком по переносице.

Павел отшатнулся к двери, схватился за лицо.

Пальцы розовели, слипались. Отвел руки, сплюнул сукровицей.

— Вот как?.. Ладно... Ты думаешь, я не совладал бы с тобой? Не желаю только...— и шагнул через порог.

— А я, думаешь, боюсь тебя!? Боюсь!? Разбойники! Вот вам! — Тимофей потряс кулаками.— Вот. Голоса лишили. А теперь что? Язык вырвете? Языка лишите? Врете! И без него не лишите меня голоса! Вот! Вот! Без него буду кричать! Слушай, сукин сын! Гму-у-у-у! Вот, слушай! Без языка кричу: гму-у-у!..— подстреленным зверем завыл он вслед сыну.

Павел явился в совет, попросил бумаги, написал об избиении его отцом, о вырученной им белуге, которую отец и Егоров хотели скрыть от государства, и о том, что отец не пускает его в море,— и отдал заявление Кострюкову.

— Вот. Жизни мне от батьки нету. Бьет и обкрадывает.. Заступиться прошу...

XVII

В посветлевшем небе бледнели, угасали звезды...

За окном таяла бирюзовая ночь.

Тревожная ночь.

Терзаемая бессонницей, Анка беспокойно ворочалась в постели, вскакивала, прислушивалась и устало роняла голову на подушку, обхватывая ее руками. Она не переставала думать об отце, теряясь в догадках.

«Где ему быть?»

Двое суток минуло, как ушел Панюхай не известно куда и не возвращался. Последние дни заскупился на слова, избегал разговоров. И ушел тайком, ничего не сказав. Расспрашивала рыбаков и женщин на хуторе, но все разводили руками. Ответ был один:

— Не видали,

Ходила к Кострюкову, просила совета:

— В район заявить, что ли?

— Погоди. Может, вернется.

Но за окном дотаивала вторая ночь, а Панюхай не возвращался и не давал знать о себе.

Встала Анка поздно, одеваться медлила. Свесила с кровати ноги, тупо уставилась в пол. Возле скамейки валялись куски

дратвы, щетина, кожаные обрезки. Вспомнила, что с того дня не убирала комнату. Это было позавчера. Отец чинил чувяки. Анка старалась поймать его взгляд.

— Скажи, отец, какую думку хоронишь от меня?

Растягивая дратву, Панюхай ниже склонял голову, щекотал камышовой бородкой обнаженную грудь.

— Не засти.

Отходила к столу, недоумевая. Такая странная перемена в отце ставила ее в тупик.

— В обиде на меня? Так скажи, за что?

— Не приставай...

На том и оборвался их разговор.

Легкий стук в дверь подхватил Анку с кровати. Спрыгнула на пол, открыла дверь и сейчас же захлопнула ее, досадливо поморщившись. Вернулась к кровати, наскоро оделась, крикнула:

— Заходите!..

Наклоняясь под низкой притолокой, через порог не спеша переступил Тимофей, снял картуз, поздоровался и без приглашения опустился на скамейку. Шевельнув колечками усов, огляделся, заметил несмятую подушку на топчане.

— Батько-то вроде дома не ночевал, а?

Анка покачала головой.

— Где ж бы это ему быть?..— пробормотал Тимофей, отводя взгляд к окну.

«Хитрит»,— подумала Анка, заметив, что он прячет от нее глаза.

— Для чего вам понадобился отец?

— Дело важное имею.

— Какое?

Тимофей пожевал бороду и опять скользнул взглядом мимо Анки.

— Пашка извел. Без того сердцем хвораю, а тут еще он...

— А чем бы отец помог? К доктору надо.

— Не о том я. Договориться хотел, как с родителем твоим, а потом поженить вас. По мне все равно, раз по сердцу пришлись.

— Вон вы о чем! — Анка широко раскрыла глаза, присела на топчан.— Свататься пришли... Так зачем же отец? Можно без него обойтись.

— Нет. Без родительской воли нельзя.

— Можно. На это только моя воля нужна.

Тимофей помолчал и спросил:

— А ты-то как... По душе тебе Пашка?

— По душе.
— Пойдешь за него?
— Нет.
Тимофей выпрямился, недоверчиво посмотрел на нее.
— Не брешешь?
— Нет,— повторила Анка.
— Чем же срамоту с себя снимешь?
— Какую?
Тимофей хмыкнул и, теперь уже не отрывая от Анки глаз, откинулся на спинку скамейки.
— Не знаешь?.. А телесный грех с Пашкой?.. Весь хутор толкует о том. Слыхать, ты в положении от него.
— Пущай толкуют. Не боюсь.
— Как?.. Будешь в девках рожать?
— Рожу. Никого не спрошусь.
Больше Тимофей не нашел что сказать. Взял картуз, вышел на улицу, сплюнул:
— Сука. Гляди, подумала, что всерьез сватал ее.
Убрав в комнате, Анка отправилась в совет. Застала одного Душина. Он с таким увлечением переписывал какие-то бумаги, что не слышал, как она вошла.
— Где Кострюков?
— Еще не приходил.
— Подожду,— рассеянно сказала Анка и села напротив Душина.
— А зачем он тебе?..
— Думаю в район заявить об отце. Может, найдут.
Он кивнул головой, одобряя ее намерение, и опять уткнулся в бумаги. Желтые, белые, коричневые бумаги. Перебираемые длинными пальцами Душина, они шелестели на столе осенним листопадом. Анка посмотрела на его лицо.
— Как-то незаметно живешь ты.
Шелест бумаг оборвался.
— Я?
— Да.
— Почему?
— А вот сидишь в совете, и больше тебя нигде не видно и не слышно.
— Что я, кричать должен?
— Зачем? Поехал бы в море или взялся бы за какую-нибудь общественную работу.
— Хватит с меня одной нагрузки.
— Детей от рожениц принимать? — усмехнулась Анка.—

Бабье дело. Гляди, скоро станут называть тебя повивальной бабкой.

— Не насмехайся. Может, пригожусь.

— Или женился бы...

— На ком?

— Хоть бы на Евгенушке.

Душин отмахнулся;

— Хворая девка.

— Отчего?

— От любви к Дубову.

Анка встала, покачала головой:

— Чудак ты, Душин, — и вышла.

С севера наплывала огромная туча, застилала небо. На бугре взметнулась пыль, прилегла к земле. Задымился курган.

Туча повисла над берегом, тенью прикрыла хутор, блеснула огненным жалом молнии, оглушительно грохнула, и сильный ливень косым ударом разрубил взволнованное море. Остановившись, Анка сняла с ног ботинки и повернула домой. Вбежав во двор, на мгновенье замерла, потом рывком сорвалась с места и торопливо отомкнула замок: возле двери с мокрым платком на голове, одетый в новую парусиновую винцараду, топтался Панюхай. Анка открыла дверь, втолкнула отца.

— Где же ты пропадал? Почему не сказал, что уйдешь и куда? Ведь я душой изболелась...

Панюхай странно засмеялся, почесал бородкой грудь.

— А тогда не страдала хворобой, когда на батька статейки сочиняла в газету да картинки рисовала? А? Небось, весело было? Что ж я, чебак не курица...— и смолк. В его голосе звучала затаенная обида. Снял винцараду, бросил на скамейку и прилег на топчан.

«Так вот за что он в обиде на меня?— подумала Анка, глядя с удивлением то на винцараду, то на отца.— Но где же он был? Откуда у него винцарада? Какой щедрый человек подарил ему такую обнову?!»

Подошла к топчану, сняла с головы отца платок, выжала воду. Панюхай лежал лицом к стене, с закрытыми глазами. Анка ласково тронула его за плечо.

— Отец... Не серчай... Ты же знаешь, что я люблю тебя.

— Не приставай...

И на этом оборвался их разговор.

Перед вечером рыбаки потянулись к берегу. Грузили на подчалки сетеснасти, провизию, подвозили к баркасам. Собиралась и Анка.

Панюхай сидел на пороге и задумчиво перебирал пальцами бородку, устремив куда-то вдаль бесцветные глаза.

Проходя мимо, Анка остановилась.

— Отец! Может, ты поедешь за меня?

— Нет уж, сами... раз на все способны.

— Ну дай мне винцараду.

— В артели получи. А я человек бедный. Сам в нужде.

Вышла на улицу, крикнула оттуда:

— Дома будешь?

— Хоть и не буду, не беда. Хижка без ног. Не уйдет.

Рыбаки становили паруса, снимались с якорей. На берег прибежал Душин и передал Кострюкову только что полученное из города сообщение метеорологической станции. Прочитав сводку, Кострюков поднял руку, крикнул:

— Сажай на якорь! Ожидается шторм!

Рыбаки, ворча, стали разгружать баркасы.

Вернувшись домой, Анка не застала отца. Дверь была заперта, а ключ висел на ручке, привязанный дратвой. Разделась, упала на топчан и так крепко уснула, что не слышала, как промчался над хутором короткий ураган... А когда проснулась — море спокойно вздыхало в предрассветной дреме, а за окном неслышно проплывала к далеким берегам теплая летняя ночь.

В пятнадцати километрах от хутора, на высоком взгорье ютились в шалашах и землянках выселенные из окрестных деревень и хуторов лишенцы-кулаки. Место это называлось Буграми. Сюда-то и решил сельсовет выселить Белгородцева.

Вопрос о нем Кострюков вынес на общее собрание хутора. Из единоличников явились Егоров, Павел и еще пять человек. Кострюков выждал немного, спросил:

— Остальные не придут, что ли?

— Не желают,— ответил Егоров.

— Ладно, без них управимся.

— Оно без горлопанов лучше,— заметила Анка.

Кострюков встал.

— Так вот... Нам в точности известно, что Белгородцев Тимофей воровал рыбу. Потому и договор не подписывал: без него красть сподручнее. И от беды себя сыном думал заслонить. А когда поймался, ну и завилял хвостом. Сам выбежал на дорожку к Буграм. Только туда ему и осталось парусить, а вот вы задерживаете его. За полы держите... Квартальное собрание сорвали. И не совестно, а?..

Единоличники переглянулись.

— Людей обижать — да, совестно.

— Но ведь он же вор! — вскипела Анка.— Вор! Вор!

— Заткнись! Скрутила Пашку, а теперь отца его на погибель толкаешь? Или имуществом ихним завладеть надумала?

— Не шумите зря!..— и Кострюков зачитал заявление Павла.— Ну! Слыхали?

— Чего ну? Раз уж сын пошел против батьки, то чего доброго можно ожидать от него?

— Брехня!

— Топит он батьку! Анка подбивает его!

Кострюков поднял руку. Единоличники смолкли.

— Егоров! Говори при народе: верно Павел написал о белуге?.. Говори...

— Верно,— процедил сквозь зубы Егоров.

— Слыхали?

— Погоди! — повысил голос Егоров.— Мы же хотели на пункт ее, а Пашка насильно взял.

— Ага! Вот она правдушка! Вот кто вор!

В первом ряду вскочил побагровевший Павел.

— Врешь!

Он сжал кулаки и ринулся было на Егорова, но сдержался, посмотрел на него в упор и вернулся на место.

— Погоди, может повстречаемся еще...

Единоличники перебросились насмешливыми взглядами и покинули собрание.

— Куда вы? — окликнул их Кострюков.

— Грех на душу брать не желаем. Вы — власть, вы и судите.

Оставшиеся единодушно решили: выселить Белгородцева Тимофея на Бугры в суточный срок. А для того чтобы не допустить возможных с его стороны злонамеренных поступков, выделить из бедноты наблюдательную тройку.

Тимофей предвидел решение собрания, и когда тройка подходила к его двору, он уже выезжал за ворота на дрогах. П зади него стоял высокий сундук, покрытый брезентом. На крыльце плакала мать, толкала в спину Павла:

— Внучек.. Помолился бы... Батько-то во путь-дорогу... в тяжкую дорогу собрался...

На улице Тимофей остановил лошадь, перекрестился на курень.

— За бабкой доглядай. Помрет, глаза закрой ей. Чего ж, выгнал батька, гляди, и некому будет... Сукин сын...

Повернулся к тройке, глазами сверкнул.

— Доглядать пришли?.. Знаю... Вот, глядите: коня взял да сундучок только. Домом мне будет. А все добро «хозя-а-аину» оставил...

— Батя... Сундук на бок поклал бы... Упадет...

— Что?— вскинулся Тимофей.— Ба-а-атей стал? Батей? Нет, брешешь! Чужой я тебе! Чужой! Тебе, видать, и этого жалко? Жалкуешь, а? Так на ж тебе! На!—и он столкнул на землю сундук. Хлопнула незапертая крышка, откинулась в сторону, и из сундука заклубилась по дороге мучная пыль.

— Ничего не возьму! Ничего! Пущай все видят, как ты батька посылаешь умирать! Как собаку на подыхание! Жалкуешь? Так лопай же, сукин сын! Жри, душегуб! Да подавись родительским проклятием!.. Эх, жи-и-и-зня!..

Тимофей уперся в передок ногами и обрушил на лошадь яростные удары кнута...

XVIII

От задумчивого кургана к обрывистому берегу моря надвигалась буро-дымчатая сумеречь.

Павел вышел из куреня, перемахнул через забор и направился к обрыву, где сплетали песню звонкие голоса молодежи. Подошел, постоял минуту, спустился к морю.

Над берегом, одна за другой, звучали старинные любовные песни. Новых на Косе не знали. Опустив голову, вымеряя шагами берег, Павел тоже запел,— медленно, вполголоса, на греческом языке. Заслышав позади себя шаги, обернулся. Узнал Анку и запел по-русски, продолжая идти:

— А ты, которую я полюбил, чья?
Ты, у которой щека — роза, язык — соловей,
Приди, не заставляй меня плакать,
Который полюбил тебя.
У крестного отца нет иной розы,
У меня нет никого, кроме тебя...

Она знала эту песню наизусть. Поравнявшись с ним, дернула за рубаху, улыбнулась:

— На обрыве про любовь поют и тут про нее.

— На это запрета нет.

— Дело известное.

— А чего же укусить норовишь?
— Эх, ты... Погляжу на тебя да думаю, жалко становится. Дурачком святым прикидываешься.
— Не молюсь я.
— Брось.
— Не молюсь,— повторил Павел.— Отмахался.
Незаметно миновали хутор, прошли второй обрыв, что в трех километрах, и остановились возле неглубокой балки, густо поросшей кустарником.
— Ерик,— проговорила Анка.— Далеко зашли. Вон уже где огоньки. Повернем?
— Нет. Посидим,— и Павел опустился на траву.
Анка помолчала и спросила:
— Зачем отца засылал ко мне?
— Когда?
— Вчерашним днем.
— Ничего не знаю я. И не говорил с ним.
— Как же, приходил сватать.
— Брехня! Это он сам. И я знаю, почему ластился к тебе. Говорил как-то...
— Скажи, почему?
— Чтобы заступилась за него на случай беды какой. Ведь ты же в милиционерах состоишь, вот и хотел породниться...
Анка тихо засмеялась.
— Пойдем обратно.
Павел вскочил, поймал ее за руку.
— Погоди... Чего же ты?..— и притянул к себе.
Жаркое его дыхание обожгло Анке щеку.
— Ведь я же для тебя на все... Анка... Погоди...
— А чего еще ждать? Я уже в положении... Чего ждать?..
Павел шагнул назад, у него беспомощно повисли руки.
— Что, испугался? Кислятина...— с презрением бросила Анка.
— Я ничего...
— Ладно! Слушай, Павел... Что я в положении, это одной меня касается. И больше никого. А тебе заявляю: больше за мной не ходи...
Павел упал на траву и долго лежал ничком. Потом вскочил и, забыв поднять картуз, кинулся за Анкой.
— Анка! Анка!
— Чего тебе?
— Зачем бросаешь меня?.. Разве я... Анка!..
— Дороги разные у нас.
Павел застыл в недоумении.

— Как?

— Сам знаешь, что и родные наши...— разные люди,— сурово проговорила Анка.

— Вон что?.. На батька намекаешь... А я-то тут при чем? При чем я?..

— Я не виню тебя. Будешь по-новому жить, не по-батькиному, что ж, для тебя же будет лучше.— Не взглянув на него, она пошла прочь.

Павел стиснул зубы и, сам не зная для чего, зашагал в степь. Нагибаясь, срывал на ходу траву, совал в рот, остервенело выплевывал. Вспомнив о картузе, повернул назад. У ерика остановился — не то от удивления, не то в испуге. Навстречу ему медленно шла стреноженная лошадь в хомуте и седелке. Подошел ближе, узнал своего коня.

— Булан?— вопросительно прошептал Павел, ловя чумбур недоуздка, свисавший к земле.

Конь тряхнул волнистой гривой и, вытягивая шею, высоко поднял голову. Не раздумывая, Павел снял путо, сел на Буланого и медленно поехал над ериком по направлению к морю, временами останавливаясь. Вскоре он услышал сдержанные голоса и запах едкой гари. Привязал лошадь у куста и, затаив дыхание, спустился по косогору вниз. Наткнувшись на всхрапывающего человека, укрытого винцарадой, лег на живот, пополз в обход. Голоса приближались, становились отчетливее. Раздвинув кусты, просунул голову, всмотрелся. Под раскидистой яблоней стояло двое дрог, а возле них у небольшого костра, кто вразвалку, кто на корточках, сидело пять человек, раскуривая цигарки. Один из них поднялся и негромко сказал:

— Пора.

Павел похолодел, узнав отцовский голос... Не поворачиваясь, пополз обратно, осторожно обошел спящего в кустах рыбака, вывел из ерика Буланого, отъехал полкилометра шагом и пустился вскачь.

И опять мысли обгоняли его, устремляясь к Анке.

«Пущай теперь знает... Пущай поглядит, что я на все для нее... Ничего не жалко... Ничего...»

— Пора,— вполголоса повторил Тимофей.

Первым вскочили Егоров и подгорный рыбак Краснов. За ними поднялись Урин и низкорослый, с сосульчатыми усами человек.

У подножья косогора наклонно лежал брезент, присыпанный землей. Немного повыше из небольшого отверстия, прикрытого

срубленными ветками, струился бледно-розовый с просинью дымок. Тимофей снял брезент, сбросил доски. Из прохода широким потоком хлынул дым, заполоводил ерик.

— Глуши!— сказал Тимофей Егорову.

Егоров и Краснов, глубоко взрывая лопатами землю, посыгали ее через проход в коптилку. Дым постепенно чернел, становился реже и вскоре исчез, отравив горечью воздух. Согнувшись, Егоров вошел в коптилку. Она была вырыта в рост человека. Сняв с крайних у входа жердочек двух крупных чебаков, он поспешно выскочил, задыхаясь от гари. Тимофей взял золотисто отсвечивавшую прокопченную рыбу, подкинул на руке:

— Золотой товар.

По очереди ныряя в удушливую яму, Егоров и Краснов перещупали все жердочки, вынесли рыбу наверх, сложили в дроги.

— Коней давай!— распорядился Тимофей, укрывая рыбу брезентом.

Человек с сосульчатыми усами вывел из-за куста лошадь. Егоров взбежал наверх, но вдруг, словно ударившись обо что-то невидимое, шарахнулся назад, присел. К ерику с обеих сторон бесшумно приближались люди, некоторые из них были на лошадях. Егоров подбежал к Тимофею, прохрипел:

— Старика нету... Выдал нас... Кругом народ...

Тимофей вздрогнул, но спокойно переспросил:

— Как?

— Старик выдал... Народ идет... Всем хутором...

...Человек с сосульчатыми усами обронил дугу на шею лошади, пришиб оглоблей себе ногу. Урин тяжело дышал, расстегивая воротник рубахи, ему было душно. Егоров усиленно сосал цигарку, выпуская через нос дым, а Краснов, сидя на косогоре, раскачивался и горестно шептал:

— Пять душ... Пять душ осиротил... Вот горюшко-то...

В ерике закричали:

— Го-го-ооо! Коптушка, что надо!

— И бочки для рассола припасены!

— Где?

— Вон в кустах! В землю по края зарыты.

Зашумели, задвигались кусты, заговорили человеческими голосами, тесно сомкнулись в кольцо.

Кострюков подошел к Тимофею, посмотрел в упор.

— Ну, Тимофей Николаевич... Какой ответ припас?

Тимофей вздохнул, отвернулся. Кострюков взглянул на Урина.

— Старый знакомый... Так, так..

Откинул брезент, взял чебака, понюхал, положил обратно, прикрыл.

— А это чьи?.. Чьи дроги?..

— Мои,— отозвался человек с сосульчатыми усами.

— Кто вы такой?

— Приезжий...

— Ладно. Разберемся. Вы тоже арестованы,— Кострюков вынул наган.— Анка! Забирай их...

В руках Анки блеснул браунинг. Подошла к Тимофею, слегка потянула за рукав.

— Становись по два.

— Не пойду!— запротестовал Тимофей, уцепившись за дроги.— Не тронь!

— Давай! Давай!— прикрикнул Кострюков.

— Не пойду! Не пойду! Дайте мне милиционера в штанах! Уберите эту мокрохвостку. Не пойду на срамоту!— и оттолкнул от себя Анку: — Уйди! Не подчинюсь бабе!

— Вяжите его,— обратилась к рыбакам Анка.— Путай по рукам и ногам! На дрогах свезем! Вяжите!

На плечо Тимофею легла чья-то ладонь.

— Батя... Кто же кровь соломинкой... и чью?

Резко обернувшись, Тимофей посмотрел на Павла, и лицо его исказила судорога. Он протянул сжатые кулаки:

— На, сукин сын! На! Вяжи! Пущай люди видят, как родной сынок батька своего губит! На! Вяжи!

Павел отвел его руки.

— Не надо... и так не уйдешь...

К Тимофею подошел рыбак, шлепнул по спине:

— Довольно, Николаич, мотней трусить. Иди до кучи своей,— и толкнул его к арестованным.

Из кустов донеслись голоса. Все насторожились.

— Чего еще там?— окликнул Кострюков.

— А вот... рыбалку нашли, не шукая. Насилу добудились...

Анка выронила браунинг, будто ей перешибли руку: двое рыбаков вели ворчавшего Панюхая.

— А зачем будить, когда человек во сне? Эх, зря...

Снял с плеча винцараду, перебросил на руку, понюхал воздух и спокойно сказал:

— Ну, вот... Разбудили... Чего ж теперь?..

Увидев Анку, растерялся.

— И ты тут?.. Зря, дочка... Зря...

Анка долго молча смотрела на него, потом кивнула головой в сторону арестованных.

— Зачем?.. Анка... Не желаю я...

Она подняла с земли браунинг.

— Иди до кучи...

— Анка...— пролепетал Панюхай.— В отца палить?.. Анка...

Панюхай съежился, будто раздетым стоял на морозе, беспомощно опустил руки и шагнул к дочери. Анка поправила на его голове платок, тронула за плечо, холодно сказала:

— Ты арестован...

XIX

Захромала работа у Евгенушки, застопорилась. К завтрашнему дню нужно было разрисовку стенгазеты закончить, а тут все из рук валится. Перечитает письма Дубова, поплачет и опять принимается читать, растирая ладонью соленые крупинки слез. А письма все дерзкие, холодные, грубые. Время от времени неслышно открывается из другой комнаты дверь, просовывается голова Душина:

— Работаешь?

— Да-а,— в испуге произносит Евгенушка, берет кисть, макает не в те краски, рисует не то, что нужно.

Душин сокрушенно качает головой, прикрывает дверь.

Посидела в раздумье Евгенушка, написала письмо и махнула на окраину хутора к Дубову. Не застав, побежала в совет, к морю, но нигде не нашла его. Возвращаясь домой, неожиданно встретилась с ним на углу улицы. Как всегда, Дубов шел быстро, высоко подняв голову, вскидывая шевелюрой.

— Виталий! Погоди...

Нахмурился, опустил глаза.

— Чего тебе?

У Евгенушки задрожали губы.

— Не бойся, не задержу... На вот...— сунула ему в руку письмо и убежала.

На пороге столкнулась с Душиным. Тот взял ее за плечо, заглянул в глаза.

— Евгенушка! Вид у тебя хворый, а?

— Да...— и, краснея, добавила:— Лихорадит. Дайте хины.

Душин вернулся в комнату, вынес ей порошок.

— Мало. Еще дайте.

— Хватит. После дам. Вечером,— и подозрительно сощурил глаза.

Когда Душин ушел, Евгенушка вынесла деревянное корыто, поставила на пол, наполнила кипятком. Метнулась в комнату Душина, достала еще пять порошков хинина, разом приняла все шесть, разделась и села в корыто. Вода обхватила ее по пояс, обожгла тело. Закусив губу, откинула назад голову, простонала и смолкла...

...Дубов, прочитав письмо, разорвал его, скомкал и забросил в садик.

«Не от нее ли?» — И выждав, пока он скрылся, Душин перелез через изгородь, поднял бумажки. В совете разгладил смятые клочки, подклеил один к другому и, просмотрев письмо; спешно направился домой, подгоняемый охватившей его тревогой.

У ворот стоял Кострюков.

— Думал, ты дома...Заглянул, и... Не знаю, право... Или померещилось мне?

— А что? — дрогнувшим голосом спросил Душин.

— Да вот... Пойди погляди...

Они вошли в курень.

Уткнувшись в подушку, разбросав руки, на кровати нагишом лежала Евгенушка. В корыте багровела остывающая вода, на столе валялись обертки от порошков. Душин кинулся к аптечке и... ахнул: не хватало пяти порошков хинина.

Евгенушка заворочалась.

— Кто там? — окликнула она.

Душин отбежал к двери.

— Я!

— Сюда нельзя! Не заходите!

— Нет, нет...

Кострюков недоумевающе прошептал:

— Голову теряю... Тебе-то известно что-нибудь?

Душин передал ему письмо.

— Вот, полюбуйся...

Четвертую страницу протокола дописывала Анка, а Кострюков все еще говорил. Он обращался ко всем, но взгляд его то и дело останавливался на Дубове.

— ...Почему бы нас не водить за нос, когда мы непробудным сном спим. В любовные закрутки играем, людей от себя отталкиваем. Видали, как Белгородцев и Урин бедноту заманывают под свое крылышко? Чем не организаторы!.. А мы? Да ежели так пойдет дальше, то нас не только будут обкрадывать, а и петлю затянут на шее. Белгородцев не один. И забывать этого нельзя. Всег-

да быть начеку, организовывать свои силы, сколачивать боевой отряд, чтобы враг наш разбивался об него, как баркас об скалу. А как мы работаем? Вот ты, Дубов. Ты как работаешь? Отвечай. Тебя должны выслушать товарищи. Ну?..

Дубов нехотя поднялся и, не поднимая глаз, сказал:

— Как позволяют силы и уменье...

— Неправда. Ты боишься рассказать о себе. Знаю я. Ты храбрый, когда чист, а нашкодишь — как мокрый петух трусишься. — Кострюков вынул письмо, положил перед Анкой и постучал по нему пальцем.— Вот эта бумажка смелей тебя, и она расскажет о твоей работе, раз ты молчишь. Пущай товарищи послушают правду о тебе и узнают, как ты обрабатываешь молодежь. Анка, читай.

Анка вздохнула, повертела в руках письмо, будто хотела куда-нибудь спрятать его, и, откашлявшись, взволнованно прочла:

— «Меня всегда тяготило, что мы не живем вместе, а только видимся. Ты этого не хотел. Тебе было нужно только, чтобы я ходила к тебе ночевать. А утром, проходя мимо окна, из которого ухмылялся Зотов, я слышала вслед очень много грубостей и пошлостей. Мне это было легко? Ты об этом думал когда-нибудь? Я много работала, читала, занимаюсь и сейчас, но ты не верил этому, тебе все мерещились мои встречи с кем-то, а они у меня только в школе, с учениками. Жестокий ты, Виталий. Очень жестокий... Я ничем не заслужила таких обид от тебя. Любила, люблю и сейчас, но в положение просящей милостыню не стану.

Еще: к моему несчастью 2-е на этот раз сошло неблагополучно. Нужно делать аборт. Заниматься в таком состоянии невозможно.

А заявление мое о вступлении в комсомол порви. Это тоже ставит меня в положение просящей милостыню. Уж больно долго маринуется оно у тебя. Или ты, может, не хотел этого?.. Странно. Ничего не понимаю.

Евгения»

— Да, — вздохнул Кострюков.— Ну, товарищ Дубов, может теперь скажешь что-нибудь? Говори, если имеешь что сказать, не задерживай. В море пора собираться.

Дубов молчал.

— Кто выскажется?.. Нет желающих? Тогда я вношу предложение: исключить Дубова из комсомола.

— Погоди,— отозвался представитель треста.— Вина, правда,

большая. Гладить по голове за такие поступки нечего, но и применять крайние меры тоже нельзя.

— Вы слышали письмо, но не видели, как девушка кровью изошла,— сказал Кострюков.

— Отчего?

— Сама аборт сделала.

— Товарищ Кострюков! Она пишет, что и сейчас любит его. Дело молодое, может и сойдутся еще, помирятся. А мы — исключать... По-моему — вынести строгий выговор.

— Мало!— вскочил один из подгорных рыбаков.— Раз в работе Дубов и тухлого чебака не стоит, снять его с руководства. А то, ишь, он даже заявления теряет. Где ж ему новых членов вербовать? Снять с руководящей работы и посадить на его место Анку.

— Хорошо, согласен. Но этого все же мало,— не успокаивался Кострюков.— Я предлагаю еще: послать Дубова на четыре путины в море. Пущай он там покажет себя и вину свою искупит.

— Правильно,—поддержал представитель треста.

— Значит, примем такое решение: объявить строгий выговор, снять с руководящей работы и послать в море на четыре путины. Принимаем? Нет возражений?.. Анка, запиши. Да не забудь на первом же собрании комсомольцев рассмотреть заявление Евгенушки.

— Нет, не забуду.

Зотов схватился со скамейки, метнулся к столу:

— Погоди, Кострюков.

— Чего тебе?

— Как это так?— Зотов развел руками.— Меня в море, а Евгенушку на мое место посадили. Теперь Дубова в море, а на его место Анку сажаете. Что ж это, девки будут на берегу, а ребята в море?

— Всяк у своего места.

— Как же так?— возмущался Зотов.— Это не резон... это...

— Собрание объявляю закрытым!— сказал Кострюков и предупредил:— А ты, ежели еще раз учинишь кому обиду, без разговоров вышибем из комсомола...

На улице Зотов протянул Дубову руку:

— Давай плавник. Теперь мы одного ранжира.

— Довольно бузить!— Дубов посмотрел на него строго.— Трепло... а еще другом назывался. Зачем воду мутил? Из-за тебя глаза на лоб просятся. Сраму сколько...

— Не серчай. Давай руку.

— Я не серчаю, а говорю: не по-комсомольски поступил ты... нечестно...

— Ну, прости, ежели виноват...

— Сам очищай свою совесть... А я и без твоей руки обойдусь. Время за ум хвагиться...

— Верно, Дубов! — крикнула со двора Анка. — Пора пояса подтянуть. И глядите у меня, кто распояшется, греть буду.

— А мы что? Насчет делов и толкуем, — отозвался Зотов.

— Ничего. Просто предупреждаю: рассупонишься — взгрею.

— Подтянусь, товарищ начальница, — сердито проворчал Зотов.

— Ладно. Не то за уши подтянем. А ты куда, Виталий? К Евгенке?

Дубов молча повернул в проулок. Он долго ходил вокруг куреня Евгенушки, топтался у ворот, заглядывал во двор. Потом решительно направился к двери, вошел в комнату. Увидев Дубова, Евгенушка потянула на себя одеяло и отвернулась к стене. Он несмело подошел к кровати, посмотрел на Евгенушку и тоже скосил глаза в сторону.

— На год в море посылают... На четыре путины...

Евгенушка молчала. Ее глаза не теплились лаской. Они были строгими, холодными, как осенняя зоревая изморозь. Отцвели, побурели щеки, посинели губы.

Посмотрел еще раз на нее, тихо проговорил:

— Прости.

Не дождавшись ответа, пошел к двери.

— Виталий!.. — окликнула Евгенушка.

Поманила его к себе, протянула руку...

— А теперь уходи. Жестокий ты, Виталий... Уходи... — И опять отвернулась к стене.

XX

Крепкие цепи, пять месяцев неволившие «Зуйса», были раскованы. Судно тщательно осмотрели, проверили мотор и парусные снасти. В восемь часов утра «Зуйс» пришвартовался к пристани, принял на палубу Жукова и ровно в девять отчалил.

Шли полным ходом. Выдался на редкость спокойный, безветренный день. Жуков нервно шагал по палубе, посматривал на берег. Город все еще маячил перед глазами, будто шел за ними на буксире, а порой казалось, что «Зуйс» стоит на месте или задним

ходом возвращается к пристани. Вчера от Кострюкова пришло письмо, в котором сообщалось о раскрытии коптилки, и Жукову хотелось как можно скорее попасть на Косу. Он подошел к мотористу, нетерпеливо спросил:

— А нельзя ли «Зуйсу» немного пошибче пойти?

— Ветра нет. А то поставили бы паруса, вмиг домахали бы до Косы,— ответил бойкий, веселый, с задиристыми серыми глазами Сашка-моторист.

— Жалко,— Жуков опять зашагал по палубе.

Вскоре город окунулся в море, а впереди вынырнули пять баркасов, приковавшие к себе взгляд Жукова. Он всматривался до тех пор, пока не почувствовал резь в глазах. Попросил у Сашки бинокль, вскинул к глазам, уверенно проговорил:

— Наши!

С рассвета работали веслами рыбаки, а берег все не всплывал. Тяжело шли нагруженные рыбой баркасы, временами останавливались. У гребцов иссякли последние силы. Провизия кончилась, пресная вода была на исходе. Мучимый жаждой, Дубов, держа руку на румпельке, жадно, не мигая, смотрел на воду. Григорий и еще один рыбак, качаясь на сиделке, вяло заносили весла. Вслед шли гуськом четыре баркаса. Один из них отстал, и рыбаки выбрасывали из него рыбу в море. Дубов умоляюще взглянул на рыбака, хрипло простонал:

— Пить... Дай мне пить!..

— Потерпи. А то нам еще километров двадцать пять качать спинами.

— Глоточек...

— Там их всего три.

— Мой отдай...

— Го-го-го! А потом и до наших доберешься! Привыкай. Это тебе, братец мой, не на берегу заседать. Потерпи.

Дубов бросил руль, перегнулся через борт, пригоршней зачерпнул воду.

— Брось, Виталий!— крикнул Григорий.

Дубов хлебнул, поморщился и сплюнул.

— Зачем парня изводишь?— с укором бросил рыбаку Григорий.— Хорошо тебе, можешь терпеть, а он еще малосол.

— Я не во вред ему, а на пользу. Пущай тузлуком обрастает.

— Дай воды!— гневно закричал Дубов.— Отдай мой глоток.

— Ну, ну! Доходишь, вижу. Бери. Думаешь, жалко? Я хотел из тебя человека нужного сделать. Бери.

Дубов перешел на чердак и опрокинул на себя бочонок.

— Го-го! Как мартын хватает! Пей всю! Вон бот какой-то догоняет нас, а на нем завсегда вода имеется. Пей, еще достанем.

Рыбаки побросали весла, замахали шляпами. Григорий толкнул соседа, указал рукой:

— Наш баркас подобрал. Отдохнем,— и тоже бросил весла.

— Да и нечем грести. Выдохся,— устало отозвался рыбак, весь мокрый, будто только что вынырнул из воды.

«Зуйс» быстро приближался, ведя на буксире баркас. Один рыбак молча лежал на чердаке, уставив глаза в небо, другой сидел у руля, с досадой хлопал себя рукой по колену:

— Сколько рыбы ухнули в море!.. И где вы немного раньше были?— то и дело кричал он Жукову.— Только опорожнились, а тут подмога на голову свалилась. Вот беда!

— Не горюй, старина!— отвечал ему с «Зуйса» Жуков.— Важно, что люди целы! Вернем потерянное!..

Когда «Зуйс» подошел, на всех баркасах, словно по уговору, прозвучало одно и то же слово:

— Пить...

И больше ничего. Ни восторженных криков, ни приветствий. Люди были изможданы, обессилены.

«Зуйс» прошел вдоль баркасов, раздал воду. Увидев Дубова, Жуков удивленно спросил:

— А ты как попал в море? Потянуло?

— Кострюков послал.

— Ах, вон что!— Жуков закивал головой, видимо, догадавшись. И к Григорию:— Как дела? Где коптилку раскрыли? Да ты валяй сюда! Ребята! Бери на буксир один другого! Живо!

Рыбаки перебросили бечевки, закрепили концы у носа и кормы, и, когда с последнего баркаса махнули рукой, «Зуйс» натянул пожилины и поволок баркасы на Косу. Сняв с кочетов весла, рыбаки, развалившись кто на корме, кто на сиделках, быстро засыпали. Сидя у руля, Дубов смотрел на корму «Зуйса», моргал слипающимися веками и наконец тоже уснул.

Над морем поплыли синие облака, подул ветерок, поднял волны. Вскоре показался берег.

— Вон там, где чернеет полоса, раскрыли,— протянул руку Григорий, рассказав об истории с коптилкой.

Жуков задумчиво посмотрел вдаль, прошелся по палубе и спросил:

— Неужели Павел обнаружил и заявил?

— Да.

— И не пожалел отца? Как же так? Из-за него он от премии отказался, а тут... Странно... Тут дело посерьезнее.

— А черт их разберет... богомолов...

— Ну, а единоличники как? Все сторонкой от вас?

— И на хуторе, и в море обходят. Да вон и они. Наперерез идут.

Жуков взглянул через плечо и увидел парусившие с южной стороны баркасы единоличников. Во главе ватаги горделивый «Черный ворон» расшвыривал буруны, будто хвастался своей ловкостью перед «Зуйсом». Круто повернул носом, настиг «Зуйса» и пошел вровень с ним.

— Белгородцев!— окликнул Жуков.— Все носишься над волнами?

— А чего же, когда он у меня как птица летает! Захочу — к небесам понесет! Он у меня... ого!..— и Павел забрасовал парусом.

«Черный ворон» накренился, рванулся вперед и, подхваченный порывом ветра, стал опережать «Зуйса».

— Пашка, обгоняй!

— Обгоняй, Павло!

— Покажи хвост!—загалдели ему вслед рыбаки-единоличники.

В Сашке заговорило самолюбие, и он дал полный ход.

«Зуйс» задрожал, словно обозленный чем-то, рванул пожилины, потянув на себя баркасы, и поравнялся с «Вороном». Позади не переставали кричать рыбаки, подбадривая Павла, но «Ворон» стал заметно отставать.

— Дай ему! Дай! Как следует покажи!— кричал Жуков мотористу.— Сбей этому чернокрылому стервятнику спесь! Поднажми еще! Ну, ну же, Сашок!..

«Ворон» несся изо всех сил, и нос его уже почти поравнялся с кормой «Зуйса». Брасуя парус, Павел то близко подводил «Ворона» к «Зуйсу», то отставал, то вновь настигал, сердито покрикивая на своих помощников. Берег был недалеко, оттуда следили за приближающимися баркасами, и Павел, чтобы не осрамиться, должен был опередить «Зуйса» или хотя бы идти с ним на одном уровне. Но Сашка, по настоянию Жукова, приказал поставить паруса, и двукрылый «Зуйс», не заглушая мотора, устремился к берегу с такой быстротой, что минуты через две «Ворона» обогнал последний баркас.

— Цепляйся!— крикнули ему рыбаки.— До берега дотянем!

Павел посмотрел вслед «Зуйсу» и процедил сквозь зубы:

— У-у, черт...

«Зуйс» опустил паруса и на моторе подвел баркасы к Косе. Толпа встречающих с любопытством рассматривала моторное судно, окруженное баркасами.

Жуков подплыл к берегу и, не сходя с судна, чтобы всем было его видно и слышно, сказал:

— Рыбаксоюз прислал вам в рассрочку вот этого сокола! Это самое лучшее, самое большое и сильное парусно-моторное судно на всем Азовском побережье! На нем вы можете смело выходить в море, не боясь его капризов! Это ваш верный товарищ и помощник. Он навсегда избавит вас от каторжного труда, сохранит силы, здоровье и ваши жизни.

— А кто будет на нем работать?— спросил кто-то из толпы.

— Артель,— ответил Жуков.

— Да сколько их там, в артели! И по хозяйству слабосильные все.

— А однолицым рыбакам какая будет польза от мотора?

— Он будет помогать и единоличникам.

— Как?

— Отвозить на пункт или прямо в город рыбу. Он вмещает в себя тридцать тонн рыбы.

— А-а! Брать готовенькое? Такая помощь не нужна.

— Дело ваше. Но «Зуйс» артельный и в ерик рыбу возить не станет. Его дорога лежит прямо к пункту государственного треста!— и Жуков спрыгнул на берег. Когда все сошли с баркасов, он, указывая на Сашку, сказал:— А это наш моторист. В городе завербовал. Веселый парень. Прошу любить и жаловать: Александр Сазонов.

XXI

Получив сообщение, что судить обвиняемых будут на хуторе, Кострюков распорядился привести в порядок клуб и снарядил в район для выездной сессии нарсуда и обвиняемых три подводы. Эту весть мигом разнесли по куреням словоохотливые бабы, всполошили хутор. И в ожидании приезда суда никто не вышел в море. Через сутки, рано утром, к хутору подкатили подводы в сопровождении четырех вооруженных всадников. У совета их встретила огромная толпа бронзокосцев.

Сгорбившись, низко опустив голову, Тимофей вполголоса сказал Егорову:

— Напоказ привезли. Назло делают.

Егоров не ответил. Обвиняемые сидели на подводах потупившись, прятали глаза. Только Панюхай, выставив бородку, разглядывал толпу, нюхал знакомый солоноватый морской воздух.

— Эх, до хижки своей сходить бы!

Посмотрел еще раз по сторонам — не видно ли Анки.

— Дочку повидать бы...— И к милиционеру просяще:— Дозволь сходить, служивый.

— Нельзя. Не могу.

Панюхай обиженно поджал губы:

— Зря...

Из совета вышел Душин, пригласил судью.

Конвоиры спешились, повели подсудимых в клуб.

Обвиняемых разместили на длинной скамейке против сцены. Справа от них сидел за столиком защитник и, не отрывая глаз от папки с бумагами, ловил на бритой голове мух. Он был весь круглый, с длинными острыми ушами и вислым подбородком. Слева, тоже за столиком, расположился общественный обвинитель — Григорий Васильев.

Обвинять ему еще никого не приходилось. Он не знал, как держаться, чувствовал себя скованно и смущенно водил глазами по шумному до отказа переполненному залу. За спинами подсудимых молчаливо переглядывались главный свидетель Павел Белгородцев, свидетели Кострюков, Анка и еще семь человек, присутствовавших при аресте. Вскоре за сценой прозвенел колокольчик, и вошли члены суда. Предупредив свидетелей об ответственности за дачу ложных показаний, судья зачитал длинное обвинительное заключение, удалил свидетелей из зала заседания и вызвал подсудимого Тимофея Белгородцева. Не поднимая головы, Тимофей оторвался от скамейки, нерешительно шагнул к сцене и на первый вопрос судьи ответил:

— Нет... Не признаю...

Судья строго посмотрел на него.

— Что вы можете...

— Ничего...— перебил Тимофей и тяжело вздохнул.

— Так... А может, скажете суду, куда вы хотели везти продавать рыбу?

— Я думал на товары какие-либо обменять. Не продавать.

— Сколько раз вывозили рыбу и куда?

— Никуда. Это первый раз и то... не пришлось.

— А вы знали, что за это вам придется строго отвечать?

Тимофей передернул плечами:

— Откуда же мне знать эти порядки, гражданин судья? Не я, сын подписывал договоренность.

— А вы тайно от него увозили рыбу. Выходит так, что вы обкрадывали сына и умышленно толкали его на то вот место, на котором сейчас сидите?

— Непонятна мне ваша речь... Человек я простой.

Тимофей упорно не хотел давать показания. Он хитрил, уклонялся от ответов, прикидывался непонимающим.

— И за что срамите меня? В голову не возьму никак...

Судья предоставил слово защитнику.

— Скажите, подсудимый: по чьей инициативе была сооружена коптилка?

Тимофей метнул в его сторону взгляд, проронил:

— Не явственно спрашиваете, а я... человек простой.

— Кому пришло в голову коптить рыбу?

Тимофей помолчал и ответил:

— Кажись, мне...

— А кто рыл коптилку?

— Егоров и Краснов.

Краснов вздрогнул, будто его толкнули в спину.

— Откуда вы брали опилки для копчения рыбы?

— Машков привез из города.

Человек с сосульчатыми усами поднял голову, глаза встревоженно забегали.

— Нет, привез Белгородцев, а я дал.

Судья остановил его звонком.

— Вас спросят.— И к Тимофею:— Слышите?

— Запамятовал...

После защитника слово взял Григорий. Он встал, посмотрел куда-то поверх головы Тимофея и спросил:

— Тимофей Николаич... А зачем ты в город частенько ездил?

Тимофей пронзил его заблестевшим от ярости взглядом, подумал: «Голопуп... И он меня...»; сунул в рот бороду и грудью навалился на высокий барьер сцены.

— Подсудимый Белгородцев! Отвечайте на вопрос обвинителя.

Тимофей вяло повел головой, простонал:

— Сердце у меня...

— Вы будете отвечать?

— Хворый я...— и схватился за грудь.

В зале взволнованно зашептались:

— Нарочно или всерьез?

— Чужая голова — темный лес.

Судья, звякнув колокольчиком, сказал Тимофею:

— Садитесь.

Всегда гордый, осанистый, с приподнятой головой и презрительным взглядом дерзких глаз, великан Егоров, правая рука Тимофея, теперь стоял неказистый, с опущенными плечами, словно что-то давило их книзу, и невнятно отвечал на вопросы судьи:

— Всегда по чести трудился... Теперь виноват немного. Освободите...

— Вы будете отвечать?

— Всегда по чести...

— Достаточно!— прервал его судья.— Садитесь.

К барьеру приблизился Урин и, не дожидаясь вопроса, заявил:

— Никогда под судом не был и теперь не виноват.

— Подсудимый Урин! Ждите вопросов и тогда отвечайте.

— А на что и за что отвечать?

— Подсудимый Урин! — повысил голос судья. Выждал минуту и к защитнику:— Пожалуйста.

— Скажите, по каким причинам вы сбежали с хутора? Не было ли какого гонения на вас, не притеснял ли кто?— спросил защитник.

— Сам уехал. По делам.

— По каким и куда?

— Это мое личное дело.

— А почему не возвращались домой?

У Урина побагровела шея, затряслись пухлые щеки.

— Домой?— он уставился на защитника.— А если нет его у меня?— и крикнул в зал:— Видали, за что судят? И кого? Почему тех не судят, кто отобрал у меня подворье? Кто разорил меня?..— Не обращая внимания на окрики судьи, тряся головой, заколотил кулаками по барьеру:— Разорили!.. Отобрали! Кровное отняли!.. и... и...— он поперхнулся, опустил руки и смолк. Возле него стояли два милиционера.

— Увести из зала суда,— распорядился судья и вызвал Машкова.

Тот быстро поднялся и по-военному вытянулся перед барьером.

— Где проживаете?

— В городе.

— Чем занимаетесь?

— По мелочи.

— Торговлей, что ли?

— Да.

— Чем именно?

— Рыбешкой кое-какой.

— Вы рыбак?

— Нет.

— Что вы можете показать по делу?

— Да что...— Машков разгладил усы, взглянул зачем-то на свои ноги и сказал:— Месяца четыре назад меня познакомил с Уриным мой кум, Филатов. Теперь он помер. А Урин с Белгородцевым свел. Белгородцев раза три привозил мне рыбу свежаком. Она тухла и шла плохо...

— Где продавали?

— На базаре. Так вот, тухла. Ну и порешили коптить. Ну, приехал я на ерик первый раз за всю жизнь и...— он развел руками.

— Подсудимый Белгородцев! Машков показывает, что вы три раза привозили ему свежую рыбу. Правильно он говорит?.. Что ж это вы, обманывали народ, обманывали власть, а теперь обманываете суд? Подсудимый Белгородцев! Отвечайте...

Тимофей молчал.

— Вот так хлюст!— проговорил кто-то в зале.

Машкова сменил Краснов. Комкая в руках картуз, он виновато смотрел в глаза судьи и давал показания.

— ...Егоров подбивал все время, а я отказывался. Говорил, что верных людей теперь нету, положиться не на кого.

— И вы согласились помогать тем, кто срывал план улова, кто передавал рыбу в руки спекулянтам?

— Гражданин судья... Как же не пойдешь на это, когда по горло в долгу у Белгородцева? Всю жизнь должен ему. Думалось, что управлюсь... Как-нибудь расквитаюсь с ним... Детей-то у меня целых пять гавриков.

— Почему в артель не шли?

— Она сама была малосильной... Это теперь у нее мотор...

— Нужно было укреплять ее.

— Кто знал...— сокрушенно произнес Краснов.

Последним допрашивали Панюхая. Он стоял, сдвинув за ухо платок, скосив глаза на судейский стол.

— Я спрашиваю,— второй раз обратился к нему судья,— признаете вы себя виновным?

Панюхай опустил на грудь голову, поразмыслил и ответил:

— И как вам сказать, гражданин судья? И виноват, и будто нет. Сам не знаю, за что меня засудить пожелали?

— Кто вас пригласил в ерик?
— Да все он же, благодетель... Тимофей Николаич.
— В чем выражалось ваше участие в этом деле?
Панюхай непонимающе посмотрел на судью.
— Что вы делали?
— В караульщиках состоял.
— Платили вам?
— Где там,— он махнул рукой.— Винцараду дали, вот и все. Обещали... А пока на своих харчах состоял.
— Где вас поймали?
— Под кустом.
— И вы не пытались бежать?
— Не помню. Я во сне был, а меня разбудили...— и вздохнул: — Зря...
— Что вы еще можете показать?
— Не знаю. Я всего пять дней караулил.
— И те проспали?
— А как можно человеку не спамши? Рыба, и та спит.
— Садитесь...

В зал ввели свидетеля — подгорного рыбака. Он подробно рассказал, как раскрыли коптилку и арестовали виновных. Затем вошла Анка. Панюхай заерзал на скамейке, без надобности стал поправлять платок на голове.
— Анка... Что ж ты, чебак не курица...
— Подсудимый Бегунков! — одернул его судья и обратился к Анке:— Свидетельница Бегункова, что вам известно по делу обвиняемых?
Анка повторила то, о чем рассказывал первый свидетель.
— Вы арестовывали?
— Я.
— Сопротивления не было?
— Белгородцев Тимофей один раз толкнул меня.
— Подсудимый Белгородцев! Значит, вы оказывали физическое сопротивление?

Тимофей ощупывал рукой грудь, болезненно морщился и не отвечал. Но когда позади пробежал шепоток и послышались равномерные шаги, он оторвал от груди руку, расправил на лице морщины и резко обернулся: в зал входил Павел. Поравнявшись с подсудимыми, Павел остановился. Со всех сторон к нему устремились напряженные выжидательные взгляды.
— Свидетель Белгородцев! Подойдите ближе.
Павел уперся глазами в пол, ссутулился и только после вто-

ричного предложения судьи неуверенно шагнул к барьеру. Тимофей повел головой вслед сыну.

— Что вам известно по делу обвиняемых?

Зал замер.

Павел украдкой, исподлобья взглянул на отца и направился к двери, проговорив:

— Не могу...

Его задержал милиционер, вернул на место.

— Говорите, Белгородцев. От суда ничего нельзя скрывать.

Павел умоляюще взглянул на судью:

— Спросите других... Все знают... Они тоже были в ерике...

— Вы скажите, при каких обстоятельствах обнаружили коптилку. Суд должен услышать от вас. Вы главный свидетель.

После долгой паузы срывающимся голосом Павел сказал:

— Над ериком... коня в хомуте повстречал... Думал... несчастье какое... с отцом... Поехал искать... Ну... услыхал... гомонят люди. На брюхе полез...и наткнулся... В хутор поскакал... в совет... и...

— Заявили?

— И... заявил.

— Сукин сын...— прошептал Тимофей, схватившись за голову.

— Что же побудило вас...— судья помолчал секунду,— выдать отца?

— Он крал у меня рыбу... Под суд меня норовил... Погубить хотел... А сам не подписывал договоренности... Я же... по чести трудился...

— Садитесь.— И судья обратился к присутствующим:— Ввиду ясности дела суд определяет прекратить дальнейший опрос свидетелей. Судебное следствие по делу объявляется законченным. В порядке прений слово предоставляется общественному обвинителю.

Григорий встал, вздохнул так, будто взошел на высокую гору, и, ткнув пальцем в стол, сказал:

— Круто солит нам враг, когда на свободе он, обманом путает. И тут, на свободе, норовит запутать всех. Ишь ты, какие младенцы! Ничего не помнят и не знают. Отшибло память. Рыбу думали не продавать, а обменивать. Какая же разница? Хоть так, хоть этак, она должна пойти в руки спекулянтов, а государству, мол, пущай будет то, что с пальцев капает. И еще: Белгородцев сказал, что он порядков не знает. А по мне — он лучше всех знал про порядки. Это увертка. И шел на это потому, что за спиной сына имел, на которого договор составлен... И ясно, что за невыполнение плана ответил бы сын. Говорить много нечего, граждане су-

дьи. Преступление налицо. И я прошу вас строго наказать всех виновных, чтоб отбить охоту обманывать народ и обкрадывать государство. Все!

Судья кивнул защитнику:

— Ваше слово!

Защитник встал, помялся немного, сконфуженно развел руками и, пробормотав «Все ясно», опустился на стул.

Машков злобно взглянул на него, склонился к Белгородцеву:

— Как же так ?.. Как же так?.. От суда не защитил?.. Шабай!

В последнем слове подсудимые просили о прощении. И только один Панюхай долго стоял молча, а потом чуть слышно проговорил:

— На ваш угляд.

Прошел долгий томительный час, был уже на исходе второй, а суд все не возвращался из совещательной комнаты. Люди изнывали от духоты, но не покидали своих мест, терпеливо ожидая приговора. Отовсюду слышалось одно и то же:

— Ну как, засудят?

— А то нет!

— За сапетку рыбы, что ли? Нет, освободят.

— Пришьют... Тяжкая провинность... За такие делишки не погладят...

— Погладят, только от затылка до макушки.

— Старика жалко,— и все оборачивались к Панюхаю.

Он тоскливо поглядывал в окно, перевязывал на голове платок.

— Вредности-то от него почти никакой...

— Это Белгородцев да Урин.

— Ишь, хлюсты...

Подсудимые слышали, как позади вскипала людская злоба, беспокойно ерзали на скамейке, хмурились на защитника. Но тот, избегая их взглядов, все время отворачивался к сцене, а потом вышел на воздух.

— Тоже... защитник,— бросил кто-то ему вслед.— И жевалку не открыл.

— А чего ему зря болтать? Тут никакая заступа не поможет.

Некоторые с укором посматривали на Григория, качали головами:

— Ведь свой человек, а вот поди ж ты... Засудить просил.

— У детей жалости к родителям нету, а чего ж ему.

— Ах-ха-ха...— вздыхали женщины.

Отвернувшись от всех, Павел, как и Анка, не отрывал взгляда от сцены. «Хоть бы скорей... Скорей бы...» Он опять попытался уйти, но его задержали на улице, вернули в зал.

Наконец раздался звонок, члены суда вышли из совещательной комнаты. Судья достал из папки приговор.

— «Именем РСФСР...»— громко произнес он.

В наступившей тишине напряженно замер переполненный зал, сотни глаз устремились на судью.

—«...выездная сессия народного суда третьего участка в хуторе Бронзовая Коса...»

Перечислив состав суда, он откашлялся, продолжал:

— «...в открытом судебном заседании рассмотрела уголовное дело по обвинению...»

Судья отпил глоток воды, взглянул на подсудимых и зачитал их фамилии с указанием года рождения, занятий, социального происхождения, судимости, имущественного состояния.

— «...материалами судебного следствия установлено...»

Следовало длинное описание преступления подсудимых. В зале начали перешептываться:

— Зачем известное повторять?

— К делу бы ближе.

— Сказал бы, какая «пришивка», и ладно...

— «...означенные действия предусматриваются...».

— Опять за рыбу деньги...

— Ах ты, грех еще...

— «...и, считая преступление доказанным, суд приговорил...»

Подсудимые вскинули головы, замерли.

— «Белгородцева Тимофея, Урина Федора, Машкова Ивана, Егорова Петра подвергнуть лишению свободы сроком на пять лет, с конфискацией всего имущества у последних трех, а в отношении Белгородцева Тимофея — принадлежащую ему долю имущества...»

— Видать, ему половина,— кивнула на Павла одна женщина.

— А то... задаром батька выдал бы, что ли? — отозвалась соседка. Ее толкнул кто-то в спину:

— Не ляскай. Приморозь язык.

— «...Краснова Алексея и Бегункова Софрона...»

Панюхай вздрогнул.

«...подвергнуть лишению свободы сроком на один год без конфискации имущества...»

— Зря...— выдохнул Панюхай.

Судья продолжал читать приговор, но Панюхай уже не слушал, жевал губами.

— «...Белгородцева, Урина, Машкова и Егорова, по отбытии избранной меры социальной защиты, подвергнуть ссылке в отдаленные местности республики сроком на пять лет каждого...»

— Зря...— Панюхай уронил голову на грудь.

Судья повысил голос:

— «...Вследствие того, что осужденные Краснов и Бегунков по своей социальной принадлежности не являются классово чуждыми, приняв во внимание чистосердечное раскаяние и первую судимость, наказание в отношении их считать условным, с пятилетним испытательным сроком. Меру пресечения отменить, освободив их из-под стражи...»

Зал всколыхнулся, зашумел, затрепетал сотнями рук. Краснов дернул Панюхая за рукав, взволнованно сказал:

— Освободили...

— Зря,— и Панюхай плюхнулся на скамейку.

Краснов потряс его за плечо:

— Освободили! Слышь, хря...

— А?— не расслышав, переспросил Панюхай и, цепляясь за рубаху Краснова, стал приподниматься.

— А ну тебя, глухоперя. Домой ступай,— проговорил Краснов и убежал.

Осужденных увели, оставив в зале ошарашенного Панюхая.

Анка направилась было к отцу, но остановилась, в упор посмотрела на него и повернула к выходу. Панюхай пошел вслед за дочерью. Ноги его дрожали, подкашивались. За оградой остановился, посмотрел на осужденных. Жена Егорова, всхлипывая, стояла возле дрог, спрятав в передник лицо. Егоров что-то отрывисто говорил ей, не поднимая глаз. Машков и Урин торопили конвоиров, украдкой поглядывая по сторонам.

Перекусывая бороду, Тимофей сверлил сына гневным взглядом. Павел стоял поодаль, молчал. К дрогам подошел милиционер:

— Прощайтесь...

Тимофей весь передернулся, выплюнул бороду.

— Не дам!.. Уйди с глаз... кровь сатанинская!.. Не дам прощения!.. Не дам! Я проклинаю тебя, отцегубитель...— и ткнулся головой в Егорова.

— А я прошу, что ли, у тебя прощенья?— Павел отвернулся.

Какая-то женщина в ужасе прошептала:

— Проклял... Сына проклял, а?..

Панюхай покосился на нее, проронил:

— Зря...— повел носом, понюхал воздух, вздохнул:— Эх... в море бы теперь... бычков надюбать... да шорбы сварить...

Идя в клуб, Павел пробирался безлюдными проулками, а встречаясь с кем-нибудь из хуторян, отворачивался, пряча взволнованное, пылающее лицо.

«Что сказать на суде?.. Почему родного батька выдал? За что? За то, что самому хозяйничать захотелось? Нет нельзя... нерезонно так... Что ради Анки все это?.. Нет...нет... Весь хутор в сборе... Засмеют потом... Затравят... Или... защитить отца?.. Тоже нельзя... жизни не будет... Насмерть упечет...»

И уже подходя к клубу, твердо решил: «Скажу, что по чести всегда... а он крал рыбу... Загубить меня хотел... Вот и доказал... по чести сделал...»

Войдя в клуб и увидев отца, он оторопел. И во время суда, и потом на улице Павла не оставляла неприятная зябкая дрожь. Но когда тронулись дроги с осужденными и, быстро удаляясь, скрылись за пригорком, Павел почувствовал, как оторвалось от сердца что-то тягостное, гнетущее, и он, взглянув на пепельно-серую тесовую крышу своего куреня, облегченно вздохнул: «Ну, Пашка... хозяйнуй теперь».

И, подражая отцу, направился к дому спокойной, уверенной походкой.

Бабка неподвижно лежала на постели. В провалившихся глазах слабо теплился огонек угасающей жизни. Она вздохнула и с трудом выговорила:

— А... батька?..

— Упекли в тюрьму. А потом на дальний выгон его. Десятку заработал...

— Ах... ха...

— Чего же ахать. Сам захотел того.

— Испортился ты... нехристь. Лучше... помереть...

— Ну и сдыхай. Анку приведу.

Хлопнул дверью, вышел на крыльцо и, окинув глазами подворье, снова вздохнул:

«Хозяин!..»

XXII

Уходили последние грозовые дни. Небо хмурилось, тускнело. Над взморьем низко повисали мутные облака. Пробуждались буйные штормы, близилась обильная рыбой осенняя путина.

Баркасы на берегу. Рыбаки старательно скребут их, удаляя

ракуший нарост, конопатят щели, заливают горячей смолой, готовясь к жаркой работе.

Панюхай бродит по комнате, осматривает все углы, заглядывает под кровать и скамейку, разводит руками, изредка бросая на Анку вороватые взгляды. Анка наблюдает за отцом и никак не может догадаться, что он так упорно ищет. Отвернув одеяло, она приподнимается.

— Лежи уж... Хворай... Куда ты?..

— Чего ищешь?

— Сапоги твои.

— Зачем?

— В море за тебя пойду, хворай...

Анка ловит его взгляд, но он отводит глаза в сторону.

— В чулане висят.

Панюхай принес сапоги, надел их, повязал платком голову.

— Хвороба-то твоя... всему хутору известна... Бабы ляскают, что на сносях ходишь... А ежели так, то выворот бы сделала, что ли?

— Какой?

— Из нутра. Как Евгенка...

Анка улыбнулась отцу, но улыбка была вымученная и только исказила осунувшееся лицо.

— Пущай ляскают. От простуды хвораю я...

Панюхай подозрительно посмотрел на дочь. «Знаю я ваши простуды»,— подумал он, хитро прищурив глаз, а вслух сказал:

— Гляди, не осрамись... Всяко бывает...

— Ничего, отец. Не кручинься...

Панюхай вздохнул, покачал головой и, бросив через порог: «Зря»,— пошел к морю.

Анка оделась и, ступая осторожно, словно боясь споткнуться, отправилась вслед за отцом.

Баркасы артельных один за другим сплывали на воду, а единоличники, готовые к отчалу, кружились на якорях. Только «Ворон» оставался еще на берегу. Павел сидел на борту, скручивал в пожилину пеньку и забивал ее тупым долотом в щели. Рядом курился смолой огромный котел. Рыбаки толпились вокруг, подгоняли Павла:

— Пора в море. Бросай!

Павел упирался:

— Вот починю «Ворона», тогда...

— Ребята без тебя управятся.

— Нет, законопатить надо. Когда сам, оно лучше. Хозяйский глаз острее...

— Ну, ты! — крикнул здоровенный рыбак, подтягивая спадавшие брюки.— Без атамана ходить мы не привычные. Загнал батька, веди сам теперь нас в море.

— Другого промеж себя поищите.

— Дурень. Атаманство по роду переходит. Сгинешь, нового выберем. А пока давай, на моем баркасе поедем. Ну, ты! — и, поддерживая одной рукой брюки, другой потянул Павла за ногу.

Рыбаки подхватили его, раскачали и подбросили повыше борта. Неудержимая тяга в море и оказываемая рыбаками честь соблазнили Павла. Отдышавшись, улыбнулся и, не раздумывая, махнул рукой:

— Ладно... Поведу...

Проходивший мимо Панюхай остановился:

— В поход идем?

— Выступаем.

— Одиночно или с ними? — он кивнул головой в сторону артельных.

— С атаманским сынком. А ты?..— и на него уставились десятки любопытных глаз.—К артели примазался?..

— А так... на замен дочки...— Панюхай смутился.— Хворая она... Вот я на замен ее... на время...— и поспешно ушел.

Единоличники с нетерпением ждали команды атамана, но Павел медлил. Он стоял против Анки и смотрел куда-то поверх ее головы, натягивая на плечи сползавшую винцараду. Ждал, что скажет ему Анка, но она молча разглядывала медную пряжку на широком кушаке, плотно обхватившем Павла по бедрам. Сзади сердито ворчал рыбак, толкая Павла в спину...

— Ну, ты... Пора... Давай на баркас...

Он поддернул брюки, схватил Павла за руку и потянул к подчалку.

— Атаман...—послышался приглушенный смех.

Павел взглянул на Анку и быстро отвернулся. В ее холодных зеленых глазах таилась непримиримая враждебность. У Павла задрожали ноги, он с трудом перенес их в подчалок.

«Неужто издевается надо мной?..»

Рыбак оттолкнул подчалок, прыгнул на сиделку и взялся за весла. Взойдя на корму, Павел украдкой взглянул на берег, махнул шляпой, и баркасы устремились в море.

Кострюков посмотрел вслед, сказал:

— Непонятно мне... В голову не возьму... Как это так?..

— Не падай духом,—успокоил его Жуков.— Не кисни...

— Скоро рыба пойдет... Водоемы закипят от нее... Гуртом

бы запрудить дорогу ей, а вот видишь?.. Опять в одиночку пошли. Сторонятся нас. Кажись, теперь после суда ясно стало, по какой дороге шли и куда теперь повернуть следует, а вот... Ни один к нам не пошел.

— Дедовские привычки сидят в них еще крепко... Но ты, Кострюков, не робей... Погоди.

— Нам на «Зуйс» некого посадить. А на него надо не меньше десяти человек.

— На первое время найдем.

Кострюков вопросительно посмотрел на Жукова.

— Всех снимем с берега и пошлем на «Зуйс». Оставим одного тебя...

— Я тоже пойду в море.

— Погоди. Душина можно послать, а вот как Евгенушка?

— Думаю, пойдет.

— Но у нее школа.

— Еще долго до занятий. Да вот и она, кстати. Эй, ты! Новорожденный юнга!

— А?

— Штурмовать море пойдешь? На «Зуйсе». Сейчас нужда в людях. Согласна?

— Да-а!

— Живо собирайся! И Душину о том скажи.

Евгенушка тряхнула льняными волосами и быстро побежала в хутор. Вскоре она и Душин пришли на берег...

Баркасы единоличников уходили все дальше в море. Провожавшие их жены и матери покинули берег. На обрыве остались Кострюков и Анка. Панюхай стоял на корме «Зуйса», топорщил бородку, подвязывая платок. Рядом с ним махала руками Евгенушка. С берега ее почти не узнать: в короткой винцараде, на ногах высокие отцовские сапоги. Широкополая шляпа спускалась краями на плечи и спину.

Жуков ходил по палубе, торопил рыбаков.

Взяв на буксир баркасы, «Зуйс» развернул просмоленные паруса и с такой быстротой помчался вперед, что вскоре настиг единоличников. Баркасы смешались, перепутались, поплыли единой ватагой, а на горизонте разъединились на две группы и разошлись в разные стороны.

Для артельных и единоличников на горизонте еще лежала не стертая бурунами широкая развилка дорог...

Предрассветная тьма смешала небо с морем. Ветер напористо бил со всех сторон, кренил баркасы. За бортом вздыма-

лись волны, норовили прыгнуть в баркас. Темнота сеяла зябкий дождь. Павел сжимал коченеющими пальцами черпак, выкачивал из баркаса воду.

Перекрывая шумные всплески волн, рыбаки кричали Павлу:

— Атаман! Давай наказ!

— Что же будем делать?

— Гляди, море разгуляется!

Павел схватился за мачту, огляделся. Вокруг в темноте слабо мерцали тусклые огоньки фонарей на баркасах.

«Шторм...»— пронзила мозг острая мысль, и Павел крикнул рыбакам:

— Сплывай!

— А сетки?

— Выбрать!

Волны швыряли баркас, руки скользили мимо буйка и невозможно было ухватиться за хребтину перетяги. Рыбак, напарник Павла, скользил, падал на мостик, сердито ворчал:

— А-а, черт! Ну, ты!.. Бросай, что ли?

— Держи! Не выпускай!

— Да пущай все сгинет! Потроха свои спасать надобно...

— Не смей!— закричал Павел.— Тяни! Не выпускай!— И, упершись ногами в борт, потянул перетягу: словно вырывая у моря трепетавшее в сетях сердце. Потом поскользнулся, выронил хребтину и грохнулся на сиделку.

Баркас рвануло в сторону. Весь мокрый и продрогший, рыбак подполз к Павлу, стуча зубами:

— Ну, ты! Жадобишь? Батькина кровь заговорила? Бросай! Потроха спасать надобно! К черту все! Сбрасывай робу! К черту!— и поспешно стал разуваться.

Обнимая мачту, Павел с трудом встал на ноги, снял сапоги, рубаху, поскользнулся и снова упал. В это время из темноты донесся вопль:

— Руль отшибло! Забирай к себе! Поги-и-и-бнем! Спаса-а-а...—и мгновенно потонул в диком реве разъяренных волн.

Внезапно ослепительно-яркие прошивы молнии раскололи темноту. Оглушительным взрывом встряхнуло море. Ветер закружил баркасы, столкнул, разбросал по сторонам, унося неведомо куда. Напрягая зрение, Павел всматривался в густую темноту. Его товарищ, дрожа всем телом, кутался в брезент, проклиная взбесившееся море. Но вот впереди блеснул огонек, раз, другой, часто заморгал. Павел зажмурился, снова вгляделся...

— «Зуйс»!.. «Зуйс» впереди нас!.. Погляди!.

— Где?— рыбак вскочил, путаясь в брезенте.

— Вон, сверкает огнем! Кличь на помощь! А-а-а-а-а!

— Брось глотку рвать! Эй, ты! С ума спятил?

— «Зуйс», говорю! Чего молчишь? Кличь!

— То, наверно, баркас!

— «Зуйс»! «Зуйс»!— твердил Павел, развязывая гиты.— Давай парус! Вмиг донесет!

— Баркас это! Вот, под носом он! Гляди!

— Нет, далеко! Скорей! А-а-а-а!— Павел стал подымать рею, распускать парус.

— Брюляй парус! Дурень! Перекинет! Брю...—от сильного столкновения баркасов рыбак слетел с кормы и бултыхнулся в море. Вслед за ним, выбросив руки, слетел в воду и Павел. В тот же миг с другого баркаса свалился за борт человек, задев его рукой за голову. Павел вынырнул, забарахтался. По лицу хлестко ударила волна. Его подбросило, стукнуло под локти, и он крепко вцепился пальцами во что-то твердое. В глазах засветились огни, рассыпались потухающими искрами, исчезли. Тело окутала изморозь, холодком подступила к сердцу. Его несло с такой стремительностью, что казалось — на шее заворачивается кожа и медленно сползает к пяткам. Потом подкинуло высоко-высоко, задержало на мгновение, потянуло за ноги, бросило вниз лицом. Оборвались мысли. Сильный звон в ушах был последним ощущением Павла...

XXIII

После шторма над взморьем повисла чуткая, стерегущая покой тишина. Три дня глубоко вздыхало усталое море. Три дня стояли на обрыве женщины и дети, с тревожным трепетом ожидая вестей о пяти невернувшихся рыбаках-единоличниках. Близился четвертый день, а море упорно хранило свою страшную тайну.

В мучительной бессоннице проводила ночи Анка. Она то молча лежала в постели, устремив в темный потолок глаза, то стонала и металась по комнате, не находя себе места. Панюхай ворочался, что-то ворчал спросонок и, потеряв терпенье, перебрался в сарай. За Анкой присматривала Евгенушка, оставалась у нее до утра.

Нынче Анка провела ночь спокойно, на рассвете уснула. Возле кровати, склонив на плечо голову, дремала Евгенушка. Но

вдруг Анка забилась под одеялом, сбросила его, вслушалась, и дрожащая рука ее запрыгала на коленях Евгенушки.

— Что это?.. Слышишь?..

— Мартыны кричат.

— Мартыны?..

Анка вскочила, кое-как натянула платье и пошатываясь вышла на улицу. Евгенушка вслед за ней. У обрыва Анка остановилась. Из-за горизонта воровато выглянуло солнце, брызнуло первыми лучами. Изогнутая стрелка Косы засверкала, бросила в воду бронзовые блики, вплетая их в пенную бахрому волн. Внизу, у берега, толпились люди, горестно качали головами. Над ними кружила огромная стая мартынов.

Анка осторожно спустилась вниз, неслышно подошла к толпе. Подталкиваемый волнами, у берега ничком качался посиневший труп. Рыбаки вытащили его на песок, перевернули на спину.

— Куда ж признать сынка Тимофея Николаича...— вздохнул кто-то

— Ежели бы не кушак, ни за что не угадать, что Пашка...

Анка растолкала женщин, прошла вперед. У ее ног лежал обезображенный мартынами труп. Расклеванное лицо представляло собой кусок рваного мяса. На резиновом кушаке зеленела потускневшая пряжка.

Позади Анки зашептались женщины:

— Голосить начнет.

— Как же... В полюбовниках у нее был...

— Убьется девка.

— То-то рёву будет...

Но Анка не потревожила их истошным криком, не всхлипнула, не застонала даже. Она спокойно опустилась возле трупа, взяла холодную, со скрюченными пальцами руку. Сидела смирно, не шевелясь, тупо глядя на мертвое обезображенное лицо. Но внезапно она вздрогнула испуганно, с трудом поднялась и пошла в хутор, ковыляя непослушными ногами. Ее подхватила Евгенушка.

— Не надо... не надо... Я сама...— оттолкнула ее Анка и стала карабкаться на обрыв. Наверху пошатнулась, упала на руки Евгенушке.

— Не надо... Сама... А то... помоги... Помоги мне...

Евгенушка взяла Анку за талию и, придерживая на своем плече ее руку, повела домой. Анка шла, спотыкаясь и останавливаясь, стонала. Во дворе она вскрикнула и стала оседать. Из сарая выбежал Панюхай, увидев, отшатнулся к двери.

— Анка!.. Что ж это ты?.. Пороситься надумала... Обманула меня?.. Анка!..

Он начал без толку суетиться, скрылся в сарае, потом опять вернулся.

— Вот оно!.. Лошадь покатается по земле — шерсть останется... Молодец помрет... слава останется... Вот она... петлей на батькиной шее, срамотная слава-то... Эх, зря...— нагнул голову, уронил руки и, глянув исподлобья на улицу, прикрыл за собой плетневые двери сарая.

У ворот ротозеили кумушки, наперебой чесали языки:

— Гляди, и в самом деле рассыплется?

— Да ну?

— В положении она.

— Не видать было. Что ты, кума!

— А чего видать? Вон, нашей Устюшке бугром подпирало живот к носу, когда в положении была, а я Мишку свово до родов не в приметах носила.

— Всяко бывает... Раз на раз не приходится...

Женщины без умолку тараторили, но никто из них не помогал Евгенушке.

Она держала Анку под мышки, не будучи в силах поднять ее.

— Да подойдите же кто-нибудь... Только через порог ее...— сквозь слезы умоляла Евгенушка, готовая уронить отяжелевшее Анкино тело. Женщины посмотрели на нее презрительно, брезгливо поморщились.

— Кто в девках рожает, тому помощи нашей нет...— и разошлись.

Вскоре во двор вбежал запыхавшийся Душин. Он взял Анку на руки, внес в комнату, осторожно положил на кровать, сказал Евгенушке:

— Давай теплую воду... Чашку большую приготовь... простыню.

— А где взять?

— Где хочешь... Скорее давай...

В это время Анка зашевелилась, застонала, скорчилась. Откинула голову, выставив кверху вздрагивающий подбородок, закусила губу и смолкла. Резко обернувшись, Душин бросился к кровати, на ходу закатывая рукава.

...Анка лежала неподвижно, закрыв глаза. В руках Душина попискивал укрытый простыней ребенок. Душин огорченно шептал:

— Первый раз такую микру принимаю. Да еще девку.

Панюхай отворил дверь, робко переступил порог. Взглянув на дочь, опустил глаза.

— Зря...

— Отец... не серчай. Поправлюсь... уйду...— сказала Анка чужим голосом.— А за это... прости...

Панюхай потоптался, невнятно пробормотал:

— Чего там... что ж я... чебак не курица... Зря ты... Анка... Зря...

Покосился на ребенка, сказал Душину:

— Как бубырик, а?.. Вот и пущай... деду будет утеха... Чего там...

— Отец... Подойди ко мне... Ну, иди же... Иди...

— Зря ты... Анка... Зря... Разве ж я не отец тебе?..— и, всхлипнув, Панюхай направился к кровати.

XXIV

В начале дня на горизонте показался баркас. Подгоняемый попутным ветром, круто ложась на бок, он быстро шел к Косе. Весь хутор высыпал на обрыв.

— Орехов с Подгорным...

— Нет. Это Костин...

— А по-моему, Шульга.

— Нет, Орехов. Поглядите, их двое там...

Баркас подошел ближе, и все увидели: один у руля, другой брасует парус, а третий стоит на чердаке.

— Даже трое их!— вскрикнул какой-то рыбак и оглянулся на остальных.— Кому ж это быть?..— Он бросился вниз, за ним побежали все.

Баркас обогнул «Зуйса», скользнул между «Вороном» и подчалком, круто повернул, опустил парус и швырнул в подбежавший вспененный бурун якорь. К баркасу подплыл подчалок, забрал всех троих и направился к берегу. Рыбаки молча переглядывались, пожимая плечами. В глазах женщин недоумение переплеталось с испугом:

— Не во сне ли?..

— Как же это?.. Ведь похоронили его...

Подчалок ткнулся носом в песок, и с него сошел на берег высокий крепкий старик, за ним спрыгнул молодой парень; бегло ощупывая глазами толпу, последним ступил на берег Павел. К нему подбежал Кострюков, схватил за плечи.

— Пашка! Да мы ж тебя похоронили!.. Погоди...— Он оглянулся на рыбаков и снова к Павлу:— Ничего не понимаю. Скажи: где твой кушак?..

— Шульгину отдал. У него штаны спадали.
— Значит, мы его... Да еще рядом с твоей бабкой положили. Тоже померла... Ну, как?..
— Повторно спасаю,— вмешался старик, показывая на Павла.
— В море подобрали?
— На берегу. Совпадение такое получилось. Мы тоже в ту ночь рыбалили. Вот,— он указал на парня,— с ним. Ну... буря и взяла нас в захват. То в один бок кинет, то в другой, то покуражит, то на воздух норовит поднять... А потом на берег возле Ейска выкинула. Ну, как пришли в память, глядим, и он, молодец ваш, рядом за баркас держится... Насилу оторвали. За ноги его, на брезент перекинули, ну... и к жизни вернули... Повторно спасаю... А твое обличье мне тоже знакомо,— обратился старик к Григорию.
— Вспомнил!— улыбнулся Григорий.— Теперь вспомнил. Кумураевец?
— Во, во! Видал? Молодца вашего повторно спас да еще к родному берегу привез. Как там,— он щелкнул себя под скулу,— насчет магарыча? Я-то тебя тогда отогревал...
— Теперь не пью.
— Плохое дело,— вздохнул старик.
— Кто это?— спросил Кострюков Григория.
— Рыбак из Кумушкина Рая. Тот самый, что по весне меня с Павлом на крыге подобрал.
Кострюков улыбнулся.
— Ну, что ж... Угости старика, а сам не пей.
Окружив Павла, женщины, всхлипывая, расспрашивали о гибели рыбаков. Панюхай стоял рядом, дергал его за руку, стараясь обратить на себя внимание. Наконец, потеряв надежду увести Павла, он потянул его к себе за ухо и прошептал:
— Анка-то... внучку мне привела...
Павел смутился. Опустив голову, разорвал плотное кольцо женщин и зашагал в хутор. Панюхай догнал его почти у двора, схватил за рубаху:
— Да погоди же ты. Куда парусишь?
— К Анке.
— Прежде я. Постой тут. А то, гляди, в испуг ее кинет.
Павел отстранил его и смело вошел во двор. У двери задержался. В груди гулко заколотилось сердце. Хотел вернуться, но, заметив на улице ухмыляющихся женщин, нажал плечом на дверь и переступил порог. Сидя в постели, Анка кормила ребенка. В ее глазах Павел не заметил ни испуга, ни удивления, будто она уже знала о его возвращении, или его приход был для нее

безразличен. Она отняла от груди ребенка и хмуро посмотрела на Павла:

— Чего ж от стыда не убежал? За штаны никто не держал бы! Нашел где хорониться... Баб устыдился, что ли?

— Не хоронюсь я. За тобой пришел.

— Мне и тут не тесно.

— Значит, не желаешь?

— Нет.

— Почему?

— Говорила уже: дороги у нас разные.

— Неправда, дорога у нас одна...— Он в упор посмотрел на Анку.— Значит, потому в злобе на меня, что я не в артели?.. Или комсой не зовусь, как ты, к примеру?.. А без того разве я плохой работник?.. Разве не по чести живу?..

— Не ори попусту! — Анка положила на подушку уснувшего ребенка, холодно сказала:— Примут ли тебя в артель или в комсомол, дело неизвестное. А пока,— она кивнула головой на дверь,— ступай.

На пороге появился Панюхай.

—Ну, ты... атаман сипатый... Разволнуешь дочку.

Павел схватил шляпу и поспешно вышел. Панюхай посмотрел на Анку, вздохнул:

— Зря... Пашка хозяин крепкий...

«Неправда... неправда ее,— думал Павел,— что злобу имеет не за артель. И то неправда, что не желает в мой курень переходить... Какую девку не возьмут завидки на такое добро? Кого?.. Знаю, для близиру артачится. Меня бабьим обманом не спутаешь. Ладно, пойду в артель... Полезу черту на рога, но тогда уж... — он погрозил кулаком,— ко мне жить пойдешь. Неправда, пойдешь... Ну, а как же с дитем быть?.. Как? И от меня ли оно?.. У-у, черт..»

В тот же день снова вышли в море. Рыбаки пытались заговаривать с Павлом, но он избегал их взглядов и был молчалив. У второго водоема их настиг «Зуйс», волоча на буксире артельные баркасы. У развилки дорог «Ворон», вздыбившись, повернул назад, обогнул свое стадо, будто заковал его в кольцо, и поплыл вслед за «Зуйсом». Баркасы в нерешительности покружились на месте, сбились в кучу, пораздумали и один за другим присоединились к «Ворону», вплетаясь в хвост «Зуйсу».

Анка взглянула на Кострюкова, звонко засмеялась:

— Видал? За артельными повел.

— Да пора же им к своему берегу прибиваться, ерша им с хвоста,— радостно произнес Кострюков.

— Хорошо, как по желанию, а если по неволе какой?..
— На кого думаешь?
— Невдомек, что ли?.. На атамана...
— А-а-а, Павел? Это силенка, а нам силища нужна.
Уходя с берега, Анка взглядом погрозила морю: «Меня не обдуришь... Эх, Павел, Павел... Гляди, сам не запутайся в сетях, нос расшибешь...»

Из-за горизонта высунулись вороненые тучки, затрепетали и замерли. С севера налетел зябкий ветерок; море лениво вздохнуло, засеребрилось переплескивающейся зыбью, побежало к берегу торопливыми волнами. Волны ударились о подчалки, зашлепали в корму, брызгами рассыпаясь в стороны. Под обрывом заблюмкала вода.
...А вдали, расчерчивая мачтой хмурый горизонт, зорким часовым ходил недремлющий «Зуйс», охраняя рыболовецкие посты бронзокосцев от внезапных налетов северного хищника — Тримунтана...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

XXV

За высоким бортом «Зуйса» кровяным пятном трепетало отражение сигнального фонаря, моргавшего с крестовины высокой мачты.

Сидя на корме, Сашка Сазонов дымил трубкой. К нему плотно жались комсомольцы.

Оседая на хромую ногу, Жуков задумчиво ходил по палубе, изредка останавливался. Панюхай ловил его за руки, кивал головой на мигающие в темноте огоньки на баркасах единоличников:

— Будто с нами и вроде нет...

Жуков молча пожимал плечами.

Единоличники поставили сети почти рядом с артелью. Их баркасы то сходились, то расходились, то вновь собирались в кучу; слышались возбужденные голоса:

— Можно и подождать!

— Шею намозолить ярмом всегда успеем!
— А кто тебя в ярмо гонит?
— Стойте! Кто ваш атаман?
— Ты!
— Кого должны слушаться?
— А-а-а!.. Вот ты чем взять хочешь?
— Для того атаманством тебя уважили, что ли?
— Оно мне без надобности. Я говорю: кто желает, прибивайся к нам, а кто нет, отчаливай.

Наступила тишина. Потом опять:

— Ребята! Чего перекликаться зря? Разве не видать, что дорога нам одна с артельными? Век работали гуртом, а теперь?..

Жуков прислонился спиной к мачте, выжидал. Необычное поведение единоличников еще с вечера заинтересовало его. Он чувствовал — что-то должно произойти, потому и не ложился спать; мерял шагами палубу, думал: «Если они решили примкнуть к нам, то почему не заявляют об этом? А если нет, то почему не разошлись на взморье и поставили сети рядом? Может, потому только, что рассчитывают на нашу помощь в случае шторма?»

Не спала и молодежь, слушая Сашку. Голос у него хрипловатый, негромкий. Но слова — будто свинцовые горошины. И бьют прямо в цель, глубоко достают.

— Да. У нас по-иному. Берем всю молодежь, на бригады делим. Соревнуемся. Так оно полезней. И если какая-нибудь бригада захромала в работе — на буксир ее. Помогаем. Ведь всякое дело оно есть общее. Наше, кровное.

Сашка набил табаком трубку, сплюнул за борт, закурил.

— А у вас как?

Ребята молчали.

— То-то, жигало те в бок! Есть поселок Бронзовая Коса. И артель имеется. А комсомольская организация? Тоже есть. Ну?..

Дубов заерзал, кашлянул.

— А богата она? Должна бы быть... А ударники есть? Эх, жигало те в бок!

Сашка вынул из кармана газету, придвинулся к фонарю.

— Вот... Послушайте, о чем «Голос рыбака» пишет: «...15 августа начался конкурс-эстафета на лучшее проведение осенней путины. В эстафете принимают участие 7163 ловца тридцати пяти рыболовецких артелей. Конкурс продлится до 15 октября. Выделен премиальный фонд на сумму 40 000 руб. В числе премий две рыбницы стоимостью в 12 000 каждая, постройка клуба, столовки, детского сада и др.»

А вот еще. «По сведениям нашего рабкора «Шип» из поселка Кумушкин Рай, артель «Соревнование» перевыполнила план летней путины на 9,04 процента. Редакция газеты надеется, что эта артель не сдаст взятых ею темпов, а удвоит их и в эстафете по проведению осенней путины придет к финишу».

И еще. Слушайте. «Артель «Бронзовая Коса» опять позорно плетется в хвосте. Парторганизация слабо боролась за план 1-го полугодия, не давала отпора кулацкой агитации против новых методов лова. Соцсоревнованию и ударничеству не уделялось внимания. Прогулы, простой орудий лова — нередкое явление. Слабо ведется борьба с хищением рыбы...» Ну? Жигало те в бок! Дальше понятно?..

Ребята смотрели на тающие в небе звезды, не отзывались. Сашка толкнул Дубова и Зотова, взглянул на Евгенушку.

— Братва! Да ведь мы же ленинцы! Комсомольцы мы! Разве комсомольцы отставали в чем? Всегда впереди! Поднажмем, а?

Зотов вздохнул, обернулся:

— Чем жать? Сколько нас?

— Есть, жигало те в бок!. На хуторе такая силища — только знай черпай ее. Да умей черпать. По десятку на брата — и веди среди них работу. Есть чем!..

Дубов хлопнул Сашку по руке:

— Верно говоришь!

— Вот она, сила, под боком,— указала Евгенушка на единоличников.— А ты, Зотов, вечно...

— А что я?

— Довольно! — остановил их Сашка.— Мы, комсомольцы, организуем молодежную бригаду. Объявляем себя ударниками, каждый обязуется вовлечь в свою бригаду, а там и в комсомол, по два-три человека из молодежи. И еще обязуемся перевыполнить план осенней путины. Согласны?

— Пиши меня!

— Сначала меня!

— Не важно в списке быть первым...

— Знаю, что в работе!— и Зотов оттолкнул Дубова.

— Погодите. Я вот раньше ее. Как тебя?

— Евгенка.

— Да нет. По фамилии. Ну, вот... Значит, Осипова — первая...

Жуков задержался у кормы, окликнул Сашку:

— Что, парень, расшевеливаешь?

— Еще как!

— Шевели, шевели...

К «Зуйсу» подходил баркас. Двое работали веслами, третий сидел у руля, а четвертый стоял на носу. Жуков узнал в нем Павла. Когда подошли вплотную, Павел ухватился за борт и ловко перемахнул на палубу. За ним последовал рулевой. Проснувшийся Панюхай открыл глаза, увидел Павла, а другого не узнал. Они стояли перед Жуковым, переглядывались, но разговора не начинали. Молчал и Жуков. Панюхай встал, подошел к ним, развел руками:

— Ишь ты! Одноштанник Краснов в гости пожаловал. С новостями какими?

— Да вот...— Краснов подтолкнул Павла.— Сказывай.

Павел смущенно посмотрел на Жукова.

— Мы решили всем обществом к вам. Теперь решайте вы.

Панюхай не унимался:

— Это как, одноштанник? Пашка всерьез говорит?

— Погоди, старик, — сказал ему Жуков и к Павлу:—Значит, решили?

— Да.

— Всем обществом?

Павел кивнул головой. Жуков подумал и спросил:

— А, может быть, кто поневоле идет?

Павел не ответил.

— Может быть... ну, кто-нибудь упирался... не хотел?

— Было такое... Но это по темноте,— отозвался Краснов.

— Так, так. Хорошо. Но тут не место говорить об этом. Вернемся на берег, там и решим.

Павел вздрогнул, схватил за руку Краснова:

— Пойдем,— и перенес через борт ногу.— Стало быть... отказ?

— Да нет же, нет. Я тебе говорю, что не можем мы решить здесь. Не вся артель в сборе.

— А мы хотели артельными вернуться на берег.

— На воде не решают такие вопросы. Напишите заявление, и мы рассмотрим его в артели. Чего горячку порешь?

Павел спустился в баркас.

Взволнованный Жуков прошелся по палубе, подумал вслух:

— И чего это он загорелся враз?

— Видать, Анка распалила его,— донеслось с кормы.

Сашка шлепнул Зотова по губам блокнотом и строго сказал:

— Вот, жигало те в бок, была бы охота, работенка есть.

На рассвете ломали перетяги. Улов был неожиданно богатый. Рыбаки с трудом выручали сети, нагружали рыбой барка-

сы. Сула и чебак шли несметными косяками. Вытряхивая на палубу рыбу, Сашка сталкивал ее в трюм, покрикивал:

— Друзья! Нажмем, а?

— Нажмем!

— Пойдем нынче в ночь?

— Непременно пойдем!

— Каждый день?

— Есть каждый день!— откликнулась Евгенушка.

— Эх, жигало те... Как серебро живое! Кати-нсь!— и, поскользнувшись, нырнул в трюм.

Жуков бросил ему веревку, и через минуту из трюма высунулось улыбающееся Сашкино лицо, густо усеянное поблескивающей чешуей.

— Ты, жигало. Горячись, да меру знай,— проворчал Жуков.

— Ничего. Прогулка полезная. Эх, те... Родимая! Вывози!— и рыба посыпалась в трюм.

Единоличники управились раньше, но к берегу не шли. Ждали артельных. «Зуйс» принял на себя с артельных баркасов часть груза, взял их на буксир и повел к берегу. Единоличники двинулись следом.

На берегу рыбаков поджидал представитель треста, приготовивший корзины для переноски рыбы. Поодаль стояли семьи рыбаков. Как только баркасы подошли к берегу, женщины и дети, залезая по пояс в воду, наполнили рыбой ведра, понесли домой — на «котел». Рыбаки грузили корзины, ставили их на дроги, подвозили к пункту. Женщины по два-три раза брали «на котел», и им никто не препятствовал. Представитель треста был на пункте, принимал улов. Взвешивая рыбу и делая пометки в договорных книжках, он прищелкивал языком от удовольствия, восторженно восклицал:

— Вот так урожай! Сам пять, жарь в море опять!— И впервые записал в учетную книгу богатый разовый улов бронзокосцев: триста семьдесят три центнера! Закрыл книгу, не выдержал, вновь подсчитал.

— Триста семьдесят три!..

Павел сдавал рыбу последним и позже всех возвращался домой. От пункта пошел берегом, а потом — тем проулком, в котором жила Анка. Нарочно сделал такой крюк, думая хоть издали увидеть ее. Медленно прошел мимо хижины, украдкой взглянул во двор и на окошко, но нигде не было видно Анки, и Павел, ускорив шаг, свернул на широкую улицу. Вдруг Анка вышла из-за угла, будто поджидала Павла. Остановилась и, качая на руках ребенка, спросила:

— Говорят бабы, улов нынче богатый?

Павел сверкнул глазами, отвернулся. «Вот такими огоньками светились глаза у его отца, когда он был пойман в ерике»,— промелькнуло у Анки.

«Неужто не нашла другого чего спросить!»— подумал Павел и ответил:

— Не знаю. На пункте справься.

XXVI

Помещение клуба заполнялось народом. До начала собрания оставался еще час, но рыбакам скучать не пришлось. Сашка бегал из угла в угол, бросал острые словечки, вызывая смех, подмигивал Анке и Евгенушке:

— Забот-то у нас... Знай, работай!

Садился за пианино, бил по клавишам, наигрывая никому неведомые мотивы и, уставившись на Дубова и Зотова, напевал:

— Друзья! Эх, те!.. Черпа-а-ай!..— и опять подмигивал девушкам.

Сидевший у простенка Павел хмуро косился на Сашку, поглядывал на Анку. Он то поднимался, намереваясь взойти на сцену, то снова опускался на скамейку, прячась за чужими спинами. Но ни Анка, ни Сашка не замечали Павла, не видели, как у него дрожали искусанные губы.

Около Анки стояли двое ребят, и она в чем-то убеждала их. Среди шума Павел едва улавливал отрывки фраз:

— ...все для себя... никто не будет за нас работать... и у каждого интерес впереди быть... Ну?..

Евгенушка тормошила девушку и парня, все повторяла:

— Да ей-же-ей правда!— закидывала голову, прикрывала глаза, смялась.

Зотов вертелся около девушек, хороводил их по клубу, нашептывая каждой:

— Сама приди в молодежную бригаду и друга своего приведи! Хорошо покажете себя в работе — в комсомол примем.

— А ну тебя... Затейник!..— смущались девушки и с опаской поглядывали на матерей.

А со сцены все доносились звуки пианино, тонувшие в разудалом: «Эй, те!.. сили-и-и-ща-а-а-а!»

Григорий пришел в клуб раньше всех. Он часто пересажи-

вался с места на место, выходил на воздух, жадно сосал трубку, возвращаясь обратно, нетерпеливо поглядывал на сцену. И когда там появились Кострюков, Жуков, представитель треста и еще трое рыбаков-коммунистов, Григорий поднялся на сцену и несмело приблизился к Кострюкову.

— Ну как... заседали? Обсуждали мое заявление?

Голос его дрожал. Кострюков видел волнение Григория и, чтобы успокоить его, улыбнулся.

— Не кручинься, Васильев. Решили восстановить тебя в партии. Завтра поеду в район.

И крикнул в зал:

— Эй, вы! Буреломы! Переходи на штиль! Открываю собрание! Сашка! Брось дзынькать. К делу.

Рыбаки рассыпались по скамейкам.

Кострюков передал Жукову бумажку, объявил собранию:

— По-деловому давайте, коротко! Через два часа в море выходить! Читай, Жуков.

Жуков встал, зачитал заявление единоличников, подумал, повторил цифру:

— Сто двадцать семь рыбаков. К нам, в артель. Может быть, у кого вопросы имеются?

Собрание молчало.

— Как же мы, прямо так, по списку, молчком примем их или обсудим каждого в отдельности?

— А чего судить? И кого судить?

— Люди известные нам.

— Вали всех разом.

— Товарищи! Я вот почему говорю так: мы берем в артель тех, кто принимает наш устав и кто обязуется безоговорочно подчиняться новым распорядкам. А то после могут быть жалобы, что в артель кого-то втянули насильно, пользуясь его темнотой.

— За глотку того!

— За глотку брать не будем, а пускай сейчас каждый по-честному выскажется.

— К чему речи эти?

— К тому, что я сам слышал в море, кто-то не соглашался идти в артель.

— Я,— поднялся один рыбак.— По темноте не согласен был.

— Вот о чем я и толкую. Ну, а теперь просветлел?

— Просветлеешь, когда за бортом останешься. Куда один денешься? К чему притулишься? Мы уж привыкли так: куда один сазан, туда и косяк весь. Спокон веков гуртом работаем.

Жуков подсел к Кострюкову, что-то сказал ему. Кострюков согласно кивнул.

Поднялся Павел.

— Дозвольте сказать!

— Говори.

— Братцы!— он повел взглядом по залу.— Зачем перекликаться зря? Я привел до артели всех единоличников, я и ответ несу за них. По-моему так: или принимай или отказ давай.

— Павлушка!— окликнул его Григорий.— Смотри, парень, артель — дело кровное. Кровное, говорю!

— А ты что, дядя Гриша, не знаешь меня?

— Знаю...

— Так чего же. Надо будет, кровь из жил своих высосу и артели отдам до капельки,— и, покосившись на Анку, сел.

— Гляди, сосун. Материной титьки не забажалось бы...

Павел обернулся. Позади добродушно улыбались рыбаки.

Анка попросила слова.

— Артель не требует того, чтобы люди кровь высасывали из себя. От каждого вступающего требуется, чтобы он вполне осознал превосходство коллективного труда над единоличным и что новые методы лова для него есть закон.

— Скажите, грамотная какая, — обиженно проворчал Павел.

Кострюков постучал карандашом.

— Довольно!

Жуков поднялся, взял со стола заявление, потряс им.

— Товарищи! Этот документ говорит о том, что вы все сознательно, добровольно желаете вступить в артель.

— Да-а-а! Желаем!

— Все сто двадцать семь человек?

— Все-э-э!

— Хорошо. Теперь я обращаюсь к артельным. Кто выскажется из вас?

— Я!

Павла словно плетью хлестнул этот короткий возглас. «Не меня ли опять хочет укусить?..»— и через плечо сощурился на Анку.

— Товарищи!— твердо прозвучал Анкин голос.— Я против Павла Белгородцева.

— Почему? — робко выпорхнуло из последних рядов.

— А потому, что все же он кулацкий сын... Принимать его рано. Я против — пока. Пока... А потом, когда Павел докажет, что он и сердцем, и душою с нами, можно будет потолковать и о приеме его в артель. И ты, Павел, в обиду не кидайся. Сам должен

знать, что рано тебе в артель. Всякое дело порядка требует. Всё.

— Я поддерживаю Анку,— сказал Жуков.— Верно говорит она. Если Павел докажет, что он с нами, примем в артель. А пока рановато...

«Вот почему ты заигрывала со мной? Привел людей в артель, а теперь меня по шапке...»— в бешенстве подумал Павел, но промолчал.

— Кто еще выскажется?— спросил Кострюков.

Желающих не оказалось. Кострюков повернулся к Жукову:

— Кончай.

— Может, еще кто выступит?— спросил Жуков.

— Голосуй список! О чем еще говорить? Дело ясное.

— Ставлю на голосование.

Все, за исключением Павла, были приняты. Кострюков поздравил новых членов артели и обратился к Душину:

— В море больше не пойдешь. Налаживай работу в совете. Сашка, теперь твое слово.

Сашка взбежал на сцену, развернул газету.

Громко прочитал заметки, аккуратно сложил газету и уперся глазами в зал.

— С весны волочите позорище... Со стороны посмотрит чужой человек — и его в постыдный жар бросит.

— Не морочь голову! К делу!

— К делу и клоню. Надо скинуть с себя срамоту эту. На передние позиции выходить и драться так, чтобы без урона, но с победой.

— А что же мы сложа руки сидим?

— По-ударному. По-ленински!— Сашка рассек рукой воздух.— Вот мы, комсомольцы, организовали бригаду. Друзья! Молодежь! Ведь мускулы играют! Вали в нашу бригаду! Эх, жигало те в бок! Давай! Нажме-о-о-ом, а? Эх, те-е!..

— Это как же, не подумавши — бултых в комсомол?— спросила одна из женщин.

— Да нет. В комсомол заявление пишут и принимают на собрании. Зовем в ударную бригаду. А там дело их. Видно будет. Может, кого и в комсомол примем.

— Я же о том и толкую,— сказал Зотов, подводя к сцене девушку.— А она противится.

— Эх, те... голубоглазая. Ну как? Согласна?

Девушка боязливо оглянулась. Зотов подтолкнул ее:

— Не бойся. Мать я уломал.

— Пишите,— засмущавшись, прошептала девушка.

Дубов поставил в ряд у стола девять человек, кивнул Сашке:

— Орлята на подбор. В ударную.
— По воле?
— Чего спрашивать? Не больные же? Пиши!
— Эх!.. Си-и-ила!..
Григорий подошел к Сашке, заглянул в список.
— Чего ты?
— Пометь меня в молодежную. Да скажи: сколько на«Зуйсе» будет работать?
— Двенадцать. А что?
— Отбери их, а остальных давай мне. Согласен?
— Записывай...
Григорий взял у Душина листочек бумаги, сел за стол и махнул подходившим с молодежью Евгенушке и Анке:
— Давай ко мне, девки! Тащи Павлушку. У меня и стар, и млад принимаются.
В молодежную бригаду, не считая Григория, записалось двадцать два человека. Павел не записался. На предложение Григория он ничего не ответил.
Сашка сел за пианино и заиграл «Марш Буденного», а Анка стояла возле и следила за его прыгающими по клавишам пальцами.
— Хорошо играешь,— она улыбнулась.
— Хочешь, научу?
— Хочу.
Павел вскочил с места и вышел,
После собрания Евгенушка ушла из клуба последней. Возле дома Урина столкнулась с Дубовым, хотела пройти мимо, но Дубов остановил ее:
— Погоди...
— Чего тебе?
Оба отвернулись.
— Ты прости меня... Виноват я...
— Я простила...
— Вот... работаем вместе. Тяжко на сердце... Ты молчишь, а мне сдается — злобу таишь на меня...
— Нет, нет,— она замотала головой.— Никакой злобы...
Дубов крепко сжал ее руку.
— Славный ты человек, Евгенка. Уважаю тебя. Вовек не забуду.
Хотел уйти, но она медлила.
— А любовь... потухла?
— Тебя нельзя не любить, Евгенка... Родная...
Евгенушка радостно засмеялась, притянула его к себе:

— Проводи меня до угла...

На улице Анка попрощалась с Сашкой и свернула ко двору Павла. Павел сидел на ступеньках крыльца, жевал цигарку, сердито сплевывал. Анка подошла, села рядом.

— Ты чем питаешься? Кто готовит тебе?

Павел выплюнул цигарку, свернул другую. Молчал.

— Может, кушать хочешь? Пойдем ко мне. Шорба хорошая есть. Да и дочка, гляди, старика измучила.

Павел молчал.

— Слышишь? Брось губы дуть.

— Ну!— Павел рванулся, встал.

— Не ершись.

— А чего вязнешь ко мне?

— Не вязну, а спрашиваю.

— О чем?

— Богатый улов был?

— Насмехаешься?

— Всерьез спрашиваю.

Павел криво улыбнулся.

— Ну... богатый.

— А все оттого, что коллективно и в согласии работали. Вот я и хочу знать: ты просился в артель потому, что коллективный труд пришелся тебе по нутру, или по другим каким причинам?..

Павел взбежал на крыльцо.

— Об этом у кобеля своего спроси. Меня не трогай.

— Ты с ума спятил...

— Брось путать! Знаю я!— он злорадно захохотал.— Как же, и на музыку, и на слова прыткий!.. На все руки мастер! Ма-а-астер!

— Скотина ты!— крикнула Анка; в глазах ее блеснули слезы.

— А ты шлюха! Шлюха! Вон с моего двора! И твоего ублюдка не признаю! Не мой он ! Не мой!— и Павел хлопнул за собою дверью.

Анка обернулась. У калитки стоял Панюхай, неумело держа на руках ребенка.

— Эх, Анка... Зря ты... Зря...

XXVII

Крепко прижимая к груди дочь, Анка торопливо шла улицей. За ней впритруску поспешал Панюхай, боязливо озираясь. Ему казалось, что все происшедшее между Анкой и Павлом известно уже в хуторе и что люди исподтишка наблюдают за ними из окон

куреней. Возле своего двора Панюхай обогнал Анку, открыл ворота и торопливо направился в хижину. Переступив порог, облегченно вздохнул и грохнулся на скамейку.

— Эх-ма...

Анка положила ребенка на кровать, подошла к отцу.

— Не поддавайся кручине, отец. Загрызет.

Панюхай с укором посмотрел на нее.

— Заела... Срамота заела... И чего ты с ним связываешься, чебак не курица, а?

— Поговорить нужно было. Хотела знать, почему в артель хотел вступить.

— Зря... Воля его... К чему разговор тут?..

— А к тому, отец, что если только по любви ко мне, то грош ему цена.

Панюхай вышел в чулан и вернулся с винцарадой и сапогами.

— Положи харчей в сумку. Пора на берег.

— Шорбы похлебаешь? Разогрею.

— Давай.

Панюхай ел наспех, обжигаясь, то и дело бегал к ведру с водой. Заметив на лице Анки улыбку, опустил ложку, нахмурился. Выбрав из бороды крошки, встал.

— Ну?.. Так мало?

— Хватит. Все нутро обжег.

— А ты не спешил бы. Успеешь.

Анка убрала со стола, взяла дочь и пошла провожать отца. Навстречу им плыла разноголосая песня. Анка ускоряла шаги, торопила отца. Панюхай обиженно ворчал:

— Сама сказывала — успеешь, а теперь бурей прешь?— но от нее не отставал, волоча по песку винцараду.

В тесном кольце молодежи вертелся Сашка Сазонов. И когда он вскидывал головой и руками, ребята вразнобой подхватывали:

— Мы — комсомол, страны рабочей гордость...

Сашка вдруг опускал руки, и голоса обрывались.

— Куда же ты тянешь?— сердился он на Зотова.— Тебе надо: «а-а-а», а ты: «у-у-у!»

— Учусь... Чего же тебе...

— Пора научиться. Лад песни легкий. А ты, Евгенка, тоже побрехиваешь. Голос у тебя звонкий, да неровный.

— Настроится. Дай срок.

— Верю. Ну, грянули!— и, притопывая ногой, Сашка взмахнул теперь уже шляпой.— Нажимай! Вот! Ладно! Ровно! Эх, те-е-е!..

Анка спустилась к ним. Бодрая мелодия песни взволновала ее. У нее запылало лицо, зашевелились губы.

— Уйди! Дитё разбудят... Ишь как горло дерут.

— Не мешай, отец!— и, улавливая мотив песни, она вполголоса, неуверенно стала подпевать.

Подчалки вернулись от баркасов за рыбаками. Кострюков подал знак Жукову, и тот скомандовал:

— Пора! По местам!

Песня смолкла. Анка подошла к Сашке, восторженно проговорила:

— Хор-рошо!

— Погоди, еще не такую запоем.

— Да и с этой хоть в бой иди. А то у нас не песни, а любовная тошнота одна. А вот это — песня!

— Для боя и готовим ее. А ты, старина, с нами?— обратился он к Панюхаю.

Кутаясь в винцараду, Панюхай тихо сказал:

— А с кем же мне? За дочку я...— и пошел к подчалку.

Возле Анки вырос Павел. Он скользнул по ней беглым взглядом, и к Сашке:

— Ну, ударники. Празднуете?

Сашка улыбнулся.

— От нас рыба не уйдет. Ребята! По местам!— и первый прыгнул в подчалок.— Эй, Дубов! Готово?

Из-за кормы «Зуйса» выглянул Дубов, стоя на подчалке.

— Осталось точку поставить!

— Лепи ее скорей!

Сашка взобрался на палубу «Зуйса», выждал, пока подняли паруса, махнул шляпой:

— Сплывай!

И когда «Зуйс» занес кормой, все стоявшие на берегу увидели горевшую красными буквами надпись:

«КОМСОМОЛЕЦ»

— Видали?— крикнул Сашка на берег.— Вот его настоящее имя! И носить его будет с честью! Эх, те-е-е! Жизнь ты наша буйная! Запевай, братва!

Над притихшим морем грянула песня.

— Мы — комсомол, страны рабочей гордость...
Грядущих дней надежда и оплот...

Кострюков смотрел вслед уходившим в море баркасам, настораживал ухо. И когда ветер унес песню далеко в море, он вздохнул, улыбнулся.

— Вот ведь... Правду говорит парень: сили-и-ища!..

— Силы нам не занимать,— отозвался Жуков.— Надо только уметь раскачать ее, организовать. А Сашка парень — огонь!..

— На все молодец!— с восхищением произнесла Анка.

Жуков обернулся и шутливо погрозил ей.

Молодежь не спала. Поставив сети, ребята подвели баркасы к «Комсомольцу», бросили якоря и перебрались к Сашке разучивать песни. Они громко спорили, кричали, смеялись и снова принимались петь.

Под брезентом заворочался Панюхай. Он высунул голову, пожмурился на фонарь, зевнул, потянулся. Посидел в задумчивости, встал и, почесывая поясницу, подошел к корме.

— Ну, чебак не курица, не наокались? Поспать нельзя!

Отвернулся, еще зевнул, сказал в сторону:

— Бывалыча... заиграют песню... Эх-ма... Длинная да высокая... за тучи уходит. А потом спустится, в море окунется и опять до небес летит. Нынче же, ок да ак, без клешни рак... Тьфу! Спать ложились бы, что ли?

Он потоптался, покряхтел и щипнул Сашку.

— Что ты, деда? За девку меня принял?— засмеялся Сашка.

— Не шуми.— И на ухо ему:— Зачем девок накликал? Притулиться некуда...

— А ты с чердака...

—Булькотеть будет... Учуют, поганки.

— Нет, песней заглушу. Валяй.

Сашка затянул песню, все подхватили. Он рубил воздух рукой, тормошил товарищей, выкрикивал:

— Громче! Крепче! А ну, чтоб море всколыхнулось! Не жалей глоток!

И только что Сашка вошел в азарт, как его опять ущипнул Панюхай:

— Чего глотку рвешь? Потише бы.

— Уже?...

— Не к куме на беседу ходил,— и полез под брезент.

Голубоглазая девушка, завербованная Зотовым в ударную бригаду, каждый раз по окончании песни заливалась задорным смехом, повторяла:

— Чудно... Право, чудно.

— А что здесь чудного?— не выдержал Сашка.

— Как же, поем: «Мы — комсомол...», а какие же мы комсомольцы? Нам больше к лицу такие песни, как «Догорай, моя лучина» или «Пущай могила меня накажет». Право, чудно.

Сашка строго посмотрел на Зотова.

— Плохо работаешь, братец. Разъясни и внуши ей...

— Да я все зубы поломал об нее.

Сашка оттолкнул Зотова, подсел к девушке.

— Эта песня молодежная. Ее могут и должны все петь. И старикам, и детям на пользу.

— Да нет, если в комсомоле быть, тогда она подойдет, а то как-то чудно.

— Чего ж чудно? А ты тоже в комсомол...— посоветовал Сашка.

Девушка тронула Сашку за рукав, робко проговорила:

— А что, могла бы я выполнять какую-нибудь нагрузку?

— Могла бы. Хочешь, мы дадим тебе работу?

Она спросила шепотом:

— И в комсомол возьмете?

— Возьмем, если заслужишь.

— Танька! Чего на ухо шепчешь? Давай начистоту. Дело общее,— обидчиво бросил Зотов.

Девушка смутилась. Но овладев собою, сказала громко:

— А я думала — теперь же вступить можно.

— Дубов! —окликнул Сашка.— Слышишь? Ребята даже не знают порядка вступления в комсомол.

— Каюсь.

— Эх, те...— и к девушке:— Сразу нельзя. А почему тебе сейчас загорелось?.. Ну?

— Чтоб вернуться комсомолкой... А то...— она замялась,— родители не дозволят... Не пустят.

— Не бойся,— успокоил ее Зотов.— Когда в бригаду брал, уломал же их? Ну, и теперь на шелк обработаю. У тебя родные — золото. Только умей подойти к ним: Не бойся, помогу.

— Да ну тебя...— девушка смеясь потрепала его за волосы.

Один из парней свернул цигарку, придвинулся к Сашке.

— Дай-ка огонька.

Затянулся дымом, хитровато посмотрел на Дубова, кашлянул.

— Да-а. Мы вот сызмальства вместе. И на берегу и в море. В работе и на сходках. Все гуртом делаем. А как только сбор комсомольцев, мы за бортом. Двери на крючке, не войдешь.

— Ты к чему это?— спросил Зотов.

— А вот к тому же. Этот крючок за сердце цеплял нас. Обидно было. Мы хотели сорвать его. Собралось нас пять человек, сговорились. Решили к комсомолу прибиться, а как — не знали.

— Эх, жигало те...

— Терзаюсь, братцы.. От стыда горю...— вполголоса произнес Дубов и надвинул на глаза шляпу.

Сашка объяснил порядок вступления в комсомол.

Парень подумал, встал и, бросив за борт цигарку, взмахнул шляпой.

— Ребята! Давно мы желание это имеем. Давайте так сделаем, чтоб все, кого носит на себе «Комсомолец», добились этого звания. Подадим заявление в комсомол.

— Чего ж!..

— Дело!..

— И дадим обещание: покрыть недодачу весеннего и летнего улова и перекрыть теперешний план. Верно?

— Порядок!

— Сашка! Пиши!

— Прежде Таньку!— вставил Зотов.

— А поможешь, если мать...

— Сказал же.

Сашка ощупал себя, пошлепал по карманам.

— Эх, жигало те.. Куда запропастился?

— Чего ищешь?

— Блокнот.

Не прошло и десяти минут, как голубоглазая девушка отвела Зотова в сторону, заговорила тревожно. Зотов ловил ее руки, шутливо приговаривал:

— Не мажь, Танька. Не мажь.

— Нет, выпиши меня. Чего ж я одна? Никто из девок не записался.

— А вот ты и должна теперь обрабатывать их.

— Не желаю одна. Дома загрызут. Выпиши.

Под брезентом закряхтел Панюхай:

— В лес пойдешь, волк укусит. В море кинешься, акула проглотит. В комсомол вступишь, родители загрызут. Да-а-а... Много вас покусанных валяется. Вон, от моей Анки ничего не осталось. Всю искусал. Эх, силов нету. Я бы вам, чебак не курица, заварил шорбу. В печенке засвербело бы...

Ребята засмеялись. Виновато улыбнувшись, девушка умолкла. Наговорившись досыта, молодежь решила было вздремнуть, но тут поднялся Дубов, заявил:

— Слово имею!

— Говори.

— Скоро будет светать. Я предлагаю проверить сети. Ежели рыба есть, поломать перетяги. Часть из нас повезет улов к берегу, а часть останется на месте. Посушим на баркасе сети и в море их опять.

— Здорово!— поддержал Зотов.

— Вот тогда мы ни одной минуты не потеряем даром. Только качай рыбу из моря!— Сашка перегнулся через борт, крикнул:— Дядя Григорий! Эй, Васильев!

Спавший на баркасе Григорий быстро поднялся. Сашка сообщил ему о решении молодежи.

— Ну, что ж. Умно придумано,— одобрил Григорий.— Можно и к делу.

— По местам!

—А кто в море останется?

Сашка ответил:

— Ребята. А девки пойдут к берегу.

Баркасы подошли к буйкам. Сашка включил мотор. «Комсомолец» задрожал, скользнул за баркасами.

Работали втемную, молча. Только изредка слышался хрипловатый Сашкин голос:

— Свети ближе! Не урони! Ну, ну!.. Черпа-а-ай!..

Рыбаки цепляли крючками перетяги, подавали багры на судно. Сети поднимали на палубу, освобождали их от груза и вновь возвращали на баркасы. Там их вешали на реи, проветривали. Девушки в работе не уступали ребятам. Мокрые с ног до головы, не отдыхая ни минуты, они ловко выбирали из сетей рыбу, сбрасывали в трюм.

К рассвету работа закончилась. Весь улов четырех постов «Комсомолец» принял на себя. На соседних постах тоже управились и сушили на реях сети. «Ворон» и пять баркасов снялись раньше и были уже километрах в трех от поста. «Комсомолец» вскинул паруса, отдал пресную воду тем, кто оставался

в море, и помчался вдогонку «Ворону». Но настиг его только у берега.

— Ты что ж это, жигало те в бок, втихомолку рванул?

— А чего мне? Баркас — что сокол поднебесный. Удержу нет. Эх, только правь! — хвастливо отозвался Павел. — Да и вольный я. Не артельный...

— Нехорошо, брат. Надо согласным быть, раз артели придерживаешься.

— Не тебе меня учить.

— Не учу, а по-дружески...

— Собака кошке не друг.

— Не пойму я тебя, Павел.

— А вот ежели еще раз ляжешь на моей дороге, тогда поймешь...

— Чудак...

На берегу на этот раз представителя треста не оказалось. Не было и корзин. Сашка побежал на пункт, но дверь была на замке.

Представителя треста он нашел в курене. Тот оглянулся при Сашкином появлении и сунул в папку какую-то бумагу.

— Уже вернулись?

— Принимай.

— Скоро. И хорош улов?

—Взвесишь — узнаешь.

— Сейчас. — И, вынув из папки исписанный лист, крупно вывел внизу: «Белуга».

Сашка взглянул через плечо, рассмеялся.

Тот прикрыл руками бумагу, вскинул глаза:

— Чего тебе, Сазонов?

— А я голову ломал: кто ж это у нас рабкорствует? Оно, видишь, у кого нюх белужий...

— Тсс! Это хранится в тайне. А раз узнал — молчок.

— Знаю. Пописывай, дело нужное. Пускай и о нас газета скажет хорошее слово. Ну, пойдем.

Представитель треста снял со стенки ключи и вышел.

Сдав рыбу, Сашка заглянул в совет. Он поделился с Кострюковым и Жуковым идеей Дубова и рассказал о странном поведении Павла.

— Неспроста это. По-моему, он прячет в голове дурную мысль. Надо вам поговорить с ним. Серьезно поговорить, — посоветовал Сашка.

— Пойди-ка, Жуков, потолкуй с ним, — сказал Кострюков.

— Хорошо.

На пороге Сашка остановился, что-то вспомнив, и вернулся к Кострюкову.

— Я тороплюсь в море, не успею забежать к Анке. Так ты передай ей вот эту бумажонку. Пускай включит в повестку дня очередного собрания.— И, хлопнув дверью, застучал сапогами по ступенькам крыльца.

Кострюков внимательно просмотрел заявление девяти человек, пожелавших вступить в комсомол.

— Огонь парень!

Не застав никого на пункте, Жуков и Сашка поспешили к берегу. У обрыва встретили представителя треста.

— Где Белгородцев?

— Хо-хо! Далеко-о-о! Во-о-он на горизонте маячит! Дельный парень. Исправно рыбу сдает. Молодец!..

Жуков обернулся к Сашке:

— Видал, какой старательный?

Сашка пожал плечами и ничего не ответил.

XXVIII

Представитель треста аккуратно писал свои заметки, и «Голос рыбака» взбудоражил побережье. Каждый день газета стала приносить на участки новые вести об успехах бронзокосцев. Из города приезжали представители райрыбаксоюза и райпотребсоюза, трое суток знакомились с работой, внимательно изучали новые способы лова, введенные комсомольцами. Вскоре после этого представитель треста был вызван в город. Он съездил обыденкой и вернулся на переполненном ящиками и тюками грузовике.

На второй день прибыл из района и Кострюков. Узнав об этом, представитель треста отправился в совет. Он застал там Жукова и Кострюкова, о чем-то оживленно споривших.

— Нет, нет. Все до одного.

— А если кто противиться будет? Ну, и обвинят в насилии.

— Чего противиться? Кто же не захочет надеть новые брюки, рубаху или иметь в достатке стиральное мыло? Нет, всей артелью должны вступить в кооператив.

— Ты, Жуков, чудак. Будто я сам не желаю этого. Вот соберем людей и потолкуем.— Увидев представителя треста, Кострюков спросил:— Почему не привез деньги? Отказали?

Тот бросил на стол брюхастый портфель.

— Вот они.

Жуков недоумевающе посмотрел на него.

— А мне вчера что сказал? Не дали, мол...

— Не мог я, не мог! Ведь ты не один был. И так всю ночь не спал. Издергался весь. Шутка ли — полный портфель денег. Надо раздать их.

— Душин, скликай рыбаков,— распорядился Кострюков.

Первым явился Панюхай. Он просунул в дверь голову, осмотрелся и прошел к столу.

— Задаток, сказывают, давать порешили?

— Аванс, деда, аванс.

— Ишь ты. Кому же положено?

— У кого трудодни имеются.

— А у меня с рожденья они. И теперь за дочку трудюсь.

— Вот, вот...— представитель треста развернул список и повел сверху вниз пальцем.— Так и записано. Сорок рублей тебе. Распишись.

Панюхай взял ручку, повертел, недоверчиво спросил:

— Где?

— Вот тут.

— А деньги?

— Пиши, пиши.

Панюхай припал к столу и заскрипел пером.

— Все крестики ставишь? Хоть бы фамилию научился писать.

— Везде кресты ставлю. А то помру, некому будет. Дочке не дозволено,— ухмыльнулся Панюхай, пересчитывая деньги.

На крыльце послышались тяжелые шаги. Отворилась дверь, и в комнату шумно ввалились рыбаки. Представитель треста развернул другой список, махнул Павлу:

— Ну-ка, сокол, налетай!

Павел подошел к столу, расписался и, небрежно сунув в карман деньги, направился к выходу.

— Ого! — изумился кто-то.— Девяносто целковых!

Павел остановился, порылся в кармане и вынул два червонца.

— Для своих людей ничего не жалко. Вот вам, — он бросил деньги на пол,— на пропой!

Кострюков вышел из-за стола, поднял деньги и вернул их Павлу.

— Белгородцев! Брось старые атаманские привычки.

В это время в совет вошли Сашка, Дубов, Зотов и Анка. Павел заносчиво вскинул голову:

— Как знаете. А ежели плох я, отправьте к отцу...

Он растолкал стоявших у двери и вышел.

Рыбаки молча переглянулись.

— Видали?— возмущенно сказал Кострюков.

— Памятен еще нам его батька.

— Правильно, что в артель пока не взяли его.

Кострюков объявил:

— После получки идите в кооператив. Товары привезли.

Панюхай и в кооператив явился раньше всех. Протер платком глаза, обстоятельно все осмотрел. Увидел мануфактуру, мыло, сахар, крупу, макароны. Левее — нитки и крючки. Хлопнул себя по карману и обратился к продавцу:

— Наши деньги, ваш товар!

— Можно и так.

— Ну-ка, нитку покажи.— Попробовал на зуб.— Хороша. И сорочо́к есть? Ишь, ты... Кому же их?

— Артели. Правление забирает.

За прилавком в углу Жуков и Григорий беседовали с заведующим магазином.

— Райпотребсоюз непременно должен открыть столовую.

— Я буду толкать,— сказал завмаг.

— Толкайте сильнее. Откладывать нельзя. А пока мы временно сами организуем.— Жуков обернулся к Панюхаю:— Нитку мы забираем всю, отец! Будем вязать новые сети!

— Так ты мне препоручи. Я мастак на это дело. В помощь баб себе подберу.

— Ладно,— и Жуков опять вернулся к прерванному разговору.

Панюхай выложил на прилавок деньги, прикрыл их ладонью.

— Ну-ка, братец, отрежь мне на портки, да скажи, сколько денег тебе отвалить.

Жены рыбаков толпой явились в магазин. Пришли и остались. На полках соблазнительно пестрела мануфактура, лежали шоколадного цвета куски мыла, в мешке с отвернутыми краями белым букетом расцветал сахар-рафинад. И как только на пороге показывался рыбак, жена брала его за руку и вела прямо к заведующему:

— Пишись в кооператив.

— Дай хоть опомниться...

— Пишись! Чего деньги жилить? Дети голяком и сами в лоскутках. Довольно брюхом светить!

А получив книжку, тянула мужа к прилавку.

— Вот еще в ком силища,— указывал Кострюков на женщин.— Только разбуди ее...

— Ого!..— подтвердил Жуков и обратился к Григорию:— Задерживай народ. Скажи — на минутку. А то опять времени не выберем.

Рыбаки расселись в палисаднике, закурили трубки. Женщины стояли поодаль, рассматривали ситец, примеряли, что пойдет на кофточку, а что на юбку, жевали пряники, делились догадками:

— Авансы выдали, товарами уважили. Что же еще?

— Может, и еще что-нибудь припасено.

— А гляди — с нас потянут...

— Не греши...

Григорий и Жуков вышли на крыльцо.

— Не теряй времени! Начинай,— сказал Жуков.

Григорий поднял руку.

— Товарищи! Я насчет столовой.

— Что-о-о-о?

— Столовой...— повторил Григорий.

— И чего зря народ держали?

— Не зря. В скором времени райпотребсоюз откроет здесь столовую. А пока мы должны временно организовать сами.

От гурьбы женщин отделилась Акимовна, подошла к Васильеву:

— Гриша, хорошее дело вы затеяли. Дюже хорошее. Столовая,— она приложила к горлу ладонь ребром,— во как нужна нам!

— А тебя, Акимовна, в поварихи, а?— сказал Панюхай и повел вокруг вопросительным взглядом.

— Дельное предложение,— согласился Григорий.

— Она, стал-быть, Акимовна-то,— продолжал Панюхай,— что тебе борщ скусный сготовит, что шорбу сварит или другие разные кушанья — пальчики до мослов обсосешь.

— А как ты, Акимовна, согласна быть главной поварихой?— спросил ее Васильев.

— Согласная, Гриша. Только вы скореича открывайте столовую.

Кто-то из рыбаков крикнул:

— Кому она нужна, ваша столовая?

— А разве мало у нас одиноких людей?— возразила Акимовна.

— А семейным зачем?

— Затем, чтобы матерей избавить от кастрюль. И разве плохо будет той матери, у которой пять-шесть детей? И еще

затем,—сказал Григорий,— чтобы позорный «котел» уничтожить!

— О чем ты?

— Какой котел?

— А тот самый, который центнерами пожирает рыбу! Ведь каждый день мы берем «на котел», но берем в три-четыре раза больше, чем положено в сутки! Выходит так, что мы расхищаем государственное добро.

— Да ты что?

— Кто похищает?

— Что же кушать, ежели «на котел» не брать?

Кострюков отстранил Григория, шагнул вперед:

— Погодите!

Рыбаки поутихли.

— «Котел» мы ликвидируем. В доме Урина открываем столовую. Кто не желает питаться в столовой, получай продукты на руки и с весу. А чтобы доказать, что «котел» позорное дело, мы сейчас сделаем повальный обыск. И меня, и тебя, и его обыщем. Всех! Дело кровное, наше, и интерес общий.

— Эх, те!.. Рабо-о-ота!— И Сашка переглянулся с ребятами.

— Ну, братцы? Ведь в газете прописали о нас. Славные, мол, рыбаки. Наперед рвутся. Чести какой добились. А теперь в «котле» топим честь-то эту?

С земли поднялся Краснов, бросил под ноги шляпу.

— Правильно! К черту «котел», если продукты будут выдаваться! Начинай с меня обыск!

— Эх, жигало те... Ребята! Четверо на обыск, пять человек — перегородки в курене Урина ломать, а остальные — воду и глину носить. До вечера времени много, успеем. Жарь по местам!— скомандовал Сашка.

...Краснов привел комсомольцев в чулан и ткнул пальцем на полати:

— Вон, два десятка вяленых чебаков висят.

— И всё?

— Хоть переройте весь курень и двор.

Комсомольцы взяли рыбу и отправились к соседу. Хозяйка встретила их неприветливо. Смерила злыми глазами каждого с ног до головы.

— Почему ж это к нам прежде? Краснов-то хотел, чтоб с него начинали.

— Были, были.

— Вот она!— показал парень связку чебаков.

— И только?— удивилась хозяйка.

— Что было, то и взяли...

— А просол? Ах ты, жилотяг!— женщина метнулась во двор.— А просол? Просол где?

— Какой?

— Что под кроватью у него в корыте и в кадушечке! Ишь, глот какой!

Из-за стены выглянул Краснов.

— Правду, правду сказываешь, соседушка! Гляди же не забудь про ту бочку, что под бабкой вместо кресла стоит!

— Я тебе не забуду. Я т-те!..— и она скрылась в курене.

Вслед за ней пошел комсомолец. Остальные вернулись к Краснову.

— Ты что же, дядя, обманываешь?

— Эх, братцы. Запамятовал,— Краснов смутился.

— Неладно так. Не по совести. Сам же говорил — не ронять честь.

— Я снесу на пункт, я снесу. Вот бы носилки да еще кого в подмогу,— Краснов засуетился, побежал к ребятам, месившим глину, ругая соседку:— Ведьма... ведьма распроклятая! Устыдила...

Уходя из кооператива, Кострюков задержал Григория, порылся у себя в карманах, подумал и развел руками.

— Куда ж я ее? Вот оказия... Прямо беда у меня с памятью...

— А что ищешь?— спросил Григорий.

— Телефонограмму. Нынче из района получил... Вспомнил! Она у меня в ящике стола...

— О чем телефонограмма?— полюбопытствовал Григорий, встревоженный смутной догадкой.

— Завтра в район поедем. На бюро райкома будут обсуждать решение нашей парторганизации о восстановлении тебя в партии.

Помолчали.

— Как думаешь... восстановят?— несмело спросил Григорий.

— Думаю, да. Только смотри, получишь партбилет, держи его в чистоте.

— Что ты! Что ты! Разве можно? К прошлому возврата нет...

Григорий крепко пожал руку Кострюкову, и они разошлись.

Возле дома Урина ребята месили глину. Сашка топтался по колено в крутом месиве, балансируя руками, покрикивал:

— Воды, воды подай! Эх!.. Жизнь наша-а-а! Анка, прыгай ко мне! Закручивай!

Панюхай, держа на руках ребенка, ходил за Анкой по пятам, мешал ей работать.

— Да возьми ты ее.
— Погоди, отец. Работу кончим.
— У меня поважней работа. Надо баб подбирать на вязку сетей.
— Успеешь...
Тут же был и Краснов с носилками, упрашивал помочь ему перенести «позорный» груз. Но все были так заняты, что не обращали на него никакого внимания.
Увидев Григория, Краснов бросился к нему:
— Братец! Помоги кадушечку да корыто на пункт снести. Вот беда! Не с кем. Баба на сносях ходит.
— Эх, ты!— Григорий расплылся в улыбке.— А чего ж не помочь?— Он неожиданно обнял, поцеловал Краснова и подтолкнул в спину:— Пойдем! Чего же не помочь, когда силу девать некуда. Эх, ты!..
Панюхай посмотрел Григорию вслед, вздохнул:
— Что-то неладно с ним... — И к Анке:
— Дочка твоя от плачу замокрилась! Покормила бы...

XXIX

На сверкающем взморье дробились косые лучи солнца. Ветер свежал, становился порывистей.
Незаметно таяли короткие дни. Близилась поздняя осень. Дед Кондогур, щуря бесцветные подслеповатые глаза, неторопливо посасывал трубку величиною с кулак и задумчиво смотрел вдаль. Убегавшие к горизонту волны будто разматывали клубок его мыслей, и перед Кондогуром проплывал его жизненный путь, длиною в семь десятков лет.
Пятнадцатилетним парнем он приехал из Астрахани в поселок Кумушкин Рай вместе с отцом, который проштрафился и, скрываясь от полиции, бежал на Азовье. В первую же зиму отец умер от воспаления легких — прямо на льду, во время последнего лова рыбы,— и он остался один. До работы был большим охотником, трудился помногу, но жил бедно. Водка губила. Так и протекла молодая жизнь в одиночестве. Никто из девушек не хотел идти за пьяницу, хоть и пользовался он среди рыбаков большим уважением. И только на шестьдесят пятом году сошелся со вдовой-старухой и теперь коротает с ней последние годы.
Революцию принял Кондогур радушно, как море принимает по весне половодье рек. Участвовал в гражданской войне, был

ротным поваром, считая и эту обязанность делом высокой чести.

Грамоты Кондогур не знал, но после женитьбы стал ежегодно выписывать газету, посылал в редакцию заметки, разоблачающие кулаков. Зная, что Кондогур неграмотен, кулаки и не подозревали в нем «доносчика», считали своим человеком, приглашали на выпивку и, захмелев, допытывались:

— И что за «Шип» объявился у нас? Хоть бы из-за угла глазком на него... Ведь поклеп за поклепом... Беда...

Кондогур опустошал кружку с водкой, облизывал усы и вместе с хлебом разжевывал слова:

— Смотря... каким «глазком». Они разные бывают... Есть... с бровями... а есть... и с мушками.

— А так, просто поглядеть, какой он из себя...

— У моря живете и не знаете?— хитро улыбался Кондогур.— Осетр... Черный осетр...

— Знаем. Но где нерестилище? Крючок бы закинуть... А то поганую икру мечет.

— Где ж... Видать, в Кумушкином Раю.

Как-то по пьянке кулаки предложили Кондогуру:

— Рыбак ты первеющий в поселке. Работяга, а живешь в бедности. Давай-ка с нами, а?..

И рассказали ему о тайном засолочном пункте, куда они отправляли рыбу. Кондогур дал согласие работать с ними, поблагодарил за водку и ушел. А через два дня появилась в газете заметка за подписью «Шип». Вскоре раскрыли засолочный пункт, арестовали кулаков, судили. На суде выступал и Кондогур в качестве свидетеля.

Позже рыбаки удивленно спрашивали Кондогура:

— Как же ты мог это, а? В газетку-то писать?

— А голова для чего на плечах?

— Да ты ж грамоте не учен.

— Не беда. Старуха из ученых.

Колхозное движение перекинулось с полей к берегам моря. В поселках росли и крепли артели. И вот от приплюснутой, вросшей в землю хижины пролегла к сельсовету тропочка.

Две недели Кондогур выглаживал ее тяжелыми сапогами. Он с утра приходил в сельсовет, часами просиживал у председателя, тормошил его.

— Что ж это, братец ты мой, куда ни кинь — народ гуртом работает, а мы вразброд. Давай толковать, собирай ребят. А то плетемся в хвосте, да и тот улизнет от нас, ухватиться не за что будет.

— Погоди. Надо подумать да поглядеть, что из тех артелей

получится. А то знаешь...— хладнокровно отвечал председатель.

Но Кондогур не успокоился. Придя домой, достал бумагу, положил перед старухой:

— Пиши...

Председателя совета сняли, выбрали нового. И в 1929 году в поселке организовалась артель «Соревнование». Председателем ее стал Кондогур.

Комсомольцы рьяно взялись за работу. Выдвигали встречные планы, вызывали стариков на соревнование, боролись с прогулами, первыми выходили на штурм моря. Кондогуру это не нравилось, и он часто кричал на собраниях:

— Поменьше хвастай да побольше делай! Прежде со стариками совет держи, а потом прыть свою выказывай. Ерши! Поперед шипа не заскакивай! Цапнет!

— С хвоста возьмет, не проглотит. Колючий,— шутливо отвечали ребята.

Через год артель «Соревнование» приобрела моторный бот, увеличила улов рыбы и заняла первое место на всем побережье. Для всех было очевидно, что эта артель получит первую премию конкурса-эстафеты.

Но «Голос рыбака» внушал Кондогуру опасения. Газета рассказывала о новых успехах артели «Бронзовая Коса», предполагала, что бронзокосцы могут в числе первых прийти к финишу, если не ослабят взятых темпов.

...Оторвав взгляд от моря, Кондогур вздохнул, взял газету, лежавшую на завалинке. Подсыпал табаку в трубку, раскурил и вытолкнул с дымом:

— Бабка! Кличу тебя!

Из хижины вышла старуха с очками на лбу, всплеснула руками:

— Опять за рыбу гро́ши! Да ты уже сам грамоте знаешь.

— Читай. У тебя ловчее выходит.

— О чем тебе?

— О том же...

— И что за шалый человек...

Она развернула газету и медленно прочла:

— ...«Выбрав улов, рыбаки тут же, на баркасах, просушивают сети. Моторное судно доставляет рыбу на берег и, вернувшись к постам с провизией и пресной водой, сейчас же принимает новый груз. За этот промежуток времени сети вполне успевают просохнуть и их вновь устанавливают на водоемах. Бронзокосцы показали, каких невиданных результатов можно достигнуть при конвейерной системе. На сегодняшний день артель

«Бронзовая Коса» имеет 188 процентов выполнения сентябрьского задания. 102 процента артель отдает на покрытие недодачи в весеннюю и летнюю путины. Комсомольская бригада заверяет, что к концу конкурса они перекроют осеннее задание».

— Хе-хе!— прервал Кондогур.— И там комсомол наперед забегает. Ерши! Давай дальше.

— «...Нельзя не отметить еще один интересный факт: по инициативе местной парторганизации открыта для рыбаков столовая и навсегда похоронен «котел», который расхищал ежедневно по нескольку центнеров рыбы. При повальном обыске у рыбаков было обнаружено сорок бочонков засоленной рыбы и семьдесят центнеров вяленой. Теперь весь улов поступает на пункт сполна. Белуга».

— Белуга? — переспросил Кондогур.

— Бе-лу-га...

— Хватит, — он махнул рукой и встал. — Хе!.. Белуга и комсомолия... Так это что же выходит: у нас девяносто шесть процентов, а у них восемьдесят шесть? Десять шагов всего? На пятки думают наступить? А ежели оступятся?..

Обернулся, но старухи уже не было. Крепко сжал в руке газету, погрозил:

— Ладно, поглядим! Белуга или... шип? — и крикнул в дверь: — Бабка! Приготовь харчишки! Пойду ребят спугну к берегу!

— Не дури, шалый! Обед готов!

— Кушай сама. Некогда. Море кличет!..

Пять суток пробыл в море Кондогур. Метод лова бронзокосцев пришелся ему по душе. Он грузил весь улов на моторный бот, отправлял на пункт, следил за просушкой сетей и установкой перетяг. На шестые сутки вернулся на берег. Не так по жене заскучал, как по газетам. Войдя в хижину, не раздеваясь, опустился на скамейку. Старуха разогрела суп, подала на стол.

— Ну, грейся, непоседа. Что ж это ты и про дом забыл? Раздевайся да к столу.

Кондогур взял с подоконника газеты, перелистал их и сказал:

— Читай по дням.

— Лопай прежде! — рассердилась старуха. — Извел. Иссушил ты меня... Не буду...

— Читай, бабка. Лопать не могу. Интерес в горле торчит, прошиби его. Сводки, сводки одни почитай.

Зная его упрямство, старуха уступила. Последнюю сводку Кондогур попросил прочесть еще раз.

— Верно? Верно, бабка? — И вскочил, роняя изо рта труб-

ку. — Хе-хе! На двадцать шагов отстали? Упыхались? Вот и поглядим: белуга или шип? Хе-хе-хе! Ерши!

Кондогур схватил со стола нарезанные куски хлеба, рассовал их по карманам и, не обращая внимания на вопли старухи, кинулся к двери.

— Некогда, люба моя! Море кличет...

XXX

Слушая Павла, Краснов, прежде чем ответить ему, переглянулся с рыбаками. Те отрицательно качали головами. Краснов взял Павла за руку, хлопнул по плечу.

— Нет, родимый, не резонно так. Атаманом был, слушались тебя, а теперь... Из артели мы не пойдем...

— А мне больно, — Павел ударил себя в грудь. — Бо-оль-но!

— За что?

— За все. И стыдно... Думал, по-хорошему будет, ан видишь, куда погнуло?...

Он допил водку и бросил на стол червонец.

— Еще литру.

— Хватит, — запротестовал Краснов. — Ныне в море идем.

— Ли-и-и-итру! Для своих крови не пожалею!...

— Ну, ладно глотку рвать. Федька! Скачи!

Рыбак взял деньги и шмыгнул в дверь, пробормотав:

— Батина кровушка. Батина...

Павел встал, прошелся по комнате и, подбоченясь, топнул два раза ногой:

— Э-э-х... Егорова бы сюда!

— Да батьку... — вставил кто-то.

— Да, баян бы... — не расслышал Павел. — Э-эх, ударил бы я!..—Он помотал головой, криво улыбнулся.—Ныне чуть-чуть не пошел плясать... Прохожу это мимо клуба, а там музыка. Глядь в двери, а на сцене Сашка Анку...— он заскрипел зубами,— шлюху обучает... Так я ногу за ногу, креплюсь... Стою на месте... А на руки удержу нет, свербят. Ткнул кулаками в стенку, почесал об кирпичи и... Э-эх!

Павел грохнулся на скамейку, уперся головой в стол. Посидел так, потом поднял на рыбаков пьяные глаза.

— Вот... Не досказал я... Разве ж порядок это? Пор-р-рядок? Последнюю рыбешку, что на черный день припасли, отобрали. Разве не больно? Не стыдно мне теперь? Смутил я вас... С до-

роги сбил... Бывало-то... как птицы вольные. Эх, ребята! Ватага моя верная! Двинем опять сами?..

Рыбаки молчали. Стиснув в пальцах медную кружку, Павел взглянул на Краснова, хрустнул зубами.

— Стало быть, не люб я вам больше? И словом не уважите?

— Уважить-то мы тебя уважим, Павлушка, — ответил Краснов. — Но к чему свою речь клонишь? Работа у нас наладилась, и заработок славный. «Котел» ликвидировали, столовка кормит. Кооператив и порты, и рубахи натянул на нас. А тут наперегонки пустились с другими артелями. Гляди, наперед всех забегём, вот и премию получай. Словом, дела на лад пошли. К чему же ты нас клонишь?

— Вот как?— прошептал Павел, задыхаясь от гнева.— Вот как? — и закричал:— К черту!

Ударившись об стол, кружка отскочила к окну и вылетела во двор вместе с осколками стекол.

— Пашка!— вскипел Краснов.— Уважать-то я тебя уважаю, но за разбой в моем курене в шею вытолкаю!

Павел повернулся, шагнул к порогу и ударом ноги сорвал со щеколды дверь.

— Куда ты? А я с водочкой вернулся...

— Жрите! Не жалко,— он грубо толкнул рыбака и вышел.

Земля была шаткой, уплывала из-под ног. Павел свернул на другую улицу, повернул на третью, потом остановился.

— У-у, черт! Вчера были ровные, а ныне... туды-сюды...

Возле двора Панюхая его закачало и кинуло на ворота. Анка рубила во дворе хворост. Увидев Павла, бросила топор, сердито крикнула:

— Ворота повалишь! Чего повис? Бугай!

Скрипя пересохшей лозовой вязью, ворота под тяжестью его тела подались, и Павел, шатаясь, двинулся к Анке.

— Напоследок к тебе...

— Зачем?

— Знать, с Сашкой снюхалась?

— Ты пьян, скотина... Уходи! Вон с моих глаз!

— Знать, понапрасну я людей смутил? В артельное ярмо пхнул?

— Ага! Так вот почему ты в артель хотел?!

— Знать, чужак я тебе?— Павел шевельнул желваками.— Отца для тебя сгубил... Людей смутил и... чужак?

Оттолкнул Анку, поднял с земли топор и устремился к морю. Она догнала его на берегу, уцепилась за пояс.

— Что затеваешь?

— Остань, шлюха! — рванулся он.— Увидишь, когда «Ворон» под буруны ляжет.

— Не дам топить баркас! Не дам!

— Мое...— Павел захлебнулся ядовитым смехом.— Мое добро не дашь?

— Все равно не позволю!

Павел прыгнул в подчалок.

— Арестую! Вылазь на берег!

Павел обернулся и увидел в ее руке браунинг.

— Не смей! Вылазь!

— Вот как? — Он посмотрел на топор, швырнул его в море и, вернувшись на берег, пробормотал с угрозой:— Ладно...

— Идем в совет, там разберемся.

— Сам дорогу найду, — и пошел берегом.

Анка окликала его, но он, не оборачиваясь, ускорял шаг.

— Остановись! — Она выстрелила вверх.

Павел оглянулся, погрозил ей кулаком и пустился бежать. Из-под опрокинутого баркаса поднялся рыбак, осмотрелся, пересек ему дорогу. Павел ударил рыбака в грудь, опрокинул на песок, но тот, поднявшись, бросился вдогонку.

Это был Григорий. Настигнув Павла, он схватил его:

— Пашка... Значит, так свою кровь по капельке отдаешь?... Значит, так благодарствуешь меня?.. Забыл, когда с бумажкой приходил? Забыл?

— Не трожь! — Павел рванулся и отскочил в сторону.

— Эх, ты!.. Ворон чернокрылый... Лети! Держать не будем...

Павел взобрался на обрыв, снял винцараду, перекинул через плечо и скрылся по направлению к городу.

В последние дни автомашины рыбтреста стали приходить на Косу через день. Перегрузка задерживала. На всех пунктах были огромные уловы, и машины не успевали вовремя забирать рыбу. Представитель треста на общем собрании артели предложил завербовать в близлежащем селе крестьянские подводы. Комсомольцы внесли свое предложение: перевести на эти дни молодежные бригады ближе к городу и весь улов доставлять прямо на трестовский городской пункт. Незачем будет расходоваться на наем подвод.

Артель единодушно согласилась, и комсомольцы отправились к городским водоемам. Евгенушка выехала тоже, занятия в школе она на неделю поручила Душину. Не удержалась и Анка. Оставила дочку на Панюхая.

— Да как же я с ней? — протестовал Панюхай. — Чем кормить буду?

— Молоком из соски. А допекать будет, Марфуньке снесешь, она грудью покормит.

— А ежели согласу не даст?

— Дала. Я с ней договорилась.

— Эх, зря... — ворчал Панюхай, покачивая подвесную люльку.

Первая ночь прошла спокойно, а вторую Панюхай провел на ногах, не прилег ни на минуту. Мусоля кулачками розовые губы и суча ножками, девочка заливалась пронзительным криком. Панюхай давал ей соску, чмокал губами, слегка щекотал пальцем, смеялся, брал на руки, но ничто не помогало. На рассвете старик укутал ребенка в одеяло и отправился к Марфуньке. Та, охая, лежала в постели, прикладывая ко лбу примочки.

— В горячке, что ли?

— Ох... Недуг накрывает.

— Зря...

Панюхай потоптался у порога и пошел обратно. У своих ворот остановился, оглянулся. На перекрестке показалась женщина и скрылась за углом. Панюхай окликнул ее и пустился вдогонку; останавливался, подбирал сползавшее одеяльце и снова бежал.

— Эй, баба! Погоди!

На углу перевел дух, сплюнул:

— Смылась, дьявол.

— От чего так горько, что плюешься? — окликнула его грудастая женщина, выходя из калитки.

Панюхай бросился к ней и выпалил:

— Живо сказывай: титьки добрые у тебя?

Женщина откинула голову и, обхватив руками живот, разразилась хохотом.

— Да ты что? Про молодость помянул, а?

— Дура баба! Дитю надобно! На! Угомони его!

— Ох, уморил...— Ее тело все еще колыхалось от смеха. Успокоившись, она взяла ребенка, расстегнула кофточку.

— Отворотись, старый хрен.

— Ну, ну... Зря ты... Зря... — Панюхай покорно отошел и присел под стенку палисадника, сердито проворчав: — От-во-ро-тись... Не таковские титьки видали мы...

XXXI

Моторный бот «Соревнование» неуклюже рылся тупым носом в бурунах, разглаживая их широкой кормой. Вокруг бота подпрыгивали баркасы, заскакивали вперед, оставляя его далеко по-

зади. Кондогур махал шляпой, и баркасы, кренясь, заворачивали и возвращались к боту.

Показавшийся вдали «Комсомолец» быстро сокращал лежавшее между ними расстояние, ведя на буксире восемь баркасов. Кондогур поглядывал на приближавшееся судно, без нужды ковырял гвоздем в трубке, торопил моториста:

— Эй, машинист! Прибавь ходу!

— И так всем духом идем!

Настигая бот, Сашка дал команду, и «Комсомолец», занеся кормой, прошел почти вплотную мимо него. Кондогур соскочил с чердака, перегнулся через борт.

— А-а-а, бронзокосцы! Злые рыбалки! Куда путь-дороженька лежит?

— К городу! — ответил Дубов. — А что?

— Так спросил. Без интересу... Чтой-то промеж вас не вижу того парня, что дважды спасал я...

— К батьке сплыл! — махнула рукой Анка. — Руль отбило полосой!

— Как?

— А так и запарусил! Кровь родимая покликала!

— Хе-хе... Жалко. Здо-о-о-ровый парень. Хоть против бури ставь.

— А вы куда путь держите? — спросил Сашка.

— Куда ветер понесет. Гуляем!

Сидевший у руля парень засмеялся:

— Разве невдомек? Туда же, куда и вы. Из газеты узнал про вашу затею, ну, и понравилась она ему...

— Ляскай!—прервал его Кондогур.—Руль бы крепче держал.

Над «Комсомольцем» вскинулась задорная песня. Баркасы бронзокосцев заскользили мимо бота. С последнего Кондогуру улыбнулся Зотов, кутая в винцараду голубоглазую девушку.

— Давай канат, деда! Цепляй свою черепаху! Довезем! А то к сроку до места не доползешь!

— Наша черепаха вашего скакуна на двадцать шагов обогнала! Известно тебе, а? Хе-хе-е! Ерши! — И Кондогур опять бросился к мотористу: — Нельзя ли духу прибавить?

— Во весь идем.

— Ладно. Слышал... — сердито буркнул старик.

Кумураевцы все время держались в километре от бронзокосцев. «Комсомолец» и «Соревнование», доставляя улов на городской пункт, часто встречались в порту и по пути в море. И если бот уходил с поста раньше на час-два, «Комсомолец» обгонял его, сдавал рыбу и, возвращаясь в море, снова приветствовал Кондо-

гура за маяком или при входе в порт. На веселые окрики молодежи Кондогур не отвечал, посасывал трубку и заволакивал лицо дымом. А когда «Комсомолец» удалился, он пробормотал.

— Ерши... Поглядим, как вы на пятки наступите...

Последняя неделя эстафеты была на исходе. Рыбаки, забывая о пище и отдыхе, не прерывали работ, ставили сети полусырыми: некогда было просушивать. Всех охватила конкурсная лихорадка. Старались выкачать из моря побольше рыбы, первыми прийти к финишу.

Кондогур подбадривал своих:

— Бронзокосцы спокон веков позади всех были. А теперь видите, какую прыть взяли? Наперед заскочить норовят. Не сдавай. А то... хоть в море головой со стыда. Жарьте до упаду. Не посрамите Кумушкин Рай...

Разбитый усталостью, он валко ходил по палубе, садился на чердак, растирал простуженные еще в молодости ноги.

В предпоследний день конкурса в город прибыл Жуков. Он предложил комсомольцам сняться с городских водоемов и вернуться на Косу.

Ребята запротестовали:

— Еще денек.

— Рыбы много. Жалко терять.

— Нельзя. Послезавтра к нам приезжают делегаты от артелей и конкурсная комиссия. Премии будут присуждаться на Косе. Вы должны быть на этом празднике.

— Читали. Знаем.

— Эх,те-е... Так мы можем двух зайцев убить. Завтра черпанем еще малость, а в ночь выйдем на Косу. К утру поспеем.

Жуков согласился.

На второй день «Комсомолец» отправился в последний рейс к рыболовецким постам. Встречный ветер гнал высокие буруны; над взморьем всплыли свинцовые тучи, заполоводили небо. Сашка, глядя на белые гребешки волн, досадливо щелкнул пальцами.

— Не к добру запрыгали барашки. Надо полный ход дать.

На полпути повстречался бот. Он шел весело, подгоняемый ветром, и видно было, как Кондогур удовлетворенно поглаживал бороду. Когда поравнялись, Сашка тревожно спросил:

— А где же баркасы?

— На месте, — спокойно ответил Кондогур.

— Как?... Ведь море бурей грозится.

— Мы не ерши. Для шипов это только ветерок в освежение. Пройдет. Еще раз вернуться успеем и к вам на Косу пожалуем к сроку. Нас не запугаешь ...

Чувствуя приближение опасности, ребята выбрали улов, поломали перетяги. Снялись и кумураевцы, присоединились к бронзокосцам. Не успел «Комсомолец» подойти, как хлынул дождь, вокруг потемнело. Рыбаки опустили паруса, бросились к веслам. Но высокие волны выбивали весла из рук, кружили баркасы на месте. «Комсомолец» скользнул между баркасами, и с его палубы раздалась команда Сашки:

— Ребята! Даешь на буксир! Цепляй, мигом дело! И кумураевцев тоже! Живо-о-о! — Он бросил рыбакам бечевку. — Вяжи! Подавай канат другим!..

С баркаса на баркас метнулись веревки, зазвенели железные кольца, и вскоре ветер донес до Сашки обрывки слов:

— ... то-о-ов-о!.. ро-гай!..

Сашка выровнял баркасы и дал полный ход.

Веревки то натягивались, то погружались в воду, и баркасы, подталкиваемые волнами, бились друг о друга.

— Шибче! Шибче!

— Перекинет! Эй! — кричали рыбаки.

Не уменьшая скорости, «Комсомолец» шел на парусах и на моторе. Город заметно плыл навстречу, уже виднелся маяк. Зоркий глаз Евгенушки вдруг наткнулся на чернеющее впереди пятно. По мере их приближения оно увеличивалось, превращаясь в темно-серый шар. Евгенушка всплеснула руками:

— Бот!

— Кумураевский бот за бугор зацепился! — закричали одновременно и на баркасах. — На помощь кличут!

— Сашка! — кинулась Анка. — Бот на мели!

— Эх... И как его угораздило?

Сашка секунду подумал, измерил взглядом расстояние до города и скомандовал:

— Расцепляйся! Ставь паруса и крой без опаски. Берег близко, рукой подать! Люди погибают!

И опять зазвенели кольца, заметались веревки. Рыбаки стали на полпаруса, и баркасы стремительно понесло к берегу. Сашка ободряюще крикнул рыбакам:

— Не робей! Никакая буря не догонит!

...Вскипая и пенясь, глухо стонало море. Волны ныряли под киль, поднимали корму, сотрясали бот. Уцепившись за мачту, Кондогур раскачивался из стороны в сторону, видимо что-то кричал, но голос его тонул в шуме и грохоте моря. Ветер сорвал с его головы шляпу, швырнул в воду и рассыпал по лицу бороду.

— Принима-а-ай! — Сашка бросил канат. — Крепи!

— Есть крепи! — отозвались с бота.

Сашка перевел мотор на большую скорость, но бот не сдвинулся с места. Попробовал второй раз, третий — и плюнул.

— Хоть взорви, не возьмешь так! Много груза у вас?

— Пудов полтораста!

— Придется на себя взять! Ну, братва, налегай!

«Комсомолец» медленно приблизился к боту кормой, не выключая мотора, скрепился канатами. Ребята сняли с себя винцарады, — корзин не было, — и, рискуя быть сброшенными в море, начали перетаскивать в них рыбу на «Комсомолец». Сашка дежурил у мотора, следил за работой.

— Черпай, братва! Мигом дело, черпай!

Волны остервенело хлестали по палубе холодными брызгами. Кондогур, глядя, как промокшие насквозь ребята, скользя и падая, ползком тащили к трюму рыбу, шептал про себя:

— Вот как?.. Подножка старикам?.. Подножка?..

Анка уронила в трюм винцараду с рыбой, обхватила грудь и безмолвно рухнула к ногам Сашки. Тот приподнял ее за плечи:

— Что ты? Анка?

— Ничего... Качнуло...

— Никак заболела?

— Немного муторно... Ничего... Пройдет.

В это время закричали с бота:

— Готово! Давай!

— Евгенушка! Пригляди за Анкой... Плохо ей. Дубов! Отпускай веревку! Даю вперед!

— Давай!

— Передай на бот, чтобы там включили мотор!

— Есть включить мотор!

Сашка ласково пошлепал по мотору:

— Ну, дружок, вывози!..

«Комсомолец» дернул канат, на секунду ослабил его, снова натянул, вздрогнул, закачался.

— Вывози, милый! Вызволяй!

И сейчас же послышалось громкое, торжествующее:

— А-а-а-а!..

Сашка оглянулся и увидел, как бот шел кормой. Он выключил мотор, и на боте перенесли канат на носовую часть, махнули: «Давай!»

Шли на два мотора и на три паруса. Быстро миновали маяк, черной лентой прополз длинный мол; вошли в порт. И только бросили якоря, как с моря налетел ураган.

Теснимая морем, река Кальмиус, вздулась ощетинилась зыбью и потекла вверх.

— Ушли... — Кондогур облегченно вздохнул и полез в карман за трубкой.

Сашка привел Анку в контору портового управления и вызвал врача. Врач осмотрел ее, покачал головой.

— Сколько ребенку?

— Месяц.

— Как же вы решились оставить его? У вас нарывы в грудях. Перегорает молоко. Вы теперь не сможете кормить.

— Как?.. Никогда? — испугалась Анка.

— До новых родов.

Она облегченно вздохнула.

У двери Сашка задержал врача, несмело спросил:

— Не опасно?

— Нет. На ногах перенесет. Болезнь не страшная, но неприятная.— И добавил с укоризной:— Беда с вами. Вот видишь, до чего девку довел? А, небось, любишь ее и мужем зовешься!

XXXII

Качая на руках ребенка, Панюхай ни на шаг не отставал от Кострюкова.

— Как же наши?

Кострюков неохотно отвечал:

— Не знаю. Послал Жукова, и тот будто в воду канул.

— Может, беда случилась, а? Ведь буря какая пронеслась.

— Подождем до утра. Оно смекалистей ночи.

Но и утро не принесло ничего определенного.

Члены комиссии предложили Кострюкову начать торжество.

— Но у нас не полные сведения. Подождем еще, — отвечал он, думая: «Какое там торжество, когда люди, может быть...»

— Мы знаем, что ваша артель и «Соревнование» идут впереди. Последние сводки покажут, кто первый пришел к финишу, а пока мы распределим менее ценные премии между остальными артелями. Зачем же время терять?

Доводы были убедительные, и Кострюков согласился.

Выступали представители партийных и общественных организаций. Они отмечали проявленные рыбаками героизм, самоотверженность и большевистскую сноровку в борьбе за путину. Каждый из ораторов старался придать своей речи парадную торжественность, но праздничной обстановки не чувствовалось. Бронзокосцы часто выходили курить, вполголоса переговаривались.

Все премии, кроме первых двух, были распределены между артелями, и делать стало вроде бы нечего.

В это время в клуб вбежал забрызганный грязью парень, на минуту задержался у дверей.

— Товарищи! — обратился к рыбакам председатель конкурсной комиссии. — Как же дальше быть? — и, опустив голову, начал перелистывать лежащие на столе бумаги.

По залу гулко протопали сапоги — парень приблизился к сцене.

— Кто из вас Кострюков?

— Я.

— Получите.

Кострюков пробежал записку и радостно заулыбался.

— Товарищи! Едут наши! Слушайте. «Товарищ Кострюков! Чтобы вы не тревожились, посылаю нарочным записку. Сообщаю: все в порядке, «Комсомолец» вывел из шторма баркасы кумураевцев и спас их бот, севший на мель. Он принял на себя его груз и доставил бот на буксире в порт. Наш улов за эту неделю следующий: одна тысяча триста два центнера. Кумураевцы дали семьсот девяносто девять центнеров. Море улеглось. Выходим на Косу. Надеемся быть часам к десяти.

Жуков».

Кострюков передал записку комиссии.

— Вот вам и сводка. Установите, на сколько процентов выполнен план.

Бронзокосцы заволновались:

— А где же они?

— Ведь теперь, почитай, двенадцатый час!

Отдышавшись, парень провел ладонью по лицу, ответил:

— Идут. Я тоже запоздал. На полдороге конь поломал ногу. Сдал его для присмотра на Буграх и ударился пешком. Ну, пока дотащился по грязи до вашего хутора, гляжу — идут...

...Доведенный до отчаяния плачущим младенцем, Панюхай ежедневно выходил к обрыву, тоскующими глазами молил безответное море вернуть ему дочь. Потом возвращался в хутор, ловил на улицах женщин, просил покормить ребенка.

Заметив на горизонте моторные суда и баркасы, он поспешил в клуб известить рыбаков, но, пройдя немного, раздумал и вернулся к морю, будто боясь потерять из виду баркасы. Так и простоял одиноко над обрывом, пока прибывшие не сошли с подчалков на берег.

С ними были Жуков и Кондогур.

— Почему не встречают? — изумился Жуков. — Даже женщин и детей нет.

Но Панюхай не слышал его, он пробирался к Анке.

— Что же ты, чебак не курица, петлю мне на шею? Анка!..

Анка подобрала одеяло, завернула ребенка и, не глядя отцу в глаза, смущенно спросила:

— Молоко принимала?

— Плохо. Твоего требует...

— Ладно. Привыкнет.

Сашка потянул Анку за руку:

— Идем. Ну, ребята! Запевай!

Панюхай и Кондогур молча переглянулись и пошли следом за молодежью. По дороге разговорились, придя в клуб, сели рядом.

Рыбаков встретили шумно. Все вскочили с мест, захлопали. Сашка бросился на сцену, сел за пианино и заиграл туш. Анка обратилась к первой попавшейся женщине, шепнула ей на ухо:

— Молоко есть? Покорми.

— А сама?

— У меня перегорело. Возьми скорей. Кострюков зовет.

— Эк, скаженная, — проворчала женщина, давая ребенку грудь.

— Товарищи! — начал председатель конкурсной комиссии. — У нас осталось еще две премии для двух артелей. Возьмем «Соревнование». Эта артель в течение прошлого года шла впереди всех. И теперь она выполнила правительственное задание на сто девять процентов...

В зале зашептались. Он выждал, пока шум улегся, и продолжал:

— Конкурсная комиссия постановила: премировать артель «Соревнование» постройкой рыбницы, столовой и клуба!

— Это не все! — заявил представитель райрыбаксоюза. — Кондогуру семьдесят лет. Но он круглый год работает наравне с молодыми, берет на буксир отстающих, перевыполняет планы. Учитывая его заслуги перед республикой, рыбаксоюз послал свое ходатайство в центр о присвоении ему звания Героя Труда!

— Го-го-о-о!

— Давай его сюда!

— На сцену! На сцену!

Подталкиваемый Панюхаем, Кондогур вышел вперед, взглянул на ревущую толпу и, отмахнувшись, вернулся на место. Позади него долго кричали рыбаки, требовали на сцену. Панюхай сердито проворчал:

— Зря упрямишься. Нехорошо. Кличут — иди.

Не поднимая головы, Кондогур ответил:

— Я-то при чем? Всей артелью трудились...

Председатель позвонил.

— Тише! Перехожу к артели «Бронзовая Коса». Эта артель, товарищи, самая молодая. Организована она в этом году. До нынешней осени бронзокосцы работали плохо, срывали путины. Но теперь они достигли прекрасных успехов. Результаты налицо: план выполнен на двести двадцать девять процентов. Сто два процента они скостили на покрытие недобора весной и летом, и все же на сегодняшний день имеют сто двадцать семь! То есть, на восемнадцать процентов больше кумураевцев.

— Как? — вскинул голову Кондогур. — Разве не мы?..

— Тише! Дайте кончить!..

— Так вот. Если взять только сто двадцать семь процентов, то все же бронзокосцы обогнали кумураевцев и пришли к финишу на восемнадцать секунд раньше! Комиссия... комиссия... Да тише же!

— А ты покороче!

— Давай!

— Так вот. Комиссия постановила: премировать бронзокосцев постройкой рыбницы, новой столовой, клуба и школы! — и он первый зааплодировал. — Ура комсомолу!

— Ур-а-а! — загудел зал.

Топоча ногами, махая руками и шляпами, рыбаки настойчиво требовали:

— Даешь комсомольцев!

— На сцену их!

— На показ давай!

На сцену поднялись и построились в две шеренги комсомольско-молодежные бригады. Представитель райкома комсомола сунул в руки Анке древко, снял чехол, и над головами молодежи заревом полыхнуло знамя, окаймленное золотистой бахромой.

— Районнный комитет комсомола поручил мне передать это знамя лучшему комсомольско-молодежному коллективу передовой рыболовецкой артели! Товарищи! Крепко держите знамя, не сдавайте взятых темпов, всеми силами боритесь за большевистские путины!

Из первой шеренги выступил Дубов.

— Эту честь мы разделяем с нашими стариками. Под этим знаменем всей артелью будем бороться за перевыполнение правительственных планов!

И снова в зале загрохотали сапогами, заскрипели скамейками, замахали шляпами.

В первом ряду молча встал Кондогур, взошел на сцену, повернулся, — но не сказал ни слова. Постояв, решительно шагнул к Евгенушке, — она стояла крайней, — схватил ее за руку и, притянув к себе, поцеловал в голову.

— Знать... подножку...— проговорил он взволнованно,— ...подножку старикам?..

— Что вы, дедушка!— Евгенушка пожала ему руку.

Жуков переглянулся с Кострюковым, встал.

— Товарищи! Первому Герою Труда на нашем побережье — ура! Качать его!

— Кача-а-ать!

Комсомольцы подхватили Кондогура, раскачали и бросили со сцены на руки подбежавшим рыбакам.

Кондогур зажмурился...

— Ура Герою Труда!— гремели рыбаки, подбрасывая его все выше под аплодисменты всего зала.

Тронутый до глубины души, старик прослезился. Возле него суетился Панюхай, заглядывая в глаза, спрашивал:

— Обиделся, что ли?.. Зря... Не надо... Эти ерши хоть кого допекут. За ними не угонишься. Резвые!

— Вижу, — улыбнулся Кондогур. — Ерши! С хвоста не бери... не проглотишь. — Он на минуту задумался, потом поднялся, сказал твердо:— Ничего, старина!— и похлопал Панюхая по плечу. — Мы с ними еще потягаемся...

Синие сумерки заволакивали море. Гости разъезжались. Кондогур не расставался с Панюхаем, на прощанье обнял его.

— По сердцу пришелся ты мне. Славный человек, сердечный. Но — потягаемся. Поглядим еще, чья возьмет.

— Ваша ли, наша ли возьмет, а радость будет общая, — вставил Жуков.

Взобравшись на бот, Кондогур крикнул:

— Так мы еще поглядим, чья возьмет! Без обиды говорю.

И пока не скрылся в сумерках бот, видно было, как старик, стоя у руля, помахивал широкополой шляпой...

Волны вперегонки бежали к Косе и, бросаясь на берег, шелестели песком:

— Ч-ш-ш-шья возьмет... Ч-ш-ш-шья возьмет...

КНИГА ВТОРАЯ



Шторм

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Небольшой старенький пароход «Тамань», курсирующий между Керчью и Ростовом, вышел из Мариупольского порта в открытое море и взял курс на Бронзовую Косу.

«Тамань» сопровождали белокрылые чайки. С жалобными воплями они кружили над пароходом, покачиваясь в прозрачном воздухе. Пассажиры с любопытством наблюдали за легким полетом птиц, бросали за борт кусочки хлеба. Чайки стремительно падали на воду, подхватывали смоченный в соленой воде хлеб и снова взмывали вверх, почти касаясь верхушек мачт.

На мостике стоял капитан «Тамани» Лебзяк, высокий, сухощавый мужчина лет пятидесяти, в ослепительно белом кителе и черных на выпуск брюках. На форменной морской фуражке золотом отсвечивал распластавшийся краб.

Много лет плавал Сергей Васильевич Лебзяк на «Тамани». Рыбаки и жители портовых городов Приазовья хорошо знали

приветливого, добродушного капитана. Проходя мимо рыбацких флотилий, Лебзяк обязательно обнажит голову, помашет фуражкой. В ответ на его приветствие над моторными судами и парусными баркасами замельтешат широкополые шляпы рыбаков...

Не раз в Управлении Азово-Черноморского пароходства предлагали Лебзяку должность помощника капитана одного из больших черноморских теплоходов. Сергей Васильевич упорно отказывался:

— Не могу, свыкся я с «Таманью», как с живым существом. Покину борт парохода только тогда, когда старушка отслужит свой срок...

...Потянуло свежим ветерком, море покрылось «барашками». На мостик взошел помощник капитана. Разрезая форштевнем встречные волны, «Тамань» шла полным ходом. Вдали показалась кильватерная колонна рыболовецкой флотилии.

— Бронзокосцы? — спросил Лебзяк помощника.

— Надо полагать, они. Идут на глубинный лов, осетра и белугу брать.

Капитан потянул за шнур, и морской простор огласился мощным ревом сирены. На судах флотилии рыбаки замахали шляпами.

— Узнали старушку,— довольно улыбнулся в усы капитан.

— Моряк моряка видит издалека,— отозвался помощник.

Жуков, сладко спавший в каюте, услышал сквозь сон рев сирены, открыл глаза и вскочил. В иллюминатор струился яркий солнечный свет. Слышно было, как за бортовой обшивкой булькала вода. Сосед Жукова лежал в постели, но не спал, читал книгу.

— Что, мы уже в пути?— спросил Жуков.

— Два часа, как в открытом море,— ответил сосед.— Подходим к Бронзовой Косе.

— Батюшки мои! Как же это я заспался?— он достал из чемодана полотенце, мыльницу, зубной порошок, щеточку и торопливо вышел из каюты.

В Мариуполь Жуков прибыл ночным поездом. Он мог бы утром выехать в район автобусом, но решил проделать этот путь морем.

«Кстати, повидаю друзей бронзокосцев, а от Косы до районного центра рукой подать»,— и Жуков отправился в порт. У причала стоял дряхлый пароходик со знакомой надписью на бортах и спасательных кругах — «Тамань». Жуков поднялся по трапу на палубу, спросил матроса, проверявшего билеты:

— Скажи, голубчик, на «Тамани» хозяином все тот же капитан Лебзяк?

— Так точно.

— А можно сейчас повидать его?

— Капитан как раз отдыхает.

— Хорошо, пускай отдыхает. Повидаемся утром...

Жуков ушел в каюту и, завалившись в постель, мгновенно погрузился в глубокий сон. Он спал так крепко, что не слыхал, как отчалили от пристани. И вот теперь, наскоро умывшись, он, прихрамывая, вышел на палубу. Яркое солнце ударило в глаза, Жуков зажмурился, прикрыл ладонями лицо. Затем повернулся спиной к солнцу, открыл глаза и улыбнулся.

— Море...

Он стоял зачарованный, любуясь легким и плавным полетом чаек, шаловливыми волнами, бежавшими навстречу пароходу; дышал полной грудью и не мог надышаться.

— Море...— повторил он, снимая с головы белую фуражку. Ветер взъерошил его серебристо-русые волосы, и светлая прядь упала на крутой лоб. Возбужденное лицо и широко открытые голубые глаза светились радостью.

Жуков направился к капитанскому мостику. Он был в хромовых сапогах, темно-синем галифе и светло-серой полувоенного покроя гимнастерке, перехваченной широким кожаным поясом. Лебзяк сразу узнал его по прихрамывающей походке, сошел с мостика и, улыбаясь, протянул навстречу обе руки:

— Андрей Андреевич!..

— Здравствуй, Сергей Васильевич,— Жуков крепко сжал его руки.

— Вот не знал, что на борту «Тамани» такой гость!

— Да я заполночь прибыл на «Тамань». Ты уже отдыхал.

— Надо было разбудить! Экий недогадливый народ!— подосадовал капитан.

— Я попросил матроса не тревожить тебя.

— Напрасно. Мы ведь не видались так давно,— вновь оживился Лебзяк.

— Да, ровно десять лет,— Жуков задумчиво окинул взглядом обрывистый берег, поросший буйной молодой травой.

— Где же ты пропадал все эти годы?

— В Якутии. Партийное поручение выполнял.

— А сейчас, значит, отдыхать в родные края?

— Хватит, два месяца отдыхал, лечился. Я теперь работаю в обкоме партии. Еду вот в Белужье на районную партконференцию. Хотел было остаться в Якутии, да здоровье не позволило.

Суровый там климат. Попросил перевести на юг, здесь чувствую себя лучше...

— А контузия все еще дает себя знать?

— С ней, видно, уже не расстанусь.— Он усмехнулся и продолжал:— Хотели было меня в отставку... на пенсию. Но не тут-то было. Руками и ногами, можно сказать, отбивался, а настоял-таки на своем. В наших пороховницах пока еще хватит пороху.

— Да а-а...— улыбнулся капитан.— Старую ленинскую гвардию не так-то легко на пенсию посадить.

Разговаривая с Лебзяком, Жуков время от времени бросал взгляд на носовую часть, где, опершись руками о поручни, стоял высокий молодой человек в новеньком коверкотовом костюме. На ногах его блестели старательно начищенные желтые полуботинки. Парень оторвался от поручней, выпрямился и небрежным движением руки сдвинул на затылок коричневую шляпу. Солнце ярко освещало его немного широкоскулое лицо, прямой с горбинкой нос, темные блестящие глаза, спадающие на лоб смоляные кольца волос, разлет бровей, как крылья ласточки. И жест и внешность молодого человека кого-то напомнили Жукову. Он перебрал в памяти всех своих знакомых.

Вдруг его осенила мысль. «Никак, Павел это?.. Белгородцев?»

— А вот и Бронзовая Коса,— прервал его мысли капитан.

— Просто трудно узнать. Будто не тот хутор!— от удивления Жуков даже пальцами прищелкнул.— Настоящий городок.

— За время твоего отсутствия большие перемены произошли на Косе.

— А то что за цистерна на бугре?— Жуков выбросил вперед руку.

— Там запасная посадочная площадка для самолета. Когда в баках самолета-разведчика бензин на исходе, а до аэродрома тянуть далеко, летчик садится на запасную площадку, наполняет баки горючим и — снова в воздух.

— Далеко шагнула техника на рыбном промысле!— глаза Жукова радостно блестели. — Моторы на воде, моторы в воздухе... не то, что прежде.

— Да, намного техника облегчила труд. А как рыбаки богато жить стали! Бронзокосский колхоз «Заветы Ильича» миллионные доходы получает!

— Вот как! — обрадовался Жуков.— Кто же руководит колхозом? Все Анка?

— Нет, Васильев.

— Григорий?

— Да.
— А что делает Анка?
— Председательствует в сельсовете.
— А Кострюков?
— Заместитель директора по политчасти моторо-рыболовецкой станции. Теперь на Косе есть МРС, к услугам рыбаков — целая флотилия.
— Вот это дело! — радовался Жуков.— Хватит на веслах да под парусом ходить. Каторжная ведь была работа. А когда же они колхоз «Бронзовая Коса» переименовали в «Заветы Ильича»?
— Давно. Вскоре после твоего отъезда.
Пароход приближался к косе.
— Ну, я пойду, пора швартоваться... — Лебзяк ушел.
Жуков тоже спустился в каюту за чемоданом. Когда он вышел на палубу, пассажиры теснились у правого борта, которым «Тамань» пришвартовывалась к причалу. Впереди всех стоял молодой человек в коверкотовом костюме, держа в одной руке шляпу, а в другой — небольшой саквояж. Он первым сошел с парохода и первым ступил на песчаный берег. Его с интересом рассматривали толпившиеся на пристани женщины и ребятишки.
— Да это никак Пашка Белгородцев? — высказал кто-то догадку.
— Пашка?... А ведь и впрямь он... Вот черт водяной... Да какой же нарядный да красивый! — защебетали рыбачки.
— И зачем его лихая година принесла?
— На погибель Анки...
— Неужели сынок атаманский объявился?— мрачно пробасил круглолицый парень, что пристально вглядывался в приезжего молодого человека блестевшими из-под белесых мохнатых бровей глазами.— Похож на Пашку, ей-богу, похож...
— А ты, Бирюк, спытай его,— подталкивала парня локтем в бок какая-то любопытная молодуха.— Ну же, спытай.
— Чего пытать, коли он и есть... Видать, богатым стал... с деньгой...— и Бирюк, оседая на левую ногу, преградил молодому человеку дорогу. —Пашка?
— Я... А что?
— Ну здоро́во.
Павел косо посмотрел на Бирюка.
— Не признаешь?
— Нет...— отрицательно качнул тот головой.
— Сына Петра Егорова позабыл?
— Харитошка?..— прищурился Павел.
— Он самый.

— Где тебя сразу признать? Ишь, здоровила какой! Сколько ж это годов тебе теперь будет?

— Двадцать третий пошел.

— Ну вот, видишь, времени-то немало утекло,— и протянул Бирюку руку.— Здоро́во!

Жуков простился с капитаном и сошел на берег. Увидев стоявшего к нему спиной Павла, замедлил шаги, остановился.

— Ты что же — в гости сюда или как?— допытывался Бирюк.

— Да вот потянуло поглядеть родные края,— ответил Павел.

— К кому пойдешь на постой?

— А мне все равно.

— Тогда давай ко мне, коли не брезгуешь,— пригласил Бирюк.

— Пошли,— согласился Павел.

Вслед им затараторили женщины:

— Подерутся беспременно.

— А с чего им драться?

— Как с чего? Ведь Пашка-то угробил Харитошкина батьку! Рыбокоптилку-то в ерике кто раскрыл да суду выдал? Он же...

— Пашка и свово батька не пожалел.

— Чудно́, право... Павел его отца в тюрьму упек, а он, Бирюк чертов, к себе на постой повел.

— Попомните мое слово, как выпьют, так Бирюк и отдубасит Пашку...

«Значит, не ошибся я. Павел и есть...» — Жуков стал медленно подыматься по тропинке.

Наверху стояла молодая женщина в белой блузке, темно-коричневой юбке и красной косынке. Жуков вспомнил, что красной косынкой любила повязываться Анка. Женщина с любопытством поглядывала на поднимавшегося вверх Жукова. И когда между ними оставалось всего несколько шагов, она всплеснула руками, бросилась навстречу.

— Андрей Андреевич!.. Боже мой!.. Смотрю — и глазам своим не верю — вы или не вы!..

— Ну, здравствуй, Анка!— Он подхватил ее протянутые руки.— Не ожидала?

— Нет, вы просто несносный человек... Десять лет ни слуху ни духу. Разве можно так?.. И теперь молчком нагрянул... Неужели нельзя было дать телеграмму?..— Она теребила его за руку, требовала:— Говорите... Все, все хочу знать... Сейчас же рас-

сказывайте. Где были? Почему не писали? Откуда, куда? В гости к нам или навсегда?

— Постой, Анка, постой... Ты погляди-ка вон туда... Видишь, кто берегом идет?

— Вижу. Бирюк и с ним какой-то франт в шляпе.

— Франт этот — Пашка Белгородцев.

Анка отшатнулась, прижав руки к груди: «Пашка?.. Неужели он?..»

— Он тебе ничего не писал?— осторожно спросил Жуков, глядя в сторону.

Анка отрицательно покачала головой.

— И ни разу не приезжал?

— Нет,— прошептала она.

— Гм... Надо полагать, что парень соскучился.

— По ком?— порывисто спросила Анка.

— По... землякам. Вот и приехал погостить.

— Да чего же мы стоим?..— опомнилась Анка.— Идемте, Андрей Андреевич...

Она потянула Жукова за собой и невольно оглянулась назад, на берег, по которому шагали Бирюк и Павел.

II

Анка и Жуков завтракали в столовой рыбного треста. Жуков время от времени окидывал взглядом чистый, опрятный зал с большими окнами, завешанными тюлевыми гардинами. На столах — белоснежные скатерти, цветы, графины с водой, бумажные салфетки. На стенах — картины в багетовых рамах. Он ел с аппетитом, похваливал уху.

— Все Акимовна наша старается. Помните ее?— спросила Анка.

— Акимовну?— переставая есть, поднял голову Жуков.

— Еще при вас во время ночного шторма погиб ее единственный сын. Неделю все выходила на берег, убивалась, сердешная, выкликала из моря своего Мишу. А муж еще раньше погиб...

— А-а-а!— грустно покачал головой Жуков.— Помню, помню...

— Ну, потом взяла себя в руки. Колхоз назначил ей пенсию, новую хату построил, а она не может усидеть дома без дела. Работает в столовой шеф-поваром. Да вот и сама она идет.

На Акимовне был белоснежный халат и такой же колпак. Улыбаясь, она подошла к Жукову.

— А я тебя, мил-человек, сразу узнала. Не забыл нас, сынок?

— Хороших людей, Акимовна, не забывают.

— Спасибо на добром слове. Насовсем к нам?

— Насовсем в Приазовье, только не на Косу.

— Давно бы так!— она ласково посмотрела на Жукова, и в ее не по годам живых серых глазах засветились веселые огоньки.— Соскучились мы тут по тебе.

— И я скучал... по людям, по морю.

— Приходи ко мне в гости. Поглядишь, как живу.

— Приду, Акимовна. Обязательно.

— Пойду на кухню, команду дам,— и она поплыла между столами, легко неся свое дородное тело.

— Боевая старуха!— Жуков уважительно посмотрел вслед Акимовне.

— Говорит, до ста лет доживу. В такой счастливый век, говорит, нам запретно прежде времени помирать,— засмеялась Анка, поднимаясь со стула.— Идемте, Андрей Андреевич.

Они вышли на широкую залитую ярким солнцем улицу. Вдали серебрились и вспыхивали солнечными бликами волны, за горбатиной моря виднелась густо дымившая труба уходившей к Ейску «Тамани».

— Жаль,— вздохнул Жуков,— все бронзокосцы в море...

— Еще повидаетесь. Они завтра должны вернуться,— сказала Анка.— На медпункт зайдем?

— Непременно. Надо же повидаться с Душиным.

Домик, в котором помещался медпункт, состоял из трех комнат. Первая служила приемной. Тут стояли два шкафа: один — застекленный, с медицинскими инструментами, другой — аптечный; стол, табуретки и узкий диван, покрытый белой клеенкой, дополняли обстановку. Во второй комнате стояли две койки. В третьей, имевшей отдельный вход, жил фельдшер Душин.

Душин встретил нежданного гостя очень радушно:

— Ба, Жуков! Сколько лет, сколько зим! — воскликнул он.— Да откуда ты? Уж не с неба ли свалился? Ох, и рад же я видеть тебя! Ей-богу, рад!..

Он тут же принялся показывать Жукову свое скромное хозяйство.

— Ну, как... Нравится?

— Нравится. А чьи же это руки наводят здесь такую идеальную чистоту? Уж не женился ли ты, часом, Кирилл Филиппович?

— Угадали,— улыбнулась Анка.— Но только его жена работает в библиотеке при Доме культуры, а тут в помощницах Душина состоит жена Григория Васильева.

— Вот как?.. И Васильев, значит, женился?

— Да. Наконец-то распрощался с холостяцкой жизнью.

— Где же он нашел такую чистеху?

— С того берега привез. Ездил с делегацией в поселок Кумушкин Рай проверять, как выполняет тамошний колхоз социалистические обязательства. Ну, Кондогур и сосватал ему одну вдовушку. И совпадение-то какое: ее тоже, как и покойную, зовут Дарьей.

Жуков слушал, глядя куда-то мимо Душина, а когда тот закончил историю женитьбы Григория, сдержанно спросил:

— А живут как? В ладах?

— Дружно живут. Григорий пить еще тогда бросил.

— А Кострюков?

— Тот — закоренелый холостяк,— Анка безнадежно махнула рукой.

— Да-а...— протянул задумчиво Жуков и посмотрел в окно. Над морем на небольшой высоте кружил самолет. «Разведчик, наверно»,— подумал Жуков.— Кострюков был крепко привязан к своей жене,— обернулся он к Анке.— Такие люди, как он, могут любить по-настоящему только один раз в жизни...

И весело взглянул на Душина.

— А как же это ты, Филиппович, не предусмотрел в своем медицинском учреждении родильное отделение? Ведь в былые времена ты здесь светилом считался по акушерской части...

Душин смущенно опустил глаза.

— Или Кострюков не разрешил?— лукаво сощурился Жуков.

— А что мне Кострюков?— застенчиво улыбнулся Душин, теребя пальцами тесемки на рукаве белого халата.— Я теперь не под его началом. А рожениц мы отправляем в районный родильный дом.

У Душина зарделось скуластое, с выдающейся вперед нижней челюстью лицо. Жуков положил на его плечо руку, примирительно сказал:

— Иногда, Филиппович, приятно и былое вспомнить.

— Безусловно, Андреевич. Что ж, было время, когда приходилось поневоле совмещать работу секретаря сельсовета с обязанностями повивальной бабки. Ох, и доставалось мне от Кострюкова! А женщины благодарили.

— Он, Андреевич, и мою Валюшку принимал,— сказала Анка.

— Помню, как же,— добродушно засмеялся Жуков.

Жуков и Анка вышли на улицу. Навстречу торопливо шагала невысокая чернобровая, румянолицая женщина. Кинув на Анку и Жукова беглый взгляд, она бойко проговорила на ходу:

— Доброго здоровьичка!

— Здравствуй, Дарьюшка! На медпункт?

— А куда ж еще? Мой-то в море, дома одной скучно.— Голос у нее был певучий и мягкий, походка легкая, стремительная.

— Не ходит, а будто чайка летит,— сказала Анка.

— Кто она?

— Жена Васильева.

Жуков обернулся, посмотрел вслед Дарье.

— Красивая. У Васильева-то, оказывается, губа не дура...

Каменное здание конторы МРС окнами выходило на улицу. Справа и слева, двумя полукругами, тянулся вниз к заливу высокий дощатый забор. За ним виднелась черепичная крыша мастерских. Над входной дверью была прикреплена вывеска: «Бронзокосская моторо-рыболовецкая станция».

В коридоре Анка и Жуков встретили Панюхая. Он, поплевывая на пальцы, пересчитывал деньги. На голове у него вместо прежнего платка красовалась широкополая соломенная шляпа. Уши были заткнуты ватой. В белом кителе, в черных флотских брюках и черных ботинках, он выглядел молодцом. Догадавшись, что Панюхай получил зарплату, Жуков сказал:

— А что, Анна Софроновна, не потребовать ли нам с него магарыч?

— Непременно! — подхватила Анка, уловив шутливую нотку в голосе Жукова.

Панюхай поднял выцветшие глаза, захлопал красными, лишенными ресниц веками, почесал пальцем рыжую бородку:

— Анка?

— А то кто же?

— Али случилось что?

— Ничего не случилось. Гостя вот привела,— кивнула она в сторону Жукова. — Не узнаешь?

Панюхай прищурил глаза:

— Чудится мне, будто обличье знакомо...

— Вот те и на. Да ты что же, Жукова не узнал? Андрея Андреевича?

— Скажешь такое — не признал! — обрадованно воскликнул Панюхай, пряча в карман деньги.— Старого приятеля свово да не признать? Ну, сокол, объявился, значит?

— Объявился, Кузьмич.

— Руку! Признал, признал, Андреич...

— А тебя, Софрон Кузьмич, сразу-то и не узнаешь. Гляди, вырядился-то как! Настоящий морской волк. Вот бы еще тебе фуражку с крабом...

— Нельзя!—с искренним огорчением сказал старик.— Прежде надо в чины выйти, а мне, видишь ли, грамотешки малость не хватает. Спасибо, хоть в сторожа допустили.

Жуков засмеялся.

— А кто же тебе, Кузьмич, такую службу доверил?

— Начальство! Юхим Тарасович, благодетель наш.

— А помнится мне, сторожил ты когда-то коптильню «благодетеля» Белгородцева в ерике да и проспал ее...

— Так то же было нечистое дело,— возразил Панюхай,—его и проспать не грешно. А теперь я состою на государственной службе — народное добро караулю. Вот видишь, что на мне?— и он погладил заскорузлыми руками китель, потрогал флотские брюки.

— Вижу,—оглядывая Панюхая, одобрительно, сказал Жуков.

— Это от начальства премия мне вышла за то, что службу справно несу.

— Поздравляю от всей души, Кузьмич! — и Жуков еще раз пожал ему руку.

Распахнулась дверь конторы, и на пороге показался Кострюков с черной повязкой на левом глазу. Он взъерошил черные волосы, подергал себя за крючковатый нос, нацелился на Жукова единственным, с красными прожилками глазом, и обветренное темное лицо его озарилось радостной улыбкой.

— Думал, кто же это с Анкой пожаловал к нам? Уж не Андреич ли? Так и есть. Какие счастливые ветры занесли тебя к нам?..— Он стиснул друга в объятиях, хлопнул по плечу ладонью, слегка оттолкнул от себя, с укором проговорил:— Чертушка ты эдакий... Хоть бы весточку прислал о себе...

— Ты же знаешь, Ваня... я не любитель заниматься писаниной.

— Знаю, знаю... Надолго?

— Собирается сегодня удирать,— опередила гостя Анка.

— Не отпустим! — тряхнул косматой головой Кострюков.

— Не отпустим, нет! — раздался за спиной Кострюкова глуховатый с хрипотцой голос Панюхая.— На прикол, как баркас у причала, поставим. Хватит по белу свету парусить. Ишь ты! Не успел прилететь, как уж сразу паруса распускает.

— Дело говоришь, Кузьмич,— обернулся Кострюков и крикнул:

— Юхим Тарасович! Юхим Тарасович!

В раскрытой двери появился рослый, плечистый, мужчина лет сорока пяти, смуглолицый, с могучей широкой грудью и двойным подбородком. На нем была вышитая холщовая рубаха, свобод-

ные, свисавшие на голенища юфтевых сапог суконные шаровары. Под густыми бровями поблескивали острые светло-серые глаза. На суровом волевом лице красовались длинные, тронутые сединой усы.

«Оселедец бы ему на макушку да люльку в зубы, и вылитый Тарас Бульба», — подумал Жуков, любуясь мощной фигурой Юхима Тарасовича.

— Вот он, Юхим Тарасович, организатор и первый председатель рыболовецкого колхоза на нашей Косе — двадцатипятитысячник Жуков.

— Чув про вас, товарищ Жуков, — пересыпая русские слова украинскими, сказал Юхим Тарасович, шагнул через порог и протянул Жукову широкую, как лопата, ладонь. — Директор МРС Кавун, — представился он гостю. — Юхим Тарасович Кавун.

— Андрей Андреевич Жуков...

— Здравствуй, Анка!

— Добрый день, Юхим Тарасович! — и маленькая с тонкими пальцами Анкина рука утонула в огромной, жесткой руке Кавуна.

— А шо ж мы туточки гуртуемось?— спохватился Кавун.— Це не дило. Ходимте ко мне в кабинет,— и указал на открытую дверь. — Будь ласка, прошу.

Панюхай лукаво подмигнул Жукову, шепнул ему на ухо:

— Ежели не на приколе, то на запоре будем держать тебя, Андреич, — и легонько подтолкнул его в спину: — Иди, иди, дорогой гостюшка. Начальство просит...

Уха получилась на славу — наваристая, благоухающая лавровым листом и черным перцем. Панюхай, прищелкивая языком, поглядывал на хозяйку умильными глазами, говорил:

— За одну тольки шорбу тебя, Акимовна, надо в молодом нашем парке памятником возвеличить.

— Ох и шутник же ты, Кузьмич! — смеялась довольная похвалой Акимовна, наливая по второй рюмке.— Угощайтесь, родимые, на здоровье.

— Нет, нет, я больше не буду, — отказался Жуков. — Вы же знаете, Акимовна, что я непьющий.

— Я тоже не могу, — и Анка прикрыла рюмку ладонью.

— Еще по маленькой, — радушно потчевала гостей Акимовна.

— Еще! — поддержал хозяйку Панюхай, захмелевший с первой рюмки. — Что ж ты, Андреич, чебак не курица, хозяйку, выходит, не уважаешь? Еще по одной рюмочке можно.

— Вот эту добавочку я бы не прочь, — сказал Жуков, вычер-

пывая ложкой из тарелки остатки ухи. — Уха приготовлена с настоящим рыбацким умением.

— Кушайте, кушайте! — подхватила из рук Жукова пустую тарелку Акимовна. — Шорбы хватит... А тебе, Анка, добавить?

— Спасибо, Акимовна, я сыта.

Жуков и Анка больше не прикоснулись к водке. Панюхай выпил вторую, третью рюмку, и у повеселевшего старика развязался язык.

— Эх, Акимовна, душа-человек... — раскачивался он на стуле. —Дай бог тебе хорошего жениха...

— Что ты, Кузьмич, господь с тобой! — отмахнулась хозяйка. — Мне уже шестой десяток. Кому такая невеста надобна.

— А ежели я сватов зашлю, арбуза не поднесешь? Ответствуй напрямик. При свидетелях...

— Отец, — с укором посмотрела на него Анка. — Все шутишь, а Андрей Андреевич бог весть что подумать может.

— Не встревай, дочка, в отцово дело, — петушился Панюхай. —Я всурьез сказываю...

Жуков поперхнулся и закашлялся. Панюхай уставился на него мутными глазами, обиженно пробормотал:

— И ты, дружок-приятель, надо мной надсмехаешься?

— Да нет, Кузьмич, — оправдывался Жуков.— Уха до того вкусная, что я чуть было язык не проглотил.

Панюхай нахмурился и замолчал. К нему подошла Акимовна, ласково сказала:

— Что же это ты, Кузьмич, взъершился? Сам шутки шуткуешь, а другим разве запретно? Ну, чего как индюк надулся?— и она налила ему еще водки. — Пей на здоровье...

— С чего ты взяла, Акимовна, что я дуюсь? Думу думаю...

— О чем же твоя дума?

— Прикидываю, кого бы в сватья нарядить к тебе?

— Не шуткуешь?

— Какие могут быть шутки, Акимовна?

— Так и быть! — хлопнула она ладонью по столу. — Засылай сватов, Кузьмич. Может, до чего-нибудь и дотолкуемся. А пока выпьем за здоровье нашего дорогого гостя, — подняла рюмку Акимовна.

Панюхай выпил, сморщился, нюхая кусочек хлеба. Акимовна пригубила рюмку, поставила ее на стол, широко заулыбалась:

— Прошу, Ивановна, прошу! То-то кстати пришла. Посмотри, кто у нас гостем-то...

Все обернулись — у порога стояла Евгенушка.

— Весь хутор, Акимовна, знает о приезде товарища Жуко-

ва, — сказала Евгенушка и подошла к гостю. — Здравствуйте, Андреевич! Я и домой не заходила, прямо из школы сюда.

Поднимаясь со стула, Жуков удивленно рассматривал Евгенушку.

— Не узнаете?

— Узнаю,— склонил на плечо голову Жуков, все еще не отрывая от Евгенушки пристального взгляда. — Здравствуй, здравствуй! — и протянул ей руку. — Как же не узнать тебя: все те же озорные глаза, та же улыбка... Но располнела-то как!

— Это ее после замужества разнесло, — вставила Анка. — Доченька подвела...

— Уф! — вздохнула Евгенушка, обмахивая носовым платком лицо. — И сама не рада этой полноте.

— А что, разве лучше такой сухопарой быть, как Анка? — вмешалась Акимовна.

— Что вы, Акимовна! — возразила Евгенушка. — Наша Анка, как тростинка, гибкая. Красавица. А я... — и махнула рукой, — прямо глыба бесформенная... Уж и одышка появилась... сердце начинает пошаливать...

— Да, я помню тебя, Евгенушка, совсем худенькой, — сказал Жуков.— Но ты не огорчайся. Полнота, она, знаешь, солидность придает...

— А сердце? — перебила его Евгенушка. — А ну-ка попробуйте в жару такую тяжесть таскать. Не обрадуешься солидности.

— Конечно, если пошаливает сердце и причиной тому полнота, то...

— То-то и оно-то! — засмеялась Евгенушка, и ее милое, добродушное лицо еще больше порозовело.

В комнату шумно вбежали две белокурые одинакового роста девочки. Одна из них кинулась к Анке, другая подбежала к Евгенушке. Они наперебой затараторили:

— Мама!

— Мама!

— Валю чуть-чуть не укусила собака!

— Да, я хотела потрогать ее чуточку! Она такая хорошенькая!

— А один мальчишка чуть-чуть в собаку каменюкой не попал!

— А дяденька за мальчишкой погнался и чуточку не догнал его... Вот бы ему досталось!..

— Погодите! Погодите! — закрыли уши обе матери.

Жуков, глядя на Анку, Евгенушку и их дочерей, от души расхохотался. Смеялась и Акимовна, улыбался пьяненький Панюхай.

— Ничего нельзя понять, — сказала Анка.

— Вы спокойнее, спокойнее — посоветовала Евгенушка.

Но девочки опять заговорили наперебой:

— Валю чуть-чуть...

— А я только хотела...

— А мальчишка один чуть-чуть...

— А дяденька его чуточку...

— Хватит! — замахала руками Анка.— С вами не разберешься так сразу. Пора домой.

Все поднялись, вышли из-за стола.

Акимовна спросила Жукова:

— Когда в район едешь?

— Хотел сегодня, да Кострюков не отпустил.

— Правильно сделал. Погости, погости лишний денек.

— Погощу сутки: конференция послезавтра; хочется повидать Васильева, Дубова, Зотова, Сазонова, Краснова...

— Васильев у нас председателем колхоза. Ему не обязательно каждый раз в море выходить. А он: «Не могу,— говорит,— тянет на простор...».

— Его можно понять, Акимовна, морская душа не дает покоя...

— ... у меня?..— Панюхай распахнул китель и выпятил узкую грудь, обнажив полосатую тельняшку. — Не... морская душа?..

— Как не морская, Кузьмич,— сказал Жуков.— Морская.

— То-то, чебак не курица... Зря мне... такая прем... мия вышла?..

— Не зря. За исправную службу.

— То-то...

— Идем, отец,— прервала его разглагольствования Анка.— Тебе в ночь дежурить. Надо отдохнуть.

— И то верно, дочка... Идем... А к тебе, Акимовна, сватов я зашлю... непременно,— и он заковылял из комнаты, затянул скрипучим голосом:

> Э-эх!.. Мачты гнутся... Сарты рвутся...
> Отбило руль мне... полосой.

III

Бирюк и Павел молча поднимались по извилистой крутой тропинке. Взобравшись наверх, Павел поставил у ног дорожный чемоданчик, снял шляпу и вытер носовым платком потное лицо.

— Что, упарился?— глядя на запыхавшегося гостя, спросил Бирюк.

Павел окинул взглядом хутор, побережье, задумчиво ответил:

— Да, жарковато...— Он подставил разгоряченное лицо живительному дыханию моря.

У берега стояли на приколе два подчалка. Несколько поодаль от них, гремя якорной цепью, покачивался на волнах огромный баркас «Дельфин». Павел усмехнулся. Бирюк заметил его усмешку.

— Узнаешь свою птицу?— кивнул он в сторону «Дельфина».

— Пускай хоть сто названий дали бы ему... хоть всего размалевали бы надписями... все равно я узнал бы своего «Черного ворона». Э-эх!..— вздохнул Павел.— Мало мне пришлось побегать на нем по волнам с ветром вперегонки.

— Зря ты его тогда, десять лет назад, ко дну не пустил. Теперь вот он колхозу служит.

— Откуда ты знаешь,— покосился на Бирюка Павел,— что я хотел ко дну его пустить?

— Мы, ребятишки, вот на этом месте стояли и все видели... Ты с топором на «Ворона» вскарабкался, а потом швырнул топор в море, на берег выбрался и убег... Как в воду канул...

— Анка не допустила, а то...

— И что она тебе сделала бы?

— У нее был револьвер...

— А разве в того стреляют, кого любят? Гайка, скажи, ослабла. Бабы испугался. Она и теперь по тебе, небось, сохнет. От всех женихов отворачивается.

— Что...— схватил его за руку Павел,— Анка не замужем?

— Нет, не замужем.

«Неужели ждала меня?— эта мысль огнем обожгла сердце Павла...— Неужели еще любит?»

Павел посмотрел на Бирюка подобревшими глазами, поднял с земли чемоданчик.

— Идем скорее, мой приезд обмоем. Тут у меня,— кивнул он на чемоданчик,— кое-что найдется.

Они остановились возле покосившейся, вросшей в землю хижины с маленькими подслеповатыми оконцами.

— Вот и мои хоромы,— без улыбки сказал Бирюк.— Прошу,— он толкнул ногой дверь, на которой не было ни ручки, ни цепочки для замка, шагнул через порог.

Павел вошел за Бирюком в прихожую, осмотрелся. Низкий потолок, земляной пол, заплеванный и усыпанный окурками,

Покрытый газетой колченогий стол, две табуретки, на одной из которых — ведро с водой и алюминиевая кружка.

— Извини, дорогой гостюшка, у меня в прихожке беспорядок. Давай проходи в горницу.

В горенке стояла деревянная кровать, покрытая зеленым одеялом, дубовый стол, пара венских стульев, посудный шкаф с застекленной дверцей, у стены — длинная скамейка. На стенах выцветшие, засиженные мухами фотографии и аляповатая, базарного производства «живопись» с уродливыми пейзажами, замками и целующимися влюбленными парочками.

Павел покачал головой.

— Плохо ты живешь... Смотри, почти все хуторяне в новых светлых домах ..

— Хватит мне и в хижине света!

— Все же мог бы лучше устроить свою жизнь.

Бирюк мрачно прогудел:

— А что мне, бобылю... Один как перст.

— Чем же ты занимаешься?

— Работаю в сельсовете. Секретарствую. Бумагу мараю.

— А Душин?

— Он теперь наш бронзокосский «наркомздрав». Медпунктом заведует. Кострюкова помнишь? Он замполитом на МРС...

— А кто же председателем сельсовета?

— Анна Софроновна Бегункова.

Павел извлекал из чемоданчика коньяк, колбасу, сыр, вареные яйца, булку и раскладывал все это на столе. При последних словах Бирюка он резко вскинул голову и в изумлении уставился на хозяина.

— Не ожидал?— ухмыльнулся Бирюк, и его колючие глаза под мохнатыми белесыми бровями засветились злорадным огоньком.— Да, братец, теперь она у нас на хуторе вроде атамана.

Павел с деланным безразличием пожал плечами и, скользнув взглядом по грязному полу, перевел разговор на другое:

— Ты думаешь когда-нибудь обзавестись семьей?

Бирюк горько усмехнулся.

— Кто же пойдет за калеку? Меня и по имени на хуторе не зовут... Бирюком кличут... С насмешкой... Я их, проклятых, всех ненавижу... Была бы моя воля — весь хутор на рее вздернул бы.

— Ты смелый, дьявол,— заметил Павел, раскупоривая бутылку коньяка. Держа между пальцами перочинный ножик, он ввинчивал штопор в пробку, но раскупорить не мог. То ли то-

кий штопор не удерживался в туго всаженной пробке, то ли у Павла дрожали руки.

— Дай-ка сюда,— Бирюк взял у Павла бутылку, хлопнул донышком о ладонь, и пробка взлетела под потолок вместе с брызгами коньяка.— Вот так надо и души вышибать из них...

— Это как же понимать?— наливая в кружку коньяк, осторожно спросил Павел.

— Как твой разум дозволяет, так и понимай,— уклончиво ответил Бирюк, одним махом опорожняя кружку.

— А что с ногой у тебя?

— С кручи свалился, а там, внизу, ржавый якорь в песке торчал. Кость повредил. Шесть месяцев в гипсе пролежал. Вот по случаю инвалидности и в сельсовет пошел.

— Почему же ты не на работе?

— Ремонт в сельсовете. Нынче закончат.

— Да!— вспомнил Павел, обхватив руками зашумевшую от коньяка голову.— Я и забыл спросить у тебя... Как моя дочка, жива?

— Валька? Жива. Растет. Вылитая мать...

— А что это твоей матери не видно?

— В прошлом году померла,—вздохнул Бирюк.—От простуды.

Молча допили вторую бутылку. Бирюк кряхтел, все ниже опускал мохнатые брови, темнел в лице. Хмель заметно действовал на него.

— Ты что?..— уперся Павел мутными глазами в Бирюка.— Может, мною недоволен?.. Чего сопишь?..

— Доволен,— буркнул Бирюк.

— Или еще хочешь выпить?— допытывался Павел.

— Хватит, а то, ежели лишнее хвачу, буянить начну. А мне по службе это не полагается. У меня начальница строгая.

— Ну, что ж, станешь буянить — свяжу,— поднялся Павел.

— Попробуй,— Бирюк тоже встал.

— Эх, ты,— тряхнул его за грудки Павел,— цыпленок...

— Эх, ты, курчонок!— подхватил его Бирюк под ребра и стиснул крепкими руками, как в железные тиски зажал. Потом играючи приподнял и швырнул на кровать.

Послышался глухой треск. Павел, выставив руки и ноги, застрял между переломившимися досками.

— Связал? То-то, вперед не хвастай,— Бирюк помог Павлу подняться.

— У-у, черт! Силен ты, однако...— сконфуженно проговорил Павел, поправляя съехавший на бок галстук.

— Меня, брат, буря морская не одолеет.

— Я тоже видывал бури...

— А со мной все же не борись!— предупредил Бирюк.
— Запомним.
— Это уж твое дело: забыть или помнить.
— А ты умеешь забывать?— покосился на него Павел.— Или обиду на меня в сердце держишь, за пазухой камень хоронишь?
— Ты про что это?— захлопал глазами Бирюк.
— Про батьку твоего... Я ж в ерике рыбную коптильню обнаружил... Выступал на суде против твоего да заодно и своего старика...
— Батька десять лет в ссылке выдержал. И помер,— угрюмо сказал Бирюк.
— А мой?..
— Не знаю. Ежели жив, скоро домой вернется,— Бирюк так засопел, что ходуном заходила его широкая грудь. Он поднял на Павла тяжелый взгляд.— Ты про это самое не поминай...— сказал он с раздражением.— Старую рану не тревожь... Слышишь? А то не погляжу на то, что ты гость... Возьму вот так,— Бирюк поднял руки со скрюченными пальцами,— и душу из тебя выдавлю... как пузырь из рыбешки...
Наступила тягостная пауза. На оконце судорожно билась в невидимых нитях паутины и нудно жужжала муха.
— Проклятая тварь...— не выдержал Бирюк, повернулся к окну, с размаху шлепнул ладонью, и стекло со звоном вылетело во двор.
Опять воцарилась тишина. Бирюк и Павел сидели друг против друга, по-волчьи сверкая глазами. Казалось, вот-вот схватятся. Но Бирюк взял кружку, поднялся и пошатываясь вышел в прихожую. Утолив жажду, он вновь зачерпнул полную кружку холодной воды, принес Павлу.
— Пей.
— Благодарствую...
— Вот, значит,— опять заговорил Бирюк,— я своей головой кумекаю так: у наших отцов была своя жизнь, а мы должны жить по-своему. И нечего про старое поминать.
— По-новому захотел жить, по-советски?— осклабился Павел, пьяное лицо его исказилось.— Ты не комсомолец ли часом?
— Я комсомол десятой дорогой обхожу.
— Это почему же?— насторожился Павел.
— А кому интересно болтаться на перекладине в петле? Хорошо, если хоть веревку намылят...
— На какой перекладине? Что ты спьяну городишь?
— Брось, Павел Тимофеевич, дурачка из себя строить,— погрозил ему пальцем Бирюк.— Как будто газет не читаешь, не зна-

ешь, что Гитлер всю Европу на колени поставил... Англию бомбит... Норвегию с воздуха заграбастал... На Индию нацелился... А дорога в Индию через Россию лежит... Вот и потребуются перекладинки... веревочки... мыльце... — подмигнул он.

Павел расхохотался.

— И хитрый же ты, чертяка! Башка у тебя варит...

— Башкой не обижен... А ты мне раны растравляешь. Дружить нам надо.

— Дело говоришь,— согласился Павел и вытащил из бокового кармана пиджака объемистую пачку денег.

«С деньгой, аспид... Богатеем стал...» — отметил про себя Бирюк, пожирая глазами банкноты.

Павел небрежно бросил на стол две полусотни, сказал:

— Давай обмоем нашу дружбу. Неси водки. А до завтра вполне можно выспаться.

Бирюк левой рукой сгреб со стола деньги, правую протянул Павлу:

— На дружбу...

IV

Самолет кружил над морем. Он ложился курсом то на восток, то на запад, то на северо-восток, то на юго-запад. Летчик часто посматривал вниз, поворачивая голову то влево, то вправо, зорко вглядывался в зеленовато-фиолетовую поверхность моря. Заметив темные пятна—скопление косяков рыбы, летчик радировал:

— Я — «Чайка!» Я — «Чайка!» «Всем, всем, всем!..»

Но самого себя летчик не слышал.

«Что за чертовщина?» — с досадой подумал он и продолжал радировать:

— «Всем судам! Всем судам! Принимайте координаты! Принимайте координаты!..»

Никто, однако, не откликался, потому что слова летчика не попадали в эфир.

«Неужели ларингофоны испортились?..»

Летчик развернул самолет, снизился и несколько раз прошел над бороздившими море моторными судами. Рыбаки замахали шляпами, закричали, хотя и знали, что летчик не услышит их:

— Это — Орлов!..

— Привет Якову Макаровичу!..

Самолет еще раз с шумом и треском пронесся над рыбаками, покачал крыльями и ушел навстречу первым лучам всходившего над морем ярко-малинового солнца.

Рыбаки поняли летчика...

Моторные суда, опережая друг друга, устремились на восток, вслед за самолетом. Над районом скопления рыбы летчик сбросил несколько навигационных бомбочек, начиненных нефтью, и на морской глади расплылись жирные, радужно поблескивавшие на солнце пятна.

С восходом солнца подул ветерок, заволновалось проснувшееся море. Оставляя за собой кружевные следы шипящей белой пены, суда стремительно мчались вперед. Летчик еще раз описал в воздухе круг, отлетел немного в сторону, спикировал. В двух направлениях полетели зеленые ракеты, нацеливая ловцов на рыбные косяки. Самолет ушел дальше и постепенно растаял в сверкающей лазури неба...

Анка зашла к Кострюкову за Жуковым и повела гостя по хутору, показывая ему все, что было сделано за его десятилетнее отсутствие. В Доме культуры Анка познакомила Жукова с женой Душина, миловидной и такой же тихой и застенчивой, как ее муж; они побывали в детских яслях, временно помещавшихся в доме Тимофея Белгородцева, в новом холодильнике рыбного треста. Осмотрев холодильник, Жуков с одобрением заметил:

— Это хорошо, что рыбтрест отказался от грубого засола. Свежемороженная рыба куда лучше!

— Несомненно, Андрей Андреевич, — подтвердила Анка. — Соленая рыба хуже по вкусовым качествам и менее питательна.

— А почему до сих пор здесь не построят рыбзавод?

— Все предусмотрено. В будущем году в заливе, рядом с МРС, начнут возводить рыбкомбинат. Рыба-сырец будет обрабатываться на месте.

— Вот это по-хозяйски!

— А в хуторе намечено строить двухэтажное здание под школу-десятилетку. Моя Валюша и дочка Евгенушки уже перешли в четвертый класс. А дальше как быть? В район за двадцать километров посылать?

— Школа нужна. Это верно. Хотя бы семилетка на первое время.

— Пусть семилетка. А потом уже можно открыть и старшие классы. Бронзовая Коса скоро в портовый городок превратится, вот увидите, — с радостью рассказывала Анка.

— Да, — согласился Жуков. — Большие преобразования на Косе...

Обойдя почти весь хутор, Анка и Жуков отправились в сельсовет. Просторный и светлый зал заседаний, с большими окнами, задрапированными темно-зелеными шторами, был уставлен пяти-

местными, в два ряда, дубовыми скамейками. На сцене — длинный стол, трибуна. В глубине сцены, на кумачовом фоне, — гипсовый бюст Ленина на постаменте. На стенах — картины, все больше морские пейзажи.

В прихожей стоял стол, за которым сидел Бирюк, склонившись над папкой с бумагами. Отсюда вела дверь в кабинет председателя. Жукову понравилась рабочая комната Анки: письменный стол, кресло, три стула и диван, обитый коричневым дерматином. В углу на тумбочке — радиоприемник.

— Уютно тут у тебя. И вид какой прекрасный на хутор и на море, — сказал Жуков, глядя в окно. Он опустился на диван и кивнул на дверь: — А это кто?

— Бирюк, секретарь сельсовета. Помните Петра Егорова, осужденного вместе с Тимофеем Белгородцевым за хищение и копчение в ерике рыбы?

— Как же, помню...

— Его сын. Он тогда был еще подростком.

— И как он?

— Парень исполнительный, ничего не скажешь. Только мрачный какой-то, замкнутый. Оттого и прозвали его на хуторе Бирюком.

— Вид у него и впрямь бирючий, — согласился Жуков.

— Иногда внешность бывает обманчива.

— И то правда.

Когда выходили из сельсовета, Анка остановилась у порога приемной, спросила Бирюка:

— Говорят, Павел Белгородцев у тебя на постое?

— У меня.

— А зачем и откуда он приехал?

— Из города... Земляков проведать.

— Документы у него в порядке?

Бирюк замялся:

— Не знаю...

— Как же так? Работник сельсовета и не поинтересовался вновь прибывшим в хутор.

— А кто ж его не знает? — удивился Бирюк. — Парень тутошний, наш...

— Как знать, — загадочно произнесла Анка. — Вот что... Передай ему, чтоб вечером в сельсовет явился.

— Хорошо, Анна Софроновна, передам, — а про себя усмехнулся: «Вот тебе и на! Пашку не знает. А дочку с кем пригуляла? Ба-а-б-ы!..» — покачал он головой.

Жуков шел молча, нахмурившись, изредка поглядывая на

Анку. Та, полагая, что он размышляет о чем-то, тоже шагала молча, не желая мешать его мыслям. Но вот Жуков замедлил шаги, остановился и как-то по-отечески, тепло и ласково, сказал:

— Хорошая ты женщина, славная... И совсем еще молодая.

— Вы обо мне думали, Андрей Андреевич? — кинула на него Анка благодарный взгляд.

— О тебе, Анка. Славная, говорю, ты... Умная, красивая, молодая, а вот... одна живешь... не замужем. Неужели все еще Пашку любишь?

— Что вы, Андреевич, ни капельки. Было когда-то, да давно уж быльем поросло.

— Так почему же не выходишь замуж?

— Придет время — выйду, — улыбнулась Анка.

— Когда же?

— Думаю, Андрей Андреевич, скоро.

— И жених есть?

— Вот он! — кивнула она в сторону моря. Жуков развел руками:

— Ничего не понимаю...

— Летит мой сокол крылатый, летит! — и засмеялась. — Обязательно скажет: «Бензин на исходе, вот и приземлился горючим подзаправиться.» А бензину у него, почитай, что полные баки.

Жуков посмотрел на приближавшийся к Косе самолет, догадался.

— Летчик?

— Он.

— Ну, и договоренность уже у вас есть?

— Пока нет.

— То есть, как это — пока? — непонимающе посмотрел он на Анку.

— А так: пока глазами объясняемся в любви. А до формального, так сказать, разговора дело не дошло.

— Что ж так?

— Он молчит и я молчу.

— Да этак вы, чего доброго, до старости промолчите! — захохотал Жуков.

— И так может случиться, — в глазах Анки заиграли лукавые огоньки.

— Ну, и душа из вас винтом, молчите и старейте со своей любовью. Надо полагать, Кузьмич с Акимовной опередят вас.

Жуков хотел сказать еще что-то, но мимо них опрометью про-

мчалась Валя, на бегу посматривая в небо. Самолет шел на снижение с приглушенным мотором.

— Ты куда, доня? — окликнула Анка дочку.

— Ой, мама! Дядя Яша прилетел! Я чуточку не проглядела его! — и она побежала еще быстрее, сверкая пятками.

— Валюша с Яшей — большие друзья,— сказала Анка, и ее смуглое красивое лицо осветила теплая улыбка.

— Ну вот, — кивнул Жуков, — чего же тебе еще надо?

— А ничего. Ничегошеньки мне больше не надо, Андрей Андреевич,— с затаенной радостью тихо засмеялась она.

...Летчик шел размашистой походкой, ведя за руку Валю. Его стройную высокую фигуру ладно облегал комбинезон. В свободной руке девочка держала плитку шоколада. На ее маленькой голове болтался светло-коричневый шлемофон, прикрывая светившиеся счастьем глаза. Набегавший с моря свежий ветерок теребил на голове летчика темно-каштановые, как у девушки, пушистые волосы. И открытый взгляд карих глаз, и прямой нос, и твердый рот — все свидетельствовало о том, что он действительно принадлежит к бесстрашному орлиному племени авиаторов.

— Видите, как Валюшу балует? — притворно сердито сказала Анка.

— Какое же это баловство, — возразил Жуков. — Видать, они настоящие друзья.

Летчик подошел к ним, пожал Анке руку, слегка поклонился Жукову.

— Андрей Андреевич, это наш воздушный разведчик, летчик Яков Макарович Орлов. Знакомьтесь! — сказала Анка и обратилась к Орлову: — Что, Яшенька, опять зазевался, а бензин на исходе?

Жуков понимающе улыбнулся, заметив, как Анка взглянула на него. В карих глазах Орлова блеснули лукавые искорки.

— Точно, — весело подтвердил он. — Такого трудного поиска еще не было. Битый час кружусь и ни одного рыбного косяка. Наконец обнаруживаю один, другой... И так увлекся разведкой, что забыл про горючее. Смотрю, а стрелка бензомера к нулю приближается...

— Вот и хорошо, — подхватила Анка. — Пока моторист заправит баки горючим, я угощу вас чаем. Айда чаевничать!

Жуков снял с головы Вали шлемофон, спросил Орлова:

— А это кто же? Штурман вашего корабля?

— Это мой маленький друг,— и Орлов потрепал девочку по подбородку.— Правда, Валюша?

— Правда. А я буду морячкой,— ответила Валя. Все засмеялись.

Чтобы не потревожить сон Панюхая, отдыхавшего после ночного дежурства, чай пили на крыльце, затянутом повителью. За чашкой чая разговорились. Жуков и Орлов ближе узнали друг друга. Оба остались довольны неожиданной встречей. Жуков расспрашивал летчика о его работе в авиации специального назначения. Он долго вертел в руках и с интересом рассматривал кожаный шлем, подбитый мехом, с вшитыми внутрь миниатюрными наушниками-ларингофонами.

— Да!— вспомнил Орлов, увидев в руках Жукова шлемофон.— Можете себе представить такую историю... Разведал рыбные косяки. Надо немедля передать координаты рыболовецким бригадам. Я — радировать, а мой шлемофон, как говорится, глух и нем...

— Почему? — спросила Анка, не сводя с Орлова сияющих глаз.

— Ларингофоны испортились.

— И что же?

— Обошелся, как говорится, подсобными средствами. Одним бригадам указал скопление рыбы навигационными морскими бомбочками, других нацелил ракетами.

— Летчик должен быть находчивым,— улыбнулся Жуков.

— Этот прием не новый,— смутился Орлов...

Жуков заметил: когда Орлов ловил на себе теплый взгляд Анки, его карие глаза озарялись внутренним светом; но тут же, будто провинившись в чем-то, он смущенно опускал голову, слегка пощипывая себя за ухо. «Настоящий крылатый сокол...— думал про себя Жуков, с удовольствием наблюдая за летчиком.— А до чего же застенчив в присутствии Анки!..»

...Чаепитие затягивалось. Жуков взглянул на часы:

— Однако время идет. А ни машины из района, ни ваших рыбаков с моря.

— А мы нашего разведчика спросим,— встрепенулась Анка.— Ему с воздуха виднее.

— О чем ты?— поднял на нее глаза Орлов.

— Наших бронзокосцев в море не встречал?

— Они в Таганрогском заливе рыбу промышляют. Там в конце мая всегда бывает огромное скопление судака.

— Ого-го!— покачал головой Жуков.— Далековато. Сегодня им, конечно, не ночевать дома.

— Через неделю будут, не раньше,— подтвердил Орлов.

— Тогда сегодня же отправляюсь в Белужье.

— Мне тоже пора,— поднялся из-за стола Орлов.

Анка пошла провожать гостей. Когда они вышли на улицу, к ним, поднимая тучи пыли, подкатил юркий «газик». В машине сидел Кострюков.

— Вот и машина пришла,— сказал он, поправляя наглазную черную повязку.— Я тебе, Андрей, попутчик в Белужье. Коммунисты избрали делегатом на партконференцию.

— Вот и отлично. Веселей будет,— обрадовался Жуков.

— Не будь Дубов в море, мы избрали бы его делегатом.

— Ничего, Ваня, и тебе полезно побывать на конференции.

— Само собой разумеется,— сказал Кострюков.

Жуков сел в машину, пригласил Орлова:

— Садитесь, к посадочной площадке подкинем вас. И ты, Анка, садись. Проводим до самолета Якова Макаровича.

...Через несколько минут самолет поднялся в воздух, сделал круг над Бронзовой Косой и взял курс на Темрюк. Жуков и Анка провожали его долгими взглядами.

— А у тебя жених стоящий,— сказал Жуков, пожимая на прощанье Анке руку.— Правда, застенчивый немного, однако... ей-богу, молодец!

V

Павел проснулся с тяжелой, как чугун, головой.

Бирюк уже был на ногах. Он стоял перед осколком зеркала, вмазанным в саманную стену, и приглаживал расческой мокрые после умывания косматые рыжие волосы. Бирюк обернулся на скрип расшатавшейся старой деревянной кровати. Павел сидел, свесив с кровати ноги и обхватив руками голову.

— Что, муторно?

— Башка трещит,— простонал Павел.

— Сейчас я тебя полечу. Идем,— Бирюк прихватил ведро, вывел Павла во двор.— Нагинайся! — скомандовал он и опрокинул на голову приятеля ушат холодной воды.— Ну, что, легчает?

— Хорошо!— потряс головою Павел. Во все стороны полетели сверкающие на солнце брызги.

— Самое верное средство против головной хвори,— назидательно сказал Бирюк.— А теперь утрись, рушник там, в прихожке, на гвозде висит, допей водку, что осталась в посудине, и еще поспи. А я на работу.

Уже на улице Бирюк вспомнил о чем-то и быстро сунул руку

в карман. Нащупав новенькие хрустящие бумажки, с облегчением вздохнул:

«Тут... на месте... Богатый, аспид!...»— с завистью подумал про себя, перебирая дрожащими пальцами бумажки. Но в голове шевельнулась неприятная мысль: «А ежели... дознается?— и Бирюк замедлил шаги.— Вдруг пересчитает деньги... На кого подумает?.. На меня, не иначе...» Он постоял в раздумье, потом двинулся решительным шагом: «Не заметит. Денег у него, аспида, побольше, чем бумаг в моей канцелярской папке. Вчера даже сдачу не брал. Богатей!..»

В обеденный перерыв Бирюк забежал домой. Павел, разбросав на кровати руки, с присвистом похрапывал. Бирюк растолкал его.

— У тебя документы в порядке?

— А в чем дело?— зевая и протирая кулаками глаза, вопросом на вопрос ответил Павел.

— Хозяйка спрашивала.

— Анка?..

— А кто же еще? Велела явиться вечером в сельсовет.

— Вот как!— криво ухмыльнулся Павел.— Строгая атаманша. А почему бы ей не пригласить меня к себе домой? Зазнаваться стала?

— Это дело не мое. Документы, говорю, в порядке?

— Не беспокойся!— сердито бросил еще не совсем протрезвившийся Павел.— У меня порядок морской, дружище. Я ей такие документы покажу, что она ахнет и присядет. Скажи ей, что вечером буду.

— Смотри, не подведи,—предупредил Бирюк и хлопнул дверью.

Павел сел за стол, склонил на руку голову, усмехнулся: «Вот как, значит, милашка, встречаешь меня...»

Томительно тянулось время. Павел слонялся из угла в угол, ложился на скамейку, снова вскакивал, меряя шагами комнату. Не такой встречи ожидал он от Анки. Когда плыл на «Тамани», думал: Анка обрадуется его приезду, бросится на шею, обожжет горячими губами, будет жарко шептать на ухо: «Как я скучала по тебе, Павлушенька... Днями думала, ночами не спала, извелась вконец... так хотелось видеть тебя!..»

А ее, оказывается, интересует совсем другое: документы!

«Брешешь, гордячка, скучаешь. А то зачем бы звала? Документы проверить? Врешь! Это дело можно было бы поручить любому сельсоветчику. Не затем приглашаешь меня...»

Павел остановился у оконца. Косые лучи заходящего солнца, падая из-за пригорка на море, ломко дробились на белогривых

волнах. На горизонте, то ныряя носом, то вздымая корму, кувыркался в бурунах одинокий баркас, будто помахивая кому-то парусом.

«Неужели и моя жизнь проплывет вот так... в одиночестве?!»

Павел отвернулся от оконца и потер ладонью колючую щеку. Потом достал из саквояжа прибор, мыльный порошок, бритву, помазок. Долго и тщательно брился, поворачиваясь к маленькому зеркальцу то одной, то другой стороной лица. Распространяя запах одеколона, он вышел со двора, когда на уличных столбах и в окнах рыбацких куреней заиграли ярким светом веселые огоньки.

«Ишь, голодранцы, электричеством обзавелись»,— хмыкнул Павел, не разжимая губ.

Он шел с приподнятой головой, сдвинув на затылок шляпу и тихо напевая...

У сельсовета невольно замедлил шаг и смолк. Наигранное веселье пропало, точно его ветром сдуло. Он как-то сразу обмяк, неприятно засосало под ложечкой.

«А все же... как она встретит меня?.. Все такой же будет холодной и недоступной или улыбнется, обрадуется?..»

— Иди, иди,— тихо позвал его через открытое окно Бирюк,— ждет.

«Ждет?— встрепенулся Павел, смутная надежда несколько подбодрила его.— Да чего же это я раскис, дурень. Мне ли робеть перед бабой?»— Он вошел в приемную, гулко прошагал по дощатому полу к кабинету Анки, решительно постучал костяшкой согнутого пальца в дверь.

— Войдите!— донесся из кабинета знакомый голос.

Рука Павла застыла на дверной ручке, и вся решимость, с которой он вошел в сельсовет, исчезла. Павел в замешательстве посмотрел на Бирюка. Тот приблизился к нему, шепнул на ухо:

— Не ослабляй гайку, иди. Не укусит.

И только хотел Павел потянуть на себя дверь, как она стремительно распахнулась, и он очутился лицом к лицу с Анкой.

— Здравствуй... Анка...— невнятно пробормотал Павел.

— Здравствуйте, Павел Тимофеевич,— чужим, спокойным голосом ответила Анка, и ее глаза стали холодными и жесткими.— Что же это вы заставляете ждать себя?

— Приводился в порядок...— Павел провел ладонью по щекам. — Не мог же я прийти небритым...

— Что ж, это признак культуры,—серьезно промолвила Анка, но в ее голосе Павел уловил нотки больно ударившей по сердцу насмешки.

«Издевается!» — вскипая от обиды, нахмурился Павел.

— Проходите,— кивнула головой через плечо Анка.

Павел вошел в кабинет, осмотрелся.

— Садитесь.

Несколько минут они молчали, изучая украдкой друг друга. Анка чертила карандашом что-то на листке бумаги, а Павел вертел в руках шляпу, сбивая с нее пальцем невидимые соринки. Молчание тяготило обоих, но никто не решался начать разговор первым.

«Да, он повзрослел, возмужал, вон какой нарядный... Еще интереснее стал... — отметила про себя Анка.— В него нетрудно влюбиться... Да что же это я?..» — опомнилась, поймав себя на этой мысли, Анка и с такой силой нажала на карандаш, что он с треском сломался.

Павел вздрогнул, вскинул голову, и глаза его встретились с ничего не говорящим, холодным взглядом Анки.

«У-у-у, черт! Она еще красивее, когда злая... Не зря я по ней сохну...»

«Нет,— вздохнула Анка,— хоть и отдала ему свое первое чувство, родила от него ребенка, а все же мы чужие... Да, когда-то я любила его. Ради него... позор какой вытерпела...»

— Ты интересовалась моими документами?— прервал ее мысли Павел и положил на стол паспорт, красноармейскую книжку и справку об отпуске.— Вот они...

Анка внимательно просмотрела документы.

— На заводе работаешь?— спросила она, незаметно для себя переходя на «ты».

— На заводе.

— Мне Кострюков говорил. Еще тогда, давно, когда на запрос дирекции завода ответил, что ты дезертировал из колхоза... Как же тебя на завод приняли?

— Рабочие руки нужны были. К тому же я все ж таки колхозником был, а не кулаком.

— Лжеколхозником, вот это вернее,— спокойно сказала Анка, возвращая документы.

— Загибаешь, Анка.

— Известно, правда-матка глаза колет...

Опять воцарилось неловкое молчание. Слышно было, как за дверью, в приемной, хрипло кашлял Бирюк.

— Ты, оказывается, в Красной Армии служил?

— Три года,— самолюбиво вскинул голову Павел.—Награжден грамотой за отличную боевую и политическую подготовку.

— И политическую?— переспросила Анка.

— Да,— с вызовом посмотрел ей в лицо Павел.

— Вот ты какой герой!

— И на заводе такой. Вот, посмотри...— он достал из кармана газету, развернул ее, положил на стол. На первой полосе заводской многотиражки красовался снимок улыбающегося Павла.

«Передовик токарного цеха, стахановец П. Т. Белгородцев»,— гласила подпись под портретом.

— Надо полагать, ты уже и в партии?— в упор посмотрела на него Анка.

— Я?...— застигнутый врасплох неожиданным вопросом, Павел пришел в замешательство.

— Вопрос ясен, чего же переспрашивать?

— Пока я ...непартийный большевик. Готовлюсь к вступлению в партию.

— Понятно,— Анка поднялась.

«Неужели этим все кончится?» — с тоской подумал Павел и тоже встал.

— Анка... я хочу сказать... Только ты...— бессвязно заговорил он, волнуясь.— Выслушай меня... Прошу тебя.

— Слушаю,—насторожилась Анка — Говори.

— Анка...— теребя руками шляпу, продолжал Павел.— Я весь исстрадался по тебе... Хочешь верь, хочешь не верь, но это правда... Лучше бы навесить мне на руки и на ноги кандалы, чем жить в разлуке с тобой... Я любил и люблю только тебя, Анка... Затем и приехал на Косу, чтобы хоть одним глазом взглянуть на тебя и на дочку...

— Запомни,— резко прервала его Анка.— К прошлому возврата нет. И больше ни слова об этом.

— Ну, хорошо, хорошо... Только не сердись... И разреши мне повидаться с дочерью.

Анка метнула на него гневный взгляд.

— Может быть, у тебя в городе есть дочь, а тут...

— Что ты говоришь, Анка!— замахал руками Павел.

— То, что слышишь. У тебя здесь дочери нет. И давай прекратим эти ненужные разговоры.

В приемной опять закашлял Бирюк. Павел, понизив голос, сказал:

— Ты хоть потише говори...

— Нам больше не о чем говорить.

Павел поспешно вытащил из бокового кармана пиджака пачку денег, положил на стол.

— Раз ты такая несговорчивая гордячка, так возьми хоть это...

Анка посмотрела на него широко раскрытыми глазами, полными гнева и презрения.

— Купишь нашей дочке обувку, одежонку...

— Вижу, каким ты был негодяем, таким и остался,— покачала головой Анка.— Спрячь деньги. Я совестью не торгую. А моя дочь ни в чем не нуждается. У нее есть все необходимое.

— Но ведь я же отец Вале...

— Нет, моей Валюше ты не отец!.. А если у тебя куцая память, так я напомню тебе кое-что... Забыл, как бросил мне в лицо грязное слово — «шлюха»?! Забыл, как отрекся от ребенка, обозвал его ублюдком?..

— Анка, забудем прошлое,— умоляюще зашептал Павел, оглядываясь на дверь.— Ради нашей дочери забудем...

— Такое не забывается, Павел Тимофеевич. Я еще раз говорю: ты не отец! Уходи!— она отвернулась.

Павел сгорбился, вобрав голову в плечи, толкнул ногой дверь, вышел в приемную. Вслед за ним полетела рассыпавшаяся пачка банкнот. Собирая деньги, Бирюк незаметно для удрученного Павла сунул в карман несколько полусотенных. Вскоре через приемную с холодным, замкнутым лицом прошла Анка. Когда за ней захлопнулась дверь, Павел сжал кулаки, процедил сквозь зубы:

— Хамье... Злыдни проклятые, мой курень и подворье под детские ясли забрали... Баркас, подчалки и сети колхоз присвоил... Да еще такое хамское обращение?.. Ну, погодите!..— приглушенно погрозил он, потрясая кулаками.

Бирюк широкой ладонью зажал ему рот, злобно зашипел у самого уха:

— Дурак... Разве ты не знаешь, что и у стен есть уши? У моего батьки все конфисковали. Видал, в какой хибарке живу? И не кричу во все горло. Терплю... Идем. Да смотри, держи язык за зубами...

— Ты прав,— согласился Павел.— От обиды вскипел я, не сдержался. Шлюха чертова... Доняла она меня...

— А ты не давай донимать себя.

— Больше не дамся,— Павел бросил на голову измятую шляпу, кивнул на дверь:— Пошли...

VI

На пятые сутки возвратились к родным берегам рыболовецкие бригады. Анка, увидев в окно колонну моторных с высокими мачтами судов, сняла с вилки телефонную трубку, позвонила в райком.

— Андрей Андреевич?.. Васильев со всем своим колхозом к берегу парусит... Через час флотилия будет у Косы.

— Выезжаю!— послышался в трубке короткий ответ Жукова.

Вернувшийся с конференции Кострюков сообщил бронзокосцам приятную новость: Жуков избран секретарем райкома. Андрея Андреевича знали почти все коммунисты района. И когда представитель обкома партии от имени областной партийной организации рекомендовал его кандидатуру на должность первого секретаря райкома партии, делегаты партконференции единодушно избрали Жукова секретарем Белуженского райкома партии.

Когда Жуков приехал на запыленном «газике» в хутор, берег, оживленный и людный, пестревший множеством разноцветных платьев, платков и косынок, был похож на огромную цветочную клумбу. Моторные суда, огибая длинную стрелу песчаной косы, гуськом входили в тихий залив и направлялись к причалам. На мачте впереди идущего судна гордо реял красный вымпел, озаренный багряными лучами клонившегося за пригорок солнца.

Анка, Жуков и Евгенушка подъехали к берегу. При появлении «газика» Павел и Бирюк, стоявшие в сторонке, поторопились затеряться в толпе женщин.

— Под вымпелом идет «Буревестник»,— воскликнула Анка, вылезая из машины.— Видите, Андрей Андреевич?

— Вижу.

— На нем комсомольско-молодежная бригада «двухсотников».

— Это что же за «двухсотники»?

— Они взяли на себя обязательство выполнить годовой план улова на двести процентов.

— Молодцы ребята! Наши комсомольцы в любом деле первые застрельщики,— с отеческой теплотой говорил Жуков, любуясь стройной колонной флотилии.— Кто же у них бригадиром?

— Пронька Краснов, а бригаду организовать помог ему секретарь партийной организации колхоза,—и Анка с улыбкой посмотрела на Евгенушку.

У Евгенушки порозовели щеки, и она, радуясь за своего мужа, смущенно проговорила:

— Это мой Виталий.

— Дельный мужик Дубов!— похвалил Жуков.

— Вторым идет «Таганрог»,— объясняла Анка,— третьим — «Ейск», четвертым — «Керчь», пятым — «Темрюк»...

— А шестым — «Азов»,— подхватила Евгенушка,— седьмым — «Мариуполь», восьмым — «Бердянск».

— Как же вы распознаете их? — удивился Жуков.— Ведь они совершенно однотипные!

— Своих родных да не распознать? — весело взглянула на него Анка.— За десять верст опознаем каждое судно бронзокосцев.

— Да... Тут, действительно, надо иметь настоящий морской глаз.

— У моря рождены, в тузлуке крещены,— засмеялась Анка.

Суда пришвартовывались к причалам. Покидая борт своего судна, бригады рыбаков одна за другой сходили на берег. Навстречу им устремлялись женщины и дети, обнимали, целовали. То и дело слышались возгласы:

— С благополучным прибытием!

— С богатой добычей!

— Благодарствуем! — отвечали рыбаки. Они брали на руки детей, а жены несли их походные робы.

Григорий Васильев троекратно обнял Жукова, взглянул на Кострюкова сияющими от радости глазами, кивнул на секретаря райкома:

— Не забыл боевых друзей, а? — и к Жукову: — Значит, опять к нам в Приазовье?

— Опять к вам, и теперь уже навсегда.

— Вот это наш, морской, порядок! — одобрил Васильев, еще раз пожимая Жукову руку.

А Кострюков подталкивал тихого, застенчивого Краснова, говорил:

— Иди, иди, Михаил Лукич, поздоровайся с Андреем Андреевичем. Или не узнаешь Жукова?

— Признаю... как же... — смущенно бормотал Краснов.— Да как-то совестно глядеть ему в глаза.

— Почему? — спросил Васильев.

— За ерик... за ту рыбную коптильню... Тимофей Белгородцев тогда в грех меня ввел...

— Эк, братец, чего вспомнил,— махнул рукой Васильев,— что было, то волной соленой смыло.

Жуков пожал Краснову руку.

— Здравствуй, Лукич! Как промышлял рыбу?

— Лукич у нас один из лучших бригадиров,— сказал Васильев.— Вы не глядите, что он с виду тихий — работает он с таким жаром, что вот-вот «двухсотников» догонит... Сынка-то своего, Проньку...

— Ну, это еще бабушка надвое гадала! Проньку ему не догнать,— словно из-под земли вырос перед Жуковым Дубов, в высоких с отворотами сапогах, в темно-серой заправленной в брюки рубашке, перехваченной красным кушаком. На сгибе левой руки Дубова висела винцарада, серебрившаяся присохшей к ней рыбьей чешуей, в правой он держал широкополую клеенчатую шляпу.— Привет товарищу Жукову! — и он, кинув на голову шляпу, протянул ему руку.

— Здорово, Виталий!

— Привет Андрею Андреевичу!

— Привет! — работая локтями, сквозь толпу к Жукову пробивались Сашка Сазонов и Дмитрий Зотов.

— Ну, теперь объятиям конца не будет,— засмеялся Васильев.— Пошли, Андрей,— и он потянул Жукова за руку.

— Пошли, Григорий,— окруженный колхозниками, Жуков направился в хутор.

К Дубову подбежала дочка, крепко ухватилась за его руку, защебетала:

— Ой, папка, как ты долго плавал, мы с мамой ждали, ждали тебя...

Дубов подхватил дочку.

— Да родная ты моя! Рыбка золотая!...

Евгенушка, идя рядом, так и светилась счастьем. Анка вела за руку дочку и разговаривала с Кострюковым. Павел и Бирюк, стоя на берегу, хмурыми взглядами провожали колхозников.

— Видел? — толкнул Павел Бирюка.— У каждого ребенка есть отец... Сколько радости у дочки Дубова... Что же отвечает Анка нашей Вале, когда она спрашивает, где ее папка?...

— Брось думать об этом,— проворчал Бирюк.

— Не могу... Десять лет ждал... можешь ты это понять? Я ее, чертовку, знаешь, как люблю?..— он отвернулся к морю, мотнул головой, со стоном выдавил: — Не могу...

— Дурак! — с досадой сплюнул Бирюк и зашагал вдоль берега.

— Это ты дурак!— бросил ему вслед Павел.— Думаешь, чего я ждал? Мне только уломать бы ее, а потом мстил бы ей за обиду. В могилу свел бы...

На другой день по возвращении рыбаков с моря по просьбе коммунистов Жуков вновь приехал на Косу.

Открытое партийное собрание проходило в Доме культуры. Вместительный зрительный зал был переполнен. Председательствовал Дмитрий Зотов, Евгенушка была за секретаря. На трибуне стоял председатель колхоза Григорий Васильев. Он говорил ровным, спокойным голосом, листая страницы записной книжки.

Собравшиеся внимательно слушали. Даже дед Панюхай, сидевший в президиуме рядом с Жуковым, не отрывал от трибуны немигающих глаз, оттопырив пальцами ухо. Он то и дело склонял голову к Жукову, шепотом выражая свое одобрение:

— А ить ловко-то как чешет, чебак не курица, а?

Зотов стучал по графину карандашом, делал Панюхаю знаки: «Порядок, мол, нарушаешь...». Панюхай виновато моргал глазами и снова весь обращался в слух.

Васильев говорил, что бригады выходят на лов бычка с одной драгой, а Пронька со своими дружками «двухсотниками» работает двумя. Притонение драги[1] продолжается от сорока пяти минут до часа. Этого времени вполне хватает бригаде на то, чтобы не только осмотреть первую драгу, но и при надобности устранить повреждения. Работая двумя драгами, они экономят по сорок минут на каждом притонении. Каждая рыболовецкая бригада при нормальной работе делает десять-двенадцать заметов, а комсомольско-молодежная бригада «двухсотников» — шестнадцать—восемнадцать.

— Вот и посудите, товарищи, как выгоднее работать: одной или двумя драгами?

— Двумя!..

— Надо равняться по «двухсотникам!» — послышались возгласы.

— Тише, товарищи! — вскинул руку Зотов.

— Чего там «тише!» — поднялась со стула Акимовна, как всегда добродушно-строгая, с гладко причесанными седыми волосами.— Дай людям свои думы обнародовать.

— Всем желающим высказаться будет предоставлено слово,— пояснил Зотов.— И вам, Акимовна...

— А я долгие разговоры разговаривать не охотница. По мне, чтоб слов поменьше, да к делу ближе. Вот и весь мой сказ,— и она опустилась на стул.

— Верно, Акимовна!

— Дельно гутаришь!— поддержали женщины.

---

[1] Притонение драги — время нахождения сети в море.

— Товарищи! — снова застучал карандашом по графину Зотов, загребая пятерней и отбрасывая назад падавшие на глаза волосы.— Не мешайте докладчику..

В зале притихли. Зотов кивнул Васильеву. Тот полистал записную книжку, захлопнул ее и, глядя на Акимовну, сидевшую между Анкой и Пронькой в первом ряду, продолжал:

— Затем я и выходил с рыбаками в море, чтобы ознакомиться с опытом работы «двухсотников», изучить на месте метод лова рыбы, а потом доложить об этом партийному собранию...

После докладчика на трибуну поочередно поднимались рыбаки, все они высказывали одну мысль: последовать примеру молодежной бригады. Панюхай сидел, уставившись глазами в одну точку, о чем-то размышлял. Вдруг он привалился плечом к Жукову, зашептал:

— Вот какая думка пришла мне в голову, Андреич... В колхозе еще водятся мелкие прибрежные орудия лова. Давно время приспело послать их к чертовой бабушке. Пользы от них ни на грош... Вот построить бы крупные ставные невода да забрасывать их в глубь моря. Соображаешь, сколько рыбы будет?

— А ты возьми слово и выступи,— посоветовал Жуков.

— Да уж времени нету. Мне пора на МРС в ночное дежурство заступать. А то б я им уяснил это дело,— он пожал Жукову руку и, ступая на носки, тихо вышел.

Собрание подходило к концу. Многие высказались по докладу председателя колхоза Васильева. Вопрос, казалось, был ясен. Однако рыбаки выразили желание послушать самого бригадира «двухсотников».

— О чем говорить? — вздернул плечами веснушчатый, рыжеволосый Пронька.— По-моему, все ясно.

— Раз народ просит — иди на сцену,— толкнула его Анка.

Он поднялся на трибуну, подумал и начал так:

— Некоторые товарищи говорят, что, дескать, счастье рыбацкое само за мной ходит. Само счастье ни к кому не придет. Его надо искать. А оно, наше счастье рыбацкое, в глуби моря плавает,— улыбнулся серыми живыми глазами Пронька.

— Верно сказываешь! — опять не сдержала себя Акимовна.

— Наша молодежная бригада,— продолжал ободренный Пронька,— при всякой погоде каждые сутки производит по две обработки ставников. Мы установили для себя твердое правило: не дожидаться подхода косяков рыбы к берегу, а искать и находить ее в глуби моря. К тому же нам хорошо помогает авиация.

У Анки заблестели глаза, и она одобрительно закивала Проньке.

— Но не могут же самолеты все время вести разведку только на одном участке. На кольцевом побережье Азовского моря много рыболовецких колхозов, немало и флотилий, и всех с воздуха сразу не обслужишь. Надо самим быть и ловцами и разведчиками. Вот и все,— и Пронька сбежал по ступенькам со сцены.

Тогда поднялся секретарь парторганизации Дубов.

— Бригадир «двухсотников» забыл сказать вам об одном деле, о котором ребята уже толковали промеж собой в бригаде.

Пронька прислушался, поднял на Дубова глаза.

— А дело вот какое, товарищи... Придумали хлопцы штормоустойчивый ставник...

— И верно забыл! — почесал в затылке Пронька.

— Вещь очень полезная. Надо ввести такие ставники во всех бригадах. Выгода от них огромная. Возьмите ставные невода типа «Гигант». На чем они крепятся?..

— Известно, на гундерах, на опорных столбах,— отозвался кто-то из рыбаков.

— Вот видите,— подхватил Дубов.— А ведь эти столбы в морское дно вбивать надо. Новый ставник их не потребует. Его невод держится на наплавах, которые позволят неводу выстоять при шторме до восьми баллов. Гундерному же неводу с жестким креплением, попавшему в такой шторм, будут нанесены большие повреждения.

— Ай да «двухсотники»,— заулыбался Кострюков, глядя на Жукова.— Да они скоро станут «трехсотниками». Ведь чертовски хорошая мысль!

— Мысль замечательная!— согласился Жуков.

В зале зашумели. Рыбаки горячо обсуждали между собой новаторские методы бригады «двухсотников». Но когда раздался дребезжащий звон от ударов карандаша о графин и на трибуну взошел Жуков, шум мгновенно смолк. Всех интересовало, что скажет новый секретарь райкома.

— У меня, товарищи, осталось отрадное впечатление от сегодняшнего собрания. Правильно поступает ваша парторганизация, что не отгораживается от колхозной массы, а выносит на коллективное обсуждение партийных и беспартийных товарищей важнейшие вопросы труда и жизни рыбаков.

На собрании было высказано много ценных мыслей. Почаще проводите, товарищи коммунисты, такие собрания. Польза от них огромная. Права Акимовна, говоря: чтобы слов поменьше да к делу ближе. Ваше собрание было действительно деловым. Поэтому не буду больше задерживать ваше внимание. Скажу одно: хоро-

шенько продумайте всем коллективом все, что здесь говорилось, и за дело. Верю в вас и от души желаю вам успеха.

Коммунисты одобрили новаторский метод «двухсотников». Было единодушно решено: внедрить новшества во всех бригадах колхоза и перейти на штормоустойчивые ставники.

Собрание кончилось, люди расходились. Анка и Евгенушка попрощались с Жуковым и заторопились домой. Дубов, Зотов, Сашка-моторист, Пронька, Васильев и Кострюков, окружив Жукова, продолжали оживленно беседовать.

— Эге! — спохватился Васильев.— Смотрите, зал совсем опустел, только одни мы здесь маяками торчим. Пошли ко мне ужинать, а то Дарья поди заждалась уж. Дома и потолкуем.

— И то правда,— согласился Сашка-моторист.— Все пойдем, что ли?

— Все!— махнул Васильев рукой.— Пошли.

— Мне до дому пора,— взглянул на часы Жуков.

— Никаких разговоров. Идем. С женой познакомлю...

— Пошли, пошли, Андрей,— подтолкнул его Кострюков.— Не упрямься. В Белужьем хозяин — ты. А на Косе — мы хозяева.

Жуков развел руками:

— Видать, ничего не поделаешь. Ну, так и быть, пошли.

VII

Стол уже был накрыт. Гостеприимная хозяйка припасла к ужину вина. Встретила она гостей радушно:

— Садитесь и будьте как дома. А вас, Андрей Андреевич, я давно знаю.

— Вот как, откуда же?— удивился Жуков, любуясь статной, чернобровой Дарьей.

— Мой Гриша и вот Кострюков частенько говорили о вас, вспоминали, как вместе партизанили в гражданскую войну, как организовывали колхоз на Косе.

— Да-а,— оживился Жуков, и лицо его просветлело.— Было дело... А сколько еще мирных больших дел впереди, верно, однополчане?— взглянул он на Кострюкова и Васильева.

— На все свое время— и на дела и на заслуженный отдых,— заметил Кострюков.—Я уж не говорю о ранении твоем, Андрей, но тяжелая контузия — с ней шутки плохи. Пора бы и на отдых.

— В своем ли ты уме, Ваня?— запротестовал Жуков.— В такое время — и на отдых?

— Вот что дорогие, желанные гостюшки,— вмешалась Дарья.— Разговорами сыт не будешь. Принимайтесь за еду, а ты, Гришенька, «подливочкой» распорядись.

— Это мы враз, женушка. А ну, друзья, подставляйте стаканы. Я-то пью самую малость и только по праздникам. А сегодня у меня большой праздник!— и он выразительно посмотрел на Жукова.— Выпьем по единой за здоровье нашего с Иваном боевого друга!

— А если надо будет — повторим! —поднял рюмку с водкой Сашка.

— Такой тост грех не поддержать,— сказала Дарья, наливая себе в бокал вина.

Только Пронька не притронулся к рюмке.

— Ни вином, ни табаком не балуюсь,— как бы извиняясь, пояснил он.

— Молодчина!— похвалил его Жуков.

Закусывали селедкой с зеленым луком, редиской, вареными яйцами и сливочным маслом. Когда Дарья поставила на стол дымящиеся паром тарелки с жирной осетровой ухой, Жуков от удовольствия прищелкнул пальцами:

— Вот это еда! Одним ароматом можно насытиться.

— Хвалите, Андреевич, не отведавши?— еще больше зарумянилась от похвалы хлебосольная Дарья.— Вы прежде откушайте.

— Ты, Дарья, еще не знаешь нашего гостя. До шорбы он большой охотник. Все из тарелки вычерпает, да еще добавки попросит,— сказал Кострюков.

— Вот такие гости нам любы.

Ужин прошел в оживленной беседе. По душам поговорили, пошутили, посмеялись.

Время близилось к полуночи, и Жуков заторопился.

— Может, переночуешь у нас? — предложил Васильев.

— Не могу, Григорий,— отказался Жуков.— Надо побывать и в рыболовецких и в земледельческих колхозах, с людьми познакомиться. Ну, хозяюшка, оставайтесь живы-здоровы. Спасибо за ужин. Давно такой доброй ухи не едал.

— На здоровье, Андреевич. Приезжайте, всегда желанным гостем будете. Да супругу свою привозите.

— Далеко она — в Якутии. Как устроюсь с квартирой, вызову сюда. Тогда уж непременно приедем вместе.

Прощаясь с Пронькой, он спросил:

— Скоро в армию?

— Осенью, Андрей Андреевич.

— Послужи Родине, послужи. Там и для себя много полезного почерпнешь. Армия — хорошая школа.

Жуков еще раз поблагодарил хозяйку и уехал.

Тихая теплая ночь окутала сонный хутор. С берега едва ощутимо дул легкий бриз. На зыбкой поверхности моря искрилась лунная дорожка. В синем безоблачном небе слабо мерцали бледные звезды. Слышно было, как под обрывом сонно ворочалась и тихо звенела вода: блюм... блюм... блюм...

Хорошо в такую чудную ночь, взявшись за руки, пройтись с любимой по пустынному берегу или присесть на прохладный песок у самой воды, слушать дремотный шепот набегающих на косу волн и настежь распахнуть перед милой свою душу. Но...вокруг никого. Тоска давит на сердце холодным камнем, а в душе зябкая, вызывающая во всем теле неприятную дрожь пустота. Тяжкой, невыразимо острой болью ранит сердце одиночество!..

Павел одиноко бродит по берегу. Мрачные, невеселые думы неотступно преследуют его.

«Неужели в ее сердце не осталось ни капельки прежних чувств ко мне?.. А ведь любила ж... Да как любила!..» — и Павел, зажмурившись, живо представил себе, как они с Анкой в такую же сказочную ночь уходили по залитому лунным половодьем берегу далеко-далеко, садились на косогоре и молча любовались звездным небом, вслушиваясь в дыхание моря, согретые светлыми надеждами на счастливое будущее... Горячими руками Анка обвивала его шею, обжигала лицо, губы жаркими поцелуями, взволнованно шептала:

— «Павлуша... родной... ненаглядный мой... Навсегда, навсегда любимый...»

С этими воспоминаниями, с надеждой на примирение стремился из города на Косу, к ней, к любимой, истосковавшийся в долгой разлуке Павел. А как его встретила Анка?.. Перед глазами предстала другая картина, от которой бросает в озноб и замирает сердце... Гневное лицо Анки... Пылающие жгучей ненавистью глаза... Презрительные, убийственные слова: «Ты не отец моей дочери... Уходи!»

Павел зябко поежился. Тело била мелкая дрожь. Пошарил в кармане, достал спички и папиросы. Спички как назло ломались, осыпалась сера. Павел уже изжевал мундштук папиросы, а закурить все не мог. Наконец вспыхнул огонек. Выплюнул изжеванную папиросу, взял другую и с жадностью глотнул горький дым.

«Не верю... не верю... — твердил про себя Павел.— Это она из гордости сказала такое... Старая обида вспомнилась... Это она в отместку мне за то, что я бросил ее и ушел в город... От ребенка отрекся... А она вон как в гору пошла. Вот и задирает нос... Да только все равно любит... любит, чертовка гордая!.. Что ж, подождем, Павел Тимофеевич, потерпим. Остынет и простит... Да и кому она нужна с пригульной дочкой?..— криво усмехнулся Павел.— Врешь, покоришься. А потом уж я потешусь над тобой. Я тебе припомню твои слова...»

Он посмотрел на яркие огни Дома культуры и зашагал в хутор.

На пустынной улице Павлу встретился Бирюк.

— Что, кончилось собрание?

— Скоро кончится,— зевнул Бирюк.— Мутит меня от ихней говорильни. Хо-о-зя-е-ва! Идем спать.

— Не хочу. Я еще немного погуляю. Что-то голова болит.

— Смотри, тебе видней.

Бирюк ушел.

Павел, спрятавшись в тени акации, ждал. Ждал долго, терпеливо. Когда луна уже перевалила зенит, из зала Дома культуры выплеснулись людские голоса.

«Наконец-то, кажется, закончили»,— Павел с облегчением пошевелил затекшими пальцами ног.

В ту же минуту на пороге распахнутой двери Дома культуры показались мужчины и женщины, о чем-то горячо спорившие. Среди толпы, растекавшейся по улицам, зоркие глаза Павла разглядели Анку и Евгенушку; он решительно последовал за ними. Услышав позади торопливые шаги, Анка невольно обернулась на ходу, крепко сжала руку Евгенушки, потянула ее за собой, взволнованно прошептав:

— Идем скорее... Я не хочу его видеть...

— Кого?— удивилась Евгенушка.

— Павла.

— А разве это он?

— Он. Слышишь, догоняет.

— Ну и пускай догоняет. Кстати, я хоть посмотрю на него.

— Не советую.

— Почему?

— Влюбишься чего доброго.

— Ревнуешь?— улыбнулась Евгенушка.

— Нет. Я просто боюсь его. Смотрит как-то не по-людски, а по-волчьи. Да и вообще не хочу встречаться с ним.

— Брось глупости, Анка. Не съест же он тебя своим взглядом?

— Как хочешь, а я забегу к тебе, заберу Валю — и домой.

— Да пускай девочка спит у нас.

— Нет, нет... я побегу!— и она скрылась в проулке.

Павел поравнялся с Евгенушкой, заглянул ей в лицо, снял шляпу.

— Доброй ночи, Евгения Ивановна!

— Доброй, доброй, Павел Тимофеевич!

— А я смотрю, что-то фигура и походка знакомые... «Не Евгенушка ли?» — думаю. Так оно и есть.

— Вот уж и неправда твоя,— засмеялась Евгенушка.—И походкой и фигурой изменилась я. Была тощей, как чехонь, не ходила, а вприпрыжку скакала. А теперь все равно что жирная гусыня плыву, одышкой от полноты страдаю,— и она остановилась, переводя дыхание. Остановился и Павел.

— И все же я узнал тебя.

— Глаз у тебя острый. А вот, кто еще был со мной, ты и не заметил.

— Заметил, Евгенушка...— с тоской промолвил Павел.— А чего это она убежала?

— Не хочет, видно, с тобой встречаться.

— Почему? Я же не зверь какой... Я ведь по-хорошему с нею...

Павел стоял против луны, освещавшей его нахмуренное, красивое лицо, и по привычке мял в руках фетровую шляпу. Евгенушка пристально посмотрела на него, отметила про себя: «Красив, однако, идол...»

— Евгенушка... Я знаю, что ты задушевная подруга Анки... Ты знаешь все ее мысли... Скажи: неужто и вправду не рада она моему приезду?

— Сам видел, что убежала. От радости не бегают...

— Так я ж затем и приехал, чтобы помириться с нею... Прощенья попросить...

— Долгонько ж ты собирался с повинной. Даже письма ни разу не прислал.

— Боялся, что все это будет напрасной затеей. А только правду говорю тебе, Евгенушка, истосковался я по ней так, что сил моих нету. Дышать без нее не могу...

— И однако ни много ни мало, а десять лет свободно дышал без нее,— заметила Евгенушка...

— Не дышал, а задыхался... мучился... Я проклинаю тот день, когда ушел из хутора.

— Сбежал,— уточнила Евгенушка.

— Один черт — что в лоб, что по лбу,— сердито проворчал Павел.

Евгенушка заметила, как в его глазах вспыхнули и померкли недобрые огоньки, подумала: «Анка права... Взгляд у него волчий, как у отца...»

Минуту они стояли молча, занятые каждый своими мыслями:

— А тут еще к дочке потянуло...— вновь заговорил Павел.— Хотелось повидать ее... Что там ни говори, а отец я Валюше кровный...

— Не тот отец, кто породил, а тот, кто воспитал ребенка.

— Вот я и не понимаю Анку. Почему бы нам не помириться хотя бы ради нашего ребенка? Вале нужен отец. Ей нужно дать хорошее воспитание...

— Опоздал ты, Павел.

— То есть, что значит «опоздал»?

— Валя не помнит и не знает тебя. Это, во-первых...

— А во-вторых?— насторожился Павел.

— У Анки есть жених.

— Ага! Так вот оно что?.. С этого бы и начала. Кто же он?

— Летчик один. Замечательный человек!

— Так...— упавшим голосом произнес Павел, понурив голову.

— Да, вот так, Павел Тимофеевич,— сказала Евгенушка.— Невеселые твои сердечные дела.

— Невеселые, Евгенушка...— угрюмо промолвил Павел.— Что же мне теперь делать?

— Уезжать туда, откуда приехал. И глаз своих сюда больше не казать. Тебе здесь делать нечего. На примирение с тобой Анка не пойдет. Не такая твоя вина, чтоб простить можно. Да и есть у нее любимый человек.

— Ох, хоть ты не мути душу!— Павел с силой ударил себя кулаком в грудь.— Ну, черт с ней, с гордячкой. Мне дочь нужна. Я хочу воспитывать Валю. Я хорошо зарабатываю на заводе...

— Напрасно стараешься,— перебила его Евгенушка.

— Анка не отдаст тебе дочь. Валя получит хорошее воспитание, можешь не беспокоиться. Ну, мне пора домой. Спокойной ночи!— и она пошла вдоль улицы, оставив обескураженного Павла одного.

«Теперь ясно, почему она задирает нос... У нее женишок есть... Летчика в сети поймала... Хитрая, шельма...»

Павел в бессильной ярости сжал кулаки и медленно двинулся вниз по улице шаткой разбитой походкой. Все его надежды рушились. Анка была потеряна навсегда.

VIII

Павел запил... На четвертый день, после разговора с Евгенушкой, он почувствовал себя плохо. Все нутро словно было охвачено пламенем, во рту и горле пересохло. Он поставил перед собой ведро и, черпая кружкой, с жадностью пил холодную воду. Наблюдая за Павлом, Бирюк осуждающе качал головой:

— Черт-те что! Из-за бабьей юбки так убиваться! Срамота!

Павел молча пил воду. Ему показалось, что изо рта у него вырывается пламя, и он осушал кружку за кружкой.

— Доведись кому другому,— продолжал Бирюк,—так он бы, чем самому убиваться, ее прихлопнул бы...

Павел уронил в ведро кружку и поднял на Бирюка налитые кровью, злые глаза.

— Ну, что таращишь на меня буркалы?— дернул головой Бирюк.— Прихлопнул бы в темном уголке, камень на шею и — с обрыва в море. Потом ищи-свищи... А как ты думал?

— И прихлопну!— в бешенстве вскричал Павел.

Согнувшись, он сжал руками трещавшую от боли голову и, покачиваясь из стороны в сторону, продолжал:

— Тогда, десять лет назад, прогнала меня... Позора не побоялась... И теперь обидела... отвернулась...

— Дуракам так и надо. Дураков учить надо,— в тон ему проговорил с едкой усмешкой Бирюк.

— Ладно смейся,— махнул рукой Павел, не поднимая опущенной головы.— Мне теперь все равно... Ты бы лучше вот что... Чем насмехаться, показал бы мне Валю... Ведь я еще не видел ее и не знаю, какая она есть...

— Вылитая мать. Копия Анки.

— А ты все же покажи.

— Подвернется случай — покажу,— пообещал Бирюк.

И случай представился...

Вскоре в обеденный перерыв Бирюк вошел в хату и застал Павла за бритьем.

— Кончай наводить красоту.

— А что?— повернул к нему Павел намыленное лицо.

— Идем.

— Куда?

— Дочку смотреть.

— Не шутишь?

— Да ну тебя к черту. У меня только и делов, что с тобой шутки шутить. Идем, мне некогда.

Павел наспех поскоблил бритвой щеки, подбородок, плеснул

в лицо горсть воды, вытерся и швырнул на спинку кровати полотенце. Еще раз посмотрел на себя в осколок зеркала, вделанный в стену.

— Хорош, хорош, красавчик. Хватит волынить. Пошли,— торопил Бирюк.

— Хорош-то хорош, а вот мешки под глазами... Тьфу! Да уж ладно, пошли.

Бирюк привел его в конец улицы. У тропинки, круто сбегавшей к морю, остановился, кивнул вниз.

— Вот она.

На берегу копались на песке Валя и Галя. Обе девочки были в одинаковых цветастых сарафанчиках.

— Которая ж из них моя?— спросил Павел.— С белым бантом?

— Не угадал, то дочка Евгенки. Твоя вон — с красными лентами в косичках. Да ты ее по мордашке да по глазам враз узнаешь. Иди, а мне пора в сельсовет.

Павел спустился вниз и тихо приблизился к девочкам. Заслышав шаги, Валя обернулась.

«А ведь и впрямь вылитая Анка!»— чуть не ахнул Павел, но вовремя сдержался.

— Что, девочки, золото ищете?— спросил ласково.

— А тут золота нету, дяденька,— ответила Валя.

— Мы ракушки собираем,— пояснила Галя.

— Вот как!— Павел опустился на корточки.— Занятные ракушки. А что же вы с ними делаете?

— На коробки наклеиваем...

— У меня вот такая коробка!— широко развела руками Валя.— Почти всю ракушками украсила. Только чуточку осталось доклеить.

— А у меня тоже есть коробка. Только чуть-чуть меньше Валиной. Красивая!

— Ишь ты! Да вы настоящие мастерицы.

— Ага!— кивнула головой Валя.

— А в школу вы ходите?

— В четвертый класс перешли,— с гордостью ответила Галя.— Мы уже пионерки.

— Умницы,— похвалил Павел.— Мамы и папы, наверное, довольны вами.

— У меня нету папы,— потупила глаза Валя.

— У нее нету папки,— подтвердила Галя.— Он помер.

— Жаль... А без папы тяжело?

— Не знаю,— вздохнула Валя.

Помолчали.

— Да, с папой легче жить,— сказал Павел.

— Конечно, с папой лучше,— согласилась Галя.— Мой папа рыбу ловит в море. Он маме деньги приносит, а мама обувку и одежку в магазине покупает мне. И конфеты...

Валя, перебирая на песке ракушки, молчала.

— А ты...— глядя в Валины глаза, спросил Павел,— хотела бы иметь папку?

Девочка заколебалась. Она вспомнила дядю Яшу, который часто прилетает на Косу, ласкает ее и приносит подарки, и тихо проговорила:

— Не знаю...

Снова помолчали.

— Вот что...— подыскивая слова, Павел собрал на лбу гармошку морщин.— Тебя, кажется, Валей зовут?

— Валей.

— Так вот, Валюша... Я хочу купить у тебя ту самую коробку... большую, что у тебя дома.

— А зачем покупать?— удивилась Валя.— Я вам ее за так подарю.

— Ты добрая девочка,— Павел ласково провел ладонью по мягким выгоревшим на солнце волосикам.

— У нее мама тоже добрая,— сказала Галя.

— Это хорошо, когда мама добрая... Так вот... скажи маме, что один дяденька купил у тебя коробку... разукрашенную ракушками... И вот,— он вынул из кармана пачку денег, протянул Вале...— Я плачу тебе за нее.

— Ой!— воскликнула изумленная Галя.— Сколько денег!

— Тут столько, сколько стоит коробка,— сказал Павел.

Валя покачала головой:

— Не возьму, дяденька.

— Почему?.. А я коробку твою за так не возьму.

— Мама будет бранить меня.

— Что ты, глупенькая. Ведь ты продаешь мне свою вещь. Ты хозяйка своей коробки. За что же бранить тебя? Раз у тебя мама добрая...

— Добрая! — опять вставила Галя.

— ...тогда и бояться нечего, — продолжал Павел. — Завтра в это время ты принесешь мне сюда, на берег, коробку. Бери, бери деньги.

— Возьми, — подтолкнула ее Галя.

Валя больше не упрямилась.

— Вот и умница, — вновь погладил ее по голове Павел. — А я завтра буду ждать здесь тебя с коробкой.

— Лучше пойдем к нам домой. Я вам и отдам коробку.

— Нет, нет! Приходи завтра сюда.

Он попрощался с девочками и стал подниматься по тропинке, унося с собой вновь возникшую смутную надежду на примирение с Анкой.

В тот же день, вечером, Бирюк принес ему из сельсовета туго набитый запечатанный конверт.

— Что это? — спросил Павел, рассматривая чистый, без адреса конверт.

— Не знаю, что. Атаманша наказала передать тебе в собственные руки.

— Анка?.. — он торопливо вскрыл конверт и потемнел лицом. Там были деньги и записка. Анка писала:

«Самое глупое — это развращать ребенка деньгами. А самое разумное, что ты можешь сделать, это выбросить из головы мысли и надежды на наше примирение и убраться поскорее восвояси...»

Подписи не было, не было и имени Павла. Он швырнул на стол деньги и с остервенением разорвал записку.

— Когда прибывает из Ростова «Тамань»? — внезапно охрипшим голосом спросил Павел.

— Завтра вечером, — буркнул Бирюк. — А что?

— Надо отчаливать отсюда. К черту все!

«Неужели и деньгу с собой увезет?» — с тревогой подумал Бирюк, пожирая алчным взглядом валявшиеся на столе банкноты.

— А пока... тащи водки! Гулять будем! К черту! Все к черту! Гулять будем!

— Ладно, ладно, только не ори, — заулыбался повеселевший Бирюк, подходя к столу и потирая руки. — Чего взять?

— Чего хочешь.

— Сколько?

— На все бери. На все! — Павел сгреб со стола деньги и сунул их в руки Бирюку. — Я еще заработаю. Мне, брат, на заводе — почет! А она... Шлюха!..

— Ну хватит! — оборвал его Бирюк. — Прикуси язык, говорю. Ты сел на корабль и был таков, а мне здесь оставаться. — Он взял кошелку и ушел, громко хлопнув дверью.

Павел бросился на скамейку, упер локти в крышку стола, опустил голову на сцепленные пальцы и молча закачался из стороны в сторону...

«Тамань» пришла на Косу с опозданием. Она причалила к пирсу в полночь. Капитан Лебзяк заметил на берегу только две фигуры, неясно вырисовывавшиеся в лунном свете.

— Что-то безлюдно сегодня на Косе,— сказал Лебзяк своему помощнику.

— Припоздали мы маленько, Сергей Васильевич. Бронзокосцы, поди, уже спят без задних ног сном праведников.

Павел и Бирюк взошли на пирс, остановились возле трапа.

— Ну вот и конец гостеванью. Хотел было повидать Васильева, Кострюкова, Душина, Зотова, Дубова... Вообще всех хуторских ребят. Да разве до того было... — Павел, морщась как от боли, потирал пальцами лоб.

— А на кой черт они тебе нужны? — ворчливо отозвался Бирюк. — Родичи они тебе, что ли?

— И то правда... Эх, гады! Ненавижу их... Всех ненавижу...

— А я, думаешь, люблю?

«Тамань» дала два коротких гудка. Павел наскоро сунул Бирюку руку и быстро взбежал по трапу. Раздался третий гудок.

Лебзяк скомандовал:

— Отдать швартовы! Убрать трап!

Матросы быстро отвязали от деревянной тумбы швартовы, убрали трап. Слегка покачиваясь на волнах, «Тамань» медленно, задним ходом, стала отчаливать от пирса.

— Прощай, друг! — крикнул с палубы Павел.

— Счастливого плавания! — помахал кепкой Бирюк.

— Будешь в городе — заходи!

— Беспременно зайду!..

За волнорезом «Тамань» развернулась и взяла курс на Мариуполь. В море еще долго мигали ее мачтовые огни.

IX

Анка вошла в сельсовет, поздоровалась с Бирюком и направилась к себе. Бирюк сидел перед раскрытой папкой, перебирая бумаги. Анка распахнула дверь, но, видимо, вспомнив что-то, задержалась на пороге. Бирюк вопросительно уставился на нее.

— Передал? — спросила Анка.

— Как было велено... В собственные руки.

— И что же он?

— Чертыхался. Порвал записку, деньги по столу разбросал.

— Разбогател, видать.

— С деньго́й, идол. Говорит: «Мне на заводе в конверте жалованье приносят. Почет! А она, такая, мол, сякая, нос от меня воротит». Это он про вас, значит.

— Где что заработал, то и получай. А от меня почета ему не дождаться.

— Что справедливо, то справедливо, Анна Софроновна... Злой он, чертяка. Батькина кровушка сказывается.

— А чего он на Косе торчит? Делать ему тут нечего.

— Да его уж нету, Анна Софроновна. Поминай как звали.

— Не врешь?

— Побей меня бог, правда.

— Когда же он уехал?

— Ночью. Собрал свои пожитки-лохмындрики и уплыл на «Тамани».

— Скатертью ему дорога! — и Анка шагнула в кабинет, прикрыв за собой дверь.

— Эх-х-е-хе...— покачал головой Бирюк и проводил Анку хмурым взглядом.— Кичишься, атаманша, а у самой, небось, сердчишко екает... Парень-то какой, Пашка, а? И собой видный, и с деньгой...

Бирюк в некоторой степени был прав. Но только до некоторой, весьма незначительной степени. Анка любила Павла. Любила так, как может любить девушка прямой, честной, открытой натуры. И когда вдруг Павел под влиянием отца стал избегать встреч, стыдясь ее беременности, Анка была потрясена. Но страдание попранной любви не сломило девушку. В душе ее родилась ненависть к Павлу.

После осуждения Тимофея Белгородцева Павел предложил ей перейти жить к нему на правах жены. Но Анка не могла простить оскорбления, нанесенного ее женской гордости, и с презрением отвергла предложение. Отвергла, хотя все еще любила Павла. Анке нужны были не самый лучший курень в хуторе, не богатство Белгородцевых, а чистые чувства, искренность и преданность, дружная семейная жизнь. Этого не понимал и не мог понять Павел.

С уходом Павла в город его образ стал постепенно стираться в памяти Анки. Подраставшей дочери она объяснила, что ее отец умер. Да так оно и было. Для Анки он умер навсегда. И наконец она совсем забыла Павла, будто его никогда не существовало...

И вдруг нежданно-негаданно на Косе объявился Павел. Это было похоже на удар грома среди лютой зимы. Удар по старой зарубцевавшейся ране. Анка было растерялась... Сердце

ее то замирало, то стучало торопливым боем. Ночь она провела в мучительной бессоннице. Внезапный приезд Павла разбудил давно уснувшие мысли, воскресил картины далекого прошлого... Оказывается, не так-то легко забыть, начисто вычеркнуть из памяти того, кому отдано первое девичье чувство, от кого родила дочь. Но усилием воли Анка подавила эту мгновенную слабость, взяла себя в руки. Павла встретила с холодным равнодушием и не пошла на примирение с ним. Прошлое пугало ее, как тяжкий жестокий сон. И она не хотела вспоминать о нем. Душа ее рвалась в будущее, сулившее счастье. А будущее было связано с Яковом Орловым, человеком с соколиными крыльями, смелым и отважным в воздухе и таким кротким, по-детски застенчивым в ее, Анки, присутствии. Мысли об этом человеке, который стал для нее с дочкой дорогим и близким, укрепляли в ней веру в их будущую счастливую жизнь.

И если в тот день, когда Бирюк сообщил, что Павел уехал, у Анки действительно «екнуло» сердце, то это была последняя дань первой, навсегда угасшей любви, оборвавшая последнюю из нитей, когда-то связывавших их с Павлом...

В полдень Бирюк постучал к Анке, приоткрыл дверь.

— Заходи, чего жмешься,— пригласила Анка.

— Да я только хотел сказать, Анна Софроновна, что мне пора в столовую, а то на перерыв закроют.

— Иди, иди, — махнула рукой Анка.

Бирюк тихо прикрыл дверь. Оставшись одна, Анка прошлась по кабинету, произнесла вслух:

— Вот и хорошо, что уехал. Все, что ни делается, то к лучшему... Нечего ему здесь искать, чужие мы...

Потом она опустилась на диван, откинулась на спинку, полузакрыв глаза. Сидела против окна, из которого открывался вид на море. Несколько секунд смотрела, прищурившись, потом порывисто поднялась с дивана, подошла к окну и, радостная, сияющая, тихо воскликнула:

— Яшенька летит!

Постепенно снижаясь, к Косе шел на посадку самолет.

Легкие самолеты авиации специального назначения базировались на Тамани, в городе Темрюке. Прославленный среди рыбаков искусный разведчик рыбных косяков летчик Яков Макарович Орлов поднял с аэродрома свой самолет как всегда, рано утром. Летчик долго кружил над Керченским проливом, снижался до пятисот метров, вновь взмывал ввысь, обследуя

пролив вдоль и поперек. Но на морской глади не было никаких признаков рыбных косяков, ни малейшего мутноватого пятнышка.

Ничего не обнаружил Орлов и в районе Анапы. Водоемы Черноморья, прилегающие к Керченскому проливу, точно вдруг обезрыбели.

«Что ж, попытаем счастья на Азове», — решил Орлов. У выхода из пролива в Азовское море самолет лег курсом на северо-восток, идя на высоте четырехсот метров над краснодарским берегом. Внизу на водной глади сновали рыбацкие суда в поисках рыбных косяков. Наконец Орлов заметил широкую и длинную темную полосу, протянувшуюся вдоль берега, и тотчас же радировал рыбакам. Суда рыболовецких флотилий устремились в указанный летчиком сектор. Самолет покружил над косяком и ушел дальше в разведку.

Орлов несколько раз пересек от берега до берега узкое море, обнаруживая один косяк рыбы за другим. Когда он на бреющем полете проносился над флотилиями, рыбаки приветствовали его взмахами широкополых шляп. Орлов так увлекся удачной разведкой, что не замечал, как бежало время. Спохватился он, лишь когда стрелка бензомера замерла у нулевой отметки.

«До запасной площадки дотяну...» — подумал летчик и, развернув самолет, взял курс на Бронзовую Косу.

На сей раз горючее действительно было на исходе. И это оказалось очень кстати. Пока техник-моторист будет заправлять баки бензином, Орлов повидается с Анкой и сообщит ей кое-что такое, чему она должна обрадоваться. Он давно убедился в том, что Анка отвечает на его любовь. По крайней мере, он очень надеется на это. Зачем же играть в молчанку? Он мужчина, он должен первый сказать ей о своих чувствах к ней, о сердечных намерениях. И сегодня же. Решено и подписано.

— Ох, Анка, Анка! — с нежностью произнес Орлов, вглядываясь в очертания знакомого берега. — Опять ты будешь с хитринкой посматривать на меня, не веря, что я сделал вынужденную посадку. Разве я виноват, что ненасытный мотор пожирает последние капли бензина... Того и гляди, вот-вот откажет... Но это не беда... Моя любовь к тебе так сильна, что я и без горючего дотяну до площадки...

Он посмотрел вниз через левое плечо. Там, под крылом, сверкнула бронзовым отливом в лучах солнца длинная песчаная коса. Показались моторемонтные мастерские станции, навстречу побежали окраинные домики хутора. А вот и Дом культуры... школа... сельсовет... «Скоро, скоро я увижу тебя, милая, милая, — размышлял он вслух. — У тебя, Анка, такие

глаза, каких нет ни у одной девушки на свете... Они впитали в себя все цвета и все краски синего моря и голубого неба, а солнце зажгло в них лукавые искорки».

Вдруг мотор чихнул и смолк. Стрелка бензомера судорожно качнулась.

«Доехали...» — улыбнулся Орлов и, планируя, пошел на посадку.

Он посадил самолет мастерски, на три точки. Когда Орлов, вылезая из кабины, ступил ногой на крыло, к самолету подбежал моторист.

— Опять на соплях тянули до Косы? — с нескрываемой тревогой спросил он.

— Опять, — кивнул головой летчик.

— Ну далеко ли до греха? Хорошо, когда под тобой земля, спланировать можно. А случись это в открытом море?

— На волнах причалил бы к берегу.

— Все шутите,— ворчал моторист, взбираясь на крыло. Он глянул на бензомер и сокрушенно покачал головой. — С пустыми баками прилетели...

— А ты заправь их. Да быстренько, — и Орлов зашагал в хутор.

Обедали в столовой. Акимовна и Анка ели зеленый мясной борщ, Орлов к еде не прикасался. Он выпил только стакан молока.

— Вкусный борщ — похвалила Анка. — Ты хоть попробуй.

— Я сыт, — отнекивался летчик.

— Кушай, кушай. голубь! — настаивала Акимовна. И к Анке: — Прикажи ему.

— А он не под моим началом, — засмеялась Анка.

— Но гость твой... — Акимовна пристально посмотрела на Орлова, вздохнула: — Все один-одинешенек?

— Один, Акимовна...

— Скучно, небось, одному-то?

— Скучно...

— Жениться тебе надо, Яшенька, подругу жизни себе найти.

— Не так-то легко ее найти, Акимовна, — смущенно проговорил Орлов, опустив глаза.

— Хочешь, голубь, подыщу невесту?— и Акимовна, сдерживая улыбку, мельком взглянула на Анку.— Хо-о-рошую, тебе под стать невесту найду.

— Что ж... За хорошую невесту, Акимовна, в ножки поклонюсь. Однако...— он посмотрел на часы, встал,— мне пора вылетать.

— Вылетай, голубь, вылетай, да обратно прилетай.
— Прилечу, Акимовна.
— А к тому времени и невеста тебе будет.
— Я провожу тебя, — сказала Анка.
— Спасибо, Аня.

Шли молча. За хутором остановились. Глаза Анки светились каким-то особенным светом, от которого становилось тепло и радостно на сердце у Орлова.

«Ей хорошо со мной. Но почему же я молчу, как рыба?» — выругал себя Орлов и решительно произнес вслух:

— Аннушка, я много думаю о тебе.
— Хорошо думаешь или...
— О человеке, которого любишь,— перебил он Анку,—думают только хорошо Я давно люблю тебя... — лицо его залилось краской, он смущенно опустил глаза, пощипывая себя за ухо.

Анка положила свои тонкие руки на его широкие плечи, посмотрела ему в глаза, улыбнулась, горячо прошептала:

— Яшенька... родной ты мой... — и доверчиво припала лицом к его широкой груди.

X

Флотилия МРС вернулась перед вечером с богатой добычей. У холодильника рыбного треста, где разгружались трюмы судов, собралось много народу Рыбаки сдавали приемщикам десятки центнеров судака, леща, сазана, осетра и севрюги. Больше всех добыла красной, самой ценной рыбы бригада «двухсотников». Трюм «Буревестника» был почти доверху загружен осетром.

— Вот это рыбак!
— Ну и Пронька!
— И впрямь за ним счастье само ходит! — наперебой восклицали женщины.

Пронька стоял у трюма и сдержанно улыбался. Поглядывая на приемщика, следил за весами. Вот он кивнул Дубову, его веснушчатое лицо осветилось улыбкой. Он поднял руки и три раза хлопнул в ладоши. Это означало, что молодежная бригада уже сдала три десятка центнеров рыбы.

«Значит, годовой план завершен», — обрадованно подумал Дубов и ответил Проньке широкой улыбкой.

— Вся,что ли? — спросил приемщик.

— Погоди! — подняв руку, крикнул Пронька мотористу: — Майна помалу... — Он заглянул в трюм и через минуту скомандовал:

— Вира!..

Заработал мотор лебедки, трос натянулся и пошел вверх. Из трюма показалась голова белуги, вздетая под жабры на крюк, а через несколько мгновений над палубой «Буревестника» закачалась ее огромная туша.

— Ух ты...— пронеслось по толпе.

— Ну, что? — засмеялся Пронька. — Как вы думаете, станет ли этакое счастье, — он звонко хлопнул рукой по белужьему брюху, — само ходить за рыбаком!

— Как же, жди!

— Пошло же оно за тобой?

— Эге! — торжествующе крикнул Пронька. — Его сперва найти в глуби моря надо, это счастье, да заарканить. Вот тогда оно поневоле пойдет за тобой.

Панюхай, скребя пальцем в редкой бородке, рассыпался хрипотцой.

— Пронька, не задавайся! Когда-тось Пашка Белгородцев засек на заглот белугу поболе твоей. Не заносись, комсомольский секретарь.

— Да что вы, Софрон Кузьмич, — смутился Пронька. — Нисколько я не заношусь. Не один ведь я, а всей бригадой рыбачили. И причем тут комсомол?— он спрыгнул с палубы на пирс, взял у приемщика квитанцию на сданную бригадой рыбу и стал пробираться сквозь толпу к косогору.

— Пашка заарканил белужину на сорок семь пудов. Не задавайся! Так-то, — твердил свое Панюхай.

Пронька обернулся, покачал головой:

— Все чудишь, Кузьмич.

— А чего? Правду сказываю,— Панюхай повел носом, прищурил слезившиеся мутные глаза и втянул ноздрями знакомый солоноватый запах моря.

Дубов медленно поднимался по тропинке. Анка и Евгенушка жестами подзывали его. Увидев отца, Галя бросилась к нему со всех ног по косогору и упала ему на руки.

— Да разве можно так, доченька?

— Ой папка! Чуть-чуть не споткнулась.

— Глупенькая,— он взял ее на руки и понес, медленно взбираясь по крутой тропинке. Подъем в гору и, тяжелые с высокими голенищами сапоги затрудняли движение.

— Да что ты, Виталий!— крикнула Евгенушка.— Спусти ее с рук, сама взбежит.

— Ничего, Гена, — обливаясь потом, улыбался Дубов. — Ничего, — и крепко прижал к себе дочку.—Она ж моя рыбка. Родная моя... Ну вот, а теперь мы на ножки встанем,— и опустил девочку на землю. Поздоровался с Анкой, поцеловал жену, спросил:

— Что это вы так нетерпеливо махали руками?

— Отдохнуть тебе надо,— сказала Евгенушка.— Завтра в Белужье поедешь.

— Зачем?

— Жуков вызывает.

— По какому такому срочному делу?

— Не знаю. Вот Анке звонил.

Дубов вопросительно посмотрел на Анку. Та пожала угловатыми, как у подростка, плечами:

— Мне известно не более того. Просил передать, чтобы ты и Кострюков обязательно завтра утром были в райкоме.

— Что ж... Тогда поскорее в баню и на отдых, — Дубов взял дочку за руку:— Пошли.

По дороге Анка спросила Дубова:

— Ну, как сегодня отличились «двухсотники»?

— Начали ловить в счет будущего года.

— Вот это здорово! Ну, от души поздравляю!

Анка попрощалась с Дубовым и отправилась в сельсовет. Она позвонила в Белужье, попросила соединить с секретарем райкома. Когда в телефонной трубке послышался знакомый голос Жукова, радостно сообщила:

— Андрей Андреевич... Бригада «двухсотников» завершила годовой план вылова... Да, да, передала... И Кострюков и Дубов завтра утром будут в Белужьем... До свидания, Андрей Андреевич... Что?.. И Краснова?.. Проньку?.. Хорошо, передам.. И вы будьте здоровы!..— Она повесила трубку, позвала:— Харитон!

В кабинет вошел Бирюк.

— Я вас слушаю, Анна Софроновна.

— Сходи к Дубову и скажи, что Жуков велел завтра приезжать в район и Проньке Краснову.

— Это я сей момент, Анна Софроновна, — и Бирюк скрылся за дверью.

Рано поутру Кострюков, Дубов и Пронька выехали на колхозной грузовой машине в Белужье. Выкатив из хутора, машина на третьей скорости помчалась по мягкой дороге, оставляя за собой облака пыли. Кострюков, Дубов и Пронька сидели на по-

перечной доске в кузове. Кострюков, покачиваясь, о чем-то думал, а Дубов и Пронька любовались открывшейся перед их глазами картиной. Слева дымилось легким туманом спокойное море, справа простирались до самого горизонта колхозные поля.

У высокого древнего кургана, что когда-то в далеком прошлом служил сторожевой вышкой, а нынче в зимнее время огнем огромного костра предупреждал рыбаков о ледоходе, дорога круто сворачивала вправо. По обеим ее сторонам стеной стояли хлеба. Высоко в небе звенели песни жаворонков. Вдыхая пряные запахи созревающих хлебов и полевых цветов, Пронька сказал:

— Хорошо-то как в степи!..

В эту минуту мимо промелькнула встречная машина, обдала удушливой пылью. Дубов, закрыв лицо руками, помотал головой:

— Нет уж, извини, Прокопий Михайлович... На море, братец ты мой, куда легче дышится.

— А ты носом, носом дыши, а не разевай рот, как рыба на песке,— посоветовал смеясь Пронька.

— Ничего,— сказал Дубов.— Пыль не сало, стряхнул — и не стало.

— О чем шумите, рыбаки?— поинтересовался Кострюков.

— Пронька читает мне лекцию!

— Любопытно. И на какую тему?

— О положительном влиянии степной пыли на легкие и о вреде морского воздуха!..— без улыбки ответил Дубов.

— Неправда!— запротестовал Пронька.— Не верьте, Иван Петрович!— и добродушно покосился на Дубова.— Ох, и выдумщик же ты...

Дубов сказал примирительно:

— Ладно, Прокопий Михайлович, согласен: воздух в степи чудесный, ароматный. Я бы сказал — даже целебный.

— То-то!— засмеялся удовлетворенный Пронька.

Машина уже мчалась по широкому зеленому лугу. Слева, у подножия косогора, вилась маленькая речонка. Быстрая прозрачная вода булькала и звенела на каменистых перекатах. С косогора ветерок доносил терпкие запахи чебреца и полыни, а с берегов речонки тянуло приятной свежестью, воздух был напоен ароматом душистой мяты. Пронька дышал полной грудью и никак не мог насладиться пьянящим воздухом. Веснушчатое его лицо оживилось, на щеках заиграл румянец. Он толкнул локтем Дубова, спросил:

— Ну как, любо?

— Любо,— согласился тот.

Машина взбежала на невысокий косогор, с которого открылась картина большого села Белужьего. Оно раскинулось в глубокой лощине, утопая в зелени фруктовых садов. Машина покатилась под уклон быстрее, через минуту замелькали первые белостенные хаты с веселыми оконцами. У здания райкома, окруженного высокими пирамидальными тополями, шофер затормозил. Здесь уже стояли два грузовика, не менее запыленные, чем бронзокосский.

— Узнаешь, чьи машины? — спросил Кострюков Дубова.

— Как не узнать,— Дубов взглянул на номерные знаки.— Одна — из колхоза «Красный партизан», а другая — из «Октября».

— Верно. Значит, не одних нас вызвал Андрей.

Несмотря на ранний час, Жуков уже был в райкоме и беседовал с секретарями партийных и комсомольских организаций соседних с бронзокосцами рыболовецких колхозов. Увидев Кострюкова, Дубова и Проньку, Жуков весело закивал им:

— А вот и «двухсотники» пожаловали!— он вышел из-за стола, поздоровался с бронзокосцами, взглянул на их соседей:

— Знакомы?

— Одной зоны рыбаки,— сказал Кострюков, пожимая руки соседям.

— Давние знакомые,— подтвердил Дубов.— Одним морем на волнах вынянчены, одним тузлуком просолены.

— Вот и хорошо. Садитесь. товарищи,— пригласил Жуков бронзокосцев.— Я вас долго не задержу.

Кострюков, Дубов и Пронька сели.

— А вызвал я вас,— продолжал Жуков,— вот зачем... Надо вам, рыбакам, наладить тесную деловую дружбу. Ваши колхозы обслуживаются одной моторорыболовной станцией. Так?

— Так,— подтвердил Кострюков.

— Совершенно верно,— согласился Дубов.

— Казалось бы, и работать должны одинаково. Так ведь?— вопросительно посмотрел Жуков на Дубова, слегка барабаня пальцами по настольному стеклу.

— Это уж,— шевельнул плечами Дубов,— от самих себя зависит, как работать.

— Вот такого ответа я от тебя, Дубов, не ожидал,— недовольно поморщился Жуков и перевел взгляд на секретаря партийной организации колхоза «Октябрь», худощавого, но широкоплечего сорокапятилетнего рыбака с острым взглядом

черных глаз и проседью в коротких темных волосах.— Как у вас с планом, товарищ Курбатов?

— Выполняем, Андрей Андреевич.

— А точнее?

— Бывает сто... и сто пять процентов плана,— ответил Курбатов.

Жуков посмотрел на испещренный записями листок настольного календаря и сказал, обращаясь к круглолицому плотно сбитому, коренастому соседу Курбатова:

— В «Красном партизане» примерно такие же показатели, товарищ Жильцов?

— Совершенно верно,— кивнул головой секретарь парторганизации колхоза «Красный партизан».— План хотя и с небольшим превышением, но перевыполняем каждую путину.

— И все же...— Жуков снова побарабанил пальцами по стеклу, окинул присутствующих беглым взглядом...— все же, вы намного отстали от колхоза «Заветы Ильича». Там молодежная бригада вчера завершила годовой план...

— Откуда у вас, Андрей Андреевич, такие сведения?— встрепенулся Дубов.

— А что, разве они неточны?

«Наверное, Анка протелефонировала»,— догадался Дубов.

— Точные, как в аптеке,— подтвердил он.

— Вот теперь, Кострюков, у меня к тебе такой вопрос: почему рыболовецкие колхозы зоны вашей МРС работают поразному? Одни за полгода выполняют годовой план добычи рыбы, а другие за десять-одиннадцать месяцев?

Кострюков недоумевающе развел руками и в полном смущении проговорил:

— Просто... затрудняюсь ответить товарищ Жуков...

— А ты подумай, Иван Петрович.

— Причины разные...— Кострюков поправил наглазную повязку, подергал себя за крючковатый нос.— Ну, скажем, одни рыбаки проворнее в работе, другие — медлительнее. Колхозы тоже разные, есть мощные, а есть малосильные...

— Не то, Иван Петрович, не то,— махнул рукой Жуков.— Дубов правильно сказал: рыбаки всех трех колхозов одним морем вынянчены, одним тузлуком просолены. А вот работают они по-разному. И причина тут одна: нет среди рыбаков тесного делового общения. Большая доля вины за это лежит на заместителе директора МРС по политчасти...

Кострюков поднял бровь и вопросительно уставился единственным в красных прожилках глазом на секретаря райкома.

— ...Повинен в этом,— продолжал Жуков,— и секретарь парторганизации, не поделившийся опытом с другими колхозами.

— Андрей Андреевич...— заерзал на стуле изумленный Дубов.— Но об этом я писал в районную газету... Мои заметки печатались...

—Погоди, погоди,— перебил его Жуков.— Будем говорить откровенно, по душам. Начнем хотя бы вот с чего... Раньше на выставку одного хамсово-тюлечного ставника на кольях шесть рыбаков затрачивали восемь часов. Так?

— Так,— подтвердил Дубов.

— И сейчас затрачиваем столько же,— сказал Жильцов, прищуривая маленькие живые глазки и посасывая чубук потухшей трубки.

— Это вы. А вот бронзокосцы, когда начали выставлять орудия лова на якорях вместо кольев, затрачивают на эту операцию всего три-четыре часа рабочего времени. Скажите,— обратился Жуков к Курбатову и Жильцову,— вы на чем укрепляете ставные невода типа «Гигант?»

— Известное дело, Андрей Андреевич, на гундерах,— ответил Жильцов.

— На опорных столбах, забиваемых в морское дно,— пояснил Курбатов.

— Вот-вот. А в колхозе «Заветы Ильича» отказались от этого жесткого крепления. Там перешли на штормоустойчивые ставники, которые держатся не на гундерах, а на наплавах — деревянных и металлических бочках. Объясни, Краснов, какое преимущество штормоустойчивого ставника перед гундерным,— попросил он Проньку.

— Видите ли... Море наше капризное, неспокойное. Штормить любит. И гундерному ставнику, попавшему в шторм, туго приходится на жестком креплении. Шторм причиняет ему серьезные повреждения. А вот неводу на наплавах намного легче во время шторма. Его сетная часть и каркас не так быстро изнашиваются, меньше подвергаются повреждениям от морских волнений и течений.

— Значит,— Жуков тепло взглянул на Проньку,— повышенная штормоустойчивость невода увеличивает его промысловое время, удлиняет срок службы, а следовательно, обеспечивает более высокие уловы?

— Точно, Андрей Андреевич.

— А скажи, Краснов...— Жуков посмотрел на Дубова и в

его глазах заиграли веселые искорки,— как, по-твоему, ловить бычка выгоднее — одной или двумя драгами?

— Само собой, Андрей Андреевич, двумя!— выпалил Пронька, не разгадав, к чему клонит Жуков.— Двумя драгами и рыбы добываем в два раза больше.

— Теперь нам ясно,— улыбнулся Жуков,— почему бронзокосцы могут выполнять годовой план улова за шесть месяцев. У них новаторская мысль бьет ключом!

— Значит, в этом заключается наша вина?— искренне удивился Дубов и засмеялся.

— Нет , не в этом...

— А в чем же?— насторожился Кострюков.

— В том, что ваши новаторские методы до сих пор не стали достоянием других колхозов.

— Вот к чему вы, Андрей Андреевич, разговор клонили!— воскликнул Дубов.— Товарищи,— обратился он к Жильцову и Курбатову,— прошу к нам на «Буревестник». Выйдем в море, там и передадим вам опыт «двухсотников».

— Ну вот, давно бы так!— Жуков подошел к Дубову, положил ему на плечо руку.— Одно дело, дорогой товарищ, заметку в газету написать, и совсем другое — наглядно людям показать.

— Ясно,— согласился Дубов.

Вернувшись к столу и садясь на свое место, Жуков сказал:

— Как думает замполит Кострюков?

— А так,— с улыбкой посмотрел на Жукова Кострюков.— Был ты для нас, рыбаков, хорошим советчиком и добрым другом, им ты и остался...

— Не тот друг, кто медом мажет, а тот, кто правду в глаза скажет.

— Значит, договорились?— будто невзначай уронил Жуков, вынимая из кармана часы.

Дубов, Курбатов, Жильцов переглянулись и почти одновременно сказали:

— Договорились, Андрей Андреевич.

— В добрый час!— и Жуков звонко захлопнул крышку карманных часов.— А теперь я хочу немного посоветоваться с секретарями комсомольских организаций...

Заинтересованные комсомольцы выжидательно уставились на Жукова: о чем же хочет с ними советоваться секретарь райкома, когда здесь присутствуют коммунисты, старше и опытнее их?

— Как вы думаете,— спросил Жуков,— неплохо было бы

организовать на флотилии передвижную библиотеку? Это ведь по вашей части, товарищи помощники коммунистов. А?..

— Факт, неплохо,— с энтузиазмом воскликнул Пронька.

— Это можно...

— Сделаем,— поддержали его остальные парни.

— Верю, что сделаете,— улыбнулся Жуков.— Только надо толково укомплектовать библиотеку, чтоб там можно было найти книги по технике, художественную и политическую литературу. Обязательно и журналы, брошюры... А при встрече в море передавать эту библиотечку с одного судна на другое.

— Мы можем, Андрей Андреевич, сделать так,— предложил Пронька,— организовать на каждом судне библиотечку, а потом обмениваться книгами.

— Прекрасно!— одобрил Жуков.— Рыбаки скажут вам спасибо. Народ наш стал не тот. Вместо водки на лове — чаю горячего просит, а вместо карт — к книге тянется, к знаниям. Верно ведь?

— Верно, Андрей Андреевич...

— Ну вот и договорились. Не стану вас задерживать...

— Когда к нам приедешь?— спросил Кострюков.

— Завтра,— ответил Жуков.— Хочу пойти с рыбаками в море...

XI

К выходу в море все было готово: на суда погрузили орудия лова, продукты, наполнили баки пресной водой, взяли запас горючего. Комсомольцы запаслись книгами и журналами, взятыми в библиотеке Дома культуры. Жуков, стоявший на пирсе рядом с Кавуном, Кострюковым и Васильевым, кивнул на пробегавшего мимо них Проньку со связкой книг под мышкой, улыбнулся:

— Передвижную библиотеку налаживает.

— Он у нас такой. С огоньком малый,— сказал председатель колхоза Васильев.

— А Сашка-моторист недоволен им,— улыбнулся в усы Кавун.

— Что такое?— поинтересовался Жуков.

— Каже, что всем хлопец взял, а вот никак не може научиться горилку ковтать да люлькой дымить.

— Взгреть надо Сашку, чтоб не прививал парню дурных привычек.

К ним подошел Дубов.

— Андрей Андреевич, вы с какой бригадой пойдете?— спросил он Жукова.

— Я и Курбатов на «Буревестнике», а товарищ Жильцов с Зотовым на «Темрюке».

— Бригады готовы,— доложил Дубов.

— Шо ж,— потянул себя за ус Кавун,— заводьте моторы тай отчаливайте с богом.

— На бога, как говорится, надейся, а сам не плошай,— блеснул глазом Кострюков.

— Ну, то ж така поговорка,— добродушно прогудел Кавун.

Провожали рыбаков по традиции всем хутором. Берег усеян людьми — тут и женщины, и дети, и старики. В воздухе стоит несмолкаемый гул возбужденных голосов.

— Папка!— машет отцу обеими руками Галя. Она порывается к пирсу, но Евгенушка крепко держит ее. Дубов широко улыбается, держа поднятую над головой шляпу. Евгенушка машет ему носовым платком.

Но вот часто и резко захлопали газоотводные трубки, суда окутались черной дымкой, толпа забурлила и зашаталась, будто закачался берег, в воздухе затрепетали разных расцветок платки, послышались возгласы:

— В час добрый!

— Счастливо!

— Удачного лова!

Анка стояла рядом с Евгенушкой, прижав к себе дочку. Среди уходивших в море рыбаков не было никого из родственников Анки, но она всегда выходила вместе со всеми на берег, брала с собой Валю и говорила ей:

— Доченька, помаши рыбакам. Пожелай им удачи.

— А потом что?

— А потом они привезут много рыбки.

И Валя, подняв ручонку с растопыренными пальцами, кричала:

— Дяденьки! Привезите мно-о-ого рыбки!..

— Ры-ы-ыбки!— вторила ей Галя.

Суда обогнули косу и пошли кильватерной колонной. Впереди трепетал красный вымпел «Буревестника». Анка неотрывно смотрела вслед флотилии, и глаза ее повлажнели. Что-то защемило сердце, вдруг стало почему-то грустно.

Евгенушка заметила резкую перемену в глазах Анки, спросила:

— Что с тобой?

Анка вздрогнула.

— Ничего...

— Неправда. По глазам вижу.

— Вот еще...— принужденно усмехнулась Анка.— Просто так...

— Ну, зачем от меня скрываешь? С кем же поделиться, как не с подругой.

— Да что же мне скрывать от тебя, Гена...

— Скрываешь, я же вижу,— не отступала Евгенушка.

Анка вздохнула.

— Ну?— Евгенушка обняла ее, заглянула в глаза.

— Просто... немного взгрустнулось...

— Отчего?

— От глупых дум... Вспомнила, как когда-то в мечтах я строила свое счастье... Думала: вот так же буду провожать в море любимого, с радостью встречать его... Какой светлой представлялась мне семейная жизнь... Ночи не спала, думала... думала... А все кувырком пошло...

— Эх, подруженька! Да тебе, моя милая, уже улыбается счастье — большое, светлое!..

— Ты о чем это?

— Не о чем, а о ком. О твоем соколе поднебесном...

— Ах, о Яше!— заулыбалась Анка, и лицо ее посветлело, глаза заблестели.

— О нем, конечно. Не о Павле же Белгородцеве.

— Что Павел... отрезанный ломоть, он навсегда выброшен из сердца...— сухо произнесла Анка. Она помолчала, о чем-то раздумывая, и продолжала:— А вот почему Яшеньки уже третий день нет?

— Прилетит.

— Но когда же он прилетит?

— Вот что. Я знаю, что ты можешь говорить о своем Яшеньке целые сутки без передышки. Это очень хорошо. Но только сегодня суббота и дел у нас с тобой пропасть. Надо и полы помыть, и белье постирать, и в бане искупаться. Как говорит Юхим Тарасович Кавун, «ходимтэ до куреня».

— Ходимтэ!— засмеялась Анка.

День выдался тихий, знойный. На зеркальной глади моря не заметно даже мельчайшей зыби. Такой штиль на Азове — редкость. Нещадно палило июньское солнце. И только исхо-

дившая от моря свежесть несколько умеряла нестерпимую жару.

Жуков, Дубов и Курбатов стояли на корме. Зеленоватые воды под ударами лопастей быстро вращавшегося винта бурунились и, вскипая, сердито шипели и булькали. За кормой двумя кружевными дорожками стлалась сверкающая на солнце белоснежная пена. По этому пенистому следу, не нарушая порядка кильватерной колонны, шли за «Буревестником» остальные суда рыболовецкой флотилии.

— Удивительно! Ни малейшего дуновения ветерка,— воскликнул Жуков, расстегивая воротник гимнастерки.— На суше в этакую жару задохнуться можно. Здесь хоть в малой мере, но все же ощущается дыхание моря.

— Для рыбака это не «дыхание»,— улыбнулся Дубов.— Вот когда море заштормит...

— Ну, ну, я тебе заштормлю,— погрозил ему пальцем Жуков.— Попал я однажды в переделку, когда выходил с молодым колхозом на рыбалку,— и он, взглянув на Курбатова, засмеялся.— Было это в тридцатом году. Вышли мы в море ночью. Не успели поставить сети, как разыгрался такой штормяга, что казалось, море с небом смешалось. Ей-богу, не чаял еще раз берег увидеть. Думал — тут мне и гроб, да еще без крышки.

— Что же вы, Андрей Андреевич, сравниваете тридцатый год с сорок первым.

— А я и не сравниваю.

— Тогда,— продолжал Дубов,— мы на веслах да под парусом ходили, а теперь на моторах.

— Все равно нам шторм не нужен,— махнул рукой Жуков.— В штилевую погоду лучше рыбалить. Верно, Курбатов?

— Покойнее,— согласился Курбатов и с хитринкой посмотрел на Дубова.

Тот, усмехаясь, продолжал:

— Натура рыбака беспокойная... Он любить бурю должен. Одним словом, моряком настоящим быть.

— Ладно, ладно, романтик моря. Что это с ними, а?— вдруг повернулся Жуков, указывая на суда, расходившиеся в разные стороны.— Почему они поломали строй?

— А это мы теперь, перед выходом в море, еще на берегу намечаем маршрут движения флота. Вот они и пошли по своим местам.

— Дельно,— одобрил Жуков.

— Эге!— воскликнул Пронька.— За кормой «Темрюка»

буек. Это Зотов будет учить Жильцова орудовать двумя драгами. Сейчас и вы увидите, товарищ Курбатов,— и он крикнул мотористу:— Саша! Полный вперед!

— Есть полный вперед!— отозвался Сазонов.

Мотор заработал часто и гулко, под ногами задрожала палуба, и судно полным ходом устремилось вперед. Пронька засек время, скомандовал:

— Драгу за борт!

Рыбак, ожидавший команду, тотчас сбросил за борт конусообразный буек. Полуторакилометровая сеть, сложенная волнистой кладкой, со свистом срывалась с палубы в море, и от буйка, помахивающего флажком, стлалась по следу «Буревестника» пустая цепь поплавков, удерживающих верхнюю основу сети. Через несколько минут Пронька скомандовал рулевому:

— Право руля!

— Есть право руля!

Судно сделало крутой поворот и пошло дальше, не снижая скорости. Дубов сказал Курбатову:

— Заметьте: пройдено пятьсот метров... Сейчас мы идем, образуя острый угол. Вот мешок драги за бортом. Пройдено еще двести пятьдесят метров...— и крикнул:

— Право руля! Так держать!

Остальные 750 метров судно шло без поворотов. И когда Пронька доложил, что сетное полотно на исходе, Дубов сказал:

— Передай мотористу —«малый вперед»!..

Опытный рулевой сам взял еще немного вправо и повел судно на буек.

— Теперь вам все ясно? — спросил Жуков Курбатова.

— Нет, не совсем,— признался тот.

— Вот я вам поясню,— сказал Дубов.— Допустим, в этом квадрате обнаружен авиаразведкой или рыбаками косяк. Мы на полном ходу судна окольцовываем косяк сетным полотном драги. А как мы это делаем, вы уже видели: пятьсот метров — поворот; двести пятьдесят метров — поворот. Теперь идем малым ходом на буек, сводим концы драги. Смотрите на поплавки... Что получается? Драга, удлиняясь, суживается. Сетевые стены выравниваются, сближаются, легонько подталкивают рыбу, и она при медленном движении судна неизбежно заходит в мотню драги...

— Ясно!— улыбнулся Курбатов.— Замечательная мысль!

— Тут, братец, мой,— сказал Жуков,— академия!..

А Дубов продолжал:

— Выбрав на палубу первую драгу, мы делаем второй за-

мет. Притонение продолжается около часа. За это время бригада ловцов вполне успевает осмотреть первую драгу, и если потребуется, то и произвести мелкий ремонт.

— Просто замечательно!— воскликнул Курбатов.

Замет драги не дал рыбакам ничего утешительного. В мотне оказалось с десяток судаков, два осетра. Но по возбужденному лицу Проньки, по его сияющим глазам было видно, что, пожалуй, дела не так уж плохи. А когда Жуков сказал, что на этот раз Проньке изменило рыбацкое счастье, Дубов возразил:

— Нет, Андрей Андреевич, вы не правы. И на этот раз ему улыбается счастье. Только надо уметь взять его... Пронька!— позвал он бригадира.— Прокопий Михайлович!

— Я тут, товарищ Дубов,— перед ним встал Пронька.

— Видишь?— указал он на осетров.

— Вижу.

— Они отбились. Где-то поблизости гуляют косяки. Приготовить наплавы и ставной невод. Живо!

— Где будем устанавливать невод?

— Вон там,— указал Дубов рукой.— За вторым бугром... Саша! Полный вперед!

Судно вздрогнуло, за кормой зашумела вода, в воздух взлетели соленые брызги, и «Буревестник» устремился на юго-восток. Жуков, упершись руками в бортовые поручни, задумчиво смотрел на запад. Солнце, увеличиваясь и теряя свой ослепительный блеск, медленно опускалось по голубеющему небосклону навстречу высунувшейся из-за горизонта синей тучке. С востока набежал ветерок, и морская гладь покрылась легкой рябью.

— Видно, к ночи море «задышит» по-настоящему,— заметил Курбатов.— Свежеет.

— Похоже на то,— согласился Дубов.

Жуков, занятый своими мыслями, вдруг обернулся к Дубову, спросил:

— Разве вы ловите красную рыбу ставным неводом?

— Да, все бригады колхоза перешли на невод.

— И давно?

— Совсем недавно.

— Насколько я помню, красную рыбу ловили, да и теперь ловят крючковой снастью. Так?— перевел взгляд Жуков на Курбатова.

— Крючковой,— подтвердил Курбатов.

— А мы отказались от крючьев,— сказал Дубов.— Нево-

дом куда больше добываем осетра и белуги. Почти в два раза. А крючья скоро всюду отживут свой век. Это... варварский способ лова, Андрей Андреевич.

— Вот-те и на!— развел руками Жуков.— Это почему же «варварский»?

— А потому что, срываясь, рыба уходит раненой. В худшем случае — с проглоченным крючком. Но это еще не все... Попадись на крючья огромные белуги без глубокого заглота, да они всю снасть в ошметья превратят. Вот и убыток колхозу.

— Ишь ты!..— Жуков подумал и продолжал:— Хорошо. А как же вы выбираете из невода осетра и белугу?

— Руками.

— А если попадется этак... пудов на тридцать?

— Глушим дубовой колотушкой, и она становится покорной. Даже хвостом не пошевельнет,— засмеялся Дубов.

— Еще новость у наших новаторов,— обратился Жуков к Курбатову.— Так что же вы до сего времени молчите? От соседей секрет таите?

— Что вы, Андрей Андреевич,— обиделся Дубов.— Если бы я хотел утаить, то не писал бы об этом в районную газету.

— Что-то я не встречал этой заметки.

— А не встречал оттого, что лишь вчера я отправил ее в редакцию.

Дубов окинул прицеливающимся взглядом широкие просторы моря, крикнул:

— Саша, стоп!..

Мотор мгновенно заглох, и «Буревестник» плавно закачался на легких волнах.

— Пронь! Наплавы и невод за борт!

— Есть невод за борт!— откликнулся Пронька.

На палубе деловито засуетились рыбаки. Чтобы не мешать им, Жуков спустился в кубрик, еще раз напомнив Курбатову:

— Хорошенько присматривайтесь. Опыт «двухсотников» сослужит вам большую службу.

После ужина все улеглись спать на палубе. «Буревестник» ходил на цепи вокруг брошенного якоря. За бортами сонно булькала вода. Морской чистый воздух действовал опьяняюще. Монотонное позванивание якорной цепи, тихие всплески гуляющих волн и легкое, усыпляющее покачивание судна навевали сладкий сон, и Жуков мгновенно уснул...

Ночь прошла спокойно. Море дышало ровно, ритмично, и в его потемневших водах золотой россыпью отражались звезды.

С рассветом Пронька поднял бригаду. Жуков проснулся от топота ног и возбужденных людских голосов. Когда он открыл глаза и вскочил на ноги, на палубе, извиваясь, судорожно бились крупные черноспинные рыбины. Курбатов был тут же, он помогал молодым рыбакам выбирать из невода улов. Его сапоги с высокими голенищами блестели от воды, выбившиеся из-под клеенчатой шляпы короткие с проседью волосы прилипли ко лбу.

— Ну, Пронька, ты настоящий морской волк. Учуял-таки осетровый косяк. Ишь, какую добычу заарканил!— сказал Жуков.

— Это, Андрей Андреевич, вчерашняя разведка драгой подсказала нам. Поиск в нашем деле — самое главное.

— Слышите, товарищ Курбатов? Не ждать, когда рыбка пожалует к тебе, а самим искать ее...

Курбатов хотел ответить что-то Жукову, но не успел и рта открыть. В ту же секунду послышались частые прерывистые гудки парохода. Все обернулись на звук. В двух кабельтовых от «Буревестника» курсом на Ейск шла всем знакомая старушка «Тамань», вспенивая воду широкими плицами веерных колес. Из ноздреватой медной сирены, прикрепленной к трубе, один за другим вылетали косматые клубы пара и таяли в прозрачном воздухе.

— Лево по борту «Тамань»,— как заправский моряк, крикнул Пронька.

— Видим... Чего орешь зря,— проговорил Дубов, прищуривая глаза.— Однако капитан Лебзяк всегда приветствует рыбаков одним протяжным гудком.

— Похоже на тревожные,— заметил Жуков.

— Может, терпит аварию?— забеспокоился Курбатов.— Нашей помощи просит? Суденышко-то ветхое...

— Все может быть. А ну, ребята, быстро сматывай удочки,— крикнул Дубов.

«Тамань», не переставая подавать тревожные гудки, взяла право руля. Куда судно проходило метрах в двухстах от «Буревестника», Лебзяк поспешно поднялся на капитанский мостик, поднес ко рту мегафон, и все услыхали такое, что не сразу укладывалось в сознании:

— Война!.. Война!.. Война!..

— С кем война? Что он такое несет?!— перебивали друг друга вопросами рыбаки.

На бреющем полете промчался У-2, сделал вираж и лег

курсом на Бронзовую Косу. Из кубрика выбежал бледный как полотно радист:

—«Чайка» радировала...— крикнул он,— гитлеровская Германия... вероломно напала на Советский Союз... Война!..

— Война?..

— Германия?..

— Не может быть!..

— А договор?..

— С кем? С фашистами?.. Мать их в душу!..

— Спокойно, товарищи! Спокойно!— поднял Жуков руку и к Дубову: — Давай к берегу...

Над морем всходило солнце. «Буревестник», сопровождаемый плачем чаек, полным ходом шел к берегу. На его высокой мачте все так же гордо реял красный вымпел. Казалось, нет никакой войны и жизнь все так же спокойно будет протекать в радостном труде под ясным советским небом...

XII

В полдень из Белужьего на Косу прискакал на взмыленном коне гонец. Анка была дома, готовила обед. Когда она выбежала на крыльцо, гонец уже поднимался по крутым ступенькам.

— Пакет из райвоенкомата. Распишитесь,— и он развернул перед ней разносную книгу.— Быстренько, гражданочка.

Анка взяла из его рук карандаш и, прежде чем расписаться, с удивлением посмотрела на гонца.

— Что за спешка такая?

— Срочный пакет, особой важности. Распишитесь,— отчеканил тот.— Получите,— и он вручил ей конверт из плотной серой бумаги.

Анка, стоя на крыльце, все тем же удивленным взглядом проследила, как гонец быстро сбежал по ступенькам, отвязал коня, мигом очутился в седле и через каких-нибудь две-три секунды наметом мчался по улице, будоража хуторских собак.

«Из военкомата?.. Нарочным?..»— наконец опомнилась Анка. Она вскрыла конверт, развернула бумагу. Прочитала раз, потом другой, но все никак не могла понять... «Мобилизация?.. Война...» Нет, Анка не хотела, не могла верить этому. Все ее существо протестовало против чудовищного, ненавистного слова «война»... Она вновь развернула бумагу, но строки расплывались, образуя черное пятно. Потемнело вдруг в глазах. Анка пошатнулась.

— Неужели?..— прошептала она, обхватив руками голову, и опустилась на ступеньки крыльца.— Неужели?..

Из комнаты послышался детский голос:

— Мама!..

— Что, рыбка?— встрепенулась Анка, в безотчетном страхе бросилась к дочери...

— Ты с кем разговариваешь? С дедушкой?

— Спи, маленькая...

— А ты куда уходишь? — Валя обхватила теплыми ручонками шею матери.

— По делу. Я скоро вернусь,— и она поцеловала дочку.

Анка умылась, наспех причесалась, повязала косынкой голову и вышла, тихо закрыв за собой дверь. На улице она встретила Панюхая, возвращавшегося с ночного дежурства.

— Отец, сходи к Бирюку и скажи ему, чтобы он сейчас же шел в совет.

— А чего это в такую рань? Чай, нынче воскресенье...

— Потом скажу... Времени сейчас нет. Сходи, прошу тебя,— и она торопливо направилась к сельсовету.

«Рыба в море еще не разгулялась, а она в совет поскакала... С чего бы это?..— размышлял Панюхай, глядя вслед Анке.— А к Бирюку почему не сходить, раз дочка просила...»

Подойдя к хижине, Панюхай остановился возле подслеповатого окошка и забарабанил пальцами по дребезжащему стеклу.

— Чего тебе?— в мутном просвете окошка показалась косматая голова Бирюка.

— Мне ничего. А тебе в сельсовете быть надобно. Живо!— спокойно ответил Панюхай и пошел со двора.

Бирюк метнулся к двери. Поддерживая рукой порты, крикнул с порога:

— Кузьмич! Ты это всерьез?.. А что там, в совете? Пожар, что ли?..

— Не знаю. Анка наказала бегти тебе в совет...

— Наказала... И в воскресенье покоя нету,— проворчал Бирюк, однако стал быстро одеваться.

Возле Дома культуры Анка остановилась. Минуту она раздумывала, потом повернула вправо и скрылась за углом...

Евгенушка лежала на кушетке и читала книгу.

Присмотревшись к скорбному, побледневшему лицу Анки, ее тревожным глазам, Евгенушка приподнялась на локте:

— Да на тебе лица нет, Анка... Что случилось?

Анка тяжело опустилась на стул.

— Страшное случилось. Вот...— и протянула подруге бумагу.

Евгенушка быстро пробежала короткие строки, с недоумением взглянула на Анку и снова уткнулась в бумагу.

— Ничего не понимаю...

— Гитлер напал на нас...— с трудом вымолвила Анка.— Фашистская Германия пошла войной на Советский Союз...

— Войной?..— порывисто переспросила Евгенушка.

Из рук ее выпала бумага.

— Значит, мобилизация? Значит...— Евгенушка не договорила, залилась слезами.

— А вот этого делать не надо, Гена,— сказала Анка, поднимая с пола бумагу.— Слезами горя не погасить.

— Ох,— простонала Евгенушка, хватаясь за сердце.

— О чем и я говорю, сердце больное у тебя. Крепись, Гена. А я побегу в совет.

Бирюк уже был в сельсовете, когда Анка вошла в приемную.

— Зайди, Харитон,— бросила она на ходу, направляясь в кабинет.

«Даже не глядит... Сердитая... Влетела, как скаженная. Какая муха ее укусила?..»— терялся в догадках Бирюк.

— Харитон!— окликнула его Анка из кабинета.

— Иду, Софроновна! — Бирюк нехотя поднялся со стула и лениво побрел к двери кабинета.

— Возьми эту бумагу. В ней указаны годы рождения военнообязанных запаса, которые подлежат мобилизации. Быстренько составь список.

— Мобилизация?— и Бирюк впился глазами в бумагу.— Список? Это я мигом составлю,— он дошел до двери и остановился, опустив голову.— А зачем столько возрастов зараз? Неужели война?

— Война, Харитон.

Бирюк, взявшись за ручку двери, стоял неподвижно.

— Чего же ты медлишь?

Бирюк обернулся.

— Анна Софроновна... Как вы думаете?.. Если я добровольно на фронт попрошусь... Возьмут?

— Инвалидов не берут.

— Жалко... Я бы этой проклятой собаке... Гитлеру...— Бирюк сделал жест, будто схватил кого-то за горло и стиснул в своих огромных лапах...— Голову свернул бы, гаду... задушил бы...

Бирюк с остервенением рванул на себя дверь. А в приемной украдкой перекрестился:

«Слава богу!.. Вот и конец вашему царству, товарищи большевики...»

Оставшись одна, Анка откинулась на спинку стула и уставилась невидящим взглядом в одну точку. Со стороны могло показаться, что она о чем-то размышляет. В действительности же Анка находилась в глубоком забытьи. Ее охватило какое-то необъяснимое оцепенение. Но вот до ее слуха донесся знакомый рокот мотора, усиливавшийся с каждой секундой... Анка вдруг выпрямилась.

«Это он... Яшенька...»— и кинулась к окну, но увидела только косую тень, быстро пронесшуюся через улицу в направлении посадочной площадки.

Анка заперла дверь кабинета и уже на ходу бросила Бирюку:

— Поторопись со списком... я скоро вернусь...

— За список, Анна Софроновна, не беспокойтесь. Через час будет готов.

Анка вышла на улицу. Самолет сбавлял газ, шел на посадку. Из-за угла выскочил запыленный «газик». Шофер, увидев Анку, остановил машину, выпалил скороговоркой:

— Где секретарь райкома?

— В море.

— Эх, черт побери!— с досадой крякнул он.

— Да он скоро вернется. Вы поезжайте на МРС и ждите его там. Рыбаки обещали быть дома к обеду.

— К обеду?— ужаснулся шофер. Однако рывком сорвал с места машину и помчался к берегу...

Обливаясь пóтом, Анка почти бежала. За хутором остановилась, перевела дыхание. Она видела: самолет, подпрыгивая, пробежал немного и остановился; вот летчик вылез из кабины, стал на крыло и спрыгнул на землю; техник-моторист, поговорив с ним о чем-то, скрылся в сторожке и вышел оттуда со свернутыми постельными принадлежностями. Прежде чем направиться к самолету, он протянул руку в сторону Анки, стоявшей на окраине хутора.

И тут-то в голову Анке пришла страшная мысль, от которой она ощутила во всем теле озноб...

«Да это ж он прилетел проститься со мной... Ну, конечно, проститься... Вот и моторист садится в самолет... Значит...»— и она опрометью бросилась навстречу летчику, не переставая кричать:

— Яша!.. Яшенька!..

Но вдруг она остановилась с широко открытыми глазами, безмолвная и окаменевшая... И рост, и размашистая походка, и коричневого цвета шлемофон — все напоминало о нем, о родном и любимом человеке, но лицо!.. Оно ей совершенно не знакомо.

— Простите,— козырнул летчик,— вы Анна Софроновна Бегункова?

Анка молча кивнула головой.

— Я от товарища Орлова... Он срочно отозван командованием... Вам, наверное, известно уже о вероломном нападении...

— Да, да!— как-то машинально проговорила Анка.

— Так вот... Он передал вам записку...

— Что?— вскрикнула Анка и ухватилась за руку летчика.— Где он?

— Я же вам сказал, он срочно отозван командованием. А вот записка вам от него.

— Ах, записка!.. Спасибо...— она разжала пальцы, выпустив руку летчика, взяла сложенный вчетверо листок, вырванный из блокнота.— Вы уж извините меня...— и стыдливо опустила голову.

— Ничего, ничего. Это вы извините. Я должен сейчас же улетать.

— Так скоро?

— Ни минуты больше не могу задерживаться. Прощайте!— и он пожал Анке руку.

— Вы увидите его?— спросила Анка.

— Не знаю. Может, и придется встретиться. Все может быть.

— Да, да... Вы обязательно должны встретить его... Скажите ему, что я... Да он и сам знает...— голос ее оборвался, и она отвернулась. Из глаз неудержимо хлынули слезы.

— Хорошо, Анна Софроновна! Я передам. Прощайте,— летчик побежал к самолету.

Анка почувствовала, как у нее внезапно слабеют, подламываются в коленях ноги, и она опустилась на жесткую, выжженную солнцем граву. Силы оставили ее. Она развернула записку и прочла наспех набросанные карандашом короткие строки:

«Милая, родная Аннушка!
Я очень тороплюсь. Жди письма. Целую, люблю навсегда.

Яков».

— Куда же ты улетел, Яша?..— сдерживая рыдания, прошептала Анка.— Когда же я теперь увижу тебя?.. Ах, счастье!.. Счастье... Ты только издали улыбаешься мне, а в руки не даешься...

XIII

Еще до захода солнца на морском горизонте показалась флотилия Бронзокосской МРС.

Суда шли с разных сторон, и по мере их приближения к Косе интервалы между ними заметно уменьшались. Моторы работали с полной нагрузкой, и от набегавших волн, ударявшихся о форштевни, разлетались в стороны фонтаны сверкающих брызг.

Слева от «Буревестника» шли «Темрюк», «Азов» и «Ейск», справа —«Таганрог», «Керчь», «Бердянск», «Мариуполь». У самой Косы интервалы сократились настолько, что суда сблизились вплотную. Зотов сложил ладони рупором, крикнул с «Темрюка».

— Слыхали?

Дубов кивнул головой.

— Видать, придется сменить винцарады на шинели, а дубовые колотушки на винтовки!

— Нужно будет — сменим!— ответил Дубов.— А перед фашистской сволочью головы не склоним. Это им не Франция и не Австрия, а Советская Россия!..— и он поднял руку со сжатыми в кулак пальцами.

«Буревестник» обогнул косу и вошел в залив. Жуков стоял, прислонившись спиной к мачте, и смотрел на берег, усеянный людьми. Он не заметил ни одного взмаха платком, ни одной поднятой для приветствия руки, не услыхал ни одного радостного возгласа, которыми обычно хуторяне встречали рыбаков, благополучно возвращавшихся с моря домой. Люди, пришибленные общим горем, внезапно обрушившимся на них, стояли печальные и безмолвные. И Жуков понимал, как неизмеримо велико это горе, как глубока боль, которую ощутил в своем сердце каждый советский человек, узнав о вероломном нападении гитлеровских разбойников...

На пирсе стояли Кавун, Васильев и Кострюков, поджидая суда. Первым пришвартовался «Буревестник». Становились на прикол поочередно «Темрюк», «Ейск» и остальные суда. На деревянном помосте пирса сразу стало людно.

— Это чудовищно... но факт...— покачал головой Жуков,

подходя к Васильеву, Кавуну и Кострюкову.— Какая неслыханная подлость! Без объявления... из-за угла напасть.

— Они на рассвете, когда люди спали, наши города бомбили,— сказал Кострюков.— По радио передавали.

У Жукова задергалась щека.

— На рассвете?.. Города бомбили?..

— Бомбили,— подтвердил Васильев.— Севастополь, Одессу, Киев, Минск...

К Жукову подошел шофер, слегка потянул за рукав гимнастерки:

— Андрей Андреевич, едемте скорее. Вас вызывают в обком.

— Едем, едем,— заторопился Жуков.— До свидания, товарищи...

На взгорке, у обрыва, возле райкомовской машины стояли Анка и Евгенушка. Девочки играли в стороне, о чем-то беззаботно щебетали. Дубов сдавал приемщику рыбу, и Евгенушка дожидалась его. Жуков поздоровался с подругами, пристально посмотрел на них, спросил Анку:

— Орлов был на Косе? — тут же, досадуя на себя, подумал: «К чему этот вопрос?»

Анка покачала головой:

— Нет, не был. Прилетал его товарщ. Орлова срочно отозвало командование.

— Так...— задумчиво произнес Жуков.— Война — не мать родна.

Евгенушка заплакала.

— А вот падать духом не следует, Евгения Ивановна. Надо крепиться.

— Андрей Андреевич, пора,— напомнил шофер.

— Поехали,— Жуков сел в машину. Он еще раз взглянул на Анку и Евгенушку, ободряюще сказал:— Крепитесь!— и кивнул шоферу:— В обком!..

Всю ночь шли приготовления к проводам рыбаков, призванных по мобилизации. Во всех окнах светились огни, никто не спал. До сна ли было? Война – не прогулка, и все понимали, что многим не суждено вернуться в родной дом.

После внеочередного партийного собрания, на котором был избран секретарем парторганизации Григорий Васильев, Анка и Евгенушка пошли домой вместе. Анка должна была взять Валю, но девочки уснули еще с вечера. Она решила не будить

дочь, осталась помогать подруге печь хлебы, сушить сухари, жарить мясо. Ожидая мужа, Евгенушка поминутно оглядывалась на дверь. Прислушивалась.

— Осталось быть вместе несколько часов, а его все нет. Время-то уж за полночь?

— Ах, Гена! Надо же ему проститься с рыбаками,— упрекнула ее Анка.

— Пора бы и дома быть.

— Не на гулянке, чай, пропадает. Тебе ли не знать своего мужа.

— Знаю,— сквозь слезы проговорила Евгенушка.— А сердце тревожится...

— Ох, нисколько ты не щадишь свое сердце, сама добиваешь его, дуреха,— рассердилась Анка.— Неужто нет в тебе ни капельки мужества?

— Ни капельки,— покорно согласилась Евгенушка.

— А помнишь, что сказал Андреевич? Крепиться надо.

— Да уж я и то креплюсь, подруженька,— всхлипнула Евгенушка.

— А ну, поскорее вытри слезы. Слышь, калитка хлопнула. Ему, небось, и без того тяжко.

Скрипнула дверь, и в жарко натопленную избу вошел Дубов.

— Ну, кажись, все в порядок приведено,— сказал он, снимая фуражку.— Партийные дела сдал Васильеву. Теперь можно и в путь-дорогу собираться. Ох, и натопили же вы, бабоньки...

— Погоди, погоди,— присмотрелась к нему Евгенушка.— Что-то глаза у тебя помутнели... Выпил?

— Есть немного. На прощанье, Гена.

— Немного, да еще на прощанье, так и быть, можно,— она обняла мужа, припала головой к его груди.

Анка заторопилась:

— Пойду. А ты, Виталий, отдыхай перед дорогой.

— Не спеши,— сказал Дубов.— Поужинай с нами.

— Не могу. Отец на дежурстве, дома никого нет. А дочка пусть у вас спит. До завтра!— и она ушла.

Рано утром со всех концов хутора потянулись бронзокосцы к сельсовету, где ожидали мобилизованных два колхозных грузовика. Одни шли молча, глядя на пыльную дорогу, другие пели веселые песни, третьи неутешно плакали. Сашка-моторист, изрядно выпивший, прощался с малыми и старыми, на-

граждая всех звонкими поцелуями. Девушки, убегая от его крепких объятий, с визгом рассыпались в стороны.

— Эх-те, жигало вам в бок!— весело грозил им Сашка.— Такого парня чураетесь? Да я, можно сказать, первый на Косе жених-раскрасавец, а?

— Только слегка засидевшийся в невестах!

— Устарел малость!— дразнили его девушки.

— Это я-а-а-а в невестах?— Сашка сделал зверское лицо и бросился за ними вдогонку.— Вот сейчас я вам покажу невесту!..

Дмитрий Зотов уже стоял возле грузовиков со своей голубоглазой Таней и о чем-то тихо разговаривал с ней. К ним подошли Дубов и Евгенушка с дочкой.

— Не пора ли трогаться, годо́к?— спросил Дубов.

— Пора,— ответил Зотов.

Из сельсовета выбежала Анка, окликнула Дубова:

— Виталий! Возьми список. Ты за старшего,— и скомандовала:— По машинам!

За Анкой вышел Васильев.

— Да не торопи ты людей, Анка!— взмолилась Евгенушка.— Дай наглядеться перед разлукой такой...

— Опаздывают, Евгения Ивановна. Уже намного опаздывают,— и Васильев постучал пальцем по ручным часам.— А что скажут в военкомате? Моторы!..

Водители завели моторы. Дубов поцеловал соленые от слез губы жены, прижал к сердцу дочку. Часто мигая веками, поспешно отвернулся и сердито толкнул в бок Зотова:

— Ну, что рот разинул, Митя! Прощайся давай,— он пожал Васильеву и Анке руку, взобрался на кузов, крикнул:— По машинам!..

Грузовики выбежали за хутор и через две-три минуты скрылись за пригорком. В воздухе повисло облако медленно оседавшей серой пыли. Все стояли не шевелясь и молча глядели на пригорок. Но вот кто-то кашлянул, кто-то всхлипнул, разорвав оцепенение. В толпе приглушенно зашумели, послышался голос Анки:

— Не надо, Танюша,.. Успокойся.

Плакала жена Зотова. Евгенушка посмотрела на Таню. Глаза ее стали сухими и строгими. Она подумала:

«Если все мы только и делать станем, что плакать, то немного помощи будет от нас фронту. Этак недолго совсем раскиснуть. А это врагу на руку... Прав Жуков, не надо терять мужества...»

Евгенушка вдруг почувствовала, как в душе ее горячей волной поднялась гордость за своего мужа и его товарищей, ушедших сражаться за Советскую Отчизну. Она ласково обняла Таню и, к удивлению Анки, твердо произнесла:

— Крепись, солдатка. Не плачь,— но голос ее дрогнул, из глаз брызнули слезы.

— Да как же не заплачешь,— тихо заговорила Таня,— когда жизнь-то наша вон как повернулась... Только было расцвела, как яблонька весной... и на тебе — война... Кому она нужна?

— Правильно говоришь, дочка,— сказал Васильев.— Добились мы настоящей светлой жизни, и война нам не нужна. Но что поделаешь? Не мы ее затеяли.

— Отец в шторм погиб... В прошлом году мама померла, а теперь Митя покидает меня,— продолжала Таня, всхлипывая.— Будь прокляты фашисты эти, гадюки подколодные,— гневно произнесла она, комкая в руках носовой платок.

— Будь прокляты...— словно шорох сухой листвы, пронеслось по толпе.

— Видали?— вновь заговорил Васильев.— Тридцать семь богатырей проводил на фронт наш колхоз. Что ж, кому положено на фронте за Родину биться, а кому в тылу трудиться. Вот и будем вместе с фронтовиками — они там, а мы тут — добывать Родине победу над врагом. Нервы у нас крепкие. Выстоим...

— Правильно сказываешь!— послышался знакомый с хрипотцой голос.

Все обернулись и увидели подходившего Панюхая. За ним группами, по пять-шесть человек, шагали тридцать стариков-пенсионеров, дымя глиняными трубками.

— Правильно сказываешь, колхозный председатель,— повторил Панюхай.— Выстоим. Сила наша неодолимая. Вот она, старая рыбацкая гвардия, полюбуйся!

— Ты что это, Кузьмич?..— Васильев окинул его недоуменным взглядом.

— На помощь колхозу пришли. На замен тех, которые на войну ушли.

Васильев на минуту задумался. Решимость стариков понравилась ему, однако он сказал:

— Все это хорошо. А не трудно вам будет? Справитесь?

— На веслах, поди, потруднее было ходить.

— И ничего, справлялись.

— А теперь моторы...

— Выстоим...

Васильев посмотрел на стариков потеплевшими глазами, взволнованно проговорил:

— Ладно, гвардейцы. Договорились. Сегодня распределим вас по бригадам, а завтра и в море.

— А женщины, что ж, в стороне, выходит?— спросила Анка.— Мы тоже в море хотим.

— Знаю,— улыбнулся Васильев.— Но пока в море вам ходить незачем... А чего это мы такое важное собрание на улице проводим?— спохватился он.— Айда в Дом культуры. Там всем хватит места. Вот, кстати, и наши бригадиры идут, Михаил Краснов с сыном Пронькой. Идемте, товарищи.

Все хлынули к Дому культуры. По дороге Анка сказала Евгенушке;

— Ну, удивила ты сегодня меня, Гена.

— А что такое?— остановилась Евгенушка, приподняв белесые брови.

— Весь вчерашний день и прошлую ночь прямо раскисала от слез. А сегодня твои глаза сухие, голос твой стал твердым. Даже нашла слова утешения для Тани Зотовой, хоть потом и сама слез не удержала.

— Знаешь, Аня...— Евгенушка нахмурилась,— посмотрела я на заплаканную Таню и такая ненависть вскипела в сердце к проклятым фашистам, что даже слезы высохли.

— Правильно, родная! Пусть же они не надеются, что нас горе сломит!— Анка горячо сжала руку подруги.

Акимовна была удивлена не столько раннему приходу Панюхая, сколько тому, что он ввалился в избу с берданкой.

— Ты что это, Кузьмич? Уж не против ли самого Гитлера в поход собрался?

Акимовна разглядывала гостя с таким интересом, будто видела его впервые.

— Нет, Акимовна. Дубасить фашистов и без меня есть кому. Я в море на рыбалку ухожу.

— Вот так новость,— засмеялась Акимовна.— С каких же же это времен наши бронзокосцы стали выходить на рыбалку с ружьями?

— Погоди смеяться, Акимовна. Я пришел к тебе по важному делу.

— Ежели так, садись, сказывай, что за дела за такие.

Панюхай сел на стул, поставил между ног берданку.

— Как ты знаешь, Акимовна...— начал он медленно, обдумывая каждое слово,— тридцать семь молодцов из нашего кол-

хоза на войну ушли... Вот и получается нехватка в людях... А рыбу промышлять надо?

— Известно надо, Кузьмич.

— Вот мы, старая гвардия, стало быть, и порешили того... помогать колхозу рыбу в море добывать.

— Очень даже хорошее дело задумали,— одобрительно закивала головой Акимовна.

— Это мы, стало быть, на замен тех, кои на войну ушли.

— Понятно, Кузьмич.

— А раз мне теперь положено на рыбалку в море ходить, то...— тут Панюхай покашлял и, поглаживая ладонью ствол берданки, продолжал:— то, говорю, не пожелала бы ты, Акимовна, взамен меня на МРС в караульщики пойти?

Акимовна с удивлением посмотрела на Панюхая и чуть было не засмеялась. Но сдержала себя, перевела взгляд на окно, за которым вдали сверкало море, и задумалась...

«Вот престарелые рыбаки отказались от пенсии и добровольно идут в море. Так нешто в такую суровую годину мне оставаться в стороне? Сидеть на готовых хлебах? Нет, этого мой характер не стерпит». И как о деле решенном спросила:

— А Кавун с Кострюковым не подымут меня, старуху, на смех? Что это, мол, за караульщик в юбке выискался.

— Нет, Акимовна!— убежденно произнес Панюхай.— Лишь бы твое согласие было, а они не против. Я говорил с ними. Да и какая ж ты старуха? Помилуй! Почитай, женщина в самом соку.

— Ладно. Заменить-то тебя я могу. Не велика мудрость. А вот обращенью с этой штуковиной,— кивнула она на берданку,— я не обучена, Кузьмич.

— Это дело пустяковое. Научу за милую душу. Идем под кручу.

Через несколько минут Панюхай и Акимовна спускались по крутой тропинке к морю.

В тот самый час Кострюков, Васильев, Краснов, Пронька и еще несколько рыбаков в кабинете Кавуна намечали очередной маршрут движения флотилии перед выходом бригад в море. Начинался жаркий июньский день, и окна кабинета были открыты. Кавун, прохаживаясь вдоль стены, останавливался возле карты Азовского моря и водил по ней указкой, прочерчивая вооображаемые линии маршрута судов.

С берега донесся ружейный выстрел. Кавун и Кострюков не обратили на него внимания. Но когда последовал второй выстрел, мужчины настороженно переглянулись.

— Что за пальба?— вскочил Васильев.— Что там случилось?

— Ничего особенного Гриша,— улыбнулся, глядя на него Кострюков.— Успокойся.

— Однако стреляют...

— А тоби звисно, шо наш сторож Кузьмич выходе со своей старой гвардией в море?— спросил Кавун.

— А стрельба-то здесь причем?

— Та хтось мае сменить его на посту?

— Ну и что ж? Стрельба, спрашиваю, причем тут?

— А то ж Кузьмич и обучае ружейным приемам свою смену.

— Тю на вас...— Васильев сконфуженно сел.

Кавун поднял над картой указку:— Значит, продолжаемо, товарищи...

XIV

По всей гигантской линии фронта, протянувшейся от Мурманска до Одессы, шли ожесточенные бои.

Над Приазовьем стали появляться самолеты-разведчики противника. Они коршунами кружили над побережьем на большой высоте, выслеживая добычу, потом уходили дальше, на восток, или возвращались на запад.

«Тамань» по-прежнему бороздила воды родного моря. Но теперь на ее борту не было ни одного пассажира — она перевозила в трюмах различные грузы. На ее корме и носовой части были установлены зенитные пулеметы. Возле них дежурили моряки, зорко наблюдавшие за небом.

А война с каждым днем полыхала все сильнее. На защиту родной земли проводили бронзокосцы новую партию рыбаков. И тогда на смену им пришли в бригады ловцов жены и сестры. Сорок женщин и девушек привела в колхоз Таня Зотова. В мужниной брезентовой робе, в широкополой шляпе и в сапогах с высокими голенищами, она была похожа на стройного голубоглазого юношу, не уступающего в ловкости и сноровке любому рыбаку. Всюду — в сельсовете и Доме культуры, в правлениии колхоза и конторе МРС, на рыбацком стане и на каждом моторном судне — можно было видеть лозунг: «Все для фронта, все для победы!» И люди трудились с невиданным напряжением всех сил, перевыполняя планы добычи рыбы.

Добросовестно исполняла свои обязанности по охране мас-

терских МРС и Акимовна. Вооружившись берданкой, она с вечера становилась на пост и только утром уходила домой.

Как-то в хутор приехал Жуков на запыленном «газике». Васильева, Кавуна и Кострюкова не оказалось на берегу. Они ушли с рыбаками в море. Акимовна жила неподалеку от МРС, и Жуков пошел навестить ее.

— Андреевич пожаловал!— обрадовалась гостю Акимовна, всплеснув руками. И сняв с гвоздя маленький веничек, кивнула на дверь:— Идем-ка, голубчик ты мой, во двор, я с тебя пыль смету.

Потом она налила в рукомойник воды, подала Жукову кусок мыла и чистое полотенце:— Снимай рубаху и умойся. Освежись с дороги.

— Спасибо, Акимовна. От такого удовольствия не откажусь..

Они сидели в тени молодой акации, росшей возле небольшого белого домика, выстроенного для Акимовны колхозом. С юго-востока налетал порывистый ветерок, приятно освежал лицо. Волны, догоняя одна другую, бежали к Косе и с шумом разбивались о подножие круто обрывающегося берега.

— В море давно ушли?— спросил Жуков.

— Рано утром отчалили.

Видя, как у Жукова временами дергается щека, Акимовна догадалась, что он чем-то расстроен. Осторожно спросила:

— Тяжело тебе, Андреевич?

— Всем нынче нелегко.

— Это правда,— согласилась Акимовна, вздыхая.— Всем, голубчик ты мой.

Жуков пожаловался:

— Думал повидать Васильева и Кострюкова, потолковать с ними... А поглядишь — толковать-то и не о чем,— и махнул рукой.— Везде нужда в людях.

— Ох, нужны руки всюду.

— Хлеба́ вон в колхозах уродились невиданные, а убирать некому. И фронт все ближе и ближе к нам подкатывается.

— Прет, вражина, как на сломанную голову,— глаза Акимовны загорелись гневом.

— Торопятся, мерзавцы, побольше заглотать... Правда, успехи гитлеровцев и отход наших армий — дело временное. Однако нельзя же оставлять врагу такое богатство, как хлеб.

— Чтоб им подавиться нашим добром.

— Думал я, может рыбаков бросить на помощь полеводческим колхозам.

— А кто же рыбу промышлять будет?

— В том-то и дело, Акимовна. То плохая стратегия — один участок фронта укреплять, а другой оголять.

— Как же беде помочь?

— Поеду в город. Там, пожалуй, я скорее найду людей. Хлеб надо спасти во что бы то ни стало. Ну, спасибо тебе, Акимовна, за привет и ласку. Передай поклон Кострюкову, Васильеву, Кавуну, всем рыбакам и рыбачкам. Особый поклон Кузьмичу и всей старой гвардии.

— Непременно передам, Андреевич. Счастливо тебе.

Возле сельсовета жуковскую машину остановила Анка. С нею была Евгенушка.

— Мы к вам с жалобой, товарищ Жуков,— забыв поздороваться, сказала Анка.— Я звонила в райком, да не застала вас.

— Здравствуйте, бабоньки. На что или кого жалуетесь?

— На Васильева.

— Да ну? Вот уж не подумал бы, чтоб ему удалось обидеть таких боевых женщин.

— А вот обидел и очень,— быстро, горячо заговорила Евгенушка.— Не разрешает выходить в море. Все бабы и девчата на лове, а мы разве хуже иных-прочих?..

— «Ты, говорит, власть,— перебила подругу Анка,— и должна следить за порядком на хуторе...» А по-моему, сторожить хутор и Акимовна может.

— А мне он что сказал?— в свою очередь перебила ее Евгенушка.—«С твоей ли, говорит, сердечной болячкой в море выходить... Только мешать другим будешь... Лучше школу готовь к новому учебному году...» Как будто я без него не знаю. Да ведь сейчас самое горячее время на промысле.

— Вот что, друзья мои...— Жуков подумал и продолжал:— Вы, конечно, правы, но... и Васильев прав. Каждый из нас должен оставаться на своем месте. И здесь дела запускать не следует.

Анка и Евгенушка молча переглянулись.

— Что?— засмеялся Жуков.— Думаете, и я против вас? Нет, всегда поддержу, встану на вашу сторону. Но на этот раз Васильев прав. Ничего не могу поделать,— и кивнул шоферу:— Трогай...

— Вот тебе и пожаловались,— развела руками озадаченная Анка, когда райкомовский «газик» запылил по улице.

Активную деятельность проявлял и Бирюк в первые дни войны. Он изъявил желание отправиться добровольно на фронт. В военкомате ему отказали наотрез, как инвалиду. Бирюк и сам знал, что ему откажут, потому и просился добровольцем.

Встречному и поперечному он жаловался, что не дают ему «немчуру колошматить». Но когда потребовались люди в рыболовецкие бригады, куда пошли старики и подростки, женщины и девушки, патриотический пыл Бирюка сразу остыл. Здоровый, сильный парень, он вдруг стал еще сильнее припадать на ногу, завел себе для опоры палку.

Как-то, вернувшись из района, Анка сказала:

— Ну, Харитон, я ничего не могла достать в Белужьем: ни карандаша, ни ручки, ни бумаги, ни конвертов, ни перьев, ни мастики для печати. Жукова не застала, он и днюет и ночует в колхозах. Поеду в город.

— Что вы, Анна Софроновна, зачем утруждать себя,— запротестовал Бирюк.— Давайте я съезжу.

— Куда тебе с больной ногой. Сиди уж...

— Да ни черта с ней не сделается. Не дозволю я, чтобы вы в дороге маялись. Я мигом обернусь.

Анка согласилась, и Бирюк уехал на первой попутной машине, которые часто проходили мимо хутора.

Опрятный домик из двух комнат и кухни, обнесенный высоким деревянным забором, стоял на самой окраине города. Он принадлежал мастеру токарного цеха металлургического завода Моисею Ароновичу Зальцману.

Хозяин был большим любителем природы. В его небольшом уютном дворике цвели пышные красные розы, георгины, астры, росли молодые вишни, груши, яблони, сливы. Садик охватывала живая изгородь из кустов персидской сирени. По забору вился широколистый дикий виноград.

Моисею Ароновичу перевалило за пятьдесят лет, но жил он одиноким бобылем. Среди знакомых слыл Зальцман заядлым холостяком, к тому же человеком необщительным, замкнутым.

Завтракал и обедал Моисей Аронович в заводской столовой, а ужинал дома. На ужин у него были неизменные бутерброды со смальцем и черный кофе. В выходные дни Зальцман отправлялся обедать в ресторан «Чайка». Ел он обыкновенно мало, но выпивал две-три бутылки холодного пива. Обслуживал его постоянно один и тот же внимательный и услужливый официант по имени Жорж. Моисей Аронович расплачивался с официантом, неизменно оставляя рублевку «на чай», и неторопливо покидал ресторан.

Тимофей Белгородцев, отец Павла, познакомился с Зальцманом через крупного городского спекулянта Машкова, с кото-

рым был в давнишней дружбе: вдобавок в тридцатом году они оба были осуждены за хищение рыбы. Тогда же был осужден и их соучастник Петр Егоров, отец Бирюка.

Бывая в городе у Машкова, Тимофей вместе с Павлом несколько раз навещал Зальцмана. Хозяин и гость уединялись в беседке, и Павел не знал, о чем они там беседовали, что вообще так тесно связывало их. Спросить же об этом отца, угрюмого и вспыльчивого, он не осмеливался.

И вот, когда Павел десять лет тому назад бежал из колхоза и очутился в городе, разбитый и усталый, не зная, где приклонить голову, он вспомнил вдруг о домике на окраине города...

Моисей Аронович знал о судьбе Машкова и Белгородцева. В те дни, когда на Косе шел судебный процесс над расхитителями принадлежавшей государству рыбы, Зальцман пережил немало треволнений, боясь как бы на суде не всплыло и его имя. Но этого не случилось, и Зальцман успокоился.

«Крепкий народ, — подумал он о Машкове и Белгородцеве. — На таких можно положиться в любом деле...»

Но не знал Моисей Аронович, что именно Павел Белгородцев, этот сидящий сейчас перед ним парень, и выдал властям всю шайку, занимавшуюся воровством и копчением рыбы. Жертвуя собственным отцом, Павел надеялся на то, что этим искупит свою вину перед Анкой, что ему снова удастся покорить сердце зеленоглазой красавицы, родившей от него ребенка. Но он ошибся. Анка выгнала его из своей хаты. Тогда Павел бросил колхоз и сбежал из родного хутора. Моисею же Ароновичу он расписывал дело совсем иначе:

— ...Дышать на хуторе стало нечем... Хочешь ты в колхоз или не хочешь, тебя не спрашивают... Загоняют всех подряд, как стадо баранов... А на черта мне их колхозы... Я хочу быть хозяином... А хозяиновать не дают! На словах у них власть народная... Свобода!.. А на деле какая-нибудь потаскуха мокрохвостая командует тобой...

Зальцман, то поглаживая ладонью лысину, то почесывая пальцем рыжеватую бороду, смотрел на Павла сквозь очки в металлической оправе немигающими, с мутным свинцовым отливом, холодными глазами. Внимательно выслушав все до конца, сказал:

— Смелый ты парень, но... неосторожный.

— А кто может подслушать нас?

— Здесь — никто. А если где-либо в другом месте поведешь ты подобные речи?

— Я не дурак. Знаю, где и что можно говорить.

— Но меня-то ты ведь не знаешь?
— Отец знал вас... Он с плохими людьми не водился.
— Кто же, по-твоему, плохие и кто хорошие? — прощупывал Зальцман гостя.
— Хорошие те, кому нет жизни при Советах.
«Горяч... — подумал Зальцман. — Но из него можно сделать полезного человека...»
А вслух сказал:
— Зря кипятиться не следует. Не ты один обижен. Сколько лет ношу я в сердце горькую обиду, а молчу. Терплю... Если бы не революция в России, я миллионером был бы. У моих родителей отняли большое состояние, а я у них был единственным наследником... Все пошло прахом: и сахарный завод, и фабрика халвичная, и ювелирный магазин, и собственные дома доходные в Киеве и Одессе. А я вот... мастеровой. Видишь, какие мозоли на руках?.. Гну спину на чужого дядю, а терплю. Не болтаю зря что и где попало. Не забывай, парень: «язык мой — враг мой»...
— Понимаю, — буркнул Павел.
— Очень хорошо, что понимаешь. И душу свою раскрывать можно перед тем, кому доверяешь как самому себе.
— Это верно.
— Я знал твоего отца как человека состоятельного, порядочного, поэтому всегда готов помочь тебе.
— Благодарствую, Моисей Аронович.
— Хочешь быть токарем? Выучу. Поступай в мой цех учеником.
— А как же с морем? Без него мне жизни нет.
— И на Косе и здесь море одно и то же. Можешь каждый день любоваться им.
— А ежели не утерплю, тогда цех бросать? Вы знаете, Моисей Аронович, что кто сызмала хлебнет соленой воды, тот, считай, навсегда к морю привязан.
— Море всегда будет перед тобой. Вот оно, под боком. А ты погляди, какой у меня цех, какие станки! Идем завтра на завод, покажу!
— Что ж, поглядеть можно, — согласился Павел.
— А сейчас поужинаем, кофейку попьем и спать. Пока будешь жить у меня.
— Я, право, и не знаю, как и чем благодарить вас...
— Ладно. Потом сочтемся. Люди мы не чужие.
Так Павел и остался в домике на окраине города и все десять лет прожил в нем. Зальцман обучил его токарному делу,

и в скором времени стал он отличным токарем-скоростником. Портрет Павла красовался на Доске почета, о нем не раз писали в заводской многотиражке и городской газете. Как-то, в выходной день, сидя в ресторане и потягивая пиво, которое подавал на стол Жорж, Зальцман сказал официанту:

— Вот, Жорж, этот молодец — бывший рыбак. Я его из тузлука вытащил и в рабочий класс произвел. Теперь он лучший токарь на заводе.

— Все знают, Моисей Аронович, — согнулся в поклоне Жорж, шевельнув в сладкой улыбке завитками усов, — что у вас доброе, истинно отцовское сердце.

— Я и заменяю ему отца родного.

— А где же ихний папаша?

— Отправился в лучший мир, — притворно вздохнул Зальцман.

— Жалко, жалко, — посочувствовал Жорж. Бросив «пардон», он метнулся к другому столику, откуда доносился нетерпеливый стук ножа о бутылку.

По возвращении домой Моисей Аронович принялся за сало и кофе. Павел давно хотел задать ему вертевшийся на языке вопрос, но не осмеливался. Наконец решился:

— Моисей Аронович, вы ведь еврей?

— Ну и что же? Разве еврей не человек?

— Человек, конечно. Но сало-то свиное ваша нация не потребляет?

— Предрассудки, милый мой! — засмеялся Зальцман. — Теперь евреи перестали быть дураками, все едят сало.

* * *

Бирюк быстро отыскал домик на окраине. Постучал. И когда распахнулась калитка, перед ним предстал Павел, без рубашки, подпоясанный полотенцем. С лица и рук его стекала вода.

— Здоро́во!— прогудел Бирюк.— Умываешься?

— Харитошка! Черт! Бирюк! Здоро́во! — радушно встретил его Павел. — Заходи.

Из домика вышел Зальцман. Вытираясь на ходу полотенцем, Павел кивнул на Бирюка:

— Это сын Петра Егорова, Моисей Аронович.

— Егорова?.. — Зальцман поднял на лоб очки. — Слыхал, слыхал про твоего отца. Хороший был рыбак.

— Знакомься, Харитон. Это мой хозяин. Учитель мой.

— А что у тебя с ногой? — поинтересовался Зальцман.

— По случаю собственной неосторожности, — ответил Бирюк.

— Слышишь? — Зальцман перевел взгляд на Павла. — Неосторожность может довести даже до физического увечья. Идемте в комнаты...

Беседовали вполголоса, чтобы не закрывать окон, в которые струилась из садика предвечерняя свежесть. Зальцман говорил мало, больше слушал, присматриваясь к скупому на слова Бирюку. Ему хотелось поймать его взгляд. Но глаза Бирюка, глубоко спрятанные, только поблескивали из-под нависших косматых бровей. В них трудно было заглянуть.

— Значит, хутор затих? — спросил Павел.

— Шуметь некому. Пусто. Какие поздоровше, тех на фронт угнали, а маломощные да бабье в море ходят, рыбу добывают.

— А ты не выходишь в море?

— К дуракам себя не причисляю, — хитровато ухмыльнулся Бирюк.

«Этому палец в рот не клади... — отметил про себя Зальцман.— Совсем еще молод, а повадки старого ли́са».

Моисей Аронович поднялся.

— Ну, вы беседуйте, а я пойду кофе варить.

Когда он вышел, Бирюк спросил Павла:

— Жид?

— Что ж такого, что жид? Он со всеми потрохами наш человек.

— Придут ежели немцы, повесят беспременно.

— Да брось ты... Он, знаешь, как пострадал от Советской власти? Миллионы потерял.

— Все равно повесят, — стоял на своем Бирюк.

— Дурень ты.

— Дурень тот, кто газет не читает. А в них пишут, что немцы всех евреев подряд уничтожают, грудных детей и тех не щадят. Чтоб, значит, никакого заводу не осталось. Под корешок.

В комнату вошел Зальцман.

— Кого это уничтожают? — спросил он.

— Да вот Харитон говорит, будто немцы всех евреев расстреливают.

— Откуда у него такие сведения?

— В газетах пишут, — ответил Бирюк.

— А я такого мнения придерживаюсь: пока своими глазами не увижу, ничему и никому не поверю.

— Да как же вы увидите, — засмеялся Бирюк, — когда вас немцы сразу вздернут, если не убежите?

— А я и не думаю бежать, — сказал Зальцман. — От своего дома и шагу не сделаю. А газеты для того и существуют, чтобы страх сеять. Пропаганда! — пренебрежительно бросил он, взял из буфета пачку кофе и ушел на кухню.

Бирюк покачал головой.

— Вот какой у тебя хозяин. Жид, а смелый, черт.

— Хватит об этом. Ты лучше об Анке расскажи.

— А что о ней рассказывать? И на кой леший она тебе нужна? Нешто на ней свет клином сошелся?

— Может, и сошелся, — вздохнул Павел.

— Вздыхай, вздыхай, гляди и полегчает, — с едкой усмешкой проговорил Бирюк.

— Ты, однако, жестокий, Харитон...

— Лучше быть жестоким, чем тряпкой, — Бирюк сердито засопел.

Помолчали. Павел подсел к письменному столу, взял ручку и начал быстро писать. Потом вложил исписанный листок в конверт, написал Анкин и обратный адреса и протянул Бирюку.

— Передашь Анке. А на словах скажи ей, что у меня бронь, на фронт не возьмут. Хорошо зарабатываю. Какого ей рожна еще надобно?

— Письмо передам,— пообещал Бирюк.

— И поговори с ней... Слышь?

— А уговаривать не стану. Мне от ваших любовных дел тошно.

— Сделай это, прошу как друга.

— Вот пристал, аспид. Ладно, поговорю. Распишу тебя, как икону. Молиться будет. А коньяком угостишь?

— Спрашиваешь... Дюжину бутылок с собой в хутор повезешь.

— Много. Хватит и полдюжины, — смилостивился Бирюк.

Из кухни послышался голос Зальцмана:

— А ну, молодежь! Пожалуйте кофе пить!

— Идем, Моисей Аронович! — и Павел увел земляка на кухню.

Бирюк возвратился в хутор на второй день перед вечером. Он привез все необходимое для канцелярии сельсовета, чего не могла достать Анка в Белужьем.

— Да ты, Харитон, просто молодец! — похвалила она.

Бирюк смущенно пробормотал что-то и вынул из кармана конверт.

— Вот вам, Анна Софроновна...

— А это что?

— Письмо... от него. А на словах просил передать вам, что он забронированный и на фронт его не возьмут.

— От Павла, что ли?

— Ну да. И еще просил передать, что хорошую деньгу́ зашибает, живет богато.

— Послушай, Харитон... Ты знал, что письмо я читать не буду. Зачем же ты взял его?

— Да говорил я ему, аспиду,— загудел Бирюк, зло глядя из-под нахмуренных бровей,— что Анна Софроновна и чихнуть на тебя не пожелает, а он все свое долдонит —«передай да передай». Отвязаться от него не мог. Липучий, чертяка, ровно банный лист.

— Ты заходил к нему?

— Упаси бог... На улице невзначай встрел. Я таких друзей-товарищей сторонкой обхожу. А тут столкнулись. Да мы с ним, когда он в хутор приезжал, еще в тот раз, в моей хибаре сцепились. Ну, я его и брякнул чувствительно, аж кровать поломалась. Прощения вчерась пришлось просить.

— Где же ты ночевал?

— В Доме колхозника.

— Ладно. Дай-ка сюда,— Анка написала на лицевой стороне конверта «Адресат выбыл», вернула письмо Бирюку.— Опусти в почтовый ящик.

— Вот угораздило меня повстречаться с этим аспидом забронированным,— проворчал Бирюк.

Но прежде чем отправить обратно Павлу письмо, он вскрыл конверт и вложил в него записку:

«Говорят, паны дерутся, а у мужиков чубы трясутся. Вы любовь крутите, а у меня поджилки дрожат от страха. Она, сука злая, и слышать о тебе не желает, и письма твоего не читала, швырнула мне в морду. Хорошо, что еще не поколотила или с работы не прогнала. Помни, что снес я эту обиду ради нашей дружбы.

Харитон».

XV

С фронта приходили тревожные вести. Красная Армия отходила на восток.

Уже была оставлена Молдавия, и советские батальоны, полки и дивизии, истекая кровью, бились в степях Украины, стояли насмерть под Одессой. По радио сообщали, что и по всей Белоруссии шли ожесточенные бои. Но и там, в лесных чащобах, где только вчера прошел противник, сегодня уже действовали мелкие неуловимые отряды народных мстителей. Партизаны нарушали коммуникации, взрывали мосты, пускали под откос вражеские воинские эшелоны.

Огненный шквал войны уже вскипал у Днепра, приближался к Азовскому побережью. Но это не могло остановить или замедлить ход напряженных работ бронзокосцев. Днем и ночью выходили они в море и возвращались с доверху наполненными рыбой трюмами.

Как-то в хутор вновь наведался Жуков. Бледность его бескровного лица говорила о том, что он крайне переутомлен. Однако секретарь райкома старался держаться бодро.

Проезжая мимо сельсовета, Жуков услышал, как кто-то окликает его. Он протянул руку к баранке, и шофер остановил машину. Жуков обернулся и увидел Васильева, высунувшегося из окна Анкиного кабинета.

— Ты к нам? — крикнул Васильев.

— К вам.

— Заходи сюда. Тут все в сборе.

Жуков вышел из машины и направился в сельсовет. В кабинете были Анка, Душин с женой, Евгенушка, Дарья, жена Васильева.

— Доброго утра, товарищи!— приветствовал их Жуков. Он посмотрел на Анку, сидевшую у радиоприемника, понимающе кивнул, тихо прошел к дивану и сел возле Евгенушки.— Сводку слушаем?

— Слушаем, Андрей Андреевич,— вздохнула Евгенушка.— Шибко шагают людоеды.

— К своей могиле торопятся.

— Все,— Анка выключила радиоприемник.— Вот, Андрей Андреевич, как видите, нерадостные вести.

— Наступят и светлые дни. Они будут приносить только счастливые вести.

— Когда же?— и глаза Евгенушки загорелись надеждой.

— Предугадать невозможно. Но такие дни наступят несомненно. А что Виталий? Пишет?— спросил он вдруг.

— Нет. Еще ни одного письма не получила.

— А твой сокол, Анка, дает о себе знать?

— Молчит. Словно в воду канул.

— Да-а...— задумчиво произнес Жуков, глядя в пол.— Вот и я получил последнюю телеграмму от жены из Свердловска, а потом она... тоже как в воду канула. Самое разумное было бы — остаться ей на Урале.

Васильев подсел к Жукову, спросил:

— А как у вас дела с уборкой?

— Неважные, Григорий,— Жуков сразу посуровел.— В случае чего, придется сжигать хлеб на корню... Ни зернышка не оставим гитлеровской саранче, душа из нее винтом...— Он выбросил перед собой руки кверху ладонями, потряс ими.— Вот чего не хватает... Рук, рабочих рук...

— Поможем,— решительно сказал Васильев.

Жуков порывисто поднялся с дивана, несколько секунд смотрел на председателя колхоза, светлея в лице.

— То есть?..

— Пошлем на уборку хлеба наших женщин и девушек.

— А путина?

— Управимся и без них.

— Но-о... согласятся ли они?

— Согласятся, не сомневайтесь,— заверила Анка.

— Мы все пойдем убирать хлеб,— поддержала подругу Евгенушка.— Верно говорю, товарищи женщины?— она окинула взглядом Дарью и жену Душина.

— Верно, верно,— кивнул головой Душин.— И Дарья, и моя жена поедут на уборку хлеба в колхоз, а ты будешь дома сидеть.

— Почему?— возмутилась Евгенушка.

— А потому,— спокойно продолжал Душин.— Случись с тобой сердечный припадок, что делать? В поле медпункта нет, вот и будешь только обузой для других.

— Я не из нежных... рыбацкой закалки.

—«Наркомздрав», Евгения Ивановна, прав,— заключил Жуков.— Ну, спасибо, порадовали вы меня. Сейчас поеду в колхозы «Октябрь» и «Красный партизан». Может, и они подсобят колхозникам.

— Рыбаки — народ сознательный, отзывчивый. Тебе ли, Андрей, не знать их? Помогут.

— Знаю, Григорий, потому и дружу с рыбаками,— заулыбался Жуков.— Значит так: завтра же люди должны быть в

Белужьем, а райисполком распределит их по колхозам. Я поехал.— У двери остановился, посмотрел на Анку.— Возьми на себя руководство вашей женской бригадой.— И к Васильеву:— Подходящая кандидатура?

— Нет,— возразил Васильев.— А кто будет...

— Революционный порядок на хуторе блюсти?— засмеялась Анка.— Я думаю, Андрей Андреевич, что на время моего отсутствия товарищ Васильев вполне справится, совмещая должность председателя колхоза и председателя сельсовета.

— Не сомневаюсь,— и Жуков вышел из кабинета.

— Хитрости у тебя, девка,— покачал головой Васильев, глядя на Анку,— хоть отбавляй.

— Вы же сами предложили послать женщин на уборку.

— Ладно, так и быть, поезжай. Дело нужное,— сдался Васильев.

— Тогда примите от меня, Григорий Афанасьевич, печать сельсовета...

Рано поутру в Белужье начали прибывать группами женщины и девушки из рыболовецких колхозов. Их подбрасывали в районный центр военные автомашины, днем и ночью курсировавшие по степным дорогам в разных направлениях.

Возле помещения райисполкома прибывающих ожидали присланные из сел подводы. Выпряженные волы лежали тут же возле подвод, лениво пережевывая жвачку. С их толстых мясистых губ свисали прозрачные нити тягучей слюны. В тени деревьев стояли на привязи лошади. Они били копытами, беспрестанно взмахивали хвостами, отбиваясь от надоедливых мух.

На крыльцо здания райисполкома вышел средних лет мужчина и окинул беглым взглядом улицу, запруженную подводами.

— Запрягайте!— скомандовал он.

— Давно пора,— проворчал какой-то сердитый конюх.— Вам-то хорошо в тени прохлаждаться, а коней муха засекает.

Из райисполкома гурьбой высыпали женщины. Анка громко обратилась к мужчинам, торопливо запрягавшим волов и лошадей:

— Товарищи! Где подводы колхоза «Заря»?

— Вон те, крайние,— ткнул в сторону кнутовищем возница.

— Бабоньки, девчата, рассаживайтесь. Эти подводы для нас, бронзокосцев,— распорядилась Анка.

— Давайте скорее, а то солнце, глядите, как высоко,— торопила подруг Дарья.

К Анке подбежала Валя.

— Мама, мы уже едем?

— Да, доченька. Идем, видишь, вон нас ждут подводы.

Только в полдень подъехали на ленивых волах к полевому стану. Бронзокосских женщин встретили приветливо и радушно, накормили наваристым борщом, напоили холодным молоком.

В поле стрекотали жнейки, на току гулко стучала молотилка, приводимая в движение трактором. Одни подводы доставляли на ток снопы, другие — увозили в село зерно. Скошенный жнейками хлеб вязали в снопы и осторожно укладывали их на подводы, устланные брезентом, чтобы не терять зерна, осыпавшегося с переспелых колосьев. В поле на току работали горожане — учителя, рабочие, служащие. А по золотистой стерне стайками перебегали с места на место пионеры, собирая колоски. Они тоже трудились в меру своих сил на колхозном поле. Сельские ребята учили городских этому несложному, но очень важному делу. Анка указала Вале на детишек:

— Беги к ним, доченька. Помогай нам.

— А они примут? Не прогонят меня?

— Конечно примут,— подбодрила ее Таня Зотова.

— Они же пионеры,— заметила жена Душина.

— Иди, иди,— легонько подтолкнула ее Дарья.— Будь посмелее. Бояться нечего.

Валя медленно направилась к пионерам. Но когда увидела, как мальчики и девочки, заметив «подкрепление», радостно замахали ей руками, зашагала быстрее и, еще раз оглянувшись в сторону матери, побежала.

Анка разыскала председателя колхоза, спросила, что делать ее бригаде.

— Будете снопы вязать. Там у нас нехватка в людях,— объяснил председатель.

— Рыбу в море добывать умеем, а вот снопы вязать не пробовали. Сумеем ли?— поделилась своими сомнениями Анка.

— Дело несложное. Научиться недолго. Только руки приложи.

— Если покажут — научимся.— И Анка повела свою бригаду в поле.

Пять дней проработали бронзокосские женщины на колхозном поле. С непривычки болела спина, в пояснице и ногах

ощущалась острая ломота. Саднила исколотая остями кожа рук.

— Вот бы Генку сюда,— вспомнила Анка подругу.

— Зря отговаривали ее,— тихо засмеялась Таня.— Пускай поехала бы с нами. А то все ей кажется, что мы отгораживаемся от нее.

— Куда ей там!— махнула рукой Дарья.

— Мой Кирилл правду говорил,— сказала застенчивая жена Душина.— С ее сердцем она здесь в первый же день свалилась бы.

Женщины лежали на мягкой соломе и, глядя в звездное небо, с тревогой прислушивались к отдаленной орудийной канонаде. Беседовали вполголоса. Разговор их вдруг оборвала подкатившая к стану райкомовская машина.

— Где бронзокосская бригада?— услышала Анка голос Жукова и вскочила:

— Тут, Андрей Андреевич...

— Зотова жива-здорова?

— Жива!— подхватилась Таня.— А что, Андрей Андреевич?

— Что тебе снилось прошлой ночью?

— Не помню. Спала как убитая.

— Получай письмо от Дмитрия. А всем остальным — поклон от рыбаков. Я только что с Косы.

— Письмо?!— вскрикнула Таня, бросаясь к Жукову.

Анка почувствовала, как у нее оборвалось что-то в груди, ноги вдруг ослабели. Она привалилась к столбу, подпиравшему перекладину, на которой висел обрубок рельса.

«Какая она счастливая!..»— невольно позавидовала Анка и тут же вздрогнула от прикосновения руки Жукова.

— И тебе весточка от него. Держи.

Не помня себя, Анка бросилась в полевой вагончик, где спали школьники, зажгла фонарь, развернула сложенный треугольником лист бумаги, но прочитать написанное не могла. Руки дрожали, буквы прыгали перед глазами.

«Да что же это со мной... Лихорадка хватила меня, что ли?..» Наконец успокоилась, прочла:

> «...Ты и Валя всегда со мной, в моем сердце. Живу мыслями о вас. Всего два месяца, как мы расстались, а мне кажется, что прошла вечность. Адреса пока не сообщаю, он на днях переменится. Жди очередного письма. Береги себя и нашу рыбку золотую — Валюшу. Целую.
>
> *Твой Яков».*

Из глаз Анки хлынули неудержимые слезы, слезы радости. Они словно живительная роса омыли ее истомленную тревогой душу. Бесконечно счастливая, Анка спрятала письмо за пазуху, взглянула на безмятежно спавших девочек, задула фонарь и на цыпочках вышла из вагончика. Таня, окруженная женщинами и девушками, дочитывала обстоятельное письмо мужа. Жуков светил ей карманным фонариком.

— Ну, что пишет Митя?— спросила Анка звонким голосом.

— Воюет!— подняла на нее Таня радостно-возбужденный взгляд. В бледном свете фонарика ее голубые глаза казались совсем синими.— Он вместе с Виталием Дубовым служит в артиллерии. Виталий командует орудием, а Митя в его расчете наводчиком.

— А Гена...

— Получила и она от Дубова письмо, получила,— перебил Анку Жуков.

— Теперь она на седьмом небе.

— А ты и Таня на каком? На шестом?— спросил Жуков.

— Нет, я на восьмом!— воскликнула Таня.

— Значит, я на девятом,— сказала Анка.

— Тогда возьми и меня к себе, поместимся,— пошутила Таня.

Жуков отвел Анку в сторону, спросил:

— Когда закончите работу?

— Завтра. Осталось убрать пять-шесть гектаров, не больше.

— Заканчивайте. Слышишь, орудия гукают?

— Мы рады бы вовек их не слышать...

— Да вот приходится. Завтра же по домам.

— Хорошо, Андрей Андреевич.

На следующий день, как и в предыдущие, все взрослые приступили к работе до восхода солнца. Мальчики и девочки спали в полевых вагончиках. Их разбудили, когда поспел завтрак. Поев жаренной на сале яичницы и запив ее молоком, школьники, прихватив сумки, побежали собирать колоски. Они напоминали шуструю стаю воробьев, оглашая поле безумолчной чирикающей разноголосицей.

День прошел в напряженном труде. И когда красноватый, будто раскаленный, диск солнца коснулся гребня далекого степного горизонта, в барабан молотилки подавали уже последние снопы. Со всех сторон к стану сходились группами старики, женщины, девушки, ребятишки. На стане готовился отменный прощальный ужин. Увидев Анку, Валя со всех ног бросилась к ней, прижимая к боку висевшую на шнуре сумку.

— Мама, посмотри,— жаждая похвалы, торопливо говорила она.— Я опять насобирала полную сумку колосков.

— Ох ты ж умница моя,— Анка поцеловала ее в мокрый от пота лобик.

Высоко в небе показалась «рама». Она сделала над степью круг и ушла в сторону моря. Солнце зашло. На западном небосклоне заполыхало зарево заката. И вот тут-то послышался мощный гул моторов. Все устремили настороженные взгляды в небо. В нем появилось звено «юнкерсов», сопровождаемое двумя «мессершмиттами». Люди заволновались, по толпе пробежал тревожный шепот:

— Немецкие...

— А ну, как сыпанут бомбами?..

— Они, видно, спешат туда, куда ушла «рама»...

Председатель колхоза властно, по-военному, скомандовал:

— Рассредоточиться в стороны. Ложись на землю!

Но люди сгрудились еще плотнее, не отрывая от самолетов напряженных взглядов. «Юнкерсы» шли треугольником, несколько левее толпы. «Мессершмитты» кружили над ними, то стремительно падая вниз, то взмывая ввысь. Когда самолеты стали удаляться, кто-то облегченно вздохнул:

— Слава богу, пронесло...

Но вдруг ведущий «юнкерс» сделал разворот и резко пошел на снижение. За ним последовали остальные, растянувшись цепочкой, повисая друг у друга на хвосте. Ведущий, клюнув носом, ринулся в пике. Степную тишину разорвали истерические крики, и людская волна хлынула в буерак, увлекая с собой Анку и Валю. Дарья, Таня и жена Душина топтались на месте, не зная, куда укрыться. Над их головами с шумом и пронзительным воем, вызывающим озноб во всем теле, косо пронеслись авиабомбы, угодив прямо в буерак. Раздались почти одновременно два взрыва, от которых дрогнула земля. На воздух вскинулись комья земли, какие-то темные предметы. Заметив взметнувшуюся над буераком красную косынку, Дарья похолодела, хотела крикнуть «Анка!», но тут в буерак грохнулись еще две очередные бомбы. Таня зашаталась, упала и быстро поползла к вагончику. Жена Душина стояла, точно окаменев, ее такое обычно миловидное лицо было искажено до неузнаваемости. Бомбы третьего самолета упали неподалеку от вагончика. В него ударила воздушная волна, вагончик резко покачнулся и накренился набок: Упала жена Душина. Большой острый осколок ударил ее ниже подбородка и снес полголовы. Дарья дико вскрикнула, закрыла лицо руками и бросилась прочь. Она бе-

жала наугад в степь, которую уже заволакивали лиловые сумерки. Снова послышались взрывы, истошные крики женщин, надрывный плач детей, стоны раненых, умирающих. У Дарьи подгибались ноги, а ей казалось, что это дрожит и качается земля. Жадно хватая ртом воздух, она продолжала бежать, пока, вконец обессиленная, не споткнулась и упала.

...Дарья очнулась, когда уже сгустились сумерки. Она лежала у обочины дороги, которая показалась ей знакомой по молодым посадкам карагача и акации.

«Так и есть, та дорога... Неделю назад мы ехали по ней в Белужье. Но в какую сторону идти?» — в голове у нее стоял шум, звенело в ушах. Напрягая мысль, она наконец вспомнила: от профиля ехали в Белужье все время под уклон... а потом ложбиной... по ровному месту... Значит, надо в ту сторону...

Она с усилием поднялась и пошла медленно, пошатываясь. Ноги одеревенели, не слушались. Вдруг до ее слуха донесся рокот мотора.

— Машина! Слава тебе господи,— обрадовалась Дарья.— Может, подвезут добрые люди. Хотя б до шоссе, а там до Косы — рукой подать.

Дарья сошла на обочину, подняла руку. Машина остановилась. Из кабины высунулся шофер. На его пилотке в сумерках тускло отсвечивала пятиконечня звездочка.

— Откуда и куда, гражданочка? — спросил шофер.

— Из колхоза, родимый, домой добираюсь. Была на уборке хлеба. Немец бомбил нас...

— Далеко живешь?

— На хуторе Бронзовая Коса. Подвези, голубчик.

— Заходи с правой стороны, садись в кабину. Мигом подкину.

— Ой, спасибо ж тебе, дорогой ты человек,— благодарила шофера Дарья, влезая в кабину.

Два дня назад Жукову позвонили из обкома партии, велели на всякий случай приготовиться к эвакуации и ждать дальнейших указаний. В свою очередь, Жуков предупредил Кавуна, Кострюкова и Васильева, чтобы они были наготове. Сегодня телефонная связь с обкомом внезапно прервалась. Несколько часов просидел Жуков у аппарата, но телефон безмолвствовал.

— Повымерли гам все, что ли? — досадовал Жуков.

А тут еще утром проезжавший через Белужье интендант сообщил, что танки противника прорвали оборону и устреми-

лись с десантом автоматчиков на Таганрог. Было отчего нервничать.

— Выходит, мы отрезаны?— спросил Жуков.

— Почему? — усмехнулся интендант. — Можно и через море махнуть. Выход есть.

— А вы, что же это, думаете прямо на грузовике через море махнуть? — покосился на него Жуков.

Заметив, как у секретаря райкома задергалась щека, интендант толкнул задремавшего у баранки шофера:

— Выспишься после войны, дружок. Вперед!

Жуков посмотрел вслед удалявшемуся грузовику, покачал головой:

— Вперед-то вперед, а пятки повернул не в ту сторону.

Жуков распорядился погрузить на запасную машину особо важные документы и обратился к членам бюро райкома:

— Выезжайте к курганам «Семь братьев» и направьте обозы с хлебом и гурты скота в Мокрую балку. Там ждите меня.

— А ты куда, Андрей Андреевич?

— В колхоз «Заря». Почему-то оттуда через Белужье не проходили ни люди, ни обоз. И телефон не работает.

— Они могли пройти стороной.

— Гадать не будем. Поезжайте,— и он сел в «газик».

Уже смеркалось, когда грузовик и «газик» выехали со двора райкома на улицу и разъехались в разные стороны.

В трех километрах от колхоза «Заря» Жукова остановили артиллеристы. Они устанавливали пушки для стрельбы с открытых позиций. Командир батареи спросил Жукова:

— Кто вы и куда направляетесь?

— В колхоз «Заря». Там почему-то задержались с эвакуацией. А вот мой документ, — и Жуков посветил фонариком, прикрыв его фуражкой.

— Не могу пропустить вас, товарищ Жуков.

За пригорком загремели пушки.

— Лезет, гад, — сказал командир, наблюдая за пригорком.

— Я быстро обернусь, — напомнил о себе Жуков.

— Не могу. Слева и справа от меня тоже расположены батареи. Вдруг на этом участке прорвутся танки противника, вот и попадете под огонь своих же.

— Товарищ... — еще раз попытался Жуков уломать командира батареи.

— Неужели вы не можете понять того, что мы против своей воли можем расстрелять вас? — Гул стрелявших пушек перешел в сплошной рев. — Слышите? Артогонь усилился. Это ле-

зут танки. Уезжайте отсюда, товарищ секретарь райкома, и не мешайте нам, — он отвернулся и крикнул: — Командиров огневых взводов ко мне!

Жуков скрепя сердце сказал шоферу:

— Поворачивай назад...

Через час «газик» вернулся в Белужье. Огромное село казалось вымершим. Жуков ехал по центральной улице, еще сегодня утром многолюдной, шумной, а теперь пустынной и тихой. Из темноты выплыли стройные силуэты высоких тополей, окружавших здание райкома. Шофер круто завертел баранку влево, но Жуков резким движением остановил его.

— Куда?

Шофер затормозил, с недоумением посмотрел на Жукова. Потом, горько усмехнувшись, покачал головой, виновато проговорил:

— Ведь вот какое дело, Андрей Андреевич... По привычке домой завернул.

— Давай к Мокрой балке. Домой мы еще вернемся.

Грузовик стоял в самой низине балки, возле колодца с деревянным срубом. Когда «газик» остановился, Жуков услышал свистящий скрип колес и громкие понукания возниц. Из Мокрой балки вверх по склону уходили последние повозки обоза с колхозным хлебом. Возле колодца толпились красноармейцы. Привязав к поясным ремням котелки, они черпали ими из колодца воду. Заметив подъезжавший «газик», один райкомовский работник подбежал к Жукову:

— Андрей Андреевич? Наконец-то! Ну что, много бед причинила бомбежка?

Жуков попросил у одного из красноармейцев котелок, жадно пил, проливая воду на грудь. Сделав передышку, еще раз припал к котелку, поблагодарил красноармейца и разгладил ладонью мокрую на груди гимнастерку.

— Какая бомбежка? — повернулся он к работнику райкома.

— Разве вы не были в «Заре»?

— Нет. Перед поселком артиллеристы заняли оборону и не пропустили меня. А что?

— Там же немецкие самолеты форменное светопреставление учинили...

— Откуда вы знаете?

— Секретарь сельсовета рассказывал.

— Где он?

— С гуртоправами ушел.

— Что же он рассказывал?

— Видите ли... Мы думали, что немцы город бомбят, а оказывается, они на колхоз обрушились. Две бомбы сбросили на село, разрушили школу, здание сельсовета. Секретарь, дежуривший у телефона, с трудом выбрался из развалин.

— Вот, значит, почему не отвечал их телефон...— в раздумье проговорил Жуков.

— Остальной бомбовой груз, — продолжал работник райкома, — стервятники сбросили на полевой стан. Секретарь сельсовета вскочил, говорит, на коня и в поле, а там... все смешано с землей. Оставшиеся в живых рассыпались по полю кто куда.

— Но дети... дети... — Жуков почувствовал, как в сердце словно булавка вонзилась, голос его сорвался.

— Рассказывал, что много женских и детских трупов на стане видел. Председатель колхоза тоже убит.

— Чего ж он медлил?.. — Жуков задыхался, спазмы душили его.

— Выполнял ваше указание: собрать хлеб до единого зернышка.

Жуков несколько секунд стоял молча. Голова его мелко и часто дрожала.

— Да... Тут уж моя вина... моя ошибка... Ну, по машинам... В каком направлении движутся гурты и обоз?

— В северо-восточном, на Матвеев курган. Здесь был полковой командир, он руководит работами по сооружению оборонительной линии. Так он сказал, что на Таганрог прорвалось десятка два танков с автоматчиками, а передовые цепи противника сдерживают наши стрелки и артиллеристы. В пятнадцати километрах отсюда находятся тылы наших дивизий. Так что выйти в безопасную зону мы успеем.

— Тогда не будем терять времени. Поезжайте впереди, я буду замыкающим.

Всю ночь, растянувшись на три километра, шел по пыльной дороге обоз с хлебом. На скрипучих повозках, поверх мешков с зерном и узлов с домашним скарбом, сидели женщины и дети. Медлительные волы шагали в раскачку, не торопясь. Дети засыпали на руках у матерей. Слева и справа от дороги гуртоправы гнали колхозный скот по стерне и нескошенным хлебам. Время от времени там и сям слышались короткие вскрики «Гей, гей!», посвисты гуртоправов и резкое щелканье бичей, похожее на пистолетные выстрелы.

Райкомовский «газик» шел в самом хвосте обоза, глухо и неровно рокотал мотор. Нудно и тоскливо было тащиться на машине воловьим шагом. Шофер останавливал «газик», рас-

куривал папиросу, потом догонял обоз. Жуков, занятый своими мыслями, не замечал маневрирования шофера. Он беспокоился о том, чтобы благополучно выбраться в безопасную зону и спасти людей, хлеб и скот. Но когда Жуков мысленно переносился на полевой стан колхоза «Заря», где еще вчера беседовал с Анкой, женой Душина, Дарьей, Таней Зотовой, и представлял себе картину страшной бомбежки, сердце его тисками сжимала острая боль...

В полночь в темном небе послышался гул мотора. Жуков подняв голову, прислушался.

— Ночной разведчик.

— Носит его нечистая сила в такую пору...— чертыхнулся шофер.

И вдруг в воздухе одна за другой повисли три ракеты-пятнадцатиминутки... Потом еще две. В их мертвенно-белом свете стали отчетливо видны и запыленные повозки, и гурты скота.

— Не к добру повесил он «свечи». А будь ты проклят!— проворчал Жуков и крикнул:— Передайте головным, чтоб пошевеливались! Что они там по-черепашьи ползут!

Вскоре последний возница замахал кнутом, нахлестывая подручного вола:

— Цобэ, цобэ, сивый!— и свернул с дороги.

— Куда?— окликнул его Жуков.

— В обгон. Не могу же я за ними тащиться вот так — еле-еле душа в теле. Цобэ, цоб!..— не переставал покрикивать на волов возница, обгоняя предпоследнюю повозку.

В эту минуту Жуков услышал мощный, быстро нараставший гул моторов и обернулся. Три «юнкерса» шли на небольшой высоте. В свете ракет были хорошо различимы их темные силуэты. Не делая захода и не пикируя, самолеты сбросили первые бомбы, с визгом и свистом устремившиеся на дорогу и обочины. Казалось, что от их взрывов заколыхалось освещенное ракетами поле... На месте упавших бомб черными веерами вскинулась земля... Самолеты продолжали лететь правильным треугольником; методично, одна за другой, рвались бомбы. Душераздирающие крики женщин, истошный плач перепуганных детей, рев обезумевших животных, стоны раненых — все слилось в протяжный леденящий кровь вой...

Жуков заметил, что какой-то колхозник, взмахивая длинной плетью, отбил от гурта десятка два коров, торопливо гнал их обратно.

— А ну давай наперерез,— бросил Жуков шоферу, указывая рукой в сторону предприимчивого мужика:

Шофер развернул «газик» и повел его на последней скорости по щетинистой стерне. Жуков, приоткрыв дверцу, крикнул:

— Заворачивай скотину! Назад хода нет! Заворачивай!

— Дудки! Хватит с нас!— огрызнулся мужик.— Хорошо тебе в машине пановать, а нам каково? Загнал в адово пекло и командуешь? Дудки!

Жуков вылез из машины и рывком выхватил из кобуры наган.

— Заворачивай, мерзавец. На крови людей вздумал разбогатеть...

— Оружьем грозишь?— мужик бросил плеть, рванул на себе рубаху:— Стреляй! Все равно погибель нам.

— Проваливай, христопродавец!— Жуков спрятал наган, поднял плеть и бросился заворачивать коров.

К нему на помощь подоспели гуртоправы. Но тут появилась вторая тройка «юнкерсов», и снова на ревущее поле посыпались бомбы... Жуков помнил только, как что-то обожгло живот, швырнуло воздушной волной, и он потерял сознание...

...Шофер довез Жукова до санбата. Он бережно внес его в палатку и осторожно положил на операционный стол; не видел Жуков хлопотавших возле него людей в белых халатах, с марлевым повязками на лицах; не слышал он, как военврач-хирург, извлекая из живота осколок, сказал своим помощникам:

— Крепкий мужик. Долго жить будет.

Очнулся Жуков в эвакогоспитале. Оттуда отправили его в глубокий тыл на излечение.

Всю ночь не закрывалась дверь куреня Васильевых. Одни хуторяне уходили, другие приходили, и Дарья, уже в который раз, начинала свое повествование о трагедии, разыгравшейся на полевом стане. Только Евгенушка, Душин и дед Панюхай, как пришли к Васильевым, так и оставались у них до рассвета.

Панюхай, обхватив руками голову, раскачивался из стороны в сторону, твердил одно и то же:

— Анка, Анка... Внученька моя, Валюша... Да как же я теперь буду без вас?..

Он на время затихал, потом опять звал дочь и внучку, горестно покачивая головой.

Евгенушка, забившись в угол оплакивала смерть любимой подруги, с которой с детских лет делила радости и горести.

Кирилл Душин сидел молча и тупо смотрел в пол. Он не слышал и не видел тех, кто входил в избу и выходил, слушал Дарью и только замечал в полумраке затемненной электролампочки одни ноги, топтавшиеся по полу. Он никак не мог понять одного: как это можно сбрасывать бомбы на мирных и кротких людей, какой была его жена. Долго ходил он в холостяках. Наконец подобрал себе тихую и застенчивую подругу, не успел нарадоваться своему семейному счастью, как его уже отняла чья-то злобная воля.

Покуда Дарья в сотый раз рисовала перед хуторянами страшную картину бомбежки, на МРС тем временем шли авральные работы. Рыбаки и рабочие мастерских по ночам рыли в цехах траншеи, обивали досками разобранные станки и закапывали их. Лишнюю землю выносили на пирс, сбрасывали в море. На этих работах были заняты только те, которые должны были эвакуироваться на рассвете с Косы, уйти на моторных баркасах к другому берегу и увезти с собой эту тайну. Так решили директор МРС и замполит: зарыть станки, инструменты в землю, а пустые цехи поджечь. И никогда враг не догадается, что под пеплом, в земле, среди обгорелых стен, находится оборудование мастерских.

Кострюков и Васильев совещались с Кавуном в его кабинете. Они составили список людей, подлежащих эвакуации, наметили, что взять с собой из имущества колхоза и МРС.

Кавун не присаживался, с какой-то удивительной легкостью проносил из угла в угол свое грузное тело. На его широкой богатырской груди сверкали два ордена Красного Знамени. А третью награду — именной клинок с надписью «Лихому коннику Юхиму Кавуну за храбрость. Командарм Буденный» — Кавун отточил, смазал и упаковал вместе с самыми необходимыми вещами.

— Ще может сгодиться...

В дверь постучали.

— Заходь, кто там?

Вошел Пронька, доложил:

— Все готово. Теперь можно и цехи подпалить.

На рассвете ярко запылали мастерские, освещая суда, стоявшие на приколе у пирса. Все было готово к отплытию; ждали приказа директора МРС, а Кавун, стоя на пирсе, сердито ворчал:

— Де ж воны?

На судах вместе с рыбаками и рабочими МРС разместились Кострюков, семья Кавуна, Васильев с Дарьей, не было еще только Панюхая и Евгенушки с дочкой.

— Та дэ ж воны? — повторил Кавун, наматывая на палец длинный ус.

Орудийный гул, не смолкавший всю ночь, приближался к Косе, надо было торопиться с выходом в море. Трое задерживали всю флотилию.

Кавун окликнул Проньку.

— Душина, Кузьмича и Евгенушку на пирс! — распорядился он.

Пронька побежал в хутор. Вскоре Кавун заметил спускавшиеся по тропинке две сгорбленные фигуры. Это были Душин и Панюхай. Они медленно передвигали ноги, хотя шли под гору, понурые, безучастные ко всему окружающему. Панюхай держал в руке узелок. Ключ от куреня он отнес Акимовне, которая оставалась в хуторе, и была с вечера дома. Сегодня ночное дежурство ее было отменено, МРС готовили к эвакуации. Когда Акимовне предложили эвакуироваться, она горько вздохнула:

— И куда я понесу за моря-окияны свои старые косточки?..

Было предложено эвакуироваться и Бирюку. Опираясь на палку, с которой в последнее время не расставался ни днем, ни ночью, тот ответил:

— Я калека. Убогий человек. Кто меня тронет?

Кавун энергичными жестами давал понять Душину и Панюхаю, чтобы они поторопились. Душин, заметив Кавуна, перенес с одного плеча на другое лямку санитарной сумки, туго набитой медикаментами, подтолкнул Панюхая:

— Шагай, шагай, Кузьмич, людей задерживаем.

Он ничего лишнего не взял с собой. Повесил замки на дверях медпункта и своей комнаты и отдал ключи соседям.

Пронька вихрем ворвался к Евгенушке, бросил еще с порога скороговоркой:

— Ждут, ждут, а вас все нет. Орудия за пригорком гукают. Собирайтесь. Пошли скорее.

— Да вот, не знаю, что брать с собой,— беспомощно опустила руки Евгенушка, окидывая взглядом разбросанные на полу вещи.

— Ничего не надо брать. Только дочку. Только Галочку. Больше ничего не берите.

— Нет, нет, нужно же взять Галочкины вещи. Да и себе на смену кое-что...

Галя, только что разбуженная матерью, сидела на стуле и протирала заспанные глаза. Она уже была обута и одета.

— А Валя тоже поплывет с нами? — спросила Галя. — И тетя Аня?

— Все, все поплывут, только идемте скорее,— торопил Пронька.

Евгенушка махнула рукой и сказала:

— Идем.

Пронька подхватил чемодан и выбежал на улицу.

XVI

Первый бомбовый удар вырвал из толпы, хлынувшей в буерак, несколько десятков жизней. Анку с дочерью отбросило воздушной волной в сторону. Девочка даже не вскрикнула, и это удивило Анку. Не разум (в таком аду было не до размышлений), а скорее всего инстинкт подсказал Анке, что надо бежать не в ту сторону, куда пикирует самолет, а стремиться навстречу ему. Вскочив на ноги и подняв Валю, она увлекла ее за собой, убегая вверх по буераку.

Следующие бомбы рванули землю позади Анки, угодив в самую гущу обезумевших людей. Со свистом пролетели над головой осколки. Анка пригнулась, не переставая бежать. И хотя Валя не отставала, держась за руку матери, Анка торопила ее:

— Скорей, доченька, скорей...

Вскоре девочка стала ослабевать. Анка остановилась:

— Ты устала, Валюшенька?

Валя не ответила. Руки ее мелко дрожали.

— Ну, присядь... отдохни, моя крошечка.

Они присели на жесткую землю. Быстро сгущались сумерки. «Юнкерсы» улетели, и над степью установилась тишина. Анка, обняв дочку, прижимала ее к себе, целовала в голову.

— Ты не бойся, моя рыбка... Не бойся... С тобой твоя мамуля...

Девочка молчала.

— Почему ты не отвечаешь маме?.. Валюшенька... Чуточка моя ясноглазенькая.

Валя теснее прижалась к матери.

— Спать хочешь? Ну поспи, поспи. Положи сюда головку.

Но Валя, пугливо оглянувшись, вскочила.

— М-м-ма-ма... по-по-бежим...— заикаясь, в страхе заговорила она.

— Да ты не бойся, умница моя. Самолеты ушли. Зачем же нам бежать? Мы пойдем,— Анка встала.— Потихонечку пойдем.

На потемневшем небе густо высыпали звезды, но от них не стало светлее. Две затерявшиеся в степи фигурки обступила плотная тьма. Где-то в стороне рокотали моторы автомашин, пробегавших по степным дорогам.

«Хоть бы кто-нибудь подвез,— с тоской подумала Анка.— Надо выйти на дорогу. А как отыскать ее в такой темноте?»

Они шли уже часа три. Анка часто брала девочку на руки и вконец обессилела.

— Отдохнем, доченька,— проговорила она и устало опустилась на щетинистую колкую стерню.

После короткого привала снова пустились в путь. Рокот моторов все приближался, становился яснее. Еще не были видимы в темноте даже силуэты машин, но Анка, прислушавшись, определила, что они пробегают впереди нее вправо и влево.

«Да ведь это же та дорога, которая ведет мимо нашего хутора в город!» — обрадованно подумала она.

Вскоре Анка пересекла дорогу и стала спускаться по пологому скату, ведущему к морю. Сердце ее забилось учащеннее, она прибавила шагу. Уже ощущалось знакомое живительное дыхание моря.

— Вот и дома скоро будем. Совсем, совсем скоро,— приободряла Анка дочку.

Но Валя, петляя ножками, стала приседать, повисая на материнской руке.

— Еще отдохнуть хочешь? Ну, давай отдохнем. Присядь,— и тут же Анка почувствовала, как у нее самой подломились ноги. Она рада была не только немного посидеть, но и растянуться на жесткой земле, вздремнуть хоть пяток минут...

Таяла короткая летняя ночь. Заметно светлел восточный небосклон, обозначались контуры извилистого побережья. Анка сидела неподалеку от ерика, крутые склоны которого заросли густым кустарником. Когда-то Павел случайно натолкнулся в этом ерике на рыбную коптильню, тайно устроенную его отцом, и заявил в сельсовет. Тогда Анка служила милиционером, и ей пришлось арестовывать главаря шайки расхитителей государственной собственности Тимофея Белгородцева, его сообщников Егорова, Краснова, Урина, городского спекулянта Машкова, а

также своего отца Панюхая, сторожившего рыбокоптильню и уснувшего на посту... Анка, погрузившись в воспоминания, не заметила, как властно наступал рассвет и уже стало видно море, подернутое легкой прозрачной дымкой. Со стороны Мариуполя тяжело шла на северо-восток «Тамань». Вдруг лицо Анки преобразилось, глаза заблестели, она порывисто вскочила.

— Море! Доченька, пароход плывет! Наше море!..— она повела головой влево, и взгляд ее, сразу померкнувший, застыл на багровых клубах дыма, поднимавшегося из-за горбатины высокого на изломе берега, за которым были залив, родной хутор. Тревога, охватившая Анку, сразу погасила в ее сердце вспыхнувшую было радость.

— Вставай, доченька, идем...— заторопилась она.— Хутор уже близко... Вставай.

Валя не пошевельнулась. Она была во власти безмятежного сна. Тогда Анка взяла дочку на руки и пошла, медленно передвигая ноги. Вблизи хутора загремели раскаты орудийных выстрелов. Анка невольно присела, положила на землю дочку, прикрыла ее собой... Стрельба усиливалась, но над головой Анки не пролетали ни снаряды, ни пули, ни осколки. Вокруг было пустынно. Она поднялась и в изумлении открыла рот... В море кильватерной колонной уходила флотилия бронзокосцев... Анка уже не слышала ни орудийной канонады, ни гулких взрывов снарядов, ни автоматной трескотни. Спотыкаясь и пошатываясь, держа на руках дочку, она подошла к высокому обрывистому берегу, который, выгибаясь дугой, образовывал залив. Отсюда она увидела и хутор, и косу, и объятые огнем мастерские МРС. А в море все дальше уходили моторные суда...

Анка поставила на ноги проснувшуюся дочку, схватилась за голову, но на ней не оказалось косынки. Тогда Анка в отчаянии замахала руками, кричать она не могла, спазмы душили ее. Да и кто услышал бы ее голос на таком расстоянии?.. На судах даже не заметили стоявшую над обрывом женщину.

— Ушли..— с невыразимой горечью прошептала побелевшими губами Анка.— Ушли...— она протянула назад руку и зашевелила пальцами, будто ловила что-то в воздухе.— Идем, доченька... Дай маме ручку.

Но Валя, свернувшись калачиком, лежала на сухом полынке, издававшем горьковатый запах.

— Опять уснула,— Анка склонилась над ней и бережно подняла на руки.

В конце дугообразного крутого берега, где начинался хутор, Анка остановилась, посмотрела вниз. Разгоревшаяся на востоке

предутренняя заря золотила песчаную косу и зеленоватые воды моря. Игривые волны бежали к косе, гуляли по заливу, расшивали позолоченное побережье кружевными узорами белоснежной пены. И ласковое море, и голубое небо дышали покоем. Не верилось, что рядом проходит война и вот-вот зальет своей мутной кровавой волной светлый родной берег, озаренный восходящим солнцем.

Раздавшийся поблизости батарейный залп вернул Анку к страшной действительности. На пригорке стояли пушки и вели беглый огонь с открытых позиций. До Анки донесся грохочущий лязг металла. Над пригорком поднялось огромное облако густой ржавой пыли. Потом из-за пригорка, скрежеща гусеницами, выползли танки, как допотопные чудовища, они всей своей тяжестью обрушились на позиции артиллеристов, не прекращавших огня.

Анка бросилась в хутор и скрылась в проулке. Первое время она шла быстро, потом стала замедлять шаги, остановилась, прислонившись спиной к плетню чьего-то двора. Улицы и проулки хутора были безлюдны, окна куреней наглухо закрыты ставнями. А гремящая, изрыгающая огонь волна бронированной стали подкатывалась все ближе, ближе... С трудом добралась Анка до своего куреня. Дверь оказалась на замке.

— Куда же теперь?— прошептала сухими губами Анка.— К Акимовне! Скорее к Акимовне!..— и, напрягая последние силы, двинулась вдоль улицы.— Не упасть бы... Дойти бы... Только бы не упасть...

Вдогонку ей прозвучал чей-то сердитый голос:

— Какого черта разгуливаешь? Ежели себя не жалко, так хоть ребенка побереги! В погреб! В погреб ступай!

Анка обернулась. Кричал бежавший солдат, держа в руке связку ручных гранат. По улице мчался немецкий танк, вымахнувший из проулка. Солдат остановился и, крикнув:— Вот так умирают за Родину русские люди!— броском метнулся назад под танк. Взрыв встряхнул стальную черепаху, и она разом оборвала свой бег... Ошеломленная Анка, не отрывая застывших глаз от танка, пятясь, свернула за угол и бросилась в улицу, ведущую вниз, к берегу.

Возле куреня Акимовны она пошатнулась и стала медленно оседать. Силы окончательно оставили ее.

Из глаз градом хлынули слезы, и непроницаемая завеса закрыла перед Анкой и ласковое, зовущее к себе море, и дымившую старуху «Тамань», и бронзокосскую флотилию, уходившую к краснодарскому берегу. Неимоверным усилием Анка преодоле-

ла вызывавшую тошноту слабость, поднялась и, качаясь, как пьяная, толкнула калитку.

* * *

Проникший через окна рассвет вытеснил из всех уголков горницы ночные тени. Акимовна открыла глаза и вдруг приподнялась на постели. В углу, как всегда, стояла берданка...

— Как же так? Упредить меня упредили, чтоб на пост не ходить, а ружье не взяли? Побегу на мэрэсэ...

Кряхтя и зевая, она встала, натянула на себя платье, взяла берданку и вышла из куреня. Но... было поздно: миновав косу, суда выходили на морской простор. Справа по борту, обрезая нос кильватерной колонне бронзокосской флотилии, шла из Мариуполя «Тамань», перегруженная ранеными воинами. За пароходом высоко в воздухе следовали три «юнкерса». Первый самолет с ходу пошел в пике. «Тамань» ответила частым огнем захлебывающихся зенитных пулеметов. «Юнкерс» задымил, так и не выйдя из пике, ураганом прошумел немного выше мачты и нырнул в море впереди «Тамани». Это отрезвило остальных двух воздушных пиратов. Они сбросили в море бомбовой груз и повернули на запад.

— Так их, проклятых разбойников! Или в море головой или в землю по самую макушку вбивать!— потрясла берданкой Акимовна, увидев, как подбитый «Таманью» «юнкерс» упал в море. Но тут она быстро опустила руку, прислушалась. За хутором, на пригорке, ухали пушки, ревели моторы танков, слышались гулкие взрывы, резкие трескучие очереди автоматов. Акимовна вернулась в курень. Она обмотала чистыми тряпками берданку и патроны, обернула их старой клеенкой, перевязала шпагатом и вышла во двор. Огляделась — никого вокруг — вошла в сарай и там, между простенком и камышовой застрехой, запрятала ружье... Только уже в комнате, опускаясь на табуретку, вздохнула с таким облегчением, будто сбросила с плеч тяжелый груз.

Опустив голову и сложив на коленях праздные теперь руки, она долго сидела — неподвижно и безмолвно. Пушки уже не стреляли, и вокруг стояла тяжелая гнетущая тишина. Но вот до ее слуха донесся какой-то неясный шорох. Нет, не шорох... Кто-то неровными, спотыкающимися шагами прошел по двору и остановился у открытой настежь двери.

«Немец...— как от прикосновения чего-то склизкого, содрогнулась при этой мысли Акимовна.— Да, видно, еще и пьяный... А может наш раненый солдатик?..»— она кинулась к двери.

Опираясь о косяк, в просвете двери стояла женщина с изможденным, покрытым пылью лицом, с растрепанными волосами. На руках она держала спящую девочку. Акимовна прищурилась, потом широко открыла глаза.

— Ты?— она задохнулась.— Ты?.. Голубка ж моя...

Анка, не проронив ни слова и не выпуская из рук ребенка, шагнула через порог и грохнулась на пол.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XVII

С рассветом над обрывом закружились мартыны, вскрикивая пронзительно и дико...

Мартыны, внешне похожие на чаек, но только крупнее их,— хищные морские птицы, прожорливые и ненасытные. Они летают над морем стаями, жадно выслеживая добычу. Их обходят стороной мирные плаксивые чайки.

Заметив буйки и цепочки поплавков, мартыны стремительно бросаются вниз, бьются над водой, выхватывают когтистыми лапами из сетей рыбу, тут же, в воздухе, разрывают ее в куски и мгновенно пожирают. Не брезгуют морские хищники и падалью. А утопленника, всплывшего на поверхность и прибитого волнами к берегу, они обезображивают своими стальными клювами до неузнаваемости.

...Павел открыл глаза, приподнялся на локтях. Он проснулся от доносившихся с берега истошных воплей мартынов.

— У-у, аспиды, погибели на вас нет...— выругался Павел.— Ишь, как горланят, жадюги. И без вас тошно...

Он обвел комнату мутными глазами и увидел на столе пустые бутылки, недоеденные куски ветчины, ломти хлеба. Трещала с похмелья голова. Павел встал с койки, проверил бутылки и стаканы — ни капли коньяку. Выпил кружку воды — стало еще хуже.

— Муторно, черт возьми, будто в килевую качку на море...— он стиснул голову руками и снова лег на койку.— «Как же все это было?...— задумался он, но мысли путались в тяжелой, как чугун, голове.— Так... начнем вот с чего... с завода...» — закрыл глаза и стал смутно припоминать события последних дней.

...Завод спешно эвакуировал оборудование. Городу угрожала опасность. На территорию завода были поданы вагоны. Мастер токарного цеха Зальцман заявил дирекции:

— Мы еще поработаем на оборону. Пускай другие цехи грузят свое имущество и вывозят семьи рабочих. Большинство из нас народ холостой, и мы покинем завод с последним эшелоном.

— Вы настоящий патриот и человеколюб, Моисей Аронович,— говорил растроганный сосед по станку.

В патриотизме Зальцмана никто не мог усомниться: он лучший мастер на заводе, он первым записался в ополчение, заявив при этом: «Враг может переступить через наши трупы, но не победить ..»

Последнему эшелону не пришлось отправиться в далекий путь, он застрял на вокзале. Прорвавшие фронт немецкие танки отрезали город. В тот же день высоко в небе появились «юнкерсы» и «хейнкели», охраняемые «мессершмиттами», и на завод, вокзал и порт обрушился бомбовой груз...

«А дальше?— спросил себя Павел, напрягая мысли.— Вспомнил! Все вспомнил...»

Зальцман и Павел сидели в домике на окраине и прислушивались: на подступах к городу шел жаркий бой. Он длился до поздних сумерек. Потом все сразу стихло. Зальцман, поглаживая лысину, загадочно посматривал на Павла. В тусклом свете синей электрической лампочки его глаза светились матовым блеском.

— Не боитесь, Моисей Аронович?— тихо спросил Павел.

— Нет,— помотал тот головой.

— Но ведь они убивают евреев.

— Вранье. Убивают тех, кто сопротивляется. Но щедро вознаграждают всех, кто их ждет, радушно встречает и верно служит им...

На рассвете снова загремели пушки и быстро смолкли. А утром в город вошли немцы. Зальцман весь преобразился. Павлу показалось, что его хозяин даже как-то помолодел. А тот, улыбаясь, положил ему на плечи руки, сказал:

— Все, Павлик. Осталось только кончить войну и на отдых. Теперь я не Моисей Аронович Зальцман, а Ганс Зальцбург. С восемнадцатого года, почти четверть века, носил я чужое имя...

— Почему, Моисей Аронович?— удивленно и растерянно посмотрел на него Павел.

— Так было надо. И не поминай больше Моисея Ароновича.

— Значит... вы не еврей?

— Ганс Зальцбург — ариец! — с высокомерной торжественностью произнес он, вскинув голову.— Чудак! Я принадлежу к высшей расе. Я могу помочь тебе стать большим человеком. Я верю, что ты будешь служить великой Германии душой и сердцем. Так?

— Буду, Моисей Аронович, служить верой и правдой!

— Дурак...— нахмурился Зальцбург.— Сказано тебе, что нет больше Моисея Ароновича, а есть господин обер-лейтенант.

— Прошу прощенья...— смущенно пробормотал Павел.— Запамятовал. В голове все перепуталось.

— Ладно,— смягчился Зальцбург.— Хочешь быть атаманом на Бронзовой Косе?

Это так ошарашило Павла, что он не мог и слова вымолвить. Глотая слюну, только кивал головой в знак согласия и глупо улыбался.

— В хуторах и станицах нам такие атаманы очень нужны.

— Благодарствую... господин обер-лейтенант.

А потом явился официант Жорж, работавший в ресторане «Чайка». Жорж и Зальцбург, вскинув правые руки, приветствовали друг друга громогласным:— Хайль Гитлер!..

Павел тоже, чтобы не ударить лицом в грязь, поднял руку, громко выкрикнул:

— Хай Гитлер!..

Жорж и Зальцбург самодовольно улыбались, хлопали его по плечу... Потом пили коньяк, закусывали салом и ветчиной. Жорж и Зальцбург разговаривали больше на немецком языке. Павел на это не обижался, он был доволен своими хозяевами, которые не чурались его, сидели за одним столом и угощали его тем, что сами пили и ели... Уходя, Зальцбург дал Павлу квадратный листок бумаги, на котором была нарисована свастика, похожая на паука, и сказал:

— Тут написано: «Квартира майора Роберта Шродера и

обер-лейтенанта Ганса Зальцбурга». Прибей на калитке. Тебя никто не тронет. Никуда не отлучайся и жди меня.

«Вот тебе и официант...— изумленными глазами посмотрел Павел на Шродера.— Майор!..»

День прошел спокойно. А с вечера у моря защелкали выстрелы. Они то смолкали, то через некоторый промежуток времени возобновлялись.

«Большевиков убивают...»— прислушиваясь к выстрелам, догадался Павел.

И он не ошибся. Гитлеровцы действительно расстреливали пленных советских воинов, добивали тяжелораненых, а трупы сбрасывали с обрыва в море.

Так, с большим трудом, Павел размотал спутанный клубок мыслей и постепенно восстановил в притупившейся памяти все события.

«Неужели я буду атаманом?»— подумал Павел. К сердцу подкатилось что-то приятно-щекочущее, и он сладко потянулся в постели. Потом рывком вскочил с койки, в одних трусах вышел в садик, встал на скамейку. Скрытый густыми ветвями сирени, он посмотрел через забор. На востоке, за далеким морским горизонтом, полыхало пожарищем предутреннее зарево. А над крутым берегом, то падая вниз, то взмывая кверху, оголтело метались мартыны, оглашая воздух голодными криками.

— Так и есть, большевиков стреляли ночью,— вполголоса проговорил Павел.— Вот уж попируют мартыны...

Заслышав тяжелые шаги, повернул голову. По улице шли два немецких автоматчика. Павел пригнулся, соскочил со скамейки. Шаги все ближе, ближе. Вот замерли у калитки. У Павла гулко застучало сердце, он даже перестал дышать. Немцы перекидывались отрывистыми короткими фразами. Павел понял из их разговора только четыре слова: «Роберт Шродер... Ганс Зальцбург...» И когда гулкие шаги стали удаляться, Павел облегченно перевел дух, однако подумал:

«Одни прошли мимо, а другие могут зайти. Увидят, что русский, и вышибут из меня душу...»— он ощутил во всем теле холодный озноб.

Не успел Павел унять дрожь, как снова послышались шаги, быстрые и уверенные. Павел машинально перекрестился, в страхе зашептал:

«Пронеси, господи...»

Кто-то постучал в калитку. Павел вскочил со скамейки. Он хотел метнуться в сторону, укрыться в кустах, но тут же снова

опустился на скамейку. Ноги стали словно ватными. Стук повторился: настойчивый, требовательный.

«Не открою — хуже будет...— Но тут блеснула в голове обнадеживающая мысль:— А может, это сам хозяин вернулся?..— Блеснула и померкла:— у Зальцбурга есть ключ от калитки...» Павел поднялся и, едва переставляя ослабевшие ноги, двинулся по дорожке, усыпанной золотистым песком. Когда он, наконец, ставшими вдруг непослушными руками открыл калитку, то чуть не вскрикнул от радости... Перед ним стоял улыбающийся Бирюк.

— Чертяка...— тихо проговорил Павел и схватил его за руку.— Скорее заходи! До смерти напугал, бирючина...— и уже в комнате спросил...— Как же ты пробрался в город?

— На попутной немецкой машине.

— И не побоялся?

— А чего бояться?— прогудел Бирюк.— Только скажи немцам, что ты из тех, которые пострадали от Советской власти, и будешь своим человеком у них.

— А ежели они по-русски не поймут?

— Тогда говори: Советы капут! — и все в порядке!— Бирюк зыркнул из-под мохнатых бровей колючими глазами и расхохотался.

— У-у, черт!— Павел легонько толкнул гостя кулаком в грудь.— Ох, и башка ж у тебя!.. Ну, как там на хуторе?

— А что хутор? Стоит на месте. Только колхозные господа сели на моторы, прихватили все баркасики, подожгли мастерские МРС и подались к краснодарскому берегу.

— Жаль...— Павел сжал кулаки.

— Не горюй, будет тебе над кем потешиться,— и Бирюк плутовато подмигнул.— Сплыли Евгенка да жены Васильева, Краснова и Кавуна. Остальные все на Косе.

— А... Анка?

— Дома.

Павел схватил его за руку, задыхаясь, спросил:

— Не брешешь?

— Побей меня бог, правда.

— Как же это она?..

— Опоздала к отплытию флотилии. В колхозе была на уборке хлеба, вот и прозевала. Когда бой над хутором начался, суда и баркасы уже были в море. Я у окошка сидел. Гляжу, а она, распатланная, по улице насилу ковыляет, дочку на руках тащит, и прямиком к Акимовне.

— С дочкой?..— Павел заметался по комнате.— Эх, коньяку нету. Угостить бы тебя.

— А я подожду, потом угостишь,— успокоил его Бирюк.

— Непременно. Вот скоро вернется хозяин...

— Какой? — перебил Бирюк.

— Ты что, не знаешь, в чьей хате находишься? Забыл моего хозяина?

— А разве его еще не того?— и Бирюк выразительно провел рукой по горлу.

— Кого?

— Да жида твоего. Кого ж еще? Моисея батьковича.

— Дурак... Он такой еврей, как ты и я. Да что там! Куда нам до него! Немец он — вот кто! Настоящий немец. Ты смотри, не ляпни ему «Моисей Аронович». А то он покажет тебе такого Моисея, что своих не узнаешь.

— А какого ж черта он голову нам морочил?

— Говорит, так надо было. Двадцать три года жил он тут по паспорту Зальцмана. А на самом деле он Ганс Зальцбург.

— Да ну? — изумился Бирюк.— Гляди ты, чудеса какие!

— Это еще что!— захлебывался от восторга Павел.— Тут в ресторане «Чайка» работал один официант Жорж, услужливый такой, любезный... Ну, Жорж и Жорж. И что ты думаешь? Оказывается, это майор Роберт Шродер!.. Вчера у нас был, коньяк распивали. Так ты ж смотри, про Моисея и не заикайся,— вновь напомнил Павел.

Бирюк посопел носом, раздувая широкие ноздри, и решительно сказал:

— Шпионы. Как бог свят — шпионы.

— И пускай, ну и что ж,— возразил Павел.— Лишь бы нам около них жилось вольготно.

— И заживем,— воодушевился Бирюк.— Только при них нам и можно дышать свободно. Наконец-то заживем в свое удовольствие.

Во дворе послышались шаги.

— Хозяин идет,— засуетился Павел.— У него от калитки ключ есть.

Через минуту в комнату вошел Ганс Зальцбург — побритый, надушенный, в лакированных сапогах и новеньком мундире с погонами обер-лейтенанта. На груди у него были прикреплены гитлеровский орден — железный крест и какой-то замысловатый значок. Даже Павел не сразу узнал бывшего мастера токарного цеха в этом щеголеватом немецком офицере. А о Бирюке и говорить нечего. Тот только таращил в изумлении глаза.

— Дождался? Вот и хорошо. Живо одевайся. Поедем, как говорят русские, по делам службы,— и только тут Зальцбург заметил гостя.— А-а, старый знакомый! Кажется... Бирюк?

Бирюк все еще, как загипнотизированный, смотрел на бывшего Моисея Ароновича, думая про себя: «Ну и оборотень».

— Точно, господин обер-лейтенант, он самый, Бирюк,— ответил за приятеля Павел.

Зальцбург спросил:

— Поди, не узнал меня?

— Как не узнать! Узнал,— заулыбался Бирюк.— Настоящего господина завсегда отличишь, хотя б он и мастеровым стал...

— Вот и хорошо,— просиял польщенный этой грубой лестью немец.— Ну, давай, как говорят русские, поручкуемся... Зачем приехал?

— К вам... по делу.

— Вот как! По какому же такому делу?

— Работенку подходящую просить. Советам теперь капут. Так что можно зажить по-человечески.

Зальцбург засмеялся, а Павел сказал:

— Ну и хитрый же чертов Бирюк.

— Хитрость есть ум,— заметил Зальцбург.— Вот что, Бирюк...— он подумал и продолжал:— Тебя никто не видел, когда в город уезжал?

— Ни одна душа. Я на рассвете вышел на тракт, а там один немецкий шофер взял меня на машину и к городу подкинул.

— Хорошо. Сегодня же поезжай обратно. И чтобы никто не заметил твоего возвращения.

— Это мне — раз плюнуть.

— Слушай внимательно... Для начала тебе будет такое поручение: дай понять хуторянам, что ты, бывший секретарь сельсовета, недоволен новой властью. Но действуй тонко! А тем временем вынюхивай, кто чем дышит, и обо всем этом тайно докладывай новому хозяину хутора. В этом пока и будет заключаться твоя работа.

— Какому хозяину?

— А вот ему,— кивнул Зальцбург на Павла.— Ну, поехали.

Бирюк вскинул на лоб мохнатые брови:

«Вот аспид... Ну и пройдоха...— Но тут же утешил себя.— Ничего, Павел Тимофеевич, Бирюк от тебя не отстанет».

— А где ваши очки?— спросил Павел, садясь в машину.

Зальцбург улыбнулся:

— Выбросил. То ведь были простые стекла.

Зальцбург и Павел подъехали на «оппель-капитане» к двух-

этажному зданию, возле которого стояли у входа два автоматчика. Через минуту Зальцбург в сопровождении Павла поднимался по лестнице. Они вошли в просторный светлый кабинет, в глубине которого за массивным столом сидел полковник со множеством орденских колодок на груди. Возле кресла стоял майор Шродер. Едва переступив порог, Зальцбург вскинул руку, щелкнул каблуками, отчеканил:

— Хайль Гитлер!

Павел тоже поднял руку, в волнении прохрипел:

— Хай Гитлер!

От взгляда полковника у Павла запершило в горле. Взгляд был тяжелый. Оловянные, казавшиеся безжизненными глаза были неподвижны. Он слегка приподнял руку, поманил к себе Павла. И когда Павел, неслышно ступая по мягкому ковру, приблизился к столу, полковник вперил в него неподвижный взгляд. Потом открыл ящик с сигарами, пододвинул его на край стола и, улыбаясь, мягко проговорил на ломаном русском языке:

— Кури, бравый атаман...

У Павла на лбу выступил холодный пот.

XVIII

Анка и Валя беспробудно проспали весь день. Пушки отгремели еще утром, шум боя откатывался на восток, и в хуторе воцарилась тишина. Но никто из бронзокосцев не показывался на улице, все сидели в куренях при закрытых ставнях. Пока Анка спала, Акимовна два раза сходила в ее избу и перенесла к себе Анкино пальто, платья, обувь, постель, детскую одежду. Из предосторожности Акимовна пробиралась задворками, чтобы ни с кем не встретиться. В третий раз отправилась уже улицей, постучалась к соседке Евгенушки. Та боязливо выглянула в приоткрытую дверь:

— Ты, Акимовна?..

— Я.

— Чего тебе?

— У Евгенки дверь настежь, а вещи-то почти все тута остались. Ты бы перекинула их к себе. А то ить придут нехристи — расхапают.

— Да что ты, Акимовна! А ежели кто увидит, будет потом говорить, что я грабила.

— Кто там увидит, на улицах одни мертвяки да танки немецкие дохлые. Идем, помогу...

Вернувшись домой, Акимовна села на стул, долго смотрела на спящих Анку и Валю и вдруг залилась неутешными слезами. Она плакала беззвучно, чтобы не разбудить мать и дочку, прикрывая лицо головным платком... Муж и единственный сын Акимовны, как и все в хуторе, были рыбаками. И тот и другой погибли в море. Она стойко перенесла постигшее ее несчастье. А вот глядя на чужое тяжкое горе, не могла сдержать слез.

«Где-то вы теперь, мои родимые?— вспомнила она Кавуна, Васильева, Кострюкова, деда Панюхая, Евгенушку—всех хуторских.— Благополучно ли доплыли вы до другого берега?.. А что ждет впереди тебя, Аннушка, голубонька моя?.. И откуда взялись эти нечестивцы на нашу голову, будь они богом прокляты!..»

Вволю наплакавшись, Акимовна утерла глаза и отправилась в кладовку. Взяла яиц, подсолнечного масла, рису, помидоров, муки, картошки и принялась хлопотать у печи летней кухоньки.

Солнце клонилось за пригорок. Угасал жаркий день. А в хуторе стояла все та же гнетущая тишина. На улицах — ни души. И на притихшем, величаво-спокойном море ни дымка парохода, ни моторки, ни единого паруса. Все точно вымерло вокруг.

Первой проснулась Валя. Она провела рукой по лицу матери, тихо позвала:

— Мама...

Анка открыла глаза. На чистом стекле окна вспыхнул последний луч солнца и мгновенно померк. Но в комнате было еще светло.

— Ма-а...

— Что, Валюшенька? — она приподнялась и, сидя в постели, обняла дочку.

— Я хочу есть.

— Маленькая моя, проголодалась? Ты уже не заикаешься? Это у тебя от испуга случилось. А вот выспалась, успокоилась, и все прошло.

— Есть хочу...

— Кушанье готово, вставайте,— у двери стояла улыбающаяся Акимовна.

Анка окинула комнату взглядом:

— Мои вещи тут? Как они попали к вам, Акимовна? Курень-то был на замке. Сама вчера видела.

— Твой отец мне ключ оставил.

— А-а-а... Ну, спасибо, родная.

— Покушайте, тогда и скажете спасибо. Вставайте.

Когда Анка и Валя умылись, на столе уже пузырилась в сковородке яичница, а в тарелках дымился паром рисовый суп. Акимовна подвела Валю к столу, поцеловала ее в голову, посадила к себе на колени.

— Яишенки откушай, деточка, а этом супу. Ну-ка, подкрепись.

Анка за ужином рассказала, как бомбили полевой стан и как они с Валей добирались до хутора. Акимовна сокрушенно качала головой.

— Звери, звери трижды проклятые

— Хуже зверей.

— А тебя и дочку на хуторе за упокойников считают. Как плакал Кузьмич, как убивался, бедняга. Дарья Васильевна сказала, что вас бомбой...

— Она жива?— вскинулась Анка.

— Жива. С нашими уплыла.

— А Таня Зотова?

— Не знаю. Сказывала Дарья, что жена Душина убита. Полголовы осколком ей снесло...

Анка вздрогнула, положила ложку.

— Ешь, ешь, не обременяй себя думой черной.

«Значит, и меня считают погибшей?.. Пускай. А я скроюсь, и меня не будут разыскивать...»— и сказала вслух:

— Акимовна... Я уйду в поселок Светличный. Тут недалеко. Оставаться на Косе мне нельзя. А там меня никто не знает. Разыщу семью Курбатовых. Думаю, приютят. Можно бы в Мартыновку, к Жильцовым, но... Светличный ближе.

— Гляди, Аннушка, тебе видней.

— Уйду, пока еще можно. А то придут немцы, тогда поздно будет.

— А кто тебя выдаст? Все свои.

— Все, да не все. А вещи мои пускай у вас останутся. Может, они мне в жизни больше и не пригодятся...

На Анке был серый жакет-блуза с застежкой «молния» и нагрудным карманом. Вдруг она схватилась за карман, отстегнула пуговицу, вынула партбилет.

— Акимовна, у вас найдется кусок клеенки?

— Нет, милая. Была клеенка, да я ее на дело использовала. Коленкору найдем.

— Хорошо, давайте.

— Захоронить хочешь?— кивнула Акимовна на партбилет.

— Да.

Акимовна принесла кусок коленкору и жестяную коробку. Партбилет завернули в коленкор, вложили в коробку и закопали в сарайчике.

— Вот, родная... Если мне не суждено остаться в живых...— голос Анки сорвался, и она на секунду смолкла.— Отдадите нашим, когда возвратятся.

— Обещаю, голубка. Но только ты воротишься. Непременно воротишься.

На рассвете Анка расцеловала Акимовну, взяла за руку Валю и берегом направилась в соседний рыбацкий поселок Светличный. Всходило солнце, когда она подходила к поселку. И тут у причала не было ни одного баркаса, на улицах — ни души. Над небольшим заливом кружились в воздухе две чайки и жалобно стонали. Анка посмотрела на них, с невыразимой тоской проговорила:

— И вы, бедняжки, такие же одинокие, как и мы с доченькой...

Анка вошла в поселок, нерешительно остановилась у крайней хаты. И здесь никаких признаков жизни. Стояла в раздумье, не зная, что ей предпринять? К кому постучаться? Вдруг в доме рядом скрипнула дверь. Анка обернулась и увидела на крыльце средних лет женщину.

— Вы кого ищете?— спросила она приветливо.

— Курбатовых,— ответила Анка.

— На тот берег на баркасах ушли. Еще позавчерась. Он же был партийным секретарем в колхозе «Октябрь».

— Вот горе-то какое...— и Анка беспомощно оглянулась.

Женщина сошла с крыльца, пристально посмотрела на Анку.

— Скажите, вы работали на уборке хлеба в колхозе «Заря»?

— Работала,— кивнула головой Анка, смутно припоминая лицо женщины.

— Я вас по девочке признала. Я тоже была там. Вернулась, а... мужа не застала. С рыбаками к Ейску на баркасах ушел. Теперь вот я одна-одинешенька. А вам Курбатовы кем приходятся?

— Просто знакомые. Хотела у них временно остановиться.

— Да заходите ко мне... Нынче оставаться долго на улице небезопасно. Прошу до куреня.

Сердечность этой незнакомой женщины так тронула сердце, что Анка не сдержала себя, бросилась ей на шею и навзрыд заплакала.

— Успокойся, голубка...— говорила взволнованная женщи-

на.— В случае чего, я тебя за свою двоюродную сестру выдам. Ох, и времечко ж лютое настало... Вон как людей разметало.

— Да вы больше, чем родная сестра.

— Ну, идем. Идем,— и она повела их к себе.

Анка ушла из хутора вовремя. На следующий день на Бронзовую Косу прибыло два грузовика с автоматчиками. Зальцбург и Павел прикатили на сверкающем лаком «оппель-капитане». Немецкий офицер выскочил из кабины грузовика и что-то пролаял. Автоматчики посыпались из кузова и разбежались по улицам. Вскоре послышались гулкие удары в ворота, ставни, двери изб и гортанные выкрики:

— Ходи Совет шнель, бистро! Собраний!

Зальцбург подозвал офицера, наставительно сказал:

— По домам не расквартировываться. Займите Дом культуры. Так будет безопаснее.

— Я тоже об этом думал,— ответил по-русски офицер.— Распылять солдат по квартирам было бы большой глупостью. Могут всех поодиночке перерезать.

— На моем хуторе я этого не дозволю,— важно заявил Павел.

— Атаман,— улыбнулся Зальцбург,— ваша опора, лейтенант.

— Я думаю, что мы с атаманом будем большими друзьями,— сказал офицер.

— Непременно,— кивнул Павел, помахивая перед лицом шляпой.— Жарко, однако. Зайдемте в помещение.

Шоферам не стоило большого труда сбить с дверей замок, и все трое вошли в прохладную приемную сельсовета. Павел попросил одного из шоферов попробовать открыть дверь кабинета Анки, запертого на внутренний замок. И это было сделано в мгновение ока. Войдя в кабинет, Павел торжествующе подумал:

«Вот тут ты снимала с меня чешую, Анка... Осрамила... Выгнала... Теперь настал мой черед взять тебя за жабры. Небось, не думаешь и не гадаешь, что я уже на хуторе, рядышком?..»

Грохот колес прервал его мысли. У сельсовета остановилась пара горячих взмыленных лошадей вороной масти, впряженных в рессорную пролетку — подарок шефа атаману. В пролетке сидело четверо верзил с белыми нарукавными повязками. На животе у каждого висел немецкий автомат. Это были уголовники, освобожденные из городской тюрьмы и завербованные в помощь атаману. Павел посмотрел в окно, сказал Зальцбургу:

— Мои полицаи прискакали. Ну и орлы!

— Хорошему атаману плохих ребят мы не дадим.

Павел дернул за шпингалеты, распахнул створки окна, крикнул полицаям:

— А ну, помогите солдатам скликать в правление всех хуторян! Живо!

Полицаи исчезли.

Через два часа толпа хуторян, окруженная автоматчиками, стояла перед помещением сельсовета. Тут были в основном старики, старухи, женщины и дети.

С крылечка сельсовета Зальцбург держал речь. Слева и справа от него стояли полицаи, а за их спинами — Павел и лейтенант. Павел через плечо полицая жадно всматривался в толпу, выискивая Анку, но не находил ее.

«Где же она?.. Неужели Бирюк сбрехал?.. Ну, тогда держись, кобель хромоногий...»

Зальцбург говорил:

— ...Православный русский народ! Двадцать с лишним лет вы страдали под гнетом большевиков. Но этому наступил конец. Великая Германия подала вам руку помощи и освободила вас от цепей рабства. На штыках непобедимой своей армии принесла она новый порядок. Всех, кто будет его соблюдать, великая Германия вознаградит по заслугам. Тех же, кто попытается мешать водворению нового порядка, ожидает суровое наказание.

— Русские люди!— продолжал он — Не жалейте о тех, которые ушли с большевиками. Они предатели родной земли. Живите счастливо и мирно, трудитесь спокойно. Изберите себе атамана и дайте ему наказ, чтобы он заботился о вас и следил бы на хуторе за соблюдением нового порядка. Скажите, кого бы вы хотели себе в атаманы?..

Молчали хуторяне, никто ни слова не вымолвил.

— Выдвигайте кандидатуры!

Толпа не шелохнулась.

— Я думаю, вам лучше избрать своего человека...

Люди по-прежнему хранили гробовое молчание.

— Если вы затрудняетесь в выборе или среди вас нет подходящей кандидатуры, тогда мы предлагаем свою кандидатуру.

Зальцбург немного посторонился, лейтенант подтолкнул Павла в спину, и тот вышел вперед.

— Вот он. Ваш же хуторянин,— указал Зальцбург на Павла.

— Пашка...— ахнул кто-то; по толпе прошло движение, и она вновь замерла, точно окаменела.

— Так что же, проголосуем, хуторяне?

— Да хрен с ним,— махнул рукой старый рыбак, с хитрецой

улыбнулся беззубым ртом,— Пашка так Пашка,— и он оперся руками и грудью на сучковатую палку.

— Нет,— возразил Зальцбург,— так нельзя. Надо соблюдать порядок. У кого есть возражение против Павла Белгородцева?

В ответ — ни звука.

— Вот теперь законно. Единогласно. Поздравляю,— и Зальцбург пожал Павлу руку.— Скажи что-нибудь народу.

Павел снял шляпу и окинул толпу надменным взглядом.

— Ну, что я могу сказать? Благодарение богу за то,— и он перекрестился,— что он послал нам спасительницу в лице Германии. Хватит, поцарствовали большевики, поизмывались над народом. Этому больше не бывать. И мы должны теперь верой и правдой служить великой Германии. Она наша мать, наша избавительница. Верно говорю, хуторяне?

Никто не ответил новоиспеченному атаману.

Павел нахмурился, нервно смял в руке шляпу, сердито проворчал:

— Молчите?.. Атаман вам не по душе?.. Погодите, я вышибу из ваших дубовых голов думки о Советах...— злобно пообещал он.— Дурачье!.. Вы должны молиться на спасителей своих... Перед вами офицеры и солдаты непобедимой армии... Шапки долой!— вдруг в исступлении взвизгнул Павел. Помимо враждебного молчания хуторян, его прямо-таки бесило то, что среди женщин не видно было Анки.— Шапки долой! Атаман я вам или хвост собачий?! Избрали, так подчиняйтесь! Не то вздерну на сук каждого десятого, а курени спалю. И детей не пожалею. Шапки долой!..— бушевал Павел, потрясая кулаками.

У него помутилось в глазах, и он уже не видел, как старики обнажили седые лысые головы и женщины ради издевки над атаманом потянули со своих голов косынки и платки.

Зальцбург дернул Павла за руку. Это прикосновение сразу отрезвило его.

— А теперь,— махнул рукой Павел, понизив голос,— с богом по домам.

— Спасибо на добром слове, атаман,— напяливая на голову соломенную шляпу, сказал старик и, опираясь на палку, заковылял прочь.

Молча, подавленные и оскорбленные, растекались по улицам бронзокосцы.

XIX

Дед Кондогур сидел на завалинке возле своей хаты и задумчиво смотрел на синеющее у горизонта море. Он перекладывал из рук в руку глиняную трубку и, причмокивая, со смаком посасывал черешневый чубук. В трубке скворчало так, будто на сковородке жарилась яичница. А Кондугуру казалось, что это не трубка хрипит, а в его груди всхлипывает стариковское сердце. И было отчего.

Не то что слезами — кровью обливалось сердце у каждого при взгляде на родной хутор. Половина рыбацкого поселка Кумушкин Рай лежала в руинах. Причал разрушен. Флотилия вся уничтожена. Из воды торчит то корма моторного судна, то покосившаяся мачта, то покореженный борт... А сколько разумного труда, человеческих усилий надо было приложить, чтобы на месте земляных хижин выросли опрятные белые домики с палисадниками, радующими глаз яркими цветами мальв, душистым любистком, веселыми желтыми огоньками крокуса и настурций, чтобы на бывшем пустыре поднялось красивое каменное здание клуба с библиотекой и киноустановкой, чтобы по широкому морскому простору вместо неуклюжих парусно-гребных баркасов заскользили быстроходные моторные суда...

Два дня назад девять «юнкерсов» обрушили на мирный поселок страшный бомбовой удар. А вслед за тем «мессершмитты» с бреющего полета принялись поливать свинцовым дождем метавшихся в ужасе людей. Погибла половина жителей поселка. Сразила насмерть разбойничья пуля и старуху Кондогура.

Восемьдесят долгих лет прожил Кондогур. За все эти годы он ни разу не хворал, ни на что не жаловался. Могучий, как дуб, никогда не гнулся рыбак в схватках с морскими бурями. А после гибели жены сразу осунулся, сгорбился. Потеря верного друга жизни тяжелым камнем придавила его.

Море облегчило бы горе старого рыбака. Вот оно зовет к себе, обещает утешение. Да с чем пойдешь на его зов? Ни снастей, ни баркаса...

Дымит трубкой старый Кондогур, смотрит в морскую даль, и только наболевшее сердце тревожится. В груди его закипает гнев:

«Кто же вас выплодил, змеиное отродье? Какая гадина пустила вас по белу свету?»

Вдруг старик замер с открытым ртом, выронил чубук, прищурился. На взморье дымил пароход. Слева от него шла в кильватерной колонне флотилия моторных судов. Пароход на-

гнали три самолета. Вот один из них ринулся вниз, видно, нацеливаясь на пароход, да так и не вышел из пике. Волоча за собой длинный шлейф черного дыма, самолет врезался в море.

— Так его, бандюгу!— вскрикнул Кондогур, сжимая кулаки.

Остальные самолеты повернули обратно.

— Ага, удираете. Это вам не баб да детишек стрелять,— старик в возбуждении поднялся со скамейки.

Глиняная трубка, стиснутая жилистым кулаком, с хрустом треснула. Раскаленный горящий табак обжигал ладонь и пальцы, но Кондогур не чувствовал боли и торжествующе выкрикивал:

— Ага!.. Так!.. Так их, душегубов!..— Потускневшие стариковские глаза вновь молодо засияли, лицо преобразилось. Кондогур распрямил свою крепкую спину и с облегчением произнес:

— Одним коршуном меньше стало. Слава тебе господи, аж от сердца отлегло.

«Тамань» шла на Ейск. Моторные суда, образуя редкую цепочку, приближались к пологому берегу Кумушкина Рая. Все уцелевшие жители поселка высыпали на берег. Они стояли полукругом позади Кондогура и не отрывали глаз от стройной колонны рыболовецкой флотилии.

— Такие же суда были и у нас,— вырвалось, как стон, из чьей-то груди.

— На одной верфи строили их.

— Были да сплыли...

Последние слова больно ударили по сердцу Кондогура. Он обернулся, коротко бросил:

— Помолчали бы, а?

«Буревестник» осторожно обогнул торчавшую из воды мачту, подошел к берегу и бросил якорь. Его примеру последовали и другие суда, держась друг от друга на расстоянии не менее ста метров. И опять послышались в толпе легкие всплески голосов:

— Дельно.

— С разумом.

— Не кучкуются.

— Будь наши суда на таких интервалах, не разбомбить бы их немцу.

Не оборачиваясь, Кондогур громко повторил:

— Да помолчите вы!

От «Буревестника» отошел подчалок, перегруженный людьми. Он первым ткнулся носом в песчаный берег и завилял кормой. Один за другим с него сошли Васильев, дед Панюхай, Ду-

шин, Евгенушка с дочкой, жена Васильева, Кострюков, Кавун с женой. Кондогур, подняв длинные, как весла, руки, воскликнул:

— Батюшки мои! Бронзокосцы пожаловали... Дарьюшка, голубка!— радостно всплеснул руками Кондогур.

— Здоровеньки дневали, дедушка.

— Хорошего жениха я тебе выбрал?

— Спасибо за то, что присватали мне хорошую жену,— сказал Васильев.— Мою покойную Дарью заменила.

— И дружок мой давний тут?...— Кондогур крепко обнял Панюхая.— Чего такой пасмурный?

Панюхай вытер кулаком слезившиеся глаза, глухо проговорил:

— Дочку Анку... и внучку... фашист бомбой накрыл...

— Ах, горе-то какое превеликое! И что делают душегубы. Ну, не уйти им от кары. Все равно раздавим фашиста, как гадюку ядовитую.

— Здравствуйте, дедушка!— подошла к нему Евгенушка.

Кондогур взглянул на женщину, прищурился по привычке, размышляя, сказал:

— Погодь, девка, погодь...— и опустил глаза.— Ишь ты! А ить вспомнил. Вспомнил! Ершистая комсомолия! Старика в соревновании обогнали.

— Да какая же я комсомолия — баба!

— Ну, ну! Не глотай ерша с хвоста. Помню!.. как не помнить!

— Всех помнит, всех признал, только меня позабыл,— засмеялся Кострюков.

— И меня не приметил,— сказал Душин.

— Всех приметил, всех, и рад вам, от души рад,— пожимая им руки, говорил Кондогур.— А вот его,— посмотрел на Кавуна,— первый раз вижу.

— Директор нашей моторо-рыболовецкой станции Юхим Тарасович Кавун,— сказал Кострюков.

— Что ж, милости просим.

— Та нас богато, бачите ось скильки?— показал Кавун на подходившие к берегу подчалки.

— Всем найдем место. Хоть нас фашист и тряхнул немножко, половину поселка спалил, а место найдем. Располагайтесь, вы у своих друзей,— и обернулся к колхозникам:— Разбирайте гостей по хатам. Вот тех, что к берегу причаливают. А этих я сам определю.

Евгенушку с дочкой и жену Кавуна сразу увела к себе Дарья. Мужчины окружили Кондогура. Он с горечью рассказывал, что колхозники без флота и сетеснастей остались не у дел.

— Слоняются, как неприкаянные, не знают, куда себя девать. Кличет нас море — кормилец наш, волной бьет в берег, надрывается, а мы сиднем сидим, выйти не на чем... Сейчас бы осетра брать — так его же голыми руками не возьмешь. Вот и сидим... прокуриваемся,— тут он остановился, посмотрел на руки — трубки ни в той, ни в другой не оказалось. Ощупал карманы — тоже нет. Вспомнил, как выбросил черепки, только черешневый чубук остался. Сунул его в рот, покачал головой:— Эх, водяной тебя забери... Такую самонужнейшую вещь загубить.

— А что случилось?— спросил Кострюков.

— Да вгорячах трубку раздавил. Вроде слегка сжал кулак — ан от нее, от сердешной, одни черепки остались. Трубка-то глиняная.

— Не горюйте,— успокоил его Душин.— Я не курящий, но такую слеплю вам трубку, что все рыбаки будут завидовать.

— То-то и видать, что ты, милок, некурящий. В трубке самое дорогое — нагар, а я в ней одиннадцать лет табак жег. А трубка была добрая, вот такая,— и он поднял здоровенный кулак, от которого Душин невольно отшатнулся.— Да делать нечего, чем-нибудь услужу и тебе. Лепи. Вот чубук от нее.

За разговорами незаметно дошли до нового, на высоком фундаменте дома.

— Стоп. Вот и мой курень,— не без гордости сказал Кондогур.

— Когда-то на этом месте стояла вросшая в землю подслеповатая избушка,— вспомнил Васильев.— А теперь, гляди, настоящий дворец с видом на море.

— Дворец не дворец,— скромно сказал Кондогур,— а хата добрая. Не стыдно и гостей пригласить.

— Откуда ты знаешь, что здесь раньше было?— поинтересовался у Васильева Кавун.

— Дело давнее. Меня и Пашку Белгородцева на крыге по морю носило. А под конец на этот берег швырнуло.

— А я к себе забрал их,— сказал Кондогур.— Помнишь, как водочкой отогревал?

— Как не помнить? Такое не забывается,— живо откликнулся Васильев.

— Теперь с тебя, братец, магарыч,— тут он посмотрел на остальных бронзокосцев, приближавшихся в сопровождении кумураевских колхозников.— А тот самый Пашка промеж вас? Ведь я его два раза спасал.

— Его нет.

— Что... Никак с немцем остался?

— Он давно бросил рыбацкое дело. На заводе токарем работает. Вернее — работал. А где теперь...— Душин пожал плечами.

— Хрен цена такому рыбаку,— махнул рукой Кондогур.— Настоящего рыбака никакой силой от моря не отдерешь... Вот твоя дочка,— кивнул он Панюхаю,— любому рыбаку, бывало, не уступит. Трудно с нею было тягаться. Ежели бы своими глазами не видал, не поверил бы. Помню, когда мы соревновались...

— Не придется уж моей доченьке в море выйти,— горестно вздохнул Панюхай.

— Чтоб ему, вражине, утра не дождаться! И нас бомбил, германец проклятый,— посуровел Кондогур.— Видал? Флот по боку. Половина поселка в пепел. И...— голос его дрогнул.— Мою-то бабку... насмерть.

— Неужто?— скорбно посмотрел на него Панюхай.

— Позавчерась схоронил... А плакать не будем. Пущай в нас злость дюжее закипает. Скорей и концы ему будут... Ну, рыбаки,— обратился он к своим,— ведите гостей по домам. Людям отдых надобен.

Кумураевцы и бронзокосцы стали расходиться по хатам.

— А кто туточки голова колгоспу?— спросил Кондогура Кавун.

— Пока я. С тридцатого года, с самого начала.

— Значит, такое дело... к тому берегу нам пока не можно возвернуться. Отож будем ходить в море вместе.

— И ваши рыбаки на каждом судне будут чувствовать себя среди своих друзей,— сказал Кострюков.

— Ясно?— пожал Васильев жесткую, шероховатую от мозолей руку Кондогура.— Вот и план летней путины общими усилиями вытянем.

Растроганный Кондогур только кивал головой и с благодарностью смотрел на бронзокосцев.

XX

Все побережье от Геническа и Бирючьего острова до Таганрога освещалось ракетами. Немецкий гарнизон, расположившийся в хуторе Бронзовая Коса, тоже не дремал. Солдаты сидели в окопчиках с навесами и время от времени запускали в темное небо ракеты, вглядываясь в чернеющие прибрежные воды.

— Бояться, вояки, наших,— поговаривали хуторяне.— А то,

гляди, подплывут в темноте, высадятся на берег — несдобровать тогда немчуре.

Зато днем отсыпался весь гарнизон. Достаточно было одного наблюдателя — с высокого берега море просматривалось до самого горизонта.

Ночь была тихой. Не слышалось ни малейшего шороха, ни всплеска. А с утра разгулялся ветер, море вспенилось, зашумело, покрылось белыми гребешками. Волны гулко били в обрывистый берег, накатывались на песчаную косу, будто норовили перемахнуть через нее и взбудоражить вечно спокойные воды залива.

Бирюк сидел в своей избе и смотрел в мутноватое оконце на море, мозг его неотступно сверлила черная дума.

«Доносчик... Пашку, значит, в атаманы, а меня наушником... Где же справедливость?.. О таком ли деле мечтал я? Нет, надобно Пашку переплюнуть... Приедет немчура — потолкую с ним. Пашка дурак. До моей башки ему далеко...»

Во двор вошли два полицая. Бирюк отшатнулся от оконца. Не стучась, те двое распахнули дверь, осмотрелись.

— Егоров?

— Я,— поднялся Бирюк.

— Айда в правление, к атаману.

Увидев прихрамывающего Бирюка в сопровождении полицаев, в куренях зашептали:

— Повели...

— Арестовали...

— Досиделся...

— Эх, дурень...

В кабинете остались вдвоем, с глазу на глаз. Полицаи ждали в приемной.

— Что же ты?..— сердито покосился на Бирюка Павел.

— Досказывай,— угрюмо прогудел Бирюк.— Нам незачем в жмурки играть.

— Потише, разгуделся,— Павел понизил голос.— Где же она?

— У старой щуки спроси, у Акимовны. Я своими глазами видел, как она туда шла. И дочку на руках несла.

— Спрашивал.

— Ну?

— Говорит, в поле погибла, под бомбежкой.

— Брешет. Спрятала она Анку. Обыскать надо.

— Обыскивали.
— Весь хутор обшарить...
— Обшарили. Сидишь, как настоящий бирюк, в своей берлоге и ничего не знаешь. Лейтенант со своими солдатами и моими полицаями все курени, кроме твоей хибары, все сараи и погреба вверх дном перевернули.
— Почему ж у меня не обыскивали? Еще, чего доброго, под подозрение попаду,— забеспокоился Бирюк.
— А где у тебя искать? Ни сарая, ни погреба, ни чердака, ни закутка. Хоромы твои, как голый пуп, все на виду. Я, конечно, тебе верю. Но где же она?
— Да!— вспомнил Бирюк.— На хуторе говорили, что Танька Зотова тоже была бомбой пришиблена насмерть, а она-то живехонька. Вместе с Анкой работала в колхозе. Поприжми-ка ее, может, она знает?
— Ладно.
— И еще забыл сказать тебе: эта старая хрычовка Акимовна последние дни ночами сторожила мастерские МРС.
— Ну и что же?
— С берданкой. Панюхай учил ее стрелять. Вот тебе и зацепочка: где оружие? Почему, мол, не сдала властям?
— Это мысль дельная...— задумчиво произнес Павел.— А как по-твоему, где может скрываться Анка?
— На хуторе ее, говоришь, нет?
— Нету.
— В Белужье она не сунется, далеко. Значит, или в «Октябре» или в «Красном партизане». «Октябрь» ближе, не иначе как туда подалась.
— Вот черт. Не может же она сразу в нескольких местах быть,— сказал Павел, ероша пальцами волосы.
— Ничего, я разнюхаю это дело.
— У тебя и верно нюх собачий.
— Договорись со старостой «Красного партизана» и ночью свези меня к нему. Ежели ее там не окажется, в «Октябрь» перебросишь.
— Хорошо. Только ты начисто забудь этих «Красных партизанов», «Октябрей», а то немцы живо на перекладину вздернут.
— Привычка.
— Называй поселки как они есть: Мартыновка и Светличный. О колхозах больше не поминай. Капут им навеки.
— Не жалкую.
— Ну, вот... Хуторяне видели, как тебя полицаи вели в правление. Что ты скажешь, если кто спросит?

— Будь покоен. Скажу, об Анке спрашивал. А я, мол, откуда знаю? Посадить хотел, да передумал, стыдно стало с калекой связываться.

— Хорош калека,— засмеялся Павел.— Белугу удавишь... Ну а то, что я у тебя на постое был, когда в отпуск приезжал, как объяснить?

— Так все ж на хуторе знают, что будто бы мы поругались и я выгнал тебя. За отца, за то, что ты его в тюрьму упек.

— Иди, чертов лисовин, скажи Таньке Зотовой и Акимовне, чтоб немедля явились в правление. Скажи, что я хотел тебя прихлопнуть.

— Знаю, не учи ученого,— и Бирюк вышел.

Зотовой дома не оказалось. По словам соседки, к Акимовне отправилась.

«Видно, советуются, как половчее следы Анкины замести»,— решил Бирюк и заковылял к Акимовне.

Он застал обеих женщин в ту минуту, когда Таня заканчивала рассказ о том, как во время бомбежки спаслась тем, что бросилась под полевой вагончик, как потом добиралась до хутора. Анку она так и не видела.

— Может, и она убита...— вздохнула Таня, и ее голубые глаза затуманились слезами.

Дверь была открыта, и Акимовна краешком глаза заметила прижавшегося к притолоке Бирюка. Она тоже вздохнула и сказала:

— Убита, голубка. И дитя погибло. Дарья Васильевна видела.

«Ловко брешешь, старая карга. Будто я не видал, как Анка к тебе шла?»—усмехнулся про себя Бирюк и, кашлянув, переступил порог.

— Доброго здоровья,— прогудел он.

Таня всплеснула руками:

— А мы думали, ты уж не вернешься?

— И сам еще не верю, что вернулся,— приглушенно молвил Бирюк, качая головой и опустив глаза, и без того скрытые косматыми нависшими бровями.— Прихлопнуть меня хотел, да раздумал. Неохота, говорит, об тебя, калеку, руки марать, разговоров, мол, потом не оберешься. Эх!— и Бирюк сжал кулаки.— Ежели бы не полицаи, я бы его, мигом дело, за глотку и — поминай как звали. Потом и смерть была бы не страшна.

— Ругается?— робко спросила Таня.

— Дерется, аспид. Так звезданул, что и сейчас в ухе звенит. Подавай ему Анку, хоть лопни. Да где же я ее возьму, когда

она бомбами в куски разорвана. А если бы и знал, не сказал бы. Анна Софроновна пригрела меня, сироту. Можно сказать, кормилицей мне была...

Акимовна, внимательно следившая за Бирюком, спросила:

— Это что же, он так отплатил за твое гостеприимство недавнее?

— Как раз тогда поругался я с ним за моего отца, ну и вытурил его к чертям. Ночью он отчалил на «Тамани». И вот, гляди же ты, не забыл обиду, злопамятный аспид. Эх, податься некуда, а в хуторе не житье мне.

— Море широкое, а степь и того шире,— заметила Акимовна, заправляя под платок выбившиеся седые волосы.

— Без документа ходу нет,— тяжело вздохнул Бирюк,— а то смылся бы... Да!— спохватился он.— Идите в правление. Вот, заговорился и забыл. Наказал Тане и вам, Акимовна, чтоб немедля пришли к нему.

— А чего же он полицая не прислал?— пристально взглянула на Бирюка Акимовна.

— Откуда же мне знать?..— развел он руками.— Идите. Да не злите его, будь он трижды неладный... А я домой. Так болит, что головы не могу повернуть...

Бирюк, прикрыв ладонью ухо и состроив страдальческую гримасу, медленно вышел из комнаты.

— Не верю я ему,— сказала Акимовна.— И ты, Танюша, не верь. Иуда он, чует мое сердце...

Павел стоял посреди приемной и о чем-то рассказывал полицаям, а те, слушая его, надрывались от хохота. Когда вошли Акимовна и Таня, один из полицаев слегка толкнул Павла в бок:

— К вам, господин атаман.

Павел посмотрел через плечо, помолчал и сердито бросил:

— Заставляете себя ждать...— отворил дверь кабинета, кивнул Тане:— Заходи, старуха подождет.

Таня вошла в кабинет с тяжелым предчувствием. Когда за ней захлопнулась дверь, она вздрогнула. Ей показалось, что она отсюда больше не выйдет. У нее сразу так ослабели ноги, что она не могла стоять и пошатнулась.

— Садись, садись, Танюша.— Павел усадил ее на стул.— Да не дрожи. Не бойся. Не чужак же я какой-нибудь, на одном ведь хуторе родились. Вместе босиком бегали. Помнишь?.. И ты, и Генка, и Митька, и Виталий, и я, и...— он не договорил, но Таня догадалась, кого он хотел назвать,— Анку.

— Ты была в колхозе на уборке хлеба?— вдруг спросил он.

— Была.
— Вместе с Анкой?
— Да.
— Скажи, Таня, правду: где Анка?
Таня пожала худенькими плечами.
— Не знаю.
—Как же так? Была вместе и не знаешь.
— Правда не знаю... Там все растерялись... Ух, как он бомбил!.. Я под вагончик забилась... А его как тряхнуло, он покачнулся, но не упал...
— А чего ты глаза от меня хоронишь? Вон они у тебя какие голубые. Но у Анки красивше. Как синь-море..— мечтательно протянул он. И вдруг жестко заговорил:— Слышишь? Где она? Я хочу посмотреть в ее глаза.
Таня сидела молча, понурив голову, и перебирала тонкими пальцами стеклянные пуговицы на белой шелковой блузке. Светлые подстриженные волосы прикрывали уши и пылающие щеки.
— Ну, смотри на меня,— уже спокойнее сказал Павел.
Таня отняла руки от пуговиц, поправила волосы и взглянула на Павла:
— Чего ты... от меня хочешь?— голос Тани дрожал, срывался.— Я же тебе правду...
— Врешь!— грубо перебил Павел.— Скажи, где Анка?
— Павлуша... я же тебе... по-честному...
— Не верю я в твою честность,— зло цедил сквозь зубы Павел, но голоса не повышал.— Честная девушка, а коммунисту на шею бросилась. Да еще сама в комсомол записалась.
— Не...— она замотала головой.— Мне родители не разрешали.
— Пусть так. Разве порядочная женщина жила бы с коммунистом. Кто твой Митя?
— Мой муж — честный человек.
— А где он сейчас? Против нас воюет?.. «Хорошенькая бабенка,— подумал.— И такому скуластому черту досталась»,— и вслух:— Так что не верю я тебе. Не верю. Позови сюда Акимовну, а сама в приемной подожди.
Таня вышла пошатываясь. Акимовна, переступая порог кабинета, сказала:
— Ты что же это, атаман, за Бирюком двух послов наряжаешь, а нам этой чести не оказываешь?
— У моих полицаев ноги не собачьи.
— Я тоже не собака, а человек. Пригласил бы сесть, что ли...

— Ты хуже собаки! — Павел с такой силой ударил по столу кулаком, что чернильница, подпрыгнув, свалилась на пол. — Стоять будешь!

— Что ж, постою, — Акимовна посмотрела в окно и спокойно продолжала: — Я-то думала-гадала, отчего это нынче море так штормит? Ан, оказывается, атаман беснуется.

— Не умничай, а то я тебе быстро мозги вправлю... Не посмотрю, что старуха. Говори: куда запрятала Анку и мою дочку?

— Спроси у немецких летчиков.

— Ладно. Черт с ней, с Анкой. Куда запрятала Валю? Где моя дочь?

— Я не была нянькой у твоей дочери.

— Брешешь, скажешь, — и он разразился дикой, отвратительной руганью.

У Акимовны побелели губы.

— Я знала твою мать. У нее было доброе сердце и чистая душа. Как же могла родиться от нее такая гадина?

— А я знаю другое: когда немецкие танки рано утром давили на улицах хутора большевиков, Анка с дочкой укрылась у тебя.

Акимовна молчала.

Павел вышел из-за стола, остановился перед Акимовной.

— И то неправда, что ты, старая ведьма, охраняла мастерские МРС?

— Это правда.

— А где берданка?

— Сдала.

— Кому?

— Кострюкову.

— И тут брешешь.

Акимовна покачала головой:

— Словно кроты слепые, носами тычутся, правду ищут. Эх, вы... тля. Хочешь, я скажу тебе одну правду, самую главную?

Павел исподлобья посмотрел на Акимовну:

— Говори. Сбрешешь, на перекладине за ноги повешу у самого моря. Пускай мартыны глаза тебе выклюют.

— Не пугай, а слушай. Знаешь, что я не из робких. Видишь? — показала она на окно. — Что там вдали?

— Море.

Павел криво усмехнулся.

— А что оно делает?

— Штормит.

— Вот-вот... Разбудите вы гнев народный, а он сильнее

шторма, страшнее морской бури. Поднимется грозным валом народный гнев и смоет с родной земли всю падаль...

Акимовна не договорила. Павел ударом в лицо сбил ее с ног. Падая, она ушиблась головой об угол стола и потеряла сознание. Из рассеченной губы тонкой струйкой стекала на подбородок кровь.

— Эй, орлы!— крикнул Павел.

Вбежали полицаи.

— Уберите эту развалину. Пошлите сюда Зотову.

Акимовну вынесли. Вошла Таня. Она вся дрожала, как в лихорадке. Павел усадил ее на диван, сел рядом.

— Послушай, Таня. Я злой как черт. На старуху злой. Но тебе ничего плохого не сделаю.— Он вынул из кармана какую-то бумагу.— Вот список бронзокосских коммунистов. В нем и Анка, и Евгенка, и Таня Зотова. Но мы с тобой друзья детства, и я не выдам тебя. Скажи правду: где Анка?

— Не знаю.

— Таня,— он обнял ее левой рукой, правой сдавил грудь.— Скажи...

— Ничего я не знаю. Пусти меня!..

— Таня!

— Павел... ты с ума сошел!

— Приходи сегодня вечером ко мне...— Павел обдал ее лицо горячим дыханием.— Приходи и все, все расскажи. Я живу в отцовском доме. Помни, я не выдам тебя немцам.

— Пусти!— она рванулась, на ней затрещала блузка, на пол посыпались стеклянные пуговицы.

Таня бросилась к двери, ударом ноги распахнула ее и тут же отшатнулась, прикрывая руками полуобнаженную грудь. За дверью, преградив дорогу, стояли полицаи.

XXI

«Буревестник» шел на север. На его борту, помимо членов бригады, находились Кавун, Кострюков, Васильев, Панюхай и Кондогур. На объединенном собрании бронзокосских и кумураевских колхозников, по предложению Васильева, было принято решение: выходить в море и днем и ночью; работать в две смены; выделить из состава флотилии судно «Темрюк» для буксировки в Ейск байд с уловом.

Михаил Краснов, отец Проньки, принявший в первый день

войны от Зотова «Темрюк», прямо в море забирал выловленную рыбу и доставлял ее на приемный пункт.

Вышло в море с первой бригадой и все начальство: Кавун, Кострюков, Васильев и Кондогур. Проньке было и приятно и как-то неловко. Это заметил Кондогур, сказал ему:

— Ты, Прокопий Михайлович, не смущайся. В море, на борту «Буревестника», мы такие же рыбаки, как и все остальные. А ты, бригадир, руководи, командуй.

— И я самоличным желанием под твое начало пошел,— кивнул ему Панюхай.— Командуй, потому как ты есть самоглавнейшее начальство.

После ухода на фронт Дубова и Сашки Сазонова Проньке трудновато было выполнять обязанности бригадира и моториста. Но в Кумушкином Раю нашелся человек, хорошо знающий мотор, и Пронька облегченно вздохнул. Теперь он все время находился на палубе среди рыбаков, командовал и руководил по-своему: первым брался за дело, когда ставили сети или выбирали из них рыбу, увлекая за собой всю бригаду.

— Шустрый пескаренок!— заметил Кондогур, увидев Проньку впервые в работе, когда тот показывал кумураевцам, как ловить рыбу двумя драгами.

Флотилия отчалила от берега ранним утром. Шторм утих, но северный ветер все еще гнал навстречу «Буревестнику» перекатные волны, а небо было сплошь затянуто светло-серой пеленой. Там, вверху, за плотными облаками гудели моторы шедших на восток самолетов.

— Фашистские коршуны летят,— поднял к небу глаза Кондогур.— Спозаранку торопятся на злодейские дела.

— И где же это, чебак не курица, наши еропланы?— возмутился Панюхай.

— Будут,— уверенно сказал Кондогур.— Он же, германец, другом нашим прикинулся, а потом, как разбойник, из-за угла напал. А мы к войне не готовились. Русский человек любит жить со всеми в мире и дружбе. Но ежели его разозлят да несправедливо по уху огреют, тогда берегись!

— Да, тогда уж на себя пеняй!— подтвердил Панюхай.

— Вызвать злость в русском человеке — дело опасное. Никакая сила против его злости не устоит.

— Не устоит,— согласился Панюхай.

Из-за облаков донеслась пулеметная очередь. Потом вторая, третья...

— Никак, стреляют?— оттопырил пальцем ухо Панюхай.

В ту же минуту зачастили пулеметы, послышались завывания моторов.

— Что это?— крикнул Кондогур стоявшему на корме Васильеву.

— Воздушный бой! Немцы на наших истребителей напоролись.

Вдруг из облаков вывалился «юнкерс», удирая на запад. Вслед за ним вынурнул советский истребитель, дал длинную очередь из пулемета. «Юнкерс» вспыхнул. Объятый пламенем, он клюнул носом, выровнялся, пролетел метров двести и свалился в море.

— Так его, бандита! —удовлетворенно крякнул Кондогур.— Не замайте мирных людей,— и к Панюхаю:— Вот они где, наши еропланы. Они только еще начинают разворачиваться. Погоди, мы этого самого фашиста в подкову согнем.

— Согнем и узлом завяжем!— и Панюхай показал, как гнут подкову.

Но не заметил ястребок, как ему на хвост сел «мессершмитт» и полоснул по нему свинцовой струей. Советский самолет задымил и стремительно полетел вниз. Панюхай только охнул, а Кондогур отвернулся. «Мессершмитт» поспешно скрылся в облаках.

Показался буек. Качаясь на волнах, он приветливо помахивал флажком.

— Малый вперед!— крикнул Пронька мотористу.

«Буревестник» замедлил ход. Кондогур, вытянув шею, присматривался к наплавам.

— Все целы!— радостно произнес он, сосчитав бочки, переваливаемые волнами с боку на бок.— Толково. А ведь море штормило почитай целые сутки. Да-а... Толково придумано. А на жестком креплении, на гундерах... от сети одни ошметья остались бы.

Будто не расслышав, что сказал Кондогур, Пронька скомандовал:

— Приготовиться к подъему невода!..

Кавун, заняв место у борта, помогал рыбакам выбирать сеть, захватывая руками верхнюю основу ставного невода. Он работал сосредоточенно и быстро, как заправский ловец. Васильев толкнул Кострюкова, засучивая рукава гимнастерки:

— Вот как гарно працюе твой директор МРС.

— А что ж, дело это ему привычное,— ответил Кострюков.

Из невода выбирали осетра крупного, один в один. Много

было и судака. Рыбу вытряхивали из сети на палубу, а потом сбрасывали в трюм. Кондогур, присматриваясь к неводу, с удовлетворением отмечал:

— Вся снасть цела. Правда, кое-где есть повреждения, но...

— ...они невелики,— досказал Пронька.— Невод на наплавах, дедушка, может выстоять и в восьмибалльный шторм.

— Толково придумано,— повторил Кондогур.— Ты, пескаренок, того... молодец! Мне бы в колхоз такого бригадира.

— Такие бригадиры, дедушка, как я, теперь невыгодные,— сказал Пронька.

— Почему?— удивился Конодгур.

— Мне осенью в армию идти. А может, и раньше возьмут. Война...

— Да,— глухо произнес Кондогур.— Война, черт ей рад.

Когда невод выбрали, Пронька заглянул в трюм, прикинул на глаз: центнеров двадцать взяли.

«Хорошо!»— он вынул крючком из трюма двух осетров, передал рыбакам:

— На шорбу для бригады.

Горячую пищу готовили в кубрике на примусе, прикрепленном к кухонному столику. Вскоре оттуда потянуло ароматами вареной рыбы, лука, перца и лаврового листа. Едва успели снова установить невод на наплавах, как уха была готова.

Из кубрика вынесли большую, дымящуюся паром кастрюлю, все расселись на палубе, взялись за ложки. В этот момент к «Буревестнику» подошел «Темрюк», буксируя порожние байды.

— Приятного аппетита!— крикнул Краснов, когда «Темрюк» остановился, легонько толкнув «Буревестник» бортом.

— Спасибо, Михаил Лукич!— хором ответили рыбаки.— Торопись, а то шорба остынет!

Только Пронька не включился в хор, с обидой взглянул на отца:

— Ты что же это, батя, медлишь?

— А что?

— Надо побыстрее оборачиваться. Причалил бы пораньше, рыбу прямо в байду ссыпали бы, а не в трюм. Вот и получается двойная работа.

— Ишь ты, пескарь конопатый!— засмеялся Кондогур.— Строгий у нас начальник.

— Я, дедушка, веснушчатый, а не конопатый. Это — разница,— поправил слегка задетый Пронька.

— Рыбу, сынок, не мы одни сдаем. На нашем берегу сейчас пусто, а на том рыбаков вдвое больше стало. Очередь задержи-

вает,— оправдывался Лукич, любовно, с нескрываемой гордостью посматривая на сына. Он перебрался на «Буревестник», возбужденно продолжал, усаживаясь за уху:— Но зато как сдаем? Больше всех. Вот квитанция на красную рыбу и на частиковую. Благодарность передали вам из треста от имени Родины.

— Да ну?— привстал Кондогур.

— Так и сказал приемщик: «От имени Родины».

Кондогур поспешно вытащил из кошелки литровку, стукнул донышком по широкой ладони, наполнил доверху водкой алюминиевую стопку:

— Это тебе, Лукич, за добрую весточку. Вот как, друзья мои... От имени Родины благодарствие нам...— Он наполнил стопку вторично, подал Проньке:— Откушай на здоровье, бригадир.

— Непьющий,— замотал головой Пронька.

— Как это так?— удивился Кондогур.— На радостях и не выпить? Что ж, по-твоему, конопатый пескаренок...

— Веснушчатый...

— Пущай будет веснушчатый. Так что ж, по-твоему, водку сготовляют для того, чтоб горе ею заливать! И на радостях люди водочкой ублажаются. Пей!

— Не потребляю ни с горя, ни на радостях.

— Ладно, сынок,— сказал Краснов,— выпей немножко. Уважь старика.

— Уважь старую гвардию,— толкнул его в спину Панюхай.— Не задерживай. А то, глядючи на посудину, у меня червячок того... за сердце сосет. Выпить хочется.

И Пронька не стал упрямиться.

XXII

В Мартыновке не пришлось Бирюку выслеживать Анку. Там старостой был такой же, как и Павел, местный выродок, поступивший на службу к немцам. Он сказал:

— Точно заявляю: у нас в поселке чужих нет, только свои. Я здесь всех с пеленок наперечет знаю. А в случае появится какая молодая бабенка с дитем, сразу пришлю к тебе, атаман, своего полицая с донесением.

Прощаясь, староста посоветовал Павлу:

— А ты в Светличном разузнай. Поселок больше нашего, есть где схорониться. Да и к вашему хутору он поближе будет.

— О том и я толкую,— вставил Бирюк.

— Ладно, поехали,— раздраженно бросил Павел:— «А ежели и в Светличном то же скажут?— досадовал он.— Где же тогда искать ее?»

Ночь была темная — ни луны, ни звезд. Еще с вечера небо заволокло тучами, и, казалось, они неподвижно повисли над Приазовьем. Только время от времени побережье озарялось непродолжительным, но ярким светом ракет. Усталые лошади шли шагом. Накрапывал дождь.

Ехали молча. Павел сердито сопел, и ни Бирюк, ни полицай не решались заговорить с ним.

Поднялся ветерок. Крупные капли, сорвавшись с темного неба, ударили по лицу.

— А ну, расшевели их, чертей,— сердито проворчал Павел.

Полицай задергал вожжами, замахнулся кнутом. Лошади побежали рысью.

— В Светличный сейчас поедем?— наконец спросил Бирюк атамана.

— Завтра. Чуешь, дождь находит, неохота грязь месить.

Полицай разгорячил лошадей, и они перешли в намет. И все же у самого хутора ездоков настиг дождь. Бирюк спрыгнул с пролетки.

— Завтра в сумерки на этом месте жди нас,— сказал Павел.

— Ладно,— и Бирюк нырнул в темноту.

Павел подъехал ко двору насквозь промокший. Дежуривший на крыльце полицай сбежал по ступенькам, распахнул ворота.

— Давай заезжай!— все больше раздражался Павел.

Лошади, почуяв близость конюшни, сами рванулись во двор.

— Надо было бы плащ прихватить,— заметил полицай, поднимаясь за Павлом на крыльцо.

— А черт его знал, что под дождь угодим.

— Видать, зря ездили, атаман?

Павел хмуро молчал.

— Ничего, сыщется...— утешал полицай.

В прихожей тускло мигала прикрученная лампа. Двое полицаев лежали на кровати и заливались храпом. Павел взглянул на них, брезгливо поморщился:

— До чего же тяжелый дух. Вот свиньи.

— Справедливые слова, атаман. Настоящие свиньи,— полицай взял со стола лампу и понес в горницу.

Павел снял с себя мокрый пиджак, швырнул его на стул.

— Сомнется,— сказал полицай и повесил пиджак на спинку стула.

— Пускай мнется, плевать. Скоро атаманскую форму надену, а это дерьмо выброшу.

— В городе шьют?

— В городе. Шеф помог достать и сукна на мундир, и шаровары, и кожи на сапоги. Однако пора спать,— Павел сбросил с ног ботинки, снял брюки и завалился на перину, принесенную откуда-то полицаями.

На следующую ночь Павел, Бирюк и полицай-кучер были в Светличном. Выслушав Павла, староста нахмурился, перебирая в памяти жителей поселка, покачал головой:

— Нет, атаман, не примечал я такой молодухи. Говоришь, с девочкой? И девочки не видывал.

— Вот что, староста,— сказал Павел.— Мой человек останется в поселке. Об этом никто не должен знать. Устрой так, чтобы его не видели, а он мог бы вести наблюдение.

— Понятно. Пусть остается у меня. Отсюда весь поселок и берег как на ладони видны.

— По рукам,— и Павел небрежно сунул ему два пальца.— Я в долгу не останусь.

— Пустяки. Мы свои люди...

Трехдневные наблюдения Бирюка за жителями поселка ничего не дали. Он сновал от окна к окну. Много женщин и детей проходило по улицам, но ни Анка, ни ее дочка не появлялись. Каждый вечер Павел, выслушав Бирюка, уезжал мрачный и злой.

Наконец на четвертый день Бирюк порадовал атамана... Сидя со скучающим видом у окна и потеряв всякую надежду на успех своей затеи, Бирюк решил, что Анки в Светличном нет и что ему нечего продолжать здесь затворническую жизнь.

«Пойду к морю да скупаюсь. Приедет атаман, попрошу, чтоб в Белужье меня перебросил. Где же еще ей быть?»

И только он вышел за калитку, как сразу же быстро попятился. На улице, ведущей к морю, против предпоследней хаты, стояла Валя. Бирюк вбежал в дом старосты и прильнул возбужденным лицом к окну.

«Она... Валька Анкина...— Бирюк дышал так часто и горячо, что оконное стекло запотело.— Побей бог, она...»

У хаты, на противоположной стороне улицы, сидела в тени акации какая-то девочка и манила к себе Валю. Валя стояла в нерешительности, перебирая белые ленты в косичках. В ту минуту, когда она сделала уже два шага, намереваясь перейти дорогу, со двора выбежала женщина, бросила беглый взгляд по сторонам, схватила Валю за руку и увлекла за собой...

Павел приехал перед заходом солнца. Он решил с помощью старосты и его полицаев произвести обыск в хатах жителей, которые не внушали доверия самому старосте, выражали глухое недовольство «новым порядком», а главное, в семьях коммунистов, уплывших к краснодарскому берегу. «Если Анку не найдут, пусть Бирюк возвращается домой. Хватит ему здесь прохлаждаться, штаны протирать. Все равно цыплят не высидит,— думал Павел, покачиваясь на рессорной пролетке.— Но где же она может быть? Неужели... бросилась в море? Нет, она не таковская. У нее, чертовки, крепкие нервы...»

Тем временем Бирюк расхаживал по комнате, выкуривая одну папиросу за другой. Он был и радостен, и зол. Радостное возбуждение не остывало в нем еще с той самой минуты, когда он увидел на улице Валю, а злился он на старосту, который не присылал ему есть. Бирюк же был прожорлив, как мартын, и голод мучил его.

Наконец пришел староста с двумя полицаями. Они принесли хлеб, колбасу и шнапс.

— Аспиды! Голодом решили заморить меня, что ли?— сердито прогудел Бирюк, а когда увидел шнапс, оскалил свои острые зубы, что должно было означать улыбку.— Ведь я мог бы дуба дать.

— Ты уж извиняй,— засуетился староста,— дела у нас были важные. Вот допреж всего горло промочи,— он налил в кружку шнапс.— А у тебя как дела?

— Тут она! — и Бирюк осушил кружку.

— Да что ты говоришь?..— изумился староста.

— Точно!— Бирюк стукнул пустой кружкой о крышку стола.— Лей еще!

— Где же ты ее вынюхал? У кого она?

Бирюк, поднося ко рту кружку, шевельнул лохматыми бровями, подмигнул:

— За мой нюх будь покоен,— и шнапс снова забулькал в его горле.

На улице послышался конский топот. Бирюк повернул голову и перестал жевать.

Павел соскочил с пролетки, толкнул ногой калитку, вошел во двор.

— А вот и сам атаман пожаловал,— Бирюк указал на окно рукой, в которой держал круг колбасы.— Ух, аспид! Нарядился-то как! Не узнать.

Все бросились к окну.

— Теперь он и впрямь похож на атамана,— сказал не без за-

висти староста.— Жаль, что наш поселок не казачий хутор, а то и меня бы так уформили.

Павел, переступив порог, картинно остановился у двери. На нем были хромовые сапоги, широкие темно-синего сукна с алыми лампасами шаровары, свисавшие поверх голенищ, светло-серый френч, на голове сидела сдвинутая набекрень фуражка с красным околышем и синим верхом. Его большой лоб прикрывал лакированный козырек.

— Здоровеньки дневали!— поздоровался Павел, но руки никому не подал.— Пируем?— он прошел к столу, сел на табуретку.

Бирюк наполнил кружку шнапсом, поставил перед Павлом.

— Выпей и ты за успех.

— Какой успех?— словно подброшенный вскочил с табуретки Павел, впился в Бирюка жадным, полным нетерпения взглядом.

— Выследил твою красавицу.

У Павла перехватило дыхание. Несколько секунд он молча стоял. Потом медленно опустился на табуретку.

— Ты это... всерьез?

— Побей меня бог,— и Бирюк перекрестился.

Павел медленно потянул из кружки шнапс. Взял корку хлеба, понюхал, бросил на стол. Снял фуражку, провел ладонью по лбу.

— Аж потом прошибло.

— Не надо было в такую жару в мундир наряжаться,— ехидно заметил Бирюк.

— Вот обрадовал ты меня, чертушко...— Павел перевел взгляд на старосту:— Правду он сказывает?

— Не знаю. Сейчас проверим.

— Где же она?

— Вон в той хате. Видишь, вторая с краю,— показал в окно Бирюк.— Из того двора выбегала на улицу Валька.

— Кто?— спросил Павел.

— Валька. Дочка твоя. Нынче видал.

— Погоди,— отшатнулся Павел, широко открыв глаза.— Анку ты видал?

— Нет. Какая-то женщина схватила Вальку за руку и поспешно втащила ее во двор.

— Какого же ты черта брешешь? «Выследил...»

— Да перестань ты горячку пороть,— успокаивал его Бирюк.— Где дочка, там и мать. Соображать надо.

Павел, глядя через окно на улицу, задумался.

— Хотя... и то верно,— уже спокойно произнес он.— Анка дочку не бросит.

— Понятно, не бросит,— подтвердил Бирюк.

Павел встал.

— У тебя лошади есть? — спросил он старосту.

— Есть.

— Когда совсем стемнеет, подбросишь его,— кивнул Павел на Бирюка,— к нашему хутору. А я свою кралю заберу.

— Сделаем, атаман. Пошли на обыск,— сказал староста полицаям.

Все четверо, кроме Бирюка, вышли на улицу. Там к ним присоединился полицай Павла, а другой шагом поехал вслед, сидя на козлах пролетки.

Анка, Валя и хозяйка ужинали за столом, когда в хату ввалились Павел, староста и полицаи. Появление Павла, да еще в атаманском мундире, как громом поразило Анку. Она побелела как полотно и выронила из рук ложку. Хозяйка, еще ничего не понимая, сказала:

— Чего же вы стоите? Пожалуйте к столу, отведайте супу. Чем богаты, как говорится, тем и рады.

— Кто эта женщина?— спросил староста, указывая на Анку.

— Не знаю.

— Давно она у тебя?

— Нынче... Ночевать попросилась...— растерянно пробормотала хозяйка.— Ах, вы про нее!— спохватилась она.— Это моя двоюродная сестра... с Украины... А я думала...

— Думала, думала,— перебил староста,— и забрехалась. Она? — обратился он к Павлу.

— Она...— Павел подошел к Анке.— Что же это ты, советская атаманша, так долго загостилась в Светличном? Едем на Косу, дела хуторские сдашь мне. Живо собирайся, а то коней мухи секут.

Сознавая безвыходность своего положения, Анка молча встала, взяла за руку дочку, испуганно смотревшую на непрошенных гостей, и направилась к двери.

Хозяйка сидела на своем месте не шевелясь, словно прикованная. По ее окаменевшему лицу бежали слезы. Наконец она поняла, что свершилось большое, ничем не поправимое горе. И когда за дверью затихли шаги Анки и Павла, а потом донесся удалявшийся по улице гулкий топот конских копыт, она положила на стол руки и уронила на них голову, содрогаясь всем телом.

— Какое же наказание, хозяюшка, придумать тебе? — тихо,

с угрозой, спросил староста. Потом грубо толкнул ее в спину.— Вставай! Идем с нами!..

Лошади весело бежали по накатанной дороге. Анка и Валя сидели спинами к полицаю и Павлу, лицом к морю. Ехали молча.

«Как же они могли узнать?— мучительно думала Анка.— В поселке никому не показывались, сидели взаперти. Купаться ходили в сумерки. Только сегодня недоглядели за Валей, и она выбежала на улицу. Но ее же здесь никто не знает. И как попал в Светличный этот негодяй в атаманском мундире?.. Эх, если бы не дочурка! Я бы ему горло перегрызла...»

А море, все такое же родное и ласковое, сверкало вдали. Оно манило и звало на свои широкие просторы, играя вольной перекатной волной. У Анки затуманились глаза, но она крепко стиснула зубы, решительно тряхнула головой:

«Нет! Он не увидит моих слез...»

В хутор въехали перед сумерками. Возле здания сельсовета кучер натянул вожжи, круто осадил лошадей. Анка заметила, что на месте прежней вывески была другая. «Бронзокосское хуторское правление»,— прочла она, и сердце ее сжалось от холодной колючей боли.

Немецкий офицер, проходивший мимо в сопровождении двух солдат, невольно загляделся на Анку, спросил:

— Где ты раздобыл такую птичку, атаман?

— Жена,— с ликующим видом ответил Павел.

— Врешь!— оборвала Анка, обжигая его гневным взглядом.

— Красивая. За такую в Германии дорого дали бы,— улыбнулся лейтенант, подмигнув Павлу, и направился к Дому культуры.

Стоявшие у входа в правление полицаи нагло ухмылялись. Павел подозвал их, приказал:

— Проводите ее в мой кабинет. Вот ключ. Я скоро вернусь.

— А Валя?— рванулась к дочери Анка, но ее удержали полицаи.

— Валю я домой отвезу. Не беспокойся. Она, кажется, дочь мне?

— Ты не отец ей...

— Разберемся.

Валя спрыгнула с пролетки, кинулась к матери, в страхе закричала:

— Мама! И я с тобой! Я боюсь этих дядей!

Павел подхватил ее, усадил на пролетку.

— Глупенькая, я твой отец. Мама говорит неправду. Сей-

час мы домой поедем, я дам тебе шоколадку,— и толкнул кучера в спину: — Чего рот разинул, дурак? Гони скорее!

В воздухе, засвистел кнут, и лошади рванули с места легкую пролетку. Анка, вырываясь из рук полицаев, кричала:

— Звери! Не смеете! Я мать!..

— Не шуми, госпожа большевичка! Понапрасну шебуршишься. Скоро утихомирим.

— Плюю я на вас! Пустите меня, бандиты!

Полицаи волоком потащили ее к дверям. Выглядывавшие из-за каменных и плетеных изгородей женщины сдавленно вскрикивали, прижимая к глазам передники. А возле Дома культуры, оскалив зубы, громко ржали гитлеровские солдаты.

Павел отвез Валю к Акимовне, строго наказал:

— Присматривай за дочкой. Харчи полицай будет приносить. Головой отвечаешь за нее,— и умчался в правление.

Акимовна ввела девочку в курень, посадила ее к себе на колени, прижала к груди и беззвучно зарыдала...

Павел тихо вошел в кабинет. Анка сидела на диване с опущенной головой. Руки ее были в крови, волосы растрепаны. На подоконнике поблескивали в свете лампы мелкие осколки стекла. Возле дивана стоял полицай.

— Что случилось? — с деланным удивлением спросил Павел.

— Да вот, хотела в окно сигануть. Удирать вздумала...

— Выйди! — крикнул ему атаман.

Полицай вышел. Павел прошелся по кабинету, сел за стол и, качая головой, с укором проговорил:

— Ай-яй-яй... И не стыдно вам, Анна Софроновна, с полицаями драться? Окна бить?.. А помните, когда вы изволили вызвать меня в этот же кабинет, я вел себя тихо, спокойно, вежливо...

— Где Валя? — перебила его Анка.

— В надежных руках... Если не забыли, тогда вы меня выгнали из кабинета, опозорили... А я с вами, Анна Софроновна, по-хорошему...

— Перестань кривляться... мерзавец.

— Зря оскорбляете, Анна Софроновна, я понимаю, вы волнуетесь...

— А ты торжествуешь? Гадина. Недолго придется тебе ликовать.

— Прикуси язык, Анка. Твоя судьба в моих руках. Хочу — казню, хочу — помилую, женой атамана сделаю...

— Женой предателя? Немецкого лизоблюда? Никогда!

— Добром не пожелаешь — в дугу согну.

— Не согнешь! — вскинула Анка голову, бросила на Павла гневный взгляд. Глаза ее горели неистребимой ненавистью, побелевшие губы мелко дрожали. — Не согнешь...

Павел желчно усмехнулся.

— Согну. Недавно Танька Зотова то же самое говорила... тут, в этом самом кабинете, на этом самом диване... А потом и надломилась... Теперь она каждую ночь ко мне домой ходит...

— Неумело врешь,— презрительно произнесла Анка.— Не таковская Таня, чтоб к немецкому наймиту ходила.

— А вот и ходит. Постель мне разбирает, ноги моет, перину взбивает. Огонь бабенка! От ее ласки сгореть можно... Но мне полюбовница без надобности. Жена нужна мне!.. А ты, перед людьми и перед богом, моя жена. И будешь ею.

— Да я бы лучше удавилась...

— Сам удавлю, ежели не станешь жить со мной по согласию.

— Не бывать этому. Запомни, «атаман»!

— Будет! — гневно вскричал Павел. — Девкой распутничала со мной, нагуляла ребенка, а теперь артачишься?

— Я не распутничала, а была дурой... Поверила, будто человек ты.

— Когда же ты поумнела? Когда в комсомол вступила? Или когда стала коммунисткой?..

Отвернувшись, Анка молчала.

— Ладно. Ты у меня по-другому заговоришь. Сама заговоришь. Я с тобой панькаться не стану. Ишь ты! Она еще брезгует мною... Эй, орелики!

Вошли полицаи.

— Отведите ее. Да привезите с гумна соломы.

Полицаи вели Анку по улице. В чистом небе медленно плыл ущербный месяц. На зыбком море искрилась серебристая лунная дорожка. Хутор затаился в сторожкой тишине, ни огонька, словно в куренях вымерло все.

— Стой! — скомандовал полицай, открывая калитку.

— Куда вы меня? — отшатнулась Анка, узнав высокие ворота двора Белгородцевых.

— Иди, иди, большевистское отродье,— полицай грубо толкнул Анку в спину.

— Осторожнее! — раздался позади насмешливый голос Павла. — Вы, соколики, понежнее обращайтесь с нею,— и усмехнулся. — Ну, ведите ее в светлицу.

Рядом с домом во дворе находился глубокий погреб, куда вели широкие каменные ступени. Когда-то, еще при жизни матери Павла, там стояли бочки с соленьями, зимние запасы

овощей. Теперь погреб пустовал. К нему и подвели Анку. Полицай отодвинул железный засов, отворил тяжелую дверь.

— Вот твоя светлица, полезай. Не выпущу, покуда сама не попросишься и не будешь ласкова со мной,— сказал Павел.

— Не дождешься,— и Анка сама шагнула вниз, исчезла в темноте погреба.

— Дура. Если покоришься...

— Не покорюсь продажной душонке! — оборвала его, как отрубила, Анка.

Полицай закрыл дверь, загремел засовом.

— И черт с тобой! — в исступлении закричал Павел.— Можешь сидеть там, пока совсем не истлеешь!

XXIII

Помрачнел атаман, ходил темнее черной тучи. Затаил на Анку жгучую злобу. Бессильная ярость душила его.

«Что же придумать, чтобы сломить ее упрямство?..» — напрягал он мозг. Однако так и не мог ничего придумать. Только все больше озлоблялся, чувствуя превосходство Анки.

— Брось кручиниться, атаман,— сказал лейтенант, к которому забрел не находивший себе места Павел.— Пей,— немец пододвинул наполненный стакан.

— Шнапс? Не могу. Поганое зелье.

— А самогонки?

— Это сто́ящий напиток...

Поздним вечером провожал лейтенант захмелевшего Павла. Около Дома культуры атамана ждал полицай. Прощаясь, лейтенант предложил:

— А давай-ка мы эту твою упрямую красавицу в Германию отправим...

— Ну, нет,— перебил его Павел.— Самим богом предназначена ей погибель от моей руки. Что мое, то уж мое.

— Поступай, как знаешь, в твои интимные дела мы вмешиваться не станем. Только смотри: надо подобрать хорошую партию. Отбери самых здоровых. Германии нужны сильные рабочие руки.

— Будет сделано. Прощевай...

У своего куреня Павел остановился и после минутного размышления сказал полицаю:

— Приведи Татьяну Зотову. И немедля. Скажи, атаман требует.

— Или приведу, или волоком приволоку. Стоит только атаману приказать.

Павел вошел во двор. В лунном свете различил фигуру полицая, шагавшего взад-вперед перед дверью погреба.

— Молчит? — спросил Павел.

— Нет, подает голос.

— Что же она говорит?

— Про дочку спрашивает...

— А меня не звала?

— Даже не поминает.

— Вот упрямство! Прямо-таки сатанинское... — процедил сквозь стиснутые зубы Павел и направился в дом. Поднявшись на крыльцо, обернулся, крикнул полицаю: — Жрать-то ей даете?

— А как же, атаман.

— Ну и что она?

— Лопает,— хихикнул полицай.

Таня с трудом переступила порог горницы. Полицай плотно прикрыл за нею дверь, а сам остался в прихожей. Понурив голову, Павел сидел на стуле, облокотившись правой рукой на стол; левая плетью повисла вдоль тела, точно перебитая. Заслышав шаги и скрип двери, Павел медленно поднял голову и уставился на Таню помутневшими глазами.

— Пришла?

— Ты же звал?

— Звал. А чего же ты... такая дохлая?

— Болею.

— Чем?

— Всем болею,— вздохнула Таня.

— Садись.

Таня устало опустилась на стул. Помолчали. В прихожей играли в карты полицаи. Оттуда то и дело доносились крики, матерная брань. Павел усмехнулся.

— Живой народ... Смекалистый... исполнительный. А при советской власти их в тюрьмах гноили. Скажи, товарищ коммунистка, правильно это было? Справедливо поступали большевики?..

Таня не ответила.

— Понятно. Ведь твой муж тоже коммунист. Как же ты их можешь осудить...

Помолчали. Павел сбросил с себя мундир и, кряхтя и отдуваясь, принялся стаскивать тесные сапоги.

— Я ему, этому пирожнику, то бишь сапожнику, руки-ноги

повыдергаю... А еще мерку снимал, сучий сын... Помоги-ка, что сидишь, как засватанная.

Таня стащила с него сапоги.

— Разбери постель.

Таня повиновалась.

— А теперь разоблачайся и прыгай в постель.

— Павел... что ты? — в страхе отступила к двери Таня.— Окстись! В своем ли ты уме?

— А что особенного?

— Ну, знаешь, всему есть предел. Глумиться над собой не позволю. Так и знай!

— Значит, моя доброта и мои ласки — глумление?

— Я — мужняя жена, а не...— Она задохнулась.— Лучше петлю на шею, чем такое бесчестье...

— Вот как! Значит, по-прежнему упрямишься? А я-то полагал, что ты одумалась. Гордиться должна, что станешь атаманской полюбовницей.

Таня, закрыв лицо руками, затряслась в беззвучном плаче.

— Ладно. Покаешься, пожалеешь, да будет поздно. Завтра же отправлю в Германию. На рынок! Как рабочий скот! — захрипел Павел, хватаясь за горло,— его душили спазмы.

— Куда угодно, но позора на свою голову не приму,— голос Тани прерывался от рыданий.

— А я говорю — пожалеешь, сука...— Павел открыл в прихожую дверь.— Эй, соколы! Отдаю ее вам до утра. Только до утра. Да не тут, не в курене... А чтоб не кричала, кляп ей в рот, и тащите в сарай.

Но Таня и без того не могла кричать: у нее пропал голос. Ей показалось, что фитиль в лампе моргнул и угас, а она, провалившись сквозь пол, с невероятной быстротой падала в бездонную темную пустоту. Но это только казалось Тане. Потеряв сознание, она упала на длинные и узловатые руки полицая...

На рассвете, когда в хуторе все спали, к Дому культуры подкатил грузовик. В кузове на откидных скамейках сидело двадцать автоматчиков. В двери показался заспанный немецкий лейтенант, начальник Бронзокосского гарнизона. Он вполголоса произнес несколько слов по-немецки. Автоматчики попрыгали на землю и поспешно скрылись в Доме культуры. Машина развернулась. Спустя несколько минут грузовик скрылся за хутором, оставив за собой медленно оседавшее облако пыли.

А с восходом солнца полицаи и солдаты сгоняли хуторян к правлению. Старики и подростки, женщины и девушки шли на сбор, охваченные смутной тревогой. Они предчувствовали, что

атаман затеял что-то недоброе. Таня находилась в правлении, в кабинете Павла, ее привели полицаи еще спозаранку. Последним в сопровождении солдата и полицая пришел Бирюк. Он огрызался на полицая, отталкивал от себя солдата, еле волочил ноги и прихрамывал, опираясь на палку. Павел исподлобья посмотрел на Бирюка.

— Ты что же это, большевистский холуй, особого приглашения ждешь?

— Да еще упирается, сволочь,— сказал полицай.

— Потурить бы тебя на работу, чтоб знал, как выполнять приказы. Да таких хромоногих калек не принимают.

— А что я?— прогудел Бирюк.— Могу разве угнаться за ними? Они вон как шагают...

— Молчать, падаль!— прикрикнул Павел.— Небось, с Анкой в сельсовете усердствовал до поту?.. Запомни: ежели еще раз нарушишь установленный порядок, пристрелю как собаку. Не посмотрю, что калека,— он повел взглядом по толпе и продолжал:— Кого буду выкликать, отходи в сторону... Краснянский Михаил!.. Быкодорова Авдотья!.. Шульгин Петр!..

— Да он же еще отрок,— сказал беззубый, с провалившимися морщинистыми щеками старик. Как и прежде, он стоял впереди толпы, все так же опираясь руками и грудью на палку.— Какой же из такого работник?

— А ты помолчал бы, Силыч,— покосился на старика Павел.

— Ну уж! Я перед твоим батькой головы не клонил...

— Молчать, когда атаман говорит!.. Дальше... Титов Ефим!.. Выходи, выходи, что за бабьи юбки хоронишься?.. Зотова Татьяна!

Полицай вывел Таню из правления, указал:

— Вон к тем ступай...

Не удержались женщины, зашептались:

— Танюшка!

— Боже мой!

— Да на ней лица нет!

— А похудела-то как, сердечная!..

Лейтенант стоял возле и молча наблюдал за происходившим. А Павел, шаря по толпе злыми глазами, выкрикивал все новые имена. В сторону отходили средних лет мужчины, женщины, но больше подростки. Павел повернулся к полицаю:

— Считал?

— Как же, подсчитывал.

— Сколько?

— Пятьдесят восемь.

— Хватит!

Лейтенант утвердительно кивнул головой, поднял руку. Из распахнувшейся двери Дома культуры быстро потянулась живая цепочка автоматчиков, и в течение нескольких секунд группа отобранных Павлом хуторян была охвачена кольцом. Лейтенант подошел к Павлу, сказал тихо:

— Шеф будет доволен твоими стараниями, атаман.

Павел просиял.

— Так вот, хуторяне!— продолжал он уже мягче.— Вы пойдете на полевые работы. Поможете селянам озимые хлеба сеять. А чтоб вас никто не обидел по дороге, надежную охрану даем. Постели вам дадут, кормить будут. Так что брать с собой ничего не надо. Всем будете обеспечены. Закончите работы и обратно домой. С богом!— махнул он рукой.

Окруженные автоматчиками, двинулись в далекий неведомый путь хуторяне, глотая горячие слезы. Среди оставшихся кто-то заплакал, кто-то охнул, упал на пыльную дорогу, заголосили дети. Толпа хлынула было за уходившими, но из Дома культуры выбежали солдаты, преградили дорогу.

— А и брешешь же ты, сопливый атаман,— покачал головой Сила Силыч.— Своему народу брешешь. Сказал бы хоть правду, мол, на германскую каторгу посылаю вас... У меня, мол, не розничная, а оптовая торговля людьми...

— Замолчи, старый хрыч,— зашипел Павел.

— Не замолчу... Не запугаешь... Я пока еще на родной земле стою...

— А вот я заставлю тебя стать на колени и стукнуться лбом в эту землю. Потом поклонишься и мне. Но раньше отобьешь земной поклон немцу, другу и спасителю нашему.

Старик, опираясь на палку, приблизился к Павлу.

— Нет, раньше тебе. На!— и он плюнул ему в лицо.— И другу твоему. На!— и на щеке лейтенанта повис плевок.

Лейтенант дернулся, отпрянул и, брезгливо морщась, выхватил из кармана платок:

— Мразь...

Павел ударил старика ногой. Силыч, выронив палку, повалился на землю. Полицаи схватили его за руки, подняли, встряхнули, словно мешок с костями, и, держа его под мышки, вопросительно посмотрели на атамана.

— Вздернуть!— взвизгнул, брызгая слюной, Павел.— И немедля. Повесить при всем народе!..

Толпа ахнула, качнулась и замерла...

XXIV

Во время бомбежки Кумушкина Рая погиб заведующий поселковым медпунктом. Теперь Душин заменил его.

Помещение медпункта так же, как и на Бронзовой Косе, состояло из трех комнат. В двух размещались процедурная и приемный покой; в третьей комнате жил фельдшер.

Дарья Васильева ведала колхозной баней. Возвращаясь с лова, рыбаки прямо с берега шли мыться. Жены еще на берегу вручали им белье. Напарившись всласть, рыбаки благодарили заботливую Дарью, расходились по хатам.

Не забывала Дарья и медпункт; в свободные часы она по старой памяти помогала Душину: мыла полы, стирала марлевые занавески, постельное белье из приемного покоя. Бывало, скажет Душин:

— Ты бы, Дарьюшка, отдохнула. У тебя и так хватает забот. Оставь, я сам сделаю.

Она улыбнется, ямочки на румяных щеках так заиграют, что кажется, будто они светятся:

— Сейчас, Кирилл Филиппович, у каждого забот по горло. Вон мой Гришенька третьи сутки в море. А к вам больные даже ночью приходят, с постели подымают. Тоже устаете, небось?

— Привык.

— И я к труду привычна,— и она снимала с койки несвежие простыни, стаскивала с подушек наволочки, стелила чистое белье, а на окна и застекленные шкафы вешала белоснежные марлевые занавески.

Душин следил за непоседливой и проворной Дарьей умиленным, благодарным взглядом. А кончалось тем, что его лицо становилось печальным, глаза темнели. Он вспоминал свою тихую, застенчивую жену, так страшно погибшую под бомбежкой на полевом стане. Рассеянный и занятый думами о покойной жене, Душин забывал о том, что, может, в сотый уже раз обращается с одним и тем же вопросом к Дарье.

— Так она перед смертью ничего и не сказала?

— Какое там! И пикнуть не успела, бедняжка, полголовы срезал осколок враз.

— Да, да...— спохватится Душин.— Ты же говорила мне об этом... Забываться стал.

— Нельзя так расстраиваться, Кирилл Филиппович. Все равно этим горю не поможешь. А себя пожалейте. Вы людям нужны.

— Да, это, конечно, справедливо...— согласится он и затихнет, а думы все о ней, о жене...

Евгенушка пришла на медпункт в тот момент, когда Дарья только что закончила мыть полы и стелила пестрые дорожки.

— С первым осенним дождиком вас,— сказала Евгенушка, войдя в процедурную.

— А-а, Ивановна!— приветливо встретила ее Дарья.— Проходи, проходи, чего у двери топчешься.

— Нет, нет,— запротестовала Евгенушка.— Филиппович, дайте мне табуретку, я тут, у порога, посижу, а то у меня туфли перепачканы.

— Пожалуйста, Ивановна, садись,— пододвинул он табуретку.

— Уф!— выдохнула Евгенушка.— До чего же не люблю я, когда хмурится небо. Плывут по нему какие-то лохматые грязные тучи, похожие на застиранные простыни, и сеют мелкое-мелкое водянистое просо. И море становится серым, тусклым, неприветливым.

Душин посмотрел в окно.

— Осень нынешняя, кажется, будет хлюпкой. Помесим мы грязь в Кумушкином Раю.

— Раз уже сентябрь мокрый да хмурый, то на октябрь и надеяться нечего,— махнула рукой Евгенушка.— Пойдут такие штормы, что только держись, рыбаки.

— У них нервы крепкие,— заметил Душин.

— Это верно. Ходила я с ними в море, знаю.

Дарья поставила табуретку возле Евгенушки, села рядом.

— Вот и управилась я. А ты из школы?

— Из школы.

— Все-таки работаешь понемногу?

— Дали несколько часов. Штат-то у них заполнен.

— Все же к своему делу приставлена.

— Я и не обижаюсь. Спасибо им и за это.

— А Галочка?

— Уроки готовит. А я сюда завернула, Кирилла Филипповича навестить.

— Спасибо, Ивановна,— застенчиво проговорил Душин.

— Как-никак,— продолжала Евгенушка,— а мы с Филипповичем давнишние друзья. Когда-то он квартировал у нас.

— Что там — квартировал. Жил как в родной семье.

— Наконец и своей семьей обзавелись... да вот... горе-то какое случилось.

— Живой о жизни должен думать, не век же ему горевать. Встретится хорошая женщина, и Филиппович снова женится,— сказала Дарья.

— Никогда,— покачал головой Душин.

— Мой Гришенька тоже так думал, когда умерла его Дарья, тезка моя. Часто, бывало, рассказывал мне о ней. А вот женился же.

Душин, все время смотревший в раздумье на море, вдруг приподнялся с табуретки, потянулся к окну.

— Идут,— сказал он.

— Кто?— машинально спросила Дарья.

— Наши с моря возвращаются.

— Батюшки мои!— спохватилась Дарья.— А у меня баня не топлена. Побегу.

— Идем вместе, я помогу тебе,— сказала Евгенушка, вставая.

— И я с вами, дрова буду колоть. Все равно больных нет,— и Душин стал торопливо развязывать тесемки халата.

Гитлеровцы осатанело рвались к Ленинграду, Москве и Ростову. С фронтов приходили нерадостные вести. Наши части отходили с упорными, жестокими боями: они изматывали, обескровливали врага, но вынуждены были временно отходить на восток, оставляя десятки городов и сотни населенных пунктов. И чем неутешительнее были эти вести, тем с большим упорством трудились рыбаки.

В летнюю путину добыли много осетра, судака и леща. И осенняя путина началась удачно. Бычок шел несметными косяками, его брали двумя драгами, наполняя почти доверху байды и трюмы моторных судов. На приемном пункте едва успевали принимать рыбу.

Суда приближались к берегу стройной кильватерной колонной, как настоящие боевые корабли. Во главе флотилии, под красным вымпелом, по-прежнему шел «Буревестник». Пронька, храня славные традиции «двухсотников», никому не уступал первенства.

Над морем и побережьем низко плыли, подгоняемые северным ветром, мутно-свинцовые тучи. Моросил мелкий надоедливый дождь. Кондогур и Панюхай отсиживались в кубрике. Кавун, Васильев, Кострюков, Лукич, Пронька и остальные рыбаки собрались на палубе. На берегу уже толпились женщины.

— Эх, и закатимся сейчас в баньку!— в предвкушении наслаждения потирал руки Васильев.

— Дымит,— протянул руку Кострюков в сторону поселка.— Труба дымит.

— Чтоб моя Дарьюшка да не постаралась баню истопить?— с гордостью подхватил Васильев.— У нее всегда все в аккурате.

— А вон и она, твоя Дарьюшка,— толкнул его Кострюков.— Видишь? С узлом стоит.

— И я бачу свою жинку,— сказал Кавун.

— Вот окаянные бабы, завели какой порядок,— улыбнулся Васильев.— Не помывшись в бане, домой не ходи.

— Хороший порядок,— одобрительно сказал Кострюков.— Что может быть лучше доброй бани после холодной морской ванны, а?..

— Стоп!— крикнул Пронька мотористу.

Мотор заглох. «Буревестник» по инерции прошел еще немного и остановился, качаясь на волнах.

— Заякорить!..

Через несколько минут от всех судов отчалили байды, доставившие на берег рыбаков. Дарья, передавая мужу узел, сказала:

— Тут, Гришенька, и твое белье, и Кострюкова, и Лукича, и Кузьмича, и Пронькино, и дедушки Кондогура, и...

— Ладно, ладно,— перебил Васильев,— разберемся, Дашенька. Лишь бы бабушкино белье сюда не попало. Кого мы потом в него наряжать будем?

Все засмеялись. Кавун, разворачивая газетный пакет, допытывался у жены:

— А рушник е?

— Е, е!— отвечала жена.

— И мочалка е?

— Та невже ж без мочалы?

— А исподне е?

— Ну и дотошный ты мужик, ей-богу! Все есть,— вступилась Дарья,— идите мойтесь, а то баня остынет.

— В самом деле, поторопимся, братцы. Что за мытье в холодной бане!— и Кострюков зашагал в поселок. За ним поспешили остальные.

Парились там же, где и мылись. Над печью был вмазан опрокинутый вверх дном средней величины котел, обложенный осколками чугуна. Пылавшие в печи дрова нагревали воду в большом котле, одновременно накалялись докрасна опрокинутый котел и чугунные осколки. Холодная вода подавалась через желоб в огромную бочку, стоявшую у стены.

Первым вошел в мыльню дед Кондогур. Он зачерпнул полный ковш кипятку и плеснул на малиновое пузо опрокинутого котла. Мыльня мгновенно огласилась змеиным шипением, пар,

схватываясь, устремился к потолку и, остывая, стекал по стенам вниз.

— Добре!— послышался басистый голос Кавуна.

Вошли Кострюков, Васильев, Пронька с отцом и другие рыбаки, а Кондогур все плескал и плескал кипяток на раскаленный чугун. Мыльня была просторной, вместительной, но в ней стоял такой густой пар, что не сразу отыщешь бочку с холодной водой и котел с кипятком. Панюхай вошел последним. Стоял невообразимый шум и гам. Рыбаки перебрасывались шутками, гремели тазами, плескались водой. То и дело раздавались взрывы смеха. Ничего не видя, Панюхай пробирался ощупью. Столкнувшись с кем-то, он предупреждающе крикнул:

— Ты, чебак не курица, гляди, струмент мне кипятком случаем не ошпарь.

— Го-го, деда! Уж не думаешь ли ты жениться?

— Непременно.

— Небось, и невеста есть на примете?

— А как же! Без невесты, чебак не курица, в таком деле рази обойдешься?

Раскатистый хохот оглушил Панюхая. Он зажал руками уши, подождал немного, потом отнял руки, но рыбаки все еще хохотали.

— Эй, дружок! Где ты?— гаркнул Панюхай.

— Тута! — откликнулся Кондогур с верхнего полка́, нахлестывая себя по спине и груди дубовым веником, на котором уже не осталось ни одного листочка; во все стороны торчали одни голые прутья.— Полезай сюда.

Панюхай взобрался к Кондогуру, растянулся на полке вниз брюхом, попросил друга:

— Ты мне спину бы того... веничком. Уважь, дружок. Меж лопатками свербит.

— Это можно. Сейчас я живым манером.

И Кондогур принялся охаживать веником Панюхая. Вначале тот крепился, но под конец взвыл:

— Ой, полегче, дьявол! У меня, кажись, на спине кожа отлипла.

— Жени, жени его, дедушка Кондогур!— послышалось снизу.— Поддай ему пару! Притворяется он!

Панюхай, не переставая стонать, сползал вниз. В мыльне звенел веселый хохот рыбаков.

После бани Кондогур усердно потчевал Краснова и своего друга Панюхая крепким заварным чаем, однако сам почти не прикасался к чашке. Он беспрестанно попыхивал трубкой, сде-

ланной ему Душиным взамен раздавленной. Трубка была глиняная, таких же внушительных, как и первая, размеров — с кулак. Краснов, кашляя, обеими руками отмахивался от дыма; наконец не выдержал, сказал:

— Да разве же это трубка? Настоящая паровозная топка.

— Он меня, Лукич, в копченого чебака обратил,— пожаловался Панюхай.

— Просто дышать нечем. Пойду-ка я на воздух. Спасибо за чай,— и Краснов удалился.

— Ты уж, Лукич, не прогневайся!— крикнул ему вслед Кондогур.— Не могу без трубки. Я без нее, что рыба без воды...

Но Михаил Лукич ушел от Кондогура не потому, что не выносил дыма. Он вспомнил, что у него в кармане лежит повестка на имя Проньки. Сына вызывали в райвоенкомат, а он, голова еловая, и забыл об этом. Дома Лукич не застал сына и отправился в клуб, где коротала свободное время молодежь.

Поселок, казалось, был погружен в глубокий сон. Кругом тишина и непроглядная темень. Нигде ни огонька. Лукич остановился возле клуба. Оттуда доносились оживленные голоса и веселый смех. Он заглянул в библиотеку. Читальный зал был полон. Здесь собрались и молодежь, и пожилые, даже шустрые школьники. Одни обменивали книги, другие читали газеты и журналы. Проньки здесь не оказалось. В фойе Лукич остановился. Через открытую дверь из зрительного зала доносились молодые веселые голоса:

— Здóрово он их отделал!..

— А ну, Проня, еще почитай!

— Слушайте...

Лукич узнал голос сына и заглянул в зал. Молодые рыбаки полукругом расположились на сцене.

Пронька читал:

«Чтоб почувствовать, что значит современный капиталист, нужно подсчитать приблизительно количество двуногих зверей этого семейства и количество рабочих людей, которых это зверье истребляет в междоусобных своих драках за золото и ради власти своей внутри государств своих против пролетариата. Подсчитав это, мы убедимся, что каждый банкир, фабрикант, помещик, лавочник является убийцей сотен, а может быть, и тысяч наиболее здоровых, трудоспособных, талантливых людей. Готовя новую войну, капиталисты снова готовятся истребить десятки миллионов населения...»

— Вот уж, действительно, верно сказано: «двуногие звери».

— А теперь Гитлер старается для капиталистов мир завоевать, истребить миллионы людей.

— Читай дальше.

— Метко сказал этот Горький.

— Здорово. Еще почитай.

Пронька не заставил себя долго просить.

«...Человечество не может погибнуть оттого, что некое незначительное его меньшинство творчески одряхлело и разлагается от страха перед жизнью и от болезненной, неизлечимой жажды наживы. Гибель этого меньшинства — акт величайшей справедливости, и акт этот история повелевает совершить пролетариату. За этим великим актом начнется всемирная дружная и братская работа народов мира — работа свободного, прекрасного творчества новой жизни».

— Вот, товарищи, какое дело,— сказал Пронька.— Если взять наши дни, то можно сказать так: истребление фашистов есть акт величайшей справедливости. А когда мы уничтожим фашистов, этих двуногих зверей, тогда и начнется дружная и братская работа народов мира.

— Верно, Проня!

— Вот и нас призывает Родина на борьбу с гитлеровским зверьем... Завтра мы уйдем в армию... Нам доверят боевое оружие... Думаю, не посрамим комсомольской чести.

— Не посрамим!

Лукич удивленно вскинул выцветшие на солнце брови: «Гляди, уже знает... Да, моего Проньку врасплох не застать».

— Сынок! Поди-ка сюда,— окликнул Краснов.

Пронька спрыгнул со сцены, подошел к отцу.

— Что, батя?

— Да вот... бумажка тебе.

Пронька взглянул на повестку, улыбнулся озорными глазами:

— Знаю.

— Слыхал, как вы тут толковали. А отцу что ж не сказал? — упрекнул Лукич

— Да ты, батя, с дедом Кондогуром еще в бане парился, когда я повстречал на улице секретаря сельсовета, от него и узнал.

— Пришел, значит, и твой черед,— вздохнул Лукич, запуская пальцы в короткую рыжеватую бородку.

— Никак, ты закручинился, батя?

— Плясать тоже не с чего... Единственный ты у меня... Мать померла... Вовсе сиротой остаюсь...

— Ну, батя, зря ты это... А наши рыбаки разве не семья тебе? Да и не одного твоего сына берут в армию. Вон, погляди, сколько нас,— кивнул Пронька на сцену,— целый комсомольский взвод.

— Ладно. Нечего агитировать меня. Сам понимаю. А только от этого не легче с родным дитем расставаться. На войну, чай, идешь, а не на блины к теще... Однако время бежит, надо тебе собраться да отдохнуть перед дорогой. Завтра я вас на «Темрюке» в Ейск доставлю.

— Вот это другой разговор, батя. Ребята, пошли!..

XXV

Стояли хмурые предвесенние дни. Редко выглядывало из-за туч солнце, зато часто поливали холодную землю дожди, на улицах хутора не просыхали мутные лужи. Сильными порывами налетал сиверко, задирая обветшалые камышовые стрехи, будоражил море, и оно яростно бушевало, кидая на берег косматые волны.

Павел вернулся из города в полдень. Вызывал шеф. Когда он вошел в прихожую, трое полицаев резались в карты. Четвертый сторожил погреб. Полицаи не сомневались, что их атаман приедет злым как черт. Кому могла быть приятна в такую дурную погоду прогулка до города и обратно? Но на вызов шефа не явиться нельзя было.

Однако Павел, забрызганный с ног до головы грязью, усталый и промокший, к удивлению полицаев, оказался в превосходном расположении духа. Шеф подарил ему золотые именные часы и выдал крупную сумму денег ему и полицаям — вознаграждение за утверждение на хуторе «нового порядка».

Павел достал из саквояжа четыре объемистых пачки советских красненьких тридцаток и бросил их на стол.

— От шефа за верную службу.

— Вот спасибочки,— оживились полицаи.

Один из них извлек из пачки одну кредитку, повертел в руках, внимательно осмотрел ее и авторитетно заявил:

— Сделано в Берлине.

— По-твоему, выходит, деньги фальшивые?— настороженно спросил Павел.

— Утверждать не берусь. Но ручаюсь головой за то, что печатались они не в Москве. Я, атаман, двадцать три года зани-

мался высоким искусством фальшивомонетчика, за что шесть раз был удостоен чести наблюдать за суетой мира сего из-за тюремной решетки.

— Зря тебя не удавили в тюрьме, черта вислоухого,— засмеялся Павел и отправился, пошатываясь, в горницу. Он был изрядно выпивши.

— Тогда я не был бы у тебя, атаман, дворовым волкодавом. Кто сторожил бы твою кралю?

Павел остановился у двери.

— Ну, что она? Не звала меня?

— Нет. Все про дочку спрашивает.

— А что отвечаете?

— Как было приказано: атаман, мол, отправил свою дочку в Германию, чтоб из нее там сделали культурную фрейлин.

— Ну?

— Вздохнет и ни слова больше.

Павел закурил папиросу, жадно глотая дым.

— Спит на соломе или на перине?

— На перине. Голову на подушку кладет, твоей шубой укрывается. А вот кушать перестала. Ни крошки в рот не берет. Только воду глушит. Надо полагать, решила помереть голодной смертью.

— С нее это станется,—сказал Павел.

— А жаль. Бабенка чертовски хороша. Ей-богу, хороша. На редкость.

Павел изжевал мундштук и с досадой выплюнул потухший окурок.

— Да разве ж она человек? Это сатана! Оборотень! Третий месяц сидит в погребе, а вот... не покоряется. Гордая, дьяволица. Подыхает, а не гнется. И откуда, скажи на милость, у нее такая сатанинская силища берется?..

Павел разделся, разулся и бросился на кровать. Хотел уснуть, забыться и закрыл глаза. Но сон не шел к нему. И с закрытыми глазами видел перед собой Анку, даже ощутил ее дыхание. И так живо всплыла в памяти картина: лунная ночь... обрывистый берег... Анка обвила шею тонкими руками... обожгла поцелуем... Это было давно, одиннадцать лет назад... Но и сейчас чувствует Павел прикосновение горячих девичьих рук. Поцелуй тот горит на его губах... мутит рассудок...

Павел вскочил с кровати, выбежал в прихожку:

— Не могу!.. Не могу, чтоб ее верх был... Я не переживу такого позора,—понизил он голос и сразу как-то обмяк, сгорбился.

— Успокойся, атаман. Возьми себя в руки. Не позволяй нервам шалить.

— Ду-ра-ки... Разве можете вы понять, что делается у меня вот тут,— и он ударил себя кулаком в грудь. Тяжело ступая, прошел к столу, сел на стул.— Там, в саквояже, коньяк...

Полицай откупорил бутылку, налил полный стакан коньяку. Павел выпил одним духом, стукнул об стол стаканом.

— Еще!..

После второго стакана уронил голову на стол и заплакал. Полицаи притихли. Кто-то из них прошептал:

— Пускай уснет...

Павел медленнно поднял голову.

— Не до сна мне... Вот что... Отправляйтесь двое и посмотрите, на замке ли курень Анки. Кажется, на замке... А ключ, наверно, у этой старой хрычовки... У Акимовны. Не найдется ключ, сбейте замок. Пригоните баб, и пускай они уборку произведут в комнатах... Кровать надо поставить... постель добыть, ежели ее нет в Анкином курене... Вы знаете, как это надо сделать... Да! И чтоб корыто было, горячая и холодная вода...

— Все будет в порядке, атаман.

— Наколите дров, затопите печь... Возьмите из нашей кладовой хлеб, сахар, муку, окорок... Словом, провианту всякого... харчей, значит, побольше, и отнесите все это туда... Дайте-ка еще коньяку...

Полицай откупорил вторую бутылку, наполнил стакан. Павел отпил один глоток, облизал губы.

— Когда все будет готово, приведете туда Валю. Ежели Акимовна станет противиться, возьмите девчонку силой.

— Хорошо, атаман.

— Один из вас останется там, в курене, а другой — ко мне с докладом. Идите.

Оставшийся с Павлом полицай, дымя папиросой, покачал головой:

— Не понимаю я такой любви, атаман.

— Дай срок, поймешь,— желчно засмеялся Павел. Он отхлебнул коньяку и продолжал:— Я в детстве, знаешь, что делал?.. Сажал на ладонь маленьких, в желтом пушку, цыплят, сжимал пальцы в кулак и выдавливал из них пузыри, как из рыбешек. Так поступлю я и с Анкой.

— Тогда какого черта ты с ней нянчишься, сам от любви сохнешь?

— Дурень, любовь была да сплыла. Осталась одна злоба. Она, как огнем жжет... Я из-за нее, из-за проклятой, родного

батьку в ссылку упек... Ну, думаю, теперь буду владеть красавицей. А она как поступила? До колхоза не допустила меня, из своей хибарки выгнала, когда я хотел осчастливить ее, к себе как жену взять. Это как, по-твоему, можно стерпеть?

— За что же прогнала?

— А ни за что. Я, видишь ли, по пьянке шлюхой ее обозвал, а дочку ублюдком...

Павел помолчал.

— Ну, сбежал я в город, работал на заводе. Забылся... Девок там хватало. Да вот прошлым летом, как раз перед войной, получил отпуск и черт меня дернул приехать сюда... Увидел Анку и, поверишь ли, словно бы тисками сжало сердце. Опять возгорелся любовью к ней...— Павел криво улыбнулся.— Она же, стерва, вызвала в сельсовет, поиздевалась надо мной и чуть ли не взашей вытурила... На весь хутор осрамила... Разве можно забыть такое?.. Нет, порода Белгородцевых такой обиды не прощает... Я ей придумаю страшную казнь.

— Надо думать, курень ты готовишь для нее? — полицай косо посмотрел на Павла.

— Для нее, стервы.

— А к чему это, если хочешь казнить ее?

— Чтоб она уверовала в меня... Покорилась при всем народе... Мне надо сломить ее упрямство...

— А потом?

— Поиздеваюсь над ней всласть... опозорю... осрамлю... и уничтожу. Понял теперь, что ни от какой я любви не сохну. Злоба во мне горит, душу обжигает...

— А если не покорится?

— Немецким солдатам отдам на посрамление, а потом — в Германию ее... на рынок.

— А дочку?

— И ее на рынок... Чтоб и следа не осталось!..

Павел уронил голову на стол, промычал что-то и затих.

Павел проснулся в постели. Спал он так крепко, что не чувствовал, как полицай перетащил его на кровать. В горнице было темно. Только на полу, протянувшись от приоткрытой двери, лежала узкая, желтоватая полоска света. Поднявшись, Павел опустил на холодный пол босые ноги, поскреб ногтями волосатую грудь, крикнул:

— Эй, кто там есть?

В горницу вошел полицай, держа в руке лампу.

— Еще не вернулись?

На крыльце послышались тяжелые шаги.

— Да вон, кажись, идут, — прислушался полицай.

Через две-три минуты в горницу ввалился в грязных сапогах один из посланцев. Павел молча уставился на него.

— Порядок, атаман.

— Ключ у кого был? — спросил Павел.

— У старухи.

— Не противилась?

— Нет. И дочку молча отдала.

— Струсила, карга старая,— усмехнулся Павел.— Поумнела, когда я ей последние зубы вышиб. Нет! Упрямцам я буду мозги вышибать. Или на перекладину вздергивать. Как Силыча... И пусть они болтаются в петле, покуда в них черви не закопошатся...— Он повел вокруг взглядом. Возле кровати стояли его сапоги, начищенные до блеска. Брюки тоже были в порядке. Полицай постарался. Павел натянул на себя брюки, обулся, вышел в прихожую, умылся, надел мундир.— А где вислоухий фальшивомонетчик?

— Там остался, с девочкой.

— Ладно. Теперь спуститесь в погреб и приведите сюда Анку.

Полицаи ушли. Павел закурил и, расхаживая по горнице, размышлял:

«Неужели я не сломлю ее?... Неужели она не позарится на соблазнительную наживку и не попадется на крючок?.. Ведь не таких белуг я засекал... Ладно, дам ей свободу... Но это будет моей последней уловкой. Потерплю еще месяц-два... Не придет ко мне с поклоном, не покорится публично — казню... Сам! И рука не дрогнет...»

Скрипнула дверь, и в горницу вошла Анка. Свет керосиновой лампы упал на нее. Но чье это худое, иссиня-бледное лицо? У Анки было совсем другое: свежее, живое, а сквозь тонкую смуглую кожу щек проступал румянец... И глаза не Анкины! Нет! У нее были зеленые с просинью — ясные, чистые. В них всегда играли радужные искорки, а эти холодные и неподвижные, словно в них угасла жизнь.

Анка пошатывалась на ослабевших ногах. Позади нее стоял полицай, готовый в любую минуту подхватить обессилевшую женщину. Павел махнул рукой:

— Иди. Понадобишься, позову.

Полицай вышел.

— Тебе трудно стоять. Почему не сядешь? — мягко сказал Павел.

Анка опустилась на стул и поникла головой. Павел взял другой стул, сел напротив. Он долго разглядывал ее черную измятую юбку, серый жакет-блузку с застежкой «молния», спутавшиеся волосы. Анка почти три месяца не мылась и не меняла белья. У нее был такой изможденный, жалкий вид, что при взгляде на нее дрогнуло бы самое черствое сердце. Павел же только радовался, но старался не выдавать своего злорадства.

— Вот что, Анка,— сочувственно начал он, притворно вздыхая. — Вижу, что ты ненавидишь меня. Поступай, как знаешь, это твое дело. А я по-прежнему люблю тебя... Не веришь? Неужели ты не понимаешь, что я мог бы тебя давно передать в гестапо...

— Это никогда не поздно сделать.

— Не могу.

— Эх, Павел, Павел... До чего же мелкая, подлая у тебя душонка. Посмотри на себя. Ты предал Родину, свой народ. Ты продал свою совесть. Что же у тебя осталось?..

Павел молчал.

— Прикажи своим «орлам», пусть отведут меня обратно в погреб. Или передай в гестапо. Гадко мне глядеть на тебя. Дай мне хоть спокойно умереть.

— Нет, ты будешь жить. Если бы не любил, давно уничтожил бы. У меня рука твердая. Нужно было повесить Силыча — повесил и глазом не моргнул. Нужно было отправить Таньку Зотову в Германию на работу — отправил.

— Бедная Таня, — задумчиво произнесла Анка, качая головой — Но она хоть взрослая. А вот как ты мог... — Анка проглотила слезы и сжала губы. Она помолчала и подняла на Павла горевшие гневом глаза. — Как ты мог... отправить к этим людоедам... гитлеровцам... ребенка?

— Какого? — удивился Павел. Он забыл, что велел полицаям говорить Анке, будто отправил Валю в Германию.

— Валю. Дочь мою... Пожелал, чтоб из нее сделали там культурную фрейлин?

— Ты что, бредишь, Анка? — Павел вскочил и нервно забегал по горнице. — Разве я мог разлучить тебя с Валей? Я зедь люблю тебя и Валю.

Анка, опираясь рукой о спинку стула и не сводя с Павла широко открытых глаз, едва слышно проговорила:

— Она тут?

— Тут.

— Это правда?

— Правда.

— Нет, ты хоть раз в жизни можешь сказать правду?

— Я говорю правду, и ты сейчас убедишься в этом. Хочешь видеть Валю?

— Где она? Кто смотрел за ней?

— Я поручил ее Акимовне. Сейчас она дома. В родном курене. Ждет тебя. Идем.

— Идем... Идем скорей... — но Анка и шага не сделала, грохнулась на стул...— Ничего... это пройдет... пройдет... Ноги что-то непослушными стали... Сейчас пойдем...

Павел вышел на крыльцо, крикнул полицаям:

— Запрягайте коней!

Когда он вернулся в горницу, Анка уже стояла. Павел сказал:

— Будешь жить в своем курене. Тебя никто не тронет. Убегать не думай. Все равно бежать некуда. Это одна глупость. Я буду изредка приходить, чтобы только взглянуть на тебя и дочь. Ничем не обижу.

— Валя не признает тебя за отца. Никогда.

— Пускай называет дядей. Не обижусь. Буду ждать, когда Валина мать поймет, что я люблю ее больше своей жизни, и поверит мне. Да, Анка, я буду тем доволен, что хоть изредка... — он смолк.

Вошел полицай.

— Пролетка у крыльца.

— Едем,— и Павел пошел следом за Анкой, помог ей сойти с крыльца.

Спустя несколько минут лошади остановились около Анкиного куреня. Павел хотел помочь Анке сойти с пролетки, но она оттолкнула его:

— Я сама. Сама...— Анка открыла калитку и неверными спотыкающимися шагами заторопилась к дому. Павел не отставал от нее.

Нетерпеливо толкнула дверь, окинула тревожным взглядом прихожую. Пол вымыт, на стенах ни пылинки, в печи с треском пылали дрова.

На столе грудой лежали продукты, хлеб.

— Где же Валя? — Анка схватилась за сердце, бессильно прислонилась к косяку.— И это твоя правда?

Павел не успел ответить.

Из другой комнаты вышел полицай. За ним выбежала Валя.

— Мама! Мамочка!— бросилась она к матери.

У Анки подломились ноги, она упала на колени, обняла дочь, целуя ее лицо, волосы, руки.

— Доченька... родная моя...

— Мамуля, а этот дядя,— указала девочка на полицая,— дал мне шоколадку и сказки рассказывал. Мамуля, он говорил, что у меня тоже будет папа.

— Рыбка моя золотая...

Павел кивнул головой через плечо, и полицай проворно шмыгнул за дверь.

— Ну вот, Анка, и моя правда... Горячая вода на печи, холодная в ведрах. Вон корыто. Помой дочку, сама искупайся, ужинай, пей чай и отдыхай, поправляйся. Ты тут полная хозяйка. Я мешать не буду. Покойной ночи, — он вышел и тихо притворил за собой дверь.

По дороге Павел заехал к Бирюку. Тот уже спал. Павел легонько постучал в окошко. Бирюк впустил его. Павел в потемках сунул ему пачку денег.

— Это тебе за Силыча. Помянешь грешную душу старика... Только что отвез Анку в ее курень. Задабривай Акимовну, она любит Анку, и Анка, конечно, будет с ней откровенной. Если она замыслит побег...

— Ясно,— перебил Бирюк.

— Действуй.

— А сколько тут?— Бирюк похлопал ладонью по деньгам.

— На твой век хватит. Мало будет, добавим,— и Павел шагнул через порог.

За его спиной загремел дверной засов.

XXVI

Тимофея Белгородцева вызвали в контору, выдали ему документы, деньги, проездной билет до Мариуполя и пожелали счастливого пути.

— Значит, я вольный теперь казак? Могу ехать домой? — спросил Тимофей.

— Куда хотите. Вы отбыли положенный вам срок наказания и теперь свободны. А хотите — оставайтесь у нас работать вольнонаемным.

— Нет уж, поспешу домой! К морю, как магнитом, тянет!..

О начавшейся войне Тимофей узнал в поезде, следовавшем из Архангельска в Москву. Убедившись в том, что гитлеровская Германия действительно напала на Советский Союз, Тимофей перекрестился, сказал про себя:

«Слава богу. Вот и конец настал Советам. Германец си-и-льный! Сомнет большевизму...»

Две недели протолкался Тимофей в Москве на Курском вокзале. По всем железнодорожным магистралям с востока на запад и с запада на восток бесконечными вереницами шли воинские эшелоны и санитарные поезда, забивая все пути узловых и промежуточных станций. Тут уж было не до пассажиров. Война!..

Через Тулу, Орел, Курск, Харьков с большими трудностями добрался Тимофей до станции Лозовая и надолго осел там. В драке за место на крыше вагона его сбросили на перрон, и он сильно ушиб себе обе ноги.

Белгородцева подняли железнодорожники, отнесли в больницу.

Немцы бомбили Лозовую. Сотрясались стены больницы, звенели и сыпались оконные стекла. Больные в страхе покидали палату, расходились и расползались, кто куда, и только один Тимофей лежал не шевелясь на койке, улыбался в рыжую, тронутую сединой бороду, не переставал шептать:

— Конец большевикам. Конец...

Вскоре немцы заняли Лозовую. Как-то в палату вошел гитлеровский офицер с переводчицей.

— Кто есть эта борода? — спросил офицер.

Тимофей достал из-под подушки документы. Девица пробежала глазами справку, объяснила офицеру по-немецки:

— Бывший заключенный. Освобожден после отбытия десятилетнего срока наказания...

— О-о! — перебил офицер переводчицу, сочувственно качая головой.

— ... в июне месяце, — закончила переводчица.

— Пострадавший от большевизмы, — вставил Тимофей.

— О-о! Большевики? Тюрьма? О-о, борода... — и он легонько похлопал Тимофея по плечу. Мол, свой человек.

Три месяца немецкий врач лечил Тимофея. Наконец ноги его настолько окрепли, что он выписался из больницы и отправился в путь. Через двое суток — где поездом, а где на попутной машине — Тимофей добрался до Мариуполя. Посмотрел на море, раздувая ноздри, вдохнул соленый йодистый его запах, и впервые за все десять лет ссылки радостно засветились его глаза.

— Вот оно... родное...

А почерневшее море сердито шипело, точно было недовольно возвращением Тимофея.

— Вот теперь свободно порыбалит вольный казак. Сызнова

атаманствовать буду. Держись, голытьба. У Тимофея Белгородцева кулак еще крепкий...

Снег валил крупными хлопьями. Шквальный ветер крапивой обжигал лицо. Море штормило, но уже начинало замерзать у берега. Глядя на ледовый припай, Тимофей потирал руки, думал:

«Скоро на подледный лов пойдем. Уж поатаманю всласть... А как там без батьки хозяйнует Пашка? Эх, сукин сын... Отца родного упек... Погоди, я из тебя вытряхну твою поганую душонку»,— и он, забросив на спину котомку и опираясь на железную трость, пустился в хутор пешком.

Пройдя километров пять, Тимофей остановился, посмотрел на мутное небо. Начиналась метель.

«А что, ежели снегом занесет? Разве воротиться?» —и Тимофей обернулся, услышав позади себя шум мотора. По дороге бежала грузовая автомашина.

«Как раз в мою сторону»,— обрадовался Белгородцев и поднял руку.

Машина даже не замедлила хода, промчалась мимо.

«Надо было бы в городе договориться,— подумал Тимофей,— вот и подъехал бы,— потом решительно махнул рукой:— Э, дойду пешком. Места не чужие, с детства знакомые».

Но вскоре подвернулась вторая машина, шофер оказался сговорчивым, и через час Тимофей уже стоял на пригорке, смотрел вниз на хутор и не узнавал его: от множества новых построек — Дома культуры, школы, медпункта, помещения сельсовета и конторы правления колхоза, добротных куреней — рябило в глазах. А на хуторской площади, дрожа под порывами ветра, тянулись вверх оголенные молодые деревца акации, тополя, карагача, эвкалипта.

Тимофей усмехнулся.

«Что ж, благодарствуем, колхознички, за старание. Теперь можно будет хутор в станицу преобразовать. А кому же быть станичным атаманом, как не мне?»

С такими радужными мыслями вошел Тимофей в хутор и направился прямо к своему куреню.

«Цел ли?..»

Рубленый курень на высоком кирпичном фундаменте был цел. Стояли на месте и тесовые массивные ворота. Тимофей открыл калитку, окинул жадным взглядом двор. Все было в порядке. Только вместо дрог под сараем стояла рессорная пролетка.

Тимофей, с трудом подымая отяжелевшие ноги, медленно

взошел по ступенькам на крыльцо. И только занес руку, чтобы перекреститься перед тем как войти в курень, распахнулась дверь, на пороге встал вислоухий полицай. Из-за его спины выглядывал другой, дымя цигаркой.

— Поворачивай оглобли,— сказал вислоухий.— При новом порядке милостыню просить не разрешается.

— О какой милостыни ты гутаришь?

— А что тебе надо тут?

— А чего ты здесь ищешь? Я в свой курень пришел.

— Что-о-о?

— В свой курень, говорю, пришел,— повторил Тимофей.

Вислоухий переглянулся с приятелем, и оба разразились неудержимым хохотом.

— Хозя-а-а-ин сыскался. Ох, уморил!..

— Чего зубоскалишь? А ну, отойди в сторону,— рассердился Тимофей.

— Да у тебя того...— полицай постучал согнутым пальцем по лбу...— не того?

— Ты мне брось эти дурацкие штучки. А то я тебе покажу и «того» и «не того». Пусти в курень.

— Ты, папаша, поскорее уноси ноги отсюда. Нагрянет атаман, не обрадуешься.

— Какой такой атаман?

— Обыкновенный. Он тут живет.

— Кто такой?

— Пойди в правление, узнаешь.

— А ты кто такой?— спросил другой полицай.

— Хозяин я этого куреня, вот кто!

Полицаи опять захохотали.

— Вот потеха!

— Да чего с ним возжаться. Спусти его вниз головой.

— Это меня-то? Хозяина? Да я вас, сукиных сынов...— Тимофей замахнулся тростью, но ударить не успел.

Полицай поймал его руку, зажал в своей медвежьей лапе, крутанул, дал пинка в спину, и Тимофей загремел по ступенькам, прижимая к груди трость и котомку. Полицаи сошли с крыльца, подхватили Тимофея, подвели к калитке и вытолкали на улицу.

— Еще раз сунешься покой наш нарушать, знай, за штаны на акации подвесим.

В груди у Тимофея что-то клокотало, в горле булькало и хрипело. Он не мог говорить. Гнев душил его, он захлебывался от ярости и злобы.

«Что же это такое, боже мой! При Советах голоса лишили... на край света упекли... имущества решили... И при «новом порядке» в свой курень не моги взойтить. Ладно, я вам покажу порядки...»

Он оглянулся. На улице ни души. Хуторяне редко выходили за ворота, больше отсиживались по домам. Наконец Тимофей увидел мальчонку, спросил, где правление.

— Вон в том новом помещении,— показал мальчонка,— где был сельсовет.

Павел и лейтенант сидели в кабинете и составляли список очередной группы жителей для отправки в Германию. Перебирая в памяти хуторян, Павел называл фамилии, а лейтенант записывал. Первыми заносились в список те, кто, по доносу Бирюка, был недоволен «новым порядком».

— Сколько?— спросил Павел.

— Двадцать три,— ответил лейтенант.

— Пожалуй, больше некого записывать. Остались больные, калеки да старая рухлядь.

— Такой товар не имеет спроса на рынках великой Германии. Пока хватит этих. Шеф будет доволен. Ставлю точку.

В дверь постучали.

— Заходи!— крикнул Павел.

Вошел полицай.

— Какой-то старик хочет видеть атамана.

— А за каким чертом старику сюда понадобилось? Ну, да уж ладно, впусти.

У Тимофея зашевелились волосы на голове. Он узнал голос сына. «Неужели?» Хотел рвануться вперед, чтобы скорее убедиться своими глазами, действительно ли сын его там, за дверью? Но, как назло, ноги точно свинцом налились, и он никак не мог сдвинуть их с места. Полицай помог. Он толкнул его в спину, сказал:

— Давай, давай, чего жевалку открыл и губу свесил, старый мерин. Проходи, атаман ждет.

Тимофей вошел в кабинет, взглянул на сына и, если бы не трость, на которую он опирался, упал бы на пол.

— Пашка?..

— О-о, батя! — с удивлением произнес Павел. Он не выразил ни малейшего восторга, никаких порывов сыновней радости.— Вернулся домой, значит? Поздравляю.

Тимофей нахмурился.

— Домой, сказываешь?.. А кого впустил ты в мой курень?.. Головорезов?..

— Тише, батя, тише. Это мои верные помощники. Они такие же бывшие арестанты, как и ты...

— А кто предал меня советскому суду?

— Ты, батя, лучше не шуми.

— Отец?— спросил лейтенант.— Не буду мешать вашему любезному разговору,— и удалился.

Тимофей сел на стул и застучал тростью об пол.

— Нынче же очистить курень! Я не собака, чтоб у подворотни валяться.

— Русским тебе, батя, языком говорю, угомонись. А не то связать прикажу.

— Что-о? — побагровел Тимофей, срываясь со стула.

— А то. Про курень и думать забудь. Он мой. Советую по-хорошему, занимай флигель во дворе у меня. А не хочешь, на хуторе много новых куреней пустует. В любом поселяйся.

— Сукин сын... Да ить и флигель, и курень, и все подворье — мое кровное. Все мое! Как ты смеешь, щенок...

— Поаккуратнее, батя, выражайся. Не оскорбляй атамана при исполнении им служебных обязанностей. Беду наживешь.

— Недолго будешь атаманствовать!

— Сказал тебе, не кричи, а то холодную ванну примешь.

— Буду кричать. Я тебя выведу на чистую воду. Большевикам служил, а теперь немцам задницы лижешь? Вот пойду и все им выложу. Они тебя завтра же повесят, басурмана.

— Тише, батя, А то я добрый, добрый, но и злючий бываю, весь в тебя.

— Тьфу!— плюнул Тимофей.— Ублюдок ты, а не сын мой!

— Батя! — вскричал Павел, и лицо его налилось кровью.— Много лишнего говоришь. Берегись, ежели зло меня возьмет.

— Грозишь? На погибель послал меня, а теперь грозишь?— Тимофей ударил тростью по столу.— Изничтожу поганца!

Павел метнулся в угол, крикнул:

— Соколы!

Полицаев будто вихрем внесло в кабинет.

— Связать! — приказал Павел.

Через какие-нибудь две-три минуты Тимофей лежал связанным на полу и в бессильной ярости скрежетал зубами. Павел подошел к нему, покачал головой:

— Эх, батя, батя... Говорил тебе, давай по-хорошему. Нет, руку поднял на атамана, всем народом избранного. Прошло то время, батя, когда ты мог меня, уже взрослого, пороть или обворовывать, на погибель толкать. Прошло и не возвратится.

— Изыди с глаз моих, нечестивец,— прохрипел Тимофей.

— Теперь,— продолжал Павел, не слушая отца,— я могу положить тебя под ноготь и... как гниду...

— Погоди, сукин сын, я тебе покажу, как ногтями гнид давят. Погоди...

— Хотел я, батя, холодную ванну тебе устроить, да передумал. Так и быть, не стану омрачать светлый день твоего возвращения.

Тимофей замычал, натужился, но прочные веревки только сильнее впились в тело. Под кожей щек старика буграми ходили желваки, на руках вздулись вены.

— Крепкий, чертяка,— прищелкнул языком полицай.— Оглоблю кулаком может перешибить,— и провел ладонью по скуле, которую ему чуть было не своротил Тимофей.

XXVII

Анку не покидала мысль о побеге. Днем и ночью она думала об этом. Но к какому бы она ни приходила решению, каким бы удачным ни был план, он неизбежно разбивался о непреодолимое препятствие... Убежать, скрыться Анка могла в любое время. Но дочка?! Как быть с нею? Оставить в хуторе? Нет, на это Анка никогда не согласилась бы. Взять — значит подвергнуть ребенка вместе с собой смертельной опасности, риску замерзнуть где-нибудь в степи.

— А может, так и сделать? — однажды с холодным отчаянием сказала Анка Акимовне.— Смерть легкая. Говорят, когда человек замерзает, он не чувствует ни холода, ни боли. Наоборот, становится тепло, даже жарко, и он сладко засыпает...

— Не дури! — оборвала ее Акимовна.— Ишь, додумалась... себя и ребенка насмерть заморозить!

— Да уж лучше смерть, чем такая жизнь. Ежели бы вы знали, Акимовна, что со мной делается, когда он приходит. Видеть его не могу. Ненавижу. Так и хочется схватить со стола нож и проткнуть его гадючье сердце. Но...— Анка беспомощно развела руками,— я должна выслушивать его любовные бредни. Терпеть, когда он сажает к себе на колени Валю, угощает ее шоколадом. Господи, я готова руки на себя наложить!.. Ведь всякому терпению бывает конец.

— Не дури, говорю, слышишь? — сурово прикрикнула Акимовна и, помолчав, спросила:

— Когда приходит, не обижает?

— Нет. Вежливый, даже ласковый. Поиграет с Валей и уйдет. А мне от этого еще тошней. Ведь все это притворство. Какую же надо иметь черную душу, чтобы поднять руку на вас? Отправить на германскую каторгу не только взрослых хуторян, но и подростков? Повесить старика Силыча? А отца как он встретил? Весь хутор об этом гудит.

— Страшный человек! — согласилась Акимовна.— Он мог бы и родную мать казнить. Слава богу, что она померла. Но надо вытерпеть. Обдумать, как быть... Вместе обдумаем, Аннушка.

— Голова как чугунная стала от этих дум.

— Потерпи, голубонька. По всему видно, что он замышляет что-то недоброе. Но, бог даст, его черные замыслы пойдут прахом.

— На бога надейся, Акимовна, а сам не плошай.

— Вот-вот, не плошай. Крепись, дочка.

Бирюк изредка, чтобы не навлечь на себя подозрение, навещал Акимовну. Он всячески поносил Павла, изощрялся в оскорбительных прозвищах, на чем свет стоит ругал немцев и «новый порядок». Но ничего у Акимовны выпытать так и не смог. Она не доверяла ему, терпеливо выслушивала и молчала.

Бирюк ворчал про себя:

«Нудное дело — в чужих душах ковыряться. Вышибать из них души, как вышибли из моего батьки, вот это стоящая, веселая работенка».

Как-то в хутор приехал Зальцбург. В разговоре с ним Павел упомянул о Бирюке.

— Загрустил что-то он, господин обер-лейтенант.

— Почему же?

— Работа, говорит, не по душе — скучная, мелкая.

Зальцбург задумался, посасывая сигару.

— Что ж, он, пожалуй, прав. Бирюку здесь уже нечего делать. Мы подыщем ему другое дело. Пускай полицаи доставят его сегодня ночью в город.

— Будет исполнено, господин обер-лейтенант.

...Близилась полночь, когда Зальцбург и Бирюк подымались по широкой лестнице на второй этаж. Их беспрепятственно пропустили в кабинет полковника — человека с оловянными немигающими глазами. Возле кресла полковника, как это было и прежде, когда Зальцбург приводил Павла, стоял майор Шродер. После приветственных церемоний Зальцбург проводил Бирюка

к столу. Оберст вперил в него холодный немигающий взгляд, от которого у многих, побывавших в этом кабинете, мороз по коже подирал.

Но Бирюк выдержал этот взгляд. Мало того, он вскинул на лоб мохнатые брови, и все увидели колючие, по-волчьи сверкающие юркие глаза. Оберст еще с минуту смотрел на Бирюка, потом откинулся на спинку кресла и спросил:

— Он есть шесни слюжак на великий Германия?

В знак подтверждения Шродер и Зальцбург слегка склонили головы.

— Карашо,— и еще что-то произнес по-немецки.

Шродер объяснил:

— Полковнику ты понравился. Он хочет дать тебе очень важное секретное поручение. Согласен?

— Да! — не задумываясь, ответил Бирюк.

— Он верит, что ты справишься с поручением. Не подведешь?

— Можете на меня положиться.

— Мы дали тебе хорошую характеристику, поэтому шеф так благосклонно отнесся к тебе.

— Благодарствую.

— Потом будешь благодарить, когда выполнишь поручение полковника и получишь солидное денежное вознаграждение, а может, и орден.

«Деньгу и орден!» — у Бирюка гулко заколотилось сердце, перехватило дыхание.

Шродер пододвинул на край стола бумагу и авторучку.

— Тут написано, что ты добровольно соглашаешься сотрудничать с нами и клянешься сохранить это в глубокой тайне. В случае нарушения клятвы — смерть.

— Клятву не нарушу,— сказал Бирюк.— Умру, но никому ни слова.

— Молодец, мы так и думали о тебе.

«Деньгá и орден! Ну, теперь держись, Пашка, мы еще с тобой потягаемся, сопливый атаман».

— Подпиши,— сказал Шродер.

Бирюк без колебаний поставил под текстом свою подпись.

— Теперь слушай,— продолжал майор, подходя к карте.— С этого побережья рыбаки ушли к краснодарскому берегу. Наша армия за Таганрогом, скоро войдет в Ростов. От Ростова она двинется на Новороссийск, берегом Каспийского моря на Баку, через перевалы на Туапсе и Сочи и по Военно-Грузинской дороге на Тифлис. Чем же займутся рыбаки, лишенные возмож-

ности ловить рыбу в Азовском море,— ведь на краснодарском берегу утвердимся мы? Не будем обращаться к давней истории, в этом нет необходимости, а зададим себе такой вопрос: что делается сейчас в лесах Белоруссии, в Западной Украине, то есть в тылу нашей армии? Там бесчинствуют красные партизаны. Они нарушают наши коммуникации, громят штабы, взрывают мосты, нападают на гарнизоны, убивают наших солдат и офицеров, пускают под откос эшелоны, чем тормозят победоносное продвижение наших армий к Москве и Ленинграду. Теперь тебе ясно, чем будут заниматься рыбаки, когда немецкие солдаты начнут штурмовать высоты Кавказского хребта?

— Ясно,— прогудел Бирюк.— В партизаны подадутся.

— Совершенно верно. И будут всячески вредить нам. Перед тобой ставиться такая задача: ты уйдешь по льду к краснодарскому берегу. Разыщешь своих рыбаков. Скажешь им, что бежал из-под расстрела. Когда мы двинемся от Ростова, рыбаки вынуждены будут уйти в предгорье. Там им есть где укрыться. Иди и ты с ними. При всяком удобном случае уничтожай командиров и комиссаров. Но действовать ты обязан крайне осторожно. Партизанские отряды всегда поддерживают между собою связь. Постарайся стать разведчиком. Это очень важно. Ты будто идешь в разведку, а на самом деле пробираешься к нам и доставляешь нашему командованию сведения о дислоцировании партизанских отрядов.

— А как же я сунусь к немецким солдатам?.. Они ж меня как партизана тут же шлепнут.

— А на этот случай существует пароль, условный знак. Помаши белым платком, и в тебя не станут стрелять. Но обязательно доставят к офицеру. Ты скажешь ему только два слова: фюрер-ост. Запомни.

— Фюрер-ост, — повторил Бирюк.

— Правильно. Все наши офицеры предупреждены. Любой из них сейчас же сообщит нам о том, что на таком-то участке появился наш сотрудник.

— Сюда сообщат? В Мариуполь?

— Туда, где мы будем находиться, следуя за нашей армией. Еще запомни: ни наш лейтенант, что на Косе, ни ваш атаман об этом поручении знать не должны. Лейтенант сегодня же получит инструкцию незаметно выпроводить тебя из хутора. А перед этим полицаи немного помнут тебе бока.

— А зачем? — недоумевал Бирюк.

— Так надо. Для видимости. Надо все предусмотреть. В жизни бывают всякие непредвиденные случайности. А вдруг кто-ни-

будь из ваших хуторских неведомыми судьбами проникнет на тот берег? Он же сразу разоблачит тебя. А битый при всем народе, избежавший смертной казни будет у партизан вне подозрений.

— Ладно, — согласился Бирюк, — пускай немного вздуют. Стерплю для такого дела.

Полковник что-то сказал. Майор перевел.

— Господин оберст говорит, что когда наша армия перешагнет через Кавказские горы, а в предгорье будут ликвидированы партизанские отряды, ты получишь и деньги, и орден, и полную свободу. Поедешь, куда пожелаешь. Так что уж постарайся.

— Не сомневайтесь. Сработаю чисто.

— Верим, — майор посмотрел на часы и обратился к Зальцбургу: — Подкиньте его к хутору на машине.

— Здесь атаманская пролетка. Его на ней полицай привез.

— Нет, нет. Только на машине. Всего три часа осталось до рассвета.

— Будет исполнено. Ну, идем, — и Зальцбург шагнул к двери.

Бирюк последовал за ним, слегка прихрамывая и почти не опираясь на палку.

Бронзокосцы стояли перед помещением правления, окруженные солдатами. День был солнечный, морозный. Холод пронизывал до костей, но уйти никто не осмеливался, надо было ждать появления атамана. А он тем временем сидел у лейтенанта и пил чай с коньяком.

— Куда же это Бирюка командируют? — допытывался Павел.

— Не знаю. Тайна, — пожал плечами лейтенант. — Мне известно только, что твои полицаи должны немного «поколотить» его, ночью он поступает от тебя ко мне, я обеспечиваю ему свободный выход из хутора, а твои помощники должны распустить слух о том, что Бирюк бежал от грозившей ему виселицы.

— Нет, я уж сам вкачу ему оплеуху. Моим чертям доверять нельзя, могут вовсе прикончить.

— Ну, вот и все, пожалуй, что мне известно. Но это надо хранить в секрете. Смотри, не проболтайся.

— Что ты! Разве я не понимаю? Проболтаться, значит себе же самому навредить.

— Идем, а то твои подданные в сосульки превратятся.

— Черт с ними, не жалко, — сказал Павел, вставая. — Я бы их всех в прорубь головой.

— И зеленоглазую Анку?

— Скоро и с ней сведу счеты. Только надо придумать для нее такую казнь, чтобы мертвые в гробу перевернулись.

— Ты, атаман, решительный человек. Не зря уважает тебя шеф.

Закоченевшие на холоде люди встретили атамана и лейтенанта хмурыми, ненавидящими взглядами. Павел поздоровался. Толпа безмолвствовала.

— Скоты... Стадо баранов... — процедил сквозь зубы Павел и повысил голос: — Кого буду выкликать, отходи в сторону! — достал из кармана список, продолжал: — Марфа Яицкова!.. Фиен Краснов!.. Настасья Карпова!..

Двадцать три фамилии назвал Павел. Четырнадцать подростков, шесть женщин и трое мужчин отделились от толпы, сгрудились в сторонке. Кто-то заплакал, в толпе зарыдала женщина.

— Это что же, атаман, опять на каторгу? — загудел Бирюк, насупившись.

— Что, что? — впился в него злыми глазами Павел.

— Не для того избирали тебя атаманом, чтобы ты над народом измывался. Видать, хочешь весь хутор в Германию перекинуть?

— Я и тебя перекинул бы, да не заслуживаешь ты такой чести, сельсоветчик.

— Немецкая каторга — невелика честь!..

— Да помолчал бы ты... — зашептал кто-то сзади Бирюка.

— Что-о-о? — Павел подошел к Бирюку. Тут же подскочили к нему и полицаи. — Что ты сказал, холуй большевистский? Я предупреждал тебя, гадина, что ежели ты еще раз... Вот тебе каторга! — и он, по-боксерски выбросив вперед кулак, ударил Бирюка в лицо. — Обещал я на перекладину тебя вздернуть? Ну так я выполню обещание!..

Из носа Бирюка брызнула кровь. Он взмахнул руками и упал навзничь. Полицаи подняли его.

— Прикажете повесить?

— Ладно. Я добрый атаман. Даю ему двадцать четыре часа на замаливание грехов. А завтра, в тот же час, чтоб этот большевистский холуй уже болтался на перекладине. В подвал его!

Полицаи поволокли Бирюка во двор правления. В толпе послышались сочувствующие голоса женщин:

— Пропал Бирюк...

— Дурень, молчал бы...

— Вот так и Силыч за народ на висилицу пошел..

— Эх, горе-горюшко...

К Дому культуры подъехала машина. Солдаты помогли подросткам и женщинам взобраться в кузов. Мужчины поднялись на машину сами. Невольникам приказали сесть, по углам кузова встали четверо автоматчиков, и грузовик умчался.

— А вы чего ждете? — гаркнул Павел на хуторян.— Бирюка будем вешать завтра. Марш по домам!

... На лице Бирюка засыхала размазанная им кровь. Лейтенант посмотрел на него, усмехнулся.

— Умылся бы.

— Нельзя. Так убедительнее. Однако же и кулачок у Павла Тимофеевича аспидский.

— Возьми вот флягу со шнапсом и бутерброды. Пойдешь к пирсу. Там между семью и восемью часами ни одна ракета не вспыхнет. Это твой коридор,— лейтенант взглянул на часы.— Пора. Давай сматывайся.

— Сейчас,— Бирюк повесил флягу на пояс под пальто, застегнулся, рассовал по карманам бутерброды и вышел.

Вдруг он на улице остановился. Его осенила мысль:

«Анка... черт возьми! А что, ежели взять ее с собой? Да ведь какое доверие мне будет!..»

Возле куреня Анки замедлил шаги. «А ежели там Пашка?» — от этой мысли его даже в пот бросило. Он на цыпочках подошел к окну, прислушался. Ни из прихожей, ни из горницы не доносилось ни звука.

«Спит...»

Потрогал дверь и нащупал замок. Догадался:

«У Акимовны».

Приход Бирюка настолько ошеломил обеих женщин, что они только переглядывались, не в состоянии вымолвить ни звука. А он торопливо шептал сдавленным голосом:

— Анна Софроновна, он убьет вас, изничтожит, испепелит, и прах развеет. Бегим скорей. Забирайте дочку и айда к тому берегу.

— Да как же ты на воле очутился? — наконец спросила Акимовна, все еще с недоверием поглядывая на него.

— Они перепились, аспиды, в стельку, хоть самих души.

— Вот и надо было, уходя, прикончить их.

— Что ты, Акимовна, опомнись,— замахал руками Бирюк.— Завтра немцы весь хутор с лица земли стерли бы. Я-то махнул на тот берег и был таков, а хуторянам каково? И без того несчастных людей, как скотину на убой, на каторгу германскую угоняют. Анна Софроновна, бегим.

— Да куда же мне с ребенком? — растерялась она.

Заметив, что в глазах Анки затеплилась надежда на спасение, Бирюк решил про себя: «Надо ковать железо, пока горячо». Он повалился на колени, вскричал умоляюще:

— Побей меня бог, он вас казнит. Отца родного чуть не прихлопнул. Это же не человек, а изверг, аспид. Анна Софроновна, вот святой крест, помогу вам ребенка нести.

— С больной ногой?

— Когда человек от смерти бежит, он ни о каких болезнях не помнит. Анна Софроновна, одевайтесь, пока не поздно.

Анка взглянула на Акимовну, но та опустила глаза. Поступай, мол, как знаешь.

«Да, бежать... Пусть будет, что будет, только бы бежать из этого ада»,— решила Анка и бросилась к кровати, на которой спала Валя.

Бирюк заторопил:

— Скорей, Анна Софроновна. Каждая минута дорога́.

Анка протянула руки к дочери, чтобы осторожно разбудить ее, но они вдруг повисли в воздухе.

«А если провокация?.. Ловушка?..»

Она медленно повернулась к Бирюку:

— Никуда я не пойду.

— Анна Софроновна!..— в непритворном ужасе отшатнулся Бирюк. Из рук его ускользал великолепнейший козырь.

— Никуда, Харитон, я из родного хутора не пойду.

— Такого случая больше не подвернется. Эх, Анна Софроновна, пожалеете вы, да будет поздно. Жаль мне и вас и Валю от души. Не цените вы доброту мою... Ну, да воля ваша. Бог с вами. А мне пора. Прощайте! — и он, с трудом подавляя в душе злобу, поспешно удалился.

Утром по хутору из уст в уста передавалась весть о побеге Бирюка. Сердобольные женщины крестились, радуясь в душе:

— Слава богу. Почитай, почти что из петли вырвался.

Когда эти слухи дошли до Анки, она упала на лавку, беспомощно уронила руки и разрыдалась.

* * *

— Нет, соседушка, ты загляни мне в душу... В душу загляни да подивись, что в ней деется... Мало было ему родного батьку своего в тюрьму определить. Теперь он еще и в морду мне плюнул... И негде сыскать управу на него... Везде одно и то же ответствуют: атаману, мол, жалуйся... А что же мне делать, на

Пашку да Пашке же жалобу подавать? Эх, жизня, мать ее... Господи, прости меня грешного.

Сосед, чахлый и немощный старичок, без всякой охоты слушал Тимофея, отвернувшись к окну. Когда-то Тимофей пренебрегал его соседством, нос воротил, не замечал бедного рыбака даже тогда, когда тот надрывался в его ватаге, даровым трудом помогая атаману копить богатство. За все прожитые бок о бок долгие годы нога Тимофея ни разу не ступила во двор к соседу. А теперь, гляди-ка, сам, без зова, пожаловал в курень, поручковался и вот уже который час сидит на деревянной, червями источенной скамейке, горе свое изливает перед соседом, слезу утирает.

— Знать бы, что тут такое светопреставление, остался б там... Ить предлагали мне любую работу по вольному найму. Так нет же, отказался, дурак... А чем же там плохо было?.. Сиди себе в сторожке да у печки грейся. Кругом лес стеной стоит... Дров вволю... Оленьего мяса лопай от пуза... Должность у меня была наилучшая... Струменты выдавал заключенным. А жил в лесу волей вольной... отъелся на казенных хлебах, силов набрался... Чего бы мне, кажись... Ан нет. Думал: вот на хутор явлюсь, кликну свою ватагу, поставим паруса да так тряхнем стариной на родном морском просторе, что чертям тошно станет. Не думал, не гадал, что такая напасть ждет дома. Любо приветил сынок, веревками спеленал меня... Не-е-т! — захрипел Тимофей.— Не стерплю. Не снесу такой обиды. Убью! Ныне же прикончу его, басурмана!..

— Да ты потише, Тимофей Николаевич,— попросил хозяин.— Люди могут подумать, что я душегубством занимаюсь.

— И то верно. Эх, все-то во мне развинтилось, рассупонилось.

— А ты возьмись этак-то,— старик вытянул сухие жилистые руки, сжал кулаки, потянул их на себя,— за вожжи и попридерживай себя. Ты, видать, еще мощный, а с собою совладать не можешь.

— Во внутрях у меня клокочет, словно шторм бушует... Мысленное ли дело? Свой курень имею, а хуже бездомной собаки. По чужим базам скитаюсь. Эх, жизня!.. Давай, соседушка, еще по единой,— сказал захмелевший Тимофей, наливая в кружки самогон.

— Да уж придется,— согласился старик, облизывая губы.— От такого добра грех по нонешним временам отказываться,— он поднес ко рту кружку, и, прежде чем пригубить, сказал, вздыхая:— Дай-то бог, чтоб не последняя.

Анка часто уходила к Акимовне, иногда оставались у нее ночевать. Поэтому Павел пришел к ней с вечера. Он сильно недолюбливал Акимовну, чувствуя, что старуха ненавидела и презирала его. Анка как раз купала Валю. Павел вернулся на крыльцо, закурил. По небу низко бежали темные тучи, густо валил снег, порывами налетал шквальный ветер.

«Пожалуй, метель разыграется»,— подумал Павел, перегнувшись через перила крыльца и поглядывая на молочную муть неба.

Он докуривал третью папиросу, прошло уже около часа, но Анка не звала его. Павел нервничал, начинал сердиться.

«До чего же упрямая гордячка. В моих руках и надо мной же издевается... Нет, девка, пора кончать с тобой. Ежели и нынче не покоришься, поставлю точку. Я тебе устрою то, что Таньке Зотовой. А может, и похлестче».

Анка искупала Валю, уложила ее в постель, притворила в горницу дверь и принялась за уборку в прихожей. Когда Павел открыл дверь, она заканчивала мыть полы.

— Можно?

— Хозяин хутора может в любой курень входить без спросу.

— Воспитание не позволяет.

— Где же это ты получил воспитание? В немецкой школе?

— В советской.

— Нет,— мотнула головой Анка, выжимая тряпку.— В тебе ни советского, ни человеческого ничего нету. Пустота одна.

Павел прошел к столу, сел на стул.

— Сразу видно хорошее воспитание: в калошах, в шубе и в шапке за стол,— уязвила его Анка, моя руки.

— Жду, когда хозяйка предложит раздеться.

Анка не ответила. Она сходила в горницу, вернулась с книгой и села у печи. Павел разделся, повесил на гвоздь шубу и шапку, снял калоши.

— Валя спит?

— Спит.

— Что читаешь?

— Житие святых,— бросила Анка, раскрывая небольшой томик басен Крылова.

Павел подошел к столу, ухмыльнулся:

— А разве такие книги позволительно читать коммунистам?

— Позволительно,— не отрывая глаз от книги, однотонно проговорила Анка.

— Та-ак... Значит, при советской власти Маркса изучали, а при немцах за святых угодников цепляетесь. Выходит, служим и вашим и нашим?

— О других по себе не суди.
— Что мне до других. Наплевать на них... Ты вот что скажи мне: надумала что-нибудь?
— Я ни о чем не думаю.
— Совсем ни о чем?
— Нет... О дочери думаю, о ее судьбе.
— Судьбу Вали может устроить только отец.
— У нее нет отца.
— А я?
— Ты давным-давно отрекся от нее.

Павел засопел. Анка знала, что это служило признаком раздражения, и замолчала. Она не боялась вызвать в нем гнев и ярость, но не хотела его крика, от которого могла проснуться Валя. Павел курил одну папиросу за другой, исподлобья смотрел на Анку, сидевшую не шевелясь у печи с раскрытой книгой. Он не понимал, как тяжело было ей сознавать свою обреченность!

— Скажи, Анка...— Павел прикурил от дымящегося окурка новую папиросу, сделал несколько глубоких затяжек:— Скажи, ты любила меня когда-нибудь?
— Ты знаешь об этом.
— А теперь любишь ?
— Нет.
— Полюбишь?
— Нет.
— Никогда?
— Никогда.
— Тогда я тебя... у-ни-что-жу, суку.

Анка вскочила со стула, выпрямилась и прямо посмотрела ему в глаза.

— Можешь убить, но не смей оскорблять. Слышишь, тупое животное...
— Я сожгу тебя в этом курене. Живьем. Нынче же.

На крыльце кто-то затопал ногами. В дверь постучали.

— Заходи, соколы!— крикнул Павел.

В прихожую вошли запорошенные снегом полицаи. Вислоухий поставил на стол полуведерный чайник, другой полицай выложил газетный сверток.

— Ну и закрутило,— сказал полицай.— Настоящая буря начинается.
— Чай не остыл?— спросил Павел.
— Горяч. Первак. Спирту-ректификату не уступит.
— Давай чаевничать, коли так.

— Хозяюшка, Анна Софроновна, просим на чашку чаю,— пригласил полицай.

Анка отвернулась.

— Она непьющая,— насмешливо бросил Павел.

В чайнике был самогон, в свертке — хлеб, соленые огурцы и сало. Павел и полицаи пили самогон кружками, задыхаясь, кашляли, запивали водой. Захмелевший полицай, кивая на Анку, спросил Павла:

— Договорились? Закатим свадьбу, атаман?

— Я ей, видишь ли, не по вкусу.

— Да ну! Шутишь, атаман.

— Спроси ее, суку.

— Быть того не может, Анна Софроновна. Наш атаман — самый первый раскрасавец на всем побережье. А краше вас, нашей атаманши, на всем Азовье не сыщешь. Возьмите в свои драгоценные руки его золотое сердце. Не желаете? Боже мой! Да неужто ж это правда? Анна Софроновна...

— Не трогай ее,— оборвал полицая Павел.— Наливай. Чаевничать будем.

— Не может того быть! — не успокаивался полицай. Он держал в руке кусок сала и рвал его зубами. — Неужто в самом деле отказ? Анна Софроновна, да мы бы вас на пролетке с ветерком катали, на руках носили бы. Шутка ли? Атаманша! Все девки и бабы от зависти полопались бы...

Анку клонило ко сну, но она прикрывала зевки рукой и молча выслушивала грязную похабщину полицаев. Вдруг она насторожилась... На крыльце опять затопали чьи-то тяжелые сапоги, кто-то постучал в дверь. Анка открыла. Вошел человек, весь завьюженный, будто его с ног до головы обложили ватой. Только глаза тускло светились на лице. Если бы не железная трость в руке, Павел не узнал бы отца.

Тимофей снял с головы шапку, отряхнулся от снега, вытер лицо, перекрестился:

— Доброго здоровья, православные християне.

Ему никто не ответил. Тимофея это, кажется, нисколько не тронуло. Он продолжал:

— А я-то сразу и не додумался, где бы мог быть Пашка. Оно-то по народному пословию так и выходит: где сука, там и кобеля ищи.

Полицаи заржали. Анка молча поднялась и вышла в горницу, плотно прикрыла за собой дверь.

— Здóрово ты, батя, рубанул,— захохотал Павел. — Правду-матку рубанул. Что сука, то сука.

Тимофей посмотрел на чайник и объедки, покосился на Павла.

— Пируем, атаман? Уж не по мне ли поминки справляешь? Рано.

— Что ты, батя. Просто так выпиваем. Хочешь самогону? Налей ему,— кивнул он полицаю.

Тимофей оттолкнул кружку, наполненную самогоном, и она со звоном полетела на пол, лужей растеклась вонючая жидкость.

— Не нуждаюсь в твоем угощении!

— Тише, батя, тихонечко. Я такой же злючий, как и ты. Зачем пришел? Буянить?

— Нет... не затем... — задыхаясь, сказал срывающимся голосом Тимофей, уже не владея собой.— Не затем.

— Говори, зачем?

— Должок тебе отдать... Не могу я... Больше не могу в долгу оставаться.

— Какой должок?

— А вот... — Тимофей с такой быстротой взмахнул тростью и опустил ее на голову Павла, что тот не успел даже и руки поднять, чтобы защититься от удара.— Получай!

— Что же... вы... Стреляйте... — простонал Павел и упал головой на стол.

— Ага, стреляйте, бандиты! — крикнул Тимофей и замахнулся еще раз.

Но добить Павла ему не удалось. Полицай выстрелил в него из пистолета в упор. Тимофей выронил из руки трость, медленно осел на корточки, ткнулся головой в пол и перевернулся на спину. Полицаи подхватили Павла и увели в медпункт к немецкому врачу. Тимофей остался лежать на залитом самогоном и кровью полу, разбросав в стороны руки.

Анка стояла за дверью в горнице и вся дрожала. Ее била нервная лихорадка.

«Ад... кромешный ад...»

— Ма! Мама! Ты меня кликала? — проснулась Валя.

— Нет, доченька, спи... Спи, моя рыбка...

Валя пробормотала что-то и затихла. Анка приоткрыла дверь, выглянула в прихожую. Там коченел мертвый Тимофей. Павла не было. Только от стола до порога тянулся кровавый след. На стене висели шуба и шапка Павла — второпях пьяные полицаи забыли одеть своего атамана. И тут Анка решилась:

«Никаких больше раздумий, никаких колебаний. Бежать! Бежать из этого пекла и сегодня же. Сейчас, сию минуту, покуда не возвратились эти душегубы...»

Она разбудила дочку, одела ее, обула в валенки с калошами, повязала голову теплым платком. Потом оделась сама, завернула в ватное одеяло две подушки, взяла дочку за руку.

— Идем, родная.

— А куда мы? Я спать хочу.

— К бабушке Акимовне. Там поспишь.

В прихожей Валя увидела распластанного на полу Тимофея.

— Дядя спит? — спросила она.

— Спит, детка.

— Он пьяный?

— Пьяный, доченька, пьяный. Идем скорей...

Анка остановилась на мгновенье в раздумье. Потом сорвала с гвоздя шубу на лисьем меху и бросилась вон.

На улице свирепствовала пурга. Анка положила на санки шубу, узел, усадила сверху дочку и поспешно выбралась со двора. Придерживаясь изгородей, она дотащила санки до куреня Акимовны. Старуха спала. Анка разбудила ее. Впустив в курень Анку с ребенком, Акимовна бросила взгляд на узел и шубу Павла, тревожно спросила:

— Или беда какая стряслась?

— Беда, Акимовна... — задыхаясь, говорила Анка.— Тимофей хотел убить Павла... тростью голову ему раскровянил... А полицай застрелил Тимофея... Там, в прихожке, лежит...

— Собаке собачья смерть. Хоть бы и его щенок подох.

— Не могу я больше оставаться в хуторе... Ухожу...

— Да ты что, ополоумела? Куда идти сейчас? На дворе света белого не видно.

— Пойду через море на тот берег... Тридцать километров, как-нибудь одолею.

— А дочка?

— С собой возьму... На санках повезу... Скорее откопайте банку... несите партийный билет... Торопитесь, Акимовна, каждая минута дорога́.

— Да как же ты на море выйдешь, когда германцы по берегу ракетами светят?

— За метелью ничего не видно... Скорее...

Акимовна утерла передником слезы.

— Сгубишь ты, голубонька, и себя и дитя.

— Пускай... Зверям на глумление себя и ребенка не отдам... Не медлите, Акимовна, мне пора уходить... А то полицаи могут нагрянуть...

Акимовна взяла коробок спичек, ушла в сарай, вернулась с партбилетом. Из подушек и одеяла они устроили на санках

постель, укутали Валю в лисью шубу, положили на санки, закрепили веревками.

— Прощай, Акимовна, родная,— и Анка припала к старухе.— Лучше смерть, чем оставаться дальше на хуторе или быть угнанной с дочкой в германскую каторгу. Прощай, мать моя!

Акимовна сняла с себя пуховый платок, протянула Анке.

— Повяжись. Мне в теплом курене он без надобности.

Акимовна проводила Анку за ворота. Потом, вспомнив о чем-то, шепнула: «Обожди», вернулась в курень и вынесла Анке шерстяные варежки.

Над хутором и окоченевшим взморьем кружилась в дикой пляске метель. Ракеты вспыхивали бледным светом и быстро гасли в снежном вихре. Анка, придерживая санки, стала медленно спускаться к берегу. Акимовна перекрестилась.

— Боже праведный! Если есть ты на свете, помоги им, страдалицам, ибо больше им помочь некому.

Миновав пирс, Анка направилась на юго-восток.

«Лишь бы не сбиться... не свернуть в сторону... А тридцать километров я пройду... Пройду...»

Немцы перестали пускать ракеты. Сейчас они все равно были бесполезны. Видимость не превышала двух-трех метров, ракеты мигали слабыми вспышками. Анка свободно вышла на ледяной простор. Санки на полозьях с железными подрезами скользили легко. И чем дальше уходила от родного берега Анка, тем, казалось, становилась крепче. Снег сек лицо, слепил глаза. Анка жмурилась и ступала наугад. Пусть! Только бы не терять ни одной минуты и безостановочно двигаться вперед, вперед к спасительному берегу.

Часа через два она остановилась, тяжело дыша. Прислушалась. Валя, закутанная в лисью шубу, сладко спала. Анка протерла глаза. Ее окружало снежно-ледяное поле, стеной обступала плотная мутно-белесая пелена.

«Не сбились ли?..— сжала сердце тревожная мысль.— Ах, все равно куда, только подальше от ставшего смертельно страшным родного хутора»,— Анка снова двинулась наугад. Еще примерно через час она опять остановилась, присела на снег. Усталость свинцом разлилась по всему телу. В ногах ломота и неприятный зуд, руки стали вялыми, точно ватные. Хотелось лечь на пуховую снежную перину, вытянуть натруженные ноги и отдохнуть хоть несколько минут.

«Ляжешь, а потом не встанешь...— эта мысль заставила ее мгновенно подхватиться.— Надо идти, двигаться, шагать, шагать, шагать...»

Анка выбивалась из сил, но продолжала тянуть санки. Падала, поднималась и в такт мысли: «шагать... шагать... шагать...» — двигалась вперед.

Сколько времени находилась в пути и сколько километров прошла, Анка не знала. Она заметила только, что пурга начала стихать, раздвигая свои мутно-белесые стены.

«Светает...» — догадалась Анка. Вконец обессиленная, она проползла еще несколько метров, не замечая того, что в руках уже не было веревки и что санки остались позади, ткнулась головой в снег и больше не шевелилась.

— Мама!.. Мама!.. Мне душно!.. — звала мать проснувшаяся Валя.

Но Анка не слышала ее.

В рыбацких поселках Краснодарского побережья и в хуторах от Ейска до Азова были расквартированы подразделения Красной Армии, которые несли сторожевую и разведывательную службу. Четверо бойцов подразделения, находившегося в Кумушкином Раю, возвращаясь из разведки, случайно наткнулись на Анку. Они не заметили бы беглянок, потому что и женщину и ребенка занесло снегом, но услышали отчаянные крики девочки, звавшей мать. Разведчики пошли на голос и вскоре обнаружили санки с ребенком, а метрах в пяти и мать.

Двое повезли санки, на которых лежала девочка, остальные сняли с себя маскировочные белые халаты, положили на них молодую женщину и понесли на руках.

Через час бойцы вошли в поселок. У крайней хаты им встретилась женщина, спросила:

— Кого несете?

— Не знаем, гражданочка. На льду подобрали, во-о-он там. Недалеко отсюда.

— Ах ты, господи, несчастье какое! Скорее давайте ко мне. Может, еще удастся отходить ее.

— Она не одна, с нею девочка. Вот, на санках.

— И девочку несите сюда.

В сенцах бойцы сняли с Анки шубу и валенки, оттерли ей снегом руки и ноги, внесли в хату. Один боец отстегнул от пояса флягу, налил в ладони водки и стал усердно растирать Анке ступни. Другой влил ей немного водки в рот. Анка пошевелила губами, открыла глаза.

Боец обрадованно заговорил:

— Глотайте, это поможет вам. Ишь, бедолага, закоченела как.

Анка пристально посмотрела на бойца. Разглядев на его шапке красную звездочку, приподнялась на локте, жаркий крик радости вырвался из ее груди:

— Свои!..

— Свои, гражданочка, свои. Выпейте.

Анка жадно припала губами к горлышку фляги, но после двух глотков отстранила руку бойца и закашлялась.

— И то хорошо,— сказал боец.

Анка откинулась на подушку.

— Значит, все кошмары... были сном? А дочь? Где дочь? Жива?

— Тут, тут твоя дочь, здоровехонька,— из-за спины бойца наклонилась хозяйка, подталкивая вперед Валю.

Из глаз Анки брызнули слезы, и губы улыбнулись счастливой улыбкой.

— Рыбка моя...

Она обняла девочку, поцеловала в голову.

— Вот мы и на воле. Больше уж не придется нам от зверей прятаться.

— Ну, теперь все в порядке, наша помощь уже не понадобится,— бойцы откланялись и, провожаемые словами благодарности спасенной женщины, ушли.

— А откуда вы, миленькая?— спросила хозяйка, хлопоча у плиты.

— С Бронзовой Косы.

— Ай!..— она выронила ухват.

— Что с вами?— спросила Анка.

Хозяйка, ничего не ответив, выбежала из хаты. Оказывается, что Васильевы и Евгенушка жили с ней по соседству, и хозяйка много раз слышала от них об Анке. Теперь же она опрометью бросилась к ним с ошеломляюще-радостной новостью.

Первыми вбежали в хату Дарья и Григорий. За ними ввалилась полнотелая Евгенушка, отдуваясь и держа за руку Галю.

— Дарьюшка!

— Анка!

— Григорий Афанасьевич!

— Я, я, Анка. Как мы болели за тебя и дочку...

— Га-аля!

— Ва-аля! — звенели детские голоса.

— Генка! — порывисто приподнялась Анка.

— Аня, — и Евгенушка заплакала. Она присела на кровать, и подруги крепко обнялись.

Весть о прибытии Анки в мгновенье ока облетела весь посе-

лок. Пришли Кострюков и Кавун. Юхим Тарасович, пожав Анке руку, приветливо кивнул:

— Добре, дочка, добре. Ось нарешти и ты з намы.—

В хату влетел Бирюк, слегка прихрамывая, подошел к кровати:

— Анна Софроновна!

— Харитон?..

— Анна Софроновна... Говорил же я вам, бежим.

— На ошибках учимся, Харитон.

— Как я просил вас... Как не хотелось мне оставлять вас... Анна Софроновна, вы же для меня были всегда вроде старшей сестры... Родной сестры... Ну, вот и хорошо... Как я рад, Анна Софроновна... Как я рад...

Вошли Панюхай, Душин и Михаил Лукич Краснов. Панюхай еще с порога застонал:

— Ой, унученька... Ох, доченька моя...

— Дедушка! — Валя бросилась к Панюхаю.

— Родимые....

Панюхай не сдержался, заплакал. Он положил левую руку на плечо внучки, правую протянул вперед и ощупью направился к кровати.

— Анка... — он больше не мог вымолвить ни слова. Его душили слезы.

— Успокойся, отец,— Анка погладила его по лысеющей голове.— Успокойся. Все кончилось хорошо.

Душин приложил ко лбу Анки ладонь, проверил пульс, минуту немигающе смотрел ей в глаза.

— Что скажет наш «наркомздрав»? — спросил Кавун.

— Нуждается в абсолютном покое. Ей необходимо хорошенько отдохнуть. Нервы.

— Нервы?

— Да, Юхим Тарасович. Истощение нервной системы. Она перенесла тяжелое потрясение.

— Ну, выздоравливай, Аннушка,— Кавун помахал рукой и направился к двери. Один за другим тихо выходили из хаты и все остальные. Бирюк остановился у порога, обернулся.

— Анна Софроновна, мы еще вернемся в родной хутор. Выздоравливайте,— и покачал головой: — Эх, Анна Софроновна, сами виноваты...

Когда за ним закрылась дверь, Евгенушка спросила Анку:

— Почему ты тогда не пошла с ним?

— Думала, что провокация. Ловушка.

— Разве он способен на такую подлость?

— Нет. Теперь я убедилась в его искренности.

— Надо уметь разбираться в людях.

— Потом я, конечно, жалела, что не пошла с ним в ту ночь сюда, на этот берег. Так жалела!..

— А про Жукова ничего не слыхала?

— Нет.

— Где-то теперь наш Андрей Андреевич? — вздохнула Евгенушка. — Жив ли?

— Будем надеяться, что жив...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

XXVIII

Суровая зима 1942 года оказалась для рыбаков особенно тяжелой. Никогда еще так не скупилось на рыбу щедрое и в зимние путины Азовское море. В мороз и вьюгу, днем и ночью трудились на ледяном поле рыболовецкие бригады. Вырубали полыньи, ставили сети, загоняя их под лед длинными шестами, мерзли в шалашах, а улов — глядеть не на что. Однако рыбаки не впадали в уныние, ни на один день не прекращали подледный лов. Они не забывали о том, что воинам на фронте приходится еще тяжелее.

Флотилия, скованная льдом, зимовала в затоне. Как-то на Кумушкин Рай опять налетели «юнкерсы», сбросили на поселок и флотилию несколько бомб. Жилища почти не пострадали, но в затоне немцы натворили бед. «Буревестник», «Ейск», «Азов», «Таганрог», «Бердянск» и «Мариуполь» были разбиты в щепы. Невредимыми остались только «Темрюк» и «Керчь».

С болью в сердце глядели колхозники на погубленные суда.

— Это они, чумовые, в отместку за то, что Красная Армия разгромила их под Москвой,— сказал Кострюков.

— И пид Ленинградом далы ему здоровую зуботычину. Ото ж вин и загальмувався, прижух там, — откликнулся Юхим Тарасович.

Кондогур, набивая трубку, сурово, как приговор, произнес:

— Выдохнется, анафема!

Бои на фронтах, сообщения и сводки Совинформбюро были главной темой ежедневных бесед. По-богатырски оборонялся героический Севастополь. Не сдавался блокированный Ленинград, о который гитлеровцы обломали зубы. Орловская битва показала всему миру, на какие славные подвиги способны воины Красной Армии, отстаивающие свободу, честь и независимость своей Родины. Но осатанелый враг, сломя голову, лез напролом. На Дону, в районе станицы Клетской, шли ожесточенные бои. Гитлеровцы рвались к Сталинграду. В районе Таганрога противник сосредоточивал живую силу и технику, нацеливаясь на Ростов, являющийся воротами Северного Кавказа. В Приазовье назревали серьезные события.

Во время одной из бесед Кострюков предложил сформировать отряд ополченцев и обучать рыбаков военному делу.

— Цэ важнэ дило, — сказал Кавун одобрительно.

— Очень нужное,— поддержал Васильев.

— Гад к Ростову подползает,— Кондогур сердито постучал трубкой.

— Так он же намеревается на Кубань прорваться, — вмешался в разговор Краснов.

— Совершенно верно,— согласился Кострюков.— И если гитлеровцам удастся проникнуть в пределы Северного Кавказа, мы уйдем в кубанские плавни. Но уйдем не с дубовой колотушкой, которой глушат белугу, а с винтовкой и автоматом — помогать Красной Армии. Так что, Юхим Тарасович, езжай в Краснодар договариваться. Тебе, старому буденовцу, поручаем это дело всем нашим рыбацким миром.

— Добре.

Формирование отряда было согласовано через Краснодарский крайком партии и военкомат с командованием фронта. Командиром отряда был назначен Юхим Тарасович Кавун, а командирами взводов — Васильев и Кострюков. Отряду дали название «Родина».

В партизаны были зачислены все тридцать два бронзокосских рыбака, в том числе санинструктор Душин и его помощни-

ца Анка. Кондогур представил Кавуну список на сорок кумураевцев, где первым значилось его имя. Панюхаю и Евгенушке было отказано в приеме в отряд. Оставались в поселке в случае ухода рыбаков в плавни Дарья и жена Кавуна.

Не выдержал Панюхай и высказал Кострюкову свою обиду.

— Что ж я, чебак не курица, хуже всех, что ли? За какие такие грехи казака к бабьему сословию причисляете?

— Ты, Кузьмич, слов нет, казак, однако ж стар и здоровьем слаб.

— А мой дружок Кондогур? Парубок, что ли? Ему годов, почитай, будет на все восемь десятков.

— Кондогур гвозди кулаком в доску вбивает.

— А ты испытай меня. Может, я кулаком весло перешибу.

Кострюков засмеялся.

— Не веришь? — горячился Панюхай.

— Да не в этом дело, Кузьмич. Анка не сможет взять с собой дочку, а кто же будет присматривать за ней? Евгенушка — человек болезненный, да и у нее дитя тоже. Не годится оставлять ребенка на чужих людей, когда есть родной дедушка.

— С подколочкой, Иван Петрович?

— А зачем мне тебя подкалывать? Правду говорю. К тому же еще и неизвестно, придется ли нам уходить в плавни.

— Сказки сказываешь. Тады зачем в балку ходите, пальбу устраиваете и гранаты бросаете? Кондогур все хвастается, как он из пулемета ловко строчит.

— Да, из него получается хороший пулеметчик.

— Все хороши вояки, один я ниякий. Даже хромой черт, Бирюк этот, в почете.

— Он молодой, смелый. Будет в разведку ходить.

— Ну и лазутчика нашли,— язвительно ухмыльнулся Панюхай.— Зацепится за что-нибудь кривой ногой, а его немцы и накроют. Тогда как?

— Будем надеяться, что не накроют.

— Только и осталось на хромоногих надеяться, раз старую гвардию в отставку,— в голосе Панюхая звучала горькая обида.

— А ты, Кузьмич, поговори с Кавуном, он хозяин отряда.

Старик безнадежно махнул рукой.

В хлопотах незаметно для рыбаков нагрянула весна. Немцы терпели поражения. Тогда, оголив остальные участки фронта, они предприняли новое наступление на восток. Ценой огромных потерь гитлеровцы летом овладели Ростовом, форсировали Дон и хлынули на Кубань. Танковый десант, мчавшийся по степной дороге в облаках пыли на Ейск, сбросил неподалеку от Кумуш-

кина Рая роту автоматчиков, видимо, с целью «прочесать» побережье от поселка и до Ейского лимана. Рота красноармейцев, стоявшая в поселке, вступила с гитлеровцами в бой.

— Какое примем решение, Тарасович? — спросил Кострюков.

— Ты, Петрович, готовь суда к отплытию. Погрузи припасы. А я пиду с отрядом роте на подмогу.

Тут подвернулся Бирюк, и Кострюков сказал:

— Я тоже должен быть с отрядом, а это сделает Бирюк.

— Слушаюсь! — прогудел Бирюк, снимая с плеча висевший на ремне карабин.

Кострюков вынул из кармана блокнот, написал приказание, дал подписать Кавуну и вручил Бирюку:

— Передай караульному начальнику. Когда патроны и гранаты будут погружены в трюмы «Керчи» и «Темрюка», доложишь командиру отряда.

— Это я мигом сделаю,— и Бирюк, забыв про свою хромоту, побежал на окраину поселка, где хранились в погребке боеприпасы.

...Вечерело. За поселком не затихал бой. Неумолчно гремели винтовочные выстрелы, ни на минуту не прекращалась резкая трескотня автоматов. Справа, с высоты, короткими очередями бил пулемет.

Рота несла большие потери. Неопытный командир, молодой лейтенант, повел бойцов с ходу в лобовую атаку. Гитлеровцы встретили цепи красноармейцев массированным автоматным огнем, и атака захлебнулась. Больше полуроты вышло из строя. Пулей был сражен насмерть и лейтенант. Кто-то крикнул:

— Пропали мы!..— и остальные бойцы, впервые принимавшие боевое крещение, в панике бросились бежать, подставляя врагу спины.

Гитлеровцы хладнокровно добивали бегущих красноармейцев. Они надеялись, что свободно войдут в поселок, но тут подоспели ополченцы. Кавун приказал залечь. И когда десантники приблизились на сто метров, скомандовал:

— Огонь!..

Винтовочные залпы рванули воздух. Гитлеровцы, ошеломленные неожиданным ударом, остановились. Огонь со стороны ополченцев усиливался, цепи противника заметно редели. Опомнившись, гитлеровцы отхлынули назад, залегли и открыли ответный огонь.

Кострюков и Васильев, подымая поочередно своих бойцов, короткими бросками продвигались вперед, идя на сближение с

противником. Бирюк, вернувшись с берега, тоже передвигался то перебежками, низко пригнувшись, то ползком на брюхе.

«Значит, правду говорил майор, что немецкая армия на Кавказ прорвется,— радовался Бирюк, прижимаясь к земле.— Немец — силище!.. Вот только ихняя пуля не задела бы меня...»

Бирюк рассчитывал не только избежать немецкой пули, а прикидывал, как бы самому пометче послать смертоносный кусок свинца, но не в немца, а в спины своих земляков.

Вон на левом фланге маячит Анка. Она неотступно следует за взводом Васильева. Пользуясь суматохой боя, Бирюк выстрелил и промахнулся.

«Далековато, черт возьми... И темнеет...»

А вот Душин совсем близко, он перевязывает раненого, стоя на коленях. Второй предательский выстрел — Душин покачнулся и ткнулся головой в грудь раненому бойцу, будто застыл в долгом земном поклоне.

«Пускай кровью исходят, аспиды...»

На высотке усердно строчил пулемет. Бирюк медленно повернул вправо голову, сдвинул косматые брови. За пулеметом сидел красноармеец.

«Надоел ты мне, чертяка...»

Третий выстрел — и пулемет смолк. Бирюк злобно усмехнулся, в глазах его засветились волчьи огоньки. Но вдруг огоньки погасли, будто кто-то задул их. Метрах в ста от него поднялся Кострюков, чтобы совершить со своим взводом очередной бросок. Мгновение — и голова Кострюкова оказалась на мушке. Выстрел. Кострюков замертво упал навзничь. Повалились на землю и только что вскочившие на ноги бойцы. А тут опять отчаянно и яростно длинными очередями застрочил «максим». У Бирюка от злобы перекосилось лицо. И хотя уже начинало темнеть, он узнал Кондогура. Даже разглядел, как у старого рыбака, стоявшего на коленях за щитком пулемета, вздрагивали плечи и тряслась голова. Вот старик перестал стрелять, сорвал с пояса гранату, сдернул кольцо предохранителя, поднял руку. Оказывается, несколько гитлеровцев незаметно проползли лощинкой и обходили высотку, подбираясь к пулемету. Кондогур уже готов был швырнуть в них гранату, но пуля, посланная Бирюком, сразила его.

Кондогур, падая на бок, разжал пальцы, граната выскользнула из рук и взорвалась. На воздух взлетели клочья одежды. В ту же секунду послышался гневный бас Кавуна:

— Бей нимецьку сволоту! Смерть фашистским катам! Вперед, хлопци!

Все вскочили, словно подхваченные вихрем, над побережьем загремело мощное победное «ура!». Гитлеровцы были смяты и в панике откатывались назад.

Кавун в сопровождении двух бойцов приближался к высотке. Бирюк, прихрамывая, поспешил туда же. Возле пулемета лежало двое убитых красноармейцев и Кондогур с развороченным гранатой животом.

— И ты здесь?— взглянул Кавун на Бирюка, стоявшего с опущенной головой и скорбным лицом над трупами красноармейцев и Кондогура.

— Где же мне быть, товарищ командир?— вздохнул Бирюк.— Все мы сыны одной матери-Родины и дорога у нас одна.

— А боеприпасы?

— Погрузили.

— Доставьте на судно этот пулемет. Он еще нам пригодится.

— Есть, товарищ командир!..

В сумерках хоронили убитых товарищей, подбирали раненых и оружие. А ночью снялись с якоря, миновали притихший, погруженный во тьму Ейск, обогнули косу Долгую и взяли курс на Приморско-Ахтарск, куда прибыли утром. Там долго не задерживались. Бои шли в районе станицы Каневской. Через два-три дня немцы могли появиться в Ахтарске. Запаслись горючим, пресной водой и в тот же день вышли из Ахтарского лимана в море. Раненых красноармейцев разместили на «Темрюке» и «Керчи», тяжелых — в кубриках; получившие незначительные ранения находились вместе с бойцами на палубах.

Перед вечером флотилия, состоящая из двух судов, придерживаясь берега, прошла в виду Ачуева, в сумерках миновала рыбацкий поселок Сладковский, а в полночь «Темрюк» и «Керчь» вошли в устье Кубани и пришвартовались к пристани города Темрюк.

— Вот и Кубань,— сказал Кавун, глядя за борт на темные воды реки.— Шо будемо дальше робыты?

— Утро вечера мудренее,— ответил Васильев.— Завтра сдадим в госпиталь раненых и решим, что нам дальше делать...

— Э, ни!— запротестовал Кавун. —Хто знае, що буде утром? Може, бомбы на город и пристань посыплются. Надо зараз же це дило организуваты.

— Пожалуй... ты прав,— согласился Васильев.

Опасения Кавуна оправдались. С рассветом, когда санитарные автомашины госпиталя, приготовившегося к эвакуации в Сочи, забрали с «Темрюка» и «Керчи» раненых, город огласил тревожный вой сирены. Суда бронзокосцев снялись с прикола и полным ходом устремились вверх по Кубани.

Вскоре на судах услышали гул моторов, нараставший с каждой минутой, а потом со стороны Крыма в иссиня-белесом небе показалась девятка «юнкерсов», сопровождаемая истребителями. Самолеты шли на большой высоте. Над Курчанским лиманом девятка распалась на звенья. Первое звено, не меняя курса, шло на восток, второе направилось на северо-восток, а третье повернуло к Темрюкскому заливу. Спустя несколько минут первый самолет третьего звена сделал разворот и пошел в пике, за ним последовали остальные. В Темрюке застучали зенитки, и тут же тяжко содрогнулась земля от бомбовых ударов... Бирюк, стоя на палубе и сжимая в руке карабин, с горячностью кричал:

— Аспиды... Они же госпиталь могут накрыть... Вояки... раненых добивать!

Анка, перебиравшая в сумке медикаменты, не без удивления взглянула на обычно молчаливого Бирюка:

— А ты, однако, злой на них. Это хорошо...

— Анна Софроновна, разве с фашистами можно воевать без злости? Никакой пощады им, аспидам...

Моторы на «Темрюке» и «Керчи» работали с полной нагрузкой. Преодолевая сильное встречное течение бурной Кубани, суда упорно продвигались вперед. Над бескрайними кубанскими просторами стоял непрерывный орудийный гул. Там шли ожесточенные бои. Гитлеровцы, невзирая на огромные потери в живой силе и технике, опьяненные временными победами, рвались к Краснодару.

Кавун и Васильев склонились в кубрике над развернутой картой Краснодарского края. Суда как раз проходили хутор Соболевский.

— Як ты мозгуешь, Афанасьич?— спросил Кавун, бросая на карту карандаш.

— Впереди Троицкая,— Васильев повел пальцем по карте.— Мы можем и отсюда начать наш поход в предгорье. Но посмотри, какой однако, далекий путь!

— Шо же будемо робыть?

— Плыть, пока это возможно. Водный путь намного сократит наш переход.

— Хай буде так!— согласился Кавун.

Вечером бросили якорь возле хутора Ольгинский-второй. С востока, со стороны Краснодара, доносилась орудийная канонада. Бирюка высадили на берег для разведки. Но в хуторе не было ни одной воинской части и сами жители находились в полном неведении.

С наступлением темноты орудийный гул смолк. Вокруг раз-

лилась ничем не нарушаемая тишина. Отчетливо было слышно сонное бульканье воды у берега, легкий всплеск рыбы в камышовых зарослях. Извилистая, быстрая Кубань изобиловала водоворотами и отмелями, фарватера реки никто не знал, на бакенах не мерцали предостерегающие огоньки, и Кавун решил заночевать возле Ольгинского.

Анка лежала на палубе и смотрела на ярко горевшие в темном небе звезды. К ней подсел Бирюк, помолчав, спросил:

— Думаете, Анна Софроновна?

— Думаю, Харитон...

— По дочке, небось, скучаете?

— И по дочке, и по отцу, и по Евгенке...

— Понимаю и сочувствую, Анна Софроновна. Но ничего... после войны все мы свидимся, а вот Кострюков и Душин...— Бирюк вздохнул и продолжал:— Они-то уж не подымутся из могилы, никогда не увидят родного берега.

— Ох, никогда... Так жаль их. Сердце кровью обливается...

— Еще бы! Не чужие же... Свои люди.

— Да какие прекрасные, благородные люди!..— Анка вздохнула.— А что нас ожидает впереди?..

— Победа, Софроновна, победа!

— Кого еще не досчитаемся?

Видя, что Анка стала дремать, Бирюк поднялся и тихо удалился.

Рано утром суда двинулись вверх по течению. Шли малым ходом, останавливались, прислушивались. Но вокруг царила непривычная, и потому тягостная, подозрительная тишина. Бирюка высаживали то на левый берег, то на правый, посылая в разведку, но в прибрежных хуторах и станицах ему говорили одно и то же:

— Проходили наши части, а куда они направляются,— неизвестно. Спрашивать у военных нельзя. Все равно не скажут.

Вечером «Темрюк» и «Керчь» подходили к станице Елизаветинской. И вот тут, в ста метрах от станицы, Кавун, стоявший на баке «Темрюка», заметил в густых вербовых зарослях старого казака в коричневой смушковой кубанке. Старик энергично махал рукой, будто отгонял от себя назойливых мух.

— Лево руля!— тихо скомандовал Кавун. Судно подошло к берегу почти вплотную.— Заглушить мотор!

Старик снял шапку и одобрительно закивал головой. Двое кумураевских рыбаков спрыгнули на берег. С кормы и бака им бросили концы каната.

— Крепи!

Пришвартовалась к берегу и «Керчь». С бортов спустили трапы. На берег первым сошел Кавун. Тотчас к нему приблизился старик, заговорил приглушенным голосом:

— Гляжу: и обличьем и одеждой — свои. А куда плывете? Немцам в зубы?

— А де нимци? — спросил Кавун.

— В Краснодаре. Вчера наши оставили город.

— Правду говоришь, отец?

Старик строго посмотрел на Кавуна.

— Я русский человек... Мне семь с половиной десятков лет... Что же я... своим людям брехать стану?

— Не обижайся, отец,— мягко сказал Васильев.— Но откуда ты можешь знать, что наши оставили Краснодар? Пойми, мы не можем всякие слухи принимать за достоверность.

— Эх, кабы это были только слухи...— горестно вздохнул старик.

Подошли Анка, Григорий Васильев и Михаил Лукич Краснов, принявший после гибели Кострюкова второй взвод. Когда Кострюков, сраженный пулей Бирюка, упал, Краснов поднял взвод и повел его в атаку на гитлеровцев. Этим смелым поступком и находчивостью в бою он и завоевал право быть взводным командиром.

Старик поднял глаза, посмотрел на Кавуна, Анку, Васильева, Краснова:

— Все в гражданской одежде,— сказал он,— а при боевом оружии... На судне пулемет. Стало быть, партизаны?

— В бою огнем крещены,— ответил Васильев.— А партизанить по-настоящему начнем отсюда, раз в Краснодаре немцы.

— Там они, нечестивцы,— покачал головой старик.— Пойдемте, сами убедитесь.

Все последовали за стариком.

Среди старых, с огромными шишками, уродливых верб стоял искусно замаскированный шалаш. Старик откинул войлочную попону, прикрывавшую вход, сказал:

— Внучек, это свои. Партизаны.

Под тюфяком был толстый слой золотистой соломы. А на тюфяке, запрокинув на подушку забинтованную голову, лежал молодой сероглазый красноармеец. Его прыщеватое лицо заострилось и посерело.

— Вот...— указал старик на раненого.— А вы говорите — слухи.

Анка шепнула Краснову:

— Как он похож на вашего Проньку, Михаил Лукич.

Краснов, теребя себя за ус, подтвердил:

— В самом деле, здорово похож.

Раненый приподнялся на локтях;

— Партизаны? Какая радость, дедушка...

Анка вошла в шалаш, помогла раненому сесть, опустилась возле него на колени.

— Что у тебя, дружок?

— Осколком по голове стукнуло.

— Давай я обработаю рану да перевяжу как следует.

— Хорошо, сестрица.

Анка сняла бинт. Он так присох, что пришлось отдирать его. Но красноармеец не проронил ни звука. Ранение было касательное. Осколок прошел наискось по лбу, оставив неглубокую бороздку. Анка пропитала спиртом вату, протерла ею руки, открыла флакон с йодом и принялась за обработку раны. Пригодилась школа покойного Душина.

— Де ж его так царапнуло?— спросил Кавун.

— Под Краснодаром,— ответил старик.— Их батальон весь полег. Остался он и еще двое. Батальон сюда отходил, к станице. И зараз за станицей валяются мертвые. Внучек и попросил красноармейцев ко мне доставить его. Не бросили товарища. Вчерась в сумерках на себе принесли. Всю ночь шалаш мастерили. Нынче проводил их. Хорошие, добрые хлопцы. Однако в станице держать его нельзя. Придут немцы— смерть неминучая. А поправится малость, лети, орелик, в горы к партизанам.

Из шалаша послышалось:

— Спасибо, сестрица... Уже легче стало...

— Рана не опасная. Скоро затянет. Только крови много потерял.

— Я с вами пойду.

— Надо командира спросить.

— Возьмем, возьмем,— отозвался Кавун и заглянул в шалаш:

— А як тебя звать, хлопче?

— Юхим Цыбуля,— ответил раненый.

— Го! Тезка!

— А какое оружие знаешь?

— Винтовку, автомат ППШ и пулемет,— ответил Юхим из шалаша.

— О-о! Пулеметчик нам очень нужен.

— Вы его в мой взвод зачислите,— попросил Краснов.

— Хорошо,— обещал Кавун.— Но прежде надо его прочно на ноги поставить.

Анка вывела из шалаша Юхима, поддерживая его под руку.

— Не надо, сестрица, я сам. Мне уже легче...— он посмотрел на новых боевых товарищей, и счастливая улыбка озарила его бледное лицо. Сквозь бледность щек упрямо пробивался румянец — молодой организм брал свое.

— Сможешь дойти, внучек?

— Смогу, дедушка, смогу... Сил-то сколько во мне прибавилось... Дойду...

— Ну, храни тебя бог, дитя мое! — и старик перекрестил его. Потом обратился к Кавуну: — Он все тропинки знает. Исходил со мной Хадыжи и Нефтегорск, бывал на Лагонаках, на Курджипсе и Белой. Орехи, ягоды да дичку собирали! Сгодится вам мой внучек. Да еще как сгодится. Только нынче же уходите.— И опять к внуку: — Веди их мимо Северской и Ставропольской к Горячему Ключу. А там через Хадыжи к Нефтегорску...

— Знаю, дедушка.

— Гляди ж, не отстань в дороге.

— Не тревожьтесь, дедушка. Мы не бросим его. Надо будет — поможем,— заверила старика Анка.

— Конечно, не бросим,— подтвердил Краснов.— Как можно!

Старик поцеловал Юхима, низко поклонился всем и отправился в станицу.

Вернувшись на берег, Кавун приказал:

— Снять пулемет, боеприпасы. Забрать харчи и свитки. Суда потопить. Через час на марш.

Стояла тихая августовская ночь, напоенная крепким ароматом полевых цветов, полынка — сложным запахом степного разнотравья. В темно-голубом небе в сиянии множества крупных звезд медленно проплывал тонкорогий молодик.

Партизаны шли гуськом, почти бесшумно. Перед походом амуниция, оружие — все было плотно пригнано и приторочено, чтобы в пути ничто не звякало и не тренькало. Курить было запрещено, разговаривали шепотом. Пулемет партизаны несли на носилках, устроенных из двух толстых и длинных палок и прутьев лозняка. Возле железнодорожной линии остановились. За насыпью проходила шоссейная дорога из Краснодара на станицу Крымскую и Новороссийск. Возвратившись из разведки, Бирюк доложил:

— Никакого движения. Тишина.

Переходили железную дорогу по три человека, а со сборного пункта двинулись повзводно. Впереди смутно вырисовывались

очертания Кавказских гор. Месяц, опускаясь к горизонту, коснулся брюшком острия горного пика и, казалось, застыл на месте, будто зацепился за верхушку минарета. Наконец и он скрылся за пиком, и горные вершины погрузились во мрак.

Трудно пришлось раненому Юхиму в походе. Порой у него кружилась голова, он на мгновение останавливался, стиснув зубы. Но уже в следующую минуту, опираясь на Анкино плечо, упорно продолжал идти вперед.

— Крепкий ты, парень, молодец,— ободряла Юхима Анка, поддерживая его за талию.— Настоящий казак!

На рассвете отряд достиг первого склона, покрытого густым кустарником. За ним пошло разнолесье, дуб, осина, бук, ясень, дичка — яблоня и груша.

— Мы в районе горной полосы, — сказал Юхим. — Теперь можно и отдохнуть.

— Привал,— скомандовал Кавун.

Выставив часовых, усталые партизаны предались давно желанному, но чуткому, тревожному сну.

Анка расстелила на жесткой траве пальто, положила в изголовье санитарную сумку, сказала Юхиму:

— Вот тебе и постель. Ложись, отдыхай.

— А вы?

— За меня не беспокойся. Я здорова и на голой земле-матушке прикорну.

— Добрая у вас, сестрица, душа,— благодарно сказал Цыбуля.

Всходило солнце. Скрытые зарослями прибрежного кустарника, партизаны умывались холодной, бодрившей усталые тела горной водой. Юхим, смачивая марлю, вытирал ею лицо, прикладывал к глазам. Лоб у него был забинтован и по-настоящему умыться он не мог. Зато его товарищи пофыркивали от удовольствия, разбрасывая серебристые брызги ледяной воды.

— Шо за ричка? — спросил Кавун.

— Афипс,— ответил Юхим.— Впереди их много. Еще будут Шебш, Малый Чибий, Псекупс, Апчас, Пшиш, Пшеха, Курджипс, Белая. Хотите, я вас до Лабы доведу.

— А стоит ли так далеко забираться? — Васильев посмотрел на Кавуна, потом перевел взгляд на Юхима, стряхнул с пальцев капли воды.

— Хай тезка каже.

— Думаю, не стоит. Нам и тут работы хватит. А там есть

кому бить фрицев. Хадыженцы, майкопчане, лабинцы — они зараз все ушли в партизаны.

— Добре. Тут останемось.

— Зачем тут, товарищ командир? — сказал Юхим.— Я знаю одно место, где можно хорошо укрыться и оттуда делать вылазки. Это западнее Горячего Ключа, между горными поселками Шабановское и Пятигорское.

— Шо ж, ходимте туды.

После завтрака отряд двинулся в поход. Шли гуськом по крутым тропам, растянувшись длинной цепочкой. Впереди Кавун, Бирюк, Анка и Юхим, за ними следовали Краснов и Васильев со своими взводами. Путь был короткий, не более двадцати пяти километров, но очень трудный. Чем дальше углублялся отряд в горный район, тем все больше замедлялось движение. Надо было преодолевать возвышенности, спускаться в глубокие ущелья, переходить бурные горные потоки, карабкаться по почти отвесным скалам, цепляясь за колючие ветки дикого кустарника.

Сумерки застигли отряд на полпути. На ночлег партизаны расположились на небольшой лужайке, похожей на пестрый ковер от множества горных цветов всевозможных оттенков. Неподалеку шумел, срываясь с кручи, вспененный Безепс, приток Шебша. Наскоро умылись, поужинали вяленой рыбой, припасенной еще в Кумушкином Раю, запили неприхотливый ужин прозрачной горной водой и легли спать. Где-то вдалеке изредка погромыхивали пушки.

— На горы лезут,— определил Юхим.

— Сорвутся,— сказала Анка.— Наши все равно сбросят их в пропасть. Не пропустят.

— А мы поможем Красной Армии.

— Непременно поможем. А пока спать...

Утром партизаны-рыбаки впервые увидели живописную панораму горной полосы. Всюду, куда ни кинь взгляд, сплошные массивы горного дубняка! Густые купы его, росшие на неровной холмистой местности, напоминали бугристые зеленые волны, уходившие к самому подножию Кавказского хребта. И бронзокосцам и кумураевцам эта живая картина напомнила родное волнующееся море, и не один из них, зачарованно глядя в синеющую даль, тяжело вздохнул.

Вершины гор, покрытые вечным льдом, казались фиолетовыми. Но когда на них упали первые лучи солнца, ледники заискрились, вспыхнули, словно огромные алмазы, и засияли голубовато-розовым блеском.

— Какая красота! — вырвалось у Анки.

— На эти красоты еще надивуемся,— сказал Кавун.— Веди, Юхим, дальше. Нынче дотягнем до места?

— Дотянем.

— Ну, двинулись, товарищи.

К Анке подошел Бирюк:

— Анна Софроновна, вам тяжело. Дайте помогу.

Анка несла две санитарные сумки — свою и покойного Душина. Одну из них взял Бирюк.

— В сельсовете был у вас в помощниках, Анна Софроновна, и теперь помогать рад. Вот как крепко связала нас судьбинушка.

Отряд двигался вперед. Юхим заводил партизан в такие места, где даже среди бела дня стоял полумрак. Столетние дубы, стройные мачтовые пихты плотной стеной подымались ввысь, и солнечный луч не проникал сквозь густую листву. Встречались и такие чащобы, что приходилось с трудом прокладывать себе дорогу.

В междуречье Шебша и Безепса шедший впереди Юхим вдруг остановился и отступил назад, подняв руку. Колонна партизан застыла на месте. Кавун, осторожно ступая, подошел к Юхиму.

— Що там?— спросил он шепотом.

— Немцы... Тихо... Идемте,— и красноармеец повел за собой Кавуна.

На полянке паслись двенадцать вьючных лошадей, увешанных тюками и ящиками. Четыре немца стояли по сторонам полянки с автоматами на груди, остальные, развалившись на траве, курили и о чем-то вполголоса разговаривали. Несколько поодаль сидел со скучающим видом мужчина лет пятидесяти в гражданской одежде. Он лениво ковырял в зубах сорванной травинкой.

«Проводник»,— решил Кавун и поманил к себе Краснова и Васильева. Он указал на полянку, отвел их в сторону, зашептал:

— Васильеву со взводом охватить тую сторону полянки. Тоби, Краснов, оцю. Швидко, але тихо. Треба взять их без выстрела. Як я гаркну: хенде хох! — враз всем выбегти на поляну и зажать их в кольцо. Ясно? За дило, други...

Быстро и бесшумно была окружена полянка. Когда, словно раскат грома, грянул могучий голос Кавуна «Хенде хох!»— в одно мгновение на полянку ворвались партизаны. Ошарашенные немцы схватились за оружие. Часовых обезоружили быстро, но те, что лежали на полянке, открыли огонь. Тогда заговорили винтовки и со стороны партизан. Восемь гитлеровцев, оказавших сопротивление, были расстреляны в упор. Четверых взяли в плен.

В этой короткой схватке погибли три партизана. Кавун приказал взять тела погибших товарищей, подобрать немецкие автоматы, захватить пленных и идти дальше, в лес...

Остановились метрах в двухстах от полянки. Пленным приказали сесть. Васильев спросил человека в штатском:

— Русский?

— Да. Из станицы Ставропольской. Скиба — моя фамилия. Васыль Скиба. Кубанец я.

— Проводником был у них?

— Заставили, ироды проклятые. Не по своей воле...

— Куда они направлялись?

— В поселок Холодный Родник. Это туда, в горы. Верстов двадцать с гаком будет отсюда.

— Что в тюках и в ящиках?

— Не знаю.

— А мы зараз узнаемо,— сказал Кавун.— Хлопци, скидайте тюки та ящики, а то коням важко.

В тюках оказались новенькие немецкие шинели, плащи, сапоги и русские дубленые полушубки, ватные одеяла.

— Вояки хреновые... На легком морозе словно сопля мерзнут,— переговаривались партизаны, распаковывая ящики.

На свет извлекли автоматы, пистолеты «Вальтер», патроны, медикаменты и спирт в банках из белой жести; консервы, брусчатые буханки хлеба, копченую колбасу, ветчину, окорока, шоколад, коньяк в бутылках, сигареты.

— Гарни трофеи,— с удовольствием потер руки Кавун.

— А что будем делать с ними?— указал Васильев на гитлеровцев.

— Людоидам — смерть. Коням — воля, взяты с собою их мы не можемо.

— А мне, товарищ командир, что робыть?— спросил мужчина.

— Чимчикуй до свого куреня.

— Домой? В станицу?— Скиба испуганно смотрел то на Кавуна, то на Васильева.— Да они ж меня, ироды, сразу в распыл пустят. Вы поглядите... Вся Кубань в огне! Жгут, прокляти, и живых и мертвых. Нет, уж дозвольте к вам пристать.

— Шо, Григорий, визьмем?

— Я думаю, мы его назначим завхозом. И продукты, и оружие, и боепитание будут на его ответственности.

— Так я же и в колхозе был завхозом,— поспешил доложить обрадованный Скиба.

— Добре,— сказал Кавун.

...Последние два-три километра пути были самыми трудны-

ми. Партизаны, нагруженные трофеями, выбивались из сил, еле волочили ноги. Вечерело, когда отряд остановился перед ущельем, зигзагами врезавшимся в горный хребет. Ущелье было узкое, с отвесными стенами, покрытыми стелющимся колючим кустарником. По дну ущелья, виясь серебристой змейкой меж камней, бежал шустрый говорливый ручей.

— Вот мы и дома,— улыбнулся Юхим, придерживая рукой сползавший со лба бинт.

Со вздохом облегчения партизаны один за другим повалились на каменистую почву.

— Садись,— сказала Анка Юхиму,— перебинтую тебе голову.

Ущелье оказалось непроходимым И без того узкое, оно было завалено огромными валунами, принесенными с горных вершин бурными весенними потоками. Юхим только ему известной заросшей тропой провел отряд в ущелье. Три древние высеченные в скалах пещеры, одна глубокая, вместительная и две поменьше, находились рядом. Входы в пещеры были замаскированы самой природой: зарослями фундука, колючей ежевики, сплетением обнажившихся корней дуба, свисавших со стены ущелья над пещерами.

— Тут,— кивнул Юхим на большую пещеру,— разместятся оба взвода отряда. А из тех одну займет командир отряда, другую завхоз.

— Нет,— возразил Васильев,— одну из малых пещер надо отвести под медпункт.

— Для медпункта есть хорошая палата. Идемте покажу.

Кавун, Васильев, Краснов, Бирюк и Анка последовали за Юхимом. Метрах в ста от пещер, между двумя огромными, вросшими в землю каменными глыбами, покрытыми ржавым лишайником, стояла добротная хижина с навесными дверями. Внутри хижины, по бокам, были устроены два ложа, постелью служили сухая трава и пожелтевшие листья дуба, душистые ветки пихты. Посреди хижины помещался очаг, в крыше была дыра для выхода дыма. В глубине хижины, от середины и доверху, каменные глыбы плотно прилегали одна к другой, внизу была щель, в которую с трудом мог пролезть человек. К щели снаружи был привален большой камень.

— Гарный палац,— одобрил хижину Кавун.

— Зимовье медвежатников,— пояснил Юхим.— Я и дедушка как-то ночевали здесь. Мы с ним тоже свалили одного медведя.

— А не далековато ли будет медпункт от расположения отряда? — обеспокоился Васильев.

Юхим успокоил его:

— Если подняться немного вот сюда, мы выйдем на поляну, от которой идет тропа, известная только охотникам, к селению Шабановское. Главный сторожевой пост должен быть на этой поляне. Там надо и пулемет установить. Так что медпункт будет находиться между основными силами отряда и сторожевым постом — под надежной охраной.

— Добре,— согласился Кавун.

— Анна Софроновна, — вызвался услужливый Бирюк, — я помогу вам оборудовать ваше жилище. Эх, картинку сделаем! Настелим фрицевских шинелей, одеял, стены плащами завесим, столик соорудим. Не хуже будет, чем в родном курене.

— Ладно, ладно, помощник,— улыбнулась Анка.— Идем за моими вещами.

Анка и Бирюк ушли.

— Ну, товарищ Цыбуля,— сказал Васильев,— нужно осмотреть окрестности нашего лагеря. Вместе и решим, где будем посты расставлять. Веди нас на поляну.

— Да она рядом, в двух шагах.

— Шо ж, пишлы, подывымось,— сказал Кавун.

XXIX

Фашистские самолеты бомбили железнодорожный узел. Жители с первым сигналом тревоги спустились в глубокие бомбоубежища. И только дежурные, сжимая в руках железные клещи, оставались у подъездов и на крышах домов.

«Юнкерсы», охраняемые «мессершмиттами», делали один заход за другим и падали в пике огромными распластанными птицами, низвергая бомбовой груз на эшелоны.

Взрывы следовали один за другим, земля, содрогаясь, глухо стонала. Разлетались разбитые в щепы вагоны и куски человеческих тел, дымились покореженные рельсы. На запасном пути ярко пылали и оглушительно лопались брюхастые цистерны с горючим. Серая пыль поднималась над всем этим адом, оседая в промежутках между взрывами, а изжелта-черный дым, устремляясь кверху, застилал копотью солнце, пятнал голубое небо.

Госпиталь был переполнен. Неутомимый хирург, начальник госпиталя, работал быстро, уверенно. Рот и нос его закрывала марлевая маска, и только открытые глаза, многое видевшие, горели сдержанным блеском. Умные руки с длинными гибкими пальцами брали подаваемые ассистентами то один, то другой

хирургический инструмент. Оперируя, хирург искусно орудовал им, как скрипач-виртуоз своим смычком.

Профессор работал несколько часов подряд. Ампутировал конечности, делал сложные операции брюшной полости, извлекал осколки. В ту минуту, когда профессор оперировал раненного в грудь воина, к нему тихонько приблизилась старшая сестра и сказала вполголоса:

— Виталий Вениаминович, доставили с вокзала еще одного раненого в очень тяжелом состоянии.

— Подежурьте, Иринушка, возле него, я скоро освобожусь,— и профессор подозвал к столу своих помощников: — Посмотрите, друзья мои, маленький осколочек, а что наделал? Пробил грудную клетку и застрял в сердце. Изъять этот осколочек не представляет особого труда. Но попробуйте удалить его — и сердце перестанет биться.

— Виталий Вениаминович, а что же в таком случае делать? — спросил один из помощников.

— Оставить так, как есть. Больной будет жить.

Тяжелораненого сержанта нашли среди обезображенных трупов. Вначале его приняли за убитого. Но когда сносили погибших к братской могиле, санитар заметил, что сержант подает признаки жизни. Носилки осторожно поставили на землю. Сержант судорожно зевнул, прошелестел что-то пересохшими губами и приоткрыл глаза. Его тотчас взяли на машину и отправили в госпиталь.

Раненый лежал на окровавленных носилках в коридоре. В палатах не было ни одного свободного места. Он попросил пить. Ирина сделала из соды и сахара шипучку, поднесла стакан к его запекшимся губам.

— Влей ложкой, сестрица. Голова не подымается.

На фронте сержант был ранен в голову осколком, а во время бомбежки на станции ему раздробило обе руки и ногу. Юноша лежал неподвижно. Ирина напоила его с ложки. Он облизал пересохшие губы, внимательно посмотрел на Ирину, затем перевел потухающий взгляд на ее портрет, висевший в коридоре среди портретов лучших доноров госпиталя, и болезненная улыбка скользнула по его мертвенному иссиня-желтому лицу.

— Чему вы улыбаетесь, дружок? — спросила Ирина, осторожно поправляя на его голове повязку.

— Хорошая...

— Кто?

— Вы, сестрица... Ласковая... За таких... если уж смерть в горло вцепится... и умирать не страшно... Хоть вы и далеко от нас... в тылу... А тоже отдаете Родине силы... нам свою кровь... Тоже героини... — он умолк. Потом заговорил снова:

— Сестрица... в левом кармане гимнастерки... фотокарточка в конверте...

Ирина понимающие кивнула, отстегнула пуговицу, вынула из нагрудного кармана конверт, протершийся на углах, извлекла из него фотокарточку, и невольно залюбовалась миловидным девичьим лицом. Льняные волосы пышно курчавились. На уголке карточки наискосок было выведено ровным неторопливым почерком:

«Самому смелому воину.

Анастасия»

— Моя Настенька... Ребята присудили ее мне.

— Вы лично знакомы?

— Нет... но она мне будто родная... Переписываемся,— сержант устало смежил веки. — Как живая стоит передо мною... Знаете, сестрица, ведь я разведчик... — Он вновь открыл глаза. — Бывало, к немчуре в тылы... все сдаю командиру: документы, орден, медали, а карточку — с собой. ...Лежу в кустах... в бурьяне... день, два, три... высматриваю... Так сказать, фиксирую... Взгляну на Настеньку и... легче становится... — Сержант помолчал.— А вот наши артиллеристы... так у некоторых на щитах орудийных... карточки девушек наклеены... Однажды двадцать три немецких танка... на дивизион полезли... А ребята поклялись перед девушками... И не пропустили... Семнадцать танков подбили... а шесть задом-задом... удрали восвояси. Если бы пять пушек... не вышли из строя... и остальным танкам верный капут был бы...

Сержант еще попросил воды. Ирина напоила его. Он умоляюще посмотрел на сестру.

— Вы можете исполнить последнюю просьбу умирающего?

— Почему «умирающего»? Вы будете жить и обязательно встретитесь с вашей Настенькой.

— Не надо, сестрица... обманывать. Знаю, что отхожу... не жилец я больше... Но смерть приму...

— Хорошо, родненький, исполню,— поспешила Ирина заверить его.

— Напишите обо мне Настеньке... Адрес на конверте... внизу. А еще такая просьба: пошлите на фронт... свою фотокарточ-

ку... Напишите: «Самому отважному»... Полевая почта направит ваше письмо в какую-нибудь часть... Пошлите, сестрица... И Настеньке! — последнее слово вырвалось у него с хрипом, он умолк, глаза заметно померкли. Сержант прошептал: — И Настеньке... — и перестал дышать.

— Ну-с, Иринушка, — мягким ласковым голосом произнес профессор, торопливо пробегая по коридору,— покажите-ка мне вашего...

Ирина закрыла руками лицо и ничего не ответила. Плечи ее вздрагивали.

Не одну смерть видела Ирина, не один боец умирал у нее на руках, но смерть разведчика особенно острой болью отозвалась в ее груди. Как ни тяжело бывало Ирине, какие горести ни приносила жизнь, она никогда не жаловалась. Чуткая, отзывчивая, девушка с сестринской добротой относилась к окружавшим ее людям, страдавшим от ран, и эту чужую боль носила, как свою, в мужественном и стойком сердце.

Ирина сидела за маленьким столиком в дежурке и перебирала истории болезней. Лицо ее горело, лихорадочно блестели влажные темные глаза, руки слегка дрожали. Она ничего не видела в шелестевших перед нею бумагах, все не могла отвести глаз от счастливой улыбки Настеньки. Фотокарточка незнакомой девушки стояла перед Ириной, прислоненная к чернильному прибору.

«Да, Настенька, счастливая ты. Тебе позавидовать можно. Ты была там, в огне и дыму, среди дорогих и близких нам тружеников фронта. Ты ходила в разведку с ними, помогала им. И ты любима... горячо любима ими...» — дав волю разгоряченному воображению, Ирина перенеслась мыслями к далеким огневым рубежам...

...Вот она идет по дымному полю. Заглядывает в глубокие траншеи, в тесные землянки и видит, как бойцы и командиры читают друг другу письма, разглядывают фотокарточки знакомых и незнакомых девушек. Как они радуются каждой строчке теплого письма, как нежно ласкают взглядом тех, кто с любовью к ним и с верой в победу смотрит на них с фотокарточек.

А вот артиллеристы... Пушки замаскированы. На щитах пушек — фотокарточки жен, сестер, матерей, подруг. От дождей и снега, от ветра и пороховой копоти карточки полиняли, выцвели, но пушкари смотрят на них и обретают новые силы для борьбы с врагом.

...Вот ползут немецкие танки. Артиллеристы клянутся не пропустить ни одного. Пушки, вздрагивая, бьют по врагу. Дымятся

подбитые танки с черными крестами. Но из-за пригорка выкатывается новая бронированная волна. Рев пушек становится все яростнее, броня трещит, лопается. Танки не прошли...

Дорогие мои! Как хочется обнять вас всех, всех... исцелить ваши раны, дыханием сердца сдуть с ваших обветренных лиц пороховую копоть...

Легкий скрип двери прозвучал в ушах Ирины, как орудийный выстрел. Она вздрогнула и сжала в руке чью-то историю болезни.

— Это что же, Иринушка,— строго произнес профессор,— сорока восьми часов в сутки вам мало?

— Виталий Вениаминович... — она встала с табуретки, заметно волнуясь.— Вы до семидесяти двух часов продлили сутки... и тоже мало? Вы же работаете трое суток без передышки.

Профессор не носил бороды и усов. И когда он немножко сердился, то поднимал руку и согнутым указательным пальцем проводил по верхней губе, будто приминал воображаемый, непослушно топорщившийся ус.

— Но, но! — предостерегающе произнес профессор и примял верхнюю губу согнутым пальцем.— Я отлично отдохнул прошлой ночью,— он пристально посмотрел на Ирину.— Ваша бледность не нравится мне.

— Да нет же... Просто, я задумалась...

— Сейчас же отправляйтесь отдыхать.

— Виталий Вениаминович, я не могу оставить их,— кивнула она на палату.— Все тяжелые...

Профессор сжал губы, собрал на лбу морщинки, по-отечески ласково взглянул на Ирину и молча вышел.

Ирина распахнула окно. Стояла прохладная сентябрьская ночь. Свежий воздух приятно холодил ее пылавшее лицо. Она вернулась к столу, взяла чистый лист бумаги, обмакнула перо в чернила и решительно, торопливо начала писать...

XXX

Работникам полевой почты много раз приходилось обнаруживать среди обильной корреспонденции письма с короткими любопытными адресами: «На фронт. Самому храброму бойцу». Или: «На фронт. Вручить самому отважному воину».

Десятки таких писем были направлены пехотинцам, артиллеристам, саперам, минометчикам, бронебойщикам, зенитчикам,

связистам. Письмо Ирины попало в БАО — батальон аэродромного обслуживания.

Авиаполк ночных бомбардировщиков У-2 базировался за Кавказским хребтом. Площадь аэродромного поля была невелика, но вполне позволяла легкому и неприхотливому самолету совершать взлет и посадку.

Старшина БАО, получив от письмоносца пачку писем и раскладывая их на коленях, рассуждал про себя:

«Миколе Жупану — от жены. Гопак плясать... Михаилу Кравцову — от товарища. Сто граммов с него... Тарасу Сагайдачному — от девушки. Что ж, споет нам «Дивка в синях стояла, на козака моргала...» — Но тут подвернулось письмо Ирины, и старшина сам заморгал, не зная, как поступить ему?.. Кому вручить это письмо и что потребовать за него?..

— За-да-а-ча... — вздохнул старшина, разглядывая со всех сторон голубой конверт.— Придется с хлопцами посоветоваться. Впрочем, что тут советоваться. Сержанту Файзуле — вот кому адресовано это письмо.

Свободные от наряда солдаты отдыхали, когда в блиндаж вошел старшина. Все вскочили с нар, увидев в его руке пачку писем. Выкликая по фамилиям, старшина раздал солдатам письма, забыв о том, с кого что причитается, и с хитринкой посмотрел на сержанта. По дороге в роту старшина вспоминал о том, как несколько дней тому назад сержант уничтожил немецкий самолет. «Юнкерс» пикировал прямо на зенитную пушку, у которой дежурил Файзула. Сержант не растерялся, открыл огонь. Самолет, не успев сбросить груз, задымил, потерял управление и упал в глубокое ущелье, взорвавшись на собственных бомбах. Командование представило Файзулу к ордену.

— Сержант...

— Я, товарищ старшина.

— С кем переписываешься?

— С матерью.

— И больше ни с кем?

— У меня, кроме матери, никого нет.

Старшина протянул ему голубой конверт:

— Ну так получай еще от одного человека. Надо полагать, что пишет тебе какая-нибудь славная девушка.

Сержант повертел в руках конверт, отрицательно покачал головой.

— Это не мне.

— Да ты во внутрь загляни, может, и тебе?

Сержант вскрыл конверт, развернул письмо. Из него выпала

фотокарточка, с которой смотрела девушка с грустными черными глазами. Старшина долго не отрывал от карточки изучающего взгляда, улыбнулся:

— Хороша дивчина!..

Снимок переходил из рук в руки, вызывая у солдат шумные возгласы одобрения.

— Сержант, чего же ты молчишь? Читай вслух.

Файзула пожал плечами и прочитал:

«Я не знаю тебя, отважный воин, но чувствую в тебе брата. Ты, защищающий нашу любимую Отчизну от фашистской чумы, самый родной для меня человек. Посылаю тебе свою фотокарточку и хочу переписываться с тобой. Я работаю в госпитале старшей сестрой и состою донором. Все мы верим в скорую победу над врагом. Пусть наша любовь согревает вас, доблестных воинов, а любовь Родины придает вам бодрость и силы. Привет всем твоим боевым товарищам!

Ирина».

В блиндаже наступило молчание. Сержант сложил письмо, посмотрел на снимок, прочитал на обороте надпись: «Самому отважному воину», сказал:

— Не мне.

— Да ведь ты единственный в БАО представлен к ордену!— сказал старшина.— По всем статьям выходит тебе.

— А разве тут только один наш батальон? А летчики? Возьмите Якова Макаровича Орлова. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой и второй степеней и к ордену Красного Знамени представлен. Да отважнее его во всем полку никого нету. Он по два-три вылета за ночь делает, фрицев термитками кормит. А легкое ли дело через эти горы ночами летать?

— Пожалуй, ты прав,— задумался старшина.— А как хлопцы думают?

— Присудить Орлову!

— Ясно, Орлову!

— Он самый отважный в полку!— поддержали солдаты сержанта.

— Так тому и быть,— сказал старшина и повернулся к окошку, за которым мелькнула чья-то высокая фигура.— Э-э, да вон и сам Орлов пошел. Легок на помине. Сейчас я его сюда приведу.

Старшина выбежал из блиндажа и скоро вернулся с летчиком. Сержант и солдаты встали, вытянув руки по швам. Орлов махнул рукой:

— Отдыхайте, товарищи, отдыхайте... Ну, в чем дело?

— А вот...— старшина подал ему голубой конверт.

Орлов прочитал письмо, с нескрываемым любопытством посмотрел на снимок Ирины, поднял на старшину удивленные глаза:

— Чертовски красивая девушка!.. Какому же это счастливцу прислано?

— Вот всем миром присудили вам, товарищ лейтенант.

— Мне?

— Вам. Самому отважному воину, как и просит Ирина.

— Позвольте,— Орлов кивнул на Файзулу.— А сержанту, сбившему вражеский самолет, в отваге отказываете, выходит?

— Это... случайность,—сконфуженно пробормотал сержант.

— Ишь ты!— засмеялся Орлов.— Слыхали, товарищи? По его выходит так: Красная Армия сотнями тысяч истребляет гитлеровцев только благодаря случайностям.

— Нет, товарищ лейтенант,— оправился от смущения Файзула.— Благодаря не случайностям, а... храбрости и отваге солдат... и полководческому таланту военачальников Красной Армии.

— Вот это верно; благодаря вашей смелости и отваге и немецкий самолет задымился и спикировал в ущелье. Так что письмо адресовано вам,— Орлов возвратил сержанту конверт и направился к выходу.

— Товарищ лейтенант!— спохватился сержант.— Девушка будет ждать ответа, что же написать ей?

— Что сердце подскажет.

— Врать мы ей не посмеем. Она пишет — «самому отважному», а вы отказываетесь.

— Что ж, напишите тогда так: хотя вы и хорошая девушка, а я, мол, отважный сержант Файзула, отказываюсь от вас,— и он вышел из блиндажа.

Сержант, держа в руке письмо Ирины, сидел совсем обескураженный.

— Не печалься, Файзула,— потрепал его по плечу старшина.— Может, у лейтенанта есть причина важная. Скажем, невеста, а то и жена с детками. А девушке мы напишем так: дорогая Иринушка, спасибо тебе за письмо и карточку. Тебя, мол, мы всем батальоном аэродромного обслуживания удочеряем и рады переписываться с тобой.

Сержант нахмурился.

— Почему «удочеряем»?.. Если она вам, товарищ старшина, в дочери годится, то какие же мы ей папаши? Ну, куда ни шло, хотя бы так сказать: усестряем.

Старшина запротестовал:

— В жисть не слыхивал такого... Усыновить, удочерить — так можно. А усестрить?..— и он развел руками.

— Ладно, ладно,— отмахнулся сержант.— Обойдемся без этих слов. Главное не в этом.

— А в чем?— спросил старшина.

— Ирина — девушка образованная, надо в письме побольше точек и восклицательных знаков понаставить. Я заметил в книгах, как только дело доходит до волнительного места, так тут уж обязательно пропасть точек и восклицательных.

— Знаки эти — ерунда,— авторитетно заявил старшина,— на точках далеко не уедешь. Мы их потом в конце письма боевыми порядками построим. Давай ответ пиши.

Сержант долго пыхтел над письмом, наконец огласил его содержание:

> «Дорогая сестрица Иринушка!
>
> Наше солдатское спасибо вам за письмо и карточку, которую мы присудили отважному летчику Орлову Якову Макаровичу, а он не взял ее, хотя сказал: «Чертовски красивая девушка!» Не подумайте, что он гордый. Нет! Душа у него кроткая, а сердце, как у льва. Храбрый он и отважный, но скромный. Поэтому, видать, и отказался от вашей карточки. Так мы оставили ее у себя и всем подразделением признаем вас за свою сестру, гордимся вами за то, что вы отдаете свою кровь раненым воинам. Все мы решили быть только отважными...»

Сержанта слушали с напряженным вниманием. Когда он кончил читать, старшина взял у него карандаш:

— Толково! — и первым расписался в конце письма.

Письмо отправили в тот же день, фотокарточку поместили на видном месте, прикрепив ее к фанерной дощечке. В блиндаже был полумрак, и при тусклом свете коптилки Ирина выглядела еще трогательнее. Солдаты и сержант легли поздно, но уснуть никто не мог. Глядя в темный потолок блиндажа, каждый думал о своем, о родных и близких.

На равнине выпал первый снег. А в горах уже свирепствовала пурга. С каждым днем полеты становились все труднее. Но

в военное время нелетной погоды не существует. По ночам самолеты подымались в воздух и уходили выполнять боевое задание, переваливая через горный кряж.

Как-то старшина забежал к Файзуле, взволнованный и радостный.

— Чего это вы сияете, как новенькая монета?

— Айда к командиру полка награды получать. С тебя, браток, нынче магарыч полагается за орден.

— А с вас?

— Что там с меня,— махнул рукой старшина.— Медаль.

— Тоже награда.

— Конечно, награда,— взгляд старшины задержался на фотокарточке Ирины. Он отколол ее от фанеры, спросил сержанта: — Письмо у тебя? Давай-ка его сюда.

— Еще что задумали?

— Потом увидишь,— старшина спрятал в карман письмо и карточку.— Айда!

В просторном блиндаже командира полка собрались солдаты, сержанты и офицеры. Всего было десять человек. Вручая награды, командир полка поздравил каждого в отдельности. Десять раз прозвучало в блиндаже четкое и торжественное:

— Служу Советскому Союзу!

Орлов получил орден Красного Знамени, сержант Файзула — орден Отечественной войны 1-й степени, старшина — медаль «За боевые заслуги».

Командир полка распорядился поднести награжденным «боевые сто грамм». Орлов попросил разрешения только пригубить.

— Что ж так? За награду не грех и до дна выпить, а не только пригубить.

— Я вылетаю в ночь, товарищ полковник.

—Завтра в ночь. Сегодня отдыхайте.

Полковник провозгласил тост за тружеников фронта, и все выпили. Старшина подошел к командиру полка.

— Товарищ полковник, разрешите обратиться.

— Сейчас мы за праздничным столом, не в строю. Говорите запросто, старшина.

Старшина извлек из кармана голубой конверт, протянул полковнику:

— Вот... Присудили мы всем миром летчику Орлову, а он не взял.

Полковник переводил глаза с письма на карточку, качал головой. Орлов украдкой показал старшине кулак, а тот будто и не замечал этого, ожидая, что скажет командир полка.

— Лейтенант Орлов...

— Слушаю, товарищ полковник,— поднялся Орлов.

— Сидите, сидите... Что же это такое? Вам всем миром присуждают, а вы не подчиняетесь решению товарищей? Я присоединяюсь к этому справедливому решению. Не годится такую хорошую девушку обижать. Передайте, старшина, письмо и фотокарточку по адресу. В письме ясно сказано: «Самому отважному».

Старшина мигом передал Орлову голубой конверт.

— Так и быть,— улыбнулся Орлов, пряча в левый нагрудный карман письмо и карточку Ирины.— Подчиняюсь.

На второй день Орлов вылетал на выполнение боевого задания. Старшина подбежал к самолету, когда уже был запущен мотор, а летчик Орлов сидел в кабине. Старшина отвернул левую полу шинели, похлопал ладонью себя по нагрудному карману. Орлов утвердительно кивнул головой. Старшина широко заулыбался. Он понял, что, уходя в воздух, Орлов, согласно установленному правилу, сдал командованию и ордена, и партбилет, и удостоверение личности, а голубой конверт оставил при себе. Самолет двинулся с места, пробежал немного, оторвался от земли, поднялся в воздух и растворился в темноте ночи...

Через два дня в газетах была напечатана очередная сводка Совинформбюро. Последний абзац сводки заканчивался лаконичной фразой: «...один наш самолет не вернулся на свою базу».

Это был самолет Орлова.

XXXI

Хозяйство отряда народных мстителей «Родина» содержалось в идеальном порядке. Скиба составил подробную опись всего имущества, консервированных продуктов и копченостей, количества винтовок, автоматов, пистолетов и патронов к ним, записал в особую тетрадь, что за кем числится. Не только шинель или полушубок, одеяло или сапоги, но каждую обойму патронов или пачку сигарет, глоток спирта или коньяка он выдавал только по письменному распоряжению командира отряда.

Помимо умелого ведения хозяйства, Скиба оказался не менее полезным и в другом важном деле. Хорошо зная район, в котором базировался партизанский отряд, он нес и разведывательную службу. Между ущельем и поселком Шабановское до войны находился пункт потребсоюза по заготовке ежевики, орехов, лесных яблок и груш. На пункте стояла рубленая изба, в которой

размещался в летнее время приемщик ягод и фруктов, а сторож со старухой и внуком жили там круглый год. Когда немцы заполонили Краснодарский край, старик вскинул на плечо двустволку, подпоясался патронташем и ушел в горы.

Скиба давно был знаком со сторожем и его старухой. Имелись у него знакомые и в Шабановском. Пробравшись на заготовительный пункт, Скиба узнал от старухи, что немцев в поселке нет, а живут они в землянках на поляне возле поселка с нагорной стороны — боятся налета партизан.

Однажды ночью, когда с ледниковых вершин на предгорье обрушилась метель, партизаны, ведомые Скибой, скрытно подошли к немецким землянкам. В момент нападения кто-то из партизан громко чихнул и чуть было не испортил все дело. Часовые подняли стрельбу. Немцы в одном белье выбегали из землянок и тут же падали под меткими партизанскими выстрелами. Поняв, что они окружены, остальные немцы начали отстреливаться через открытые двери.

— Гранаты к бою!— крикнул Васильев.— Глуши их, чумных крыс!

Партизаны ползком подобрались к дверям, из которых вылетали огненные струи трассирующих пуль, и начали швырять в землянки гранаты. Васильев уже было возрадовался в душе, что выполнение операции прошло так легко, быстро и без потерь. Но тут с утеса, нависшего над пропастью, на партизан одна за другой с воем посыпались мины, поляна огласилась криками раненых и стонами умирающих.

— Назад!— скомандовал Васильев.— Отползай к лесу! К лесу!..

Партизаны ползли по снегу, тащили на себе раненых и убитых товарищей. А миномет продолжал методично бить, на поляне от разрывов мин взвихривался снег.

Партизаны отступили в лес, подсчитали потери: семь убитых, двенадцать легко раненых.

— Мы ему хорошо всыпали, но и он, чертяка, здорово покусал нас,— сказал Васильев.

Когда возвращались на базу, Скиба забежал к старухе в сторожку, попросил:

— Пахомовна, ты бы нашей медицинской сестрице какую-нибудь посудину уделила, а то ей, бедняжке, ни бинтов, ни белья постирать не в чем. Беда!

— Да возьми вон то жестяное корыто. Я и деревянным обойдусь. А мыло есть?

— Есть. У фрицев позычили без отдачи.

— На вот еще два куска. Пригодится.

В лагерь партизаны пришли перед рассветом, где их ожидали Кавун, Анка, Бирюк и Цыбуля с двенадцатью партизанами, охранявшими базу.

— Сработали?— встретил Васильева вопросом Юхим.

— Сработали,— невесело вздохнул Васильев.

— Десятка два фрицев списали в расход,— внес ясность тихий и спокойный Краснов

— Добре,— сказал Кавун и пристально посмотрел на Васильева.— А чего это вы сумный такой, Григорий Афанасьевич?

— Семь товарищей потеряли... Минами, гад, накрыл нас...

Кавун ставшими вдруг непослушными руками молча снял с головы шапку...

Скиба пришел в медпункт как раз, когда Анка стирала бинты в немецкой каске. В очаге золотились угли, на которых стоял котелок с водой.

— Вернулись?— спросила она, перестав стирать.

— Вернулись,— и Скиба поставил к стене корыто, а мыло положил на столик.— Это подарок тебе, сестрица, от Пахомовны.

— Спасибо! Ой, да спасибо же вам!— обрадовалась Анка, всплеснув облепленными мыльной пеной руками.— Теперь я богатая хозяйка!..

Боевая группа отряда «Родина» делала вылазки, перехватывала на хоженых и нехоженых горных тропах вражеские транспорты вьючных лошадей, совершала налеты на поселки, занятые немцами. А Бирюк, прикомандированный Кавуном к медпункту в помощь Анке и вынужденный сидеть в лагере, нервничал. Ему дозарезу нужно было пойти в «разведку»...

Он, негодуя, жаловался Анке:

— Что же это, Анна Софроновна, нешто я последний человек в отряде? На операции не берут, в разведку не посылают. В каждый след Скибу да Скибу...

— Надо же кому-то и базу охранять,— успокаивала его Анка.— У тебя больная нога, вот начальство и учитывает это. Нельзя посылать хромых в разведку.

— Да я сильнее всех!— потряс Бирюк здоровенными кулаками.— У меня от злости на немчуру и хромота прошла. Вы бы, Анна Софроновна, замолвили за меня словечко.

— Мое словечко останется пустым звуком. Иди к Кавуну и сам говори с ним.

Но Кавун был непреклонен. В груди Бирюка поднималась

волна такой злобы, что стеснялось дыхание. И возможно, что злоба на партизан вот-вот прорвалась бы наружу каким-нибудь опрометчивым поступком, но случилось такое, отчего Бирюк тайно обрадовался, возликовал в своей темной душе...

Васильеву пришла в голову мысль: связать через Скибу Анку с Пахомовной. Не может быть, чтобы сторож заготпункта потребсоюза в скором времени не навестил бы свою старуху. Через него можно было бы связаться с другими партизанскими отрядами и координировать совместные боевые действия против гитлеровцев. К тому же старуха часто бывает в Шабановском и в других поселках, и от нее можно будет получать нужные сведения.

— А почему ты остановился именно на Анке?— спросил Краснов.

— Мужчину посылать к старухе как-то несподручно. Женщине легче выкрутиться. В случае встречи в лесу с немцами она будет нести на себе вязанку валежника, скажет, что собирала в лесу топливо.

— А если спросят, где живет?

— Скиба предупредит старуху, и она подтвердит, что Анка ее невестка, вдова, живет при ней с внучонком.

— Добре,— согласился Кавун.— Тильки треба стягнуть з Анки кожух и одеть ее в жиночу свитку.

— Это мы все предусмотрели.

Мысль Васильева была всеми одобрена, и решение военного совета осталось в секрете. Партизаны знали только одно: Скиба и Анка отправились в горы для выполнения какого-то особого задания командира отряда.

Чтобы запомнить дорогу, Скиба повел Анку к сторожке днем.

— Вот поваленное дерево... Вот покосившееся... Вот два сросшихся... А вот камни выступают из земли... Дупло... Четыре пня...— шептал Скиба, обращая внимание Анки на приметы.

— Хорошо. Запомню.

Неподалеку от сторожки Скиба оставил Анку за толстым стволом дуба, спрятал под полой пальто автомат и стал медленно пробираться к сараю, озираясь по сторонам. Анка следила за ним. Вот он перелез через плетеную изгородь, оглянулся и прижался к углу сарая. Так он простоял несколько минут. Потом решительно направился к сторожке. Только Скиба шагнул на порог, как открылась дверь и из сторожки вышли два гитлеровца. Они остановились в изумлении, увидев перед собой бородатого русского в стареньком пальто, подпоясанном обрывком веревки. Это пальто ему ссудил на время один кумураевский рыбак по просьбе Кавуна.

Скиба снял с головы шапку и держал ее на вытянутой руке, как будто просил милостыню. Гитлеровцы переглянулись, потом схватили Скибу за руки и втолкнули его в сторожку...

Анка тихо вскрикнула, схватилась за грудь. Ей казалось, что у нее перестало биться сердце... Долго стояла она на снегу, дрожа от волнения и холода. Наконец дверь открылась, и из сторожки вышел Скиба в сопровождении гитлеровцев. Он был без пальто, с обнаженной головой и со связанными за спиной руками. Лицо Скибы было в крови. Анка сунула за пазуху руку, и ее тонкие пальцы стиснули холодный металл пистолета.

«Нет, это бессмысленно... Дрожит рука... И далековато... Если бы автомат... Если бы гранаты... Как же я не догадалась?..»

Гитлеровцы увели Скибу за сторожку. Анка вздрогнула. «Да ведь они же убьют его!..» Выхватив из-за пазухи пистолет, бросилась к сторожке. Подхватив длинные полы пальто, она, словно пьяная, ковыляла по глубокому снегу.

Анка забежала с другой стороны лесной сторожки и чуть было не наскочила на гитлеровцев, стоявших к ней спинами. И тут все свершилось в какое-то короткое мгновение...

Скиба стоял со связанными руками на краю обрыва, голову не клонил, держался прямо. Позади него в глубокой расщелине шумел стремительный горный поток, гремя уносимыми вниз камнями. Когда Анка показалась из-за сторожки с пистолетом в руке, Скиба успел только улыбнуться ей. Сухой треск автомата оборвал его жизнь. Он покачнулся и рухнул спиной вниз, в гремящую расщелину... В то же мгновение Анка одну за другой послала пули в спины гитлеровцев... Они словно по команде повернулись к Анке, хватая ртами воздух, выронили автоматы и со стоном повалились на снег.

— Это вам за Скибу... За все... за все, проклятые душегубы...

Задыхаясь, она волоком подтащила трупы к обрыву и столкнула их в пропасть. Услышав позади себя шаги, Анка резко обернулась. К ней, озираясь по сторонам, подходила старуха.

— Вы... Пахомовна? — спросила Анка.

Старуха кивнула головой, вытирая концом головного платка мокрые от слез щеки.

— Я — Анка... из отряда...

— Слыхала, миленькая, слыхала. Мне Скиба говорил.

— Нет больше Скибы... — голос Анки дрогнул, и она закусила губу, устремив скорбный взгляд в расщелину.

— Видела, голубонька, все видела... Ах, и отчаянная ты голова... Идем в избу... Идем.

Анка, опустив голову, молча пошла за Пахомовной.

*
* *

В сумерках вернулась Анка в отряд, принесла автомат Скибы и два трофейных. Кавун выслушал ее и объявил партизанам:

— Товарищ Скиба пал смертью героя при выполнении боевого задания...

Смерть Скибы глубоко опечалила всех. И только Бирюк, изображая на лице скорбь, в душе радовался:

«Может, теперь пошлют в разведку. А нет... уйду и приведу сюда немцев...»

Но тут как раз и вызвал его к себе Кавун. Бирюк поспешил на вызов.

— Ты, кажется, уже не хромаешь? — улыбнулся Кавун.

— От злости на аспидов, товарищ командир, на фрицев. Кипит она во мне. Разве тут до болячек?

— Добре. Я вот тут с Афанасьичем и Лукичом посоветовался и решил удовлетворить твою просьбу. Пидешь в разведку. Согласен?

— Давно рвусь! — выпалил Бирюк, весь преобразившись.

— Собирайся. Цыбуля выздоровел, вот з ним и пидешь. Вместе вам будет веселее.

У Бирюка упало сердце. Он сразу остыл и непонимающе посмотрел на Кавуна.

— Что же ты молчишь?

— Да ведь разведка... дело серьезное. Какое ж тут веселье может быть? А чего нам порознь не пойти?

Васильев возразил:

— Цыбуля хорошо знает этот край. Ты же новичок в горной местности. Заплутаешь и к немцам в зубы угодишь.

— Да у меня глаз цепкий, память липучая. Раз пройду и навеки запомню каждый кустик, дерево, камушек. Я любого фрица вокруг носа обведу. Еще и языка могу привести.

— Языки нам не нужны, у нас нет переводчика.

— Ну... — Бирюк вытянул руку с растопыренными пальцами,— буду пузыри из них выдавливать.

— Это дело другое,— Васильев взглянул на Кавуна.— А что, командир, может, пошлем их порознь?

— Хай идуть порознь,— согласился Кавун.

Утром Цыбуля ушел в одну сторону, а Бирюк — в другую.

Проходили дни, ночи. С гор время от времени обрушивались метели, бушевал и выл ураганный ветер, засыпал снегом предгорье. Юхим уже два раза ходил в разведку, боевая группа пар-

тизан уничтожила немецкий гарнизон в Безымянном, а Бирюк все не возвращался на базу, словно в воду канул.

— Пропал, видно, не иначе.

— Наверное, где-нибудь в лесу в петле болтается, бедняга,— решили в отряде и внесли его в список погибших...

...Но Бирюк был жив. Ему просто в самом начале не повезло. Возле селения Пятигорское, что в десяти километрах юго-западнее Горячего Ключа, на лесной тропе он наткнулся на трех гитлеровцев. Бирюк и немцы остановились. Памятуя о наставлениях майора Шродера, Бирюк поспешно извлек из кармана полушубка белый платок, помахал им и смело зашагал навстречу гитлеровцам, произнося:

— Фюрер-Ост! Фюрер-Ост!

А спустя четверть часа он напоминал общипанного гуся. Гитлеровцы забрали у него карабин (от трофейного автомата он умышленно отказался, боясь, что немцы сразу же прихлопнут его), раздели до белья, сняли сапоги и погнали его босиком по снегу в село Пятигорское.

Бирюка ввели в какую-то хату. Там, во второй комнате, сидели за столом немецкий лейтенант и раскрашенная девица с полуобнаженным пышным бюстом и в короткой, выше колен, юбке. Лейтенант наливал из бутылки коньяк в ее туфлю и пил. Девица, раскачиваясь на стуле, визгливо хохотала.

Лейтенант швырнул на стол бутылку и туфлю и уставился на Бирюка мутными глазами. Он спросил о чем-то солдат по-немецки.

— Пор-ти-зант,— сказал один.

Другой показал карабин и полушубок.

— Фюрер-Ост,— хрипло прогудел оробевший Бирюк, переминаясь с ноги на ногу.

Лейтенант встал, шагнул к Бирюку.

— Што сказаль?

— Фюрер-Ост...

— Портизант? — взревел лейтенант, левой рукой указав на карабин, и тут же правой дал Бирюку тычка в зубы.

Бирюк качнулся, прошептал:

— Фю.. рер... Ост...

Вторым ударом в лицо лейтенант сшиб Бирюка с ног, махнул рукой, что-то выкрикнул. Солдаты схватили Бирюка за руки и поволокли из хаты.

У лейтенанта был период беспробудного запоя, и он только на шестые сутки вспомнил о Бирюке. Не имея переводчика и не владея русским языком, лейтенант не мог объясниться с Бирю-

ком и отправил его в Горячий Ключ. Когда его ввели к немецкому офицеру и он произнес «Фюрер-Ост», немец насторожился.

— Фюрер-Ост. Шродер. Майор Шродер... — торопился Бирюк объясниться, прежде чем его начнут бить.

Но на сей раз его не стали бить. Офицер сделал знак обождать и вышел. Через несколько минут он вернулся с девушкой.

— Откуда вы знаете майора Шродера? — спросила девушка по-русски.

— Это секрет,— мрачно прогудел Бирюк, ощупывая вспухшую губу и поглаживая синяк под глазом. Он был голоден и зол.

Девушка перевела офицеру ответ Бирюка. Они обменялись несколькими словами, и девушка снова обратилась к Бирюку:

— Господин офицер поможет вам. Скажите только одно: где вы познакомились с майором Шродером?

Бирюк долго сопел, размышлял и, наконец, сказал:

— В Мариуполе.

Офицер и девушка вышли, оставив Бирюка одного. Так и просидел он всю вторую половину дня со своими невеселыми думами, никем не тревожимый, словно о нем совсем забыли.

«Хорошая встреча, вашу мать... Аспиды... Вот и махнул белым платочком... Как бы на тот свет не махнуть...» — от таких мыслей Бирюка бросило в озноб.

Но вечером, к его удивлению и радости, ему принесли брюки, гимнастерку, сапоги, полушубок и... карабин. А еще через полчаса он уже мчался в легковой машине в Краснодар в весьма приподнятом настроении.

В тот самый день, когда в отряде Бирюка внесли в список погибших, он сидел за маленьким столиком в кабинете майора Шродера, пил коньяк и с жадностью глотал, не прожевывая, куски сыра и колбасы.

— Еще коньяку? — предложил майор.

— Хватит. Я эту неделю почти не жрамши, ослаб.

— Кушай, кушай. Потом уснешь, сил набирайся.

— Насчет силов, это я — мигом дело... А вот с распухшей губой и синяком под глазом как в отряд явиться?

— Вывернешься. Мы дадим тебе тут одного парня, он и подтвердит ту версию, которую ты расскажешь в отряде.

— Какую версию?

— Потом узнаешь. Кушай и — отдыхать.

— А какого парня? — допытывался Бирюк.

— Паука. Хороший парень. Наш. С тобой в отряд пойдет.

Бирюк перестал жевать, поднял косматые брови.

— Это что же, господин майор, вроде не доверяете мне? Под контроль, значит?..

— Ты пользуешься у нас исключительным доверием.

— Зачем же мне тогда этот самый паук?

— В помощь. На него ты будешь опираться в своей работе.

— А-а-а... — удовлетворенно прогудел Бирюк, засовывая в рот кусок колбасы. Он еще минут пять щелкал крепкими зубами, словно железными подковами, потом встал.

— Благодарствую. Сыт.

Майор стоял у карты. Бирюк подошел к нему.

— Значит, отряд «Родина» базируется вот здесь? — майор ткнул карандашом в карту.

— Да. Вход в ущелье завален камнями. Самый удобный подход к партизанской базе вот отсюда... от Шабановского. Перед ущельем — поляна. А на поляне пулемет установлен.

— Ясно... Местонахождение других партизанских отрядов тебе неизвестно?

— С ними пока не налажена связь.

— Налаживайте. Используй в этом деле Паука. Но... будьте осторожны.

— Ясно.

— Убивайте партизан при первой же подвернувшейся возможности.

— И прежде всего коммунистов,— вставил Бирюк.— Командиров...

— Совершенно верно. Но делайте так, чтобы на вас и малейшая тень подозрения не пала.

— За чистоту моей работы будьте спокойны, господин майор. А вот ваши офицеры, вроде дурака лейтенанта, плохо работают. Ишь, как он мне харю разукрасил.

— Лейтенант прибыл с пополнением. Новичок. Его не успели предупредить. Больше этого не повторится. Идем.

Майор ввел Бирюка в полутемную комнату, в которой стояли две койки. На одной из них лежал такой же, как Бирюк, верзила, только по виду старше лет на десять. Верзила встал. Он оказался ростом вровень с Бирюком, широкоплечий, с длинными, как у обезьяны, сильными руками. Взгляд черных глаз был смелый и наглый, тонкие губы его беспрестанно шевелились.

— Паук. А это — Бирюк. Знакомьтесь и отдыхайте,— и майор вышел.

Бирюк опустился на койку, минуту рассматривал Паука, спросил:

— Кто ты и откуда?

— Да как тебе сказать... Тутошний я, из станицы Красноармейской.

— Родители есть?

— В ссылке померли. И я был с ними. Потом мне вольную дали.

— А за что их выслали?

— Еще в 1932 году, за саботаж на Кубани.

— Значит, наш. Кругом свой. А теперь — спать. Уморился я... — Бирюк, не раздеваясь, растянулся на койке.

Возвращение на базу Бирюка, да еще со «спасенным» им же «советским гражданином» вызвало среди партизан бурю восторга.

— Смелый, дьявол!

— Вот тебе и хромоногий!

— Изворотливый малый...

В большой пещере было душно и угарно. Дымил в очаге потрескивающий валежник, дымили цигарками партизаны. Вошли Кавун, Васильев и Краснов.

— Ну и начадылы, хай вам грець,— и Кавун, отмахиваясь руками, направился к очагу, возле которого грелись Бирюк с Пауком. Увидев командира отряда, они разом встали. На Пауке была короткая, не прикрывавшая даже колен, тесная в плечах и талии немецкая шинель.

— Ну, здорово був, лазутчик,— и Кавун потряс Бирюка за плечо.

— Здравствуйте, товарищ командир!

— А це хто такий? — кивнул он на Паука.

— Гражданин Советского Союза. За отказ служить фашистским аспидам был приговорен к расстрелянию, а я его из лап смерти вырвал.

— От який ты молодец, чортяка!.. — засмеялся Кавун, поддерживая руками трясущийся округлый живот.

— Как зовут вас? — спросил новичка Васильев.

— Паук.

— Паук? — перестав смеяться, удивленно посмотрел на него Кавун.

— Собственно... моя фамилия Пауков. Но меня еще с детства прозвали Пауком, ну... я и свыкся.

— Как и я...— покачал головой Бирюк.

— Напрасно,— сказал Васильев.— Фамилия есть фамилия, а Паук — кличка.

— А что поделаешь, когда меня всей станицей так окрестили. Вот и прилип ко мне этот самый «паук»... Можно сказать, присосался.

— А как тебя немцы зацапали?— спросил Краснов.

— Когда наши отступили, я лежал дома, в станице Красноармейской, больной. У меня камни в печени. Потом пришли немцы. Ихний врач осмотрел меня и сказал: «Здороф!» Ну, и мобилизовали на работу... тюки в горы на спине таскать. Я убежал. Поймали, смертным боем били. Когда отдышался, к расстрелу приговорили. Думал — все, конец пришел. А тут подвернулся ваш разведчик и выручил меня... Можно сказать, спаситель жизни моей.

Среди партизан послышались вздохи. Васильев легонько толкнул Бирюка в спину:

— Теперь за тобой слово. Докладывай о своих похождениях. А то мы тебя в список погибших внесли. Думали: сцапали нашего разведчика.

— Скорее все фрицы передо́хнут, нежели Бирюка словят...

В пещеру вошла Анка.

— Ну, здравствуй!

— Анна Софроновна! Сестрица!

— Пришел?

— Прилетел. На парусах мчался. И вот пришвартовался к родному берегу.

— Хорошо. А кто это тебе лицо так расписал?

— Скажу, скажу. Значит, так...— продолжал Бирюк.— И в лесу, и в поселках фрицовни тьма-тьмущая. Ровно черви кишат. Трудновато дальше продвигаться. А хочется побольше выглядеть да вынюхать. Какой же это разведчик, ежели он ни с чем на базу возвернется? Пришлось трое суток в дупле просидеть. Ночью сплю, а днем высунусь и по сторонам зыркаю, на ус мотаю. А фрицы туда-сюда шмыгают и, видать, злые, аспиды. Думаю, наверное, не сладко им в горах, склизко, до перевала никак не доберутся, вот и злятся.

Гляжу, а у меня, как ни экономил, энзе кончился. В воде я не нуждался, кругом снегу много, а жрать нечего. Что делать?.. И не успел я мозгой пошевельнуть, как увидел старика в лесу. Он валежник собирал. Я тихонечко свистнул. Старик огляделся, заметил меня, подошел к дуплу. Оказалось, он охотник, а летом и по осени ягодой и лесной фруктой промышляет. Живет в халупке, в лесу, возле поселка Пятигорское. Старик и укрыл меня у себя в сарайчике. Дал мне тулуп, постлал медвежью шкуру и хворостом притрусил. Так и провел я в этом сарайчике че-

тыре дня и четыре ночи. Выжидал удобного случая. Хотелось к самому Горячему Ключу пробраться, поразведать, что там делается. Не удалось. Старик сказал: «Не пройдешь, а в зубы им попадешь. Их там, как саранчи. Пальцем некуда ткнуть».

Старик приносил мне еду и кипяток в кружке. Рассказывал, что немцы каждый день расстреливают у обрыва и пленных, и местных жителей. Закипела во мне злость, я и говорю ему, старику:

— Папаша, надо мне за дело браться. Надоело взаперти томиться. Когда поведут кого из наших к обрыву, скажи...

Это было вчера вечером... Лежу я под хворостом и слышу, кто-то в сарай вошел, тяжело дышит и этак тихо говорит: «Повели, сынок... Сначала трое двоих повели, а сейчас двое одного погнали... Раздетого погнали...» Это вот его, Паука, гнали. Схватил я свой карабин, поблагодарил старика за хлеб-соль и промеж деревьев, хоронясь за стволами, вслед... Смотрю: стоит Паук со связанными руками. Немцы автоматы на него направили. Где-то близко раздались короткие очереди из автоматов. Тут я из карабина два свинцовых плевка послал. Немцы упали. Я подбежал к Пауку, шепчу ему:

— За мной... за мной...— а он стоит, как обалделый. И только я развязал ему руки, слышу позади себя:

— Хальт!.. Хенди хох!..

Спасибо, голова моя, мигом дело, быстро сработала. Я пошел на хитрость: поднял руки, моргнул Пауку, будь, мол, наготове, повернулся к немцам. А они подают мне знаки: «Карабин брось»... Что ж, хитрить, так до конца хитрить. Бросил карабин. Немцы подошли к нам.. И тут я враз опустил руки, вцепился одному фрицу в горлянку. Но он, аспид, успел два раза саданyть меня. Раз в зубы угодил, другой — в глаз. Тогда я так дабанул,— он сжал в кулак пальцы,— что у него пузыри на губах показались.

— А второй?— спросила Анка.

— Я его прикончил,— сказал Паук.

— Здо́рово,— похвалил Краснов, жуя губами ус.

— Шинель-то у тебя не по размеру,— заметил Васильев, глядя на Паука.

— Как раз подвернулся под руку плюгавенький фриц.

— Да и времени не было выбирать,— сказал Бирюк.— Это не в магазине. Тут уж хватай, какая попалась, и уноси скорей ноги.

— Шинель подберем. А вот куда мы определим Паукова?— и Васильев посмотрел на Кавуна.— В охрану пока зачислим?

— Хай пока в охрану,— Кавун поднялся.— Ходимте до свого куреня. Хлопцям треба видпочиты.

— Пошли. Идем, Анка, с нами,— сказал Васильев.

Выйдя на свежий воздух, он спросил Анку:

— Как тебе новичок?

Анка пожала плечами.

— Мне его глаза не нравятся. В них или испуг, или... что-то... Трудно определить.

— Человека враз не розкуштуешь,— заметил Кавун.

— Это верно,— согласился Краснов.

XXXII

Рокот авиамоторов в морозном воздухе почти не прекращался. Над горной полосой летали и советские и немецкие самолеты. Летали и днем и ночью. Партизаны были свидетелями не одного воздушного боя.

Днем из-за перевала показывались высоко в небе советские самолеты, охраняемые истребителями. Они шли на Краснодар, Майкоп и Армавир бомбить вражеские тылы и аэродромы.

Ночью в воздух поднимались со своих баз легкие бомбардировщики У-2. Они обрабатывали передний край противника, сбрасывая на траншеи и блиндажи термитные бомбы. Ночные бомбардировщики были грозой для немцев, они наводили на них панический ужас, лишали отдыха, беспокоили до самого рассвета.

— Рус фанера-авион? Уф!..— вспоминали пленные немцы, при этом зябко ежились и трясли головами. Видно, здорово насолили им У-2.

Как только наступала ночь, все воздушное пространство горной полосы наполнялось булькающим рокотом моторов. Это неутомимые труженики, ночные бомбардировщики У-2, принимались за свое дело. Прислушиваясь к знакомому рокоту, партизаны говорили:

— Наши «буль-буль» прилетели.

— Теперь фрицы, словно крысы, по норкам разбежались.

Как-то Анка стояла возле медпункта. На ее поднятое кверху лицо падали крупные снежинки и тут же таяли, превращаясь в капельки воды, стекавшие к подбородку. Анка ничего не видела в мутно-белесом небе, но жадно слушала мягкий рокот моторов. Частый перестук зенитных пулеметов и глухие взрывы

термиток постепенно становились глуше, словно отодвигались.

Анка хотела уже было пойти в хижину, взялась за дверную скобу, но так и застыла на месте, напряженно вглядываясь в мутное небо. Там что-то вспыхнуло и погасло.

«Может, мне показалось?»— подумала Анка.

Но вспышка повторилась с большей силой, и яркое пламя, разгораясь, раздвинуло на несколько метров вокруг себя ночную темень. Через минуту, падая с высоты и полыхая огромным факелом, мимо базы партизан с шумом пролетел самолет и упал за высоким гребнем увала, покрытого густым лесом. Анка, крепко сжимая в руке дверную скобу, все еще смотрела в ту сторону, куда только что упал ночной бомбардировщик У-2, охваченный пламенем.

Кавун, проверив сторожевые посты, возвращался в ущелье. Проходя мимо хижины медпункта, он заметил Анку, подошел к ней.

— Чего не спишь?

— Юхим Тарасович... Один наш самолет...

— Бачив,— сказал Кавун.

— Но ведь летчик, наверное, сгорел?

— А может, и сгорив, раз его литак подпалыли. На войне так: или враг нас или мы врага. Ясно, дочка?

— Ясно,— вздохнула Анка.

— Ото ж иди видпочивай.

Зенитные орудия и пулеметы немцев открыли сильный огонь. Трассирующие пули, оставляя за собой светящийся след, густо прошивали воздух. Это было похоже на огненный ливень, только вопреки всем законам природы сверкающие струи не падали вниз, а потоками устремлялись в темное небо.

Летчик Орлов, хладнокровный и никогда не терявший самообладания, вел свой самолет как раз туда, где бушевал свинцовый ливень. У него остались две бомбы и надо было подавить пулеметные гнезда противника.

Он видел, как его товарищи, отбомбившись, выпустили по одной зеленой ракете. Это означало, что они уходят за перевал, на базу. Но Орлов не изменил курса, он вел самолет на цель.

И вот, когда цель была совсем близко, летчик почувствовал, как что-то обожгло правую ногу чуть повыше колена. Потом боль отдалась в голове, будто кто-то вонзил в мозг острие булавки.

«Неужели ранен?..» — он попробовал согнуть в колене ногу, потянул на себя; нога не повиновалась.

Вдруг яркая вспышка ударила по глазам, ослепила на мгновение. Орлов зажмурился. Через две-три секунды он открыл глаза. Пламя бушевало уже над его головой. Сбросив бомбы, Орлов пролетел еще немного, напряг все силы и вывалился за борт самолета.

Парашют раскрылся так близко от земли, что Орлов неизбежно разбился бы. Он поздно вырвал кольцо. Но, к его счастью, шелковый купол парашюта зацепился за крону высокой пихты. Ветви, ломаясь, затрещали и замедлили падение. Достав из кармана перочинный нож, летчик поспешно обрезал стропы и пополз. Снег, валивший крупными хлопьями, заметал след.

Весь остаток ночи Орлов с короткими передышками полз лесом по снегу. Надо было как можно скорее и дальше отползти от места приземления. Он попытался встать на ноги, цепляясь за гибкие стволы молодого дубняка, но не смог. От нестерпимой боли в ноге закружилась голова, и несколько минут Орлов лежал на снегу без движения.

По ровному месту еще можно было кое-как ползти, а вот подъем, хотя бы и по отлогому склону, причинял невыносимые страдания. И все же, пересиливая мучительную боль, Орлов полз. Он понимал, что надо ползти во что бы то ни стало, быть в движении, пока окончательно не иссякли силы. И, хватая пересохшими губами снег, он упорно продвигался вперед, поддерживаемый надеждой, что в конце концов ему попадется в лесу какая-нибудь обжитая или заброшенная халупа, где он сможет вскрыть индивидуальный пакет и перевязать рану. Но ни халупы, ни даже медвежьей берлоги не встретилось ему на его тяжком пути.

Светало, когда измученный, теряя последние силы, Орлов дополз до поляны.

«Больше не могу... Все... кончено...» — и он ткнулся лицом в мягкий пушистый снег.

Но тут его острый слух уловил чьи-то тихие голоса. Орлов весь напрягся. Вот он различил среди приглушенных голосов одно, второе, третье русское слово. Да, это родная русская речь.

«Неужели?..» — Орлов последним усилием приподнял голову, хотел крикнуть, но из запекшихся, потрескавшихся от жара губ

вылетел слабый хриплый стон. А голоса, хоть и приглушенные. были совсем близко, рядом...

Орлов сделал еще одну попытку сдвинуться с места и обессилел вконец. Тогда негнущимися пальцами он отстегнул кобуру, вытащил пистолет и выстрелил. Голоса смолкли. Срлов выстрелил еще раз. И каково же было его разочарование, когда из кустов высунулись двое с немецкими автоматами. Один был в полушубке, другой в немецкой шинели.

«Фрицы,— решил Орлов.— Но советский летчик в плен не сдается...— он поднял пистолет.— И для вас хватит, и для меня один патрон останется...»— Рука его дрожала, он не мог прицелиться. Выстрелил наугад.

— Товарищ!— вполголоса окликнул его Юхим Цыбуля, одетый в полушубок.— Ты летчик? Русский? Мы — партизаны. Товарищ,— и глаза его тепло засияли,— мы тоже русские. В кого же ты стреляешь?

Пистолет выпал из рук Орлова. Юхим подбежал к летчику, опустился возле него на корточки.

— Свои, свои, товарищ... Это твой самолет подожгли фрицы?

— Мой,— прошептал Орлов и впал в беспамятство.

— Беги на медпункт,— сказал Юхим партизану, дежурившему с ним у пулемета.— Живо!..

Партизаны обогнали Анку. В полушубке и с санитарной сумкой она увязала в глубоком снегу и, запыхавшись, часто останавливалась, чтобы перевести дыхание. Близ поляны Анка встретила партизан. Они несли Орлова на плащ-палатке. И каким иссиня-бледным ни было его лицо, заострившееся, как у мертвеца, Анка узнала Орлова. Она коротко вскрикнула «Ох!..»— и привалилась к дереву.

— Он жив?

— Ти-и-ше. Жив.

Чего угодно могла ожидать Анка здесь в горах, только не этой огромной радости...

«Наверно, судьба вознаграждает меня за перенесенные испытания»,— Анка рывком сорвалась с места и бросилась вслед за партизанами, которые осторожно несли Орлова к ущелью. Она молча шла рядом, не в силах оторвать глаз от изменившегося обескровленного лица любимого.

Раненого летчика принесли на медпункт, положили на постель.

— Товарищи, пусть кто-нибудь один из вас останется, осталь-

ные уходите,— сказала Анка — Тесно здесь. Скажите Юхиму Тарасовичу, что вы принесли на медпункт летчика Орлова. Пусть он придет немного позже, я пока сделаю перевязку.

Партизаны ушли. Анка вынула из чехла свой финский нож, попросила партизана снять с Орлова унты, разрезала меховую штанину. Она работала быстро и умело. Партизан помогал ей. Рана была рваная, осколочная. Анка осторожно обработала ее, смазала края йодом и забинтовала.

— Ну вот...— облегченно вздохнула она.— Спасибо тебе, дружок.

И только партизан ушел, кто-то постучал. Анка открыла дверь. У порога теснились Кавун, Васильев, Краснов.

— Анка, це вин? Орлов?— спросил Кавун.

— Посмотрите. Я еще сама не верю своим глазам.

Все вошли в хижину.

— Он, только до чего же изменился, бедняга,— наклонился над раненым Краснов.

— Це той самый, шо на Косу прилитав?

— Тот самый.

— Счастливая ты, Анка,— улыбнулся Васильев.

— Григорий Афанасьевич, всю жизнь у меня счастье из рук ускользает...

— Теперь не ускользнет.

Кавун кивнул в сторону Орлова.

— Спит?

— Все еще не приходит в сознание.

— Тогда пишлы, товарищи,— распорядился Кавун, и все тихо вышли из хижины.

С каждым днем Орлов чувствовал себя все лучше. В этом немалую роль играло то обстоятельство, что рядом с ним была Анка. Общее состояние его здоровья заметно улучшилось, но на ногу стать он еще не мог.

— Не раздроблена ли кость?— не на шутку встревожилась Анка.

— Нет. Думаю, осколок слегка задел кость, но все же временами пока чувствую острую боль.

— Это потом пройдет?

— Конечно, пройдет. Дай срок, и я снова обрету крылья.

— Даю,— улыбнулась Анка,— только поскорей бы окрепли твои крылья.

Как-то Анка сидела на краешке лежанки и неотрывно смотре-

ла на спящего Орлова. Вдруг он открыл глаза и с удивлением посмотрел на Анку. Она улыбалась светлой, радостной улыбкой, а по щекам ее катились слезы.

— Что с тобой, Аннушка? Ты плачешь?

— По дочке истосковалась... по Валюше.

— А где ты оставила ее?

— В Кумушкином Раю.

— С кем?

— С отцом. Там же остались и Евгенушка с Галей.

Орлов погладил Анкину руку, сказал:

— Успокойся, родная. Валюша не одна. И дедушка, и Евгения Ивановна присмотрят за нашей дочкой.

Анка нежно посмотрела на Орлова и поцеловала его в голову.

Над очагом был подвешен котел. В нем кипела вода, выплескивалась на пылавший валежник.

— Яшенька, сними рубашку, я постираю.

— Хорошо. Помоги мне подняться.

За дверью послышался трубный голос Бирюка:

— Анна Софроновна, можно к вам?

— Заходи, заходи!

Бирюк вошел в хижину.

— Ты что же не приходишь?— корила его Анка.— Уже все бронзокосцы навестили больного, а ты и глаз не кажешь.

— Да неудобно, Анна Софроновна, беспокоить... А вот прослышал, что больному полегчало, и пришел.

— Яша, ты помнишь его? Секретарем сельсовета работал.

— Помню. Здорово, земляк.

— Здравствуйте, товарищ Орлов.

— Извини, сесть-то не на что.

— Мы, партизаны, ко всему привычные,— и Бирюк опустился на земляной пол.— К тому же я ненадолго...

Анка, помогая Орлову надеть гимнастерку, спросила:

— Что это у тебя, в кармане?

— В левом кармане? А-а... Можешь посмотреть.

Анка вынула голубой конверт, извлекла из него письмо и снимок Ирины. Прочитала письмо, посмотрела на карточку, подняла плечи.

— Ничего не понимаю...

— У фронтовиков такой закон: если поступит в часть подобное письмо, его вручают тому, кому всем коллективом присудят. Вот мне и присудили. Как ни отпирался, ничего не вышло. Пришлось подчиниться... Ты не ревнуешь?— улыбнулся Орлов.

— Что ты, Яшенька!— Анка подошла к нему и, не стесняясь

Бирюка, поцеловала.— Родной мой, я же верю тебе... А девушка чудесная. Ты писал ей?

— Нет.

— Зря.

Бирюк поднялся.

— Покажите-ка... Да, видная девка. Но не красивше Анны Софроновны.

Он вернул снимок, пожелал больному скорого выздоровления и вышел из хижины.

После короткого размышления Бирюк зашел к Кавуну.

— А-а, Харитон. За якою справою пожаловал?

— По деликатному делу, товарищ командир.

— Кажи, шо там у тебя.

— Да вот... проведал я больного.

— Добре зробыв.

— Так-то оно так, да выходит, не все хорошо...

— А шо?

— Орлов и Анка под одной крышей вдвоем... Неловко както... Обнимаются, целуются... Ну, скажем, это при мне... А если при другом?.. Да при третьем?.. Какие пойдут разговорчики в отряде? Это я вам как командиру... как родному отцу... Ведь я уважаю Анну Софроновну... И чтобы о ней дурно говорили...

— Вот что, Харитон,— строго оборвал Кавун.— Дело это тебя не касаемо. Так что не суйся, куда не просят. Зря доброго имени Анки трепать я не позволю...

— Да что вы, товарищ командир, конечно, Анна Софроновна чести своей не уронит, я хорошо знаю ее. Но... прошлое-то люди помнят...

— И мы гарно знаемо...

Встретив Паука, Бирюк сказал с досадой:

— Сорвалось, черт... Хотел, чтоб командир убрал Анку с медпункта. Орлов остался бы один. Уж я бы не упустил случая... летчика того... тихо под ноготь...

XXXIII

Когда Анка поутру заглянула в «штаб», Кавун весело спросил:

— Як там летчик?

— Прыгает!— засмеялась Анка. Глаза ее радостно сияли.

— Шо?

— Скачет, говорю, вокруг очага. Бирюк сделал ему урод-

ливые костыли, на которые нельзя смотреть без смеха, а он, как дитя малое, им радуется. Потеха!

— А як у него с температурой?

— Спадает. С ногой еще плохо, ступить на нее не может.

— Раз температура спадае, значит, мои опасения булы напрасными.

— Какие опасения?

— Я боявся гангрены. Но, видно, болезнь его закинчится благополучным исходом.

— И я верю в счастливый исход.

В хижине было тепло и уютно, но Анке в эту ночь не спалось.

«С чего бы это?»— думала Анка, закрывая глаза, но сон не шел к ней.

За перегородкой, где находился раненый Орлов, было тихо. Как он себя чувствует? А вдруг ему стало хуже. Она тревожно вскакивала с постели, набрасывала халат и долго прислушивалась. Из-за перегородки доносилось ровное дыхание.

«Спит...»— и Анка, успокоенная, уходила к себе.

Все же уснула она только на рассвете. Но поспать так и не пришлось. Через час ее разбудили неясный гомон и топот ног. Анка торопливо одевалась. Она уже различала знакомые голоса.

— Васильев!..

— Иду!..

— Михаил Лукич!

— Слушаю!

— Возьми человек пять и заслони вход в ущелье с этой стороны.

— Закупорим!

— Разбудите Анку!

— Я готова, товарищ командир!— Анка выбежала, захватив санитарную сумку.

— Пишлы...

Было уже совсем светло. На поляне шла перестрелка. Мины, падая с высоты на густой лес, ударялись о ветви дуба, с треском разрывались.

— Ишь, якими гостынцями швыряются,— сказал Кавун, подходя к поляне.

Вдруг пулемет смолк. Кавун подошел к Цыбуле:

— В чем дело?

— Ленты пустые, товарищ командир. Все патроны расстрелял. Зато фрицев не пропустил, отхлынули, гады, назад.

На поляне валялись трупы немецких солдат.

— Твоя работа?— спросил Кавун.

— Его,— ответил напарник Юхима.

— Так они же лезли прямо на рожон, чумные гады. От них за версту шнапсом несло.

— А где Васильев?

— Повел партизан в обход. Он слева нажал на фрицев и погнал их туда, откуда бил миномет. Слышите? Уже не стучит и мины не летят.

Анка бросилась вправо. Там послышались выстрелы.

— За мной!— крикнул Кавун Цыбуле и его напарнику и последовал за Анкой.

Но она уже скрылась в лесу.

Тем временем Бирюк, отстав от партизан, которых повел Васильев, лежал на снегу у кромки леса и обозревал поляну. Позади него затихала редкая перестрелка.

«Васильев с партизанами добивает остатки,— с горечью подумал он.— Эх, сорвалось...»

Но там, в лесу, куда побежала Анка, а за ней Кавун, участились выстрелы.

«Дураки,— ругал Бирюк немцев.— На пулемет полезли... А потом, как стадо баранов, рассыпались... Надо бы тихо, ужом подползти...»

На этом размышления Бирюка были прерваны. Отбиваясь обнаженнной шашкой от наседавших на него немцев, Кавун медленно пятился из лесу на поляну. Взбешенный офицер, указывая пистолетом на Кавуна, что-то выкрикивал на своем гортанном, лающем языке, но приблизиться к Кавуну не решался и почему-то не стрелял в него. Видимо, он хотел взять живьем этого грозного, богатырского телосложения командира партизан, только не своими руками, а руками солдат.

Вдруг Кавун резко повернулся, сделал несколько стремительных прыжков и прислонился спиной к дубу. Этим маневром он обеспечил себе более выгодное положение для обороны. Офицер, притаптывая снег позади солдат, толкал их в спину пистолетом. Один солдат бросился на Кавуна, но в воздухе вспыхнул холодный блеск острой стали, и голова гитлеровца полетела с плеч. За ним было кинулся второй, но в страхе отпрянул. Тогда Кавун, не теряя ни секунды, одним броском очутился возле солдата и молниеносным косым ударом по плечу прикончил его, отделив от туловища голову и левую руку. Это был удар страшной силы, при виде которого немецкий офицер оцепенел на несколько секунд...

«Халява, а не офицер... Чего же не стреляешь?..» — заерзал на снегу Бирюк и взял Кавуна на мушку карабина. Из лесу на поляну выбежала Анка с пистолетом в руке. Выстрелы Бирюка и Анки слились в один короткий звук. Разом, словно по команде, упали на снег Кавун и немецкий офицер...

Смолкли выстрелы. В лесу снова воцарилась тишина. Прошло около часа, как партизаны унесли Кавуна и вернулся на базу со своим взводом Григорий Васильев, а Бирюк все лежал на месте. Он заметил неосторожное движение одного немца, лежавшего среди убитых на поляне, и выжидал... Немец лежал на спине. Приподняв во второй и третий раз голову и осмотревшись, немец перевернулся на брюхо и пополз, не переставая боязливо озираться. Он полз прямо на Бирюка. Вдруг немец стал забирать в сторону. Достигнув кустарника, он поднялся на ноги и пустился было бежать, но приглушенный шипящий окрик позади — «Хальт! Хенде хох!» — приковал его к месту. Подняв руки, немец медленно повернулся.

«Хитрый, аспид, убитым прикинулся», — усмехнулся Бирюк и кивнул через плечо:

— Плен... Топай!

Перепуганный немец повиновался. Стоявшие в конце поляны часовые, увидев Бирюка, конвоировавшего немца, засмеялись:

— Доброго осетра словил, — похвалил кумураевец.

— Не рыбак, а счастье рыбацкое так за ним и ходит, — съязвил бронзокосский партизан.

— Попробуй словить такое счастье, — угрюмо огрызнулся Бирюк.

— Черт косолапый. Да я таких сопливых фрицев нынче дюжину перешиб.

— Топай, топай, аспид!— прикрикнул Бирюк на немца.

В отряде подсчитывали потери. Оказалось: убитых — одиннадцать; легкораненых — шесть; тяжело — двое: один боец, которого поместили к Орлову, и Кавун; без вести пропавших — тоже двое: один кумураевский рыбак и Бирюк.

— Таких потерь мы еще не имели, — покачал головой Краснов.

— Но и схваток таких тоже не было, — возразил Васильев. — Шутка ли, целая рота с минометом навалилась на нас.

В пещеру вбежал партизан.

— Товарищ командир, один пропавший сыскался, — обратился он к Васильеву.

— Кто?
— Разведчик наш.
Вошел Бирюк, подталкивая немца.
— Топай, топай, аспид.
— Вот черт! — воскликнул Краснов. — Повторно воскресает из мертвых. И каждый раз не с пустыми руками приходит.
— Зачем ты приволок его? — нахмурился Васильев.
— Трофей, товарищ командир. А раз он мой трофей, дозвольте мне же дать ему путевку к его прабабушке.
Васильев махнул рукой и отвернулся.
— Топай! — кивнул Бирюк немцу...
...Метрах в трехстах от лагеря Бирюк остановил немца, выстрелил два раза вверх из карабина, тихо сказал:
— Рви когти. Да живо. Ну?
Немец стоял на месте, ничего не соображая.
— Беги, дурак... Драпай...
Немец понял. В его глазах загорелась надежда. Он улыбнулся, залепетал:
— Ка-ме-рад... Ту-ва-рыш...
— Идиот! — злобно прошипел Бирюк. — Я тебе, туды и растуды, в душу и печенку, такого товарища дам... Беги! — и показал ему, куда надо бежать. — Туда, туда, аспид вонючий.
Словно налетевший шквал подхватил немца, и он помчался с такой резвостью, что ему впору было с зайцем бегать наперегонки. Но совсем близко прогремела автоматная очередь. Немец как-то странно подпрыгнул и нырнул головой в снег. Бирюк кинулся на звук выстрела. По склону вниз сползал кумураевский рыбак, оставляя на снегу кровавый след. Он-то и считался без вести пропавшим. Увидев Бирюка, партизан обрадованно заговорил:
— Ишь, собака... Это он от тебя хотел убегти! Но я его ловко срезал. Помоги-ка, браток. Рана тяжкая у меня...
Бирюк грубо оттолкнул ногой протянутую руку партизана, выстрелил ему в голову, вскинул на плечо карабин и неторопливо зашагал к ущелью.
Пуля, посланная Бирюком в Кавуна, пробила грудь. Кавун лежал на спине в забытьи. Васильев и Анка сидели против него и молчали. Наконец раненый открыл глаза. Он долго, щурясь, всматривался в Васильева.
— Грицко? — голос был слаб, еле слышен.
— Я, Юхим...
— Добре...

— Видал, как ты работаешь своей шаблюкой. Человека надвое раскалываешь.

— Шо?

— Я говорю, богатырский у тебя удар шаблюкой.

— Ни... Це удар... буденновский... Жалию, шо ката... офицерика... не успив... — Кавун перевел дыхание и закрыл глаза.

Анка приложила палец к губам. Васильев поднялся и на цыпочках вышел.

XXXIV

Новый, 1943 год народные мстители отряда «Родина» встретили невесело. Умер тяжелораненый кумураевский рыбак. Здоровье Кавуна не улучшалось. Орлов был в угнетенном состоянии. Он все еще не мог ступать раненой ногой, а ему не терпелось включиться в боевые действия товарищей, помогать.

Январь выдался тяжелым. Немцы повторили налет на отряд. Бой был продолжительным и упорным. Противник не имел успеха и бежал, оставив в лесу немало трупов. Но и отряд потерял только убитыми восемнадцать человек. Тут уж «потрудились» Бирюк с Пауком, набившие руку в предательской стрельбе по партизанским спинам в горячке боя.

Наступил февраль. Положение малочисленного отряда еще больше ухудшилось. Патроны и запасы продовольствия подходили к концу. Вышел весь спирт. Анка перевязывала раненых ржавыми от крови, стиранными без мыла бинтами. А тут еще в тяжелой схватке с немцами осколком мины тяжело ранило Васильева в голову. Особенно плохо было ему по ночам. Он метался в жару, бредил и только к утру затихал. Командование отрядом принял Краснов. Днем, когда Васильеву становилось немного легче, он спрашивал Краснова:

— Лукич... Ты послал Бирюка в разведку?

— Я же тебе еще вчера говорил, что послал.

— Ага... Значит, забыл я... И что же?

— Да вот... еще не вернулся.

— Как народ?

— Разве ты не знаешь наших рыбаков? Народ крепкий, одним словом, морская душа.

— Совершенно верно... — Васильев подумал и сказал: — Позови сюда Анку...

Краснов вышел и скоро вернулся с Анкой.

— Вам лучше? — спросила Анка, положив руку на лоб Васильеву.

— Плох я... А позвал вот зачем...

— Слушаю.

— Поручение тебе...

— Какое?

— Сходи к Пахомовне... Узнай, не появлялся ли ее старик? Нам во что бы то ни стало... надо связаться с каким-нибудь отрядом... Непременно... Обязательно...

— Ясно.

— А ты, командир, как, одобряешь? — спросил он Краснова.

— Да какой я командир без Тарасовича и тебя, — вздохнул Лукич.

— Шо? — проснулся Кавун.

— Ничего, Тарасович...— сказал Васильев.— Спи, спи...— и махнул рукой.

Анка вышла. Краснов тоже направился к выходу. Васильев задержал его.

— Лукич, погоди.

Краснов вернулся.

— Слушаю, Афанасьевич.

— Ты куда торопишься?

— Да мы там носилки мастерим из палок и плащей. Знаешь, в случае перехода...

— Вот-вот...— перебил его Васильев.— Об этом я и хотел сказать тебе... Иди!

На этот раз Бирюку повезло больше. Немецкие солдаты отобрали у него карабин, но не раздели. В поселке Пятигорское его ввели в знакомую уже хату, порог которой он переступил с большой неохотой.

«Опять наставит фонарей под глазами...»

Бирюка встретил все тот же лейтенант. Он по-прежнему был пьян, но не дрался. Вежливо предложил стакан самогону и кусочек, граммов в сто, соблазнительного кубанского сала. Бирюк одним махом осушил стакан, облизал губы и, не жуя, словно мартын, проглотил сало. Лейтенант распорядился отвезти Бирюка в Горячий Ключ, а оттуда его доставили в Краснодар.

Войдя в кабинет и поздоровавшись с майором, Бирюк сразу заметил, что произошло что-то неладное. Лицо Шродера было озабочено, взгляд беспокойно перебегал с одного предмета на другой. И еще бросилось в глаза Бирюку: на левом рукаве френча майор носил черную повязку.

— Кто-нибудь из родственников приказал долго жить? — сочувственно кивнул на повязку Бирюк.

— Фюрер объявил траур.

— Это по ком же?

— Под Сталинградом героически погибла наша шестая армия. Фельдмаршал Паулюс в плену. Вся Германия в трауре.

Бирюк открыл рот, но так и не произнес ни звука.

В партизанском отряде не было рации, а населению немцы сообщали заведомую ложь. Фашистская печать освещала события, происходившие за пределами Краснодарского края, в извращенном виде. Поэтому на Бирюка эта новость произвела впечатление удара грома среди ясного неба. Но ему предстоял еще один, более чувствительный удар. Бирюк не знал, что с поражением немцев под Сталинградом началось массовое изгнание гитлеровцев из пределов Северного Кавказа.

— Война,— говорил майор,— похожа на картежную игру. Бывают выигрыши и проигрыши. Удачи и неудачи. Победы и поражения. В конечном счете побеждает тот, кто сильнее.

— Само собой... — буркнул Бирюк.

— А германская армия доказала, что она самая сильная в мире... и не-по-бе-ди-ма-я. У нее крепкие нервы и бодрый дух.— Шродер прошелся по кабинету, задержался возле висевшей на стене карты, спросил, не поворачивая головы:

— Что Паук?

— Жив-здоров.

— Ты доволен им?

— Доволен. Он, аспид, осторожный.

Майор сел за стол, откинулся на спинку кресла, сказал:

— Давай коротко, но обо всем...

Бирюк рассказал о тяжелом положении, в котором очутился партизанский отряд, о раненом летчике, ползком добравшемся на базу, о серьезном ранении Кавуна и Васильева, о потерях партизан, причем аккуратно подсчитал свои и Пауковы предательские выстрелы. Закончил он повествование с явным огорчением:

— Ведь целился в голову, а попал в грудь. Здоровый, аспид, этот Кавун, главарь ихний. Гляди, и вырвется из когтей смерти. Но все равно я прикончу его.

— Нет! — выпрямился в кресле майор. — Теперь ты должен спасти ему жизнь. Это будет расценено советскими властями как проявление горячего, героического патриотизма с твоей стороны.

Бирюк озадаченно захлопал глазами. Он не понимал майора.

— Не удивляйся. Слушай внимательно и не падай духом...— продолжал немец. — Наша армия временно оставляет Северный Кавказ. Уже начался ее планомерный отход к Новороссийску и Таманскому полуострову.

— Отход?.. — как ужаленный, подскочил Бирюк. — Не прошло и полгода... всего пять месяцев и... отход?

— Вре-мен-но, — отчеканивал каждый слог майор, ударяя ладонью по столу. — Вре-мен-но! Это маневр командования. Но дальше станицы Крымской большевики не пройдут. Они напорются на неприступную линию обороны, будут нести большие потери и истекать кровью. Тем временем германское командование подтянет резервы и одним ударом сокрушит обескровленную Красную Армию. Понятно?

— Это-то мне понятно. А вот как я должен спасти жизнь командиру партизанскому?..

Майор встал, поднялся, подошел к карте.

— Смотри сюда, — ткнул он карандашом в карту. — Это селение Фанагорийское. Оно расположено на слиянии Псекупса и какого-то его притока. Дальше — Кутаис... Кабардинская... Вот твой маршрут, по которому ты поведешь командира и оставшихся в живых партизан.

— Командир не может двигаться.

— Пусть партизаны несут его на себе.

— Они-то понесут...

— Вот и хорошо.

— А почему нам не переждать в ущелье, пока не подойдет Красная Армия?

— Что же лучше, по-твоему: дожидаться прихода Красной Армии, отсиживаясь в ущелье, или, так сказать, «прорваться» сквозь немецкие заставы, спасая и командира, и остатки партизанского отряда? Это же подвиг! И ведешь ты, предварительно «разведав» путь маршрута.

— Вона как дело можно повернуть!..

— А летчика, если подвернется возможность, прихлопни. Советские летчики и нашим наземным частям, и морскому флоту, и авиации доставляют слишком много неприятностей.

— Будет такой случай, не упущу его. А вот ежели повстречаем немцев... Они же нас под орех разделают.

— Не беспокойся. Сегодня к вечеру в районе Фанагорийского поселка не будет ни одного немецкого солдата. Сегодня же в сумерки вы должны покинуть ущелье и отправиться в поход. Возможно, что тем ущельем будут отходить наши передовые части на Краснодар, и вы будете смяты, раздавлены. Погибнет

и задуманное нами дело. Торопитесь на восток. На пути вам могут встретиться только красные. Они, понятно, примут вас с распростертыми объятиями.

— Так, так... А потом?

— Потом ты и Паук — вольные птицы. Бывшие партизаны. Почет и уважение.

— Почетом сыт не будешь, господин майор.

— А вам и не придется голодать. Приедете в Краснодар, обойдете все столовые и рестораны, где-нибудь и встретите официанта Жоржа. Только чур, не подавать виду, что мы знаем друг друга.

— Как — изумился Бирюк. — Разве вы останетесь в Краснодаре?

— Так нужно. Но еще раз напоминаю — ты об этом ничего не знаешь...

— Во-о-он оно что! — поднял косматые брови Бирюк и уставился на майора своими колючими глазами. — Теперь мне все понятно.

— И вот, пока красные будут топтаться у линии обороны, а германское командование подтягивать резервы и накоплять силы для сокрушительного удара по всему фронту, мы займемся здесь своим делом. Ну, собирайся. Во дворе тебя ожидает машина,— и майор сунул в руку Бирюка пачку советских денег.

— Что это?

— Тебе и Пауку. Скоро вы будете свободными гражданами, и деньги пригодятся вам на первое время. Да!.. Там, в верхах, твоя работа высоко оценивается. Орден тебе уже положен и будет вручен при более благоприятных обстоятельствах.

— Я за орденом не гонюсь. Было бы денег побольше!

— Будет! — заверил майор. — Ну, до скорой встречи тут в Краснодаре. Итак, помни: осторожность и еще раз осторожность...

— За этот котелок, — Бирюк постучал себя пальцем по лбу, — будьте покойны...

Машина бешено мчалась по шоссейной дороге, взвихривая сыпучую поземку. Бирюк, покачиваясь на заднем сиденье, размышлял:

«Выходит, у них гайка ослабла, ежели надумали к морю драпать?.. Неужели красные одолевают?.. Ну, а почему тогда майор остается в Краснодаре?.. Значит, верит в силу германской армии? А чего же они, в таком разе, под Сталинградом обмарались?.. Тьфу, туды-растуды... И на кой черт я ломаю себе голову такими

думками... Лишь бы в моем кармане деньга́ не переводилась... А там пускай они хоть все пропадом пропадут...»

Шофер остановил машину. Бирюк открыл дверцу, выглянул. Кругом плотной стеной стоял могучий дубняк, припушенный снегом. Где-то за увалами не смолкала орудийная канонада. Солнце опускалось за вершины гор. Впереди, метрах в пятидесяти, валкой трусцой дорогу перебежал волк и скрылся за толстыми стволами дубов. Бирюк вылез из машины, еще раз огляделся вокруг, пригнулся и по-волчьи нырнул в лес.

XXXV

Юхим Цыбуля и его подчасок стояли на посту, зорко наблюдая за безмолвным лесом, чернеющим за поляной. Прислушиваясь к пушечным выстрелам, гремевшим у перевала, Цыбуля говорил подчаску:

— Эх, братику! Нам бы одно орудие да пару минометов. Вот тогда бы мы с развеселой песенкой встречали бы фрицев.

— Отбить надо у них.

— А с чем? Каждый патрон на учете. Пулемет у нас есть, а стоит он в пещере без дела, в безработные зачислен. С пустыми лентами не поработаешь.

— Врукопашную кинуться на фрицев и взять у них боеприпасы.

— Голыми руками не возьмешь, только обожжешься. Да и сколько у нас в отряде осталось рук! Подсчитай-ка.

— Что мало то мало, твоя правда, дружок,— с грустью подтвердил подчасок.

К ним подошла Анка, поздоровалась.

— Туда? — кивнул на лес подчасок.

— Туда,— ответила Анка.

Цыбуля внимательно осмотрел Анку с головы до ног, улыбнулся.

— Что, Юхим? Смешно, небось, выгляжу?

— Почему смешно... Нет, все в порядке. Выглядишь ты, сестрица, заправской деревенской бабенкой. Шубка с заячьим воротником, теплый платок, сапоги да веревка под мышкой, чтоб валежник было удобнее нести в вязанке. Так?

— Верно.

— И чехол с финкой, притороченный к тесемочному пояску. Мало ли какое зверье в лесу может повстречаться...

Анка вынула из-за пазухи пистолет:

— У меня для всякого зверья есть припасы.

— А вот зачем у тебя, сестрица, сумка с красным крестом при боку?

— Привычка,— засмеялась Анка. Она сняла санитарную сумку, которая к тому ж была совершенно пуста, повесила на сук.— На обратном пути захвачу.

— Когда вернешься?

— Нынче.

— Ну, счастливо тебе.

Анка пошла лесом в обход поляны. Юхим смотрел ей вслед, пока она не скрылась.

— До чего же смелая да отчаянная. Молодец! — и он даже языком прищелкнул.

— Морячка! — с гордостью пояснил подчасок.

Анка еще в тот раз, когда приходила со Скибой, прощаясь с Пахомовной, условилась о том, что в следующий приход она будет стоять под тем же дубом, где ожидала Скибу, и время от времени на минуту-две выглядывать из укрытия. Заметив Анку, Пахомовна должна выйти из сторожки и поманить ее к себе. Это означало бы, что в сторожке никого из посторонних нет. Если же Пахомовна два раза отмахнется рукой, то заходить нельзя.

В первые дни Пахомовна поочередно с внуком дежурили у окошка, следя за старым дубом. Но прошел месяц, другой, а Анка все не приходила. Пахомовна решила, что партизанский отряд перебазировался, и перестала вести наблюдение.

Но сегодня, случайно подойдя к окошку, Пахомовна напрягла зрение, прильнула к стеклу. Ей показалось, будто какая-то тень мелькнула и скрылась за дубом... Когда Анка снова высунулась из укрытия, Пахомовна торопливо вышла из сторожки и поманила к себе партизанку.

Анка ввалилась в сторожку с вязанкой валежника на спине.

— Заходи, милая, заходи,— радушно встретила ее Пахомовна.— А я-то и не знала, что подумать. Нет тебя и нет. Раздевайся, Аннушка. Гляди, озябла, а?

Анка сбросила со спины валежник и, забыв поздороваться, кинулась к мальчику, внуку Пахомовны. Маленький Фрол сидел за столом, разматывая бинты, извлекал из пакетов марлю и складывал ее горкой.

— Где ты раздобыл такое добро? — радостно вскрикнула она, увидев белоснежные бинты и марлю.— Да наши партизаны все нательные рубахи исполосовали на ленты... Перевязывать раны нечем.

— Фрицы вчерась в Шабановском оставили. Видать, забыли. Они много раненых кудась-то повезли. А у Петьки Остапенко еще больше. У него и вата есть, и ёд в маленьких бутылочках. Не дал мне ёду, пожадничал...

— Пахомовна,— умоляюще посмотрела на нее Анка,— родная, золотая... Как бы достать для наших.

— Сейчас,— сказала Пахомовна.— Фролка, скоренько беги к Петьке, возьми все, что у него есть. На ухо скажи ему: для партизан, мол.

— Тетенька, забирайте все,— Фролка пододвинул к ней бинты и марлю, а сам выскочил из-за стола, оделся и к двери: — Я сейчас вернусь...

Разглядывая подарок Фролки, Анка задумчиво проговорила:

— А во что же я возьму, если ребята еще принесут?

— Найдем. У меня есть чистый ситцевый платок.

— Спасибо, Пахомовна. От всех партизан спасибо. То-то радости сколько у них будет!.. Вот только с патронами у нас плохо,— понизила голос Анка.

— Тяжело?

— Очень. Два нападения на нас было. Отбились, но скольких своих после боя недосчитались... А ваш не приходил?

— Нет.

— А меня за этим и прислали. Нам обязательно нужно связаться с каким-нибудь партизанским отрядом. Только на вашего старика и надеялись.

— Не приходил.

— Беда.

— И у меня, Аннушка, беда за бедой. Сын погиб на фронте в сорок первом. В прошлом году сноха занемогла, слегла в постель и не поднялась. От простуды померла. А теперь вот... Слышишь, в горах орудия гукают?

— Слышу.

— Может, и старика уже нет в живых...

— Все может быть, родная...

В сторожку влетели запыхавшиеся ребята.

— Здравствуйте, тетенька! — поздоровался Петька, шмыгая носом.

— Здравствуй, мальчик!

Петька и Фролка, не теряя времени, начали выгружать из-за пазух бинты, марлю, вату и складывали все это на столе. Анка, радостно, улыбаясь, спросила Петьку:

— А знаешь, кому я понесу твой и Фролкин подарки?

— Знаю,— шмыгая носом, ответил Петька. — Партизанам.

— Умница. Ты добрый мальчик. Славный. Утри нос, и я от имени всех партизан поцелую тебя.

— Не хо́-о-очу...— смущенно пробормотал Петька, вынимая из карманов флаконы с йодом.

Но Анка все же расцеловала его.

Смеркалось. Бирюк торопился. Нельзя было терять ни минуты. Красная Армия стремительно наступала. Под ее сокрушительными ударами немцы откатывались от Армавира и Майкопа к Краснодару. Удирали без оглядки и отборные горнострелковые гитлеровские части, бросая вооружение и боеприпасы. Не знали об этом Кавун и Васильев, так как ни рации, ни связи с другими отрядами у них не было. Этим и воспользовался Бирюк... Он вошел в пещеру, сорвал с головы шапку, осмотрелся. От его мокрой от пота чуприны валил пар. Краснов и партизаны обратили к Бирюку вопрошающие взгляды.

— Носилки для больных готовы? — спросил Бирюк.

— Готовы,— ответил Краснов.— А в чем дело?

— На марш, Михаил Лукич...

— Да ты скажи толком, что случилось?— спросил Краснов.

— Немедленно на марш. Некогда разговоры разговаривать. В полночь из Пятигорского сюда выступает батальон немцев, чтобы утром напасть на нас. Целый батальон!— бил тревогу Бирюк, напирая на слабохарактерного Михаила Лукича.

— Дело это не шуточное, и так, сломя голову бросаться бог весть куда — нельзя. Да точно ли немцы близко?— строго посмотрел на Бирюка Краснов.

— Точно. Достоверно. Я через того старика разведал, у которого в сарайчике скрывался, когда спас Паука. Дед ходил в Пятигорское к своим знакомым, три дня пробыл там. Говорит, немцы решили покончить с нами. Бросают сюда целый батальон. Ночью выступают. Надо спешить.

— Куда?

— Старик все разъяснил мне. Я поведу отряд такими потайными тропами, что и сам черт не выследит нас. Мы вольемся в отряд «Кубань». Тогда будем именоваться: отряд народных мстителей «Кубань — Родина».

«Ну и мастак брехать»,— усмехнулся про себя Паук. Он один знал истинные замыслы Бирюка.

— Где же этот отряд? — все еще настороженно спросил Краснов.

— Между Фанагорийским и Хадыженской, за Псекупсом. Вот тут,— сказал Бирюк, тыча пальцем в карту.

Краснов задумался.

— Это хорошо, если вольемся в отряд... Объединим свои силы... Но как же быть с Анкой?

— А где она?

— Выполняет задание.

— Не знаю,— развел руками Бирюк.— Вы начальство, вы и решайте. Только задерживаться нельзя ни на час. Иначе все погибнем.

— Пойду посоветуюсь с Васильевым,— и Краснов вышел.

Партизаны окружили Бирюка, расспрашивали, далеко ли до отряда «Кубань» и не опасна ли дорога. Бирюк уверял, что очень близко, а он берется проводить их безопасными тропами. Партизаны загорелись желанием скорее двинуться в путь. Вернулся Краснов, сказал:

— Товарищи, быстро приготовиться к походу,— и с горечью спросил:— Как же нам быть с Анкой? Вот грех...

— Может, она уже возвернулась?— предположил Бирюк.

— Кабы вернулась — была бы тут.

— А ежели туда... к летчику завернула?— подсказал Бирюк.

— А что...— ухватился за эту мысль Краснов.— Может и так быть. Давай сбегай, узнай.

— Это я мигом дело...— проходя мимо Паука, Бирюк незаметно толкнул его.

Анка вернулась несколько позже Бирюка. Она задержалась около Цыбули, перекладывая из узла в санитарную сумку приношения Петьки и Фролки.

Когда Бирюк вошел в хижину, Анка уже спускалась по тропинке в ущелье. Коптилка слабо мерцала, в хижине стоял полумрак. Очаг погас. Орлов лежал в унтах, в меховой куртке и в шлеме.

— А-а, вернулся?— заулыбался Орлов.

— Вернулся,— мрачно прогудел Бирюк, подходя к лежанке больного.

— Удачно сходил в разведку?

— Да как сказать...— Бирюк потянул из кармана камень.— Кому как... А мне всегда удача улыбается...— он с такой быстротой ударил Орлова камнем по голове, что тот не успел ни вскрикнуть, ни пошевельнуться.

Бирюк открыл дверь, выглянул. У каменного выступа, на повороте тропы, ведущей к пещерам, маячил Паук. Бирюк вернулся

к лежанке, пошарил рукой в изголовье, нашел пистолет и выстрелил Орлову в грудь...

Анка подходила к хижине, когда до ее слуха донесся глухой пистолетный выстрел. Она вздрогнула, остановилась. И сейчас же от хижины к выступу кто-то торопливо зашагал, прихрамывая. Анка едва не вскрикнула, зажав ладонью рот.

«Бирюк?.. Неужели он... его?— от этой мысли перехватило дыхание.

Бирюк вдруг остановился. Анка спряталась за хижину. После короткого раздумья Бирюк медленно направился к выступу. Боясь быть замеченной, Анка отвалила камень, которым была заделана дыра между валунами, сняла с себя санитарную сумку, бросила ее в дыру и с трудом сама протиснулась в хижину.

— Яша... Яшенька...— шептала она, склоняясь над лежанкой.— Милый... Родной... Ну, отзовись... Откликнись.— Тут она разглядела пистолет, простреленную меховую куртку, отшатнулась, вскрикнула:— Сволочь!.. Бандит!..— и не помня себя выскочила из хижины.

Анка бросилась было к Васильеву, к товарищам, но оборвала бег, попятилась назад. На нее от выступа угрожающе надвигались две тени.

— Анна Софроновна!— окликнул ее Бирюк.

У Анки стучали зубы. Она вся тряслась, как в лихорадке. Какой-то душный ком подкатил к горлу, она хотела крикнуть, но не могла. Выхватила из-за пазухи пистолет и выпустила всю обойму. Пули просвистели мимо ушей Бирюка и его приятеля. Анка побежала по тропе, поднимавшейся к поляне.

— Догони ее и пристукни,— зашипел Бирюк, толкая в спину Паука.

Тот кинулся вдогонку за Анкой, а Бирюк закричал что есть мочи:

— Убийца!.. Держи ее!.. Ах, сука такая!.. Не добилась любви от него, так что же, за это человека надо жизни лишать?.. Держи убийцу!..

К Бирюку подбежали двое партизан с носилками.

— Что случилось?

— Сестра наша летчика убила.

— Да ну?

— И в нас стреляла. В меня и в Паука... А ну, дружок, брось носилки, они теперь не нужны. Позови сюда командира...

Краснов молча прошел мимо Бирюка и партизана, молча остановился около лежанки, не отрывая от мертвенно-бледного лица Орлова широко раскрытых глаз.

— Это уму непостижимо,— наконец выговорил он.— Что она, с ума спятила?

— В меня стреляла, когда я ее тут защучил,— жаловался Бирюк.— Вон где она пробралась,— указал он на дыру.— И сумку впопыхах забыла.

— Да, сумка ее,— подтвердил Краснов.— Но почему в дыру, а не в дверь вошла она?

— Гадюка всегда через дыру вползает. Кому это не известно? — горячился Бирюк.

— Похоронить бы товарища...

— Мы уже и так опаздываем,— напомнил Бирюк.— Надо спасать людей.

— А где Пауков?

— За ней погнался.

— Цыбуля и его подчасок на посту? Гукните им да на марш.

— Я это мигом дело...— и Бирюк выбежал из хижины.

— Возьмите сумку, пистолет,— сказал партизанам Краснов,—и пошли.

— А носилки?

— Ни к чему теперь они...

Взойдя по тропе наверх, Бирюк остановился. В нескольких шагах в стороне что-то чернело. Он подошел ближе и — ахнул!.. На кусте висел, разбросав руки, Паук. В животе у него торчал финский нож, всаженный по самую рукоятку. Бирюк выхватил нож и, не вытирая его, поспешил вниз.

Теперь уже Краснов нервничал, ожидая Бирюка. На его голову сваливались беда за бедой. Кавун второй день не приходил в сознание, и не было никакой надежды на его выздоровление. Васильев с вечера впадал в беспамятство, горел и метался до рассвета. А тут еще Анка такое совершила — застрелила Орлова. Лукич совершенно растерялся, не зная, что предпринять. Его поддерживали партизаны:

— Крепись, Лукич. Ты теперь наш командир. Будь примером мужества для других.

— Да я и так уж креплюсь, а голова прямо раскалывается. Боюсь, рассыплется.

Наконец появился Бирюк.

— А Цыбуля?

— Ни Юхима, ни его подчаска, ни Анки. Исчезли. А это признаете? — показал он окровавленный нож.

— Анкина финка? — Лукич удивленно взглянул на окровавленный нож.

— Ее,— подтвердили партизаны.

— В брюхе Паука торчала. Убили, аспиды, и сбежали.

— Нет, моя голова совершенно не варит... Вот и крепись... Мыслимое ли дело! Чтобы Анка...

— Факт! — рубанул финкой воздух Бирюк.

— Но куда же они могли бежать? — недоумевал Краснов.

— К немцам! — с другого плеча рубанул Бирюк.— Если прихлопнула своих людей, куда же бежать? Факт, что Анка снюхалась с немцами. Смерть Скибы тоже дело темное. Почему Анка вернулась, а он сгинул?

Доводы казались такими вескими, такими неотразимыми, что Лукич вконец растерялся.

— Ну, ты эти глупости брось! Чтоб Анка — да к немцам! Видно, задержались они где-то. Однако ждать рискованно. Надо спасать хотя бы тех, кто в сборе. Другого выхода я не вижу. На марш! — отдал приказание Краснов.

К носилкам, на которых лежали Кавун и Васильев, подошли партизаны.

— Веди, Бирюк,— махнул рукой Лукич.

И отряд двинулся той потаенной тропой, которой несколько месяцев тому назад ввел его в ущелье Цыбуля.

Анка прибежала к Цыбуле потрясенная, едва выговаривая слова:

— Он убил... Бандит... Он убил его...— и разразилась слезами.

— Кто? Кого?

— Бирюк... гадина... Яшеньку убил...

— Опомнись, сестра. Подумай, что ты говоришь? — воскликнул Цыбуля.

— Убил, убил, бандюга...

Подошел Паук. Цыбуля присмотрелся к нему, спросил:

— На смену?

— Нет, за сестрицей.

— Не пойду я! — отшатнулась Анка.

— Да что там случилось? — недоумевал Цыбуля.

— Ничего не понимаю. Меня Лукич послал узнать, пришла ли сестрица. Встречаю Бирюка, он тоже не в духе. Спрашиваю, в чем дело? Молчит. А тут сестра выстрелила. Бирюк кричит: «Держите ее! Убийца она!» — и ко мне: «Догони ее!» Когда я узнал, что сестра сюда побежала, я вслед за ней, а догнать не мог. Идем, сестрица, командир ждет, волнуется.

Анка молчала.

— Иди,— сказал Цыбуля.— Да пускай нам смену присылают.

— Пошли,— настаивал Паук.
— Я боюсь с тобой идти.
— Со мной? Да тебя никто пальцем не тронет.
— Иди, иди, сестра,— уговаривал ее Цыбуля.— Нельзя же так... Командир ждет.
— Я головой отвечаю за тебя,— сказал Паук.— Приказание командира я не имею права не выполнить. Да и ты не можешь его нарушить.
— Ладно,— решительно произнесла Анка.— Идем!
Шли молча. Анка впереди, а Паук сзади. При спуске в овраг Паук схватил Анку за плечо, сильно сдавил.
— Куда мчишься?
— Что за вопрос? К командиру...
— Сюда идем,— потянул он ее в сторону.
— Это куда же еще? — и Анка сбросила с плеча его руку.
— Тут прямее дорога есть.
— Брось ты эти штуки! — насторожилась Анка.— Никакой там дороги нет.
— Ты, стерва, еще будешь упрямиться? — злобно процедил Паук и впился костлявыми пальцами ей в горло.
Жизнь Анки висела на волоске. Промедли она несколько секунд, и Паук задушил бы ее. Рука Анки сама легла на рукоятку финки. Она выхватила нож и всадила в живот Паука. Он заскрежетал зубами, ослабил пальцы и уронил голову на плечо Анки. Она с отвращением оттолкнула его. Паук сделал несколько шагов назад, остановился возле куста и упал на него спиной, свесив запрокинутую голову и разбросав руки. Анка отбежала и прижалась к дереву, наблюдая за Пауком и прислушиваясь. Но тот не шевелился и не издавал ни звука. Он был мертв...
В эту минуту появился Бирюк. Анка проследила за тем, как он приблизился к кусту, нагнулся, вглядываясь в Паука, вытащил из его живота нож и заторопился по тропинке вниз.
...Цыбуля слушал Анку и ушам своим не верил.
— Неужели Паук хотел задушить тебя?
— Да почему же ты не веришь мне?.. Может, думаешь, я неправду сказала тебе и о том, что Бирюк убил Яшу? Пойди посмотри.
— Ничего не понимаю. Никита, сходи и узнай, в чем там дело,— сказал Цыбуля подчаску.
Никита вернулся скоро, взволнованный и растерянный.
— Никого нет. Ушли. Покинули нас.
— Куда ушли?
— А черт их знает.

— Пока своими глазами не увижу лагерь пустым, не поверю. А если это правда, то чего же мы здесь торчим?

Анка и Никита последовали за Цыбулей. Проходя мимо чернеющего куста, Анка сказала:

— Вон он, бандюга, на кусте висит.

Пещеры, действительно, оказались пустыми. В них валялось несколько немецких шинелей и автоматов, брошенных как лишний, ненужный груз.

В большой пещере стоял осиротевший бесполезный пулемет. Партизаны сняли с него замок и, видно, куда-то забросили.

— Теперь я верю,— с болью в сердце проговорил Цыбуля.

Все трое зашли в хижину — партизанский госпиталь. Анка присела на лежанку возле бездыханного Орлова и заплакала.

— Даже земле не предали... Бросили как собаку... В самолете горел — жив остался, а тут...

— Чего уж... Нас вот живых бросили,— мрачно проговорил Никита.

— А мне все еще кажется,— растерянно огляделся Цыбуля,— что это страшный сон.

— Нет, это страшная явь,— сказала Анка.

— Но как это можно, чтоб...— Цыбуля стиснул зубы, не договорил.

Анка встала, взяла Цыбулю за руку.

— Юхим, ты помнишь, как попал к нам в отряд, как я ухаживала за тобой и в пути, и здесь...

— Спасибо, сестра. Все помню.

— Помоги мне донести Яшеньку до Пахомовны. Вот носилки... Я выкопаю там могилу и похороню его по-человечески, поближе к людям. Нельзя же оставить его здесь на съедение зверям или на поругание немцам, если они придут сюда. Поможешь?

— Никита,— сказал Цыбуля,— давай сюда носилки...

В полночь кто-то постучался к Пахомовне. Она встала с постели, вышла за порог. Перед ней стояла Анка.

— Боже мой! — шепотом воскликнула старуха.— Так поздно, Аннушка?

— Я не одна, Пахомовна.

— Вижу, вижу,— присматриваясь к стоявшим позади Анки Юхиму и Никите, сказала старуха.— А на носилках больной?

— Нет, убитый. Товарищ наш. Надо похоронить его. Дайте нам лопаты.

Неподалеку от сторожки, на увале, ракеты описывали голубые дуги. Там то вспыхивала, то затихала трескотня автоматов.

— Вот что, милая,— тревожно заговорила старуха.— Могилу я с Фролкой сейчас рыть начну вот в этом сарае. Запомни. Никому и в ум не взойдет, что здесь человек схоронен. Вы же бегите. Наскочет герман — беда и вас и меня постигнет. Снесите покойничка в сарай, носилки в лесу бросьте и бегите. А я сейчас Фролку подыму. Бегите!

— Бабуня, родная ты моя! — растроганная Анка поцеловала старуху. Потом опустилась на колени, откинула одеяло, приподняла голову Орлова и припала задрожавшими губами к холодному лицу.— Яшенька...

Цыбуля коснулся ее плеча.

— Нам пора.

— Да... да...— очнулась Анка.— Пора... — она поднялась и пошла со двора шаткой, неверной походкой, поддерживаемая Цыбулей.

Никита отнес Орлова в сарай и потащил на себе пустые носилки.

...Вторую половину ночи Анка и ее спутники шли без передышки. Перед рассветом услышали неясный шум. Они бросились на землю и продолжали двигаться ползком. Вскоре беглецы очутились у края обрывистого берега. Внизу пенилась горная речка. Немного правее к речке сбегала крутая тропинка.

— Туда,— кивнул Цыбуля на тропинку.

Они бросились бежать. Но не успели добежать до тропинки, как позади раздался хриплый окрик «хальт!», а вслед за ним последовал выстрел. Никита упал замертво. Цыбуля выстрелил в немца. Тот схватился за живот, присел и медленно повалился боком на снег.

— Прыгай! — сдавленным голосом крикнул Цыбуля Анке и бросился вниз.

Анка упала ничком, подползла к обрыву. Цыбуля угодил на торчавший из воды камень, и бурный поток понес его безжизненное тело к широкой Кубани.

Анка уцепилась за колючие ветки ежевики, вьющиеся по отвесной стене обрыва, затормозила скорость падения и бултыхнулась в пенистые воды. Быстрое течение подхватило ее и через две-три минуты прибило к противоположному берегу. Перебегая от камня к камню, Анка кинулась к спасительному лесу. Вот уж он совсем близко. С обрыва ударил пулемет. Было неудобно бежать в мокрой, отяжелевшей одежде. Анка спотыкалась, выбиваясь из сил. Кто-то крикнул из лесу:

— Ложись! Ползком, ползком! Эх, тетя-Мотя! Да кто же под пулями бегает? Ползи-и-и!

У самой кромки леса пуля достала Анку. Она упала вниз лицом и осталась лежать неподвижной...

Утром того же дня партизаны отряда «Родина» встретились с авангардным подразделением Красной Армии. Кавуна и Васильева немедленно эвакуировали в тыл. Сопровождать их до госпиталя вызвался Бирюк.

XXXVI

Ранение у Орлова было сквозное. Пуля прошла вкось, не задев сердца. Оглушенный сильным ударом по голове и потерявший много крови, Яков надолго лишился сознания.

Пахомовна и Фролка по очереди рыли в сарае могилу при мигающем свете самодельной сальной свечи. Земля была мягкая, не промерзлая и подавалась легко.

— Мы ему неглубокую могилку...— налегая на заступ, вполголоса говорила старуха.— Лишь бы землицей прикрыть его, сердешного. А потом на кладбище перенесем, похороним как полагается.

Слушая бабушку, Фролка не без страха посматривал на бескровное лицо Орлова. Лежавший без движения покойник... вдруг зевнул. У Фролки зашевелились волосы, по спине поползли мурашки.

— Бабушка... бабушка...— зашептал в страхе мальчик.

— Что тебе, внучек? — выпрямилась Пахомовна, стоя по колени в вырытой могиле.

— Мертвяк оживает...

— Окстись, дурачок, чего мелешь-то!

— Ей-ей оживает...

Старуха покосилась в сторону покойника. В эту минуту Орлов пошевелил здоровой ногой, слабый, еле уловимый вздох вырвался из его груди.

Пахомовна выронила лопату, приглушенно вскрикнула:

— Господи, твоя воля!.. Чуть живого не похоронили. Фролка, не стой столбом, скорее его в хату перенести надо.

Орлова с трудом подняли, внесли в сторожку. Старуха согрела воды, промыла больному раны, смазала йодом (один флакончик йода Фролка стянул-таки у Петьки, и вот как он пригодился), перевязала чистыми полотенцами. Из предосторожности Пахомовна осмотрела карманы летчика, нашла единственный голубой конверт и спрятала его за икону. Потом сменила на Орлове белье,

обрядила его в чистую дедову пару, а меховую куртку, шлем, меховые брюки, гимнастерку и белье сожгла в печи.

Ранним утром в сторожку ввалились немцы — офицер и два солдата. Офицер кое-как говорил на ломаном русском языке. Он спросил яиц и молока. Пахомовна подала ему два яйца.

— Это все... А коровы у меня нету.

Офицер выпил яйца сырыми, ткнул пальцем в сторону лежавшего на кровати Орлова:

— Кто?

— Сынок мой.

— Больной?

— Раненый. Красные партизаны поранили. Дал отказ идти с ними в отряд, а они ему вчерась голову проломили, анафемы, да в грудь и в ногу стрельнули.

— Вчера тут были партизаны?

— Были, господин офицер, были, чтоб им добра не было!— Пахомовна изо всех сил старалась отвести беду от раненого.— В лесу они, волки бы загрызли их.

Офицер подошел к кровати, проверил на Орлове белье.

— Карош ваш сын — нихт большевик,— и вышел. За ним последовали солдаты.

— Пронеси, господи!— перекрестилась старуха.— Пропасти на вас, басурманов, нет! Греха только через вас набираешься. Вон чего про партизан сердешных говорить приходится. Ну, да господь не слова — дела числит.

В вагоне санитарного поезда было уютно, светло, чисто. Мягкий монотонный перестук колес, легкое покачивание вагона действовали умиротворяюще. Не верилось, что где-то позади люди насмерть схватываются в жестоких боях, недосыпают, мокнут под проливным дождем или, лежа на снегу, дрожат в колючем ознобе.

Поезд подолгу стоял на вокзалах, пропуская встречные эшелоны, следовавшие с людьми и вооружением на фронт, и казалось, что пути санитарного поезда не будет конца. И как ни тепло и уютно было в вагоне, какой лаской ни окружали Орлова врачи, нянюшки и сестры, порой ему становилось невмоготу: сердце больно давила тоска по Анке, тревога за ее судьбу.

Зрение Орлова то прояснялось, то все перед глазами двоилось, затягивалось мутной пеленой... Однажды он достал из голубого конверта снимок Ирины, но ничего не мог разглядеть. Изображение двоилось и расползалось.

«Неужели я... ослепну?» Напрягая мысли, он смутно припом-

нил пылающий в воздухе самолет... Улыбающуюся Анку... Занесенный Бирюком над его головой камень... Добрую и нежную старуху... и забылся...

Санитарный поезд остановился на узловой станции. К вагонам поспешили люди с носилками, началась разгрузка. Орлова бережно вынесли из вагона, не снимая с носилок поместили в крытую машину, и через несколько минут он уже был в госпитале.

Утром дежурный врач доложил начальнику госпиталя полковнику медицинской службы профессору Золотареву:

— Виталий Вениаминович! Ночью прибыло сорок девять: легких — тридцать два, тяжелых — семнадцать. Один из тяжелых был в партизанском отряде. Он плохо видит и у него частые провалы памяти. Имеет ранения: в голову — пролом черепа, контузия, в грудь — пулевое, в ногу — осколочное.

— Идемте посмотрим,— сказал профессор.

Он долго выслушивал Орлова, щупал пульс, приказал разбинтовать раны, тщательно осмотрел их, покачал головой:

— Да-а... На редкость выносливый человек. Богатырь. Другой организм не выдержал бы такой страшной борьбы со смертью,— профессор попросил всех отойти в сторону и обратился к больному:— Вы меня слышите?

— Слышу, но плохо.

— А видите?

— Да. Слабо вижу.

— Сколько нас?

— Один... Нет двое!

— А все же?

— И один и... двое.

— Ясно,— профессор подошел к стоявшим в стороне коллегам.— Истощение, потеря крови. В результате удара в голову — расстройство зрительных нервных центров, в силу чего у больного появилось так называемое «второе зрение».

— Какая жалость,— тихо промолвила Ирина, не сводившая участливого взгляда с бледного, измученного лица Орлова.— Неужели, профессор, нельзя вернуть здоровье этому так много выстрадавшему человеку?

— Несомненно, можно. Мы избавим больного от «второго зрения», а ваша чудодейственная кровь поставит его на ноги. Сделаем переливание.

— Я готова, Виталий Вениаминович...

— Знаю, знаю. Идемте приготовляться.

Орлов лежал в отдельной затемненной комнате. Внимательный уход, никем и ничем не нарушаемый покой, кровь Ирины возвращали ему силы, укрепляли организм.

Через восемь месяцев Орлов стал прогуливаться уже без посторонней помощи от койки до двери и обратно. Профессор перевел его в другую комнату со слабым дневным и мягким ночным светом, однако велел носить темные очки и не снимать их до тех пор, пока этого не разрешит он сам.

На дворе стоял теплый солнечный сентябрь. За окном палаты, задернутым голубой шторой, звонко, как весной, чирикали неугомонные воробьи. В палату вошел профессор.

— Ну-с, поздравляю с началом золотой осени!— он присел на табурет возле койки.— День сегодня замечательный. А вы как себя чувствуете? Как пульс? Дайте-ка руку.

— Самочувствие хорошее. Болей нигде не ощущаю.

— Прекрасно. Какие-нибудь претензии или вопросы к нам имеются? — в шутливом тоне обратился к Орлову профессор.

— Есть вопрос, а претензий никаких.

— Ну-те, давайте.

— В городе есть военный прокурор?

— Безусловно.

— Мне необходимо повидать его.

— Никаких свиданий. Во-первых, вам выходить нельзя, а во-вторых, вам нужен абсолютный покой.

— Зачем выходить? Его же можно пригласить сюда. Мне крайне необходимо передать прокурору кое-что весьма и весьма важное. Это — в интересах Родины.

— Родины?

— Да.

— Это дело важное. Но волнения сейчас могут причинить вашему здоровью серьезный ущерб.

— Не беспокойтесь, профессор. Я волноваться не буду.

— Хорошо,— профессор встал и быстрыми легкими шагами направился к двери.

XXXVII

Ирина к каждому человеку, попадавшему в госпиталь, относилась одинаково и ради спасения жизни любого из них готова была пожертвовать последней каплей своей крови. Через ее руки прошли сотни историй болезней. И пока раненые находились на

излечении в госпитале, она помнила каждого по имени и фамилии; но когда они, по выздоровлении, разъезжались, кто в отпуск, а кто прямо в часть, их фамилии вытеснялись из памяти именами других раненых, прибывавших с фронта.

С тех пор как Ирина получила из авиачасти ответное письмо, прошло десять месяцев. Оно оставило неприятный, горький осадок, но упомянутое в письме имя летчика Орлова, пренебрегшего ее чистосердечным посланием, она забыла...

В госпитале выдался редкий день затишья. Раненые не поступали, в коридорах не было обычной суматохи, в палатах и операционной царил покой. Ирина дежурила. Она сидела за столиком в коридоре и укладывала в плетеный ящичек флаконы и порошки, чтобы потом разнести лекарства больным. К ней подошел дежурный врач с военным, одетым в белый халат.

— Товарищ из прокуратуры к больному Орлову по разрешению Виталия Вениаминовича,— сказал врач.

— Хорошо. Садитесь,— предложила Ирина посетителю стул и отправилась в палату к Орлову.

— К вам работник прокуратуры,— сообщила она, закрыв за собой дверь.

— Просите его сюда.

— Позвольте, я раньше приведу в порядок вашу постель.

Орлов запахнул поплотнее халат и отошел к окну, держа перед собой протянутую руку: сквозь темные очки было плохо видно.

Ирина поправила одеяло, взбила подушку и уже хотела положить ее на место, как вдруг руки ее задрожали и подушка упала на койку... В изголовье лежал примятый голубой конверт, адрес был написан ее почерком. Она взяла конверт, вынула из него простреленное письмо и свою фотокарточку и тут же быстро вложила обратно. Ирина почувствовала в ногах страшную слабость и ухватилась за спинку кровати. И если бы Орлов видел по-прежнему, если бы не мешали ему темные очки, он удивился бы внезапной бледности, покрывшей лицо Ирины.

— Готово?— спросил Орлов.

— Да... да...— ответила Ирина взволнованно, прикрывая подушкой положенный на место конверт.

— Просите его.

— Сейчас позову,— и она поспешно вышла.

В коридоре Ирине повстречался профессор — он сопровождал работника прокуратуры.

— Что случилось? На вас лица нет,— забеспокоился профессор.

— Виталий Вениаминович...— подавляя волнение, заговорила Ирина.— Это ... он... он....

— Кто?

— Да он...— девушка указала на дверь палаты, в которой находился Орлов...— Понимаете... это он!

— Само собой разумеется, что он, а не она.

— Ах, ну как вы не понимаете!

— Да что, собственно, я должен понять?

— Я и сама еще не знаю...— и побежала по коридору.

— Вот тебе и на! — засмеялся профессор.

Ирина жила при госпитале, занимая комнату в первом этаже. Прибежав к себе, она достала из шкатулки присланное из части письмо, перечитала его и тяжело опустилась на стул.

— Да... так и есть. Орлов Яков Макарович... Но почему же мое письмо и карточка все-таки оказались у него?..

Орлов попросил работника прокуратуры записать все, что он ему сообщит. Тот раскрыл папку, взял несколько листов чистой бумаги, положил на тумбочку.

— Говорите, я слушаю вас.

— Записывайте... Я, военный летчик Орлов Яков Макарович, заявляю следующее...

Рука работника прокуратуры застыла на тумбочке, глаза, полные удивления, были устремлены на больного.

— Летчик Орлов? Яков Макарович?

— Да. А что?

— Ничего, ничего. Продолжайте...

Орлов говорил так тихо, что работник прокуратуры вынужден был переложить бумагу с тумбочки на папку и сесть ближе к рассказчику.

...Прошло немало времени, прежде чем Орлов закончил свое повествование. Работник прокуратуры хотел было сказать что-то, но, закусив губы, промолчал. Глаза его улыбались.

— Подпишите,— он пододвинул ручку.

Орлов поднял очки на лоб и четко вывел свою подпись.

Вечером Ирина сдала дежурство, ушла в свою комнату и, не раздеваясь, прилегла на койку. Несмотря на усталость, она в течение всей ночи не сомкнула глаз. Мысли вновь и вновь возвращались к странной истории с письмом.

Судя по тому, что фотокарточка оказалась простреленной, она решила, что Орлов носил ее письмо у сердца. Значит, ее скромный подарок был не безразличен для него, если он не расставался с ним в боях и сохранил до сегодняшнего дня. И если враг стрелял в сердце Орлова, он стрелял в ее сердце...

Ирина вскочила с койки. В окно уже заглядывали лучи утреннего солнца, они ласково коснулись ее лица. Сердце Ирины переполнилось новым, еще неведомым ей горячим чувством, и на смену горечи, вызванной тем письмом с фронта, пришла светлая радость.

В эти благословенные минуты Ирине страстно захотелось увидеть Орлова, говорить с ним, как-то облегчить его страдания, утешить.

Она освежила холодной водой запылавшее ярким румянцем лицо, надела халат, взяла со стола книгу и побежала наверх.

— Куда это вы, Иринушка, торопитесь?— остановил ее профессор.

— К больному.

— Сегодня отдыхать положено.

— Я хорошо отдохнула, Виталий Вениаминович. Я только почитаю ему немного.

— Кому?

— Ему...— неопределенно ответила Ирина.

— Ах, ему,— и профессор с хитринкой посмотрел исподлобья на ее жизнерадостное лицо.— А что за книга?

— Сказки Андерсена.

— Ну что ж, сказки, пожалуй, можно.

Орлов спокойно лежал на койке. Ирина подумала: «Спит...»— и хотела уйти. Но не успела она закрыть дверь, как услышала его голос:

— Кто здесь?

— Это я...— и она вернулась в палату.— Не спите?

— Не сплю, сестрица.

— Скучаете?

— Заскучаешь, если просидишь несколько месяцев взаперти.

— А вы переписывались бы с кем-нибудь. Писать за вас, если не возражаете, буду я, вы только диктуйте. Знакомые у вас есть?

— Да. Родственников нет, а знакомые были, но где же теперь разыскивать их?

— Неужели вы с начала войны ни с кем из них не переписывались?

— Нет. Да и некогда было писать. Правда, за мной есть дол-

жок... Я обязан был написать одной хорошей девушке... Да вот она...— Орлов нащупал под подушкой конверт, передал Ирине.— Читайте, секрета в этом нет... Там, в конверте, и ее фотокарточка...

Ирина быстрым движением взяла письмо, чтобы Орлов не почувствовал, как у нее дрожат руки.

— Почему же вы... не написали ей?

— Не успел.

— А вы... давайте сейчас напишем ей, а?

— Что ж, давайте напишем. Правда, с большим опозданием. Но, говорят, лучше поздно, чем никогда.

— Я сию минуту...

Ирина вышла. «Господи, зачем я это делаю? Нехорошо-то как,— в замешательстве думала она.— Впрочем, а разве он хорошо поступил с моим письмом. Должна же я наконец знать, кто этот человек, жизнь которому помогла спасти моя кровь? Раз так случилось...» — она вернулась в палату:

— Диктуйте.

— Пишите: «Милая, славная девушка!.. Наконец-то представилась возможность ответить на ваше короткое, но такое сердечное письмо... В благодарность за эту вашу сердечную теплоту, которая согревает нас, фронтовиков, если суждено будет встретиться нам когда-нибудь, я обниму вас нежно-нежно, как родную сестру, расцелую...» Написали?

Ответа не последовало. Услышав всхлипывание, Орлов невольно сдвинул на лоб очки, и в его прищуренных глазах отразилось изумление. Он увидел перед собой то же девичье лицо, которое было изображено на фотоснимке, присужденном ему в авиачасти.

— Так это вы?.. — прошептал Орлов.

— Закройте глаза! — она быстро поправила ему очки и выбежала из палаты.

Минуту Орлов сидел на койке растерянный. Затем бросился следом за Ириной. В дверях он столкнулся с профессором.

— Куда? Не удирать ли вздумали?

— Это — она!..

— Кто?

— Ирина....

— Разумеется, Ирина не он, а она,— профессор взял Орлова под руку и повел в палату.

— Да нет... я понимаю... Но дело не в этом...

— А в чем же?

Орлов сунул руку под подушку, пошарил на тумбочке, нашел письмо, протянул профессору.

— Вот...

Профессор, прочитав письмо и посмотрев на снимок Ирины, вздохнул:

— Да-а. Понимаю. Что ж, в жизни всякое бывает. А ну-ка, присядьте,— и усадил его на койку.— Очки снимали?

— Простите... Я только немного сдвинул их.

— И узнали Ирину?

— Да.

— Не двоилась она?

— Нет.

— Прекрасно,— и профессор снял с него очки.— А моего двойника видите?

— Я вижу только вас.

— Хорошо видите?

— Очень.

— Резь в глазах чувствуете?

— Есть немного.

— Чудесно. Я знал, что вы уже избавились от «второго зрения», но очки носить еще некоторое время придется. С сегодняшнего дня разрешаю вам тридцатиминутные прогулки в госпитальном парке.

— Какое счастье! Спасибо, профессор.

— И непременно в очках.

— Ясно.

— И то ясно, что он — не она, а она — не он?

— Безусловно,— засмеялся Орлов.

— То-то. А вы мне голову морочите,— и он ласково погладил руку больного.

XXXVIII

Красивый приволжский город, раскинувшийся по левому берегу реки, жил своей обычной трудовой жизнью. Днем и ночью дымили заводские и фабричные трубы, цехи были наполнены неумолчным гулом станков. На шумных светлых улицах, по которым стремительно пробегали легковые, грузовые и санитарные автомашины, в цехах и учреждениях, на вокзале и пристани — всюду алели транспаранты со словами призыва:

«Все — для фронта!.. Все — для победы!..»

Жуков, встречая этот лозунг почти на каждом шагу, качал головой:

— А вот бывалого воина на фронт и не пустили. Техника техникой, а решают все-таки люди...

Год и три месяца пролежал он в военном госпитале, перенес две сложных операции. Перед тем как выписаться, Жуков попросил начальника госпиталя направить его на фронт.

— Я этого сделать не могу, — ответил начальник госпиталя.

— Почему?

— Во-первых, вы не военный.

— Сейчас все военные,— возразил Жуков.— Вся страна — военный лагерь.

— Во-вторых, вы партийный работник.

— А разве Красной Армии не нужны партийные работники?

— И, в-третьих,— продолжал начальник госпиталя,— мы обязаны по выздоровлении направить солдата в запасную часть, офицера — в резерв. А там уж распоряжается командование.

— Да-а-а..— вздохнул Жуков.— В гражданскую войну было проще.

— Верно, тогда дела решались проще,— согласился начальник госпиталя и добродушно улыбнулся: — Ну, товарищ секретарь райкома, завтра выписываем вас.

— И куда же вы дадите мне направление?

— В обкоме партии, я думаю, вы договоритесь. Не так ли?

— Надо полагать, договоримся... — и оба рассмеялись.

Утром следующего дня Жуков был в обкоме. Там уже ждали его прихода и подготовили назначение на работу.

— А что, если бы...— Жуков посмотрел в глаза секретарю обкома,— на фронт меня...

— Куда? — насторожился секретарь.

— Ну, скажем, на Кавказский фронт. В тыл немцам. Наши азовские рыбаки эвакуировались на Кубань. Я разыщу их. Партизанский отряд сформирую...

— Вы и здесь нужны,— мягко прервал его секретарь обкома.— Будете работать у нас инструктором. А Кубань от вас не уйдет.

— Хорошо,— ответил Жуков, но всеми своими мыслями он был там, на юге, у Азовского моря.

«Где-то теперь мои мореходы? — вспоминал Жуков бронзокосских рыбаков.— Живы ли?..»

И перед глазами невольно всплывали картины июньских дней сорок первого года: приближение фронта к Белужьему... Эвакуация людей и колхозного добра... Налет фашистских самолетов... Жестокая бомбежка... Отчаянные крики женщин, детей... Вспы-

хивающие в пыли и дыму молнии разрывов... Рев обезумевших животных...

Лицо Жукова становилось суровым и мрачным. В глубине сердца не утихало и личное горе.

«Глаша... друг мой. Может, и ты застряла где-то на узловой станции и попала под бомбежку?.. Да нет же, нет! — отгонял он тяжелые мысли.— Ты жива, Глашенька. Жива, родная моя... Но где ты? Где?»

Прошло около года, а поиски жены так и не приносили никаких результатов. Жуков посылал запросы почти во все города Урала и Сибири, но ответы адресных бюро были неутешительны. Измученный вконец, он как-то поделился своей печалью с секретарем обкома партии. Тот выслушал его и сказал:

— Ваша жена могла устроиться в деревне. А какая же там, да еще в войну, прописка? А вот на партийном учете она состоять обязана. Мы запросим Свердловский обком партии. В случае неудачи побеспокоим Челябинск, Уфу, Казань, Ульяновск, Горький. Найдем вашу Глафиру Спиридоновну,— обнадежил Жукова секретарь обкома.

* * *

Геббельс на весь мир растрезвонил о скором и окончательном разгроме и капитуляции Красной Армии. Но вместо обещанной капитуляции большевиков 2 февраля сорок третьего года перестала существовать 6-я армия фельдмаршала Паулюса, окруженная и уничтоженная Советской Армией под Сталинградом. Началось массовое изгнание гитлеровцев с Северного Кавказа. К августу уже были полностью очищены Кубань и все побережье Азовского моря.

Каждый день приносил с фронта добрые вести. В довершение радости как раз в эти дни Жуков получил весточку с Урала: нашлась его жена. Это было в начале августа. Секретарь обкома партии вызвал Жукова к себе.

— Советские воины освобождают огромные территории нашей земли. Люди возвращаются из эвакуации в родные места. Но враг, отступая, оставляет за собой руины и пожарища. Народу придется на голой земле строить все заново. Ему нужна помощь, и партия поможет,— он внимательно посмотрел на Жукова, спросил: — Вы понимаете, к чему я веду речь?

— Понимаю,— ответил Жуков.— Для освобожденных районов требуются партийные работники.

— Совершенно верно. Вот теперь вы можете поехать в свое родное Приазовье. Но...— секретарь обкома помедлил, пряча в уголках рта улыбку, и раскрыл настольный блокнот... — поедете вы не один, а вместе с Глафирой Спиридоновной...

Жуков так и вскочил с кресла, будто его подбросило.

— Нашлась?.. Глаша нашлась?..

Секретарь обкома вырвал из блокнота листок и протянул его Жукову:

— Вот адрес. Сейчас же телеграфируйте жене, а через двое суток и встречать можно. Желаю счастливой встречи.

Глаза Жукова сияли радостью. Он бережно принял драгоценный листок, медленно опустился в кресло и с благодарностью посмотрел на секретаря обкома:

— Спасибо, дорогой товарищ... Так обрадовали вы меня, что... Вот передохну немного — и на телеграф.

* * *

Война застала Глафиру Спиридоновну на Урале. Она с трудом добралась через Челябинск и Орск до Чкалова да там и застряла. Дальнейшее продвижение к Волге было немыслимым. Один за другим днем и ночью шли эшелоны с войсками и боевой техникой на запад, навстречу им сплошными потоками на восток двигались поезда с эвакуированными людьми, с заводским оборудованием. На вокзале толчея — не протолкнешься, город переполнен военными и гражданскими.

Пришлось Глафире Спиридоновне возвращаться на Урал.

Ей поручили заведовать детским домом, эвакуированным из Подмосковья в глухое горное село. Она отдавала всю свою любовь и ласку детям, у которых война отняла родителей. И дети сердцем тянулись к этой невысокой женщине с каштановыми с проседью волосами, согревались под ласковым взглядом ее живых карих глаз и называли Глафиру Спиридоновну «мамой».

В село тем временем завозили станки, устанавливали их под открытым небом, а потом стали возводить стены цехов. Глафира Спиридоновна и не заметила в ежедневных хлопотах, как в этой глухомани вырос шумный городок. К нему подвели железнодорожную ветку, и номерной завод уже полным ходом работал на оборону. На новых деревянных зданиях появились вывески горсовета, горкома партии и комсомола, коммунальных и торговых предприятий.

Шла война. Приходилось недосыпать и недоедать. Нередко случались перебои в снабжении продуктами детского дома. Когда однажды заболела одна из воспитанниц детдома, Глафира Спиридоновна отнесла на рынок те из немногих своих вещей, что еще уцелели, чтобы купить девочке молока. Здесь она увидела трутней, которые на трудностях народа строили свое благополучие. Но особенно возмутило ее, когда подобные люди нашлись среди тех, кому партия поручила заботиться о нуждах народа.

Как-то зимой Глафира Спиридоновна зашла к секретарю горкома партии. Заметив по ее лицу, что она чем-то взволнована, секретарь спросил:

— Что это вас, Глафира Спиридоновна, так расстроило?

— Да как тут не расстроишься? Хотите видеть, как заведующий торготделом Саблин демонстрирует свой патриотизм? Идемте.

Секретарь горкома знал, что Глафира Спиридоновна слов на ветер не бросает и зря возмущаться не станет. Он вышел из-за стола.

— Идемте.

Когда они подошли к рубленому дому, где квартировал Саблин, Глафира Спиридоновна показала на замороженные свиные окорока, развешанные на веранде.

— Любуйтесь... Люди пояса потуже затягивают, а он вот на показ выставил... Глядите, мол, как живет Саблин...

Бледное лицо секретаря горкома побелело еще больше. Он гневно проговорил:

— Да ведь это же... шкурничество!

— Настоящий шкурник,— сказала Глафира Спиридоновна. Через два дня жену Саблина задержали на рынке, когда она свертывала полученный в обмен на масло дорогой текинский ковер. Прокурор дал санкцию на обыск.

...В кладовых Саблина были обнаружены восемь копченых окороков, мука в кулях, полсотни банок мясных консервов, четыре ящика сливочного масла, несколько сотен яиц, два мешка сахару. Саблин предстал перед судом.

* * *

Не было такого дня и такой ночи, чтобы Глафира Спиридоновна не думала о муже. А вспоминая, мысленно переносилась на юг, к Приазовью... Но там фашисты... Где же теперь он?... Где

искать его?.. В какую дверь стучаться?.. Как найти его в этом людском водовороте?..

«Но если жив мой Андрюша, он разыщет меня. Непременно разыщет...» — и Глафира Спиридоновна верила, надеялась, ждала.

И дождалась. Ранним утром к ней вбежала с сияющим лицом воспитательница, подала телеграмму:

— Скорей читайте... И скажите: радостная весточка?

Глафира Спиридоновна сорвала бандероль, пробежала глазами строчки, уронила телеграмму и стала пальцами растирать виски.

— Вам плохо? — кинулась к ней встревоженная воспитательница.

— Жив... нашелся...— наконец выговорила Глафира Спиридоновна. По ее лицу текли слезы, но она не чувствовала этого. Подошла к окну, распахнула его и, счастливо улыбаясь сквозь слезы, выдохнула:

— Боже! Да какой же светлый день сегодня!..

* * *

Жуков нетерпеливо прогуливался по перрону, часто посматривая то на часы, то в сторону семафора. Уже давно прошло время, указанное в расписании, поезд опаздывал, и это пугало Жукова. Но тут он ловил себя на мысли: «Какое теперь может быть расписание? Война!..» Он уже встретил и проводил несколько воинских эшелонов и санитарных поездов. Наконец у семафора показался поезд. На перроне заволновались, засуетились люди, толкая Жукова в бока и спину. Он не ощущал толчков, не отрывая пристального взгляда от поезда, с грохотом приближавшегося к вокзалу. Сотрясая перрон, прогромыхал запыхавшийся паровоз. За ним, рассыпая искры из-под тормозных колодок и замедляя ход, бежали вагоны — первый, второй, третий... Глафира Спиридоновна ехала в четвертом вагоне. Она стояла у открытого окна, махала Жукову рукой, улыбалась. Жуков не сразу узнал жену. Глафира Спиридоновна похудела, потемнела в лице, и только глаза ее по-прежнему светились и горели жарким блеском.

— Андрюша!— окликнула его Глафира Спиридоновна, высунувшись из окна.

Жуков, пробиваясь сквозь толпу, бросился за вагоном, вскрикивая:

— Глаша!.. Глашенька!..

Поезд остановился. Жуков подбежал к вагону в ту минуту, когда Глафира Спиридоновна сошла на перрон. Она поставила у ног чемодан, тихо произнесла:

— Андрейка... Родной...

Жуков не мог вымолвить ни слова. По перрону бежал с криком, как озорной мальчишка, а теперь не знал, что жене сказать. Волна радости захлестнула его. Заметив на его ресницах дрожавшие слезы, Глафира Спиридоновна улыбнулась, покачала головой:

— Ребенок... Совсем как ребенок...

— Любонька... Хорошая моя...— наконец произнес Жуков. Он обнял Глафиру Спиридоновну и молча прижал ее голову к своей груди.

На второй день Жуков и Глафира Спиридоновна направились в Приазовье. Утром они уже были на пароходе. Жуков сидел с женой на палубе и любовался волжскими просторами. День был жаркий, но с реки тянуло свежестью. Синие волны красавицы реки ласкались к берегам. Но вот река и степь слились, и глазам Жукова предстало ласковое и грозное синее море... Он вспоминал Кострюкова, Васильева, Кавуна, Душина, Евгенку, Анку, всех друзей-бронзокосцев и радовался скорой встрече с ними. Не знал Жуков, что некоторых уже нет в живых и что в этот самый августовский день в одном из городов на Кубани Анка была арестована и передана следственным органам военной прокуратуры...

XXXIX

Анку подобрали советские бойцы. В санбате ей сделали перевязку и отправили в тыл. Ранение оказалось серьезным — пуля повредила кость левой ноги. В госпитале из опасения гангрены предложили отнять ногу по колено, но Анка от ампутации наотрез отказалась.

Проходили дни, недели, месяцы. Рана упорно не заживала, лечение затягивалось... Но еще упорнее была Анка, и она переборола недуг. В августе 1943 года ее выписали из госпиталя, обмундировали, выдали проездные документы, деньги на дорогу и пожелали счастливого пути...

Стоял ясный, сверкающий день. Августовское солнце ласково улыбалось с безмятежной лазурной выси. Анка шла по шумной городской улице, занятая своими думами. Рассеянным взглядом

окинула она улицу и вдруг застыла как вкопанная. Ей навстречу шел Бирюк. Он был в новом коричневом костюме, на голове серая кепка, на руке висел прорезиненный плащ. Анку он заметил, только когда подошел к ней вплотную. Его жесткие колючие глаза забегали по сторонам, а слащавый голос вкрадчиво прогудел:

— Анна Софроновна, вот радость-то какая. Истинно, гора с горой не сходится...

Анка задохнулась от гнева и вначале не могла вымолвить ни слова. Она беспомощно посмотрела вокруг. Мимо проходил офицер с патрулями.

— Хватайте его! Это убийца и предатель!— закричала Анка.

Офицер остановился.

— Ах так?...— потемнел в лице Бирюк.— Еще посмотрим, чья возьмет,— прошипел он и кинулся к офицеру:— Я был с ней в одном партизанском отряде. Арестуйте ее, товарищи. Она заколола финкой партизана Паукова, а теперь хочет снова улизнуть.

— Это неправда,— перебила Анка,— я защищалась.

— Она застрелила советского летчика Орлова...

— Это ты убил его, бандит.

— ...и сбежала к немцам.

— Врешь, негодяй!

— У меня есть вещественные доказательства. Есть живые свидетели. Арестуйте ее.

Офицеру все это показалось весьма подозрительным. Он кивнул патрульным и обратился к Анке и Бирюку:

— А ну, граждане, следуйте за мной в комендатуру. Там разберем, что к чему...

Через месяц военная прокуратура закончила следствие по делу Бегунковой Анны Софроновны, обвиняемой в убийстве летчика Орлова и партизана Паукова. Анка же ничем не могла подтвердить свои показания. Из всех, знавших ее по отряду, был допрошен следователем прокуратуры только один Кавун, все еще находившийся после сложной операции на излечении в госпитале в соседнем городе. Васильев выписался весной и уехал неизвестно куда. Михаил Лукич Краснов, ожидая, когда Красная Армия освободит Бронзовую Косу, работал со своими рыбаками в одном из прикаспийских колхозов, а в каком именно, никто не знал.

Военный прокурор, располагая некоторыми вещественными доказательствами, уличавшими Анку в убийстве (а она и сама не отрицала, что убила Паука), показаниями Бирюка и Кавуна— последний, правда, показал в письменной форме, что знает Бегункову только с хорошей стороны,— решил передать дело на рассмотрение трибунала.

И Анка предстала перед судом военного трибунала... На суде она повторила все то, что уже было сказано ею следователю прокуратуры, ничего нового не прибавила к своим первоначальным показаниям. Но у нее не было ни одного, хотя бы незначительного довода, который она могла бы привести в свою пользу. Наоборот, все было против нее: и лежавшие на столе санитарная сумка, и финский нож, и пистолет Орлова, а главное — свидетельские показания Бирюка. Положение Анки было безвыходным.

— Обвиняемая Бегункова,— обратился к ней прокурор.— Почему вы скрылись в тот вечер, когда в хижине был обнаружен труп летчика Орлова?

— Я не скрывалась. Я выполняла задание командира. На обратном пути задержалась возле сторожевого поста у поляны... Медикаменты перекладывала из узла в сумку.

— Кто это может подтвердить?

Анку судили в городском театре, переполненном военными. Она посмотрела в зал, как будто надеялась увидеть кого-нибудь из боевых друзей, пожала плечами:

— Видно, никто... Цыбуля и его товарищ погибли.

Прокурор посмотрел на нее строгим непроницаемым взглядом. Он чаще других задавал ей вопросы.

— Почему в хижине возле убитого оказалась ваша сумка с медикаментами?

— Я забыла ее там.

— Вы, значит, были в возбужденном состоянии? Отчего?

Анка не ответила. В притихшем зрительном зале послышались тяжелые вздохи.

— Когда вы стреляли в Паукова...

— Я заколола его,— перебила прокурора Анка.

— Вот этим ножом? — председатель трибунала показал нож.

— Да.

В зале зашаркали ногами, зашумели. Председатель позвонил. Снова водворилась тишина. Прокурор продолжал:

— Это, по сути дела, все равно — застрелили вы его или зарезали ножом. Суду важно знать: какая причина побудила вас к этому?

— Во-первых, я оборонялась. Пауков хотел задушить меня.

— А во-вторых?

— Мстила... Я и в Егорова стреляла.

— За что мстили?

— За смерть Орлова.

— Чем вы можете доказать, что именно они убили Орлова? — Не дождавшись ответа, прокурор добавил: — Если вы не

научились врать, то лучше говорите правду. Для вас так будет лучше,— подчеркнул он.

— Я никогда не врала.

— Предположим. Тогда ответьте на такой вопрос: почему вы убежали, когда вас окликнул у хижины Егоров?

— Я боялась его. Он убил бы и меня. Или задушил, как это пытался сделать Пауков.

— Вы раньше ни в чем не подозревали Егорова?

— Нет.

— А теперь утверждаете, что он убийца. Вам не кажется, что одно с другим плохо вяжется? Между тем, на столе перед судьями лежит именно ваш нож, обагренный кровью партизана Паукова... Свидетель Егоров, — обратился прокурор, с разрешения председателя трибунала, к Бирюку.— Вы когда-нибудь угрожали обвиняемой?

— Никогда. Мое отношение к ней было истинно братским. Я ее за родную сестру почитал.

Анка с такой ненавистью взглянула на Бирюка, что тот слегка запнулся.

— Да вот товарищ Кавун и ее и меня хорошо знает. Он сказал бы, как я относился к ней и в хуторе, и в отряде. Всегда во всем помогал... Я еще раз обращаюсь к суду с просьбой: вызовите сюда товарища Кавуна. Он должен являться на данном процессе главным свидетелем.

Прокурор сказал, что вопросов к свидетелю больше не имеет, председатель предложил Бирюку сесть.

— На поверку выходит иная картина,— продолжал прокурор.— Вы, Бегункова, не Егорова боялись, а, испугавшись содеянного преступления и боясь быть разоблаченной Егоровым и Пауковым, выпустили в них из пистолета всю обойму, чтобы, покончив с ними, спрятать концы в воду. Но это вам не удалось. Вы промахнулись и убежали. А куда убежали, остается суду пока неизвестным.

— Я говорила куда...

— Это неправда.

— Что ж, сейчас я бессильна доказать вам свою правоту.

И она затихла, опустив голову. Видя безвыходность своего положения, измученная трехдневным судебным процессом, Анка решила не отвечать больше ни на какие вопросы. Она сказала все...

Председатель трибунала объявил перерыв.

Прокурор ходил взад и вперед за кулисами, курил и о чем-то размышлял.

Председатель и члены суда отдыхали в кабинете директора театра, временно занятом под совещательную комнату. Они тоже чувствовали себя как-то неуверенно в этом странном деле. Никому из них почему-то не хотелось верить, что подсудимая убила советского летчика. Достаточно было одного взгляда на ее лицо, глаза, чтобы убедиться в этом. Однако все улики были против нее. Не находилось ни одного факта, который послужил бы поводом для смягчения ее тяжелой участи. А тут еще усугубляло дело ее собственное признание в том, что она убила Паукова...

Работник прокуратуры, посетивший в госпитале Орлова, поспешно вошел в здание, разыскал прокурора.

— Очень важные сведения,— доложил он, передавая прокурору исписанные листы бумаги.

Тот бегло просмотрел записи, и его пушистые брови приподнялись.

— Летчик... Орлов... жив?

— Вот его личная подпись.

— Где же он?

— В госпитале.

— Уф! — вздохнул прокурор так, будто сбросил с плеч тяжелый груз.— Я впервые сталкиваюсь с таким невероятным случаем.

— Да, случай почти невероятный.

— Надо сейчас же передать показания Орлова председателю,— прокурор поспешно направился в совещательную комнату.

Перерыв затягивался. В зрительном зале сдержанно покашливали, нервно шаркали ногами по полу, скрипели стульями; люди нетерпеливо ожидали появления судей, никто не покидал своего места. Каждый из присутствующих хотел знать: что же будет дальше, чем кончится процесс и какой будет вынесен приговор?.. Те, кто по ходу процесса были настроены к обвиняемой враждебно, сидели насупившись, с замкнутыми холодными лицами, а сочувствующие Анке, столько раз презревшей смерть и перенесшей такие испытания, вздыхали и не сводили соболезнующих взглядов с осунувшегося померкшего лица подсудимой.

Наконец, по истечении часа, показавшегося для присутствующих вечностью, со сцены прозвучал четкий голос, торжественно возвестивший:

— Встать! Суд идет!

Анка стояла опустив глаза. Для нее все стало безразлич-

ным, даже собственная жизнь. Она больше никого не хотела видеть, не хотела больше отвечать на истерзавшие ее сердце вопросы.

Опять выступал Бирюк. Он говорил о давней связи Анки с Павлом Белгородцевым, о «пригульном» ребенке, высказал предположение о том, что она, Анка, умышленно оставалась в оккупированном немцами хуторе, видимо, рассчитывала стать женой Павла, о ее, как выразился Бирюк, «шашнях» с Орловым, о загадочной смерти партизана Скибы, с которым Анка ходила в разведку, опять расписывал убийство Паука и еще раз настоятельно просил вызвать в суд главного свидетеля. На это он напирал, будучи уверен, что Кавуна вызвать нельзя.

Его слушали не перебивая.

— Что еще можете добавить к своим показаниям?— спросил председатель, когда Бирюк наконец кончил говорить.

— Ничего.

— А вы подумайте!— предложил председатель.

— Всё...— развел руками Бирюк.

— Садитесь,— и председатель обратился к Анке:— Обвиняемая Бегункова, с вашей стороны нет возражений по поводу вызова в суд главного свидетеля?

Анка подняла голову, но на вопрос не ответила. Вдруг ее поразило совершенно преобразившееся лицо председателя. Оно было доброжелательным, почти ласковым. Даже суровый, придирчивый прокурор сбросил с себя холодную непроницаемость и смотрел на нее потеплевшими глазами.

«Нет, все это мне почудилось... Господи, наверно, я схожу с ума...»— с тоской подумала Анка и снова опустила взгляд, не промолвив ни слова.

— Суд принимает молчание обвиняемой за утвердительный ответ,— сказал председатель и, повысив голос, громко произнес:— Попросите сюда главного свидетеля!

— Я здесь! — отозвался кто-то из зала.

Бирюк, услышав знакомый голос, вскочил и снова рухнул на стул, замер в ожидании.

— Подойдите сюда, пожалуйста, свидетель,— пригласил председатель.

Орлов, сопровождаемый профессором Золотаревым, прошел мимо притихших зрителей и поднялся по ступенькам на сцену.

— Ваша фамилия, имя, отчество?— спросил председатель.

— Орлов Яков Макарович...

Анка вскрикнула, пошатнулась. Часовые поддержали ее. Бирюк сидел неподвижно, сразу обмякший, мертвенно-бледный.

Холодная испарина покрыла его помертвевшее лицо. Все что угодно мог бы ожидать он, только не появления в суде Орлова.

— Свидетель Егоров!— строго посмотрел на Бирюка председатель.— Встаньте, когда к вам обращается судья... Имеете вы еще что-нибудь добавить к вашим показаниям?

— Нет,— глухо, упавшим голосом произнес Бирюк.

— Тогда добавит суд: вы, покушаясь на жизнь летчика Орлова, когда он лежал в хижине тяжелобольной, нанесли ему удар камнем по голове. Кто же стрелял ему в грудь?

— Не знаю...— прошептал Бирюк.

— А может, знаете?

Бирюк молчал.

— Садитесь,— сказал председатель.

Голова Бирюка гудела, как с перепою. Он не слышал, как председатель, вполголоса посовещавшись с членами суда, прочитал решение о прекращении дела Бегунковой и освобождении ее из-под стражи, о взятии под стражу Егорова и о передаче его дела следственным органам. Он очнулся только тогда, когда в зале загремели рукоплескания, а перед ним скрестились два стальных штыка... Вобрав голову в плечи, Бирюк спустился со сцены и под перекрестным огнем презрительных, гневных взглядов присутствовавших в зале вышел, сопровождаемый часовыми.

Анка обошла барьер и, пошатываясь, направилась к Орлову. Она шла к нему с протянутыми руками и молча, словно немая, шевелила губами. Обессиленная и опустошенная, пережившая столько тяжелых потрясений, Анка зашаталась и медленно опустилась на скамейку.

Орлов бросился к ней, бережно обнял:

— Аннушка... родная моя...

— Я так устала, Яшенька... Так устала...— прошептала Анка, и слезы брызнули из ее глаз.

* * *

Врачебная комиссия признала Орлова инвалидом третьей группы.

— Помилуйте!— возмутился он.— Какой же я инвалид?

— Инвалид Отечественной войны,— пояснил председатель комиссии.

— Да понимаете ли вы, что меня с такими документами на выстрел не подпустят к самолету?

— Почему? В качестве пассажира подпустят,— спокойно сказал врач.

— Я — летчик.

— Забудьте об этом. Вы свое отлетали.

— Нет,— запальчиво воскликнул Орлов.— Я буду требовать переосвидетельствования и докажу, что я еще летчик.

— Мы, врачи, лучше знаем, кого можно допускать к полетам, а кого нельзя.

— Не знаете вы ничего, сидя в кабинете. А вот если бы я вас по-чкаловски прогулял на самолете под небесным зонтиком, тогда вы признали бы меня здоровым,— и Орлов выбежал из комнаты, в которой заседала комиссия.

В коридоре он встретил Ирину. Девушка была чем-то возбуждена, большие черные глаза ее блестели. Последние дни она, как никогда, была веселой. Профессор подозрительно посматривал на нее, догадываясь, почему так изменилась Ирина. Он хорошо изучил эту девушку и прекрасно понимал, что своей неестественной жизнерадостностью она пыталась скрыть неутешное горе. Прикидываясь веселой, Ирина изо всех сил старалась не обнаружить боль, которую причиняла ей разлука с Орловым. На свою беду девушка полюбила этого человека, не подозревая, что в его сердце давно живет большое чувство к другой.

— С чем поздравить вас?— участливо спросила Ирина.

Орлов досадливо махнул рукой.

— В инвалиды зачислили.

— Значит, так надо.

— Да не могу я без крыльев...

— Отрастут. Идите в мою комнату, там Аня. Ее и вас вызывает военный прокурор по делу Егорова.

В прокуратуре Орлову и Анке дали прочитать показания Бирюка. Он сознался во всех своих преступлениях, ничего не скрывая, и просил, учитывая его искреннее раскаяние, сохранить ему жизнь. Орлову и Анке нечего было добавить к исчерпывающим показаниям Бирюка, и прокурор передал дело на рассмотрение трибунала.

Приговором военного трибунала Бирюк за свои чудовищные преступления был присужден к высшей мере наказания.

Пока Орлов оформлял в госпитале документы, Анка отправила на хутор подробное письмо о двух судебных процессах в трибунале, расстреле предателя и убийцы Бирюка, сообщила о своем скором приезде.

Орлов взволнованно прогуливался по госпитальному парку. Он несколько раз обошел все аллеи и присел на скамейку под старой липой. Достал из кармана телеграмму, еще раз перечитал:

«Буду завтра самолетом. Бровин». Это телеграфировал командир авиаполка.

«Получил, значит, письмо. Но где же он? Ведь мы сегодня уезжаем. Придется, видно, по такому случаю отложить отъезд до завтра».

На повороте аллеи показалась радостная и возбужденная Анка.

— Ну, Яшенька, встречай гостя!

— Наконец-то!— вскочил Орлов.

— Сиди, сиди. Он сюда идет. Сиди,— махнула рукой Анка и убежала обратно.

Орлов как поднялся, так и продолжал стоять возле скамейки. Сдержанно улыбаясь, к нему широкими шагами приближался полковник. За ним едва поспевал с большим чемоданом и газетным свертком старшина. Полковник порывисто обнял Орлова, троекратно расцеловал и произнес только:

— Ну и ну...

Старшина поставил на землю чемодан, положил на него сверток, вытянулся в струнку, приложил к козырьку руку:

— Здравия желаю, товарищ старший лейтенант!

— Здоро́во, старшина, здоро́во!

— Сядем,— сказал полковник, все еще рассматривая Орлова.— Так вот, значит, какие дела... Немцы подожгли самолет, вы приземлились и попали к партизанам. А мы-то вас...

— В покойники зачислили?— засмеялся Орлов.

— Да, признаться, зачислили. А вы живы, здоровы и прямо-таки героем выглядите.

— А вот врачебная комиссия в инвалиды записала.

— Ничего не поделаешь,— развел руками полковник.— На то она и врачебная комиссия.

— А я чувствую, что могу летать. И докажу это.

— Каким образом?

— Пойду на перекомиссию.

— Если докажете, я с радостью приму вас в свой полк. А пока надо вам хорошенько отдохнуть.

— Непременно в свой родной полк вернусь. Верно, старшина?

— Так точно,— отчеканил старшина.

— А больше не будете присуждать мне девушек?

— Смотря по обстоятельствам,— хитровато улыбнулся старшина.

— Ну, нам пора на аэродром,— сказал полковник.— Вот что... в этом чемодане все ваше имущество: и парадный костюм, и ордена, и все, все. А это,— вынул он из кармана гимнастерки партбилет,— от секретаря партбюро, просил передать, вам в собственные руки...

— Спасибо, товарищ полковник, за вашу заботу.

— Ладно, ладно. А нашу встречу и расставание мы сейчас немножечко вспрыснем. Старшина!

Тот мгновенно развернул газету, и перед однополчанами появились бутылка коньяку, бутерброды с ветчиной, шоколад, три алюминиевые стопки .

Старшина ловко откупорил бутылку, налил в стопки коньяку.

— За скорую нашу победу!— провозгласил полковник тост.

Выпили. Закусывая шоколадом, полковник сказал:

— Мне вести самолет. Я больше ни грамма, а вы пейте, вам даже полезно.

Из разговора с полковником Орлов узнал, что полк давно перебазировался, и теперь летчики ночами бомбят гитлеровцев на Крымском полуострове, доставляют в горы нашим партизанам продукты и медикаменты.

— Скоро будем базироваться на Крым,— сказал полковник и встал.— Пора в дорогу.

Орлов, загадочно улыбаясь, сказал старшине:

— А хотели бы вы взглянуть на ту самую Ирину, которую вы присудили мне?

— Как это... взглянуть?

— А так, глазами. Ирина работает в этом госпитале.

— Ишь ты, какое дело! — изумился старшина.

— Ее кровь спасла меня.

— Смотрите, какое совпадение,— оживленно промолвил полковник.— Так она и сейчас здесь?

— Здесь. Идемте. Познакомлю вас.

* * *

Провожать Анку и Орлова профессор и Ирина приехали на вокзал. Ирина без умолку говорила, смеялась, но срывавшийся голос выдавал ее. Раздался второй звонок. На перроне засуетились. Пассажиры поднимались в вагоны. Лицо Ирины побледнело. Попрощались. Ирина поцеловала Анку:

— Пиши, не забывай.

— Обязательно. Кончится война, приежай, Иринушка, к нам на море. Хорошо там, у нас. Тебе понравится!

Орлов и Анка вошли в вагон. Паровоз дал гудок, плавно тронулся с места состав. Перестук колес удалявшегося поезда становился все глуше и глуше... Ирина отвернулась, скрывая слезы, но плечи ее вздрагивали.

— Полно, Иринушка. Зачем же плакать?

— Сердцу не прикажешь, Виталий Вениаминович...

XL

Красная Армия наступала, отбрасывая гитлеровцев на запад. Сумятица и нервозность царили в немецких тылах. Паническое настроение охватывало и штабных работников, и гестаповцев, и жандармерию.

Бои шли еще под Таганрогом, а лейтенант, не попрощавшись с атаманом, под покровом ночи снялся с якоря и увел из хутора свой гарнизон. Сбежали и два полицая. Оставались пока при атамане вислоухий и его неизменный напарник по уголовным делам и тюремным камерам.

Павел утратил атаманскую осанку, ходил осунувшийся и хмурый, вбирая голову в плечи и по-волчьи озираясь. Он видел, как в глазах у хуторян светилась надежда на скорое освобождение, и это злило его, приводило в бешенство.

— Приготовьте побольше керосину. Когда будем уходить, со всех сторон подпалим хутор,— говорил он, косо посматривая на своих помощников. После побега двух полицаев Павел стал с недоверием относиться к вислоухому и его приятелю.

До хутора доносился едва уловимый гул. Это севернее Косы Советская Армия взламывала немецкую оборону. А по-над морем от Миусского лимана на Мариуполь двигался батальон советских пехотинцев, «прочесывая» побережье. Но в приморских рыбацких поселках уже не было ни одного вражеского солдата. Боясь быть отрезанными, гитлеровцы заблаговременно удрали с побережья к Мелитополю. Атаманам и старостам они говорили, что уходят на фронт.

Всю ночь не смолкала отдаленная канонада. С полуночи до утра «трудились» и полицаи в курене Павла. У них еще оставался мешок сахару, и они варили самогон в дорогу. У крыльца стояли наготове впряженные в пролетку лошади. Смоченные

в керосине тряпки кучей лежали в задке. По замыслу Павла, перед тем как покинуть хутор, они промчатся по улицам и подожгут несколько куреней и сараев, используя для этого пропитанные керосином тряпки.

Самогон пили горячим, отчего быстро пьянели. После каждого стакана Павел вскакивал, бегал по комнатам, ломал стулья, бил посуду, опрокидывал столы.

— Заканчивайте. Уже утро, солнце скоро взойдет!— бешено округляя глаза, орал он.

— Айн момент, господин бывший атаман,— успокаивал его вислоухий, глядя на струившийся из трубки аппарата самогон.— Разве можно бросать такое добро?

Павел снова глтонул самогону и с яростью швырнул стакан на пол.

—Неужели я больше не атаман? — взревел он, дико вращая обезумевшими глазами.— Неужели моя звезда закатилась?

— Чудишь все, Павел Тимофеевич,— засмеялся пьяный вислоухий.— И черт с ней, с твоей звездой. Нашел о чем жалеть. Она была такой малой величины, что восход и закат ее никто и не заметил!

Павел резко обернулся к нему.

— Злорадствуешь, сволочь?.. Я тебя, гада, из тюрьмы вызволил... а ты, фальшивомонетчик!..

— Но, но! — оборвал его вислоухий.— Ты, бывший атаман, того... осторожнее на поворотах. Выбирай выражения. Воспитание у меня хотя и тюремное, но я не сволочь и не гад.

— Значит, я бывший? Вот как? Предатели! Те негодяи смылись и вы... предаете меня! Эх, ты, гадина! — Павел выхватил из кармана пистолет и выстрелил в вислоухого.

Другой полицай отшатнулся к стене, сорвал висевший на гвозде автомат.

— Так и знал, что вы предадите меня, собаки,— и Павел двумя выстрелами уложил второго полицая.— Без вас обойдусь, падаль...

На исходе ночи батальон проследовал через поселок Светличный и ранним утром, еще до восхода солнца, подошел к хутору Бронзовая Коса.

Первой увидела солдат, у которых на пилотках горели красные звездочки, двенадцатилетняя Лушка — дочь вдовы Матрены, жившей на окраине хутора. Она вбежала в курень вся сияющая. Заикаясь, крикнула:

— Мама!.. Там... идут!..

— Что с тобой? — спросила удивленная мать.— Кто идет?

— Наши... наши идут!

— Где? — Матрена выронила из рук ухват.

— Погляди сама... Идут!

Женщина выскочила из куреня. К хутору подходили советские бойцы.

— Боже мой! — всплеснула Матрена руками и побежала по улице.— Настасея!.. Фиён!.. Агаша!.. Выходите, Красная Армия пришла!.. Пантелей!.. Ольга!.. Встречайте! Наше спасение пришло!..

Захлопали двери куреней, заметались по улицам люди, послышались ликующие возгласы:

— Родные!

— Милые!

— Желанные!

— Сынки наши!

— Братики!..

— Сколько ж мы вас выглядали!..

Бойцов и офицеров обнимали, целовали, припадали лицами к запыленным, пахнущим потом и пороховым дымом гимнастеркам; кто-то весело смеялся, кто-то плакал, дав волю прорвавшимся слезам радости.

Всходило солнце. Стремительные лучи, дробясь о деревья и оконные стекла, золотыми теплыми брызгами окропили оживленные улицы и счастливые лица бронзокосцев. Казалось, будто хутор пробудился от долгого кошмарного забытья. Навсегда ушла с Косы длинная страшная ночь вслед за откатившейся на запад мутной волной гитлеровцев...

Кто-то крикнул:

— Смотрите, солнце!

Все обернулись к востоку.

— Солнце!.. Солнце!.. — ликовали бронзокосцы, будто впервые увидели его.

Необычный многоголосый шум, доносившийся из центра хутора, услышала Акимовна.

«Что бы это могло значить?» — обеспокоенно подумала она и поспешила за ворота.

За хутором, по косогору, двигались в сторону Мариуполя цепи бойцов. За ними следовали на конной тяге пушки, минометчики несли на себе трубы и плиты, пулеметчики тянули за дуги свои «максимы», посаженные на станки с маленькими колесами. Шествие замыкали повозки с боепитанием и походные кухни.

Акимовна не могла оторвать глаз от этой радостной картины. Лицо ее просветлело, потеплели глаза, учащенно застучало в груди сердце.

— Дождались... Слава тебе, господи! Дождались светлого дня... — Вдруг она нахмурилась, лицо помрачнело. — А может, эти пьянчуги еще тут?.. Ведь убегут!.. Убегут, проклятые ироды...

Акимовна, спохватившись, кинулась в сарай. Через несколько минут она появилась оттуда с берданкой и вышла на улицу. Акимовна знала, что Павел и полицаи часто гнали самогон, напивались до зеленого змия и подолгу зоревали в постели. Внезапное появление советских войск натолкнуло ее на мысль, что, может, Павел и полицаи еще не успели уехать из хутора. Надо было не упустить их. Да и уехать теперь они не могли бы — хутор был отрезан. Но тут в голове ее мелькнула мысль:

— «Моторка!..»

Акимовна повернула к тропинке, сбегавшей по крутому склону к берегу. Моторная лодка, подаренная шефом Павлу, стояла на приколе у пирса. Акимовна вздохнула с облегчением, вернулась назад. На окраине хутора ее остановили пистолетные выстрелы. Стреляли совсем рядом, в тесном проулке. Щелкнув затвором берданки, Акимовна дошла до проулка, выглянула из-за угла. Там, отстреливаясь, пятился, отступая, Павел. Образуя полукольцо, на него редкой цепочкой наступали старики с длинными дубинами и веслами в руках.

«Облава на волка»,— сказала про себя Акимовна, вышла из-за угла и преградила Павлу дорогу.

Расправившись с полицаями, Павел взял бутыль с самогоном и вышел из куреня. На ступеньках крыльца он зажмурился. Первые лучи солнца, поднимавшегося из-за далекого горизонта, ударили ему в глаза, на мгновение ослепили. В ту же секунду Павла хлестнул по ушам ликующий шум людских голосов, похожий на грозный прибой. Нога Павла, не успев коснуться следующей ступеньки, повисла в воздухе. Он понял, что это катится по улице людская волна...

«Такого шума на хуторе еще не бывало... Отчего же это народ так взбунтовался?..» Но когда через дощатый забор Павел увидел пилотки с красными звездочками, брюхастая бутыль с самогоном выпала из рук и со звоном разбилась у его ног.

«Красные...» — похолодел он.

Резкий, требовательный стук в калитку заставил Павла очнуться от оцепенения. Стук, настойчивый и частый, повторился.

«К морю... На моторку... Пролетка теперь мне без надобности... К морю! На берег!» — и Павел, согнувшись, будто удары сыпались на него, бросился через базы́ к морю.

Со всех концов взбудораженного хутора к центру спешили женщины, старики, ребятишки. Павел бежал — где во весь рост, где сгибаясь в три погибели, а где и ползком на брюхе, прячась за невысокими плетнями.

— Атаман удирает! Держите немецкую собаку! — закричал дед Фиён, заметив крадущегося Павла.

— Атама-а-а-на!.. Соба-а-а-ку! Ату его!.. — разнеслись по улицам крики босоногих ребятишек.

Со всех дворов выбегали старые рыбаки, вооруженные кто веслом, кто дубовой колотушкой, кто багром, отрезая пути атаману. Павел, отстреливаясь, метнулся в проулок. Рыбаки напористо наседали на него. Пятясь, как рак, Павел держал в вытянутой руке пистолет, но не стрелял. Патроны кончились, и он показывал рыбакам пистолет для острастки, стараясь не подпускать их близко к себе.

У самого крайнего куреня Павел сделал крутой поворот, намереваясь, видно, шмыгнуть за угол, но предупредительный окрик Акимовны «Стой!..» пригвоздил его к месту. Из руки Павла выскользнул пистолет, глухо стукнулся о пыльную дорогу. Под суровым взглядом Акимовны, не сулившим «атаману» ничего хорошего, Павел сгорбился, опустил голову. Как затравленный волк, он посматривал исподлобья то на черный кружок ружейного дула, то на указательный палец Акимовны, лежавший на спусковом крючке берданки. Позади него затихли гулкие шаги и только слышалось тяжелое дыхание стариков.

— Ну, атаман?.. — голос Акимовны был ровным, спокойным, но Павла он словно бритвой резанул.— Что же ты молчишь?.. Или в час расплаты язык отнялся?..

— Стрельни в него, Акимовна!

— Чего с таким христопродавцем разговаривать.

— Убей!

— Бешеных собак стреляют!

— Грохни из самопала!

— Убей!

— Стрельни, слышь, а то я его веслом пришибу! — волновались старики.

Павел упал на колени, стукнулся лбом в землю, глухо застонал:

— Акимовна, спаси, помилуй... Люди добрые, христиане... Проклятый немец попутал... Не губите... Народ православный.

как перед богом, так и перед вами... Дьявол помутил мой разум, на грех толкнул...— он ползал по пыльной дороге, всхлипывая и размазывая слезы.— Я буду целовать ваши ноги, только не губите молодую жизнь... Не губите, родные... Пощадите...

— А сколько наших людей отправил ты в Германию на каторгу, душегуб?

— Людоед!

— Мразь!..

Акимовна толкнула его прикладом берданки, сказала повелительно:

— Встань!

Павел медленно поднялся. С мундира и шаровар осыпалась пыль.

— Тебя, ирода,— продолжала Акимовна,— следовало бы вздернуть на той же акации, на которой ты повесил безвинного Силыча. Но мы передадим тебя нашим властям, пускай они и решают твою судьбу.

— Акимовна, я виноват... грешен... но пощадите меня,— и Павел молитвенно сложил перед собой руки. — Каюсь, люди добрые... Не губите...

— Поздно каешься. Говорила тебе, разбу́дите в народе гнев, заштормит он сильнее морской бури и смоет всю нечисть с родной земли. Так оно и вышло. А ты чем ответил мне на это?.. Щенок, ты ударил меня... Не забыл?

Павел молчал.

— Иди! — приказала Акимовна.

— Куда?

— Посадим тебя в кутузку, пока подойдут власти. Иди.

Павел замотал головой:

— Не пойду... Вы повесите меня... Не пойду... Вы не судьи... не имеете права...

— Иди! — повысила голос Акимовна.

И тут случилось такое, чего никто не ожидал. Павел вдруг весь напрягся, изо всей силы толкнул в грудь Акимовну, видимо, рассчитывая сбить ее с ног, и бросился бежать. Акимовна пошатнулась, но устояла. Павел не успел отмерить и десяти шагов, как вслед ему грянул выстрел, и «атаман» оборвал свой бег... Покачнулся на слабеющих ногах, обернулся, прохрипел в бессильной злобе, хватая ртом воздух:

— Ненавижу... презираю вас... Не-на-ви-жу... — и упал навзничь.

Акимовна подошла к Павлу и долго смотрела ему в лицо. Оно и теперь было красивым и злым.

Из-за угла показались офицер с бойцами и женщины в сопровождении ребятишек.

— Что случилось, мамаша? — спросил офицер, подходя к Акимовне.

— Ничего особенного, сынок. Мать стоит на своем посту,— сурово ответила Акимовна, опираясь на берданку.

Офицер взглянул на мундир Павла, на его пыльные шаровары с красными лампасами, понимающе кивнул, повернулся к солдатам:

— Тут все в порядке. За мной, товарищи! — и они ушли дальше, вперед.

Женщины окружили Акимовну, заговорили, невольно понижая голоса:

— Смотри... Атаман.

— Акимовна стрельнула по нем.

— Казнить бы его, изверга.

— Добесился, проклятый живодер...

Какой-то старик растолкал женщин, пробился на середину круга, зацепил багром за ворот мундира и поволок Павла по улице.

— Ты куда его? — спросила Акимовна.

— Туда, куда собак дохлых кидаем...

Акимовна махнула рукой:

— По заслугам и честь.

XLI

Анка и Орлов ехали поездом до Старо-Щербиновской. Там они сели на попутную автомашину, и шофер через два часа высадил их на проселочной дороге неподалеку от Кумушкина Рая.

С перекинутыми через плечо шинелями, с чемоданами в руках Анка и Орлов шли колхозным полем. Вокруг кипела работа. Комбайнеры убирали подсолнечник и кукурузу, трактористы поднимали зябь. Длинные ленты жирного кубанского чернозема, тянувшиеся за плугом, матово лоснились на солнце. По глубокой борозде хозяйственно вышагивали грачи, склевывая червей.

Вдруг Анка остановилась, указала рукой:

— Смотри, Яшенька, море! Как здесь хорошо! Отдохнем немножко?

— Отдохнем.

Они сделали привал метрах в пятидесяти от полевого стана,

откуда доносился веселый девичий смех. Был обеденный перерыв. Анка и Орлов, сидя на чемоданах, видели, как со всех сторон к вагончику собирались трактористы, комбайнеры и шумно умывались возле бочки. На многих были гимнастерски и брюки военного образца.

«Бывшие фронтовики,— догадалась Анка.— Тоже, наверное, имеют инвалидные группы...»

Моторы тракторов заглохли, и в поле воцарилась тишина. Анка полной грудью вдыхала в себя терпкий запах земли, смешанный с солоноватым морским воздухом. Она то смотрела задумчиво вдаль, то поднимала глаза вверх. Голубое небо, очищенное от вражеских самолетов, стало как будто прозрачнее и выше. И небо, и море, и поле — все вокруг дышало миром и спокойствием. Казалось, что давно смолкло последнее эхо жестоких боев и что на всей советской земле прочно установилась пора мирного труда.

Но когда на полевом стане гармонист, сидя в кругу товарищей, растянул меха баяна и зазвучали первые грустные аккорды, оборвались и девичий смех, и шутки. Гармонист играл фронтовую песню, его товарищи тихо подпевали. Нежные, с мягкими переливами, неторопливые звуки баяна, близкие сердцу слова песни и страстные, дышавшие глубоким чувством голоса бывших фронтовиков будили в душе Анки недавнее прошлое... В памяти оживали поход в предгорье и схватки с гитлеровцами, густые леса с опадающей бронзовой листвой и снежные бураны, срывающиеся с горных вершин, завьюженные ущелья, колючие зимние ветры и ласковые очаги в пещерах, в кругу боевых товарищей...

Анка тряхнула головой: рано предаваться воспоминаниям. Война все еще продолжается, днем и ночью не затихают ожесточенные бои на огромном протяжении фронта от Ледовитого океана до Черного моря.

— Тебе нездоровится? — обеспокоенно спросил Орлов. Он заметил, что глаза Анки потускнели, лицо стало печальным.

— Нет, Яшенька, я здорова... Песня навеяла грустные воспоминания... — Анка встала.— Пойдем-ка лучше, в дороге и грусть развеется...

С пригорка показался поселок. На месте разрушенных и сожженных бомбежкой жилищ рыбаков поднимались из руин и пепла новые хаты. Кумураевцы залечивали раны, нанесенные поселку войной. Жизнь возрождалась и на берегу, и в море. Там уже разгуливали по синему простору рыбацкие баркасы, приветливо покачивали косыми парусами.

На высотке, усеянной пустыми патронными гильзами, позеленевшими от времени, Анка задержалась.

— Здесь наш отряд принял боевое крещение... На этой высотке оборвалась жизнь отважного дедушки Кондогура... У того куста был смертельно ранен Кострюков. Он сразу же скончался... А вот в той лощине фельдшер Душин склонился над раненым, да так и умер с бинтом в руке... Не успел перевязать раненого.

— И все это дело грязных рук Бирюка,— проговорил Орлов, окидывая взглядом лощину.

— Его, паразита...

Анка и Орлов спустились с пригорка в поселок. Кумураевцы встречали и провожали их любопытными взглядами. В центре поселка они постояли несколько минут над братской могилой, где были похоронены Кострюков и Душин. Потом Орлов надел фуражку, и они направились к хате, в которой Анка квартировала. Хозяйка, узнав Анку, встретила ее со смешанным чувством испуга и радости.

— А наши-то рыбаки, которые возвернулись из отряда, сказывали, будто ты одного там, в горах, стрельнула, другого ножом пырнула и к немцам перекинулась. Своим, гляди, и не поверила бы, а то и ваши бронзокосцы о том же поговаривали.

— Я заколола ножом одного немецкого наймита, это правда. А тот летчик, что я будто бы застрелила...

— Ага, ага, именно летчик, сказывают.

— Так этот летчик стоит перед вами.

— Батюшки! — всплеснула руками хозяйка.— Это он, значит, сердешный и есть? Ничегошеньки понять не могу. А ну, выкладывайте все по порядку. Садитесь.

— Потом, хозяюшка, потом, — Анка очень волновалась. — Здесь оставалась моя девочка, отец... Что с ними?

— Живы, голубка... Все живы. И дочка ваша, и отец, и Евгенушка, и Дарья. Васильев и Краснов заезжали за ними. Давно уже дома. А вот вас-то, надо полагать, и не ждут.

— Ждут. Я писала им. Ох! — Анка прижала к груди руку.

Орлов взял ее за плечи, повернул лицом к себе.

— Что с тобой, Аня? Не надо так волноваться...

Она посмотрела на Орлова влажными глазами, припала головой к его груди, горячо прошептала:

— Яшенька, они живы... Родные мои... Живы!..

— Вот видишь, все будет хорошо. Успокойся.

...С вечера стали сходиться в хату рыбаки, которые были вместе с Анкой в отряде. Они вспоминали партизанские будни,

с затаенным дыханием слушали рассказ Анки о том, как был разоблачен, судим и расстрелян Бирюк. Расходились уже в полночь. Анка тронула за рукав знакомого рыбака, спросила:

— Не знаете, когда отправляется поезд из Ейска на Ростов?

— А зачем вам, сестрица? — и рыбак, к удивлению Анки, засмеялся.— Понимаете ли... по старой привычке все сестрицей зову. Я тоже был ранен. Помните, вы ухаживали за мной, рану перевязывали?

— Такими братьями, как вы, можно только гордиться.

— Так зачем вам поезд? — переспросил рыбак.

— Домой добираться. Хочется поскорее к родному берегу причалить.

— Скорее меня никакой поезд не доставит вас до дому. Первое — поездом круг большой давать надо. Второе — на узловых станциях пересадки. Да к тому же в вагонах тесно, душно. А я вас на своем баркасе вмиг перекину на тот берег. И не жарко, и не пыльно, и воздух чистый, для здоровья пользительный.

— Спасибо вам большое. Только совестно столько беспокойства вам доставлять,— сказала Анка.

—Сестрица, мы вам в горах куда больше доставляли хлопот. А это что — прогулка! Словом, дело решенное. Спокойно отдыхайте. Завтра на зорьке разбужу. Пойдем под парусом, за милую душу, морским воздухом подышите. Покойной ночи.

На рассвете рыбак поднял старый в заплатах парус, и баркас отчалил от берега. Орлов и Анка сидели на банке и смотрели на шаловливые волны, вперегонки бежавшие за бортом. Баркас, разрезая грудью волны и покачиваясь, мчался быстро и легко, подгоняемый попутным ветром. Анка, очутившись на просторе родной стихии, вся преобразилась. Лицо ее зарумянилось, глаза засветились радостью.

— Яшенька, правда хорошо на море?

Орлов утвердительно качнул головой.

— Лучше, чем в пустом поднебесье? — лукаво спросила она.

Он улыбнулся и неопределенно пожал плечами.

— Ничего,— утешала его Анка,— привыкнешь. Еще как полюбишь море. Оно любого покорит...

С восходом солнца порывы ветра усилились, волны закурчавились белыми барашками. Баркас то взмывал носом кверху, то, вскидывая кормой, падал между бурунами, будто намереваясь нырнуть в морскую пучину. Соленые брызги обдавали лицо. Орлов поморщился. Анка засмеялась.

— Страшно?

— Нет.

— А чего ты так пугливо смотришь по сторонам?
— Просто немного мутит.
— Это без привычки.
Орлов вытер платком лицо, сказал:
— Нет, Аня, в воздухе, пожалуй, безопаснее. Там, в случае аварии самолета, кувыркнулся за борт, развернул парашют и спокойненько приземлился. А тут попробуй за бортом очутиться... бррр!.. Сразу волной тебя захлестнет.
Анка весело хохотала:
— Где же твоя отвага, Яшенька? А еще солдаты присудили тебе такую замечательную девушку как Ирина.
— Смейся, смейся. Вернусь на самолет, подниму тебя выше облаков и посмотрю, как ты будешь смеяться.
— А что? И полечу. С тобой я не боюсь никакой высоты.
Орлов хотел сказать ей что-то, но тут рыбак, указывая рукой, удивленно воскликнул:
—Пароход?! Наверно, ночью прошел из Таганрога на Ейск.
Судя по направлению, пароход шел на Бронзовую Косу. Из его широкой трубы валил густой дым.
— Да ведь это ж «Тамань»!— радостно закричала Анка.
— Похоже, что она,— подтвердил рыбак.— Давно не было видно старушки.
— Вот бы пересесть на пароход! — вырвалось у Орлова.
Через несколько минут «Тамань» усердно и часто хлюпая широкими плицами, поравнялась с баркасом. Анка вскочила, замахала пилоткой. Она узнала стоявшего на капитанском мостике Лебзяка.
— Сергей Васильевич! — крикнула Анка, поднеся ко рту сложенные рупором ладони.— Товарищ Лебзя-а-ак! — и еще энергичнее замахала пилоткой.
Поднял над головой фуражку и Орлов. «Тамань» замедлила ход, колеса перестали вращаться. Баркас подошел к борту парохода.
— Сергей Васильевич! Куда держите курс?
Лебзяк не сразу узнал Анку. Он никогда не видел ее в военном костюме. Перегнувшись через борт, пристально всмотрелся и наконец пробасил:
— А-а-а, председательница Бронзокосского сельсовета?
— Я, Сергей Васильевич! Куда идете?
— На Бронзовую Косу.
— И я домой возвращаюсь. В госпитале почти девять месяцев провалялась.
— Как же ты туда попала?

— Из партизанского отряда.

— Вот как! — и, обернувшись, Лебзяк приказал: — Спустить штормтрап!

Матросы в одно мгновение спустили по борту к баркасу веревочную лестницу с деревянными ступенями. Через две-три минуты Орлов с Анкой были уже на палубе. Пароход тронулся.

— Спасибо, товарищ! — крикнул рыбаку Орлов.

— А вам счастливого плавания! — он, брасуя парусом, развернулся и однокрылой птицей помчался обратно к своему берегу.

— Как же уцелела «Тамань»? — спросил Орлов.

— Я выбросил ее на мель возле Кагальника, под Азовом. Механик произвел некоторую порчу в машинном отделении. Жители рассказывали, что немцы осмотрели «Тамань» и махнули на нее рукой. Старая, мол, рухлядь. А мы ее подремонтировали и вот, как видите, вышли в море. «Тамань» еще сослужит нам службу! — с гордостью заключил капитан.

— Да! — спохватилась Анка.— Знакомьтесь, Сергей Васильевич Орлов, бывший летчик авиации специального назначения. Он разведывал с воздуха рыбные косяки.

— До войны я почти каждый день видел ваш самолет над взморьем и побережьем,— сказал Лебзяк.

— И я часто встречал «Тамань» в открытом море и в портах, но с ее капитаном мне ни разу не пришлось обменяться рукопожатием.

Летчик протянул руку.

— Орлов Яков Макарович.

— Лебзяк Сергей Васильевич. Ну, а теперь как? Опять на самолет?

— Обязательно! Я непременно...

— Не верьте ему, Сергей Васильевич,— перебила Анка.— Он уже отлетал свое. Комиссия признала его инвалидом третьей группы...

— Разве это инвалидность? — усмехнулся Орлов.— Третью группу дают для передышки. А там — перекомиссия и снова в воздух.

— Пожалуй, вы правы,— согласился Лебзяк, бросая зоркий взгляд вперед.— А вот и ваш берег плывет навстречу. Скоро будете дома,— улыбнулся Анке капитан и пошел на мостик.

Очертания извилистого с горбатинами побережья заметно проступали сквозь мглистую дымку утреннего тумана. Его уже разгоняли лучи восходящего солнца. Анка и Орлов перешли на носовую часть палубы, сели на решетчатую скамейку, прислонен-

ную спинкой к передней мачте. В машинном отделении гулко стучали двигатели, и от этого весь корпус парохода содрогался. «Тамань» шла полным ходом, оставляя позади себя две белые кружевные ленты шипящей пены. За пароходом неотступно следовали чайки. Они то падали вниз, скрываясь между гребнями волн, то взмывали вверх и оглашали воздух резким писклявым криком. Орлов с интересом наблюдал за легким, изящным полетом белокрылых птиц, а вся преобразившаяся Анка не отводила блестящих глаз от родного берега, который все четче вырисовывался, будто действительно сам плыл, покачиваясь, навстречу «Тамани».

Густая облачность, затянувшая восточный небосклон и разрываемая ветром, раздвинулась вдруг, и показавшееся солнце ослепительно засияло над побережьем. Узкая песчаная полоса отмели, далеко врезавшаяся в море, отливала на солнце золотистым блеском, напоминая огромную, старательно начищенную бронзовую стрелу. Засверкали белизной стен знакомые курени хутора. Анка узнала школу, Дом культуры, медпункт, сельсовет, контору правления колхоза.

— Смотри, Яшенька, все в хуторе на месте. И холодильник цел, стоит на берегу.

— Надо полагать, фрицы драпали сломя голову и не успели ничего разрушить.

— Интересно...— начала было Анка, но внезапно смолкла.

Орлов вопросительно взглянул на нее:

— Ну, ну? Что ты хотела сказать?

— Успел ли удрать... «атаман»?

— Конечно, он не дожидался прихода тех, кто должен был бы повесить его,— засмеялся Орлов.

— Да, этого немецкого палача сами хуторяне повесили бы.

Гудок «Тамани», продолжительный и торжественный, прервал их разговор. Анка и Орлов видели, как на улицах и в проулках хутора заметались женщины, старики и дети. Они группами спешили к берегу. Взрослые оставались наверху, а дети кубарем скатывались по крутому склону к пирсу, у которого стояла на приколе окрашенная белой краской моторка «Чайка», когда-то принадлежавшая «атаману».

— Видишь, Аня? Тебя всем хутором встречают, — сказал Орлов.

— Да никто ж не знает, что я на борту. Это они вышли встречать «Тамань». Она ведь в первый раз после изгнания немцев идет сюда.

Над слабо дымившей трубой «Тамани» снова забелели клубы

вырвавшегося на волю пара, и мощные звуки сирены огласили усеянный людьми берег. Бронзокосцы отвечали на гудки «Тамани» взмахами рук, широкополых шляп и разноцветных платков. От пирса отошла «Чайка» и устремилась в море. Ныряя в бурунах и переваливаясь с боку на бок, «Чайка» промчалась слева по борту «Тамани», вспенивая воду, развернулась, догнала пароход и пошла рядом у правого борта. За рулем моторки сидел Сашка Сазонов. Он приветливо махал бескозыркой с развевающимися черными лентами. На нем была полосатая тельняшка, в зубах торчала неизменная трубка. Анка сразу узнала его.

— Яша, да ведь это Сазонов... наш моторист... — она перегнулась через бортовые поручни, крикнула:

— Сашок! Здравствуй!..

— Анка!? — изо рта Сашки выпала трубка, рассыпая ему на колени искры.— Товарищ Орлов? Вот так-так! Эх-те... А вас оттуда, из Мариуполя, ждут. Думали, поездом приедете.

— Значит, письмо мое получили?

— Васильев всему хутору на собрании читал. Бирюк-то каким гадом оказался, а?

— Он получил по заслугам — с облегчением вздохнула Анка.— А ты почему не на фронте, Сашок?

— Отвоевался. По чистой вышел. Эх-те!.. Я птицей, Анка, на торпедном катере летал. Да вот... потерял ступню правой ноги. Только два фашистских судна и успел пустить ко дну,— с горечью сказал он.

— Не так уж мало! — одобрил Орлов.

— Про Жукова ничего не слышно? — спросила Анка.

— Как же, Андрей Андреевич еще в сорок первом году попал под бомбежку, когда скот помогал угонять. Лечился где-то в приволжском городе. Там работал, жену разыскал. Теперь опять в Белужьем. С августа работает секретарем райкома.

— Вот радость-то какая! А на Косу приезжал?

Но Сашка не услышал ее. Взревел мотор, и «Чайка», рассекая буруны, вырвалась вперед. Вот она причалила к пирсу. Сашка сказал что-то ребятишкам, и они побежали вперегонки наверх, где стояла толпа бронзокосцев. Анка заметила, как какая-то полная женщина, держа за руки двух девочек, стала торопливо спускаться вниз по крутой тропке. За ней шли еще две женщины.

Анка ухватила Орлова за руку, а сама не отрывала глаз от берега:

— Яшенька, узнаешь, кто спускается к пирсу?

— Нет, не узнаю.

— Евгенушка!.. А с нею Галочка и моя Валюша... И Акимовну и Дарью Васильеву не узнаешь?

— Нет.

— Да какой же ты, право... Ну, смотри, смотри... — показывала она рукой, но сама уже ничего не различала — хлынувшие из глаз слезы радости заслонили перед ней берег...

На берегу, у пирса, гудела толпа. Впереди всех были Евгенушка, Дарья и Акимовна, около них стояли Валя и Галя. Все они хорошо видели стоявшую на палубе Анку. А она нетерпеливо ждала той минуты, когда пришвартуется пароход. Никогда еще не испытывала она такого сладостного волнения, причаливая к родному берегу. Секунды казались Анке долгими часами, а бойкие проворные матросы — неуклюжими и медлительными.

Но вот закреплены швартовы, сброшен трап. Анка, на ходу поблагодарив капитана, первой сбежала по трапу на пирс. На берегу ее встретили радостными возгласами:

— Мама! Мамочка!..

— Подруга! Милая!..

— Аннушка!..

— Голубонька моя!

Евгенушка, Дарья и Акимовна кинулись к Анке, поочередно расцеловали ее.

— Ну вот, опять вместе! — улыбнулась Евгенушка, а по ее круглым щекам градом катились слезы.

— Вместе, подруга, вместе,— Анка опустилась на чемодан, посадила к себе на колени Валю и прижала к сердцу худенькие плечи.— Рыбка золотая... Звездочка моя ясная... Как я по тебе соскучилась! — говорила Анка, вновь и вновь целуя дочь.

Орлов поздоровался с Евгенушкой, Акимовной, Дарьей. Увидев его через плечо матери, Валя воскликнула:

— Дядя Яша!

Орлов подхватил ее на руки, поцеловал в голову:

— Ну, здравствуй, рыбка!

— Здравствуйте, дядя Яша. Вот вы и снова с нами.

— Теперь уже навсегда, Валюша.

Вдруг на его лицо легла тень. Он пристально посмотрел на повзрослевшую, не по годам серьезную девочку. Сердце его сжалось, и он тихо проговорил:

— Бедные дети, и на вас наложила свой отпечаток война...— он бережно поцеловал девочку в лоб.

Лицо Вали осветилось ясной детской улыбкой. Она порывисто обняла Орлова и доверчиво припала к его небритой жесткой щеке своей смуглой щечкой.

— Моя славная девочка... родная... — и Орлов прижал к себе Валю.

Толпа заколыхалась. Кто-то облегченно вздохнул, кто-то тихо всхлипнул, кто-то зашептал:

— Приютил Вальку...

— За родную признал...

— Дай-то бог счастье нашей Аннушке...

— Дай бог...

В эту минуту послышался знакомый с хрипотцой голос:

— Допустите к дочке! Ах, бабы окаянные! Да вы ее своими слезами всю размочите! Допустите, говорю вам!..

Панюхай, работая локтями, пробивался сквозь плотное кольцо толпы к Анке.

XLII

Анка, Евгенушка, Акимовна и Дарья сидели в горнице. Орлов, Васильев и Панюхай вели свой разговор в передней комнате. Акимовна поведала о всех страшных бедах, причиненных бронзокосцам гитлеровцами и Павлом, о бесславном конце бесноватого атамана и теперь, слушая горькое повествование Анки, качала головой, вздыхала:

— Голубонька моя, да сколько же тебе пришлось мук мученических принять!..

Евгенушка, обняв Анку, не сводила глаз с ее усталого, сурового лица, тонких, как паутинки, морщин, наметившихся на лбу и у глаз. Дарья время от времени, когда Анка рассказывала о злодеяниях Бирюка, гневно шептала:

— Раздавить бы эту гадюку ядовитую... там же-таки, в самом этом трибунале, и растоптать бы его.

Из прихожей доносились возгласы удивления.

— Каменюкой по голове? Больного? Лежачего?.. — возмущался Панюхай.— Сукин сын! А потом еще и стрельнул. В свово человека? Ах, живодер!.. И Анку на суде опутывал! Не бирюк он, а павук... Скорпиён... Июда искариотский...

На улице зарокотал мотор и заглох у ворот. Хлопнула калитка. Евгенушка обернулась к окну. По двору шли Жуков и Глафира Спиридоновна. На ней был серый костюм. Из-под темно-синего фетрового берета выбивались короткие каштановые с проседью волосы.

— Наши приехали! — радостно воскликнула Анка, подбегая

к окну.— А это, наверно, Глафира Спиридоновна. Такая же, как на фотографии. Даже моложе...

Встреча была шумная. Жуков обнял Орлова и, представив летчику свою жену, обернулся к Анке:

— Софроновна, дай же я тебя расцелую...

Подошла Глафира Спиридоновна, обняла Анку и поцеловала.

— Так вот ты какая, Аннушка.

— Здравствуйте, дорогая Глафира Спиридоновна...

— Слыхала я, Васильев рассказывал, как ты встретилась в горах со своим Яшенькой. Что значит — судьба.

— Первые дни мне казалось, что это сон,— улыбнулась Анка, и лицо ее посветлело.

Глафира Спиридоновна рассказала Анке о том, как разыскал ее муж, как потом встретились они в приволжском городе...

Стол был накрыт до приезда Жуковых, и Анка пригласила всех к столу. Ели мясные консервы, вяленую рыбу, пили чай. За столом ни на минуту не смолкал оживленный разговор. И только Васильев сидел с опущенной головой. Анка тронула его за плечо:

— Григорий Афанасьевич, чего это вы заскучали?

— Да вот, думаю...

— О чем?

— Ныне передать тебе дела и печать сельсовета или до завтра отложить? Печать-то ведь Дарьюшка сохранила. А то трудновато мне. Предколхоза — я. Предсельсовета — я. Парторг—я...

— Аня, никаких дел и печатей от него не принимай,— сказал Орлов.

— Это почему же? — удивился Васильев, поглаживая ладонью залысину на голове.

— Когда он зарегистрирует нас, выдаст на руки брачное свидетельство, тогда и принимай дела сельсовета.

— Правильно,— засмеялся Жуков.— А так как у Якова Макаровича нет родителей, я и Глаша будем на свадьбе у него посажеными отцом и матерью.

— Я буду очень рад иметь таких, как вы, отца и мать,— сказал Орлов.

— Брак мы можем и нынче оформить,— предложил Васильев.— Сейчас я принесу сюда и книгу, и бланк, и печать, и...

— Погодь, погодь,— осадил его Панюхай.— А моего согласу на то ты спрашивал?

— Кузьмич... — укоризненно посмотрела на него Акимовна.— Да чем же зять тебе не по сердцу? А уж если по справедливости говорить,— рассердилась она,— то в расчет здесь Анкино сердце, а не твое принимается. Это тебе не старый режим!

— Ну вот, сказано — баба. Уже и старый прижим мне присобачила. А ить у меня на уме совсем иное. Слов нет, зятек у меня будет желанный. Но пущай он переходит на наше фамилие. А то что ж, выходит, с моей смертью порода Бегунковых кончится? Нет на то мово согласу.

— Это уж, Кузьмич,— развела руками Глафира Спиридоновна,— дело их, молодоженов. На какую фамилию пожелают, на ту и запишутся.

Между Панюхаем и женщинами завязался спор. Жуков шепнул Орлову:

— Пока тут будут решать вопрос — чью породу продолжать,— давайте выйдем. Поговорить надобно.

Жуков и Орлов незаметно вышли.

На улице им встретилась группа рыбаков. Впереди шагал Краснов. Он остановился, снял шапку, поприветствовал Жукова и Орлова.

— А мы к вам, Андрей Андреевич... — Краснов повел вокруг взглядом, задержал его на одиноко маячившем в море баркасе, вздохнул: — Море зовет, а выходить не на чем. Проклятый фашист разорил колхоз дочиста. За советом к вам... Не знаем, право, с чего начинать?

— За этим и я приехал к вам, друзья мои, чтобы посоветоваться с вами, с чего начинать восстанавливать колхоз... — Жуков помолчал немного и продолжал: — Я уже думал над этим. Давайте начнем с самих себя.

Краснов с недоумением посмотрел на Жукова.

— Да, да! С самих себя,— улыбнулся Жуков.— Война еще продолжается, и государство сейчас еще не в состоянии оказать нам большой помощи. Но и мы сложа руки сидеть не можем.

— Понятно, не можем,— отозвались рыбаки.

— То-то, друзья. А начнем мы вот с чего... У кого есть нитки или старые сети?

Рыбаки переглянулись, пошептались между собой, и один из них выступил вперед:

— Нитки, товарищ секретарь райкома, понемногу соберем.

— Хорошо.

— Да и две-три стареньких сети найдется.

— Прекрасно!— оживился Жуков.— Вон какое богатство у вас!

Рыбаки засмеялись, а Жуков продолжал:

— Вот и будем вязать сети, чинить старые. А как обстоит дело с баркасами?

— Четыре на весь хутор,— сказал Краснов.— И те дырявые, в сараях валяются.

— Починим и баркасы, проконопатим их, просмолим и — в море. Всякое дело начинается с малого.

— А что, дело говорит Андрей Андреевич...

— И кость не сразу обрастает мясом...— одобрительно зашумели рыбаки.

— А вы, товарищ бригадир,— обратился Жуков к Краснову,— сегодня же берите за бока председателя колхоза. Пускай созывает общее собрание. Решите сообща этот вопрос и — за дело.

— Это мы сделаем,— кивнул головой Краснов.

Рыбаки стали расходиться. Жуков, вспомнив что-то, задержал их.

— Минутку, товарищи... Вчера я был в рыбаксоюзе. Там мне сказали, что скоро на Азовское побережье приедет из Москвы работник наркомата пищевой промышленности. Будет знакомиться с положением дел в рыболовецких колхозах. И уж поверьте мне, помощи рыбакам недолго придется ждать. Товарищ Микоян очень уважает людей, у которых настоящая морская душа.

— Знаем,— отозвался седоусый старик,— Анастас Иванович всегда помогал рыбакам.

— И теперь поможет. А мы со своей стороны приналяжем, и дела пойдут на лад,— Жуков тепло попрощался с бронзокосскими рыбаками.

Шел октябрь, а погода все еще держалась теплая. Полуденное солнце светило ярко, и море сверкало серебристой рыбьей чешуей. Сашка Сазонов медленно вел «Чайку» вдоль вбитых в песчаное дно кольев, проверял их устойчивость. Между кольями над водой виднелась верхняя основа сети — ловушки.

Жуков и Орлов, стоя на высоком берегу, наблюдали за Сашкой. Вот он остановил «Чайку», высвободил из сети небольшую рыбешку и пустил ее в море.

— Чтобы мартыну не досталась,— пояснил Жуков.— Пускай растет на приволье.

— Разве мартыны могут таскать рыбу из сети?— удивился Орлов.

— Эти морские разбойники выхватывают леща и судака, если те запутаются в сети вблизи поверхности, и тут же в воздухе раздирают в клочья свою жертву. Поганая птица.

Над побережьем промчалась стая мартынов. Они дико вскрикивали, зорко высматривая добычу.

— А это что за установка?— указал Орлов на ловушку.

— Ну, это примитив...

— Но все же рыбаки берут рыбку?

— Именно — рыбку,— горько усмехнулся Жуков.— Что можно взять такими орудиями пассивного лова, как прибрежные вентери и ловушки? Мелкоту. А настоящая рыба там, в глуби моря...

Они подошли к тому месту, где раньше размещалась моторо-рыболовецкая станция. В помещении конторы хоть шаром покати — ни стола, ни стула. Окна выбиты, двери сорваны с петель, деревянная ограда снесена. Все, что могло гореть и давать тепло, уничтожили гитлеровцы. Немного поодаль, на берегу залива, зияли провалами пустых оконных и дверных проемов закопченные кирпичные стены бывших мастерских моторо-рыболовецкой станции.

— Когда-то здесь кипела жизнь, а теперь... Настоящее кладбище,— Орлов грустно покачал головой.

— Оживим!— уверенно сказал Жуков.— Еще как закипит здесь жизнь, Яков Макарович. Скоро приедет Кавун,— есть письмо от него, на днях выписывается из госпиталя. И МРС поднимем, и колхоз возродим. Вот только...— он покачал головой,— с людьми у нас туговато.

— Съедутся. Да и война, по всему видно, идет к концу.

— Съедутся те, кто уцелеет на фронте... С Каспия вот пришло уже подкрепление. Домой возвратился Краснов, а с ним и четырнадцать наших рыбаков. И все же людей не хватает. Колхоз должен давать стране рыбу. Море свободно...— Жуков посмотрел в морскую даль и будто невзначай спросил:— Так, говорите, у вас третья группа?

— Третья.

— И где же вы думаете приземлиться?

— Да здесь же, на Бронзовой Косе.

Жуков повернул голову и встретился с улыбающимися глазами собеседника.

— Это хорошо. Превосходно!— оживился он.— Должен вам сказать, Яков Макарович, что судьба наградила вас замечательной женой и чудесной дочкой...— он помолчал.— Ну, а чем думаете заняться?

— В воздух тянет, Андрей Андреевич, да вот...— вздохнул он,— по милости врачебной комиссии, чтоб ей пусто было, стал бескрылым.

— Забудьте о том «потолке»,— Жуков показал на небо.— На воде не хуже, чем в воздухе. Даже лучше, уверяю вас! Стоит только один раз выйти вам с рыбаками на лов, и вы на всю жизнь полюбите море...— он помолчал и с хитринкой взглянул на Орлова.— А у меня для вас уже есть на примете интересная работа.

— Именно?

— Заместителя директора МРС по политчасти. Уверен, что с Юхимом Тарасовичем вы сработаетесь.

— Но я же не моряк,— вскинул плечами Орлов.

— Пустяки. Мотор знаете?

— Мотор-то знаю. А с рыбацким делом не знаком.

— Как так?— удивился Жуков.— А кто до войны был первым помощником рыбаков?

— Так то была помощь с воздуха, а рыбу ведь я не ловил.

— Было бы желание, постигнете и рыболовецкую науку. Правда, будут трудности...

— Я коммунист, Андрей Андреевич,— сказал Орлов,— и легкой работы никогда не искал.

— Правильно... Вот взгляните,— Жуков повел рукой.— Все разбито и разрушено. Но мы в первые годы Советской власти и не такую разруху одолели. Да еще одновременно приходилось отбиваться от наседавших врагов. И теперь врага на фронтах сокрушим и разрушенное хозяйство восстановим. Все равно наша возьмет Ну, так как же, Яков Макарович, согласны с моим предложением?

Орлов провел ладонью правой руки от кисти до локтя левой, будто засучил рукав, готовясь приняться за работу, вдохнул полной грудью живительный морской воздух и утвердительно кивнул головой:

— Согласен.

— Ну, спасибо. Другого ответа, Макарович, я от вас и не ожидал. Приедет товарищ Кавун — и в добрый час! Начинайте с малого, шагайте к большому. Главное — не пугаться трудностей. Все равно наша возьмет.

— Не сомневаюсь, Андрей Андреевич.

В конце улицы, у тропинки, сбегающей по косогору к пирсу МРС, показался райкомовский «газик». Шофер подавал частые сигналы.

— Меня зовут,— сказал Жуков.— Идемте,— и они поднялись по тропинке наверх.

Анка вышла из машины, пожала руку Глафире Спиридоновне, сидевшей позади шофера, еще раз напомнила ей:

— Не забывайте нас, Глафира Спиридоновна. Приезжайте.

— Обязательно, Аннушка...— и позвала мужа:— Андрюша, нам пора в дорогу. Солнце садится, а тебе надо еще в сельхозартель заехать.

— Сейчас, Глаша, сейчас.

— Что это ты ушел молчком да и запропастился?

— Мы тут с Макаровичем об одном важном деле толковали,— Жуков попрощался с Анкой и Орловом и, садясь рядом с шофером, спросил: — А когда же будем справлять свадьбу?

— Мы, женщины, уже решили этот вопрос,— сказала Глафира Спиридоновна.— В следующее воскресенье.

— Прекрасно. А нам, Глаша, как посаженым Макаровича, надо будет проявить максимум заботы...

— Никаких забот,— запротестовала Анка.

— Ну уж,— поднял руку Жуков,— это отцу с матерью виднее,— и обернулся к жене:— Верно, Глаша?

— Да, придется вам покориться родительской воле,— засмеялась она и тронула шофера за плечо:— Поехали.

«Газик» фыркнул и бойко побежал по улице к центру хутора, сопровождаемый шумной стайкой босоногих ребятишек.

Оставшись вдвоем, Анка заглянула Орлову в глаза:

— Зачем он тебя из куреня увел?

— Чтобы наедине поговорить.

— Понятно. Я спрашиваю — о чем?

— Работу предложил.

— В районе?

— Нет, здесь, Аня.

— Что ж это за работа?

— Замполит директора МРС. Скоро приезжает Юхим Тарасович и надо будет восстанавливать моторо-рыболовецкую станцию.

— И что же ты ответил ему?

— А как ты думаешь?— улыбнулся Орлов, обнимая Анку.— Конечно согласился... Правда, работа предстоит нелегкая... к тому же для меня новая... Но, как сказал секретарь райкома, все равно наша возьмет! И МРС восстановим, и колхоз возродим...

Анка посмотрела на Орлова счастливыми глазами и молча прижалась к нему. Они долго стояли на высоком берегу, освещенные полыхавшим на небе вечерним заревом и в глубоком безмолвии наслаждались светлыми минутами начинавшейся для них большой радостной жизни.

КНИГА ТРЕТЬЯ



Сейнеры уходят в море

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Шел тысяча девятьсот сорок пятый год...

Фронт продвигался все дальше и дальше на запад. За дивизиями и корпусами Советской Армии следовали санбаты и полевые армейские госпитали. На восток уже не мчались завьюженные зимой и запыленные летом, как в первые годы войны, санитарные поезда, надобность в них постепенно отпадала, и в глубоком тылу один за другим свертывали свою работу военные госпитали.

Каждый день с фронта приходили радостные вести. Лаконичные сводки Совинформбюро о великих победах Советской Армии предвещали скорый конец войны. Уже в январе гремели ожесточенные бои на немецкой земле...

Военный госпиталь, в котором работала старшей медицинской сестрой Ирина Снежкович, тоже готовился к расформированию. Солдаты и офицеры по излечении покидали госпиталь,

новые раненые воины не поступали, палаты пустели, сокращался штат медицинских работников.

Госпиталь был развернут в бывшем родильном доме еще с осени сорок первого года и постоянно был переполнен. Теперь же больные воины занимали в нем только третий этаж, первый и второй ремонтировали, готовили палаты к приему рожениц.

Начальник госпиталя профессор Золотарев после врачебного обхода медленно прогуливался по коридору, о чем-то размышляя. Время от времени он заглядывал в палаты, обменивался двумя-тремя фразами с больными, ласково кивал им и неслышно удалялся. Потом он подходил к карте, висевшей в коридоре, пристально всматривался в нее, передвигал в сторону запада флажки, мысленно произносил:

«Скоро конец войне, конец...»

Старшую медсестру профессор застал в дежурной комнате. Ирина сидела за столом и перечитывала треугольники писем со штемпелями полевых почт.

— Как,— воскликнул профессор, глядя поверх очков,— вы еще не отдыхаете? Смену не сдали, что ли?

— Сдала, Виталий Вениаминович,— ответила Ирина, подняв на профессора усталый взгляд темных глаз.

— Так почему же вы не в постели?

— А вот,— кивнула она на письма,— предаюсь приятным воспоминаниям.

— Благодарственные письма солдат и офицеров за вашу чудодейственную кровь? Что ж, письма можно перечитывать и лежа в постели.

Ирина засмеялась.

— Что же тут смешного? — развел руками профессор.

— Да вот... работаю я с вами три с лишним года и всегда вы меня в постель гоните. А сами-то вы когда-нибудь отдыхали? Небось, по трое суток не отходили от операционного стола.

— Голуба моя! — воскликнул профессор.— То ж было жаркое времечко.

— Правильно, Виталий Вениаминович. А теперь у нас мало больных и уставать не от чего.

Профессор покачал головой и опустился на стул, положил руки на колени. Ирина смотрела на его длинные пальцы и думала:

«Не счесть, сколько тяжелораненых солдат и офицеров, казалось безнадежных, спасли на операционном столе эти добрые, умные руки». Но никогда сама она, скромная, неутомимая и

отзывчивая, не задумывалась над тем, скольких воинов вернула к жизни ее животворная кровь...

— Так вот, Иринушка,— заговорил профессор,— наши войска выходят к Одеру. Скоро конец войне.

— Это по всему видно.

— Через три-четыре месяца и на этом этаже снова станут полноправными хозяйками роженицы. В горкоме партии и горздраве уже шла речь обо мне. Думают назначить главным врачом городской больницы. Вы, я знаю, до войны работали в родильном доме. Как же вы решите: останетесь здесь или...

— Нет, Виталий Вениаминович, здесь я не останусь. Уеду.

— Куда?

— В Приазовье. Меня приглашают на Бронзовую Косу.

Профессор откинулся на спинку стула, с изумлением глядя на Ирину.

— Кто приглашает? Куда? На какую косу?

Ирина подала ему письмо.

— Читайте.

Писала Анка:

«...мы все ждем твоего приезда, милая Иринушка. Уверены, что тебе понравится здесь, и ты останешься у нас. Кстати, нашему медпункту требуется такой, как ты, работник. Ведь война еще продолжается и люди ой как нужны. Приезжай. Ждем».

Профессор положил на стол письмо и задумчиво уставился на окно, за которым выплясывала январская метель, залепляя снегом стекла. Ирина спросила:

— Вспомнили?

— Да, да...

Профессор с хитринкой посмотрел на Ирину.

— Значит... вы поедете туда по велению сердца?

У Ирины запылало лицо, зарделись уши, и она, опустив глаза, прошептала:

— Да, по велению сердца...

— Но у него Анка. Жена.

— Я удовлетворюсь тем, что буду каждый день видеть его... Жить рядом... А их семейного благополучия я не нарушу.

— Верю в вашу чистую душу, Иринушка.— Он помолчал и спросил осторожно: — А если и его потянет? Тогда как быть?

— Нет! — тряхнула головой Ирина.— Он честный человек и любит Анку. О моих же чувствах к нему никто не узнает.

— Да-а-а,— вздохнул профессор.— Я понимаю вас, голубуш-

ка. Что ж, напишите им, что вы приедете. Но...— он подумал и досказал: — не раньше мая.

— Я так и напишу, Виталий Вениаминович,— улыбнулась Ирина. Щеки ее порозовели, в глазах заиграли синие искорки.— А сейчас пойду отдыхать.

— Вот это мне нравится!— засмеялся профессор и вышел.

II

Море курилось...

Так часто бывает в жаркие июльские дни. Ночью пройдет тихий теплый дождь. К рассвету небо очистится от туч. Спокойная морская гладь похожа на тусклое зеркало, огромное и выпуклое. И только у самого берега слышны легкие всплески воды и едва уловимый шелест песка. Сиреневый небосклон постепенно становится на востоке розовым, потом вспыхивает ярко-оранжевым светом, бросая на зеленоватую воду мягкую позолоту.

Море дышит спокойно и ровно. Но еще до первого луча солнца оно начинает дымиться и в какие-нибудь десять-пятнадцать минут весь морской простор заволакивается непроглядным туманом. И тогда на судах, курсирующих по морю, неумолчно и тревожно ревут сирены, предупреждая столкновения, а на рыбацких баркасах зажигаются фонари. Но так бывает и зимой...

Стоял январь — морозный, студеный, скованное льдом море начинало куриться. На подледном лове были обе бригады — Панюхая и Краснова. Дед Панюхай вышел из палатки, подбросил сена лошадям, привязанным к саням, и повел вокруг себя прищуренным взглядом. Шквальный ветер, налетавший с севера, подхватывал мелкий сыпучий снег и то взвихривал его, то гнал по льду, наметая сугробы.

«Тримунтан бедой грозится»,— с тревогой подумал Панюхай. Он отдал распоряжение своим старикам собираться и позвал Краснова:

— Михаил Лукич! А, Лукич!

— Что случилось? — отозвался из соседней палатки Краснов.

— А не пора ли нам сматываться? Море начинает куриться. Давай приказ своей бригаде.

Краснов, сбив с головы ушанку, высунулся из палатки. Ветер свирепел, сек по лицу колючим снегом, встряхивал палатки.

— Эге! — Краснов взглянул на помутневшее небо и напялил на голову ушанку.— И берега не видно.

— Сматываться надо, сказываю,— торопил его Панюхай.— А то и нас в этой карусели закружит.

— Ладно, Кузьмич. Запрягай лошадей, а я кликну рыбаков, будем сети выбирать.

Но рыбаки сами покидали палатки и уже бежали к бригадиру. Краснов замахал руками, крикнул:

— Стой! Свернуть палатки.

Пока рыбаки собирали палатки, Панюхай и еще один возница запрягли лошадей и подогнали сани к прорубям, где стояли сети. В ту же минуту подоспели рыбаки, бросили на сани свернутые брезенты и тюфяки, набитые соломой.

— Ломай перетяги,— скомандовал Краснов.

В первой сети, выброшенной на лед, оказалось центнера два леща. Рыба тут же задыхалась и коченела, превращаясь в ледяшки. Панюхай, укладывая ее в сани, беспрестанно бубнил, позабыв о надвигавшейся беде:

— Вот это чебачок... Один в один... Знать, не зря потрудились, рубили лед...

Рыбаки тянули вторую сеть. Мороз крепчал, верхняя основа сети покрывалась наледью, выскальзывала из рук.

— Тяжеловато, а? — улыбнулся в заиндевелые усы Краснов, предвкушая богатую добычу.— Кузьмич! Давай на подмогу.

— Иду! — откликнулся Панюхай, накрывая брезентом рыбу в санях.— А ну, старая гвардия, подмогнем?

— Подмогнем,— и старики направились к проруби.

Все чувствовали, как в сети судорожно билась рыба, и налегали дружнее. Панюхай скользил и падал на лед. Рыбак, помогая ему подняться, шутил:

— Гляди, в сеть не бултыхнись, рыбу распугаешь.

— И то может быть,— кряхтел Панюхай, становясь на ноги.— Ить склизко-то как...

Серебром сверкнули первые лещи, и у всех рыбаков загорелись глаза. Они так увлеклись своим делом, что и не заметили, как разыгралась пурга и все вокруг завыло, засвистало.

— Видать, густой косяк попался,— с одышкой проговорил Краснов.— Налегай, товарищи.

— Налегаем, Лукич, налегаем — слышался сиплый, с хрипотцой голос Панюхая.— Мы и стопудовый груз осилим.

Сеть шла медленно, подавалась рывками, будто кто-то там, в воде, удерживал ее и дергал на себя. Рыбаки понимали, что бьется крупная рыба, и возбуждение в них усиливалось с каждой секундой. И вот, пенясь, вскипела вода в проруби. Краснов, сбросив рукавицы, вцепился костенеющими пальцами в сеть.

— Тяни-и-и! — протяжно вскрикнул он.

Рыбаки разом поднатужились — и тут произошло то, чего никто не предвидел... Вдруг тяжесть словно ветром сдуло, и сеть стала подаваться легко и быстро. У рыбаков сразу опустились руки и радость сменилась горечью. Старая, непрочная снасть не выдержала большой нагрузки, прорвалась в нескольких местах, и рыба ушла в море. Рыбаки стояли мрачные и безмолвные, опустив головы. Сколько труда было вложено и вот... богатая добыча выскользнула из рук.

— А лошади где? — в испуге спохватился Панюхай.

— Да вон они маячут,— ткнул пальцем в белесую муть стоящий рядом рыбак.

— Лукич,— Панюхай тронул Краснова за рукав полушубка.— Давай до берега парусить. Непогодь-то какая.

— Поехали,— сказал Краснов.— Кто послабее, садитесь на сани. А кто помоложе, со мной, своим ходом пойдем.

— Да молодых промеж нас и нету, все старики.

— И все пешком пойдем. Не замерзать же в санях.

Шли скученно, жались друг к другу. Лошади, впряженные в сани, неотступно следовали за людьми. Время от времени Панюхай ласково покрикивал на них:

— Но, но, голубчики! До дому, до конюшни тепленькой! Пошли, пошли, родимые!

Стоянка рыбаков находилась в трех километрах от берега на отмелях, называемых буграми. Но прошло уже много времени, а берега все не было. Резкий ветер путался в ногах, затруднял движение, налетал со всех сторон, кружил и высвистывал, забивал снегом глаза.

«Неужто сбились? — в страхе подумал Краснов, подставляя бок упругому ветру и не переставая шагать.

Прошло еще полчаса трудного пути. Люди и лошади выбивались из сил. И вдруг Краснов, замедлив шаги, остановился: перед ним пролегла темная полоса. Он снял с руки кожаную рукавицу, вынул из нее шерстяную варежку, протер слезившиеся глаза, всмотрелся: в узкой и длинной проруби чернела вода.

— Чего стали? — подал голос Панюхай.

— А того, Кузьмич,— отозвался Краснов,— блукали, блукали и опять к своей стоянке причалили.

— Закружились, что ли? — Панюхай подошел к Краснову.

— Закружились, Софрон Кузьмич.

— Ах, мама двоеродная,— покачал головой Панюхай и зло сплюнул.— Тьфу, треклятая карусель, закружила-таки. То-то я

чул, как мои лошадки норовили вправо на два румба взять, а я левую вожжину на себя тянул. Вашим курсом следовал.

— И мои вправо забирали,— мрачно прогудел второй возница.

— Что ж теперь будем делать, Лукич?— спросил Панюхай, звеня сосульками, повисшими на усах и бороде.

— А вот что: привяжите вожжи к передкам саней, пускайте лошадей вперед, а мы следом за ними. Думаю, лошади не собьются с курса.

— Верно сказываешь,— поддержал его Панюхай.— Худоба непременно учует берег. Ей только волю дай, и она тебя до дому дотянет.— Он привязал вожжи к передку, взял направление от стоянки к берегу и ласково пошлепал заиндевевших лошадей по крупу: — А ну пошли, родимые. Выручайте...

И лошади выручили. Никем не понукаемые, дробно постукивая подкованными копытами по льду, они все прибавляли шагу и вскоре остановились перед обрывистым берегом. Панюхай ткнул вишневым кнутовищем в мерзлый суглинок, радостно вскрикнул:

— Земля, братцы! Мы у обрыва! Верни влево! — он взял под уздцы лошадей и повел их вдоль берега. За ним следовал второй возница. Они обогнули причальный помост, въехали на косу и стали подыматься в горку. Взявшись за оглобли и подталкивая сани сзади, Краснов и остальные рыбаки помогали уставшим лошадям. Когда преодолели подъем и сквозь свинцово-молочную пелену метели увидели силуэты окраинных домов хутора, Краснов взял из рук Панюхая вожжи, кнут и сказал:

— Я вот с ним,— показал он кнутовищем на возницу,— сдам приемщику рыбу. А вы — все по домам,— и задергал вожжами.— Пошли, пошли, веселее!

Рыбаки рассыпались по завьюженным улицам и переулкам. Панюхай в нерешительности продолжал стоять на месте.

«Домой или в контору?» — размышлял он, переступая с ноги на ногу.

До дому было метров пятьсот, до конторы моторо-рыболовецкой станции несколько шагов. Продрогшему Панюхаю казалось, что он уже превращается в сосульку. Не раздумывая больше, он засеменил мелкой старческой рысцой к конторе МРС.

Снежный буран набирал силу, с глухим ревом пролетал над хутором, вокруг ничего не было видно, и Панюхай бежал наугад, вбирая в плечи голову и прикрывая обледенелыми рукавицами лицо. Вдруг он стукнулся головой обо что-то твердое и отшатнулся. Перед ним был дощатый забор. Он стал торопливо про-

бираться вдоль забора и вскоре увидел тусклый свет в запорошенном снегом окне.

«Контора!..» — облегченно вздохнул Панюхай и, пройдя еще несколько шагов, нащупал парадную дверь, толкнул ее ногой.

В коридоре на него пахнуло таким приятным теплом, что он враз обессилел и разомлел, готовый вот-вот свалиться с ног. Но в ту минуту открылась дверь с табличкой «Директор МРС», и на пороге показалась Анка. Изумленная и радостная, она бросилась к Панюхаю и ткнулась лицом в его сосульчатую бороду.

— Отец!.. Жив?..

— Жив, дочка, жив,— выбирая из бороды сосульки и не сводя глаз со своей любимицы, бормотал Панюхай.

Анка развязала у него под подбородком тесемки, сняла ушанку, размотала на шее шарф, расстегнула полушубок и потянула отца за овчинную полу.

— Идем в кабинет, отец, идем... там и обогреешься,— и крикнула в открытую дверь.— Яшенька! Юхим Тарасович! Григорий Афанасьевич! Наши вернулись!..

В кабинете директора Юхима Тарасовича Кавуна были его заместитель по политчасти Яков Орлов, муж Анки, и председатель колхоза Григорий Васильев. Они шумно встретили Панюхая, спросили, все ли вернулись?

— Все, все,— закивал Панюхай, потирая руки у печи.

— А мы так встревожились, хотели организовать поиск,— сказала Анка.

— Что ты, дочка! — обиделся Панюхай.— В море я и летом и зимой, как дома. А помнишь, как меня в тридцатом годе на крыге по морю носило?

— Помню, отец.

— К тому берегу прибило. И жив остался. А ты... поиски. Метельной карусели испугалась?

— Что ты, отец. На дворе страшный буран. Слышишь, как воет?

— Пущай воет да пугает, а мы не боимся,— храбрился Панюхай, сидя у жаркой печи.

— Вот это настоящая морская душа,— и Кавун так расхохотался, схватившись за живот, что у него затрясся двойной подбородок.— У меня, Кузьмич, глаз острый. Я сразу почув, что ты морской волк. Потому и брюками флотскими, и кителем, и тельняшкой полосатой премировал тебя.

— Та премия вышла мне, Тарасович, за справную службу, когда я в МРС сторожем состоял,— заметил Панюхай.

— Правильно, за гарную службу флотскую.
— А как у вас с добычей? — спросил Васильев.
— Пудов пятнадцать чебака на две бригады пришлось. А еще поболе...— Панюхай сокрушенно покачал головой,— сорвалось.
— Как же это?
— А так, председатель: сетка старая, нитка слабая... прелая...
— Порвалась?
— В трех местах. И пошел наш косяк по морю гулять,— вздохнул Панюхай.
Кавун подошел к Панюхаю и положил ему на плечо тяжелую руку.
— Не горюй, старина. Рыбаксоюз обещал нам добротную нитку.
— Юхим Тарасович! — оживился Панюхай.— Да ежели бы мне добротную нитку... да поскликал бы я наших бабонек и девонек... да такие сети связали бы, что и сама белуга, мама двоеродная, не порвала бы.
— Будет нитка.
— Добро! Люблю порядок морской,— и Панюхай подмигнул директору.
Кавун нагнулся, шепнул:
— Дюже озяб?
— Захолонил я, Тарасович,— и старик передернулся всем телом.— Весь захолонил. Треклятая карусель закружила нас.
— Может... за горилкой послать?
— Нет, нет,— возразил Орлов.— Мы его дома погреем. Анл целый графинчик припасла.
— Верно, дочка?
— Припасла,— улыбнулась Анка.— Идемте.
— Тады я дома,— сказал Панюхай.— Дома оно деликатнее. Ежели, скажем, назюзюкаешься и скиснешь, так постель тут же, под боком. А за уважение благодарствую, Тарасович.— Он повязал на шею шарф, застегнул полушубок, молодецки кинул на голову шапку.— Ну, дети, до дому.
Орлов и Анка встали. Поднялся и Васильев:
— И я с вами. Пошли вместе.
Было три часа дня, а над хутором стоял полумрак и выла злая вьюга, раскидывая свое белое покрывало по всему оледеневшему морю.

III

Был воскресный день. Анка, Орлов и дед Панюхай ждали Акимовну. Они пригласили ее на чай с лимоном.

— А где же вы такое добро раздобыли? — удивилась Акимовна.

— Яша из города привез,— ответила Анка.

— Много?

— Десять штук. Крупные, золотистые.

Этот короткий разговор произошел утром в кооперативной столовой, где Акимовна работала шеф-поваром и куда зашла Анка по пути из магазина домой.

— Придете? — уходя, еще раз спросила Анка.— Отец и Яша ждут вас. Всей семьей просим пожаловать к нам.

— А чего пытаешь меня? — улыбнулась Акимовна.— Знаешь же, что чай с лимоном — страсть моя. Приду. Вот дам команду поварам и приду.

Акимовна никогда не заставляла долго ждать себя. Она пришла почти вслед за Анкой. Стол уже был накрыт. В одной вазе красовались лимоны, в другой горкой было наложено домашнее печенье. Переступив порог, Акимовна поклонилась:

— Здравствуйте вам!

— И вам доброго здоровья,— ответил Орлов, помогая ей раздеться.

— Ты, Акимовна, живо к столу, а то чай охолонит,— торопил ее Панюхай.

— Охолонит — не велика беда, подогреть можно. Не так ли, Аннушка?

— Да уж так, Акимовна. Садитесь. Только вот с посудой у нас дела плохи. И когда эта война проклятая кончится? Все пожирает.

— Война уже на исходе,— заметил Орлов,— скоро кончится.

У Анки было всего два стакана с блюдцами, и она поставила их перед Акимовной и отцом. Себе и мужу налила чаю в алюминиевые кружки.

— Мы с Яшенькой по-фронтовому.

Старики пили из блюдец. Они ставили их на растопыренные пальцы, сдували пар, отчего у них пузырились щеки, а потом медленно, со звучным присосом тянули из блюдец ароматную жидкость. Анка положила в стакан Акимовны еще один кружочек лимона и сказала:

— Помните ложечкой, вкуснее будет.

Акимовна запротестовала:

— Лимон не яблоко и его не жуют, для приятного духа его назначение.

— Не жевать, помять его надо, и чай будет ароматнее.

— Ох, и транжирка ты, Аннушка,— покачала головой Акимовна.

— Уважь дочку, уважь,— вмешался Панюхай.

— Уважу,— и она стала разминать ложечкой в стакане ломтик лимона.

— Тогда и меня уважьте, Акимовна,— и Орлов подал ей на ложечке еще один ломтик.

— Ах, казнители вы мои!— всплеснула руками Акимовна, а сама от удовольствия даже прикрыла глаза.

В разгар чаепития в комнату вплыла раздобревшая Евгенушка и как всегда затараторила быстро и с одышкой, позабыв сказать «здравствуйте»:

— Ой, подруженька!.. Дядя Софрон!.. Акимовна, милая!.. Да какую новость я вам принесла.

— А мне?— поднялся со стула Орлов.

— Ой, Макарович! Да вы же ее не знаете...

Анка прервала подругу:

— Яша, помоги раздеться этой толстушке и веди ее к столу, а я ей чаю налью.

— С лимоном,— пояснила Акимовна.

Усевшись за стол, Евгенушка сказала:

— Ой, подруга, дай отдышаться...— и тут же продолжала:— Таня жива... Таня Зотова... Она домой скоро приедет... Оттуда, из Германии.

— Таня!— разом воскликнули Анка, Панюхай и Акимовна.

— Я помню ее,— сказал Орлов.— У нее голубые глаза. А муж ее такой... скуластый.

— Хотя, правда... вы должны ее помнить,— согласилась Евгенушка.

— Откуда у тебя такая новость?— спросила Анка.

— Виталий написал. Вот...— она вынула из сумочки сложенное треугольником письмо, развернула его дрожащими от волнения пальцами и стала читать...

Виталий Дубов, муж Евгенушки, писал:

«...и вот мы от самой Варшавы без остановки гоним гитлеровских людоедов, днем и ночью ведем ожесточенные бои. Скоро подойдем к Одеру, а за ним недалеко и Берлин. Очень тороплюсь. Заканчиваю приятной для тебя весточкой: вчера мы освободили из концлагеря жен-

щин и девушек, среди них была и Таня Зотова. Вернее, не Таня, а ее тень. Мы не узнали бы ее, но она узнала нас... Не верится? Да, трудно поверить в такую встречу. Митя взял Таню на руки, как пушинку, и залился слезами. Многие воины плакали. Таня до сих пор не может забыть того, как издевался над ней Пашка Белгородцев, когда атаманствовал при фашистах на Бронзовой Косе, а потом продал ее в рабство. Хорошо сделала Акимовна, что пристрелила эту бешеную собаку...

Все освобожденные из концлагеря взяты под медицинский надзор и скоро будут отправлены на родину. Таня расскажет вам все подробно. Целуй дочку.

Виталий...»

— Ну, приятная новость?— спросила Евгенушка, пряча письмо в сумочку.

Но все сидели безмолвными... Акимовна вздохнула и заговорила первой:

— Да-а-а... Много бед причинил этот выродок. Силыча повесил... Аннушку три месяца в погребе держал... Тоже была тень-тенью...

У Анки шевельнулись тонкие брови, и она закусила губу. Тяжело было вспоминать все это. Орлов взял руку жены и нежно погладил ее.

— А сколько он наших людей в Германию отправил?.. Подростков не жалел, душегубил...— продолжала Акимовна.— И над Таней издевался, все принуждал ее, да кукишом подавился... Не таковская Таня... И меня облаял, щенок слюнявый... два зуба вышиб... Молодец Силыч! — и она стукнула ладонью по столу.— При всем народе в морду атаману плюнул. И лютой смерти не побоялся.

— А вы, Акимовна, молодец, что застрелили этого гада,— сказала Евгенушка.

— Это я научил ее из берданки палить,— и Панюхай с важностью погладил рыжеватую бородку.— Дроби не было, так я в патроны волчьи картечины запыжевал.

— Будто знали, отец, что из того дробовика придется по волку стрелять?— посмотрел Орлов на Панюхая.

— По бешеному волку,— уточнила Акимовна.— И батько его, шкуродер, был волком.

Анка заметно нервничала. Ей были неприятны эти разговоры. Она нахмурилась и резко произнесла:

— И охота вам вспоминать о всякой дряни...

— И то правда, голубонька,— согласилась Акимовна, отодвигая стакан.— Спасибо за угощенье, пойду. Мне пора в столовую.

— И мне,— заторопился Панюхай.

— А ты куда, отец?— спросила Анка.

— Сети чинить. Скоро в море пойдем.

— Какое там скоро, когда еще февраль не кончился,— урезонила его Акимовна.

— Э-э-э, мама двоеродная. Сани готовь летом, а дроги зимой.

Акимовна покачала головой:

— Неугомонный ты, Кузьмич. А ну, подай мне пальто. Поухаживай, что ли. А то сколько годов моим женихом прозываешься, а сватов не засылаешь.

— Никак не насмелюсь, Акимовна.

— То-то,— и добродушное ее лицо расплылось в улыбке.

Орлов взял с вазы два лимона и вложил их в руки Акимовны.

— Это вам наш подарок.

— Так много?— запротестовала Акимовна.

— Всего только два,— засмеялся Орлов.

— Берите, берите,— настаивала Анка.— Вы же любите чай с лимоном.

— Благодарствую, родимые,— растроганно проговорила Акимовна.

Панюхай помог Акимовне одеться, и они ушли.

Евгенушка, вздыхая, поглядывала то на Анку, то на Орлова. Анка усмехнулась, спросила подругу:

— Ты чего мнешься? Если что-нибудь сказать хочешь, говори.

— Да вот... хочу с тобой посекретничать. Вы не обидетесь, Яков Макарович?

— Нет, нет. Секретничайте.

— Яшенька у меня не охотник до бабьих сплетен. Идем.— Они перешли в другую комнату.— Ну, что там у тебя?

Евгенушка таинственно прошептала.

— Ты это с каким Иваном переписывашься?

Анка замотала головой:

— Я тебя не понимаю. Откуда ты взяла?

— А вот откуда,— и Евгенушка вынула из сумки конверт.— Я у письмоносца перехватила. Не дай бог мужу в руки попало бы. Читай обратный адрес: Иван Снежкович.

— Что, что?..— Анка выхватила из ее руки письмо, прочла обратный адрес и расхохоталась.— Яша! Яшенька!

В дверях появился Орлов.

— Что случилось?

— Ты никогда не видел Иванушку-глупыша?— и ткнула пальцем в грудь Евгенушки:— Любуйся!— и снова залилась неудержимым смехом.

— Да что случилось?— недоумевал Орлов.

— Ирина Снежкович прислала мне ответное письмо, а моя подруженька заподозрила меня в измене тебе.

Евгенушка стояла растерянная и обескураженная. Анка вскрыла конверт, быстро пробежала глазами строки короткого письма и сказала:

— Жаль... Ирина приедет только в мае.

— Не велика беда,— беспечно произнес Орлов.

Анка вздрогнула и потемнела в лице.

— Неблагодарный...— по ее щеке скатилась слеза.

Встревоженный Орлов бросился к жене.

— Ты плачешь?.. Почему?..

— Потому, что ты не хочешь, чтобы она приехала сюда.

— Что ты говоришь!— удивился Орлов.— Ирина мне как родная сестра. Ее кровь спасла мне жизнь. Сейчас же напиши ей: ждем, ждем, ждем.

Анка пристально посмотрела в его открытое лицо и улыбнулась.

— Нет, ты добрый, Яшенька.

— А ты?— спросила Евгенушка.

— Не знаю...

— Тоже добрая, хорошая моя,— сказал Орлов, целуя Анку.

IV

В Мариуполь гитлеровцы согнали из прибрежных поселков сотни женщины, девушек и девочек-подростков. Тут же были мужчины и юноши, которые не успели в свое время эвакуироваться и теперь попали к немцам в лапы. Их еще утром построили в колонны и под конвоем повели за город.

— На убой погнали...— скорбно проговорила одна женщина, провожая печальным взглядом уходившие колонны.

К ней подошла стройная, круглолицая девушка с живыми серыми глазами и мотнула головой:

— Нет. Здоровых и молодых они не убивают.

— А куда же их?

— У нас и у них,— кивнула девушка вслед колоннам,— дорога одна: в Германию, на каторгу.

— Спаси их господь,— перекрестилась сердобольная женщина.

— Не люблю гнусавых богомолок,— брезгливо скривила губы девушка и отошла в сторону, оправляя на себе пестрое ситцевое платье. Вдруг ее цепкие, будто ищущие что-то, глаза остановились на Тане Зотовой, и она подсела к ней.

Таня, сложив руки на коленях, неотрывно смотрела на сверкающее море, охваченная воспоминаниями... Одиннадцать лет назад они, молодежь только что организованного колхоза, выходили в море на лов красной рыбы. Это был бурный и незабываемый год коллективизации. Бывалые рыбаки пока еще ходили за добычей на парусных баркасах, а молодежная бригада бороздила морской простор на быстроходном моторном баркасе «Зуйс», конфискованном у турецкого контрабандиста и переименованном в «Комсомолец». Тогда же, в открытом море, под влиянием Мити Зотова и написала Таня заявление в комсомол. Потом Таня вышла за Митю замуж, и зажили они счастливо. Одно огорчало счастливцев: не было детей...

В скором времени на Бронзовой Косе была создана моторо-рыболовецкая станция. Все рыбацкие бригады были посажены на моторные суда. И вот в самый расцвет колхозной жизни грянула война... Митя с товарищами ушел на фронт... А через два месяца к Косе прихлынула мутная фашистская волна... Объявился и Павел... Немцы назначили его атаманом... Павел не смог склонить Таню к сожительству и внес ее в список первой же группы хуторян, предназначенной к отправке в Германию.

«Что же меня ожидает там, на далекой ненавистной чужбине?..»— тяжело вздохнула Таня, прощаясь с морем, с родным краем, и беззвучно заплакала, уронив голову на грудь.

Девушка тронула ее за плечо. Таня вздрогнула и косо посмотрела на подсевшую к ней незнакомку.

— Чего пугаешься?— смелый взгляд девушки выражал непокорность и решимость.— Не съем... А вот нюни распускаешь зря. Наши слезы только на радость им. Крепись, молодуха, и надейся на лучшее. Им все равно не осилить нас.

Мимо проходил немецкий автоматчик. Девушка замолчала. И когда автоматчик удалился, продолжала:

— Как зовут тебя?

— Таней.

— А меня Соней. Откуда?

— С Бронзовой Косы... Вот так по берегу,— показала Таня,— километров пятьдесят будет.

— Эх, ты...— покачала головой Соня.— Жила у самого моря и не могла удрать, а?

Таня рассказала ей, что она с женами рыбаков работала в районе, помогала колхозу убирать хлеб. Их бомбили немецкие летчики. А когда она добралась до хутора, все моторные суда и баркасы ушли к краснодарскому берегу.

— Дня два в хуторе было тихо и спокойно,— продолжала Таня.—А как появился этот змееныш... кулацкий отпрыск... Пашка Белгородцев... его немцы в атаманы возвели... ну и...

— Издевался?

— Всего было: и полицаями травил народ, и плетьми сек, и вешал... Все Анку с дочкой требовал...

— А кто она?

— Его прежняя любовь. Дочка у нее от него. Она тоже работала со мной в колхозе, да там под бомбами и потерялись мы. А старуха Акимовна говорила мне, что Анка с дочкой тоже вернулась на Косу и ушла в соседний поселок...

— Что же Анка-то... не жила с Пашкой?

— Нет. Как родила дочку, так и прогнала его. А дочке уже одиннадцатый год пошел.

— За что прогнала?— допытывалась Соня.

— Стоил того! Да что можно было ожидать от кулацкой сволочи?.. Попадись ему сейчас Анка, в клочья разорвет. Да и немцы не пощадят ее. Она же была председательницей сельсовета... коммунистка.

— А ты?

Таня не ответила.

— Не бойся,— зашептала Соня, оглядываясь, но вокруг них сидели на узлах женщины, угрюмые и безразличные.— Я...— и еще тише:— тоже комсомолка.

«А не шпионка?..»— едва не сорвалось с языка у Тани, ее светлые голубые глаза подернулись холодной дымкой и стали непроницаемыми. Соня сразу почувствовала отчужденность Тани и, схватив ее за руку, заговорила приглушенно, взволнованно:

— Милая моя Танюша... не подумай обо мне плохо... Прав-

ду говорю, что я уже три года состою в комсомоле. Хочешь знать, как я попала сюда, в одно с вами пекло?.. Слушай... Я из Курска... По городу прошел слух, что в Приазовье можно на вещи выменять муку и вяленую рыбу. А у соседей квартирует один немецкий офицер. Он все заигрывал со мной. Я же окончила десятилетку с золотой медалью, по немецкому языку у меня были одни пятерки, и я свободно объясняюсь с этими колбасниками. Вот я и попросила офицера достать мне в комендатуре пропуск. Он достал. Мама и моя младшая сестренка собрали кое-какие шмутки, и я, дуреха, отправилась в Мариуполь. И видишь, чем все кончилось?.. Пропуск уничтожили, а меня под конвоем сюда пригнали. Ясно, что мама не дождется меня...— вдруг ее голос дрогнул и оборвался. После небольшой паузы она с трудом произнесла:— что же тогда с нею будет?

Заметив на ее затуманившихся глазах слезы, Таня сказала:

— Я верю тебе, Соня. Верю.

С полчаса они сидели молча, занятые каждая своими тяжелыми мрачными думами. Наконец Соня заговорила первой, только теперь разглядев на Тане разорванную белую шелковую блузку:

— Кто это тебя так облатал?

— Атаман... Пашка. Домогался, да обрезался.

— Не далась?

Таня отрицательно покачала головой.

— Молодец! С виду ты тихоня, а когда надо постоять за себя...

— Кусаюсь,— вставила Таня.

— Правильно. Надо в горло им вгрызаться.

— Я и атамановых кобелей одурачила. Пашка же отдал меня полицаям на ночь, чтобы те поглумились над мной. А я сказала им, что у меня дурная болезнь.

— И что же?

— Не дотронулись. Хоть и пьяные были, а испугались, паразиты...

Послышались гортанные выкрики конвоиров. Невольницы завздыхали, закряхтели, зашевелились. Соня быстро развязала свой узел, извлекла из него зеленую вязаную кофточку, сунула в руки Тане:

— На вот.

— Что ты, Соня...

— Наряжайся, говорю. Все равно эти поганцы отберут. Быстренько...

Через несколько минут длинная колонна невольниц, миновав пристань, направилась к станции, где их ожидал состав товарных вагонов с открытыми, но затянутыми колючей проволокой окошками.

Две недели томились невольницы в душных и смрадных вагонах. Казалось, что этому изнурительному пути, этой страшной пытке не будет конца. Люди страдали от голода и жажды. Их кормили заплесневелыми сухарями, сырой свеклой и выдавали по глотку мутной теплой жижицы, вызывавшей тошноту. Когда эшелон достиг последней остановки, когда распахнулись двери вагонов и невольницы бросились к солнцу, к свежему воздуху, в вагонах еще оставались больные. Истощенные и обессиленные, они стонали от режущей боли в желудках. Их пристрелили там же, в вагонах, и состав погнали на запасный путь.

Невольниц построили в колонну и повели по главной улице чужого города. Это был Франкфурт. Колонна вступила на мост, под которым текла угрюмая река Одер. И все вокруг было чужим и нелюдимым: и город, и река, и дома, и горожане с мрачными лицами, и озорные ребятишки, бросавшие в невольниц гнилые овощи. И даже солнце, казалось, светило здесь неярко, тускло, и холодные лучи его не источали столько животворного тепла и горячей ласки, как там, на далекой Родине...

Колонну вывели за город, остановили на берегу Одера и приказали невольницам раздеться. Это было неслыханным глумлением над живым человеком, над его достоинством. Невольниц раздели донага, и самодовольные немцы и немки начали осматривать их со всех сторон: ощупывали их мускулы, постукивали тросточками по ногам и спинам, заглядывали в рот каждой невольнице — целы и крепки ли зубы?

— Как на скотской ярмарке...— прошептала Таня, вся сгорая от стыда и позора.

— Это чудовищно!— бросила в лицо скуластой с утиным носом пожилой немке Соня на немецком языке.— Такое и во сне не приснится нормальному человеку.

— О-о-с!— прогундосила немка, прищурив маленькие хорьковые глаза.— Ты говоришь по-немецки?

— Да, фрау. Но скажите: как вы можете, вы, женщина... принимать участие в таком постыдном надругательстве над людьми?..

Немка, не слушая ее, кивнула на Таню:

— Твоя подружка?
— Да.
— Я покупаю вас обеих. Можете одеться.
Таня, не поднимая опущенных глаз, спросила Соню.
— О чем она бормотала? Что ей, суке, надо? И когда же кончится это позорище?
— Для нас кончилось. Мы уже проданы. Одевайся.
Быстро одеваясь, Таня заметила, как немка с утиным носом, вынув из сумки марки, расплачивалась с работорговцами.

Господские дворы гнездились на голой безотрадной земле. Дома с хозяйственными службами находились один от другого на расстоянии пятисот-восьмисот метров. Вокруг ни деревца, ни кустика. По обеим сторонам шоссейной дороги стояли жалкие, старые и уродливые липы.
— Ах, Танюшка!— хмурясь, говорила Соня.— Смертельная тоска источит, как червь, мое сердце... Как я ненавижу эту чумную страну!.. То ли дело наши бескрайние поля и заливные луга... Леса и рощи... Вишневые сады и лунные соловьиные ночи... А голубое небо?.. Нет, я задохнусь в этой проклятой неволе...— и слезы бежали по ее щекам.
— Чего раскисаешь?— упрекала ее Таня.— Меня поучала крепиться, не радовать их нашими слезами, а сама...
— Не буду, не буду,— с раздражением отвечала Соня.
Они жили на чердаке в маленькой комнате для прислуги, спали на одной койке. Вставали рано, ложились поздно. Надо было убирать комнаты, стирать белье, в течение дня три раза кормить и два раза доить десять коров, ухаживать за дюжиной свиней, смотреть за домашней птицей. Хозяйка была вдовой. Ее единственный сын воевал в России. Он присылал матери целыми тюками мужские и женские пальто, костюмы, шелк и бархат и даже мебель. Гитлеровцы обложили Ленинград, стояли под Москвой, прорвались на Северный Кавказ, катились к Волге, и хозяйка, фрау Штюве, ликовала, относилась к своим рабыням сравнительно сносно. А когда 6-я армия Паулюса была окружена и уничтожена под Сталинградом, когда вся фашистская Германия по приказу Гитлера оделась в траур, фрау резко изменила свое отношение к Тане и Соне: она истязала их, морила голодом. Но подруги подкрепляли свои силы тем, что украдкой утром и вечером пили прямо из-под коров парное молоко.
В феврале сорок третьего года фрау Штюве получила из-

вещение о том, что ее сын Роберт погиб на восточном фронте. Когда Соня вошла в кухню, где истошно выла хозяйка, фрау Штюве в дикой ярости бросилась к девушке и, осыпая ее ударами по лицу, кричала, как обезумевшая:

— Это они!.. Твои братья, русские свиньи, погубили моего бедного мальчика!.. Вас надо всех жечь!.. Вешать!.. Истреблять!.. Живыми в землю вас!.. О мой Роберт!..

— Фрау!— в гневне вскрикнула Соня и грубо оттолкнула хозяйку. В ту минуту в кухню вбежала Таня.— Кто звал твоего сына в Россию? И не он ли жег наши города и села, вешал наших людей,— наступала разъяренная Соня на хозяйку,— живыми закапывал в землю наших детей? Как же тогда не дрогнуло твое материнское сердце?

— Как ты смеешь, мерзкая?

— А как ты смеешь!..

Развязка была короткой и трагичной... Хозяйка схватила с плиты кастрюлю с кипящим молоком и выплеснула его в лицо Сони. Девушка охнула и схватилась руками за глаза.

— Гадина!— метнула Таня на хозяйку ненавидящий взгляд, обняла Соню и поспешно увела ее на чердак.

Соне не была оказана медицинская помощь, и она ослепла... Таня, лежа с ней в постели, тихо всхлипывала. Соня сердилась:

— Не смей хныкать.

— Да как же, Сонюшка...

— Не смей говорю.

— Такая красивая была... и вот теперь слепая. Лицо изуродовано...

— Но им ничем не изуродовать красоту и гордость русской души!

Через неделю фрау Штюве привезла из Франкфурта-на-Одере двух новых девушек. Соню она отправила к матери в Курск, а Таню — в концлагерь.

— Это ест тибе за слово гадин,— сказала фрау Тане на прощанье, ядовито улыбаясь.

— И черт с тобой, подлюка-гадюка,— не осталась в долгу и Таня.

Женский концлагерь находился возле небольшой сосновой рощи в нескольких километрах от города Ландсберга. Огромное круглое помещение, сколоченное из старых досок, служило бараком для невольниц. Двадцатиметровое пространство между ба-

раком и высокой изгородью, перевитой колючей проволокой, образовывало круглый двор. У ворот и на четырех вышках днем и ночью дежурили автоматчики. Офицеры и солдаты-охранники жили в роще в благоустроенных казармах. Оттуда в летнее время до слуха пленниц доносились звуки охрипших патефонов и песни пьяных офицеров.

В двух километрах от лагеря сооружался подземный завод. Невольниц гоняли туда на земляные работы. Труд был каторжным, а кормежка отвратительная: эрзац-хлеб с опилками, сырой кормовой бурак и вареная без соли картофельная кожура...

Таня пробыла в лагере с февраля сорок третьего года по январь сорок пятого. Сколько за это время умерло на ее глазах женщин и девушек, она и счет потеряла. Но количество невольниц не уменьшалось. Взамен умерших гитлеровцы пригоняли новых.

В конце сорок четвертого года подземные работы были прекращены и невольниц стали гонять на другой участок, где возводились оборонительные сооружения. Там они копали противотанковый ров.

У Тани иссякали силы. Возвращаясь с работы в казарму, она, пошатываясь, останавливалась. Женщины и девушки нового пополнения, еще не истратившие свои силы, подхватывали Таню под руки, шептали:

— Ты всегда держись нас... Поможем... А то если упадешь, пристрелят.

— А мне только и осталось смертью утешиться...

— Не говори глупостей. Слышишь, грохает? Это наши идут.

— Да когда же они придут?..— голос Тани звучал отчаянной безнадежностью.

— Скоро, скоро,— подбадривали ее женщины.

Это было на исходе января. До лагеря все явственнее доносилась орудийная канонада. Видно было по всему, что с востока надвигалась ничем не отвратимая гроза: офицеры нервничали, солдаты испуганно поглядывали на небо, где армада за армадой проплывали на Берлин советские бомбардировщики. А потом по шоссе потянулись бесконечными вереницами обозы немецких беженцев. Догонявшие их грузовые автомашины, переполненные офицерами и солдатами, с ходу врезались в обозы, подминая людей, опрокидывая повозки, и мчались дальше. Сбежала и охрана концлагеря. Одна из женщин, войдя в барак, хотела сказать что-то, но, обхватив столб, зарыдала. К ней подошла девушка, спросила:

— Что с тобой?

— Какая радость...— сквозь слезы проговорила она...— Удрали наши мучители... Мы свободны... Боже мой!.. Какая радость...

— Замолчи! — и девушка закрыла ей рот ладонью.— Ни звука! — обратилась ко всем: — Фашисты бегут. Они злые, как черти, и могут пострелять нас. Никто не должен выходить из барака. Ложитесь и не шевелитесь. Будем ждать наших.

Так они и пролежали остаток дня и всю ночь на земляном полу, зарывшись в лохмотья и прелую солому. Гитлеровцам, спасавшим свою шкуру паническим бегством, было не до них...

Стояла оттепель. Утро было хмурое, серое. Откуда-то доносились орудийные выстрелы и глухая трескотня автоматных очередей. Потом возник неясный отдаленный шум. С каждой минутой он усиливался и приближался, словно накатывались морские валы в штормовую погоду. И вот... задрожала земля, затрясся ветхий барак. Грохочущий лязг металла и рев мощных моторов пронесся бушующим ураганом мимо рощи, удаляясь на запад и затихая. По казарме прокатился легким шорохом шепот невольниц:

— Танки прошли...

— Да ведь это наши...

— Чего же мы...

Девушка погрозила пальцем и, скосив глаза на дверь, затаила дыхание. Судя по топоту ног, к казарме шло несколько человек. И когда девушка услышала только три слова на родном русском языке: «Мертво... Угнали, сволочи...» — она крикнула:

— Здесь мы! Здесь! — бросилась к двери, распахнула ее и упала на руки красноармейцу.

В это хмурое, зябкое утро всем невольницам казалось, что советские воины принесли с собой яркий солнечный свет и теплое дыхание Родины. Изнуренные каторжной работой, истощенные голодом, женщины и девушки наконец-то покинули ненавистную казарму и вышли из-за колючей проволоки на волю.

По неглубокому мокрому снегу шагали усталые, но с бодрыми лицами и веселыми глазами солдаты и офицеры. За ними следовали минометы и пушки, обозы и походные кухни.

Женщины и девушки молчали. Они словно онемели от радости, такой внезапной и огромной, какой не может вместить в себя человеческое сердце. И только одна девочка-подросток, посиневшее тело которой едва прикрывала рваная одежонка, лохмотьями свисавшая с нее, монотонно произносила одно и то же:

— Брательнички родненькие, дайте хлебца нам...— Она по-

трогала за руку Таню и спросила: — А ты чего молчишь, тетенька? Хлебца проси...

Но Таня, поглощенная своими мыслями, пристально вглядывалась в артиллерийских офицеров, шагавших впереди пушек. Вдруг она почувствовала такую слабость в ногах, что зашаталась, вцепилась в острое плечо девочки и промолвила едва слышным голосом:

— Миленькая... прошу тебя... покричи: Зотов!.. Дубов!

— Сродственники? — поинтересовалась девочка.

— Да, да... Кричи же...

— Зотов! Дубов!..

Офицеры остановились.

— Кажется, тебя кто-то окликнул,— сказал Дубов.

— И тебя, Виталий... — Зотов повел взглядом и увидел кричавшую девочку, а возле нее стояла женщина и махала рукой, с трудом поднимая ее.

— Да ведь это же Таня,— догадался Дубов.

— Она... — быстро заморгал Зотов. — Она! — вырвалось из его груди, и он кинулся к жене.

Дубов последовал за ним, приказав командирам орудий:

— Продолжайте марш, мы догоним вас.

Зотов подбежал к Тане, подхватил ее на руки, присел на снег и заплакал:

— Таня... Танюшенька... Как они извели тебя, людоеды...

Таня, прижимаясь к нему, шелестела пересохшими губами:

— Милый... родной ты мой... Не сон ли это?

— Явь, Танюша, явь, — сказал Дубов, беря ее за руку. — Мы знали, что атаман отправил тебя в Германию. Жена писала мне.

Мимо проезжала грузовая машина. В кузове сидело несколько солдат в танкистской форме. Вдруг в глазах Тани засветились гневные огоньки, и она вся задрожала.

— Ты озябла, ласточка моя? — спросил Зотов.

— Он!.. Митенька, это он!..

— Кто?

— Пашка, с черной бородкой... в кузове... Это он... Задержите машину... Я узнала его... Задержите...

Дубов погладил ее руку и сказал:

— Почудилось тебе. Акимовна еще в сорок третьем году прихлопнула его из берданки. Вот... — он достал из планшета письмо, — почитай, что пишет Евгенушка.

Таня, запрокинув голову, молчала. Зотов испуганно посмотрел в мертвенное иссиня-бледное лицо жены и затормошил ее:

— Таня!.. Таня!.. Да отзовись же, Танюша...

В эту минуту к ним подошел майор медицинской службы. Это был командир гвардейского санбата. Нагнувшись, он потрогал за плечо Зотова:

— Лейтенант, что вы делаете? Вы же растрясете ее.

— Это моя жена... Вот... встретились и... она... кажется... по... мер...ла... — с трудом выдавил из себя последнее страшное слово Зотов.

— Ну, ну, — закивал майор, щупая пульс у Тани. — Рано вы отправляете ее на тот свет.

— Жива? — спросил Зотов.

— Жива. И теперь уж долго будет жить.

— А что с ней?

— Обморок...

—Бедная моя Танюша,— прошептал Зотов, сдерживая рыдания.— Ей супу... хлеба дать бы.

— Нельзя,— строго сказал майор.— Организм истощен до предела, ей нужна строгая диета. Вы уж, лейтенант, поручите вашу жену нашим заботам, и все будет в порядке,— и он поднял руку, останавливая проходившую мимо санитарную машину.

— Вы отправите ее в госпиталь? — спросил Зотов.

— В глубокий тыл. Там определят ее в больницу,— ответил майор и добавил, окинув взглядом истощенных, с землистым цветом лиц женщин, девушек и подростков: — Всех отправим. Они все нуждаются в специальной диете и лечении.

Зотов вырвал из блокнота листок бумаги, написал на нем номер полевой почты, вручил майору:

— Когда очнется, передайте ей мой адрес, — и он, еще раз поцеловав жену, побежал вслед за Дубовым догонять батарею.

V

С моря, закованного ледяным панцирем, время от времени доносился грохочущий и резкий гул, похожий то на отдаленные орудийные залпы, то на трескучие разрывы шрапнели.

Перед рассветом, когда темнота сгущается плотнее, раскатистые громовые удары подняли деда Панюхая с постели. Он, свесив босые ноги с кровати, несколько минут сидел не шевелясь, напряженно прислушиваясь к гулкой канонаде, и мысленно произносил:

«Лед тронулся... Пошел в разбой... Вот и в море скоро запарусим...»

За окнами таяла черная мартовская ночь. В комнате было темно. Панюхай, чтобы не разбудить внучку и Анку с мужем, ощупью нашел сапоги, одежду, потом накинул на плечи парусиновую винцараду и бесшумно вышел, тихо притворив за собой дверь.

Хутор просыпался. Кое-где в хатах замигали первые огоньки, послышались стук дверей и хлопанье калиток, на улицах в полумраке загомонили людские голоса.

«Не спится людям, море кличет...» — подумал Панюхай и прибавил шагу, догоняя впереди идущих рыбаков.

Самая тяжелая и самая бедная по добыче рыбы путина — зимняя. Толщина льда достигает метра. Беспрестанно дуют то северные, то восточные свирепые ветры. Беснуются на стылом морском просторе снежные бураны. Нужны неимоверные усилия, чтобы врубиться в толщу льда, а потом установить в прорубях сети. Спасаясь от лютых морозов в шалашах и обогреваясь у костров, люди дни и ночи проводят на завьюженном ледяном поле, не теряя надежд на то, что подойдет косяк рыбы к выставленным сетям и что их труды не пропадут даром.

Но редко бывают удачи. В большинстве случаев ловцы выбирают из сетей по нескольку рыбин или сети оказываются совсем пустыми... Вот почему, когда начинается разбой льда, всех рыбаков охватывает радостное чувство, они испытывают предпраздничное настроение. А первый день весенней путины, богатой и обильной, день выхода в море, они считают большим праздником.

Панюхай догнал рыбаков в тесном переулке, ведущем к обрывистому берегу, поздоровался, заговорил взволнованно:

— Грохает родимое морюшко... ровно из пушек палит...

— Это оно весне салютует,— сказал председатель колхоза Васильев.

Панюхай присмотрелся к нему и только теперь в сумраке по голосу узнал председателя и легонько толкнул его в бок:

— И тебе, Григорий Афанасьевич, не стерпелось?

— Не стерпелось, Кузьмич.

— А ежели,— Панюхай понизил голос,— тем моментом кто-нибудь к тепленькой постельке причалит... Гляди — и грех случится. Дарьюшка-то у тебя соблазнительная... Магнит! Так и притягивает.

— Да кто же ее соблазном опутает? — засмеялся Васильев. — В хуторе остались только такие, как ты, а из вас давно уже песок сыплется.

— Но, но! — запротестовал Панюхай. — Старая гвардия в любом деле — огонь!

— И по женской части?

— А что же, — петушился Панюхай. — И по бабьей линии промашку не дадим.

— Однако, — в шутку заметил Васильев,— сколько лет ты за Акимовной увиваешься, а вот никак не обкрутишь ее. Выходит, промашка? Куда уж вам до молодых.

— Я-то? — рассыпался хриплым смехом Панюхай. — Я увиваюсь?.. Это она гоняется за мной на всех парусах, да никак не словит.

— Какой уж там огонь, Кузьмич! Он давно потух, только пепел один,— продолжал смеяться Васильев.

— Ты погоди, Афанасыч, пеплом глаза мне засорять,— оборонялся Панюхай.— Ты мне морского порядка не ломай, а слухай.

— Слушаю.

Панюхай потянул носом воздух, помолчал минуту и сказал:

— Ежели ты, чебак не курица, Акимовну помянул, то тут выходит иная статья. Давно мы с ней поженились бы...

— И что же мешает?

— Боюсь.

— Кого?

— Акимовну.

— Почему?

— Да ить... по породе своей я такой человек... Люблю за молодухой приударить, а она старуха строгая и мощная... От ревности и пришибить меня может...

Рыбаки, молчавшие до этой минуты, разразились хохотом и прерывистым сухим кашлем.

— Вот тебе и дед Панюхай...

— Седьмой десяток разменял, а все еще за молодухами приударивает.

— Повадки морского волка...

— Одним словом, жених на выданье, только без приданого.

Панюхай остановился. Пропуская мимо себя рыбаков, спросил:

— Кто сказал, что я бесприданник?.. Кто?..

— Я,— добродушно усмехнулся старый рыбак.

— А это что ? — и Панюхай поднес к его лицу руки со скрюченными пальцами и мозолистыми ладонями. — Вот мое приданое.

— Знаю, Кузьмич, что у тебя золотые руки.

— Тады зачем языком ляскаешь?

— Шуткую, как и ты... На душе весело... Весна, скоро в море пойдем... Слышишь?..

Над морским простором пронесся раскатистый гул. У берега, напирая одна на другую, с треском ломались льдины. Приглушенно громыхало где-то вдали, за горизонтом. Было похоже, что с юга движется на Косу грозовая туча, готовая вот-вот ослепить рыбаков вспышками молний и разразиться мощными потоками ливня... Но прояснившееся небо было чистое. На хутор налетал южный ветер, теплый и ласковый. На востоке медленно всплывала иссиня-голубая волна, смывая с неба черноту ночи. Блекла и гасла на небосводе звездная россыпь, захлестываемая широкой волной наступавшего рассвета.

Рыбаки остановились над обрывом. Отсюда, с десятиметровой высоты, открывался широкий простор моря, пробудившегося от зимней спячки. Огромные льдины, похожие на гигантских перламутровых черепах, яростно бились, налетая одна на другую, с треском раскалывались на несколько меньших льдин и расходились в разные стороны с тем, чтобы снова столкнуться, взметая на воздух соленые брызги. Вдруг льдины остановились, будто замерли, потом закружились на месте. Это с севера, развернув крылья мутных туч, налетел свирепый Тримунтан, чтобы померяться силой с Зюйдом. Ветровые удары с юга и с севера будоражили косяки льдин, сгоняли их в кучи, кружили и снова разметывали в разные стороны. Но теплое весеннее дыхание южных широт наполняло Зюйд богатырской силой, обессиленный Тримунтан сдался, начал отступать, роняя белое оперенье последних снежинок... Теперь льдины шли в одном направлении — на Бронзовую Косу. Рыбьими косяками с глухим ропотом и шорохом теснились у берега, с разгона вползали на песчаную стрелку, скользили, становились на ребро, подбивая одна другую, и от ударов и трения превращались в алмазное крошево. Мелкие льдинки звенели битым стеклом...

Мутные тучи остановились над взморьем, пораздумали и потянулись обратно на север. Всходило солнце, огромное, янтарно-пунцевое. Первые его лучи разбрызгали над гулким морем искрящуюся позолоту. И тут же шквальными порывами дал о себе знать Грега — восточный ветер, раскачивая на волнах сверкающие бирюзовым блеском льдины.

— Грега проснулся,— кивнул на море Панюхай.

— Быстро он входит в силу,— сказал Васильев, наблюдая за тем, как всполошились, заметались косяки льдин и сплош-

ной массой, подталкиваемые Грегой, устремились на юго-запад.

— Теперь он эти крыги погонит до самого Керченского пролива,— махнул рукой Панюхай вслед уходившим льдинам.

— Грега — ветер крылатый, сильный,— заметил один рыбак.— Вмиг очистит море. К вечеру ни одной крыги не останется на воде.

— Что ж, это нам на руку,— отозвался другой рыбак,— в море за добычей пойдем.

Панюхай стоял с опущенными глазами. Он неотрывно смотрел вниз. Там, у самого берега, вспенивая воду, все еще теснились густые косяки небольших льдинок. И когда большая льдина врезалась в косяк, несколько плоских льдинок, похожих на лещей, сверкнув серебром на солнце, выплескивались на песок. Это напоминало знакомую рыбакам картину, когда мелкая рыба, преследуемая крупной и охваченная полукольцом, не видя другого выхода, выбрасывается на берег. Так поступает черноморская кефаль, спасаясь от прожорливой хищницы — паламиды.

Но не эта картина приковала пристальный и настороженный взгляд Панюхая. Он заметил что-то темное и бесформенное, время от времени показывавшееся из-под воды у самого берега. Мелькнула догадка:

«Утопленник?..»

Панюхай выждал, когда темное пятно снова показалось на поверхности воды, толкнул Васильева и показал рукой вниз:

— Гляди, председатель... Как думаешь, не человек ли то, водой захлебнутый?

— Может, и так быть,— ответил Васильев.

— У тебя глаз острее, приглядись.

— А чего приглядываться, пошли вниз.

— Багор бы прихватить,— посоветовал один рыбак.

— У Акимовны спросим,— сказал Панюхай.— Айдати.

Белостенная, с веселыми окнами хата Акимовны была почти рядом, она стояла крайней перед крутым спуском к морю. Панюхай вошел во двор, постучал в окно:

— Акимовна! Голубонька!

Дверь открылась, и на пороге показалась уже одетая хозяйка — она только что собралась идти в столовую.

— Чего это тебе, Кузьмич, приспичило в такую рань?

— Багор у тебя есть?

— В сарае погляди.

Через три минуты Панюхай вышел из сарая с багром и торопливо направился к воротам.

— А зачем тебе багор понадобился?— поинтересовалась Акимовна.

— Там,— махнул он рукой на берег,—кажется утопленник,— и хлопнул калиткой.

— У-то-плен-ник? — удивленно протянула Акимовна и последовала за Панюхаем.

Пока она осторожно спускалась по крутой тропинке вниз, рыбаки вытащили багром из воды темно-синие широкие шаровары с красными лампасами, на которых от морской соли был серо-пепельный налет. На правой пустой штанине тесемки не было, на левой, вздутой, тесемка сохранилась. Сверху, в поясе, шаровары были собраны и туго затянуты ременным кушаком.

Акимовна подошла к рыбакам в тот момент, когда Васильев, развязав тесемку, вынул из левой штанины свернутый стального цвета мундир. Акимовна, всплеснув руками, удивленно воскликнула:

— Батюшки-светы! Да ведь это облаченье Пашки Белгородцева... Атамана гитлеровского...—Она осмотрела мундир, нашла дыру и просунула в нее палец.—Вот... я же его в спину картечиной из берданки саданула... А ты, Фиён,— взглянула она на рыбака с редкой рыженькой бородкой,— зацепил его багром, к обрыву поволок и в море кинул. Кажись, ты?

— Я,— кивнул головой Фиён.— То было в позапрошлом годе.

— Как же так? — развел руками Васильев, недоумевая.— Застрелили гаденыша... в море кинули... В шароварах мундир... а где же он?... Рыбы его слопали, что ли?

— Такую дрянь рыба не потребляет,— сказала Акимовна.

— Загадочка,— покачал головой Васильев.

Рыбаки молча обменивались удивленными взглядами. Это они, вооружившись баграми и дубовыми колотушками, летом сорок третьего года обложили, как волка, атамана, отрезав ему все пути к бегству из хутора. Они были свидетелями тому, как Акимовна застрелила предателя. Фиён сбросил эту дохлятину с обрыва. И вот перед ними лежит атаманова одежда, выброшенная морем, а где он сам?..

— За-га-доч-ка...— повторил Васильев, пощипывая ус.

Панюхай взял под мышку отяжелевшие мундир и шаровары, с которых срывались капли соленой воды, и сказал рассудительно:

— Анка — председательница сельсовета. Она власть на хуторе. Ей и разгадывать сею загадку,— и он зашагал к пирсу, от которого вела к хутору менее крутая тропинка.

Васильев, Акимовна и рыбаки молча двинулись вслед за Па-

нюхаем. В хуторе они разошлись в разные стороны. Прощаясь с Васильевым, Акимовна сказала:

— Вот этими руками палила в проклятого выродка. При всем народе срезала его наповал. Фиён кинул мертвяка с обрыва. А теперь тень его всплыла...

— Тень не страшна, Акимовна. И мертвяки безвредные. Вопрос вот в чем: где же атаманские косточки? Может, они и поныне обрастают живым мясом?

Акимовна не поняла намека Васильева и сказала:

— За Анку болею. Растревожится она...

— Пустяки,— махнул рукой Васильев.— Анка не хлюпкая, она сильной натуры человек.

— Так-то оно так, Гриша, но...— Акимовна вздохнула, покачала головой и направилась в столовую, мысленно решив: «Потом зайду к Анке».

Сквозь плотно прикрытые ставни свет не проникал, и в спальне было темно. Анка и Яков проснулись от шороха, шепота и какой-то суетливой возни, происходившей в соседней комнате. Время от времени оттуда доносился сдавленный приглушенный смех.

— Валя! — окликнула дочку Анка.— Что ты там возишься?

— А мы не возимся, мамка,— отозвалась Валя.

— Кто это — мы?

— Я и Галя.

— Надо же дедушке покой дать. Потише вы там.

— А дедушки нет дома.

— Где же он?

— Не знаю. Когда я проснулась, его уже не было.

— А-а-а...— догадалась Анка.— Разбой льда начался, теперь все рыбаки там, на берегу... А куда это вы собрались спозаранку? Да еще в выходной день.

— Спозаранку? — Валя открыла дверь, и в спальню хлынул яркий свет, вытеснив темноту.— Уже солнышко всходит.

— И все же еще рано. Куда это вы торопитесь?

— В школу, газету делать.

— Да вы же позавчера до полуночи корпели над стенгазетой,— приподнялась Анка да так и осталась сидеть в постели.

— То была общешкольная, а теперь мы будем помогать делать комсомольскую. Мы же с Галей в активе состоим, и через неделю нас будут принимать в комсомол.

— Дело нужное и важное,— сказал Яков.

— А мамка что скажет?..

Валя стояла в проходе открытой двери, освещенная первы-

ми лучами солнца, и улыбалась. Яков посмотрел на Валю и перевел взгляд на Анку.

— Чего уставился?— и Анка потеребила за орлиный с горбинкой нос мужа, потом запустила пальцы в его пушистые темно-каштановые волосы.— Ну, отвечай!

— Да вот думаю... Когда Валюша еще немного возмужает... ну, подрастет... тогда нельзя будет отличить ее от тебя. До чего же вы похожи одна на другую! Никакой разницы.

— Разница есть,— как-то нехотя проговорила Анка, опустив глаза.

— Нет,— стоял на своем Яков.

Он был прав. У Вали, как и у матери, было смуглое лицо, тонкие, плотно сжатые губы, прямой нос, светло-пепельные, похожие на острые плавники краснорыбицы, брови и зеленые с просинью жаркие глаза. Разница между матерью и дочерью состояла только в том, что Анка была шатенкой, а Валя носила на своей голове черные, как смоль, вьющиеся волосы, напоминавшие о Павле Белгородцеве и тем самым причинявшие Анке немало тягостных и неприятных минут. Все это видел и понимал Яков, поэтому даже и не напоминал об этом, наоборот, всегда утверждал, что между Анкой и Валей нет никакой разницы.

— Жалеешь меня, Яшенька?.. Не надо,— вздохнула Анка и позвала подружку Вали.

Розоволицая, с гладко причесанными льняными волосами, Галя подошла к двери, остановилась возле Вали.

— С добрым утром! — Галя улыбнулась голубыми с искоркой глазами.

— Вот полюбуйся: вылитая Евгенушка,— сказала Анка, все еще ласково теребя за волосы мужа.

— Что вы, тетя Аня! — засмеялась Галя.— Я тоненькая, как жердочка, а мамка...— и захохотала.— Она же тяжеловесная...

— В молодости такой же была и твоя мамка. Она тоже не ходила, а все бегала, как и ты. Бывало, не угонишься за нею.

— Нет,— мотнула головой Галя,— я такой не буду.

— Посмотрим.

— Так что же скажет мамка?— напомнила Валя.

— Отец же сказал, что это дело нужное и важное. Идите, активистки. Да не забудь, Валя, прийти к завтраку.

— Хорошо, мамка.

Панюхай явился домой в ту минуту, когда Анка только что принялась готовить завтрак, а Яков разложил перед зеркалом

на столе бритвенные принадлежности. Панюхай бросил на пол мокрые шаровары и мундир и сказал:

— Вот оно какое дело-то, а?

— Что это?— спросила Анка.

— Атаманская шкурка... Пашкино добро.

Анка вздрогнула, будто от толчка. У нее запершило в горле, и она шепотом спросила:

— Где взял?

— К берегу прибило. Видать, и море тошнило от его замаранных портков, оно и выплюнуло их...

Анка и Яков взглянули друг на друга и ни слова не промолвили. Эта новость ошеломила их. А Панюхай продолжал:

— Мои думки такие: ежели в левой штанине был мундир, этаким манером свернутый и засунутый, то в правой — песок насыпанный. Тесемка оборвалась, песок вода высосала... А ежели оно не золото, стал-быть, и всплыло.

— Вот что, отец...— глаза Анки наполнились гневом, лицо потемнело,— отнеси это дерьмо туда, где оно было.

— Погоди, дочка. Раз уж ты власть на хуторе, тебе же, чебак не курица, и следственность навести надобно. А может он, волчий сын, живехонек?

— Не мое это дело! — вскрикнула Анка и брезгливо поморщилась.— Выбрось эту гадость в море.

— Доченька, но море-то не принимает,— развел руками Панюхай.

Анка тяжело опустилась на стул и едва слышно проговорила:

— Вот напасть проклятая... Он и мертвым не дает мне покоя.

— А ежели он жив, этот пакостник? — не унимался Панюхай.— Надо следственность навести.

— Отец,— вмешался Яков,— Аня права. Это не ее дело. Заверни-ка в какую-нибудь дерюгу это барахло, а я сейчас вернусь.

— Куда ты? — спросила Анка.

— За машиной. Я поеду к Жукову...

Через час Орлов был в Белужьем. Секретаря райкома он застал дома.

— А-а-а, Яков Макарович! — радостно встретил Орлова Жуков.— Как раз поспел к завтраку. Мой руки и к столу. Глаша, по такому случаю подавай графинчик.

— Не до завтрака, Андрей Андреевич... Вот,— и он вывалил из мешка на пол мундир и шаровары.

Жуков вопросительно посмотрел на Орлова, и тот рассказал ему, где и как была обнаружена атаманская амуниция. Секретарь райкома задумался, нервно барабаня пальцами по столу. Глафира Спиридоновна прервала его мысли:

— Андрюша, надо полагать, что он жив?

— Все может быть, Глаша... Все может быть... Случай весьма загадочный... Мертвые не воскресают... Однако...— и решительно:— Это дело касается следственных органов. Я передам все это прокурору. А ты, Макарович, садись с нами завтракать.

Во время завтрака Жуков опять собрал на лбу морщины и задумчиво произнес:

— Неужели он жив?..

VI

Март был на исходе. Стояли теплые безветренные дни. На высоком голубом небе ни облачка. Ослепительно сверкавшее море изредка покрывалось мелкими морщинками легкой зыби.

Шла вторая неделя с того дня, как море совершенно очистилось ото льда. Наступила самая жаркая пора весенней путины. Лещ и судак густыми косяками проходили мимо Косы, устремляясь к гирлам Дона. Брать бы эту драгоценную добычу, днем и ночью черпать из ближайших водоемов сотнями центнеров, десятками тонн, да нечем было...

За это время рыбаки только два раза выходили в море и возвращались к берегу с небогатыми уловами. Они сдавали на приемный пункт по два-три центнера рыбы. В третий раз не пошли, отказались наотрез.

— Баркасы протекают, сети рвутся. Ни то, ни другое чинить нечем,— сказал Панюхай, организатор старой гвардии.— Такая ловля нашей погибелью кончится.

Старые рыбаки поддержали Панюхая, согласились с ним председатель колхоза Васильев и директор моторо-рыболовецкой станции Кавун.

— Что же делать?— спросил замполит Орлов.— Нельзя же сидеть сложа руки?

— А то...— шевельнул густыми бровями Кавун и задумчиво провел ладонью по бритой голове, тронутой легким загаром.— Поидемо в город и тряхнем рыбаксоюз. Может, чего и вытрусим.

— Дело говоришь, Юхим Тарасович,— сказал Васильев.— Попытка не пытка, спрос не беда. Едемте.

Поедка их была не напрасной. Хоть и немного, но все же они привезли несколько связок пеньковой бечевы, центнер смолы и мотки хлопчатобумажных и капроновых ниток.

— Вот тебе подарок, старогвардеец,— порадовал Васильев Панюхая, передавая ему бечеву и нитки.— Кому баркасы конопатить, а тебе, Кузьмич, сети чинить и новый невод вязать.

Панюхай, поглаживая мотки ниток, от удовольствия расплылся в улыбке.

— До чего ж ты меня, Афанасыч, возрадовал. Побей меня бог, возрадовал. Хорош подарок, да маловато добра этого.

— Спасибо рыбаксоюзу и за это. Время-то какое тяжкое... война.

— И то верно... Ну, теперь я кликну бабонек да за работу,— приговаривал Панюхай, перебирая мотки. Положив на ладонь легкий светло-золотистого цвета моток ниток, он с удивлением посмотрел на Васильева.— Афанасыч... В жизни не видывал такого... Что это за нитка?

— Капроновая. Она, Кузьмич, прочнее хлопчатобумажной. В воде не размокает и в дезинфекции не нуждается.

— Диво-дивное! — изумился Панюхай, любуясь тончайшей, как паутинка, ниткой.

— Так вот,— продолжал Васильев,— сеть для невода свяжешь из хлопчатобумажных ниток, а мешок — из капроновых.

— Для чего?

— Для поддержки углов, чтобы не порвать мотню. Так сказали нам специалисты в рыбаксоюзе. Капроновые мешки к неводам уже испытаны рыбаками на Черноморье и Дальнем Востоке. Попробуем и мы.

— Вразумительно,— покачал головой довольный Панюхай.

На второй день на берегу задымили костры. В закопченных котлах, подвешенных на железных треногах, булькало смоляное варево. Рыбаки суетились возле опрокинутых баркасов, перестукивались деревянными молотками, заделывая щели пеньковыми жгутами и заливая прокопченные места кипящей смолой. Рыбаки были преклонного возраста, но на время войны они отказались от пенсии и теперь работали усердно, с огоньком, нетерпеливо поглядывая на море, которое звало и манило их на свои голубые просторы.

А на колхозном дворе шумно гомонили женщины. Тут были и Анка, и Евгенушка, и Дарья Васильева, и жена Кавуна. Они чинили старые сети. Пришли на помощь колхозникам и

комсомольцы, их привели Валя и Галя. Юношей не было. Павел Белгородцев еще в сорок первом году всех мальчиков-подростков отправил в гитлеровскую Германию, и о их судьбе ничего не было известно. Правда, комсомолок было всего семеро, но помощь от их молодых проворных рук была большая. Они быстро находили порывы и затягивали дыры новыми ячеями, искусно орудуя деревянными челноками.

Панюхай работал в сторонке — он вязал невод. Старик искоса взглядывал на женщин, недовольно хмурился. Особенно шумно вела себя Дарья Васильева. Она что-то рассказывала женщинам и время от времени заливалась таким веселым заразительным смехом, что вызывала взрыв хохота среди женщин.

Не выдержал Панюхай, крикнул:

— Дарья! Гляди, не умокрились бы.

— Ничего, на солнышке посушимся,— сквозь смех ответила Дарья.

— Ах, казнительница! Да ты ж поспешную работу гальмуешь, а море ждет, рыбаков кличет.

— Поспешишь — людей насмешишь,— и она снова захохотала так, что на ее пухлых щеках светились ямочки.

— Хватит дурить, а то штрафом накажу.

— Ох, Кузьмич! — с притворным испугом вскрикнула Дарья.— До чего же ты строгий начальник.

— В каждом деле строгость надобна.

— Может, и песен петь нельзя?

— Вот липучка мухоморная,— отмахнулся Панюхай и снова принялся за работу.

Но не прошло и минуты, как на улице послышался чихающий рокот мотора. Панюхай поднял голову и увидел остановившуюся у ворот, сбитых из толстых жердей, потрепанную и запыленную «эмку». Из автомашины вылез низкорослый седоусый мужчина и вошел во двор. Панюхай встал и, с прищуром посмотрев на приезжего, отметил про себя:

«Видать, не нашинский...»

Приезжий был в сером костюме и в сдвинутой на затылок серой шляпе. На левой руке у него висел темно-синий прорезиненный плащ, в правой он держал пухлый кожаный портфель.

«Ежели судить по портфелю,— догадывался Панюхай,— стал-быть, к нам залетела важнеющая птица»,— и приосанившись, крикнул строго:— Бабоньки и девоньки! Довольно зубы скалить! Делу — время, потехе — час.

— Здравствуйте! — мягко сказал приезжий, приветливо взглянув на Панюхая ласковыми глазами.

— Слава богу здравствуем, и вам наше почтение,— с достоинством ответил Панюхай.— Откель будете?

— Из Москвы.

— Далековато заехали.

— Служба.

— Оно, конечно... Служба — не мама двоеродная, а чебак— не курица.— Панюхаю было приятно продлить разговор со столичным человеком, и он, потянув носом воздух и покосясь на портфель приезжего, спросил: — А как же вас, мил человек, по чину-званию величать?

— Величать?— добродушно улыбнулся приезжий.—Хорошо. Величайте меня Петром Петровичем. А по чину я — инспектор по рыбному наздору. Имею поручение Наркома ознакомиться с положением дел азовских рыбаков. Выяснить их нужды...

— От самого Анастас Ивановича?— перебил инспектора Панюхай.

— От него лично.

— Душевный он человек...— с сердечной искренностью проговорил Панюхай, и глаза его озарились теплым внутренним светом.— Завсегда заботится о нас.

— Он любит рыбаков. А любовь Наркома вы заслужили своим трудом... Да!— вспомнил инспектор.— Как же вас величать?

— Софрон Кузьмич Бегунков, бригадир.

— Это ваша бригада? — кивнул инспектор на притихших женщин.

— Упаси бог! Хочь я и стар, но жизня мне не надоела.

— Что, тяжело с ними? — едва заметно улыбнулся инспектор.

— Одним словом — казнительницы.

Из глубины двора, где на реях были развешаны старые сети, донесся сдавленный смешок. Панюхай кивнул в сторону женщин:

— Слыхали, Петрович? Это все она, растреклятая пересмешница Дарья. Жена председателя колхоза.

— Злая женщина?

— Не-э-эт! Добрая. Работящая. То я пошутковал малость.

— А где же ваша бригада?

— На берегу. Под моим началом старая гвардия. Пенсионеры. Как забрали молодую силу на фронт, так вот мы, старики, и рыбачим с начала войны. А бабами командую, когда сети надо чинить. Я же и научил их этому ремеслу.

Инспектор взглянул на помещение конторы, спросил:

— Председатель колхоза у себя?

— Он тоже на берегу. Проводить вас?

— Мне бы с дороги умыться...

— В коридоре рукомойник есть. Идемте.

Возле рукомойника висело не первой свежести полотенце. В жестяной коробке лежал кусок хозяйственного мыла.

— Тут все причиндалы имеются для туалета,— сказал Панюхай.— Пользуйтесь, мил человек.

— Меня жена снабдила в дорогу всем необходимым,— улыбнулся инспектор, раскрывая портфель.

Панюхай слушал инспектора с открытым ртом, удивленно поглядывая на свертки, от которых вздулся портфель.

— А я-то поначалу подумал так, что ваш портфель от бумаг вздулся,— с хитринкой улыбнулся Панюхай.

— Кроме блокнота, паспорта и командировочного удостоверения, никаких бумаг при себе не имею.

— Это поначалу мне так почудилось,— поспешил объясниться Панюхай.— А когда пригляделся к вам, по обличию догадался: нет, думаю, у этого человека не бумажная душа. Глаз у меня вострый... морской.

По дороге к берегу Панюхай коротко, но обо всем рассказал инспектору. Жаловался, что нет ниток и сети старые, рвутся. Нет моторных судов, а баркасы, сколько их ни чини, дают течь. Даже паруса не из чего выкроить, на веслах ходят в море. А если шторм налетит? Гибель неминуемая.

— Все будет, Софрон Кузьмич, надо еще немного потерпеть,— сказал инспектор.— Наши войска уже на Одере стоят, скоро и войне будет конец. Тогда рыбаков снова посадим на моторы и добротные сетеснасти дадим.

— Терпим, Петрович, терпим. Хоть бы скорей этого сатаидола Гитлера прикончили.

Они остановились возле сбегающей вниз тропинки. На берегу смоляной копотью дышали черные котлы. Рыбаки хлопотали у котлов и баркасов.

— Вот моя гвардейская бригада. Баркасы конопатит. А вон и председатель...— и Панюхай окликнул председателя:— Афанасыч!

Васильев обернулся, посмотрев вверх.

— К тебе! — и ткнул пальцем в инспектора.— Из Москвы человек к тебе приехал!.. Ну, спускайтесь,— сказал он гостю.

— А вы не со мной?

— Мне надо на колхозный двор. Видали, сколько делов у меня там? За бабами догляд нужен.

— Тогда попрощаемся.

— Нынче уедете, что ли?

— Да, сегодня. Мне же надо объехать все побережье.

Панюхай пожал ему руку.

— Счастливо...— и потянулся к уху инспектора: — Анастас Иванычу — поклон. От всей старой гвардии.

— Передам, Кузьмич. Непременно,— и гость осторожно стал спускаться по тропинке вниз.

Навстречу ему шел Васильев.

Четыре часа провел инспектор в конторе МРС, беседуя с Кавуном, Орловым и Васильевым. За это время шофер успел выспаться на мягком теплом песке и умыться в море. Когда инспектор вышел из конторы, шофер уже сидел за рулем. Прощаясь с Кавуном, Орловым и Васильевым, инспектор сказал:

— В рыбаксоюзе есть моторный бот. Он вам очень пригодился бы на первое время. Правда, старенький, и мотор поизношенный, однако он вам лучше послужит, чем эта «Чайка»,— кивнул он на моторную лодку, покачивавшуюся на волнах у пирса.— Она предназначена только для прогулок в тихую погоду. Сделайте обмен.

— Да мы с радостью отдали бы «Чайку» в обмен на моторный бот,— сказал Орлов.— Согласится ли рыбаксоюз?

Инспектор вынул из кармана блокнот, написал что-то, вырвал листок, подал Кавуну:

— Вот мое письменное ходатайство.

— Добре,— сказал Кавун.— Попытаемось.

— И еще: возможно, что Нарком вызовет к себе на прием делегацию от вашего колхоза. Это почти наверняка. Так вы заранее наметьте человека три-четыре, чтобы люди были наготове.

— За этим дело не станет, — весело кивнул Васильев.

И уже сидя в машине, инспектор сказал:

— Не забудьте включить в состав делегации Софрона Кузьмича. Старик достоин такой чести,— и к шоферу:— Поехали...

А вечером, за ужином, Орлов спросил Панюхая:

— Отец, чем ты обворожил московского гостя? Он очень лестно отзывался о тебе.

— Как чем? Встретил его по всем статьям морского порядка. С деликатностью спросил его, откель, мол, в каких чинах-

званиях ходите... Ну, и ответствовал ему, кто я есть и какие ранги на меня возложены. Нужду-горемыку нашу поведал ему, но сказал, что терпим и еще потерпим, покуда аспида Гитлера не прикончат. Проводил его до председателя и со всей вежливостью распрощался с ним.

— Ну так будь наготове. Инспектор сказал, что тебя, наверно, вызовут в Москву на прием к Наркому.

Старик хотел что-то ответить, но поперхнулся и, кашляя, поспешно вышел на крыльцо.

— Это правда, Яшенька? — спросила Анка.

— Правда, Аннушка, правда. Сам инспектор сказал, чтобы нашего отца включили в состав делегации, которая поедет в Москву.

VII

Всякое напоминание о Павле Белгородцеве вызывало у Анки чувство гадливости и раздражительность, давило холодным камнем на сердце.

Время — лучшее лекарство от всех душевных переживаний. Прошло немногим более полутора лет, как Акимовна застрелила гитлеровского прислужника Павла, а дед Фиён сбросил его с обрыва в море, и бронзокосцы забыли о Павле. Но в один из мартовских дней сорок пятого года, когда начался ледоход, море снова напомнило о нем. Прокурор на всякий случай организовал розыск Павла, сообщив во все республиканские органы милиции необходимые сведения о нем. Но поиски пока были тщетны, и прокуратура молчала. Бронзокосцы, уважавшие свою председательницу сельсовета, тоже помалкивали, нигде ни словом не поминая о Павле. И у Анки отлегло от сердца. Она опять обрела покой, с каждым днем становилась жизнерадостней, в глазах ее, как и прежде, переливами играли зеленые искорки.

Как-то Панюхай сказал Орлову:

— Видал, зятек? Как перестали гомонеть на хуторе о Павле, так и наша девка повеселела. А я-то, старый дурень, атаманские лохмындрики домой приволок.

— Помалкивай, отец,— предупредил его Орлов.— Не нагоняй ты ей тошноту.

— Да уж молчу я, молчу...

Апрель вступил в свои права жаркими днями. С юга изред-

ка набегал горячий ветерок и рябил сверкающее на солнце море. От Керченского пролива шла берегом тучными косяками жирная сельдь. В полукилометре от Косы проходили огромными семьями лещ и судак, посреди моря играла красная рыба, направляясь к Таганрогскому заливу.

В колхозе было только четыре старых отремонтированных баркаса. Панюхай и Краснов поделили их поровну. Бригада Панюхая, состоявшая из престарелых рыбаков, промышляла сельдь. Им было сподручнее и легче рыбачить вблизи берега. Краснов с более крепкими рыбаками уходил на двух баркасах в открытое море, где выставлял новый невод с капроновым мешком и перетягу из трех старых сетей.

Рыбаки ходили на веслах, они даже парусов не имели. Тогда Сашка Сазонов пришел к ним на помощь. Обычно рыбаки выходят в море вечером и на ночь выставляют орудия лова, а утром выбирают из сетей и невода улов. Сашка садился на «Чайку», брал на буксир баркасы, выводил их в море и возвращался к берегу. На следующий день, завидев на горизонте бригаду Краснова, он, вспенивая воду, устремлялся навстречу, и «Чайка» снова впрягалась в работу, буксируя баркасы, наполненные рыбой.

«Чайка» была слабосильным моторным суденышком, однако она в какой-то мере облегчала рыбацкий труд. Напрягаясь, ворча сердитым рокотом мотора, отстреливаясь автоматными очередями выхлопной трубы, покачиваясь и вихляя кормой, «Чайка» с усердием тянула за собой баркасы к причалу. Рыбаки, работая в полсилы, медленно гребли веслами, дымили трубками, попеременно отдыхая.

— Молодец, Сашко! — хвалили рыбаки моториста.

А Сашка, противник всяких восхвалений, каждый раз, ставя на прикол «Чайку», делал вид, будто не слышал их. Однако ему было приятно сознавать, что моторка по мере своих сил добросовестно несет почетную предмайскую трудовую вахту. Но «Чайке» пришлось потрудиться только три дня. На четвертый директор МРС Кавун сказал Сашке, когда тот пришвартовался к причалу:

— Ну, Сашко, прощайся с «Чайкой». Завтра утром поведешь ее в город. Рыбаксоюз согласился взять ее в обмен на моторный бот.

Сашка быстро замигал ресницами и недоумевающе уперся в Кавуна озорными васильковыми глазами. Он было раскрыл рот, но не промолвил ни слова, только шевелил губами, будто у него отнялся язык. Наконец, облизав губы, горячо выпалил:

— Как же это так, Юхим Тарасович!

— А так, як було сказано,— пересыпая русскую речь украинскими словами, ответил Кавун.— Меняем на бот.

— Такую красавицу!— Сашка взглянул на «Чайку».— Да ведь это птица! Она не ходит, а летает над волнами.

— Нам литака не треба. Вон и мартыны летают, а шо толку с того? Завтра пойдем в город,— и Кавун направился в контору.

Сашка обратился к Орлову и Васильеву, но те, улыбаясь, отмахнулись от него. После короткого раздумья, он бросился в хутор. Он так бежал по улице, что всполошил собак. Черные ленточки бескозырки то вздымались над головой, то ниспадали на спину. Вдруг он остановился, подтянул ослабшие ремешки протеза и пошел шагом, слегка прихрамывая.

Дома Анки не оказалось. Он застал ее в сельсовете. Анка сидела в кабинете за столом и что-то писала. Сашка вошел к ней и устало опустился на стул, тяжело дыша. Он сорвал с головы бескозырку и стал вытирать ею потное лицо. Анка взглянула на его мокрую полосатую тельняшку, усмехнулась:

— За тобой гнались, что ли?

— Да никто не гнался, сам бежал,— сердито бросил Сашка.— Вот ногу натрудил... На протезе не очень разгонишься...

— А что случилось?

— То случилось, что надо свистать всех наверх.

— Полундра?— засмеялась Анка.

— Ты смеешься, а дело такое, что реветь надо.

— Да ты ближе к делу.

— Это другой разговор... Понимаешь ли... Юхим Тарасович хочет отдать рыбаксоюзу нашу красавицу, а взамен ее взять разбитое корыто.

— Ничего не понимаю,—мотнула головой Анка.—Говори яснее.

Сашка набил табаком трубку, сунул чубук в рот и, доставая из кармана спички, продолжал:

— Нашу моторку «Чайку». Мыслимое ли дело, лишиться такой красавицы! Она первая помощница рыбакам. Единственный мотор в нашей МРС.

— А я тут при чем?— удивилась Анка.

— При том, что Яков Макарович работает у Кавуна замполитом. Вес!.. Вот ты и повлияй на мужа, а он нажмет на Кавуна.

— Нет, Сашок, в дела мужа я не вмешиваюсь.

— Да черт их побери!— вскричал Сашка.— Если уж на то пошло, то Кавун не имеет права распоряжаться «Чайкой». Она наша, общая. Это наш трофей...

Анка вздрогнула. Только теперь она вспомнила, вернее —

Сашка напомнил о том, что «Чайку» подарили Павлу гитлеровцы. На смуглом лице Анки проступила бледность, и она сурово посмотрела на Сашку, подумав:

«Опять Пашка... Опять его зловещая тень встает передо мной, как черный призрак...»

— Правильно я говорю?— спросил Сашка, дымя трубкой.

— Нет,— отрезала Анка.— И не мешай мне. Иди, Сашок,— и она уткнулась в исписанный листок бумаги.

Сашка поднялся со стула. Он знал, что раз уж в глазах Анки потух живой блеск, дальнейший разговор бесполезен.

— Хорошо,— сказал он.— Но «Чайку» я не поведу. Пускай поищут моториста,— и хлопнул дверью.

На улице Сашка увидел Валю с Галей, они шли из школы и о чем-то весело щебетали, размахивая портфелями. Их догоняла высокая худощавая девушка с удлиненным лицом. На груди у нее болтались перекинутые через плечи две тугие черные косы. Это была Киля Охрименко, их одноклассница. Сашку осенила счастливая мысль:

«Не горюй, моряк. Рано давать задний ход. Вперед! Полный вперед!»— и он преградил путь подружкам.

— Девоньки... рыбки вы мои золотые...— упавшим голосом произнес Сашка, наполнив печалью и тоской озорные глаза.— Больше не придется мне прогуливать вас на «Чайке» по синему морю.

— Почему?— в один голос спросили удивленные подружки.

— Юхим Тарасович отдает ее рыбаксоюзу,— сердито проговорил Сашка.— А у него берет какой-то бот... развалину... Кисельную медузу... Студень... Не понимаю я нашего директора МРС... Цыган, а не директор!— распалял себя моторист.— Ему бы на ярмарке кобылами обмениваться.

— Жаль,— огорчилась Валя.

— И даже очень!— поддержала ее Галя.

Киля молчала. Сашка пососал в раздумье чубук трубки, встрепенулся:

— Вот что... скликайте остальных девушек и всей комсомольской громадой накатитесь девятым валом на Кавуна. Честное моряцкое, он сдастся.

В темных глазах Кили блеснули лукавые огоньки, и она захохотала:

— Ну и громада... Семь девок и ни одного парня.

— Я поведу вас.

— Нет, нет,— замотала головой Киля, не переставая смеять-

ся.— Это дело дирекции МРС и колхозников. Пошли, девочки,— и подруги удалились.

Сашка крикнул им вслед:

— Да вы-то кто: комсомолки? Где же ваш задор? Ваша напористость?..— и махнул рукой:— Амба.

Утром Кавун и Васильев пришли к причалу. В спокойном море, словно в огромном зеркале, отражались редкие белоснежные облака, застывшие в лазурном небе. У берега тихо плескалась вода. На горизонте маячили два баркаса. Это бригада Краснова возвращалась с лова. Старогвардейцы Панюхая вблизи берега трусили сети, выбирая из них трепещущую сельдь.

«Чайка» стояла на приколе, а Сашка словно в воду канул. Кавун нетерпеливо вздернул плечами:

— Где же он, бисов сын?

— Дома нет его, я заходил к нему,— сказал Васильев.

А Сашка был неподалеку от них. Он лежал на берегу вниз лицом, подставив спину горячим лучам солнца. Услышав голоса директора МРС и председателя колхоза, Сашка поднял голову. Его лицо было мокрым от слез. Он угрюмо пробормотал:

— Я тут...

Кавун и Васильев обернулись. Кавун, увидев моториста, обрадованно крикнул:

— Вот чертяка! А мы тебя ищем. Сидай, морская душа, за руль да поихалы. Сонечко припекае.

Сашка перевернулся на спину, закинул правую ногу на левую, согнутую в колене, буркнул:

— Не поеду.

— Сдурел, что ли?— изумился Кавун.

— Я не сдурел, Юхим Тарасович... Я сердцем прирос к «Чайке»... Вы понимаете, что это значит для меня?

Кавун, поддерживая руками живот, захохотал.

— Ей-богу, сдурел! Сказывся хлопец...

— Может, это по-вашему я сказился... Сдурел... А по-нашему, мы при всей нормальности.

Кавун продолжал смеяться, и его двойной подбородок колыхался. Васильев, нервно теребя усы, подошел к Сашке, сказал строго:

— Чего ломаешься, словно девка капризная.

— Дядя Гриша, я не ломаюсь.

— И нюни распустил... Слезами умываешься...

— Да как же не умываться, когда больно мне,— горячо заговорил Сашка, ударяя себя кулаками в грудь.— Ну, перейти с торпедного катера на моторку, это еще куда ни шло. Но с мо-

торки пересесть на черепаху...— и он замотал головой:— Нет! Это позор для настоящего моряка.

— Хорошо,— сказал Васильев.— Замполит Орлов, как тебе известно, бывший летчик. И он не посчитает для себя позорным вести «Чайку». А о тебе, по возвращении из города, я поставлю вопрос на партийном бюро.— И он с укором покачал головой:— Эх, коммунист... Хлюпкий морячок, а не отважный торпедист.

Упоминание о партбюро сразу отрезвило Сашку. А тут еще обидная кличка «хлюпкий морячок» подхлестнула. Сашка встал, отряхнул с себя песок и, глядя куда-то в морскую даль, горестно вздохнул:

— Как что, так сейчас тебя на партбюро... Луску, будто с рыбешки, снимать... А нет, чтоб в душу человека заглянуть... Что ж, поехали,— и он шатко зашагал к причалу.

— Вот теперь я вижу в тебе настоящего моряка,— улыбнулся Васильев, идя за Сашкой.

А Кавун похлопал моториста по спине и ласково сказал:

— Добре, сынку, добре.

Погода стояла тихая, сонное море покоилось в дремотном штиле, и моторка весело скользила по зеркальной глади зеленоватой воды вдоль побережья. Такая настороженная тишина и штилевой покой моря бывают обычно перед штормом.

И действительно, когда было пройдено больше половины пути, по небу торопливо побежали лохматые рваные тучи, море потемнело, заворочалось и стало покрываться белыми гребешками. Через четверть часа на юго-западе высунулась из-за горизонта темно-синяя туча. Она быстро надвигалась, заволакивая небо. Сильнее становились порывы шквального ветра, увеличивались волны, гулко ударяя в борт, угрожали выбросить «Чайку» на берег.

— Ишь, как расходилось,— сказал Кавун.

— Будет штормить,— и Васильев тронул Сашку за плечо:— Выжимай из мотора все силенки.

— Да уж и так выжимаю,— хмуро проворчал Сашка.

До порта оставалось совсем недалеко. Уже виднелся город, раскинувшийся на возвышенности. А раскатистые волны все росли и буйствовали, вспениваясь и громыхая у берега. «Чайка» упорно пробивалась вперед, и раскачиваясь, временами давала такие крутые крены, что вот-вот готова была перевернуться и скрыться под волнами. Вдруг Сашка взял лево руля, взревел мотор, и «Чайка» устремилась в открытое море. Видавший виды на своем веку Васильев, которого не раз уносили на себе в море льдины, а штормы вытряхивали из него душу, в испуге крикнул:

— Куда тебя черти несут?

— Не мешай мне, дядя Гриша,— огрызнулся Сашка.— Я капитан на корабле!..

Волны, возрастая, накатывались одна за другой. Соленые брызги осыпали моторку. Кавун и Васильев защищались от них ладонями рук, но вода стекала с лица и усов, проникала за шиворот, щекотала спины. «Чайка», взлетая на пенистый гребень и соскальзывая в распадок между волнами, высвистывала в воздухе обнаженным винтом.

— Да ты с ума сошел, что ли?— забеспокоился Васильев.

— Ей-богу, он сказывся,— Кавун толкнул Сашку в спину.— Гей, хлопче...

— Да не мешайте же!— злобно сверкнул глазами Сашка, рванув вправо баранку руля.

«Чайка» стремительно помчалась по широкому распадку. Но когда следующая волна угрожала накатиться на моторку, Сашка крутанул баранку еще раз вправо. Набежавшая волна подхватила «Чайку», швырнула вперед, и она клюнула носом. Кавуна, Васильева и Сашку с головы до ног окатило водой.

— Ничего!— звонко засмеялся Сашка.— Соленый душ полезен.

Теперь волны били в корму. Но Кавун и Васильев успокоились и уже не обращали внимания на брызги, обильно сыпавшиеся на их головы. Еще минута, вторая, и «Чайка», миновав маяк, шла под надежной защитой гранитного мола.

— И чего это понесло тебя в чертово пекло?— спросил Васильев моториста.

— А вам что, хотелось поплавать кверху килем?— ответил вопросом на вопрос Сашка и продолжал:— Ведь нас опрокинуло бы. Большой волне опасно подставлять борт. Надо резать ее. Хотя бы наискось. Вот я и применил этот маневр. А когда маяк оказался справа по борту, я изловчился и развернул «Чайку» носом к воротам порта. Удары в корму, что удары по спине, они не так страшны,— философствовал Сашка, подчаливая к пристани.— А вот удар волны по борту, это все равно, что садануть человека кулаком под девятое ребро. Исход может быть смертельным.

— Молодчина, хлопче, молодчина,— похвалил его Кавун.

— Теперь я понимаю, как солоно приходилось фашистам, когда ты вихрем налетал на них и торпедировал их транспорты,— сказал Васильев.

— Ого!— многозначительно произнес Сашка, позабыв недавний неприятный разговор с председателем колхоза.

«Чайка» пришвартовалась, и бронзокосцы сошли на берег. В тот же час на море разыгрался восьмибалльный шторм.

Море штормило трое суток. За это время Сашка тщательно осмотрел бот, с помощью механика рыбаксоюза разобрал, собрал и опробовал мотор. Он был сильнее мотора «Чайки» в два с половиной раза, однако это не радовало Сашку, наоборот, угнетало его. С щемящей болью в сердце расставался он с «Чайкой». Но этого не понимал механик рыбаксоюза и все твердил свое:

— Слышишь, как ровно,без перебоев стукотит? Не мотор, а зверь. Сила!

— Да пошел бы ты ко всем чертям!— рассердился Сашка.

— Чего злишься?

— А того, что так стукотит копытами подыхающая, заезженная кляча.

— Ну, ну!— запротестовал механик.— На сегодняшний день мотобот «Медуза» самая мощная моторная единица на всем побережье. И не кляча она, а заключает в себе пятьдесят лошадиных сил.

— Именно — единица, и одним словом — медуза,— отмахнулся Сашка, давая понять, что больше он не расположен продолжать разговор, и механик удалился, бросив на ходу:

— Неблагодарный... «Медуза» по тяге равняется пяти десяткам самых сильных лошадей.

— Ладно,— проворчал Сашка.— Отчаливай...

На четвертые сутки море угомонилось; оно сонно ворочалось у берегов, усталое и притихшее В шесть часов утра «Медуза» отшвартовалась, вышла в море и взяла курс на Бронзовую Косу. От самого порта ее сопровождали чайки. Они то низко повисали в воздухе, покачиваясь на белых крыльях, то припадали к воде, плаксиво вскрикивали, вечно жалуясь на свою судьбу.

«Медуза» шла медленно, содрогаясь от гулкого рокота мотора, и обволакивала себя иссиня-голубой дымкой, вырывавшейся из выхлопной трубы. Кавун прохаживался по широкой палубе, заглядывал в глубокий трюм и удовлетворенно кивал головой, рассуждая о чем-то с самим собой. Васильев стоял у руля, Сашка следил за работой мотора.

Кавун спросил Сашку:

— Гарна посудина?

Сашка криво усмехнулся:

— Именно — посудина... Разве ж можно сравнить эту старую калошу с легкокрылой «Чайкой»?

— Э-э-э, хлопче, ты не прав,— возразил Кавун и развел ру-

ками:— Дывись, який простор на палуби. А трюм? Центнеров на двадцать груза. «Медуза» трудяга, а «Чайка» белоручка.

— Да оставь его, Тарасович,— сказал Васильев.— Переболеет разлуку с «Чайкой», успокоится и с «Медузой» свыкнется.

— Звыкнешься, моряцкая душа?

— Не знаю,— вздохнул Сашка и отвел глаза.

Чайки, жалобно всхлипывая, поотстали и повернули обратно. Кавун проводил их долгим взглядом и сказал:

— Живут в таком приволье, а все плачут.

— Такая уж плаксивая птица,— заметил Васильев.

Вскоре в прибрежном мареве показалась Коса. Хутор и длинная полоса песчаной отмели будто выплывали из прозрачной золотистой дымки, и контуры строений и обрывистый берег становились все четче и рельефней. Впереди, в четырех кабельтовых, Васильев заметил баркасы. Они были похожи на две черные подбитые птицы, медленно взмахивающие крыльями. Васильев догадался, что это рыбаки тяжело идут на веслах, и сказал Кавуну:

— Юхим Тарасович, а ведь это бригада Краснова.

— Мабуть, так... Сашко, нажми-ка!

— Из этой дохлой клячи бо́льшего не выжмешь,— беззлобно проворчал Сашка, но скорость прибавил.

«Медуза» вздрогнула, пошла в кильватер баркасам и через полчаса нагнала их. Рыбаки узнали Кавуна и своего председателя колхоза, радостно заулыбались. Кавун перегнулся через поручни, кивнул рыбакам.

— Ну, як рыбачилы?

— Добре!— ответил Краснов.— Баркасы перегрузили.

В первом баркасе серебрились крупные лещи, во втором неподвижно лежала среди черноспинных осетров двухметровая белуга.

— Не живая?— кивнул на белугу Васильев.

— Бригадир оглушил ее колотушкой,— сказал дед Фиён, посмеиваясь в рыжую бородку, прокопченную табачным дымом. Он и сейчас посасывал вишневый чубук глиняной трубки.— Дюже артачилась, скаженная.

— Как же вы ее полонили?— интересовался Васильев.

— В капроновый мешок угодила.

— Выдержал?

— Раз Панюхай мастерил невод, любой груз выдержит.

— Вот шо, труженики,—прервал разговор Кавун.— Бечева е?

— Есть!

— Зачепляйтесь.

На первом баркасе приняли со второго бечеву и закрепили ее на корме. Конец своей бечевы швырнули на палубу мотобота. «Медуза» взяла баркасы на буксир и легко повела за собой, расстилая перед ними шипящий пенистый коврик. Рыбаки, сложив весла, отдыхали, подремывая на солнцепеке. Тем временем на берегу качалась и шумела людская волна. В воздухе мельтешили платки, косынки, фуражки и соломенные шляпы. Ребятишки кубарем скатывались по крутосклону на песчаный берег, старательно вымытый неутомимыми волнами.

«Медуза» причалила к пирсу, и Сашка заглушил мотор. Бронзокосцы бурно приветствовали первое моторное рабочее судно, заменившее легкокрылую «Чайку».

VIII

В последних числах апреля бронзокосцы провожали свою делегацию в Москву на прием к Наркому. От колхоза ехали председатель Васильев, бригадиры Краснов и Панюхай и от МРС замполит Орлов. Приехал из Белужьего и секретарь райкома партии Жуков, чтобы пожелать делегации счастливого пути. Анка, снаряжая отца в путь-дорогу, вычистила и выгладила брюки и китель, постирала тельняшку и еще две новых положила в чемодан.

Панюхай подстриг бородку и усы, и когда облачился в парадный флотский костюм, выглядел именинником. На его бритой голове молодецки сидела черная с белой окантовкой фуражка, на которой вместо краба поблескивал надраенный песком и суконкой бронзовый якорь. Отливали на солнце золотом и начищенные пуговицы на белом кителе.

— Знать, не обманул тот самый Петр Петрович,— сказал Панюхай, имея в виду инспектора рыбнадзора.— Я вмиг скумекал, что он справедливый человек. Ишь ты, сердечный какой, все же замолвил словечко о нас Наркому.

— У вас, отец, какая-то подозрительная обоюдная симпатия друг к другу с Петром Петровичем,— заметил Орлов, подмигнув Анке и Жукову.

Они стояли в тени акации возле сельсовета, ожидая грузовик, который должен был доставить их в город. На улице изнывала под палящими лучами солнца толпа зевак. Панюхай с хитринкой посмотрел на Орлова и усмехнулся:

— Нет, милый зятек, никакой тут подозреваемости нету. Все

честь по чести. Пришлись мы один другому по душе и только. Спроси вот Андреича,— кивнул Панюхай на Жукова.— Когда он в тридцатом годе объявился на Косе, мы с ним с первого дня приятелями стали. И поныне в содружестве состоим.

— Совершенно верно, Кузьмич,— подтвердил Жуков, улыбнувшись.— И поныне мы в большой дружбе.

Панюхай толкнул Орлова:

— Слыхал?..

— Слышу, отец.

— То-то. А можно взять, к примеру, и Юхима Тарасовича. Он тоже с первых днёв ко мне расположился. Вот,— оглядел он себя,— обмундировкой вознаградил.

— Це правда,— прогудел Кавун, растирая пальцами длинные усы-сосульки, свисавшие ниже подбородка.

— Значит, у тебя, Кузьмич, есть что-то этакое притягательное... магнитное,— сказал Васильев.

— Никаких магнитов,— махнул рукой Панюхай.— По-задушевному я с людьми, вот и все.

— Эх, Софрон Кузьмич,— положил ему на плечо руку Жуков.— Если бы твоя душевность помогла нам получить от Москвы флотилию и новые сетеснасти...

Панюхай принял важный вид, ответил с достоинством:

— Москва не поскупится, Андреич. Поглядим там... по обстоятельствам, стал-быть...

— Отец,— прервала его Анка, хмуро посмотрев на него.— Нехорошо нахваливать себя.

— А разве я сбрехал что? Ты, дочка, не бойся правды-матки.

Наконец подошла машина. В эту минуту из-за угла показалась Акимовна в белом халате и белом поварском колпаке на голове.

— Я прямо из столовой...— оправдывалась Акимовна.

Началось прощание. Панюхай наспех поцеловал Анку, пожал руку Жукову, Кавуну, Акимовне, поклонился народу и сел к шоферу в кабинку. Васильев, Краснов и Орлов разместились в кузове. Жуков помахал фуражкой:

— Ни пуха, ни пера!

— В добрый путь!— донеслось из толпы.

Анка крикнула:

— Счастливо! Сегодня же дайте в городе телеграмму о вашем выезде.

Акимовна подошла к кабинке в ту секунду, когда шофер включил скорость.

— Гляди же, Кузьмич, не подкачай.

— Будь в спокойствии, Акимовна. Морской порядок будет по всем статьям соблюден.

Машина вымахнула из хутора, взбежала на пригорок и запылила по дороге в город.

Делегация прибыла в Москву тридцатого апреля, как и было указано в вызове Наркомата. Видимо, это сделали с той целью, чтобы рыбаки провели Первомайский праздник в белокаменной столице.

Встретил рыбаков на перроне вокзала уже знакомый им инспектор. Панюхай долго и молча жал руку Петру Петровичу, радостно улыбался и, наконец, проговорил:

— Вот и причалили мы к желанным берегам матушки-Москвы.

— Добро пожаловать, дорогие гости,— приветливо ответил инспектор.— Следуйте за мной.

На привокзальной площади их ждала сверкающая черным лаком открытая легковая автомашина. Инспектор сел с шофером, а гости свободно разместились на задних сиденьях. Автомашина бесшумно покатила по асфальту, выехала на улицу и влилась в бесконечный поток легковушек разных заводских марок и расцветок. На тротуарах взволнованно бурлили разноголосые людские потоки. Пахло накалившимся железом, камнем, смолой и бензиновым перегаром.

На перекрестках, предупреждаемые желтым — «Внимание!», потом повелительным красным — «Стоп!» — глазом автоматического светофора, потоки людей и машин на минуту замирали, давая возможность двигаться пересекающим дорогу потокам. Панюхай, блуждая растерянно-удивленным взглядом, шептал:

— Боже мой... страсть-то какая... Похоже на то, что вкруг тебя море волнами играет.

Машина наконец выплеснулась из шумного потока и подкатила к огромной новой гостинице. Шофер проворно вылез из машины, открыл заднюю дверцу, пригласил:

— Прошу, товарищи.

Гости в сопровождении инспектора поднялись в лифте на пятый этаж, где для них был забронирован номер.

— Располагайтесь, как у себя дома,— сказал инспектор, вынимая из кармана четыре пропуска.— Это вам даст право свободного входа на Красную площадь. Завтра посмотрите военный парад и демонстрацию москвичей. А пока желаю приятного от-

дыха,— и он вышел. Но через минуту вернулся.—Простите, я забыл оставить вам талоны. Будете питаться здесь, при гостинице. Вот эти талоны на завтраки, эти на обеды, а эти на ужины. До свидания...

В номере было четыре кровати, диван, письменный стол, стулья, мягкие кресла, телефон, репродуктор и платяной зеркальный шкаф. С пятого этажа взору открывалась внушительная панорама: Кремль и Ленинские горы. Васильев, Орлов и Краснов стояли у широкого окна, обозревая Москву, вернее — часть огромной столицы, а Панюхая заинтересовало совсем другое: он топтался возле зеркального шкафа, поворачиваясь то вправо, то влево и оглядываясь через плечо. Панюхай впервые видел себя в зеркале во весь рост. Он одергивал китель и поправлял на голове картуз, кивая своему отражению.

— Ничего, Кузьмич,— подошел к нему Васильев,— вид у тебя молодецкий.

— Порядок,— морщинистое лицо Панюхая осветилось детской улыбкой.

— А не прогуляться ли нам по Москве?— предложил Орлов.

— С удовольствием,— согласился Васильев.

— Нет, я лучше передохну малость,— отказался Панюхай.

— И меня в дороге разморило,— сказал Краснов.— Идите сами.

Орлов и Васильев ушли в город, а Панюхай и Краснов разделись и завалились спать.

Парад и демонстрация на Красной площади произвели на рыбаков неизгладимое впечатление. А метро просто ошеломило их. И только Орлов, не раз бывавший в Москве, оставался спокоен. Он на каждой остановке выходил из вагона, за ним поспешно следовали его спутники, а через несколько минут, осмотрев зеркальную мраморную облицовку и художественное оформление станции, все снова входили в вагон и ехали дальше. Восхищенный Панюхай беспрестанно восклицал:

— Боже, какая страсть! Солнечные хоромы под землей!..

Два дня бронзокосцы осматривали Москву, знакомились с ее достопримечательностями, а на третий их вызвали к Наркому. С каким волнением и душевным трепетом Панюхай переступил порог большого, скромно обставленного кабинета. Рыбаков ввел к Наркому инспектор. Панюхай шел последним, он почувствовал внезапную слабость в ногах. Но когда Нарком, сидевший за массивным письменным столом, встал и с приветливой улыб-

кой пошел навстречу рыбакам, запросто, будто с давнишними хорошими знакомыми, поздоровался, с Панюхая и смущение и слабость как рукой сняло. Он, не отрывая возбужденного взгляда от ласковых с живым огоньком глаз Наркома, сказал:

— Доброго здоровьица вам, товарищ Народный Комиссар... Так вот вы какой... Доступный человек.

— Узнаю! — и Нарком добродушно засмеялся. Он быстрой походкой вернулся на свое место, заглянул в настольный блокнот.— Софрон Кузьмич? Бригадир гвардейской бригады?— и обернулся к инспектору:— Не так ли, Петр Петрович?

— Совершенно справедливо, товарищ Народный Комиссар,— опередил Панюхай инспектора.— А дозвольте спросить: как вы признали меня?

— Петр Петрович, вернувшись с моря, с удивительной точностью нарисовал ваш портрет. Итак, дорогие товарищи, садитесь. Предупреждаю: никакой официальщины. Будем запросто беседовать. О том, как погибла флотилия МРС, как героически трудятся старейшие рыбаки-пенсионеры, мне известно. Скажите, в чем сейчас у вас самая острая нужда?

И рыбаки рассказали, что с флотом еще можно подождать, что хотя баркасы ветхие, но теперь уже приобрели мотобот и это дело еще терпимое. Отсутствие необходимого количества добротных орудий лова — вот что режет рыбаков. Даже бечевы и ниток невозможно достать.

— Ясно,— сказал Нарком.— Потерпите еще немного. Как вам известно, вчера наши воины водрузили над рейхстагом знамя Победы. Война, можно сказать, завершена. В некоторых местах еще оказывают сопротивление разрозненные группировки гитлеровцев, которые будут добиты нашими доблестными воинами в течение ближайших дней. Скоро вы будете иметь и первоклассный флот и капроновые сети. Могу порадовать вас,— улыбнулся Нарком и продолжал:— На одной из южных верфей уже приступили к постройке быстроходных сейнеров для вас, рыбаков. На сейнерах будут установлены отечественные двигатели в сто пятьдесят лошадиных сил. Заказ заводу уже дан.

— А сетки? Сетки? — заерзал на месте Панюхай.

— Я сказал, вы будете снабжены капроновыми сетями. Самыми добротными.

— Дай бог,— облегченно вздохнул Панюхай.

— Бог не даст,— улыбнулся Нарком,— а Родина даст.

Все засмеялись. Панюхай смущенно опустил глаза:

— Само собой... товарищ Народный Комиссар.

Нарком встал, подошел к висевшей на стене карте и обвел указкой бассейн Азовского моря.

— Вот ваши владения. Сравнить с Черным, и ваше море кажется малюткой. А рыбные богатства его неисчислимы. Подумать только: в таком мелководье гуляют косяки леща и судака, тюльки и бычка, тарани и сельди, рыбца и шамаи, сазана и севрюги, белуги и осетра... Теперь посмотрите, сколько рек впадает в Азовское море... Они опресняют воду и вносят тысячи тонн различных питательных веществ, создавая обильную кормовую базу. Вот почему из Черного моря в Азовское устремляются тучные косяки рыб. Их привлекают и пресные лиманы, являющиеся прекрасными нерестилищами. А кое-где на реках, впадающих в море, ручьях, каналах и протоках сооружаются завалы, запруды и заграждения. К чему я это говорю?— Нарком вернулся к столу и опустился в кресло.— Вот к чему. Известно, что рыба идет на нерест туда, где она родилась. Но пробить завалы и запруды на реках, протоках и в гирлах лиманов она не может и гибнет. Есть и такие горе-рыбаки, которые бьют рыбу острогой и огнестрельным оружием. Добывают ее с применением взрывчатки, отравляющих веществ и электротока. Это варварский метод.

— Товарищ Народный Комиссар, в нашем районе такого безобразия нет,— сказал Васильев.

— Знаю. А в других районах есть. Может и у вас быть.

— Не допустим! — встрепенулся до сих пор молчавший Краснов.

— К этому я и клонил разговор, чтобы навести вас на мысль: не допустить подобного варварства. А то что же получается? Миллионами тонн губят рыбу. Да ведь это же народное добро, наше богатство, и надо сберегать его.

— Совершенно справедливо, товарищ Народный Комиссар,— качнул головой Панюхай.— Мы никому не дозволим в наших водах разбойничать. Пресекём!

— Правильно,— сказал Нарком и спросил Панюхая:— Ну, как живет-здравствует ваша старая гвардия?

— Трудятся. Кланяться вам велели.

— Спасибо. Передайте им мой привет.

— И просили они... хоть бы ниткой уважили. А сети я сам свяжу. Беда нам без причиндалов.

— Хорошо, Софрон Кузьмич, постараюсь кое-что сделать для ваших рыбаков.— Нарком позвонил и обратился к вошедшему секретарю:— Напишите от моего имени письмо дирекции и коллективу рабочих Решетихинской сетевязальной фабрики

Горьковской области с просьбой обеспечить азовских рыбаков колхоза «Заветы Ильича» Белуженского района сетеснастями.

Когда секретарь вышла, Нарком сказал:

— Думаю, не откажут. Поезжайте на фабрику, поговорите в парткоме, с рабочими потолкуйте.

— Мы сегодня же выедем,— сказал Васильев.

— Прекрасно. А вернетесь, два-три дня погостите в Москве. Номер будет забронирован за вами.

Вошла секретарь, положила на стол отпечатанное на машинке письмо. Нарком подписал и передал письмо Васильеву.

— Желаю успеха. А чтобы вы не забывали о нашей встрече, разрешите вручить вам памятные подарки... Петр Петрович, слово за вами.

Инспектор вынул из портфеля четыре зеленых бархатных коробочки и, открыв их, разложил на столе рядком. В трех коробочках были серебряные карманные часы, в четвертой — золотые. Серебряные Нарком вручил Васильеву, Орлову и Краснову, а золотые протянул Панюхаю.

— Это вам, Софрон Кузьмич, именные за добросовестный, честный труд.

— Как?..— повел растерянным взглядом Панюхай.— Это почему же мне такая честь?..

— Заслуживает?— спросил Нарком рыбаков.

Те ответили в один голос:

— Заслуживает.

— А ваше мнение, Петр Петрович?

— Софрон Кузьмич вполне достоин этого подарка.

— Вот видите?— развел руками Нарком, улыбаясь.

У Панюхая задрожал подбородок, сомкнулись челюсти. Наконец он разжал их, с трудом проговорил:

— Бла... благо... дарствую... товарищ... Народный... Комис... сар.

У старика из глаз брызнули слезы. Он провел по мокрому волосатому лицу рукавом кителя, потом, спохватившись, вынул из кармана носовой платок, приложил к глазам...

Нарком проводил гостей до дверей. Последним выходил из кабинета Панюхай. Он обернулся и так посмотрел на Наркома, будто горячо обнял его душой и сердцем, и тихо сказал:

— Да хранит вас бог... доступный человек.

Поездка на Решетихинскую сетевязальную фабрику увенчалась успехом. Рабочие встретили гостей с далекого Приазовья радушно. Когда было зачитано письмо Наркома, один из рабо-

чих внес предложение — вязать сети для рыбаков в неурочное время, отрабатывая ежедневно дополнительно по одному часу. По огромному цеху прокатился одобрительный гул дружных рукоплесканий...

Бронзокосцы уезжали из Горького в приподнятом настроении. Радости их не было предела. В Москву вернулись восьмого мая. Петр Петрович принес им в гостиницу железнодорожные билеты на десятое число.

— А почему не на девятое?— спросил Орлов.

— Завтрашний день будет объявлен Днем Победы,— ответил Петр Петрович.— Гитлеровская Германия капитулировала. Вот свежие газеты, читайте. А это четыре пропуска на Красную площадь.

День девятого мая был торжественным, волнующим. На Красной площади шумело ликующее море людей.

Вечером загромыхали орудийные залпы, и московское темно-синее небо расцвело яркими разноцветными огнями фейерверка. Это было изумительное зрелище незабываемого салюта в День Победы. Гремела музыка, звенели песни на улицах и площадях, люди кружились в танцах, совсем незнакомые обнимались и горячо целовались, поздравляя друг друга с долгожданной победой.

Панюхай отбился от своих спутников и никак не мог вырваться из людского водоворота. Вдруг он увидел знакомое лицо, мелькнувшее между снующими людьми. И когда взгляд больших голубых глаз остановился на нем, он вскрикнул:

— Татьянка!

— Софрон Кузьмич!.. Софрон Кузьмич!..— услышал он низкий слабый голос, но в ту секунду незнакомая девушка обняла его, поцеловала и горячо дохнула ему в самое ухо:

— Я — Татьянка, дедушка! Милый, родной! Поздравляю с победой! Идем веселиться, дедуся!— и она закружила его в танце.

Их толкали в бока и в спину, волна людей то наваливалась, то откатывалась, а Панюхай отбивался, брыкался, вырываясь из цепких рук девушки:

— Да отпусти же ты душу на покаяние, мама двоеродная...

Наконец девушка остановилась, и новая волна подхватила Панюхая и понесла неведомо куда...

Вернулся Панюхай в гостиницу разбитый и обессиленный. Он вошел в номер, повалился на диван и жалобно простонал:

— Треклятая девка... Я с Татьянкой глазами схлестнулся, а она меня в танец повлекла.

— С какой Татьянкой?— спросил Васильев.

— С Зотовой.

— Почудилось?— присел к нему на диван Краснов.

— Побей меня бог, она. Я ей голос подал: «Татьянка!» А она в ответ: «Кузьмич!..» Тут какая-то коза подвернулась, копытцем подшибла меня и каруселью закружила, аж в глазах зарябило.

Орлов и Васильев переглянулись и подумали об одном: «Хватил лишнего на радостях старик, вот и бредит».

Так и не поверили они Панюхаю.

IX

В январе 1945 года Советская Армия освободила из концлагеря близ города Ландсберга большую группу невольниц. Среди них была и Таня Зотова. Таню направили в Москву и определили в одну из клинических больниц. Чуткий, внимательный уход медперсонала и хорошее питание медленно, но заметно возвращали потерянное на немецкой каторге здоровье. Проходил месяц за месяцем. Таня чувствовала, как она все увереннее становится на окрепшие ноги и все мышцы ее наливаются живительной силой.

За четыре месяца пребывания в больнице Таня получила от Дмитрия одиннадцать писем. Последнее, двенадцатое письмо, датированное двадцать третьим апреля, Таня получила восьмого мая. В нем Дмитрий писал коротко о том, что они начали штурмовать фашистское логово — Берлин. И больше ни звука...

Девятого мая, в День Победы, Таня вышла из больницы, написала мужу, что выезжает домой. Добродушная старуха, работавшая санитаркой в больнице, посоветовала Тане задержаться с отъездом дня на три, чтобы посмотреть Москву.

— А с жильем не беспокойся, у меня перебудешь,— сказала старуха.— Кровать двуспальная, поместимся.

И Таня согласилась. Вечером она пошла посмотреть на ликующую Москву, торжественно отмечавшую День Победы фейерверками, песнями, музыкой и танцами. Вот тогда-то и промелькнуло, как видение, знакомое, с рыжеватой бородкой лицо деда Панюхая, и сипловатый голос его, окликнувший Татьяну, потонул в бурлящем гуле разноголосой возбужденной толпы... Если бы и Татьяна выезжала на другой день, она встретилась бы с земляками на вокзале или в поезде, но у нее билет был взят на двенадцатое мая.

До последней минуты отхода поезда Панюхай обшаривал все уголки вокзала, высматривая Таню, но поиски его были напрасны. Когда поезд был уже в пути, Краснов, взглянув на рассуждавшего с самим собой Панюхая, сказал:

— Брось думами себя изводить. Померещилось тебе и только.

— И то могет быть,— усомнился Панюхай.— Ведь признала же меня одна стрекоза за родного дедушку? Татьянкой себя назвала. Целовала меня, будто огнем припекала. Думал, борода от ее жару осмолится и волдыри по щеке пойдут пузыриться. Да еще в пляс меня повлекла.

Орлов, отложив газету, сказал:

— Ничего, отец, день такой был радостный. Знакомые и незнакомые целовались, плясали и песни пели.

На верхней полке заворочался Васильев, свесил голову и с улыбкой посмотрел на Панюхая:

— Ох, Кузьмич, дознается о твоих похождениях Акимовна...— и засмеялся, не выговорив больше ни слова.

— Ляскай, Гришка, ляскай,— отмахнулся Панюхай,— язык без костей. А что касаемо Акимовны, то будь она с нами, и ее зачмокали бы поцелуями. День-то какой был! Все на радостях целовались. А морского порядка мы не нарушили. Верно, зятек?

— Верно.

— То-то, Гришака,— самодовольно улыбнулся Панюхай, взбивая подушку. Но прежде чем лечь, он вынул из кармана зеленую бархатную коробочку, открыл ее, полюбовался чистым сиянием золотых часов и спрятал коробочку под подушку.

— Ты что, Кузьмич, сквозь крышку часов видишь циферблат?— спросил Васильев.— Так скажи, который час?

— Не дури, Афанасыч,— зевнул Панюхай и блаженно растянулся на нижней полке.— Часы не для того дарены Народным Комиссаром, чтоб крышкой хлопать.

— А для чего же?

— Для памяти. А время мы и так угадываем — днем по солнцу, ночью по звездам,— он зевнул еще раз, и вскоре купе наполнилось свистящим храпом.

И в концлагере, и в больнице Таня часто вспоминала Соню. Она хорошо помнила день перед отправкой невольниц из Мариуполя в Германию, душный, битком набитый вагон, в котором люди задыхались и умирали стоя, так как не было возможности даже присесть на пол, Франкфурт-на-Одере, где раздевали до-

нага советских женщин и девушек и продавали их в рабство, и мрачные дни батрачества у фрау Штюве, плеснувшей в лицо Соне кипящим молоком и ослепившей молодую красивую девушку. Все помнила Таня, а вот откуда родом Соня и ее фамилию забыла. Много думала Таня, до боли в висках напрягала мысли, пытаясь вспомнить название родного города и фамилию Сони, но все ее попытки были тщетны...

Пассажирский поезд весело бежал на юг. Таня сидела у окна, слегка покачиваясь. Мимо вагона проплывали разрушенные железнодорожные будки и разъезды. Уже остались далеко позади Серпухов, Тула, только что миновали Орел. Когда поезд подходил к следующей станции, бойкая молодая проводница объявила ее название. Таня, задумчиво глядя в окно, никак не реагировала на выкрики голосистой проводницы. Но когда до ее слуха донеслось звонкое короткое слово:

— Курск!

...она вздрогнула и сердце ее радостно затрепетало.

— Кому сходить, граждане, приготовьтесь!— предупредила проводница, быстро проходя по вагону.

«Курск...— мысленно повторила про себя Таня.— Курск... Ну конечно, Соня из этого города... Теперь я хорошо помню, что она из Курска... Как же я могла забыть это...»— и она заволновалась, то вскакивая, то опять опускаясь на полку.

— Вы тоже здесь сходите?— спросил Таню пожилой гражданин, заметив ее волнение.

— Нет... нет... Мне до Мариуполя... И билет у меня до Мариуполя...— растерянно бормотала Таня, выглядывая в окно, за которым вдали показался город.— Но видите ли... моя знакомая из Курска... Она в этом городе живет.

— Как ее фамилия?— поинтересовался гражданин.

— Не помню... Зовут ее Соней, а вот фамилию забыла... Мы с ней в Германии... батрачили у одной фрау. Ох, и гадюка была наша хозяйка! Она ослепила Соню и отослала ее домой, в Курск, а меня отправила в концлагерь...

— Так эту девушку весь город знает,— перебил Таню гражданин.— Соня Клименкова. Дома она, дома.

— Да что вы говорите!— приглушенно вскрикнула Таня, схватив за руку гражданина.— Жива? Соня жива?

— Жива-здорова. Только она теперь не Клименкова, а Тюленева. Замуж вышла. Хороший у нее муж, он на каком-то заводе механиком работает. Говорят, серьезный парень.

— Соня замужем?— и в глазах Тани вспыхнули голубые

огоньки.— Какая радость! Правда, она хоть и слепая, но красивая девушка.

— Нет,— возразил гражданин,— и не слепая теперь она, а зрячая. Муж возил ее в Одессу, год она пробыла в клинике Филатова. Ее оперировали и вернули зрение.

— Мне кажется, что все это сон...— Таня в изнеможении прислонилась спиной к перегородке, почувствовав во всем теле слабость от радостного волнения.— Как мне хочется повидать ее...

— А вы и повидайте. Это же просто сделать. Сойти с поезда, отметить у начальника станции остановку на билете, а как найти вашу знакомую, я расскажу вам.

— Я так и сделаю,— заторопилась Таня, вытаскивая из-под полки маленький чемоданчик.

Поезд подходил к вокзалу, вернее к руинам, напоминавшим, что на этом месте когда-то стояло красивое здание вокзала, и гражданин сказал Тане:

— Вот мы и приехали. Идемте к выходу,— и они направились к тамбуру, где уже толпились пассажиры.

Беленький опрятный домик с веселыми окнами, в котором жила Соня с мужем и матерью, находился на южной окраине города. Таня легко нашла его. Все было так, как рассказал ей любезный незнакомый гражданин, который простился с нею в центре города: новый, окрашенный зеленой краской, дощатый забор; низкие решетчатые ворота и калитка из штакета; тут же, за воротами, растут два стройных тополя; в глубине двора стоит домик, окруженный молодыми липами, а за домиком — вишневый сад.

Солнце скрылось за далеким горизонтом, когда Таня остановилась возле штакетной калитки. Она увидела во дворе женщину, которая ходила между грядками и неторопливо раскачивала в руках ведерную лейку, дождевыми струями разбрызгивая воду. Она поливала цветы. Особенно много было на грядках нежных распустившихся нарциссов. А там, за домиком, уже окутывались белой дымкой вишневые деревья, и в лицо Тане вместе с вечерней прохладой пахнуло свежестью и медовым ароматом майского цветенья.

— Гражданочка,— тихо окликнула Таня женщину.

Та обернулась, несколько секунд пристально смотрела на Таню, потом медленно опустила на землю лейку и подошла к ка-

литке. Скорбное лицо женщины и грустные, будто застывшие светло-серые ее глаза говорили о том, что она перенесла страшное душевное потрясение.

— Скажите, Соня Тюленева здесь проживает?— спросила Таня.

— Здесь,— ответила женщина.— Я ее мать,— и открыла калитку.— Проходите, пожалуйста. Она там, в комнате,— махнула рукой мать Сони на домик и вернулась к своему занятию.

Соня сидела на диване и играла с ребенком. Она держала его под мышки и то поднимала, то опускала розовыми ножками себе на колени, целовала его ручонки, животик, трясла головой:

— Да родимый же ты мой тюленьчик... Батька твой тюлень, а ты — тюленьчик... Не хочешь? Хорошо. Тогда ты соловей-соловушка...

Ребенок, перебирая слабыми ножками, потянулся ручонками к лицу матери, вцепился в оправу и чуть не сорвал с ее носа темные очки.

— А-а-а, так ты мамку бить?.. Разбойник! Да, да! Ты соловей-разбойник! Вот я тебе! Вот я тебе!..— и снова осыпала его поцелуями.

— Соня...— окликнула ее Таня дрожащим от волнения голосом, но та не слышала и не замечала гостью, стоявшую у раскрытой двери.— Соня!— повысила голос Таня.

— А? Мама? Что тебе? — и обернулась к двери.

— Да это я... я... Таня... Не узнаешь?..

— Громы небесные... Возможно ли?— шептала Соня, укладывая ребенка на диван и подсовывая ему под голову подушку.— Возможно ли?..— она поднялась с дивана, медленно приблизилась к Тане и бросилась ей в объятия, не переставая вскрикивать:— Таня!.. Родная! Да ты ли это?..

— Я, Сонечка, я...

— Да милая же ты моя!.. Таня!.. Танечка!.. Танюша!..— словно обезумевшая, трясла она подругу за плечи.

На диване заливался плачем ребенок. Услышав неистовые крики ребенка и Сони, мать оставила поливку цветов и поспешила в комнату.

— Что случилось, Соня?— спросила мать и взяла на руки ребенка.

— Мама, да ты знаешь, кто это?.. Таня... Та самая Танюша, с которой я была продана работорговцами в проклятой фашистской Германии этой мерзкой паскудине... фрау Штюве.

— Понимаю, доченька, твою радость, но нельзя же так кричать. Ты ребенка испугала,— она подошла к Тане и поцеловала

ее.— Поздравляю тебя, Таня, с возвращением на родную землю...— голос матери задрожал, надломился, и она ушла с ребенком в другую комнату, чтобы скрыть от гостьи свои слезы.

Соня и Таня сели на диван.

— Что она... плачет?— шепотом спросила Таня.

— Тсс...— предупредила Соня.— До сих пор по Галочке убивается. Ведь мою младшую сестренку гитлеровские людоеды повесили.

— За что?

— Обвинили ее в связи с партизанами... Тут недалеко есть одно село, Галочка там скрывалась, чтобы избежать отправки в Германию. А староста, подлая душонка, выдал девочку... Смотри, о сестренке и не напоминай при маме.

— Нет, нет, Сонечка... Боже мой! Сколько пережила твоя мама.

— Да разве только одна моя. Таких матерей у нас миллионы.

— Ты права.

— Ну, рассказывай о себе. Хочу все, все знать.

За окном сгущалась майская сумеречь. Соня зажгла свет. За дверью послышались неторопливые шаги.

— Это мой Василечек идет,— сказала Соня.— Я своего милого по походке узнаю.— Вдруг она спросила:— А ты и не заметила на мне очки? Все слепой меня считаешь?

— Я еще в поезде узнала о том, что Филатов вернул тебе зрение.

— От кого?— удивилась Соня.

— Какой-то ваш горожанин ехал со мной в одном вагоне. Он же и рассказал мне, как найти тебя, и назвал твою новую фамилию.

В комнату вошел, сильно прихрамывая, в темно-синем комбинезоне белокурый, с добродушным открытым лицом мужчина. Он смущенно посмотрел на Таню ласковыми кроткими глазами и молча поклонился. На вид ему было не больше двадцати пяти лет. Соня взяла его за руку, подвела к Тане.

— Василечек, это моя подруга по немецкой неволе. Я много раз говорила тебе о ней, о моей Танюше. Знакомься, люби и жалуй ее, как нашу родную.

Тюленев пожал Тане руку, спросил:

— Вы только из Германии?

— Из Москвы...

— Нет, нет,— перебила Соня.— Таня обо всем расскажет нам за ужином. А ты, Василек, сообрази там что-нибудь.

— Хорошо, Сонечка,— и он вышел.

Подруги обнялись и долго сидели молча. Первой нарушила молчание Таня.

— Ты довольна мужем?

— Очень.

— Видно, он хороший человек.

— Замечательный,— Соня вздохнула и тихо засмеялась.— Он начал ухаживать за мной еще когда был десятиклассником, а я училась в девятом классе. Правда, он как старший товарищ хотел дружить со мной и помогать мне исправлять тройки по русскому языку и математике, но я отвергала его благие намерения, дерзила ему, обзывала «тюленем».

— Почему?— удивилась Таня.

— Видишь ли... Мне нравились бойкие, задиристые ребята, а он был застенчивым и тихим. Ветерок веял в голове, еще девчонкой была.

— Отчего он хромает?

— Был тяжело ранен в первые дни войны. Танки подрывал. Семь машин уничтожил. Награжден орденом Ленина. Инвалид, но работает механиком на заводе.

— Вот тебе и тихоня,— улыбнулась Таня.— Вот тебе и «тюлень»...

— А каким он чудесным человеком оказался, Танюша... Когда меня привезли из Германии слепой, он еще больше привязался ко мне, стал упрашивать меня выйти за него замуж. Признаться, меня потрясло это... Я сказала ему, что тебе, Вася, зрячих девушек мало? А он заплакал и сказал: «Я люблю тебя, Сонечка, еще сильнее»... И вот, благодаря его заботам, я вновь обрела зрение.

Таня порывисто обняла Соню, поцеловала:

— Я так рада! Я так рада за тебя, Сонюшка!

— А я так счастлива, что ты заехала ко мне!

Из другой комнаты вышла мать, прикрыла за собой дверь, приложила к губам палец.

— Тихо, девочки. Василий Васильевич спит. Я пойду на кухню готовить чай.

За ужином Таня начала свое горькое повествование... Слушая рассказчицу, Тюленев сидел насупленным и угрюмым, мать украдкой смахивала с дрожавших ресниц слезы, а Соня, кусая губы, гневно шептала:

— Проклятые людоеды... Какие матери родили этих омерзительных чудовищ?..

Василий Васильевич подал свой властный голосок, и мать

Сони ушла в другую комнату. Вскоре он затих, убаюканный колыбельной песней бабушки.

Таня окончила свое повествование и молча склонилась над стаканом с остывшим чаем. Тюленев закурил папиросу, сделал несколько глубоких затяжек и сказал:

— Я понимаю, что всем было несладко. Однако положение батраков и батрачек, пускай даже обращенных в рабов и рабынь, резко отличалось от положения тех, кто находился за колючей проволокой. В концлагерях обессиленных людей гитлеровцы пристреливали. А у цивильных немцев было так: если батрак по каким-либо причинам становился неполноценным работником, его отправляли обратно в Россию. Вот таким образом и уцелела моя Сонюшка. А вы, Таня, просто чудом избежали смерти, находясь в концлагере.

— Да, вы правы,— тяжело вздохнула Таня.

— На сегодня хватит об этом,— сказала Соня, поднимаясь со стула.— Василек, вы тут с мамой приготовьте постели, а мы с Таней немного посидим в саду.

— Хорошо, Сонечка.

Подруги вышли. Они сели под липой на скамейку: Соня сняла очки. Таня в тревоге спросила:

— Это тебе не повредит?

— Нет. Я должна остерегаться резкого дневного и искусственного света, а лунный безвреден.

Прямо перед ними по чистому, иссиня-голубому небу плыла луна. В ароматном воздухе постепенно расплывалась тишина, все засыпало вокруг. Белая пенная кипень вишневого цветения серебрилась в лунном половодье. Где-то в садах и рощах перекликались соловьи.

— Слышишь, Таня?

— Слышу.

— Вот по этой родной красоте я смертельно тосковала там, на ненавистной чужбине...

И вдруг совсем близко-близко с азартом защелкал соловей. Ему отозвались второй, третий, и через несколько секунд притихший было вишневый сад наполнился звонкой и переливчатой соловьиной трелью.

Соня и Таня сидели в глубоком безмолвии и наслаждались соловьиным пением.

В полночь за подружками пришел Тюленев и увел их в дом.

А на другой день Соня с мужем провожали Таню к поезду. Тяжело, со слезами на глазах расставались подруги. И когда поезд тронулся, Таня, стоя у открытого окна, крикнула:

— Приезжайте к нам на Косу погостить! Самый лучший отдых у моря!

— Обязательно приедем! Жди нас в августе!

— Жду!— улыбалась Таня, а сама часто-часто прикладывала к глазам носовой платочек.

X

Госпиталь был свернут. Двенадцать недолечившихся воинов профессор Золотарев перевел к себе в городскую больницу, куда его назначили главным врачом. Теперь все три этажа снова принадлежали роженицам.

Ирина упаковала вещи и отправила их багажом. В маленький чемоданчик она уложила только самое необходимое, что могло понадобиться в дороге. Она простилась с уютной комнаткой, в которой прожила при военном госпитале почти четыре года, и вышла в парк. Кизил уже отцвел, его золотистое оперенье осыпалось на малахитовую шелковистую траву. Буйно распустилась сирень, наполнив кристально чистый воздух предгорья нежными умиротворяющими запахами. Ирина прошлась по всем аллеям парка, посидела на скамейке под развесистым каштаном, на которой любил когда-то отдыхать летчик Яков Орлов, и покинула парк. На открытой веранде она обернулась и бросила прощальный взгляд туда, за лиловую даль, где в розовой дымке алмазным блеском вспыхивали голубые ледники и искрящийся, вечный снег на вершинах Кавказского хребта. Старик-садовник, старожил парка, срезал самые лучшие ранние розы — белые и красные, обложил их кудрявыми гроздьями сирени и преподнес этот чудесный букет Ирине.

— Вам, сестрица, на прощанье.

— Спасибо, милый человек,— растроганно поблагодарила садовника Ирина и поцеловала его в колючую щеку.

Провожал Ирину профессор Золотарев. Они, в ожидании прихода поезда, молча прогуливались по перрону. Всегда живой и непоседливый, подвижный и неугомонный, профессор теперь как-то обмяк, притих и стал рассеянным. Свисток показавшегося за семафором паровоза, тянувшего за собой вереницу зеленых вагонов, встряхнул профессора. Он взял Ирину за руку, крепко сжал и наконец заговорил тихо, вполголоса, будто опасался, что их подслушает кто-то:

— За четыре года нашей совместной работы в госпитале я

привык к тебе, Иринушка, как к родной дочери... Да, да... именно так!..

— Виталий Вениаминович, вы же знаете, что и я почитала и сейчас почитаю вас за друга и отца,— сказала Ирина, ласково глядя на профессора.

— Это было... Да, да!.. Было да сплыло... Вот так, значит... Да, так... А какой был дружный коллектив при госпитале!.. Я так сжился с ним... Думал: на всю жизнь вместе... Одной семьей... Но все разлетелись в разные стороны... кто куда... И ты...

— А что же оставалось им делать, мой добрый друг Виталий Вениаминович? Война окончена. Госпиталь расформирован...

Поезд с грохотом и лязгом накатывался на перрон. Профессор, перебив Ирину, повысил голос:

— Да, да!.. Я все понимаю!.. Конец войне — это хорошо... Я верю в то, что теперь все люди разума скажут войне — «Нет!» — они будут счастливы на мирной земле и спокойны под мирным небом...

— Вот и прекрасно, Виталий Вениаминович.

Поезд остановился, на перроне засуетились люди. Профессор развел руками, опустив глаза.

— О чем это я, Иринушка?.. Да, да!.. Вспомнил... Вы заметили что-нибудь за моей женой, когда прощались с нею?..

— Да,— кивнула Ирина, — она неумело прятала слезы.

— Вот видишь, голубушка, как тяжело было ей расставаться с тобой!.. Она тоже тебя... за... родную...— голос профессора дрогнул, сорвался. Он вынул из кармана носовой платок и поднес его к глазам.

— Милый, добрый Виталий Вениаминович...— взволнованно заговорила Ирина, гладя сухую с длинными пальцами руку профессора.— Простите меня, поверьте, мне тоже нелегко расставаться с вами... Я тоже привыкла... Я тоже люблю вас так, как может любить благодарная дочь своего доброго отца... Но я должна ехать.

— Спасибо и на том, дочь моя... Иринушка. Будь счастлива...

Дежурный по станции давал отправление поезду.

— Прощайте, Виталий Вениаминович...— Ирина поцеловала профессора в щеку и вошла в вагон.

Поезд тронулся. Ирина стояла у открытого окна.

— Я буду писать вам! — крикнула она.

Профессор кивал головой и махал платочком, не меняя по-

ложения. По лицу Ирины струились слезы... Стоявшая рядом с Ириной женщина спросила:

— Кто он, этот симпатичный старик?

— Известный хирург... профессор Золотарев.

— Уж не отец ли ваш?

— Почти...

— Не родной, что ли?

— Почти родной...

Женщина недоумевала: девушка в солидном возрасте, на вид серьезная, а вот отвечает несуразными загадками. Но когда Ирина рассказала ей о том, что она проработала с профессором четыре военных года в госпитале, что они свыклись, как родные, и профессор хотел, чтобы они и теперь, после войны, не расставались, и предлагал ей остаться в городской больнице, а она дала согласие работать на медпункте в рыболовецком колхозе в Приазовье, где ее ждут друзья и куда она теперь едет, женщина понимающе протянула:

— А-а-а!..— и отошла от окна.

Ночью была пересадка. Рано утром отправлялся мариупольский поезд. Ирина вошла в вагон и заняла в первом купе свободное место против молодой голубоглазой женщины. Это была Таня Зотова. Как и водится в пути, вначале пассажиры обычно молчат, потом между ними завязывается оживленная беседа.

Так познакомились и наши спутницы. Ирина спросила Таню:

— Далеко ли еще до Мариуполя?

— Не очень. Проедем Волноваху, а там и Мариуполь. Вы, как видно, не здешняя?— в свою очередь спросила Таня.

Ирина ответила, что она впервые в этих местах, едет на Бронзовую Косу, где будет работать на медпункте.

— Боже мой! — оживилась Таня, сверкнув жарким блеском загоревшихся радостью глаз.— Да это же моя родина!

— Тогда вы должны знать Анну Софроновну Бегункову...

— Анку!— воскликнула Таня.— Мы росли, учились и рыбачили вместе. В один день принимали нас, комсомолок, в партию. А вы откуда ее знаете?

— Ее муж был доставлен в наш госпиталь в тяжелом состоянии. Это было в феврале сорок третьего года на Кавказе. Он был тяжело ранен, потерял много крови. Я работала старшей сестрой и донором. Моя кровь спасла его. А теперь госпиталь расформирован и я еду по их приглашению.

Таня округлила глаза, спросила осторожно:

— Какого мужа?

— Летчика Орлова. Правда, он теперь не летает, у него третья группа, и работает на моторо-рыболовецкой станции.

Таня облегченно вздохнула и задумчиво произнесла:

— Наконец-то Анке улыбнулось счастье. Яков Макарович замечательный человек...

— Вы знаете Орлова?— спросила Ирина.

— Еще бы! Его знают на всем азовском побережье.

Из дальнейшего разговора Таня узнала от Ирины, где, когда и при каких обстоятельствах она познакомилась с Анкой, и поведала ей о своих тяжких мытарствах в фашистской неволе.

В Мариуполь они прибыли за час до отхода «Тамани» на Бронзовую Косу. Этого времени им хватило вполне, чтобы дать Анке телеграмму и взять билеты. Когда Ирина и Таня вступили на палубу, был поднят трап и «Тамань» отшвартовалась. Через четверть часа она, усердно шлепая по воде плицами и развешивая по воздуху черный шлейф дыма, выходила в открытое море.

День был безветренный, море спокойное, но «Тамань» время от времени покачивалась и порой давала правым бортом такой крутой крен, что пассажиры в испуге перебегали к левому борту. А дубленное морскими ветрами бронзовое лицо седоусого капитана Лебзяка было невозмутимо. Он, как всегда, возвышался на своем неизменном мостике, торжественный и непреклонный, отдавая приказания в машинное отделение через переговорную трубку. Таня, проходя с Ириной по палубе, помахала Лебзяку рукой:

— Привет Сергею Васильевичу!

— Здравствуй, красавица. Что-то я тебя долгое время не примечал.

— В фашистской Германии каторжную повинность отбывала.

— С благополучным тебя возвращением. А как ты туда попала?

— По милости атамана.

— Мерзопакостного Пашки Белгородцева?

Таня кивнула головой.

— Одним словом — мразь. А сколько людей загубил!

— И сам кончил плохо.

— Знаю. Акимовна пристрелила его.

Вдруг «Тамань» так повалилась на борт, что Ирина вскрикнула и вцепилась в бортовые поручни.

— Не пугайтесь, гражданочка,— улыбнулся Лебзяк.

— Мы не утонем?— спросила Ирина, ее глаза были полны страха.

— Пока я на мостике, будьте спокойны.

— А чего это пароход на бок валится?

— Сдает, старуха. Идем последним рейсом. В Ростове будем прощаться. «Тамань» пойдет на слом, а я — на пенсию,— и капитан склонился над трубкой:— Полный вперед!

«Тамань» вздрогнула, выровнялась и пошла веселее. Ирина успокоилась и стала наблюдать за полетом чаек, сопровождавших пароход. Бросая чайкам хлебные корки, она спросила Таню:

— Ты знакома с капитаном?

— Не только я. Ему знакомы все бронзокосцы. Уж сколько лет пришвартовывает он свою «Тамань» к нашему пирсу. А рыбаков моего поколения Сергей Васильевич знает с пионерского возраста. В море встретит их, обязательно помашет фуражкой. А рыбаки шляпами ему салютуют.

— Значит, ваша Коса имеет портовое значение?— пошутила Ирина.

— Вроде так,— засмеялась Таня, но тут же оборвала смех, вся напряглась, и глаза ее остановились на одной точке. Она стояла не шевелясь, в немом оцепенении.

Ирина повернула голову и увидела плывший им навстречу горбатый берег, на котором белели опрятные рыбацкие хаты и зеленел густой листвой молодой парк. Длинная песчаная отмель, отсвечивая на солнце, бронзовой стрелой вонзалась в море. В нескольких метрах от берега дремали заякоренные четыре баркаса и мотобот.

— Это и есть ваша родина?— тихо спросила Ирина.

— Да! — воскликнула Таня, разорвав оцепенение.— Мы дома. Мы уже дома. Смотри, Ира, сколько на берегу народу. Нас встречают. Значит, Анка получила телеграмму.— Она обняла Ирину, и та почувствовала, как дрожит ее рука.— Боже мой! Как мил и бесконечно дорог родной край... Здравствуй, светлый берег!..— и помахала рукой.

Волнение Тани передалось Ирине, и она стала нервно прохаживаться по палубе, кусая уголок носового платка. Усеянный людьми берег быстро приближался. Продолжительный гудок «Тамани» огласил взморье.

— Ира! — позвала ее Таня и кивнула на берег.— Узнаешь кого-нибудь?

— Нет...

— Так слушай: впереди всех, у пирса, Евгенушка и Акимовна, а между ними Анка.

— Как будто она,— прищурилась Ирина.

— Она! Позади них председатель колхоза Васильев с женой Дарьей. Слева от них — Кавун и Орлов...

— Да, да... узнаю. Кавуна не знаю, а его... Орлова...— и смолкла. Ирина так разволновалась, что не могла больше говорить...

— А кто же это в тельняшке и бескозырке?— впилась Таня глазами в Сашку Сазонова, стоявшего на пирсе и приготовившегося принять с «Тамани» швартовы.— Что-то я не узнаю этого морячка.— А когда «Тамань» стала медленно причаливать левым бортом к пирсу, радостно вскрикнула:— Сашок!

— Таня! — откликнулся Сашка, вскинув кверху руки и потрясая ими.— Танюшка! Жива, милая!..

По пирсу бежала Анка, за ней ковыляла отяжелевшая Евгенушка. И только Таня сошла по трапу, Сашка первым обнял ее и выхватил из ее рук чемоданчик. Подруги расцеловались, потом Анка легонько подтолкнула Таню к Евгенушке и бросилась в объятия Ирины.

— Хорошая моя... Не подвела... Сдержала слово и приехала... Да какая же ты чудесная... Ты вся прелесть, Ирочка...

Сашка, Таня и Евгенушка шли впереди, за ними следовали Анка и Ирина. Как только Таня, возбужденная и разгоряченная, сошла с пирса и ступила на берег, она почувствовала, что ей отказывают ноги, и грохнулась на колени.

Сашка и Евгенушка подхватили ее под руки, но она оттолкнула их и сказала:

— Дайте мне поцеловать родную землю,— из ее глаз брызнули слезы радости, и она припала лицом к горячему песку.

Панюхай нагнулся над ней, взял ее за плечи.

— Успокойся, Татьянка. Не надо так сердце тревожить. Встань и скажи людям, что мы с тобой в Москве секундом видались. Не верят мне. Давай я помогу тебе на ногах утвердиться.

Таня встала и первым на берегу расцеловала деда Панюхая, потом молча ткнулась головой в грудь Акимовне.

— Касаточка ты моя...— ласкала ее Акимовна, глотая слезы.

Анка знакомила Ирину с Евгенушкой, Дарьей, Акимовной, со всеми бронзокосцами, а потом, будто очнувшись от забытья, крикнула стоявшему поодаль с Кавуном мужу:

— Яшенька! Ты что же это, не рад приезду Ирины, что ли?

— Рад, Аня, рад,— смущенно заулыбался Орлов.

— А чего же вы с Юхимом Тарасовичем в сторонке торчите?

— Ждем своей очереди.

— Иди, иди сюда, увалень.

Орлов подошел к Ирине.

— Здравствуйте, сестрица,— и пожал ей руку.

Анка строго посмотрела на него:

— Хорош братец, нечего сказать. Ты что же, Яшенька, ждешь, когда девушка первой раскроет перед тобой свои объятья? Целуй, неблагодарный, она спасла тебе жизнь.

Орлов крепко обнял Ирину и поцеловал.

— А теперь, Яша, веди гостью домой,— сказала Анка и взяла Таню под руку.— Пошли, товарищи.

Берег пустел. Бронзокосцы расходились по домам. Последними покидали берег Анка и Таня. Когда они поднялись по тропинке наверх, Анка придержала Таню, спросила:

— Виталий писал Евгенушке, что ты будто видала Пашку, когда вас освободили из лагеря наши солдаты. Правда это?

Таня вздернула плечами.

— Не знаю, право... Наверно, обозналась.

— Может и так быть. Однако в марте море выбросило вон там,— показала Анка рукой вниз,— атаманские шмутки.

— Что ты говоришь...— удивилась Таня.

— То, что слышишь. Мундир и шаровары с лампасами.

— Да как же это...— недоумевала Таня.

— А вот так: барахлишко всплыло, а его и косточек нет.

— Чудеса...

— Всякие бывают на белом свете чудеса, Танюша. Но ты об этом забудь. Идем...

XI

Хата Тани Зотовой, построенная за год до войны, встретила хозяйку своим сиротским унылым видом. Окна с перекошенными рамами и выбитыми стеклами уже давно, с того дня, когда Павел отправил Таню в фашистскую Германию, не отражали веселого блеска солнечных лучей и мертво зияли пустыми глазницами. Известка на стенах местами потемнела, местами была смыта дождями, и рыжеватая глина осыпалась, обнажая неровную кладку бутовых камней. Камышовая крыша была взъерошена

буйными морскими ветрами, и кое-где виднелись стропила каркаса.

Таня с болью в сердце смотрела на свое обшарпанное жилище, и глаза ее наполнялись печалью. Ведь совсем недавно, четыре года тому назад, хата Дмитрия и Татьяны Зотовых, блистая белоснежными стенами, была опрятной и приметной, в ней царили уют и светлая радость. А теперь она стояла всеми забытая, скорбная и мрачная.

— Идем, Танюша,— сказала Евгенушка.

— Погоди...

Таня взялась за скобу, потянула на себя. Дверь скрипнула и тоскливо завизжала на ржавых петлях. Таня переступила порог и отшатнулась, прислонившись спиной к дверному косяку. В лицо ей пахнуло холодной пустотой. По углам и на потолке висела запыленная паутина. Полицаи ничего не оставили в хате, даже стекла в окнах выбили...

— Идем,— повторила Евгенушка.— Вернется Митя, все наживете. Не надо печалиться. Пока будешь жить у меня, а там посмотрим. Согласна?

— Спасибо, подруга. У тебя я буду чувствовать себя как дома.

— Вот и хорошо, Танюшенька,— обрадовалась Евгенушка.— Жить будешь у меня, а работать с Анкой в сельсовете, она берет тебя к себе секретарем. Пошли домой...

Ирину поместили при медпункте в чистенькой светлой комнате, в которой когда-то проживал покойный фельдшер Душин. Когда Ирина, съездив в район за медикаментами, приступила к исполнению своих обязанностей, явилась Дарья и сказала:

— Да будет вам известно, милая Иринушка, что я при Душине тут, на Косе, и на том берегу, в Кумушкином Раю, до самой его смерти была его помощницей.

— У вас есть медицинское образование?— живо заинтересовалась Ирина.

Дарья улыбнулась, и на ее пухлых румяных щеках образовались ямочки:

— Для того, чтобы стирать простыни, наволочки, марлевые занавески и мыть полы, медицинского образования не требуется.

И они обе рассмеялись.

— К тому же, я очень выгодная помощница: никакой платы не требую.

— Однако всякий труд должен оплачиваться,— заметила Ирина.— Санитарка, например, или уборщица, прачка...

— Если она,— перебила Дарья Ирину,— всегда находится на

медпункте. Это понятно. А я не могу. Война обезлюдила наш колхоз, и нам, женщинам, тоже приходится выходить в море добывать рыбу. С какими же глазами я буду брать плату, если помогаю по своей доброй воле?

Ирина пожала плечами:

— Все же труд есть труд... Я думаю, что этот вопрос надо разрешить на правлении колхоза.

— Милая девушка, мой Гришенька председатель колхоза, и меж нами этот вопрос давно улажен. Давайте-ка тряпку, ведро. Я немного полы протру.

Великодушие и бескорыстие Дарьи тронули чуткое сердце Ирины. Она ласково посмотрела на рыбачку и сказала:

— Ведро и тряпка в кладовой. Да, кажется, там. А полы мыть не надо, они чистые.

Дарья с хитринкой посмотрела на Ирину.

— Пускай будет по-вашему,— в ее глазах засветились лукавые огоньки, и она засмеялась.

— Чему это вы смеетесь?

— Не догадаетесь... Да ведь это я перед вашим приездом навела тут шик-блеск.

— Ах, вот вы какая хитрючая! — засмеялась и Ирина, шутливо погрозив пальцем.

— Милая девушка, моя хитрость безвредная.

— Верю, Дарьюшка, верю. У вас добрая, открытая душа.

Ирина с первых же дней так привыкла к этой бойкой, расторопной женщине, что, если Дарья по какой-либо причине не приходила на медпункт, она скучала по ней. У Ирины уже выработалась потребность каждый день чувствовать возле себя свою помощницу и наслаждаться ее мягким певучим голосом.

Как-то, в разговоре, Дарья заметила, что медпункт — дело хорошее, а было бы куда лучше, если бы в колхозе открыли родильное отделение.

— А то бывает так, милая моя, что покуда довезут до района роженицу, да порастрясут ее в дороге, намучают, а в роддоме-то и места свободного не окажется. Хоть под плетень садись и рожай себе в муках мученических. А не то поворачивай оглобли домой и бабку-повитуху кличь.

— Нет, Дарьюшка,— возразила Ирина,— обойдемся без повитух. Ведь я окончила перед войной фельдшерско-акушерский техникум и работала в родильном доме.

— Вот радость-то какая! — всплеснула руками Дарья.

— И в район возить рожениц не надо. Наш медпункт располагает отдельной комнатой с двумя койками.

— Это мне давно ведомо, Иринушка, но я не знала, что вы акушерскому ремеслу обучены. Нынче же приведу сюда роженицу, а то ее завтра утром хотят в район везти. Она соседка моя. Вчера у нее были такие колотья, такие схватки...

— Веди, веди,— поторопила ее Ирина.

И Дарья привела соседку. Три дня и три ночи Ирина и Дарья посменно дежурили у постели роженицы. На четвертый день соседка Дарьи родила. Роды прошли благополучно. Довольный и счастливый муж роженицы, не зная, чем отблагодарить Ирину, принес ей жирного вяленого леща.

— Вот... примите... от всея души...— взволнованно бормотал рыбак. — Чебачок, что золото...

— Нет, нет, что вы! — отмахнулась Ирина.— Никаких приношений. Этим вы причиняете мне только неприятность.

Дарья строго посмотрела на соседа, кивнула через плечо. Рыбак извинился и смущенно попятился к двери.

Не было дня, чтобы возле медпункта не толпились бронзокосцы. В течение месяца Ирина завоевала их всеобщую любовь и признание. Одним Ирина оказывала медпомощь на месте, других, с более серьезным диагнозом, направляла в район.

— Ирина Петровна — наша исцелительница,— так уважительно отзывались рыбаки и рыбачки о ласковой и чуткой фельдшерице-акушерке.

Убедился в этом и дед Фиён. Он пришел на медпункт с больной рукой, обмотанной тряпкой. Ирина сняла тряпку, бросила ее в таз. У старика между пальцами был гнойный нарыв.

— Отчего это у вас? — спросила Ирина.

— Да так...— простодушно ответил Фиён.

— Так не может быть.

— Ну... как вам сказать?.. Рыбьим плавником накололся.

— Почему сразу не обратились ко мне?

— Думал, пройдет... засохнет.

Ирина укоризненно покачала головой и обратилась к Дарье:

— Горячей воды.

Она вымыла кисть, взяла скальпель, вскрыла нарыв. Потом промыла ранку, залила йодом, забинтовала.

— Завтра придете. Бинт не снимайте.

На другой день Фиён почувствовал такое облегчение, что решил не беспокоить Ирину и отправился на берег. Его бригада выходила в море.

Панюхай с удивлением встретил его:

— Исцелился?

— Полностью,— и Фиён, размотав бинт, несколько раз сжал и разжал пальцы.— Во! И ранка засохла.

Панюхай покашлял, прочищая горло, и сказал:

— Разве и мне спробовать, а?

— Спробуй,— посоветовал Фиён.

Вернувшись с лова, Панюхай не замедлил отправиться на медпункт.

Дарья приветливо встретила его, поставила перед ним табурет.

— Садитесь, больной. На что жалуетесь?— делая серьезное лицо, спросила Дарья.

Панюхай сел и усмехнулся:

— Ежели бы у нас на побережье были такие докторши, как ты, Дарья, все рыбаки давным-давно перевелись бы.

— Отчего, Кузьмич?

— От тоски смертной, на тебя глядючи.

Дарья захохотала. Ирина, улыбаясь, вступилась за свою помощницу:

— Что вы, Софрон Кузьмич. Дарьюшка красивая женщина. Обаятельная.

— Об этом и толкую, Ирина Петровна, что бабенка она магнитная! Вон Гришака прилип к ней и не отдерешь его.

— Ох, уморил, Кузьмич!— пуще прежнего разразилась звонким смехом Дарья.

Панюхай вынул из кармана часы, нажал большим пальцем. Крышка рванулась, блеснув золотой вспышкой, и стала ребром. Панюхай взглянул на циферблат, захлопнул крышку, спрятал часы.

— Кажись, не опоздал я к приему?

— Нет, нет, пожалуйста,—сказала Ирина.—У вас что болит?

— Да вот,— и он ткнул пальцем в горло.

— Кашель?

— И такая статья имеется. Но я по другому к вам, Ирина Петровна.

— Слушаю.

— Вот... в горле у меня хрипотит... Чем бы это там прочистку сделать?

— Простудное явление, — сказала Ирина. — Надо беречься. На всякий случай вот вам порошки. Принимайте три раза в день. Не пейте ничего резко холодного и очень горячего.

— Благодарствую,— и он ушел в приподнятом настроении.

Панюхай принимал порошки регулярно, но хрипота не проходила. И он пришел к такому заключению: «Видать, порошки

слабосильные... Не подюжеют мою болезнь... Придется до могилы хрипотеть...»

А когда Фиён спросил Панюхая:

— Исцелился, Кузьмич?

Тот весело ответил:

— Аль не слыхать? Голос-то мой колокольчиком звенит.

— Да,— качнул головой Фиён,— слыхать. Звенит не звенит, но что-то в горле у тебя, Кузьмич, булькотит.

— То ж я немного водицы соленой на море хлебнул,— ответил Панюхай, поскабливая пальцем переносицу и щурясь на Фиёна.

Каждый день в обеденный перерыв Акимовна приходила на медпункт. Она ни на что не жаловалась, не просила лекарств, а забирала Ирину и уводила ее в столовую. Она сама подавала Ирине первое и второе блюда, подсовывала ей лучшие куски, по-матерински нежно приговаривала:

— Кушай, моя сиротинка...— и уже в который раз спрашивала:— Знать, одна была ты у родителей?.. И они рано померли?.. Сама пробивала себе дорогу в жизнь?..

Ирина утвердительно кивала головой.

— Ну, ну, скушай еще, Иринушка, кормись досыта, моя красавица... А тебя полюбил наш народ. Крепко полюбил.

Ирина сама это видела, сердцем чувствовала. Порой ей казалось, что она родилась тут, на Бронзовой Косе, и выросла среди этих простых добродушных людей. Ирина написала об этом профессору Золотареву, и он ответил, что рад за нее, желает ей еще большего счастья и напомнил, что война кончилась, пора бы задуматься и над повышением своего медицинского образования.

«... ты способна и трудолюбива,— писал профессор,—и для тебя широко открыты двери медицинского института».

— Да, вы правы, Виталий Бениаминович... Но поработаю еще год, а там — в институт, — решила Ирина, поразмыслив над письмом профессора. Она взяла чистый листок почтовой бумаги, чтобы сейчас же написать профессору о своем решении, но кто-то тревожно забарабанил по оконному стеклу.

Ирина распахнула створки окна и увидела заплаканную Галю.

— Что случилось, Галочка?

— С мамой плохо... Ох, Ирина Петровна, как с ней плохо!

— Иду, иду,— заторопилась Ирина.— Я сейчас... сию минуту...— она схватила саквояжик с медикаментами и инструментами и поспешно вышла.

Это было во второй половине дня. Анка и Таня сидели в сельсовете и уточняли список женщин, которые должны были подменить стариков и выйти в море на лов. Увидев в открытое окно проходившего по улице почтальона, Анка окликнула его:

— Чего мимо парусишь?

— Иду по курсу прямо к хате Евгении Ивановны. А вам ничего нет.

— И газет нет?

Почтальон остановился, сплюнул:

— Тьфу, забодай меня белуга. Совсем позабыл...— он вынул из сумки газеты и подал их Анке через окно, подмигнул Тане:— А вам, глазки голубые, пишут. Ждите,— и ушел.

— Дождусь,— бросила ему вслед Таня.

— Ты вот что,— сказала Анка,— давай кончать со списком и пойдем к Генке. Узнаем, что пишет Виталий. Тебе тем более будет интересно, ведь твой Митя и Виталий всю войну друзья неразлучные.

— Хорошо, давай кончать, а то я все равно не перестану волноваться, пока не узнаю, что пишет Виталий...— и Таня склонилась над списком.

Евгенушка, придя из школы домой, пообедала с дочкой (Таню не ждала, та всегда опаздывала, задерживаясь в сельсовете) и положила перед собой стопку ученических тетрадей.

Галя была во дворе, поливала цветы. Почтальон передал ей письмо, и она с сияющим лицом побежала к матери. От Виталия приходили письма, сложенные треугольником и со штемпелями полевой почты, а это был серенький конверт и со штемпелем почтового отделения. «Из военкомата?..» — эта страшная мысль обожгла мозг, и Евгенушка вскрыла конверт, вынула из него четвертушку бумаги.

Короткие фразы «...ваш муж... при штурме Берлина... смертью храбрых...» огненным хлыстом ударили по глазам, ослепили... Евгенушка, роняя голову на стопку тетрадей, тяжелым вздохом выдавила из себя только два слова:

— Ох, доченька...— и осталась неподвижной.

Галина растерялась, окаменела... Потом она испуганно вскрикнула и бросилась за помощью на медпункт.

Ирина застала Евгенушку мертвой... В руке у нее была зажата похоронная... Сбежались женщины, пришли Анка и Таня. Ирина сказала им:

— У нее было очень слабое сердце. И вот... оно не выдержало такого удара. Смерть была мгновенной.

Кто-то прошептал:

— Бедная девочка. И отец у нее был и мать была и враз осиротилась...

Галя тихо плакала, уткнувшись лицом в колени Тани. Таня гладила ее по льняным волосам, говорила:

— Я никогда тебя не оставлю... Никогда... Успокойся, моя девочка... Будем жить вместе... Скоро вернется мой Митенька, и он будет тебе родным отцом... Успокойся, Галочка...

Прошло две недели. Сердобольные женщины окружили осиротевшую Галю чутким вниманием, стараясь хоть в какой-то степени облегчить ее тяжелое положение. Но ни их заботливое участие, ни горячая любовь и преданность задушевной подруги Вали, ни материнская ласка Тани не могли принести утешения Гале и вернуть ей прежнюю жизнерадостность. Она стала молчаливой, рассеянной и часами просиживала в глубоком раздумье. В ее бирюзовых глазах, прозрачных и чистых, как морская вода, больше не вспыхивали переливчатые синие искорки, а поперек лба легла тонкая паутинка наметившейся морщинки. Да, слишком тяжела была утрата, неизмеримо было тяжкое горе, непосильным грузом свалившееся на ее хрупкие плечи. И теперь Галя не бегала, как прежде, вприпрыжку, а ходила медленно, ссутулившись, бросая вокруг себя рассеянные безучастные взгляды...

Каждое утро Таня заходила к Анке, и они вместе шли в сельсовет. И всякий раз, как только Таня переступала порог, Анка первым долгом спрашивала:

— Как там Галочка?

— Все такая же,— отвечала Таня.— Хмурая и молчаливая.

— Валюша,— обращалась Анка к дочери,— иди к Галочке.

Наступили летние каникулы, и Валя все время находилась у подружки.

Был субботний день, жаркий и душный. Почтальон вошел в приемную сельсовета, запыленный и усталый. Он снял с головы соломенную шляпу, вытер носовым платком потное лицо и стал разгружать сумку, выкладывая на стол газеты, журналы и письма. Один треугольник он повертел в руках и со вздохом покачал головой.

— Что такое?— спросила Таня.

— Да вот... письмо Дубова... опоздало малость...— он положил его на стол и вышел.

Письмо было адресовано Евгенушке. Таня несколько раз прочитала обратный адрес полевого госпиталя и поспешила к

Анке. Войдя в кабинет, она взволнованно проговорила, подавая Анке письмо:

— Это он него... от Виталия... Неужели он жив?..

— Такого не бывает, чтобы мертвые слали письма из могилы,— сказала Анка, рассматривая со всех сторон письмо.— Однако почерк Виталия... Что ж, Танюша, теперь и мы можем прочесть его. Видимо, письмо завалялось где-то, а такое на почте бывает.

— Читай,— выразила свое нетерпение Таня.

Анка развернула сложенное треугольником письмо и стала читать:

«Родная моя Гена! Моя золотая рыбка Галя!

Я так взволнован, что мне писать трудно, дрожит рука. Да и как же не волноваться! Вы, наверно, считаете меня покойником, а я жив. Жив, мои дорогие, мои любимые! Я только сегодня узнал о том, что меня ошибочно внесли в списки воинов, павших смертью храбрых. Объясню по порядку, как все это получилось...

23 апреля мы ворвались в Берлин со стороны Бисдорфа. За сутки продвинулись только до Силезского вокзала, где засели гитлеровцы, оказывая нам фанатическое сопротивление. Весь Берлин пылал в огне, содрогался от адского грохота, а почерневшее небо было покрыто смрадным дымом. И когда мы начали штурмовать вокзал, я получил тяжелое ранение и одновременно был тяжело контужен, отчего потерял сознание. Меня в этом аду сочли за убитого и передали парторгу мой партийный билет, а писарь внес меня в список погибших. И уже возле самой могилы санитары заметили, что я подаю признаки жизни, и срочно отправили меня в полевой госпиталь под Кюстрин-на-Одере, где мы в феврале, марте и апреле месяце занимали плацдарм...

Медленно возвращалось ко мне сознание. А когда пришел в память, обнаружил, что я заикаюсь. Поэтому я не торопился писать, чтобы не расстраивать вас. Сейчас заикание проходит, рана затягивается, и думаю, что быстро пойду на поправку и скоро увижу и обниму вас, мои родные».

Анка прервала чтение и стала шарить по письму глазами. Таня торопила ее:

— Читай, читай дальше.

— Погоди... Ага! Вот в уголке стоит дата. Виталий писал это письмо тридцатого мая, а в похоронной сказано, что он убит двадцать четвертого апреля... Именно в этот день он был ранен и контужен. Значит, жив!— воскликнула Анка.

— Выходит так... Как будет рада Галинка! Ну, ну, что дальше в письме.

Анка продолжала читать:

«Вчера был у меня наш старшина. Его ранило уже за рейхстагом, в парке Тиргартен. Ходит на костылях. Он лежит в соседней палате. Каким-то образом старшина узнал, что я здесь, пришел навестить меня и поздравить «воскресшего из мертвых». Он-то и рассказал мне о том, что меня зачислили в покойники. От него же я узнал печальную для меня новость, которая потрясла мою душу»...

Вдруг Анка смолкла и быстро забегала широко открытыми глазами по строчкам, дочитывая письмо про себя:

«Оказывается, Митя Зотов, мой боевой друг, был тяжело ранен в один день со старшиной. Маленький осколок пробил ему грудную клетку и нарушил сердечную деятельность. Митя лежал со старшиной в одной палате. Его оперировали, изъяли осколок, но неделю назад Митя умер... Если Таня возвратилась домой и еще не получила эту печальную весть, подготовьте ее к этому»...

— Чего же ты замолчала?— насторожилась Таня, предчувствуя что-то недоброе.

Анка как-то странно посмотрела на Таню, будто была в чем-то виновата, и тихо сказала:

— Мужайся, Танюша...

— Читай.

— Я говорю... мужайся,— упавшим голосом произнесла Анка, придавив ладонью письмо.

— Не дергай меня за сердце... А мужества хватит... Я крепкой закалки... На фашистской каторге я прошла через все невзгоды и горькие горечи... Трудно теперь меня чем-либо согнуть... Дай-ка сюда письмо...

Таня выхватила из-под ладони Анки письмо, дочитала последние строчки и, опускаясь на стул, прошептала:

— Митя... умер. Тяжело, ох, тяжело...

— Тяжело,— вздохнула Анка.

— Но...— продолжала Таня, блуждая по полу глазами,— я взрослая. А Галочка... Она же еще ребенок... Ей гораздо тяжелее моего...

— Да, да, подруга. Ты права,— оживилась Анка, радуясь, что Таня стойко выдержала удар, так внезапно обрушившийся на нее.— Ты мужественная. Сильная.

Таня порывисто поднялась со стула.

— Конечно, мне нелегко, Анка... Тяжкая боль когтями раздирает сердце... Но я заглушу ее... Виду не подам.. Переживу... Не я одна в таком горе... Пойду!— и она направилась к двери.

— Куда, Таня?

— К Галине. Надо же порадовать девочку.

— Верно, Танюша. Иди, иди,— и Анка проводила ее до двери.

Галя и Валя сидели на крыльце. Валя читала вслух книжку, а по лицу Гали бродила еле заметная улыбка. Видимо, в книжке было написано про что-то смешное. Заслышав шаги, Валя прекратила чтение и подняла глаза. Таня медленно поднималась по ступенькам на крыльцо. Она улыбалась, но в ее глазах стояли слезы.

— Девочки... дядя Митя... мой муж... умер в госпитале от тяжелого ранения...— погасив улыбку, сказала Таня.

Валя минуту смотрела с раскрытым ртом на Таню и наконец спросила:

— И вы получили похоронную?

— Нет, девочки. Об этом пишет Галин папа.

Галя недоумевающе посмотрела на Таню.

— С ним получилось недоразумение,— продолжала Таня.— Он жив.

— Жив!— воскликнула Валя, ударив в ладоши.— Побегу скажу мамке.

— Мамка твоя знает.

— Ну, дедушке скажу. Акимовне, Ирине Петровне. Всем, всем расскажу,— и Валя убежала.

— А где же мой папка?— будто пробудившись от глубокого сна, спросила Галя.

— В госпитале... на излечении. Он скоро будет дома. Вот его письмо, читай, Галочка,— Таня отдала ей письмо и ушла в комнату.

Галя взяла исписанный клочок бумаги, который принес ей из далекой Германии такую большую радость, и жадными глазами впилась в неровные строчки. У нее перехватило дыхание, дрожали руки, рябило в глазах. И когда до ее сознания дошло са-

мое главное, когда она поняла, что отец жив, она поцеловала письмо и вскрикнула:

— Он жив! Мой папка жив! Жив, родненький! Жив! Жив! Жив!..— но тут же вздрогнула, испугавшись своего крика, лицо ее посуровело, стало серьезным.— Глупая... Я глупая девчонка... у тети Тани такое большое горе, а я раскричалась...

Галя тихо вошла в комнату. Таня сидела за столом, положив голову на руки. Заострившиеся плечи и все ее тело судорожно вздрагивали.

«Плачет»...— догадалась Галя и приблизилась к столу.

Она хотела сказать что-то хорошее, теплое, согревающее и успокаивающее больное сердце, но не находила нужных слов. Наконец, вспомнив, как Таня утешала ее в день смерти матери, Галя нежно провела ладонью по мягким волосам Тани и ласково сказала:

— Успокойтесь, тетя Таня. Я никогда вас не оставлю. Никогда. Будем жить вместе...

Таня подняла голову, молча привлекла к себе Галю и крепко прижала ее к груди.

XII

Посылка, полученная с Решетихинской сетевязальной фабрики, обрадовала рыбаков. Вскрыть парусиновый мешок было поручено деду Панюхаю как самому старейшему рыбаку, ездившему в составе делегации в далекую Горьковскую область с письмом Наркома, адресованным рабочим и дирекции фабрики. Посылка лежала в кладовой конторы правления колхоза. Когда все рыбаки были в сборе, Васильев распорядился вынести посылку во двор и сказал деду Панюхаю, передавая ему перочинный нож:

— Кузьмич, ты первым замолвил Наркому слово от имени наших рыбаков насчет сетеснастей, тебе первому и узреть, что в этой посылке.

—Узрим все разом, — сказал Панюхай, прилаживая лезвие ножа ко шву из суровых ниток. — Забота у нас всеобщая и честь нам должна быть одныя. Ну-кось, придержите этот конец...

Дед Фиён взялся за ушко парусинового мешка, Панюхай потянул за другое, и под острым ножом затрещали крепкие нитки. Распоров шов, Панюхай и Фиён извлекли из мешка

два новых ставных невода. Глаза рыбаков засветились радостью, послышались возгласы:

— Красота-то какая!

— Вот теперь мы порыбачим!

— Спасибо рабочему классу...

Невода растянули по двору. Панюхай тщательно осматривал их, запускал в ячеи пальцы, натягивал сеть, но крепкие нитки не рвались.

— Добротно вяжут решетихинские мастера, — уважительно произнес Панюхай. — На совесть!

— Прочность неводов, Кузьмич, мы проверим в море, когда перехватим белужий косяк, — сказал Васильев.

— Самая пора краснорыбицу брать, председатель. Причиндалы теперь есть, два этих невода и кошельковый невод, что я связал. Чего же время терять зря?

— И я так думаю. Собирайтесь, а я пойду Сашка упредить. Нынче же и выходите в море.

— Добро!

— Дело, председатель!

— Нынче же и отчалим! — откликнулись рыбаки.

Они мигом перенесли сетеснасти на баркасы, погрузили бочонки с пресной водой и сумки с харчами. А Сашка-моторист всегда был наготове. Его «Медуза» днем и ночью стояла, как говорится, «под парами». Он уже так свыкся с мотоботом, что позабыл о существовании «Чайки».

Время было за полдень, когда «Медуза» взяла баркасы на буксир, вышла из залива и направилась в открытое море. На каждом баркасе оставалось по одному человеку, остальные рыбаки еще у причала садились на «Медузу» и находились на ее борту до прихода к месту, где выставлялись невода.

Жаркое солнце склонялось к горизонту. В голубом небе ни единого облачка, в накаленном воздухе ни малейшего дуновения ветерка. Зеркальная гладь моря покоилась в штиле. Рыбаки лежали на палубе, молча смотрели на удалявшийся берег и под монотонные выхлопы газоотводной трубки подремывали. Из кубрика показалось веселое, лоснящееся от пота лицо Сашки-моториста.

— Эй, старички-рыбачки! — крикнул Сашка. — Что же это вы приуныли?

Панюхай вздрогнул и сердито засопел:

— Черт скаженный... Не плясать же нам на смех рыбам.

— Разумеется. В ваши годы вприсядку не пройдешься. А вы

бы какие-нибудь истории рассказывали.Смешные, чтоб дремоту разогнать.

— А про что ты больше интересу имеешь? — хитровато прищурил глаз дед Фиён.

— Про все. Лишь бы смешное было.

— Ладно, — кивнул Фиён. — Нацеливай ухо.

Рыбаки зашевелились, сбросив с себя дремоту, потянули из карманов кожаные кисеты и стали набивать табаком трубки. Фиён продолжал:

— Все знают, что прежде я в Белужьем проживал, хлеборобством занимался. А в двадцатом годе, когда меня кулаки разорили и совсем обездолили, я махнул на Косу и к рыбацкой ватаге пристал.

— Как не знать. Вместе на Тимофея Белгородцева батрачили, — подтвердил Панюхай.

— Верно, атаманствовал тогда над рыбаками Тимошка Белгородцев... Так вот, в ту пору я хлеборобствовал. И повадился в нашем районе волк овец резать. Что ни день, то одну-две овцы и прирежет. Беда! Сколько раз облавой на него ходили, а словить не могли. Тут я и смекнул, как изничтожить волка. Обошел все поля, разведал вражьи стежки-дорожки да на тех волчьих тропах и вырыл семь окопов. Жду-пожду в засаде, а серого нет да нет. Перехожу на другое место... на третье... на четвертое... уж ночь проходит, а его нет. В чем дело? — вопрошаю себя. Овцы гибнут, а волка нет... Оказывается, он распознал мою хитрость и стал за мной охотиться...Сижу это я в окопе, ружье выставил и подремываю. А он, волчий сын, подкрался да к-а-а-ак сиганет на меня! Но палец-то я все время держал на спусковом крючке. Нажимаю и — бах!..

— Срезал? — рубанул рукой воздух Панюхай. — Под самый корень, а?

— Погоди, — придержал его за руку Фиён. — Ну, дым разошелся и что я увидел?.. Здоровенный волчище, поджав переднюю лапу, медленно уходил от меня в степь.

— А ты бы ему еще одним запалом под хвост саданул, — разгорячился Панюхай.

— А из чего? Ружье-то разорвало и лицо мне малость синь-порохом осмалило.

— Отчего же? — любопытствовал Панюхай.

— Оттого, что волк лапой дуло ружья закрыл. Да еще, волчий сын, остановился, поворотил голову и так посмотрел на меня, будто хотел сказать, злорадствуя: «На, мол, тебе, постреляй теперь...»

Рыбаки засмеялись. Сашка недоверчиво покачал головой:

— Разве так бывает, дедушка Фиён?

— Хуже бывает, — вставил один рыбак и рассказал о том, как за ним по морю гонялись две белуги.

— Но ты же в лодке сидел? — спросил другой рыбак.

— Известное дело, в баркасе.

— Так чего же ты их веслами не оглушил?

— В том-то и дело, что они хвостами оба весла в щепки разнесли. Знаешь, как белуги хвостами бьют?

— Не один десяток лет рыбачу.

— Чего ж спрашиваешь... Хорошо, что другие рыбаки подоспели и выручили меня из беды.

Панюхай, засовывая бородку в рот и о чем-то размышляя, покачивал головой. Сашка прервал его мысли:

— Кузьмич! А вы что скажете?

— Вот что: и охотники и рыбаки все одныей статьи брехуны, — уличил рассказчиков Панюхай и засмеялся.

— Хорошо сбрехать надо тоже умеючи, — заметил Фиён.

— А зачем брехать? — незлобливо возмутился Панюхай. — Лучше про быль-матушку сказывать.

— Сказывай, а мы послухаем, — предложил Фиён.

— Ох, братец Фиёнушка!— вздохнул Панюхай, косясь на него. — А в жар-обиду тебя не кинет?

— Не беда, ежели и кинет. Вода за бортом, можно и охладиться. Сказывай свою быль-матушку.

И Панюхай начал свой рассказ:

— Было тому двадцать пять годов назад. Это когда Фиён в хлеборобстве разорился и к нам на Косу причалил, в море счастье добывать. Ну какой из него тогда по первости мог быть рыбак? Каждый человек поначалу моря пугается. С берега приглядывается к нему, обвыкает и с берега рыбку добывает.

Фиён, насторожившийся с начала рассказа Панюхая, оборвал его:

— Неправда, Кузьмич! Вот и рыбаки могут за меня сказать, что я с первого дня в море с ватагой пошел. А вот ты в трех саженях от берега на лодке отсиживался, бычков удочками дюбал да в сапетку складывал...

— Погоди, Фиёнушка, погоди,— замахал руками Панюхай.— Ты возьми в свое понятие то разумение, что тогда у меня ни баркаса, ни сеток по моей бедности не было, вот я и промышлял себе на прожитие бычка.

— Бросьте пререкаться,— вмешался бригадир Краснов.—

Скоро к месту подойдем, невода надо будет выставлять. Дайте же досказать Кузьмичу.

Фиён с усмешкой отвернулся, а Панюхай продолжал:

— Так вот... на зорьке это было. Вышел я на лодке порыбачить. Плыву, этак тихохонько веслами помахиваю... А море чуть-чуть дымилось. Но видимость была доступная. Гляжу — и вижу: право по борту, недалече от берега что-то вроде агромадного круглого поплавка то окунется в воду, то наружу вынется, то окунется, то вынется, и по-жеребячьи фыркается. Оробел я... Побей меня бог, оробел... Думаю: неужто это сам водяной леший заигрывает со мной?..

Панюхай состроил страшную гримасу и замолчал, выдерживая долгую паузу. Рыбаки закашляли, нетерпеливо заерзали на палубе. Сашка скрылся в кубрик, через несколько секунд снова показалась его бритая голова, и он выпалил скороговоркой:

— И что же то за чудовище было, Кузьмич? Или вы от страха запарусили, куда глаза глядели?

— Нет! — отрезал Панюхай.— Я стряхнул с себя тую глупую робость, поворотил лодку на два румба вправо и пошел на сближенье. Подхожу — и ахнул!.. Весла обронил. Да ить это же человек утопает... Бедняга, он уже и головой не могет из воды вынуться... только рукой за воздух цепляется и пузыри пускает. Тут я его за руку цап!— и на себя тягну. Я его в лодку, а он меня в воду. Поначалу я не распознал, что за человек, а пригляделся — еще раз ахнул... И тут я вскричал в сердцах:— «Фиён! Да ты осатанел, что ли?»...

Рыбаки насторожились. Фиён обернулся и с изумлением посмотрел на Панюхая, а тот не переставал говорить, жестикулируя руками и строя гримасы:

— «Я за спасение твоей живой души пекусь, а ты меня на бездонное дно тягнешь»... А он фырчит да лопочет:— «Не упускай чертяку... Крепче держи его... Ногу... ногу... На руку намотай»... Никак в разумение не возьму: как это можно ногу на руку намотать? А когда перетянул его через борт да узрел на его ноге привязанную толстую лесу донки, вмиг все понял... Намотал я на руку лесу, а Фиён тем моментом ногу от нее освободил. Тут мы привязали лесу к лодке и пришвартовали голубчика к берегу.

— Какого голубчика?— поглядывая в кубрик, спросил Сашка.

— Осетра-подростка. Вот этакого,— развел Панюхай руки.

На палубе раздался взрыв хохота. Смеялся и Фиён, душимый кашлем. Сашка спросил Панюхая:

— Как же дед Фиён очутился в воде?

— А так,— и Панюхай покосился на Фиёна, тот махнул рукой: валяй, мол.— Пришел он вечером на берег, закинул в море донку с крючьями и сидит. Ждет, когда клюнет. Сидел, сидел, уже и ночь проходит, а клева нету. Тут его от скуки-докуки почало в дремоту кидать. Он взял и присобачил лесу к ноге, да и заснул. На зорьке осетр подошел, хватил насадку, засекся на крючке, рванул за лесу, а Фиён бултыхнулся в воду...

Рыбаки снова разразились смехом, Фиён, посасывая чубук потухшей трубки, сказал добродушно:

— Ладно брешет наш Кузьмич.

Солнце село, когда Сашка заглушил мотор. С борта носовой части «Медузы» сбросили якорь. К мотоботу причалили баркасы, забрали рыбаков. Фиён стоял на палубе «Медузы», поглядывая на баркасы бригады Панюхая.

— Давай ко мне, Фиёнушка,— пригласил Панюхай.— Тебе надо меня держаться. Ить я твой душеспаситель, а?

— Так и быть, Кузьмич,— кивнул ему Фиён и стал спускаться по штормтрапу в баркас.

Невода успели поставить до наступления сумерек. Никто из рыбаков не пожелал возвращаться на борт «Медузы»; заякорили баркасы и улеглись спать. Ночь была тихая, спокойная, а сон в открытом море сладкий и безмятежный. Панюхай, разбросав руки, лежал на чердаке и с присвистом похрапывал. Крепко спали и остальные рыбаки. И только дед Фиён, ворочаясь на корме, глухо ворчал:

— Этаким храпом и лихим свистом можно всю рыбу распугать...

На рассвете с востока подул свежий ветерок, и морская гладь покрылась морщинами мелкой зыби. Баркас слегка закачался, стал заносить кормой и звякнул якорной цепью. Панюхай мгновенно проснулся, сполз с чердака, перегнулся через борт, захватил горсть соленой воды, освежил лицо. Он хотел еще раз зачерпнуть воды, но его рука повисла в воздухе, глаза округлились... Бригада Краснова уже приступила к работе, она выбирала из невода улов, а Сашка и трое стариков тянули на борт «Медузы» кошельковый невод, в котором трепетали, бились, сверкая серебристой чешуей, лещи и судаки.

— Ребятки!— хрипло вскрикнул Панюхай.— Нас обгоняют! Подъем! За дело, соколики!

Бородатые соколики, разменявшие кто седьмой, а кто восьмой десяток, вставали медленно, зевая и почесывая грудь, кряхтели протирали глаза.

— Живо, братцы, живо,— торопил их Панюхай.— Ить обгоняют нас...

Проснулись рыбаки и на втором баркасе, подняли якорь. Ветер набирал силу. Лениво, будто нехотя, заколыхалось море, раскачивая баркасы. После умывания прохладной морской водой рыбаки взбодрились, стали расторопней. Рыбу выбирали с двух концов, подтягивая к баркасам невод. Леща и судака было мало, в это время их густые косяки уходят в Таганрогский залив и к гирлам Дона. Редко попадались севрюга и осетр, крупная рыба больше гуляет в глуби моря. Однако баркасы постепенно погружались в воду, наполняясь и лещом, и судаком, и красной рыбой.

По мере сближения баркасов остаток невода образовывал в воде коридор, который становился все уже и короче. И тут Панюхай заметил, как между цепочками поплавков запузырилась и вскипела вода.

— Мама двоеродная,— с дрожью в голосе произнес Панюхай.— Да ить это ж она... Она, голубонька, бунтуется.

Скользя и пошатываясь, весь в рыбьей чешуе, он пробрался на чердак, держа в руке дубовую колотушку. Рыбаки медленно подтягивали невод. И когда у самого баркаса зашелестела вода, а из жемчужной пены на миг показалась голова белуги, Панюхай замахнулся колотушкой, но... поскользнувшись, потерял равновесие, выронил из рук колотушку и плюхнулся в кипевшую воду. Фиён метнулся на чердак.

В ту же минуту в шипящей пене показалась голова Панюхая. Он только успел крикнуть: «Ратуйте, братцы!..» В этот момент белуга взмахнула хвостом и сильно ударила им по воде. Панюхая вновь захлестнуло волной.

Рыбаки, понатужившись, дружнее потянули невод. Панюхай барахтался в воде, а возле него, извиваясь упругим телом, билась полутораметровая белуга, пытаясь прорвать сеть. Фиён изловчился и огрел белугу колотушкой по голове, и она сразу затихла... Говорят, что утопающий цепляется за соломинку, а обезумевший от страха Панюхай мертвой хваткой вцепился в белугу, обвив руками ее скользкую тушу. Так и втащили на баркас Панюхая в обнимку с оглушенной белугой. Фиён с трудом разжал его пальцы.

— Не очнулся еще,— заметил напарник Фиёна.— Дай ему опамятоваться.

Панюхай пришел в себя на борту «Медузы», когда возвращались к берегу. Он сидел на палубе молчаливый и хмурый, ни на кого не глядя. К нему подсел Фиён, закурил и сказал:

— Вот как оно получается, Кузьмич... То, что ты про меня сказал, выдумка. А то, что я тебя из беды выручил, быль-матушка. Стало быть, не ты мой, а я твой душеспаситель, а?

— И охота тебе шутки шутковать, когда я сердцем зашелся,— смущенно пробормотал Панюхай и потянул носом воздух.— Зря это ты, Фиёнушка, зря...

Ирина обычно питалась в кооперативной столовой. В выходные же дни она с утра приходила к Анке и оставалась у нее до позднего вечера. Такая между ними была договоренность. Но со временем Ирина стала пропускать то завтрак, то обед, то ужин. А сегодня она совсем решила не пойти к Анке и обедала в столовой.

Просторный светлый зал давно опустел, а Ирина и Акимовна все еще сидели за столом и тихо беседовали. Ирина задумчиво смотрела в окно, за которым виднелось сверкающее море. Ветер гнал к берегу перекатные игривые волны. Словоохотливая Акимовна раскасывала ей о прошлой каторжной жизни рыбаков, о том, как погибли в шторм ее муж и сын, как организовался на Косе колхоз, о бесчинствах гитлеровского приспешника Павла Белгородцева, грозившего Анке лютой смертью.

— Да, вовремя утекла Анка с дочкой к тому берегу.

— Она рассказывала мне,— кивнула головой Ирина, не отрывая взгляда от окна.— А что... Павел... жив?

— Бог его, супостата, знает. И поминать его поганое имя не надо.

— Нет, нет... Это я так... между прочим спросила.

— Теперь она, моя голубонька, счастливая. Добрый муженек ей повстречался.

— Да, Акимовна,— вздохнула Ирина.— Яков Макарович замечательный человек.

Акимовна пристально посмотрела на Ирину и сказала:

— По твоим глазам примечаю: лежит на твоем сердце тоска-печаль неутешная. Отчего бы это, а?

Ирина насильно засмеялась:

— Влюблена.

— За чем же остановка? Такой как ты красавице в девках-вековушках сидеть? Замуж снаряжайся.

Ирина горько усмехнулась, покачала головой:

— Это невозможно.

— Почему?

— Он женат.

— Милая ты моя, да в женатых и влюбляться-то грех.

— Согласна. Но я влюбилась в него, когда он был свободным. Я отдала ему свою кровь... он был тяжело ранен... Ухаживала за ним... А когда выходила его, то узнала, что у него невеста есть.

— Так, так...— в раздумье проговорила Акимовна.— Значит, ты спасла ему жизнь и уступила его другой?

— Та, другая, имела на него больше прав. И ее я так же сильно люблю, как и его...

После минутной паузы Акимовна сказала:

— Мне все ясно... Я все поняла... А скажи... он или она знают об этом?

— Нет. И о моих чувствах никто не узнает. Я их запрятала глубоко в сердце. Может быть, все это забудется. Ведь я впервые в жизни так горячо и так серьезно полюбила человека... Через год я уеду в медицинский институт учиться и...

Девушка смолкла, и за нее договорила Акимовна:

— ...И все забудется, моя умница, добрая душа.

В столовую шумно вошли Анка и Таня.

— Видала, Танюша, где ее надо искать?— и Анка направилась к Ирине:— Что же это ты, подруженька, и глаз не кажешь? К завтраку не дождались и к обеду не пришла. А сегодня у тебя выходной.

— Да вот,— оправдывалась Ирина смущенно,— с Акимовной заболталась.

— Пошли, пошли,— взяла ее за руку Анка.— Меня за тобой Яша послал. Сегодня пойдем к морю, искупаемся, потом отдохнем у нас, а вечером будем ужинать и чай пить,— и она увела Ирину.

Оставшись наедине с Акимовной, Таня сказала:

— Виталий телеграмму прислал. Сегодня из Москвы выехал.

— И слава богу. Вот и Пронька Краснов нынче до дому возвернулся. Хватит проклятой войне людей пожирать.

— Да я...— замялась Таня,— хочу вас спросить.

— Попытка не пытка, спрос не беда. Говори.

— Я хочу к вам перейти жить. Возьмете?

— Возьму. А почему тебе забажалось у меня жить?

— Не могу же я с Виталием под одной крышей дневать и ночевать? Знаете, какие могут пойти по хутору разговоры?

— Рассужденье твое мне по душе. Хорошо, переходи ко мне.

— Спасибо, Акимовна!

И Таня поцеловала ее.

«Тамань» пошла на слом, больше никакие пароходы не за-

ходили на Косу, и надо было полагать, что Виталий Дубов будет добираться из города до хутора сухопутьем. Галя и Валя два дня просидели с утра до вечера за хутором у дороги, глотая пыль, поднимаемую пробегавшими машинами. И только на третьи сутки в полдень девочки увидели, как военный с орденами и медалями на груди сошел с попутной машины и направился к ним широким шагом, держа в правой руке чемодан. Галя сразу узнала отца и бросилась к нему с радостными восклицаниями:

— Папка!.. Мой родной папка!.. Приехал, папка!..

Виталий поставил на землю чемодан, положил на него шинель, и Галя с разбегу повисла на руках отца.

— Папка... родненький... И мамка жила бы... если бы не похоронная.

Виталий целовал льняные, как у покойной жены, мягкие шелковистые волосы, пахнувшие родным морем, и взволнованно, с трудом выговаривал:

— Моя дорогая девочка... Доченька моя...

Валя дергала Дубова за рукав гимнастерки, тихо лепетала:

— Дяденька Виталий... Дяденька Виталий...

— А-а-а, Валюша!— обернулся к ней Дубов.— Ну, здравствуй, милая,— и он поцеловал ее в щеку.— Выросли, поздоровели и по-прежнему дружите. Это хорошо.— Он снял фуражку, повел возбужденным взглядом и с жаром выдохнул:— Вот и родной берег... родное море... Пошли, доченька. Валя, шагай с нами в ногу.

— Шагай, подружка,— и Галя потянула ее за руку.

Виталия хуторяне заметили, когда он спускался с девочками с пригорка. И когда он вошел в хату, в ней уже было полно народу. Его пришли поздравить с возвращением Орлов и Анка, Кавун с женой, Григорий Васильев с Дарьей, Сашка Сазонов, Михаил Краснов с сыном Пронькой, Акимовна с Таней, Панюхай с Фиёном и другие рыбаки. Не было только Ирины, она отказалась идти в дом к незнакомому человеку, как ни упрашивали ее Орлов и Анка. На столе стояли бутылки с вином и водкой, лежали горками пучки зеленого лука, редиски, жареная рыба, консервы, сыр и масло. После первой же рюмки все разговорились. Одни рассказывали о том, как воевали, другие о трудовых буднях. Дед Панюхай через каждые пять минут вынимал из нагрудного кармана кителя золотые часы и наконец напомнил:

— Гостьюшки, пора и по домам.

— Служивому отдохнуть надобно,— поддержал его Фиён.

Гости стали расходиться. Васильев, пожимая Виталию руку, спросил:

— Когда прикажешь сдать тебе обратно партийное хозяйство?

— Хоть завтра утром приму, если коммунисты изберут.

— Дайте человеку отдышаться,— Акимовна с укором посмотрела на Васильева.

— Ничего, Акимовна, я хорошо отлежался в госпитале, даже обленился,— встал на защиту председателя колхоза Виталий.— А лучший отдых на путине. Вечером пойду с рыбаками в море.

— Решено и подписано,— хлопнул его по руке Васильев.

— Вот неугомонные,— покачала головой Акимовна и вышла из хаты.

Таня хотела было последовать за Акимовной, но Виталий задержал ее.

— Спасибо тебе, Татьяна, за материнские заботы о моей дочке.

— На моем месте, Виталий, каждая женщина, дружившая с детских лет с Евгенушкой, поступила бы так же.

— А почему ты покинула Галочку и ушла к Акимовне?

— Неужели ты не понимаешь?

— Догадываюсь... Бытовое разложение... и прочая чепуха?

— Это не чепуха, Виталий...

— Чепуха!— раздраженно перебил Виталий.— Тебе и дочке спальня, мне — прихожая. Какое же тут разложение? И ребенок промеж нас...

— Однако мы не муж и жена, а будем жить под одной крышей. Что же люди скажут?

— Умные ничего не скажут, а на дураков нечего и внимания обращать.

— Нет, Виталий, дураки опаснее умных. Я тоже привыкла к Галочке как к родной дочери...

— Так будь же ей матерью! Хотя бы в память моей Гены, а твоей подруги.

—Так сразу?.. Это невозможно... Но я обещаю тебе, Виталий... Когда ты будешь надолго уходить в море, я не оставлю Галинку... Мы будем с ней вместе и днем и ночью... Как мать и дочь... Как дочь и мать... Я обещаю тебе...

— Что ж, Татьяна, спасибо и на этом,— и он крепко пожал ей руку.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XIII

Летом сорок третьего года Олеся Минько, временно проживавшая в Туапсе, куда она эвакуировалась из города Южнобугска в сорок первом году, получила извещение о смерти брата Николая. В похоронной сообщалось, что рядовой энского подразделения Минько Николай Григорьевич 1921 года рождения пал смертью храбрых в бою с немецко-фашистскими захватчиками и похоронен в братской могиле на северо-западном побережье Азовского моря близ рыбацкого поселка Светличный.

Николай был у Олеси единственным родным человеком, с детских лет заменившим ей отца и мать. Их родители погибли от руки кулака в двадцать девятом году, когда Олесе исполнилось четыре года, а Николаю шел восьмой год. Односельчане отвезли сирот в город Южнобугск и определили в детский дом.

Через десять лет Николай вступил на путь самостоятельной жизни — он уже работал мастером в парикмахерской, взял из

детдома сестренку и обучал ее полюбившейся им обоим профессии.

Осенью тридцать девятого года Николая призвали на военную службу. Ему оставалось три-четыре месяца до демобилизации, но тут внезапно разразилась война...

За день до эвакуации Олеся получила от брата письмо с новым адресом, а прибыв в Туапсе, она послала ему свой адрес. Так и продолжалась между ними регулярная переписка до лета сорок третьего года, пока не прервала ее смерть Николая...

Получив похоронную, Олеся очень убивалась:

— Четырех лет я лишилась отца и матери... А теперь, когда мне только исполнилось восемнадцать, я потеряла старшего брата... Родного и единственного... Так мало прожила, а уже дважды осиротела...

Утрата для Олеси была тяжелой. Но с кем было разделить эту безмерную гнетущую боль? У Олеси не было даже дальних родственников.

«Не одна я в таком горе... Надо высушить слезы и крепиться... Наши слезы только врагу на руку... Крепись, девушка, крепись, крепись... Ты же комсомолка!..» — ободряла себя Олеся.

Через полгода Олеся получила письмо. Дрожащими руками она развернула сложенный треугольником листок и прочла:

«Дорогая сестрица!.. (Вы позволите мне называть вас сестрой? Думаю, что — да. Вы же называйте меня братом.) Так вот, милая Олеся... С вашим братом Колей, а с моим тезкой и однофамильцем, я служил в одной роте автоматчиков. Мы всегда были вместе, пока смерть не разлучила нас... Коля часто рассказывал мне о себе и о вас. Боже мой! Как удивительно схожи наши судьбы! Я тоже рано лишился родителей и воспитывался в детском доме. Потом рыбачил, работал на большом заводе токарем. И вот война нарушила нашу светлую мирную жизнь.

Олеся! Ваш брат был смелым и отважным воином, командование гордилось им. А я гордился тем, что Колю все бойцы называли моим младшим братом. Умер он на моих руках, перед смертью просил меня написать вам о том, что честно выполнил свой долг перед Родиной. Если вздумаете написать мне, буду рад. Извините, что задержался на целых полгода с письмом. Днем и ночью бои, и никак время не выберешь.

Желаю Вам счастья в жизни. С фронтовым приветом.

Николай».

Казалось, что самой судьбе так было угодно, чтобы имя любимого брата продолжало жить в другом человеке. Это успокаивающе подействовало на Олесю, и она в тот же день послала на фронт незнакомцу теплое письмо, называя его братом.

В действительности же однофамилец Николая Минько не знал брата Олеси и вместе с ним не воевал. А любопытная история его письма к Олесе была такова...

Штурмовые подразделения советских воинских частей, освободив летом сорок третьего года Таганрог, обошли Миусский лиман и устремились северо-западным побережьем Азовского моря на Мариуполь. В районе хутора Бронзовая Коса и поселка Светличный гитлеровцы оказали упорное сопротивление.

Всю ночь штурмовали наши подразделения оборону противника, и к утру враг был разгромлен. Битва была кровопролитной. Бригада санитаров фронтового похоронного бюро не успела за день убрать все трупы. Утром следующего дня санитары подобрали на поле боя раненого солдата, который то приходил в сознание, то снова впадал в беспамятство. Солдат был в брюках; но без гимнастерки и без головного убора. Обут в кирзовые сапоги. Лежал ничком, разбросав руки. На нательной рубахе чернело кровавое пятно. Санитары подняли раненого, усадили на холмик, напоили водой из фляги.

— Спасибо, товарищи, — поблагодарил раненый. — Так легко мне стало... Дайте еще воды испить.

— Благодари бога, что мы тебя в могилу не захоронили,— сказал один санитар.— Совсем на мертвяка похож. Бледность у тебя с подсинькой. Чем же тебя шарахнуло?

— Осколком в спину... Думаю, что осколком... И здорово сконтузило меня... Память отшибло...

— А ну-ка, дай взгляну, — и санитар осторожно стал закатывать на спине рубашку.— Нет, дальше не пускает. Присохла. Придется рывком снять. Так меньше страданий...

— Не надо,— возразил другой санитар.—Это дело врачей... Да вон какая-то медицина пылит по дороге. Либо санбат, либо полевой госпиталь. Сейчас мы определим тебя,— и он побежал к дороге, наперерез колонне автомашин, груженных каким-то имуществом.

Санитар поднял руку. Колонна остановилась. Из кабины первой машины вышел майор медицинской службы. Санитар переговорил с ним и замахал рукой:

— Давай его сюда! Давай!

Раненому солдату помогли встать и, поддерживая его под руку, повели к машине.

— А где же твоя гимнастерка?— спросил сопровождавший его санитар.

— Не знаю.

Они подошли к автоколонне.

Это был Отдельный санитарный батальон гвардейской танковой бригады. Солдата посадили на последнюю машину, в которой ехали легкораненые танкисты, и колонна двинулась дальше. В полдень она остановилась у небольшой рощицы. Санитары разгрузили машины и стали разбивать между деревьями палатки.

Тем временем медицинская сестра, сидя за походным столиком, приготовилась занести в историю болезни необходимые сведения о раненом солдате, подобранном на побережье.

— Фамилия, имя, отчество?— спросила она солдата.

— Да вот...— и солдат, вынув из кармана красноармейскую книжку, положил на столик.

— Та-а-ак...— развернула книжку сестра.— Минько Николай Григорьевич?

— Не совсем так, сестрица... моего отца звали Георгием.

— Что ж, исправим эту ошибку...— и она поставила в графе «отчество»— «Георгиевич».— Двадцать первого года рождения?

— Да неужели и тут ошибка?— и солдат заглянул в книжку.— Так и есть... Ох, уж эти писаря — вечные путаники. Тысяча девятьсот двенадцатого года я рождения. Надо после девятки единицу, потом двойку поставить, а писарь шиворот-навыворот сделал. Эх, ворона! А я и не доглядел.

— Значит, вы двенадцатого года рождения?

— Точно.

— Исправим и эту ошибку, товарищ Минько...

...Осколок сидел неглубоко между ребрами, и хирург санбата быстро извлек его. Он подбросил на ладони почерневший от крови кусочек металла и удивленно вскинул на лоб густые брови

— Эта вещица больше похожа на охотничью картечь, нежели на осколок снаряда или мины.

— От фашистов всяких сюрпризов можно ожидать,— сказал его помощник.

— И то верно,— и хирург бросил осколок в таз с окровавленными бинтами.

Минько часто вынимал из-под подушки пачку писем и перечитывал их. По обратным адресам было видно, что одни письма были из Южнобугска, другие из Туапсе, но на всех конвертах адреса были написаны одним почерком.

— Надо полагать, от возлюбленной эти послания?— спросил техник-лейтенант, лежавший на койке рядом с Минько.

— От сестры.

— Где же она теперь?

— В Туапсе... Эвакуировалась туда еще в сорок первом.

— Откуда?

— Из родного Южнобугска.

— Ничего, скоро освободим всю южную Украину и твоя сестра вернется домой...

Так свела судьба Минько с техником-лейтенантом в санбате, где они и подружились. Узнав, что Минько токарь высокого разряда, лейтенант обрадованно сказал:

— Это замечательно! Наши походные мастерские фрицы немного тряхнули с воздуха под Ростовом. Два товарища погибли, меня легко ранило. Знаешь, как ты пригодишься нам? Хочешь к нам в мастерские? Устрою. Что твоя пехота?.. То ли дело — танковая бригада! Да в свою часть ты и не попадешь. Согласен?

— С удовольствием!— обрадовался Минько.— Я привык иметь дело с металлом.

— Зашито и заштопано,— заключил лейтенант.

Они выписались в один день и вместе отправились в распоряжение начальника мастерских гвардейской танковой бригады.

...Шесть месяцев раздумывал Минько над письмами Олеси и, наконец решился написать ей. Их переписка не прекращалась до окончания войны. Олеся просила его приехать в Южнобугск повидаться, а если будет у него желание остаться в этом чудесном городе, то и работа для него найдется. Минько обещал приехать и, демобилизовавшись, приехал в Южнобугск.

Олеся встретила Николая на вокзале. Она сразу узнала его, как только он показался в тамбуре. Николай писал ей еще из Чехословакии, что у него черная кудрявая бородка, а на груди две медали «За отвагу», третья «За боевые заслуги» и гвардейский значок. В последнем письме Олеся предупреждала его, что если они разминутся на вокзале, то он должен будет отправиться по ее адресу. Телеграмму Николай дал из Днепропетровска, и Олеся пришла на вокзал за час до прихода поезда. Прохаживалась по перрону и то и дело нетерпеливо поглядывала в сторону семафора.

Наконец-то послышался свисток, показался паровоз, и через минуту с грохотом и лязгом состав подкатил к вокзалу. Сходя по ступенькам на перрон, Николай заметил спешившую к его вагону рыжеволосую девушку с букетом цветов. Он так залюбо-

вался ее стройной фигурой, что задержался на последней ступеньке. Кто-то толкнул его в спину.

— Да сходите же наконец...

Он ступил на перрон в ту минуту, когда к нему подошла девушка. В ее светло-карих глазах светилась радость.

«Чертовски симпатичная...» — только и успел Минько отметить про себя.

— Коля?..— робко окликнула девушка.

— Олеся?..

Они минуту разглядывали друг друга, не проронив ни слова. Николай поставил у ног чемодан, протянул руку.

— Ну, здравствуй, сестрица.

— Здравствуй, братику,— и Олеся, вручив ему цветы, порывисто обняла его, три раза поцеловала.

И опять минуту стояли молча, любуясь друг другом.

— Так вот ты какая... рыжуха,— улыбнулся Николай.

— А ты бородатый,— засмеялась Олеся и потрогала пальцами завитушки черной бороды.

— Бороду можно сбрить,— сказал Николай.

— Что ты! — сразу посерьезнела Олеся.— Не надо. Она тебе так к лицу. Очень к лицу. Молодое лицо... Черные глаза и... пушистая с завитками смоляная бородка. Да ведь это же оригинально!— и перрон огласился ее звонким заразительным смехом.— А чего же мы на перроне торчим?— спохватилась она.— Домой, домой...

Кто-то сказал им вслед:

— Вот и дождалась муженька. Счастливица...

Олеся обернулась и сказала громко:

— Не муженька, а брата.

Олеся жила в центре города в двухэтажном доме на главной улице. Ее квартира, состоящая из маленькой уютной комнаты и кухоньки, находилась на втором этаже. Соседом Олеси был пятидесятилетний вдовец Семен Семенович Сергеев, мастер судостроительной верфи. Его жена погибла в сорок первом году, когда фашисты бомбили Южнобугск, и теперь он жил один в двухкомнатной квартире. Семен Семенович не носил бороды, брил и голову, зато берег и холил гусарские, тронутые сединой усы. Он был добродушным и общительным человеком. Услышав, как Олеся вошла с гостем в свою комнату, Семен Семенович тут же явился к соседке.

— Так это он и есть?— кивнул Семен Семенович на Николая.

— Он и есть,— ответила Олеся.— Мой брат.

— Что ж, борода, давай знакомиться... Надо полагать, будем чай пить?
— Обязательно, я сейчас все приготовлю. Вы побеседуйте, а я на кухню...
— Погоди, Леся,— остановил ее Семен Семенович,— погоди, дочка. У тебя тесновато, а у меня посвободнее будет. Пошли ко мне.
И он увел их в свою квартиру.
Семен Семенович поставил на стол графинчик с водкой, маленькие рюмки и бутылку мадеры. Николай сходил в комнату Олеси и принес сахар, консервы, и сало, полученные им в Днепропетровске по продуктовым талонам.
За чаем разговорились.
— Ну, как, борода, понравился тебе наш город?— спросил Семен Семенович.
— Я почти не знаком с ним. Но то, что успел увидеть, понравилось,— ответил Николай.— Хороша река у вас, широкая и полноводная. И море близко.
— Любишь море?
— Как же его не любить! Одно время я рыбачил на Азовье.
— Где?
— По всему побережью. Было такое время, когда я бродяжничал.
— А теперь где думаешь приземлиться?
— Пока не знаю.
— Здесь останется,— сказала Олеся.— Я никуда не пущу его. Он у меня единственный братик.
— А ты у меня единственная сестрица,— и Николай нежно посмотрел на Олесю.
Семен Семенович погладил пальцами усы, прищурил один глаз и легонько толкнул локтем Николая в бок.
— А сестра нравится тебе, борода?
— Очень.
— Тогда приземляйся в нашем городе. Не пожалеешь. Хочешь, пойдем ко мне на верфь работать. Или определю тебя на завод. А если ты любишь море да есть у тебя желание плавать, через год на поисковое судно устрою. Оно уже на стапелях заложено.
— А что это за судно?— спросил Николай.
— Поисковое. Будет искать в море рыбные косяки и радировать рыбакам, когда обнаружит скопление рыбы. На этом судне будет и киноустановка. Так что рыбакам будут даваться ночью киносеансы в открытом море. А вообще-то судно будет иметь поисково-вспомогательное назначение. На нем будут запасы горю-

чего и ремонтный материал, передвижной буфет. Ведь рыбаки неделями не видят берега.

— Здорово!— с восхищением воскликнул Николай.

— Еще как здорово!— хлопнул его по плечу Семен Семенович.— Но это только начало... Мы уже приступили к строительству десяти быстроходных сейнеров для рыбаков. На них будут установлены двигатели в сто пятьдесят лошадиных сил.

— А силовая мощность двигателя поисково-вспомогательного судна?— спросил Николай.

— Почти в два раза больше.

— Вот на таком судне поплавать бы.

— Можно. Только не раньше как через год. А пока надо будет поработать на заводе или на верфи. Согласен?

— Согласен,— не раздумывая ответил Николай.

Олеся улыбнулась, захлопала в ладоши:

— Молодец, братик.

Семен Семенович порылся в ящиках комода, нашел ключ от внутренного замка дверей квартиры и положил его на стол перед Николаем.

— Тебе, борода. Им пользовалась моя покойная жена. Не останешься же ты с девушкой в одной комнате? Будешь жить у меня. Вот тебе диван на первый случай. Неси свои вещи сюда. Возьми ключ и располагайся как у себя дома.

— Спасибо, Семен Семенович...— поблагодарил старика Николай, но в его голосе прозвучала плохо скрытая досада.

Олеся поцеловала Семена Семеновича в щеку и сказала:

— Вы добрый-добрый.

XIV

Запыленная, изрядно потрепанная за годы войны «эмка» остановилась возле медпункта. Из нее вышел Жуков, сказал шоферу:

— Поставь машину возле конторы МРС и пойди искупайся в море. А я туда пешком прогуляюсь,— и скрылся за дверью медпункта.

В приемной сидел на табурете спиной к двери Васильев. Он не видел вошедшего Жукова. Ирина стояла возле Васильева. Она вскрывала скальпелем фурункул на шее Васильева. Васильев кряхтел и дергался.

— А говорят, что рыбаки народ крепкий,— засмеялся Жуков.

снял соломенную шляпу и прикладывал к бритой голове носовой платок.

— Андрей!— обрадовался Васильев, узнав Жукова по голосу, и хотел было повернуться, но Ирина строго проговорила:

— Не вертитесь, больной.

— Больной?— и Жуков добродушно расхохотался.— Да его дубовой колотушкой, которой глушат белуг, не доймешь. От какой же такой хворобы занедужил председатель?

— А ты подойди и подивись, какая разболючая пакость присосалась ко мне. Поневоле белугой взревешь.

— Это не по моей части, товарищ председатель. Я в медицине не силен.

— Вот почти и все,— сказала Ирина и подошла к рукомойнику.— Сейчас обработаем ранку, наложим повязку и — гуляй, рыбак.

Жуков подошел к Васильеву, толкнул его в спину:

— Ты что же не представишь нас друг другу?— и к Ирине:— Вы — Ирина Петровна?

— Да. А вы секретарь райкома?

— Угадали. Здравствуйте. Давно хотел познакомиться с вами.

— По всему видно, что хотел, — уязвил его Васильев. — С апреля не был у нас.

— Время не мог выбрать. Пора-то самая жаркая сейчас. Полевые работы — не путина.

Ирина накладывала Васильеву повязку. Тем временем Жуков заглянул во вторую комнату, где стояли две койки с белоснежным постельным бельем, еще раз осмотрел приемную.

— Все так же, как было при наркомздраве Душине... Все так же... Ирина Петровна, вы слыхали о Душине? Вашем предшественнике?

— А как же!

— Золотой был человек. Он и акушерским ремеслом владел в совершенстве. Роженицы боготворили его.

— Знаю, — улыбнулась Ирина. — Мне много о нем рассказывали... Вот теперь все,— сказала она Васильеву.— Завтра покажитесь мне.

— Добро, — поднялся Васильев с табурета и усмехнулся.

— Что это за загадочная улыбка прячется под твоими усами? — спросил его Жуков.

— Да вспомнил... как влетало Душину от Кострюкова за то, что он работу секретаря сельсовета совмещал с повивальным делом.

— Хорошие были товарищи, — вздохнул Жуков. — В сорок втором году погибли в бою... Лежат на краснодарском берегу в братской могиле...

— И об этом знаю, — сказала Ирина. — Погибли-то они от руки предателя Бирюка?

— От него, паразита,— кивнул головой Васильев и, болезненно сморщив лицо, схватился за шею.

— Ну,, болящий, ты готов? Пошли.

— Идем, идем, наш редкий гость.

Прощаясь с Ириной, Жуков задержал ее руку в своей.

— Могу порадовать вас, Ирина Петровна. Лестные слухи о вас дошли до района. Вас полюбили на Косе за чуткость и добросердечность.

— Не смущайте меня, Андрей Андреевич.

— Вот, вот! И за вашу скромность. Слыхал я краешком уха в райздраве, что вас намереваются забрать в районную больницу. Там в таких опытных работниках нужда большая.

— Я не согласна.

— Почему? — удивился Жуков.

— Во-первых, я тоже полюбила здешний народ. Рыбаки и их жены — душевные люди. Я как в родной семье.

— Спасибо, Петровна!— заулыбался Васильев.

— Погоди, Григорий, — отмахнулся рукой Жуков. — То, что вы сказали, Ирина Петровна, приятно слышать. Бронзокосцы и мне большая родня. Бог связал нас одной веревочкой еще в тридцатом году... Ну, а во-вторых?

— Во-вторых, через год я еду учиться в медицинский институт.

— Это похвально. Желаю вам удачи во всех делах ваших.

— Спасибо.

У порога Жуков обернулся и сказал:

— А все же... нашим рыбакам будет жаль расставаться с вами. Ирина Петровна.

Жуков и Васильев вышли на улицу. Косые лучи заходившего солнца ломко дробились на волнах, золотили белогривые волны. Жуков посмотрел на море, спросил:

— Рыбаки в море?

— Да. Пошли невода ставить.

— С ночевкой на воде?

— Как водится.

— А море не разгуляется?

— Нет, шторма не будет. Это оно играет.

Вдруг Жуков остановился и хлопнул Васильева по плечу.

— Григорий. А ведь я привез тебе радостную весть. Магарыч будет?

— Тише, ты... — и Васильев повел вокруг настороженным взглядом.

— А что? — непонимающе посмотрел на него Жуков.

— Подслушать могут... Скажут, что секретарь райкома вымогательством занимается.

Жуков раскатисто захохотал.

— Ах ты, идол чирийный... Купил... Чтоб тебе фурункулы эйное место осыпали... Поймал на удочку, а?..

— Не будь таким прытким на клев. Ну, говори, какая у тебя весточка?

— А магарыч?

— Надо же знать, за что ставить его.

— Хорошо. Ты помнишь, на какую сумму ваш колхоз сдал имущества моторо-рыболовецкой станции при ее создании?

— Считая и флотилию?

— Все, все.

— На один миллион двести тысяч рублей.

— А теперь идем в контору МРС. Там расскажу.

Кавун и бухгалтер сидели за столом и рассматривали подшитые в папке бумаги. Вдруг Кавун радостно вскрикнул:

— Ось вона!

— Да не вона, а воны,— поправил входивший в комнату Жуков.— Нас двое, и мы рода мужского.

— А-а-а, дорогой наш гостюшка!— поднялся Кавун, по привычке дергая себя за усы-сосульки.— Здорово був!

— Здравствуй, Юхим Тарасович.

— Таки приихав, а?

— Соскучился и приехал.

— Добре. Сидай и выкладывай новости.

— Новость одна... Ты получил указание свыше — возвратить колхозу «Заветы Ильича» полную стоимость имущества, которое было передано им МРС при ее создании?

— Получил. Нынче. Вот и цюю бумагу раскопав,— ткнул он пальцем в приемо-сдаточную ведомость.— На мильён двисти тысяч карбованцев.

Васильев подскочил на стуле.

— Так вот какая весточка! Чего же ты, Андрей, сразу не сказал...

Кавун протянул ему пухлую руку:

— Поздравляю, голова колгоспу.

Жуков молча улыбался. Васильев взволнованно проговорил:

— Погоди, Юхим Тарасович... Не поспешай... Уж не думаешь ли ты поздравлениями отделаться?.. Гони прежде колхозу деньги, а потом и поздравления будем принимать.

Все засмеялись. Жуков сказал:

— И ты, Григорий, не торопись. Деньги колхоз получит. Вопрос решен.

— Получит,— подтвердил Кавун.

— А я еще не все сказал,— и Жуков с хитринкой посмотрел на Васильева.

— Не томи, Андрей,— сгорал от любопытства Васильев, смахивая платочком со лба росинки пота.

— Государственный банк сохранил и возвращает колхозу «Заветы Ильича» его довоенные денежные средства в сумме... семьсот тысяч рублей.

— Добре!— гаркнул Кавун.

— Ну, Гришенька?— подмигнул Жуков Васильеву.— Сколько теперь на счету у вашего колхоза денежек? Подсчитал?

Васильев кивнул головой. У него даже голос стал сиплым, с хрипотцой, как у деда Панюхая.

— Около двух миллионов... Вот это — да... За такие вести, Андрей, я любого магарыча не пожалею...

— А не будет это похоже на вымогательство?— подшутил теперь над ним Жуков.

— Что ты! Дело законное... Вот радость-то будет для наших колхозников... Миллион девятьсот тысяч!..

— Хорошо, Григорий, раз дело законное. Но лучшим магарычом для меня будет — искупаться в море. Люблю морские ванные в вечернюю пору.

— Идем купаться. А то меня на радостях так в жар бросило, что я весь взмокрел.

— И я з вами,— сказал Кавун.— Пишлы.

Из тридцати семи молодых рыбаков, ушедших на фронт, вернулись домой только восемь — в их числе Виталий Дубов, Сашка Сазонов и Пронька Краснов.

В колхозе «Заветы Ильича», как и в других рыболовецких артелях, ощущалась острая нужда в людях. Поэтому старогвардейцы бригады деда Панюхая и рыбаки бригадира Краснова Михаила Лукича снова отказались от пенсионных книжек и продолжали рыбачить.

— Получит МРС моторные суда, тогда и на отдых пойдем,— так рассуждали старики.

Выходили в море, чередуясь, все — и стар и млад, рядовые работники и начальство. Сегодня утром вернулись с лова Васильев, Анка и Таня, а в ночь ушли с рыбаками Кавун, Орлов и Дарья. Те рыбаки, что были помоложе, размещались на баркасах, в их распоряжении были ставные невода, а старики промышляли рыбу кошельковым неводом с борта моторного бота.

Сашка, как всегда точный и аккуратный моряк, перед заходом солнца притащил «Медузой» на буксире пустые баркасы к месту лова. Рыбаки стали рассаживаться по баркасам. Панюхай, увидев, как Дарья спрыгнула вслед за Орловым, забеспокоился.

«Как бы эта шельма привлекательная не совратила мово зятька. Надобно уберечь его»,—и, покряхтывая, он стал спускаться по штормтрапу в тот же баркас.

— Кузьмич, куда вы?— крикнула Дарья.— Оставайтесь на «Медузе». Вам же покойнее будет там.

— Мне и на баркасе вольготно. А покою рыбак не любит со дня крещенья его в морской купели.

— Да мы сами управимся.

— Без меня вам не управиться. Зятек-то мой кто? Летак, а не рыбак. Надо ж его к нашему ремеслу приучать.

— Давай, давай, отец, к нам, веселее будет,— и Орлов поддержал его за талию: баркас качало волной.

Панюхай уселся на чердаке баркаса и распорядился приказным тоном.

— Дарья — на весла! Зятек — за руль! Курс — вон на тот буек. Полный вперед!

— Командовать всяк горазд, Кузьмич, а вот грести не каждый.

— И грести могем.

— Так садитесь за второе весло.

— Сама же сказывала, что без меня управишься. Греби, девка, греби. С тела не спадешь.

— Помочь вам? — предложил свои услуги Орлов.

— Управлюсь!— и она, досадуя на Панюхая, налегла на одно весло, чтобы сделать разворот, но не рассчитала и подставила борт баркаса набежавшей волне. Удар был такой силы, что Панюхай чуть-чуть не сорвался в воду.

— Тише, скаженная!— завопил Панюхай, подтягивая к себе сползавший за борт невод.

Орлов, выронив из руки румпель, закатывался от смеха. Панюхай злился на Дарью:

— Вот чертяка, а не баба. И как тебя Григорий терпит?

Баркас взлетел на гребень и плюхнулся носом в распадок между волнами.

— Побей меня бог, она малость тронутая,— перекрестился Панюхай, испуганно блуждая глазами.— Слышь, Дарья? Тише, сказываю...— взмолился он.

Баркас шел вразрез волнам, и Дарья вела его весело, ходко.

— Нет, Кузьмич, сам дал команду: «Полный вперед!», так держись теперь! —и она с ожесточением рвала воду веслами.

«Вот это рыбачка, отчаянная душа!»— с восхищением подумал Орлов и крикнул Панюхаю:

— Подходим к буйку, отец!

Панюхай обернулся. По носу баркаса в одном кабельтовом, покачиваясь на волнах, приветливо помахивал красным флажком буек.

— Дарья, весла сушить!— скомандовал Панюхай.

— Есть весла сушить!— откликнулась раскрасневшаяся Дарья и подняла весла, с которых часто-часто срывались тяжелые соленые капли и звонко проклевывали хрустальную воду.

Подошел второй баркас с рыбаками, и когда сгустились над морем сумерки, невод был установлен. Баркасы заякорили у буйков, у правого и левого крыла невода.

Ветер стал затихать, море успокаивалось. Баркас легонько покачивало, словно зыбку. В темном небе ярко светились звезды. Их отражения в почерневшей воде то судорожно трепетали, то сливались, то рассыпались холодными серебристыми искрами. Панюхай лежал на чердаке. Его одолевал сон, наливая все тело ртутной тяжестью, но он крепился, продирая глаза, и все посматривал на корму, где смутно вырисовывались два силуэта.

Дарья и Орлов сидели рядом и молчали. За бортом блюмкала и шуршала вода. Дарья зевнула и сказала:

— Вздремнуть, что ли?— и растянулась на корме.— Ложитесь, Яков Макарович, места на десятерых хватит.

— Да что-то и сон не идет,— ответил Орлов.

— По Анке скучаете? Завтра увидитесь. Ложитесь и отдыхайте.

— Я не устал.

— Ну, так полежите, на звезды полюбуйтесь... Я не кусаюсь, не бойтесь.

Помолчали. Вдруг Панюхай насторожился. Орлов спросил Дарью:

— Вы моря не боитесь?

— А чего ж его бояться. Я еще подростком начала рыбачить. С отцом на путину выходила. Море кормит нас.

— Смелая вы...

— Я с детства бесстрашная... Да вы ближе ко мне...— и она потянула его за руку.— Ей-богу, не кусаюсь. Двигайтесь... Я вас винцарадой укрою...

Орлов почувствовал жаркое, обжигающее дыхание Дарьи и приподнялся. В ту минуту сипло закашлял Панюхай.

— Что, Кузьмич, не спится?— окликнула Дарья, тоже приподнимаясь.

Панюхай отозвался:

— Никак в сон не войду, Дарьюшка.

— А вы закройте глаза, мигом сон накроет.

— Чего же им закрываться, когда сраму не видать,— загадочно ответил Панюхай.

— Хитрый вы, Кузьмич.

— Не хитрее тебя, лисава.

Дарья засмеялась и опять откинулась спиной на настил кормы. Вскоре она затихла и всхрапнула. Орлов уснул сидя, склонив голову на колени согнутых ног.

«Обрезалась, чертовка-искусительница»,— мысленно обругал Дарью Панюхай и стал погружаться в сладкую дрему...

На рассвете рыбаки поломали перетяги, выбрали улов и перешли на борт мотобота. «Медуза» взяла баркасы на буксир и пошла к берегу. Рыбаки, расположившись на палубе, никак не могли угомониться, все упрашивали Дарью спеть какую-нибудь песню. Все знали, что у нее сильный грудной голос. Но Дарья отказывалась наотрез.

— Спойте, Дарья Сергеевна...— не отставал от нее Виталий Дубов.

Виталия поддержали Сашка и Пронька.

— Уважьте фронтовиков...

— Мой Гришенька два раза фронтовик. Он и в гражданскую беляков сничтоживал и в эту фрицев колотил.

— Всем миром просим,— настаивал Дубов.

Дарья бросила на Панюхая лукавый взгляд и вскрикнула нарочито гневно:

— Что я вам, говоря присловицей Кузьмича, чебак не курица, артистка, что ли? Зря вы это... зря.

Панюхай покачал головой, незлобиво усмехнулся:

— Хватилась леща, что куму навещал... Да энтих присловьев давно нету.

— И без присловиц обходитесь?

— А что мне с ними осетрову шорбу хлебать?
— Приправа к ухе, да еще осетровой, недурная,— и Дарья повела тонкими бровями, заиграли ямочки на щеках.
— Эх, ты, мама двоеродная,— безнадежно махнул рукой Панюхай.
Взрыв хохота прокатился по палубе. Беседовавшие на корме Кавун и Орлов обернулись.
— Шо это воны гогочут?— спросил Кавун.
— Кузьмич с Дарьей не ладят.
— Ну и грець с ними...
Всходило солнце. «Медуза» подвела баркасы к причалу, и рыбаки приступили к разгрузке. Стариков отпустили домой. С ними пошла в хутор и Дарья. На повороте к своей улице Панюхай задержал Дарью:
— Слово имею.
— Какое?
— Такое, что от него тебя паралитик хватит.
— Ох!— испуганно округлила жаркие черные глаза Дарья.— Да что вы, Кузьмич...
— Ты, чертовка, не притворяйся. Я тебя сквозняком вижу.
— Не понимаю,— развела руками Дарья.
— Поймешь, когда Анка у тебя из головы все волосья повыдергивает. Такую сею-вею сыграет...
— За что?
— Не вовлекай в соблазны Якова.
Дарья так расхохоталась, что не могла успокоиться, содрогаясь всем телом.
— Чего квохчешь?.. Дура-баба...
Дарья, душимая смехом, с трудом проговорила:
— Ох, и учудил... Ох, и уморил...
— Уморишь тебя, такую кобылу. Ну, хватит квохтать да квакать. Слышишь?
Но Дарья, безудержно смеясь, не слушала его. Панюхай сердито сплюнул:
— Тьфу, сатана магнитная, — и зашагал до дому.
Из-за угла показалась Анка. Увидев Дарью, стонавшую от коликов в боку, подошла к ней, спросила:
— Даша, отчего так весело тебе?
— Ох, Аннушка, дай отдышаться.
— В чем дело?
— Да как же... твой-то батька... грозился сейчас... что ты у меня с головы все волосья повыдергаешь...
— За что?

— Будто я твоего Яшеньку в соблазн вовлекаю... Ох, уморил меня Кузьмич... больше смеяться не могу...

— Он у меня большой шутник, и ты не обращай внимания на его шутки. Ты домой?

— Домой.

— А я в сельсовет, значит — по пути. Идем, провожу тебя,— и она взяла ее об руку.— За Яшу я спокойна. Он у меня святой. Божье теля. На девок не заглядывается.

— Это ты верно говоришь, что он божье теля,— разочарованно сказала Дарья.

...А в полночь, когда ложились спать, Анка спросила Орлова:

— Что там у тебя за амуры с Дарьей?

— Ничего... Положительно никаких амуров.

— Смотри у меня...— и она ласково пошлепала его по щеке.

XV

Все складывалось в личной жизни Николая так, как он и мечтал еще в пути, возвращаясь из Чехословакии на Родину. Он получил хорошую работу, а рядом, за стеной, жила хорошенькая девушка. Она относилась к нему с исключительным вниманием и горячей нежностью любящей сестры.

Семен Семенович определил Николая на буксирное судно учеником к опытному механику. Вначале Николай заупрямился, ссылаясь на то, что ему будет трудно справиться, но Семен Семенович стоял на своем:

— Глупости слышу от бывалого воина. Танковые моторы знаешь?

— Приходилось знакомиться с ними в танковых мастерских.

— Значит, и судовой двигатель освоишь.

Николай продолжал мяться. Тогда Семен Семенович ударил его по самолюбию:

— Какой же ты после всего этого гвардеец?.. Струсил?..

И Николай сдался. Он сказал Семену Семеновичу:

— Вы правы. При желании всего можно достичь.

— Такой образ мыслей мне нравится. Пиши, борода, заявление и пойдем в отдел кадров оформляться.

Свободное время Николай и Олеся проводили вместе. Пока можно было купаться, ходили на пляж, а с наступлением осенних холодов посещали кино, театр и читальный зал городской библиотеки.

Зимой Николай заскучал... Буксир отдыхал в доке в ожидании солнечной весны, у Николая было сравнительно много свободного времени, а у Олеси — в обрез. Днем она работала в парикмахерской, а вечерами посещала курсы радисток. Это была ее давнишняя мечта, зародившаяся в Туапсе, где она занималась в кружке радиолюбителей,— сменить надоевшую работу мастерицы дамского салона парикмахерской на заветный ключ радистки, и теперь она осуществляла свой замысел.

С того дня, как Олеся поступила на курсы, Николай редко виделся с ней и стал угрюмым, замкнутым. Только по выходным собирались втроем у Олеси, пили чай. Олеся и Семен Семенович играли в домино, шутили, смеялись, а Николай молчал, уткнувшись в газету. Олеся пристально наблюдала за ним, была рассеянной и часто проигрывала Семену Семеновичу. Заметив нервное состояние Николая, спросила его:

— Ты не болен ли?

— Здоров,— хмуро ответил Николай.

— Неправда.

— Правда.

— Отчего же ты такой грустный?.. Раздражительный?.. Может, кто-нибудь причинил тебе боль?..

— Кто же причинит мне боль, кроме тебя?

Олеся и рот открыла от удивления.

— Нет, ты и в самом деле нездоров. Поди ляг в постель.

— Вот теперь ты заговорила понятным языком. Спокойной ночи,— и направился к выходу.

— Николай!— хотела остановить его Олеся, но он не отозвался, хлопнув дверью.

«Да что же это с ним стряслось такое?..»— задумалась Олеся, опускаясь на стул.

В другой раз он за целый час не промолвил ни одного слова и молча удалился. Молчала и Олеся, она что-то записывала в общую тетрадь и украдкой взглядывала на Николая. А когда он ушел, Олеся увидела под стулом лист бумаги, свернутый вчетверо. Она подняла его, развернула и узнала почерк Николая. Он писал:

«Тебе не так нужны были курсы, как то, чтобы избавиться от меня. А почему бы не сказать правду в глаза, что я наскучил и надоел тебе? Что твое сердце занято другим, более достойным человеком? Так было бы благородно и человечно. Хитрость и лукавство не украшают человека, напротив, они позорят его.

А сколько я, глупый, думал о тебе, с каким нетерпением ждал окончания войны, надеялся построить с тобой наше счастье. Ведь я еще никого не любил. Ты — моя первая любовь. Я полюбил тебя еще там, на фронте, и бережно пронес твое имя в своем сердце сквозь свинцовый ливень и бушующее пламя войны. И вот... обрезался. Обманулся в своих надеждах. Что ж, насильно мил не будешь».

Олеся долго размышляла над письмом Николая, но ни до чего додуматься не могла.

Мысли одна за другой возникали в голове, переплетались, путались.

Прошла неделя, другая, а Николай не заходил. Олеся только слышала его твердые гулкие шаги за дверью, когда он торопился на работу и возвращался домой. Однажды, заслышав его торопливую походку в коридоре, Олеся распахнула дверь и позвала его к себе. Он вошел и, не дожидаясь приглашения, сел на стул.

— Нам нужно выяснить наши отношения,— спокойно сказала Олеся, садясь на стул против Николая.

— Слушаю...

Олеся положила перед ним исписанный лист бумаги:

— Узнаешь?

Николай молча кивнул.

— Хорошо. Ты упрекаешь меня в том, что я не умею говорить правду в глаза, хотя я тебе еще ни в чем не солгала. Согласна с тобой, что хитрость и лукавство не украшают человека. Но в чем же я хитрила или лукавила?

Николай, опустив глаза, безмолствовал.

— Тогда почему же ты, человек чистой и прямой души, не поговорил со мной с глазу на глаз и не сказал своей правды мне прямо в лицо, а украдкой подбросил под стул вот эту глупую писульку? Почему?

Николай вскинул голову и обдал Олесю жарким блеском глаз:

— Да, потому, что я глупею от любви к тебе!..— он схватил ее за руки и горячо прошептал:— Пьянею и глупею... Как хмельной хожу... В глазах мутится.. Если бы ты знала, Олеся, как я люблю тебя... Мне трудно дышать без тебя...— он рванул ее за руки, привлек к себе, обнял порывисто, как налетевший шквал, и стал обжигать ее лицо страстными поцелуями.

Олеся оттолкнула его, вскочила со стула и отошла к окну, поправляя смятую блузку. Николай сунул в рот папироску и стал трясущейся рукой чиркать о коробок ломавшимися спичками.

— Вот что... — строго заговорила Олеся, не поворачивая головы от окна.— Если ты не хочешь потерять моего уважения и дружбы, больше не позволяй себе таких грубых выходок. Они неприятны и оскорбительны.

— Что же я могу с собой поделать?— глухо промычал Николай, глядя в пол.

— Взять себя в руки. Опереться на гвардейскую выдержку.

— Ну, заладили... Семен Семенович о гвардейской чести толкует и она о том же. А если я люблю тебя? А если я полюбил впервые в жизни и с первого взгляда?

— Любовь с первого взгляда — чепуха... пустые слова.

— Чепуха?

— Да,— Олеся обернулась и увидела, как в его глазах засветились недобрые огоньки.

— Че-пу-ха?..

Олеся не отозвалась. Лицо Николая стало хмурым, свирепым.

— Пустые слова?— и вскрикнул:— А вот брат твой был другого мнения обо мне! Да! — он вскочил со стула, бросился к двери и через две-три секунды его быстрые, поспешные шаги загремели по лестнице.

Вошел Семен Семенович.

— А где же Николай? Он, кажется, был у тебя?

— Был,— со вздохом произнесла Олеся.

— И куда он сплыл?

— А вон,— показала Олеся рукой на окно,— по улице зашагал куда-то...— и покачала головой:— До чего же злой он. Страшно злой.

— М-да... — Семен Семенович пожевал губами, разгладил усы.— Поцапались?

— Так... немного...

— Обидел тебя?— и он участливо посмотрел на нее.

— Так... немного...

— Чего затакала? Говори: обидел.

Олеся села за стол, склонила голову и заплакала. Семен Семенович погладил ее по голове, сказал:

— Слезы придержи, дочка. А с ним я поговорю.

Николай пришел поздно. От него сильно несло спиртным духом. Говорил он заплетавшимся языком, дергаясь от икоты.

— М-да...— с укором посмотрел на него Семен Семенович.— Слушай, борода... Лесю любить ты можешь, а обижать не смеешь. Выпить дома вина позволительно, а по закусочным шляться и домой приходить в неприглядном виде — воспрещаю. Я этого не потерплю в своей квартире.

Николай, пошатываясь на ослабевших ногах, криво улыбался:

— А я съезжаю, Семен Семенович.

— Куда?

— Снял себе комнату и... съезжаю. Благодарю за привет... ласку и... все прочее.

— Сумасшедший.

— Нормально... Нормально и... все прочее. — Он собрал в чемодан свои вещички, поклонился:— С гвардейским приветом... Адью...

Николай проковылял с чемоданом по коридору к лестнице и даже не заметил стоявшую у двери своей комнаты Олесю.

А на другой день он пришел к Олесе с повинной, клялся, что будет ей только другом и братом, о женитьбе даже не заикнется.

— Будем дружить во имя памяти твоего брата Николая, а моего фронтового друга. А там поживем — увидим.

Олеся протянула ему руку, и они помирились. Воскресные чаепития и игра в домино продолжались по-прежнему, но на квартиру к Семену Семеновичу Николай не вернулся.

XVI

Соня писала из Курска регулярно, всякий раз обещала приехать на Бронзовую Косу, но прошли осень и зима, наступила весна, а она все не ехала, Наконец пришло письмо, в котором Соня извинялась и сообщала, что ее муж получает отпуск во второй половине апреля, они выедут незамедлительно и проведут первомайские праздники у моря.

Телеграмму Таня получила двадцатого апреля и выслала за Тюленевыми в Мариуполь машину. В полдень шофер доставил гостей в хутор. Встреча Тани и Сони была такой же радостной и волнующей, как и в Курске майским вечером год тому назад. Таня представила Соню и ее мужа Анке, Акимовне, Ирине, Дарье, Орлову, Виталию, Проньке, Васильеву, Сашке, всем, кто пришел к Дому культуры встретить гостей, и

пригласила Тюленевых к себе, в хату Дубова. К тому времени Таня и Виталий поженились.

— Вы, женщины, идите к Дубовым, а мы покажем гостю наше хозяйство,— сказал Орлов и обратился к Тюленеву:— Не возражаете?

— С удовольствием.

— Правда, наше хозяйство пока незавидное, но скоро разбогатеем. В людях у нас большая нехватка. Идемте,— и мужчины ушли.

Таня привела Соню и женщин к себе. Когда они вошли в хату, Галя накрывала на стол для чая, ей помогала Анкина Валя.

— Ах, вы умницы мои!— похвалила девочек Таня и сказала Соне, указывая на Галю:— Доченька моя...

— Будем знакомиться,— и Соня протянула ей руку, потом сняла темные очки:— Дай-ка я тебя получше разгляжу... Хороша!.. А это,— обратилась она к Анке, кивнув на Валю,— ваша доча.

— Угадали,— сказала Анка.

— Еще бы! Она удивительно похожа на вас. Тоже хороша. Подружки?

— Неразлучные,— вставила Акимовна.

— В каком классе?

— Заканчивают седьмой. У нас только семилетка,— пояснила Анка.— Два года эвакуация отняла. Но ничего, наверстают.

— Как же дальше? — спросила Соня.

— Захотели быть учительницами младших классов. Поедут в город поступать в педагогическое училище. А по окончании училища возвратятся в хутор, будут в нашей школе детей учить.

— Хорошее дело задумали подружки,— одобрила Соня.

Жещины попили чаю, побеседовали и разошлись. Анка пошла в сельсовет, Акимовна в столовую, а Ирина и Дарья на медпункт. Таня повела Соню к морю. По дороге она вдруг спохватилась:

— Сонюшка, где же твой тюлень-малышка?

— Дома остался. Бабушка не отпустила. Разве она расстанется с ним? Ох, и разбойник растет! Шустрый, непоседливый, как юла. И в кого он таким уродился?

Таня скосила на подругу глаза и рассмеялась.

— В кого же, как не в мамку...

Море было тихим и ласковым. Залитое светом, оно ослепительно сверкало и под легким дуновением ветерка серебри-

лось алмазными вспышками мелкой зыби. Соня не отрывала от него глаз и задумчиво говорила:

— Мариуполь... сорок первый год... наше знакомство... Ты прощалась с родным морем... Помнишь?

— Такое не забывается.

— Но тогда море было грустным и печальным... А теперь!— и Соня тряхнула головой.— Оно радостное и веселое... Оно посылает нам миллионы светлых улыбок... А воздух! Какой здесь чистый воздух. Хорошо жить у моря!

— Так переезжайте к нам.

— Я бы с радостью, но как мой тюлень... мой Василечек.

— И ему понравится. А работники нам нужны. Дело для него здесь найдется.

— Если бы... все было так...— задумчиво произнесла Соня, глядя вниз, на прозрачную волну, застенчиво и несмело ласкавшуюся к золотистому песчаному берегу.

Орлов, Васильев, Дубов, Сашка Сазонов и Пронька Краснов еще не успели с гостем дойти до МРС, как их обогнали две грузовые автомашины и остановились возле конторы. Из кабины одной машины вышел высокий и худощавый Курбатов, секретарь парторганизации колхоза «Октябрь», что в рыбацком поселке Светличный, из другой выкатился круглый, как шар, низкорослый, плотно сбитый парторг колхоза «Красный партизан» Жильцов из поселка Мартыновка. Орлов сказал Тюленеву:

— Соседи приехали! У нас будет сегодня интересный разговор. Хотите послушать?

— Я человек свободный. Отдыхающий. Почему бы и не послушать?

— Договорились. Потом мы покажем вам свое хозяйство.

Из конторы вышел Кавун, поздоровался с Курбатовым и Жильцовым.

— Это директор МРС,— и Орлов подвел к нему Тюленева.— Юхим Тарасович, знакомьтесь...— Услышав автомобильный сигнал, обернулся и увидел подъезжавшую к конторе «эмку».— А вот и секретарь райкома прибыл.

Шофер притормозил, заглушил мотор.

— Привет рыбакам!— помахал рукой Жуков, открыл дверцу и выпрыгнул из машины. Он, как всегда, бодрый, веселый и простодушный, стал пожимать всем руки. — Здравствуйте, товарищи!.. Здравствуйте!.. Здравствуйте!..— Возле Тюленева ос-

тановился, пристально посмотрел на него.— Впервые вижу товарища...

— Гость из Курска,— сказал Орлов.— Тюленев Василий Васильевич. Муж той гражданки, которая была в Германии с Таней Зотовой.

— Ныне Дубовой,— улыбнулся Виталий.

— Помню, помню. Таня рассказывала мне. Ну, здравствуйте! Будем знакомы: Андрей Андреевич Жуков. Вы с женой приехали, надо полагать?

— С женой,— ответил Тюленев.

— Она у нас,— сказал Виталий.— Женщины полонили ее.

— Правильно. А мы Василия Васильевича полоним,— засмеялся Жуков.— Юхим Тарасович, что же это ты своей нескладной фигурой дверь заслонил? Приглашай гостя до своего куреня.

— Добро пожаловать! — и Кавун посторонился, протянув руки к двери:— Милости просим...

Все вошли в кабинет и расселись, кто на диване, а кто на стульях. Жуков встретился взглядом с Кавуном и дал понять ему кивком головы — к делу, мол, начинай. Кавун сказал:

— Товарищи, у нас добрые висти. Треба посоветоваться. Яков Макарович, докладай...

И Орлов доложил:

— В августе будет спущена на воду в Южнобугской судостроительной верфи первая партия быстроходных рыболовецких сейнеров. Нашей МРС пока дают четыре сейнера. В будущем году обещают еще дать. То, что мы получим сейнеры, дело хорошее и радость для нас превеликая. Но главный вопрос теперь упирается в квалифицированные кадры, которые должны обслуживать эти суда. Вот и давайте посоветуемся, как нам быть?

— А вы, замполит, уже думали с директором над этим вопросом?— спросил Жуков.

— Кумекали,— сказал Кавун.

— И до чего докумекались?

— Наше мнение такое,— продолжал Орлов.— Командировать в Южнобугск четырех человек — двух от колхоза «Заветы Ильича» и по одному от соседних колхозов, имея в виду,— пояснил он,— что колхоз «Заветы Ильича» как более крупный будут обслуживать два сейнера.

— Правильно,— одобрил Жуков.

— Цель посылки людей следующая: пока сейнеры еще на стапелях, наши хлопцы должны за эти три месяца пройти там,

на месте, краткосрочный курс науки в освоении двигателей, установленных на сейнерах.

— А не лучше ли будет, если командировать не четырех, а восемь человек, из расчета по два на сейнер?— предложил Жуков.— Деньги в колхозе есть?

— Есть,— ответил Васильев.

— И у вас? — обратился Жуков к Курбатову и Жильцову.

— Найдутся и у нас на такое дело.

— Можно и по два,— сказал Кавун.

Тюленев склонился к Орлову, тихо спросил:

— Удобно ли будет мне высказать свое мнение?

— Безусловно... Товарищи, наш гость просит слова.

Все согласно закивали головами и устремили на Тюленева взгляды. Орлов сказал:

— Пожалуйста, Василий Васильевич. Мы слушаем вас.

— У меня такой вопрос: известно ли вам, в каком составе должен быть экипаж сейнера?

— Известно, — и Орлов взял со стола бумагу.— Вот здесь все сказано: капитан сейнера, его помощник — он же и рулевой, механик, его помощник — он же и кок, и радист.

— Не считая радиста, четверо. Тогда, если позволят средства, командируйте шестнадцать человек, из расчета по четыре на один сейнер. Пускай они все изучают двигатель и ознакомятся со штурвалом. Рулевое управление играет важную роль в судовождении. Надо помнить, что в труде, как и в бою, нужна взаимозаменяемость. От этого вы ничего не потеряете, но будете в выигрыше. И в большом выигрыше. Вот еще такой вопрос: из скольких человек будет состоять рыболовецкая бригада на сейнере?

Все обернулись к Васильеву в ожидании его ответа. Васильев подумал и сказал:

— Из трех-четырех человек.

— Они будут лишними на судне,— скромно улыбнулся Тюленев.— Капитан сейнера и будет бригадиром, остальные — членами бригады. Ведь все же они рыбаки?..

— Черт возьми,— шепнул Сашка на ухо Виталию,— вот это по-моряцки ведет разговор.

Предложение Тюленева всех заинтересовало. Действительно, зачем на судне с двигателем в 150 лошадиных сил лишние люди? Для сутолоки? Тем более, что на сейнерах будут установлены лебедки с подъемными стрелами и все механизировано? После деловой беседы и обмена мнениями все пришли к единодушному решению: командировать в Южнобугск шестнад-

цать человек — восемь от колхоза «Заветы Ильича» и по четыре от соседних колхозов. Бронзокосцы посылали во главе своих людей Сашку Сазонова и Проньку Краснова, заранее определив их руководителями рыболовецких бригад. Курбатов и Жильцов обещали прислать списки своих людей в ближайшие дни.

Когда выходили из конторы, Сашка спросил гостя:

— Вы не служили во флоте?

— Нет,— ответил Тюленев.

— Жаль...

— Но я немного плавал на речном пароходе.

— Что ж,— повеселел Сашка,— как никак, а речной братишка все равно сродни морской душе. Хотите, я покажу вам нашу «Медузу»?

— Потом, Сашок, потом,— сказал Орлов.— Идемте в мастерские.

Тюленев внимательно и с интересом осматривал станки и инструменты. Оборудование мастерских ему понравилось.

— Не так уж вы бедны,— заметил Тюленев.

— Но и не богаты. А вот когда будут у нас нужные кадры и обзаведемся флотом, тогда другое дело,— сказал Орлов.

— Людей у нас не богацко,— покачал головой Кавун.— Война сгубила наших хлопцев.

Жуков, утешая Кавуна, похлопал его по плечу:

— Будут кадры, Юхим Тарасович, будет и флот.

Из мастерских все направились к причалу, где стояла на приколе «Медуза».

— Ось и увесь наш моторный флот,— кивнул на мотобот Кавун.

Тюленев завел мотор, долго прислушивался к его веселому рокоту, заглушил и сказал Сашке:

— Мотор староват, конечно, но он еще послужит немного.

— А чего это вы,— взглянул Жуков на Кавуна, потом на Орлова,— своего гостя не ухой, а техническими блюдами потчуете?

— Я механик,—сказал Тюленев,— и меня это интересует.

— Вот оно что!.. Так что же вы дремлете, эмересовцы, приглашайте Василия Васильевича к себе на работу,— подсказал Жуков.— Предложите ему хорошие условия и — по рукам.

— За условиями дило не станет...

— Было бы согласие Василия Васильевича, а условия мы создадим ему хорошие,— поддержал директора Орлов.

— Ну как?— обратился Жуков к Тюленеву.— Согласились

бы перейти на работу в нашу МРС? Или будете скучать по курским соловьям?

Тюленев замялся, развел руками:

— Это так неожиданно. Не знаю, право, что сказать... Но, откровенно говоря... Мне здесь нравится.

— А ближе познакомитесь со здешними людьми, вам еще больше понравится,— заверил Жуков.

— Однако ничего определенного я сказать не могу. У меня жена, теща, и все житейские вопросы мы решаем на семейном совете.

— Прекрасно,— сказал Орлов.— А вот и ваша жена.

К ним подходили Таня и Соня.

— Василечек...— возбужденно заговорила Соня.— Правда, здесь хорошо? Ты посмотри, какое море! Какой простор!

— Нравится?— спросил Жуков.

— Очень! — с жаром выпалила Соня.

— И вашему мужу нравится.

— Наши вкусы не расходятся. Иначе и не поженились бы.

— Это хорошо.

Таня познакомила Соню с Жуковым и Кавуном и сказала:

— Соне так понравилось у нас, что она согласна остаться здесь навсегда.

— Чудесно!— улыбнулся Жуков.— Значит, большинством голосов семейного совета вопрос решен положительно. Не так ли, Василий Васильевич?

Тюленев смущенно повел плечами.

— Какой вопрос? — спросила Соня, бросая взгляд то на мужа, то на Жукова.

— Мы предлагаем вашему мужу перейти к нам на работу. Условиями он будет доволен.

— Василечек,— кинулась к нему Соня,— и ты еще колеблешься?

— Ты хотела бы этого?

— Да.

— А как мама?

— Она перенесла столько потрясений в Курске, что будет рада уехать из этого города. Да еще куда? К морю!

Тюленев ласково посмотрел на жену и сказал решительно:

— Что же, Сонюшка, я согласен.

Все были довольны решением Тюленева. Сашка подошел к нему, сдвинул на затылок бескозырку и радостно заулыбался:

— Руку, братишка!..

Накануне первомайских праздников Тюленевы выехали в Курск. За ту неделю, что они гостили на Косе, Тюленев два раза выходил с Сашкой на «Медузе» в море, доставляя к месту лова и обратно к берегу рыбаков и баркасы. Кавун предложил ему должность заведующего мастерскими и попросил поработать на «Медузе» до прибытия флотилии сейнеров. Тюленев согласился.

В Курске Тюленевы пробыли десять дней. Пока Василий Васильевич оформлял свое увольнение с завода, Соня и мать упаковали домашние вещи и сдали в багаж. Домик свой, как советовала им Таня, они не продали, а поселили в нем родственников.

За эти десять дней Таня и Виталий организовали мужчин и женщин и привели Танину хату, пустовавшую пять лет, в надлежащий вид. Навесили новые двери, вставили стекла, починили крышу, отштукатурили внутри и снаружи стены, побелили их. Хата стала неузнаваемой: помолодевшей, чистой и опрятной.

Когда Тюленевы приехали на Косу и Сонина мать вошла в хату, она огляделась и облегченно вздохнула:

— Хорошо... И вид на море? — посмотрела она в окно.

— У нас из каждой хаты видно море,— сказала Таня.

— Хорошо,— повторила она.

— Ну,— обняла Соня мать,— я рада за тебя, мама.

— А я за вас, дети мои. Дай бог вам счастья и на новом месте.

— От бога счастья не дождешься, мама.

— Это я по старой привычке.

— Располагайтесь как дома,— сказала Таня.

— А ты не забывай приходить в гости в свою хату.

— Нет, Сонечка, не забуду,— засмеялась Таня и ушла.

На другой день возле Дома культуры собрался народ. Провожали Сашку, Проньку и их товарищей в Южнобугск. Прощаясь с Тюленевым, Сашка сказал:

— Пиши мне, Василь Василич, как будет чувствовать себя в мое отсутствие «Медуза». Старенькая она, так ты жалей ее.

— Все будет в порядке,— улыбнулся Тюленев.

Пронька стоял в сторонке с Килей Охрименко и нашептывал ей:

— Дубов и Жуков обещали помочь тебе. Сдашь за седьмой класс экзамены и паруси в город. Курсы краткосрочные. Вот и попадешь ко мне на сейнер радисткой. Поняла?

— Поняла, Прокопий Михайлович.

— Да называй ты меня просто по имени.

— С непривычки как-то не получается у меня... Потом, когда привыкну...

Их окликнули. Все уже сидели в кузове. Пронька встряхнул руку смутившейся Кили и побежал к машине. В последнюю минуту пришла Ирина и передала Сашке небольшую картонную коробку.

— Здесь порошки, таблетки, йод, бинты... В общем, все необходимое для дорожной аптечки. Пригодится.

— Спасибо, Ирина Петровна, за ваши заботы,— Сашка снял с головы бескозырку, прижал ее к груди и отвесил поклон.— Будем надеяться, что здесь,— постучал он пальцами по коробке,— в случае надобности мы обнаружим и пилюли?

— А какие бы ты хотел пилюли?

— Для присушки обаятельных девушек.

— Смотри, злой морячок, как бы ты сам в Южнобугске не присох к какой-нибудь девушке,— засмеялась Ирина.

Машина тронулась рывком. Сашка хотел еще что-то сказать, но потерял равновесие и под общий смех провожавших завалился в кузов.

XVII

Прибывших с Азовья рыбаков разместили в двух номерах гостиницы по восемь человек в каждом. Распорядок дня был установлен следующий: с семи до десяти утра они находились в распоряжении Семена Семеновича на верфи, где покоились на стапелях рождавшиеся под умелыми руками судостроителей сейнеры; в десять шли на завод и ежедневно по три часа изучали двигатель под руководством опытного механика; с тринадцати до пятнадцати часов — обеденный перерыв; с пятнадцати до девятнадцати азовчане занимались на курсах радистов. Вечерами они садились за стол, раскрывали общие тетради, просматривали сделанные за день записи, закрепляя в памяти все то, что видели и слышали на верфи, на заводе и на курсах радистов.

День был полностью загружен. Однако бронзокосцы и их соседи из Светличного и Мартыновки не жаловались на усталость. Их интересовало решительно все.

Пронька как-то заметил другу:

— А что, Сашок, не пригодились бы тебе те самые пилюли, которые ты желал обнаружить в аптечке, подаренной нам в дорогу Ириной Петровной?

— Безусловно,— согласился Сашка, набивая табаком трубку.— Вот она, присуха,— шлепнул он ладонью по общей тетради, лежавшей перед ним на столе.— Такая присуха, что никакими силами не отдерешь себя от нее.

По воскресным дням Сашка, Пронька и их товарищи два раза ходили на реку купаться —после завтрака и после обеда. Однажды на пляже мимо них прошли девушка и мужчина с черной пушистой бородой. Это были Олеся и Николай. Олеся пристально посмотрела на азовчан, а Николай отвернулся.

— Видал? — толкнул Пронька в бок Сашку.— Девушка высшего класса, а с каким-то бородачом вожжается. Ты посмотри, Сашок, какая у нее изящная фигурка... Талия осы... А ножки-то, ножки! Словно точеные...

— Вижу рыжую голову,— безразлично проговорил Сашка, а сам не отрывал напряженного взгляда от гибкого стана Олеси.

— Рыжая? Да у нее золотистые волосы. Это же редкость! Правда, товарищи?— обратился он к землякам.

— Красавица! — убежденно воскликнул кто-то из рыбаков.

— Слыхал?— не унимался Пронька.

— Слыхал,— приподнялся на локтях Сашка и нацелился прищуренным взглядом на Проньку.— А ты что же это, Прокопий Михайлович, вскружил Киле голову, надо полагать, клялся ей в верности, а теперь на других глазками постреливаешь?

— Ах ты клеветник эдакий,— укоризненно покачал головой Пронька.— Неблагодарный. Я о тебе пекусь. И очень сочувствую твоему горю.

— Какому?

— Да что Ирина Петровна не снабдила тебя теми пилюлями для присушки.

— Пускай дураки ими пользуются,— засмеялся Сашка,— я и без них покорю любую девушку.

— Чем?

— Не видишь?— и уставился на Проньку пронизывающими глазами.— Своим неотразимым взглядом!

Пронька покатился со смеху и свалился в воду. А Сашка не переставал вести наблюдение за Олесей и Николаем. Они разделись поодаль и вошли по колени в реку. Николай был в черных трусах, Олеся в зеленом купальном костюме. Голова ее была обтянута голубой резиновой шапочкой. Олеся с места нырнула, и через минуту ее голубая шапочка показалась метрах в десяти от берега. Николай тоже нырнул, но продержался под водой несколько секунд. Он кружился на месте, шлепал ладо-

нями по воде и звучно отфыркивался. Олеся достигла середины реки, крикнула:

— Ко-о-ля-а-а! Догоня-а-ай! — и поплыла против течения.

Николай поплыл, но вскоре повернул обратно, вышел на берег и упал на песок.

— Эх! — рубанул рукой воздух Сашка. — Видать, у Коли бородатого догонялка слабая,— и он полез в воду.

— Ну, ну!— подзадорил его Пронька.— Посмотрим, как ты догонишь эту русалку.

— Догоню.

— И как ты без присушки покоришь ее сердце.

— Покорю,— упорствовал Сашка и поплыл.

Олеся, видимо, разгадала намерение Сашки, направлявшегося к ней, и, покружив на середине реки, будто дразнила его, поплыла к противоположному берегу. А плавала она легко и быстро, извиваясь гибким телом, словно шустрая рыба. Сашка же шел медленно и тяжело, заваливаясь на правый бок, но взмахи его длинных рук были равномерными и напористыми. Когда он миновал середину реки, Олеся уже выплеснулась на противоположный берег и грелась на солнышке. Ей нравились смелость и упорство незнакомого парня, однако ее подмывало подшутить над ним, и она крикнула:

— Дотянем? Или «...огни в моей топке совсем не горят»...— нараспев было растянула Олеся, но Сашка бодро откликнулся:

— Дотянем! И огни во мне, правда, не горят, а пылают!

— Вот какой вы пламенный! — засмеялась Олеся.

— Какой есть...

— А, может, взять вас на буксир?

— До такого позора морская душа еще не доходила.

— О-о-о! Морская душа! А чего же это вы, морячок, ползете словно старая худая посудина и даете крен на бок? Или вас кто-то торпедировал справа по борту?

Сашка подплыл к берегу. Оставаясь в воде и качаясь на легких волнах, он ответил:

— И такое было, милая гражданочка.

Олеся перестала смеяться и внимательно взглянула на незнакомца. Васильковые глаза Сашки смотрели прямо и открыто.

«Симпатичный парень,— отметила про себя Олеся.— Даже интересный. И, наверное, добрый».— А вслух сказала:

— Что же это мы, почти познакомились, а имени друг друга не знаем. Меня зовут Олеся, а вас?

— Сашок. Так рыбаки меня окрестили. А правильно — Сашка.

— Александр?

— Можно и так. Меня зовут, как кому захочется.

Олеся от души рассмеялась.

— Веселый вы парень... А чего в воде киснете? Вылезайте. Так приятно на горячем песочке сидеть.

— Раз приглашаете, чего ж, вылезем.

— А вы ждали приглашения?

— Такое воспитание...

— Однако оно не помешало вам кинуться с того берега вдогонку незнакомой девушке,— уязвила Олеся.

— Так вы же крикнули — «Догоняй!»

— Не вам, а вон тому бородачу...— и погрозила пальцем:— А вы хитренький.

— Многим не располагаю, а немножко хитрости есть.

— Так чего же вы не вылазите?

— Лезу, милая гражданочка, лезу.

Сашка на брюхе выполз из воды, на одной ноге подскакал к Олесе и опустился возле нее на песок. Увидев, что на правой ноге у Сашки не было ступни, Олеся сразу посерьезнела. С ее лица слетела улыбка, она взглянула на Сашку и тихо спросила:

— Это... на войне?

— Там. И это там, — повернулся он боком, помеченным пятью шрамами.

— Как же это?..

— Просто. На войне все просто: и осколки впиваются, и пули насквозь пронизывают, и смерть приходит запросто. Видите ли, Олеся, я служил на торпедном катере. Мы гитлеровские военные транспорты ко дну пускали. Веселая была работенка! Ну, и меня угостили фрицы. Так что вы были правы, когда сказали, что меня торпедировали справа по борту, — на лице Сашки заиграла простодушная подкупающая улыбка.

— Да разве можно над такими вещами смеяться? — покачала головой Олеся.

— Но и не плакать же над тем, что неизбежно.

Они улеглись на песок, подставив спины под палящие лучи солнца, и продолжали разговор. Олеся чувствовала, как этот простой, откровенный и веселый парень все настойчивее завладевает ее мыслями, и она почему-то не противилась, будто давно ждала именно такой случайной, но приятной встречи с человеком, который пришелся бы ей по сердцу. Сашка рассказывал все-все о себе... И о своем безрадостном детстве, и о добросердечных

азовских рыбаках, приютивших его у себя как родного сына, и о светлой колхозной жизни на Бронзовой Косе, и о том, как он с боевыми товарищами уничтожал на Черном море фашистскую сволочь, а теперь снова трудится под мирным небом. Олеся внимательно слушала его. Но когда он начал объяснять, зачем их, шестнадцать человек, рыбаки командировали в Южнобугск, Олеся встрепенулась, перебила его:

— Так вы должны знать мастера Сергеева.

— Семена Семеновича?

— Ну да.

— Он наш батя,— тепло и уважительно сказал Сашка.

— А мой сосед по квартире.

— Потешный он человек, — добродушно усмехнулся Сашка. — Каждый день по три часа толкует нам о том, с чего начинается, как продолжается и чем кончается постройка сейнера.

— Разве это плохо? — удивилась Олеся.

— Конечно, нет. Нам эти знания помехой не станут. Но ведь мы рыбаки и судостроителями быть не собираемся. Другое дело — знать двигатель сейнера. Или уметь работать на рации.

— Я тоже окончила зимой курсы. Буду радисткой на «Буревестнике». На днях выходим в море.

— Что за «Буревестник»?

— Поисково-вспомогательное судно. Вчера его спустили на воду.

— А-а-а, видел, видел!

— И вы знаете, кого мы будем обслуживать?.. Рыбаков Азовского моря.

— Да ну! — обрадовался Сашка, — Значит, будем встречаться.

— Обязательно.

Пронька свистом с того берега давал знать Сашке, что пора идти в столовую обедать. Сашка и Олеся обернулись. Николай тоже нетерпеливо махал Олесиной красной косынкой.

— Ваши друзья зовут вас.

— Вас тоже зовут.

— Вижу, — вздохнула Олеся. — Поплыли.

Они поднялись, сошли в реку. На воде держались рядом, плыли медленно, будто не хотели так скоро расстаться.

— А кто этот бородач? — спросил Сашка.

— Потом расскажу... в другой раз.

— Разве мы еще раз встретимся?

— Если вы пожелаете...

— Мне будет очень приятно, Олеся!

— Тогда приходите сегодня вечером к нам чай пить, — и она сказала адрес. — Я хочу преподнести Семену Семеновичу сюрприз.

— Непременно приду...

Вылезая из воды, Сашка заметил, как Пронька ощупывал его брюки, а товарищи лукаво улыбались.

— Ты что мнешь брюки? — возмутился Сашка.

— А ты скажи, морская душа, куда запрятал те колдовские пилюли? Не мог же ты своим дельфиньим рылом присушить к себе такую красу-девицу.

— А ты, морская лягушка, не шарь по чужим карманам.

Сашка стоял на одной ноге и покачивался. Пронька отдал ему брюки и взял его под локоть.

— Врешь, морских лягушек не бывает.

— Ты единственный экземпляр.

— Натягивай брюки, сердцеед. Ведь я просто хотел тебе помочь одеться. И теперь верю, убедился, что ты — неотразимый.

Сашка расплылся в улыбке:

— Пригласила на чашку чаю.

— Врешь! — не поверил Пронька.

— Клянусь якорем «Медузы».

— Смотри, бросишь якорь на том рейде, а потом и не подымешь его.

— Меня, Прокопий Михайлович, не так-то легко поставить на якорь... А впрочем, не возражаю. Девушка замечательная.

Сашка оделся, и все отправились в город. За ними на почтительном расстоянии следовали Николай и Олеся. Шли молча. Наконец первым заговорил Николай, скосив на Олесю злые глаза:

— Не нравится мне твое поведение.

— Что же ты находишь в нем предосудительного?

— Панибратство с кем попало... без разбора в людях... Кто он?

— Человек. И, видно, порядочный. Хочешь, познакомлю? И ты сам убедишься в его порядочности.

— Ты бы собрала всех колченогих проходимцев и представила бы мне всех разом. Зачем же в одиночку?

Олеся остановилась. Глаза ее были полны гнева, на лице проступили бледные пятна, губы дрожали.

— Ты... ты... — с трудом выдавила она из себя слова. — Ты не смеешь так о нем... Он тоже фронтовик... Моряк... Инвалид войны...

— Чего расстраиваешься, Леся? — мягко, примирительно

сказал Николай, беря ее за руку. — Я тоже воевал. Имею ранения, контузии...

Олеся вырвала свою руку из его руки и окинула его холодным взглядом.

— Ты грубый... Злой... Ты становишься нестерпимым... Какая же между нами может быть дружба?.. — и быстро зашагала прочь.

Николай стоял растерянный и обескураженный. Опомнившись, он окликнул ее:

— Олеся!.. Олеся!..

Девушка даже не обернулась. Николай сорвался с места, догнал ее и, загораживая дорогу, заговорил страстно и убежденно:

— Ты права, Леся... Я виноват... Прости меня... И все это из-за проклятой контузии я иногда теряю самообладание... Ты одна в моей жизни и сестра и друг... Прости мою невольную грубость. Во имя светлой памяти своего брата...

Олеся остановилась, отвела глаза в сторону и сквозь слезы произнесла:

— Если бы ты не был фронтовым другом моего любимого брата... не простила бы...

Вечером Сашка пришел по указанному Олесей адресу в назначенное время. Собирались на чаепитие всегда в квартире Семена Семеновича. Олеся, накрыв на стол, через каждую минуту посматривала на золотые с такой же браслеткой, миниатюрные часики, подаренные ей Николаем.

— Бороду ждешь? — спросил Семен Семенович.

— Кто придет, тот и будет нашим гостем, — неопределенно ответила Олеся.

Семен Семенович развернул газету. Пробегая глазами по ее столбцам, сказал:

— Бородой очень довольны. Способный, гвардеец. Думают назначить его на «Буревестник» помощником механика... Видимо, не зря свела вас судьба... Поплаваете вместе, больше свыкнетесь, а там, гляди, и поженитесь, а?— он сложил газету и выжидательно посмотрел на Олесю.

— О замужестве я пока и не помышляю. Зачем торопиться? Мне только двадцать один год.

Кто-то тихонько постучал в дверь. Олеся смутилась и застыла на месте.

«Это он... морячок...»

— Что же ты, открой дверь. Борода пришел.

Но когда в комнату вошел Сашка и Олеся приветливо встре-

тила его, как давнишнего знакомого, Семен Семенович едва выговорил от удивления:

— Вы разве... знакомы?

— Как видите, — в глазах Олеси блеснул лукавый огонек.

— Когда же вы успели?

— Сегодня.

— Ах, негодница! — ласково упрекнул Семен Семенович. — Ах, плутовка!.. И ничего не сказала... Ты тоже хорош гусь, — обратился он к Сашке. — Познакомился с Лесей и чокмолчок?

— Да я вас сегодня и не видел, — оправдывался Сашка.

— Хотя... ты прав. Ведь сегодня нерабочий день. Тогда, Олеся, угощай нас воскресным чаем. И непременно расскажите, при каких обстоятельствах вы...

Резкий стук в дверь прервал его на полуслове.

— Теперь это он, борода... Войдите!

Дверь распахнулась, и Николай быстро шагнул через порог, но, увидев гостя, попятился и захлопнул дверь. Олеся вышла в коридор, а его уже и след простыл.

— Что он такой нелюдимый?— спросил Сашка.

— Работник хороший, — сказал Семен Семенович, — но человек он со странностями.

— Я думаю, что его странности, его вспыльчивость и раздражительность можно объяснить только последствиями контузий, полученных на фронте, — заметила Олеся.

— Но есть и еще одна причина его раздражительности, — Семен Семенович многозначительно посмотрел на Олесю. — Он ревнует тебя, Леся.

— Ревнует? — возмутилась Олеся. — Такого права и каких-то надежд на что-то ему никто не давал.

После неловкого минутного молчания Сашка спросил:

— Да кто же он, этот бородач?

— Фронтовой друг моего брата. К тому же однофамилец. Они воевали вместе. Брат умер у него на руках от тяжелого ранения. После демобилизации Коля приехал сюда. Семен Семенович устроил его на работу. Вот и все.

— Не все, — поправил Семен Семенович.

— Да то пустяки, — махнула рукой Олеся. — Видите ли, Саша... Он объяснился мне в любви... А я сказала, что приму от него только такую любовь, какой любил меня брат... И наши отношения должны быть только родственные.

После чая Олеся предложила Сашке прогуляться на свежем воздухе, и они ушли... С того вечера и началась их дружба.

Вскоре они перешли на «ты», и Сашка понял, что он впервые в жизни и по-серьезному полюбил.

Сашка, попыхивая трубкой, с интересом наблюдал, как одни рабочие верфи навешивали под кормой руль, а другие подводили к нему штуртросы, прокладывая их вдоль бортов сейнера. Он машинально сунул руку в карман комбинезона и нащупал письмо, которое получил еще вчера вечером и забыл о нем. Письмо было от Тюленева. Сашка вскрыл конверт и углубился в чтение. Тюленев писал, что путина проходит хорошо, рыбаки довольны уловами и что «нашего полку прибыло, в МРС теперь имеется опытный инженер-механик, который приедет в августе в Южнобугск принимать сейнеры».

— Толково. Хороший народец подбирается, — сказал Сашка и продолжал читать:

«Есть у меня для тебя и «печальная» весточка: «Медуза» начинает сдавать. И сердце ее стало работать с перебоями (видимо, придется сменить мотор) и чихает старушка, и кашляет...»

— Простудилась, что ли,— засмеялся Сашка.— Ах, бедняжечка!..

К нему подошел Семен Семенович.

— О ком это ты, морячок?

— Да вот... наш механик пишет. Послушайте, какие новости...

— Некогда слушать. Оглянись-ка...

Сашка обернулся и увидел Олесю, она стояла у вахтерской будки и звала его к себе взмахами руки.

— Иди, — сказал Семен Семенович.

И Сашка ушел. Там, за территорией верфи, Олеся взяла Сашку под руку и сказала:

— У меня кое-что есть такое сообщить тебе... такое, Саша... — и замолчала, видимо, подбирала нужные слова для более ясного выражения своих мыслей. — Такое Саша... — повторила она, делая ударение на слове «такое», и подняла на него вдруг погрустневшие глаза.

Сашка уловил в ее смущенном голосе робкую нотку затаенной грусти и остановился.

— Что же именно?

— То, Сашенька, что дает нам право весь сегодняшний день быть вместе неразлучно.

— А завод? А курсы?

— Один раз можно и не пойти. Допустим, заболел...

— Так в чем же дело?

— Завтра утром «Буревестник» навсегда покидает Южнобугск.

— И ты?

— И я.

— В каком порту будет базироваться «Буревестник»?

— В Мариупольском.

— Это просто замечательно! — обрадовался Сашка. — Мы будем часто видеться.

— Но впереди месяц разлуки... Иди переоденься... Я буду ждать тебя дома.

Олеся и Сашка весь день провели у реки — купались, загорали. Олеся сказала, что раздражительность и грубые выходки Николая становятся невыносимыми, что его присутствие на «Буревестнике», куда он назначен помощником механика, будет тяготить ее. Она уже хотела было отказаться идти в плавание на «Буревестнике», но тут же передумала по двум важным причинам. Во-первых, она разыщет братскую могилу, в которой похоронен брат, и будет время от времени навещать ее, посадит цветы...

— Это легко сделать, поселок Светличный недалеко от Бронзовой Косы,— заметил Сашка и спросил:— А во-вторых?

Олеся с такой нежностью посмотрела на него, что он без слов понял девушку и молча пожал ей руку....

Возвращались поздним вечером. С моря дул низовой ветер, накатывая бугристые волны. У самого берега, приглушаемые шорохом песка, тихо позванивали всплески воды. Круторогий месяц качался на волнах реки.

И когда огни города были уже совсем близко, Олеся остановилась и взяла Сашку за руку.

— Скажи, какого ты мнения обо мне?

— Правильного. Я смотрю на тебя, как на скромную хорошую девушку... И я счастлив быть твоим верным другом, милая Леся... У тебя светлая душа и чистая совесть... Мне становится так легко и так радостно, когда я с тобой... Вот... дружим мы... уже больше месяца..— Сашка заметно волновался,— и каждый раз... при встрече... мне хотелось сказать... как ты мила... как ты хороша... добра и... как я...— он замолчал и стал набивать трубку табаком.

Олеся отняла у него и трубку, и табак, взяла за руку:

— Досказывай, Сашенька, досказывай...

Сашка видел, как в темноте светились ее глаз, и чувствовал, как дрожала рука.

— Досказывай...

Сашка вздохнул и выпалил:

— Мне хотелось сказать... как я крепко люблю тебя.

— И не решался?

— Боялся, что этим обижу тебя...

Олеся, счастливая и обрадованная, доверчиво припала лицом к Сашиной груди и горячо прошептала:

— Хороший ты мой... Друг ты мой, Сашенька...

Но каково же было удивление Олеси, когда на другой день утром среди провожавших экипаж «Буревестника» Сашки не оказалось. Глаза стоявшей на палубе девушки растерянно бегали по толпе, но того, кого они искали, не было.

«Не случилось ли что-нибудь с ним?.. Не заболел ли?..» — мучительно гадала про себя Олеся.

Семен Семенович понимал, кого ждала Олеся, и тоже смотрел по сторонам, разводил руками: нет, мол, его.

«Если заболел, так прислал бы кого-нибудь из товарищей... В чем же дело?.. Неужели он лгал и притворялся?..»

Огорчение Олеси было так велико, что она готова была взять свои вещи и покинуть борт судна, но девичья гордость и самолюбие не позволили ей сделать этого. К тому же и трап уже подняли. «Буревестник» принял на борт швартовы, отчалил от пристани и полным ходом пошел вниз по реке...

Город удалялся. Проплыли мимо окраинные домики. Вот и пляж. Олеся узнала земляков Сашки, они всегда были вместе. Пересчитала. Их было пятнадцать. Азовчане тоже узнали Олесю, помахали ей руками. Занятая мыслями о Сашке, Олеся не заметила их приветствий и перевела взгляд на противоположный берег. На том месте, где они когда-то познакомились, Олеся никого не увидела. Берег был пуст.

«Где же он?...» — мысленно вопрошала себя Олеся, но ответа не находила.

— Чего загрустила?..

Олеся вздрогнула и резко обернулась. В трех-четырех шагах от нее стоял Николай и злорадно ухмылялся в черную бороду.

— Подвел морячок? Наплюй на него...

Олеся сорвала с руки часы и молча швырнула ему под ноги. Николай поднял часы, приложил их к уху и, покачав головой, удалился.

«Буревестник» подходил к поселку Октябрьскому, где река впадала в узкий пролив Черного моря. Олеся стояла, опершись руками на бортовые поручни, и задумчиво смотрела вниз. Под кормой шипела и пенилась вода. Вдруг она услышала до боли в сердце знакомый голос:

— Счастливого плавания, Леся! До скорой встречи, родная!

Олеся увидела в нескольких метрах от борта улыбавшееся лицо Сашки и поняла, что парень заранее пришел сюда и, дождавшись парохода, подплыл к нему близко-близко. Ему хотелось проститься с ней без свидетелей, без посторонних глаз. Окинув взглядом опустевшую палубу, Олеся крикнула:

— Сашенька! Милый ты мой!

Она махала обеими руками, но ничего не видела,— глаза ее наполнились слезами радости...

«Буревестник» удалился. Он уже бороздил форштевнем воды Черноморского залива, а Сашка, лежа на спине и глядя вслед «Буревестнику», качался на волнах. Он на минуту закрыл глаза и так ясно, близко представил себе образ любимой девушки, что будто почувствовал ее жаркое дыхание и вновь услышал ее взволнованный радостный голос:

«Сашенька... Милый ты мой...»

Он улыбнулся и открыл глаза. Над ним висело чистое, иссиня-голубое небо.

XVIII

Дарья Васильева, одетая в робу мужа, шумно вошла в прихожую.

— Здоровеньки дневали!— певуче произнесла она. На ней ладно сидел брезентовый костюм, через руку перекинута парусиновая винцарада, на голове клеенчатая широкополая шляпа, шлейфом спадавшая на спину.

— Во! буря влетела в хату,— проворчал Панюхай, нахмурив белесые брови, но в его голосе Дарья уловила только добродушные нотки.

— Чего такой сердитый, Кузьмич?

— Ослепла, что ли? Пять минут безмолствия отсиживаем, а ты белугой ревешь. Анку во путь-дорогу спровожаем.

Анка и Орлов, сидя рядом на табуретах, улыбались.

— Эта отсидка не обязательна, Кузьмич, ежели дочку спровожаешь,— подсела к Панюхаю Дарья и лукаво скосила на него черные, как раскаленные угольки, жаркие глаза.— А вот когда будешь зятька во путь морскую дорожку снаряжать, полчаса в молчанку поиграй. Поможет. От всякого бабьего соблазна оградит его.

— Ох, чертовка!— вздохнул Панюхай.— Побей меня бог, сатана греховодная...

— Ей-богу, поможет!

— Да отчепись ты, болячка морская...— Панюхай встал и ушел в другую комнату, прикрыв за собой дверь.

Запрокинув голову и покачиваясь на табурете, Дарья содрогалась от хохота. Анка теребила ее за руку:

— Хватит, хватит тебе, хохотушка. Нам пора на берег.

Успокоившись, Дарья спросила:

— Ты готова?

— Давно,— Анка была в отцовской робе, только голова была повязана неизменной красной косынкой.— Тебя поджидала.

— Сейчас... Дай отдышаться... Ох, Кузьмич... Когда-нибудь он уморит меня... В могилу сведет...

— Не трогай его,— прошептала Анка.

— Да не я, Аннушка, он трогает меня. Нет-нет да и зацепит белужьим крючком.

Из другой комнаты послышался рассыпчатый, с хрипотцой смешок:

— Тебя сведешь... уморишь. Белужьей колотушкой не пришибешь.

— Пошли, пошли,— Орлов легонько вытолкнул Анку и Дарью в сенцы. На улице сказал:— Аня, может, я схожу за тебя в море?

— Чего ради? Ты сегодня утром вернулся и опять в море? Мой черед...

— А вы хитрый,— вмешалась Дарья.

— Почему?— удивленно посмотрел на нее Орлов.

— Гриша говорил, что вы прошлой ночью смотрели на «Буревестнике» кинокартину «Секретарь райкома»...

— И что же?

— А сегодня будут показывать «Жди меня». Вот и оставайтесь с Гришей на берегу и ждите нас,— Дарья заливисто засмеялась.— А то, ишь, разохотились.

— Дарья права,— поддержала ее Анка.— Покуда ее Гришенька раскачается да приобретет стационарную киноустановку для Дома культуры, мы хоть в море кино посмотрим.

— Да не в этом дело, Аня,— убеждал ее Орлов,— мотобот причалил к мастерским. «Медуза» до того раскашлялась и расчихалась, что Тюленев поставил ее на прикол и разобрал мотор.

— На парусах пойдем,— стояла на своем Анка.

— Мы и на веслах умеем ходить,— кивнула Орлову, прищурившись, Дарья,— с детства рыбачим в море.

— Дело твое, Аня,— вздернул плечами Орлов.— А я хотел, как лучше бы... Да и в сельсовете ты нужна...

— Таня хорошо справляется за меня в совете. А свою очередь я должна отбывать непременно. Ведь мы подменяем стариков. И они живые люди, им тоже нужна передышка.

— Хорошо, Аня, хорошо. Счастливого плавания,— и он направился в контору.

У причала уже суетились рыбаки, рыбачки и провожающие. На баркасы грузили сетеснасти, продукты и бочонки с пресной водой. Среди провожавших была и Соня Тюленева. Поздоровавшись с Анкой и Дарьей, она, вертя головой и сверкая темными стеклами очков, выпалила скороговоркой:

— Понимаете ли, у меня уже вошло в привычку — провожать рыбаков в море и встречать их. А моя подруга Таня сегодня, кажется, не идет с рыбаками?

— Нет,— ответила Анка.— Иду я, мой черед, а она в сельсовете за меня председательствует.

— Видать,— лукаво подмигнула ей Дарья,— они сговорились вместе остаться на берегу.

— Кто?— не поняла Соня.

— Таня и твой Василечек. Он тоже не идет с нами.

— Что вы! Что вы!— вступилась за мужа Соня.— Василечек мотор перебирает.

— Удивительное дело!— засмеялась Дарья.— Дни все время жаркие... вода в море теплая. Отчего же это «Медуза» застудилась и мотор ее стал кашлять?

Соня недоумевающе вздернула плечами. Анка улыбнулась ей и сказала:

— Дарья шутит. Ты посмотрела бы, когда она с моим отцом сцепится, хоть водой разливай их. Отец любит над ней подшутить, а она его подкузьмить, ну и схватятся...

— На то он и Кузьмич, чтоб кузьмить его,— сострила Дарья и захохотала.

Из мастерских вышел Тюленев. Щурясь на солнце, опускавшееся к горизонту, он вытирал руки паклей. Дарья окликнула его:

— Скажите, Василий, отчего это «Медуза» занедужила?

— От старости «сердце» у нее стало пошаливать.

— Значит, остаетесь на берегу весла сушить?

— Почему? Вот настрою мотор, и в море.

— Нынче?

— Безусловно. Ждите меня к полуночи,— и он скрылся в мастерских.

— Вот видите?— уставилась Соня темными окулярами на Дарью.— Василечек пойдет за вами вслед. Обратно на буксире приведет баркасы.

— Дай-то бог,— вздохнула Дарья и потянула Анку за руку:— Идем, дед Фиён кличет нас.

Пришел Васильев, дал команду отчаливать. Первым отшвартовался баркас Виталия Дубова. Таня прибежала в последнюю минуту и уже с пирса забросила на борт Виталию узелок с харчами. Последним, шестым, снимался с прикола новый баркас, на котором выходили в море дед Фиён, Анка и Дарья. Когда на счет колхоза перевели сумму в миллион девятьсот тысяч рублей, Васильев тут же купил парусину для парусов и приобрел лесоматериал для двух новых баркасов. И теперь все шесть баркасов были оснащены добротными большими парусами и кливерами.

В ту минуту, когда последний баркас стал отчаливать от пирса, все услышали знакомый, с хрипотцой голос, вспорхнувший над толпой провожавших:

— Фиёнушка! Ты гляди да хорошенько доглядывай за скаженной... А то и тебя и дочку мою сгубит... На весла не сади ее, с Анкой гребите... А то она вас вместе с посудиной встречь такому буруну кинет, что окунетесь, а из воды не вынетесь.

С баркаса крикнула Дарья:

— Окунаться будем порознь, Кузьмич, а из воды выняться в обнимку. Как однажды один наш рыбак вынулся, белугу чуть не задушил.

По пирсу прибойной волной прокатился грохочущий хохот. Васильев пальцем погрозил жене и сказал Панюхаю:

— Чего, Кузьмич, не ответишь ей так, чтоб она об твои слова обрезалась бы и смолчала.

Панюхай потянул носом воздух, усмехнулся и покачал головой:

— Ежли бы она, мама двоєродная, свой зловредный язык в море обронила да не нашла бы его... Вот тогда бы я поспорил с ней...— этим он вызвал новый взрыв хохота провожавших, еще толкавшихся на пирсе и на берегу.

Тем временем баркасы вышли из залива, построились в колонну и, окрыленные взметнувшимися парусами, пошли на юго-восток.

Поиски рыбных косяков можно было организовать только с приходом моторной флотилии быстроходных сейнеров, снабженных необходимой радиоаппаратурой. В ожидании сейнеров эки-

паж поискового судна «Буревестник» проводил среди рыбаков и рыбачек Азовского бассейна политмассовую и культурно-просветительную работу.

Обычно рыбаки заканчивали установку сетеснастей поздно, когда сгущалась темнота, ставили баркасы на якоря и укладывались спать. Сегодня же все работали по-ударному, и невода были поставлены на опоры еще до наступления сумерек. Это объяснялось тем, что час тому назад вблизи промысловых рейдов рыболовецких бригад «Буревестник» встал на якорь. Веселый морской ветер подхватывал и разносил в предвечерней тишине над водной равниной бодрую музыку, призывно лившуюся из репродукторов, установленных на палубе «Буревестника», и рыбаки, закончив работу, направляли к нему свои баркасы. К «Буревестнику» спешили мариупольские, бердянские, темрюкские и ахтарские рыбаки, они шли на моторных ботах, баркасах, байдах и реюшках.

— Не опоздаем?— Анка с беспокойством посматривала в сторону «Буревестника», у бортов которого бросали якоря и швартовались рыбачьи суда.

— Успеем,— сказал дед Фиён, подтягивая к просмоленной стойке конец невода. Он закрепил его, перекрестился:— Слава богу, и мы справились,— и сел у руля, положив руку на румпель.— Ну, морячки, поднять парус!..

Южные сумерки сгущались быстро, и плотная тьма ложилась на воду. Умело брасуя парусом, Дарья вела баркас легко и торопко. На «Буревестнике» засверкали гирлянды электрических лампочек. Оттуда доносилась и становилась все слышнее музыка. Баркас подошел к носу «Буревестника». На его палубе было людно и шумно. Фиён бросил якорь, и когда баркас пришвартовался к борту «Буревестника», старик, придерживая штормтрап, помог Анке и Дарье взобраться на палубу.

— А вы, дедушка?— спросила Анка, перегнувшись через бортовые поручни.— Давайте наверх.

— Нет,— помотал головой Фиён.

— Давайте, давайте,— настаивала Дарья.— Ох, как тут весело!

— Веселитесь, милые, на здоровье, а в мои годы — покой дороже всего,— и Фиён стал укладываться на корме баркаса.

На кормовой палубе большая группа рыбаков слушала лекцию о международном положении. К услугам рыбаков на «Буревестнике» имелось все необходимое: парикмахерская, душ, медпункт, читальный зал и даже небольшой магазин.

Дарья встретила знакомых из Кумушкина Рая, откуда она

была родом. Рыбаки подхватили ее и увели в буфет угощать чаем с печеньем и конфетами. Приглашали и Анку, но она отказалась.

После лекции для молодежи дали на десять минут танцевальную музыку. Потом механик установил кинопередвижку и начал демонстрировать фильм «Жди меня», который так хотелось посмотреть Анке. Экраном служил белый парус, покачивавшийся за кормой баркаса. Рыбаки расселись прямо на палубе. Анка устроилась на бочке, стоявшей немного позади киномеханика. Она сидела, свесив ноги, и неотрывно смотрела на импровизированный экран-парус.

Шли кадры прощания летчика с женой. Вот он снял со стены тарелку, бросил на пол, разбил ее вдребезги «на счастье», но тут же по экрану поползла причудливая тень... Это вышел кто-то из машинного отделения и, пробираясь между сидевшими на палубе рыбаками, попал в поле зрения объектива проекционого киноаппарата.

— Кто там застит?

— Не заслоняй, пугало!

— Да огрейте его веслом по хребтине!— закричали рыбаки.

Нарушитель порядка весело огрызнулся:

— Горячий народец,— и в темноте кивнул киномеханику.

Яркий сноп голубых лучей проекционного аппарата ударил ему в волосатое лицо. Анка вздрогнула, и ее сердце похолодело... Пальцы рук цепко впились в ребристую клепку бочки... Она почувствовала, как ее начала бить мелкая дрожь... Эти глаза, черные и обжигающие, наполненные волчьей яростью, похожей на вскипающую смолу... Это родинка под левым глазом... маленькое темное пятнышко... Волосы цвета воронова крыла, колечками спадавшие на высокий лоб... Густые брови, сросшиеся у переносицы... Все это напоминало ей того, кого она ненавидела каждой своей клеточкой.

«Неужели?..»— едва не вскрикнула Анка.

Она не успела определить: стар был или молод тот, с бородой, что вышел из машинного отделения... Да это было теперь и не важно для нее. Глаза, молодо сверкнувшие, и родинка сказали все...

Тень проплыла мимо Анки и, покачиваясь, стала удаляться к носовой части судна. Анка спрыгнула с бочки и метнулась вслед за тенью. Настигла ее у входа в кубрик. Тень застыла... Анка, вытянув шею, напряженно всмотрелась и увидела не лицо, а только черное пятно, на котором зловеще светились две круглые точки. Так в темноте ночи светятся глаза волка.

— Ты?!!— горячим шепотом воскликнула Анка, содрогаясь от приступа нервной лихорадки.— Ты ?!..

Помнит Анка, как от сильного удара чем-то металлическим по голове у нее зазвенело колокольцами в ушах, а перед глазами поплыли иссиня-фиолетовые светящиеся круги... Она отшатнулась, сделала несколько шагов назад, стукнулась спиной о бортовые поручни. И еще помнит, как ее подхватили за ноги и столкнули за борт...

Баркас дремотно покачивало легкой волной, но дед Фиён не спал. Он лежал на корме, смотрел на перемигивающиеся в темном небе яркие звезды и слушал музыку. На палубе «Буревестника» было людно и шумно.

Наконец все стихло, погасла гирлянда электролампочек, и только две светлые точки висели на мачтах. Голубые лучи упали на развернутый за кормой белый парус, и дед Фиён услышал мягкое и частое потрескивание проекционного киноаппарата, похожее на отдаленное стрекотание кузнечиков. Баркас, позвякивая якорной цепью, то отходил от «Буревестника» на два-три метра, то снова пришвартовывался к его борту.

— Вздремнуть, что ли?— решил дед Фиён и потянул на себя винцараду.

В ту минуту он услышал какой-то неясный шум на борту «Буревестника»; как ни вглядывался, ничего в темноте не увидел. И еще услышал дед Фиён слабый хриплый вскрик гнева и отчаяния и падение тела в воду между бортами «Буревестника» и баркаса.

— Человек за бортом!— неистово закричал дед Фиён и стал торопливо снимать с ног сапоги.

«Человек за бортом!.. Человек за бортом!..»— тревожно прокатилось по палубе.

Киномеханик прервал демонстрирование фильма. Вспыхнула гирлянда разноцветных электрических лампочек. Первым на голос деда Фиёна бросился Виталий Дубов. Перегнувшись через поручни, он увидел деда Фиёна, который, вцепившись левой рукой в борт баркаса, правой поддерживал на воде бесчувственное тело Анки. Виталий быстро спустился по штормтрапу, прыгнул в баркас. Он сбросил с себя сапоги и опустился в воду. Подоспели еще двое рыбаков и помогли ему и деду Фиёну втащить Анку на баркас.

— Крамболом! Крамболом поднять ее!— посоветовал кто-то из рыбаков.

Судорожно заработала лебедка, поворачивая стрелу. В баркас спустили сетку, предназначенную для мягкого тючного груза, уложили на нее Анку, подняли на борт.

— Ко мне ее!— распорядился судовой врач.— Быстрее, быстрее, товарищи...

Анку унесли. Из кубрика вышел Николай Минько. Он был в трусах. Позевывая, Николай разглаживал пушистую бороду. Увидев пробегавшую мимо с испуганным и тревожным выражением лица Олесю, окликнул:

— Леся, что случилось?

— Одной рыбачке кто-то голову проломил и бросил ее за борт,— на ходу ответила Олеся, не взглянув на Николая.

— Какое варварство,— покачал головой Николай.— Что он, сукин сын, с ума спятил?..

— Нормальный человек этого не сделал бы,— заметил один рыбак.

— Насмерть?— интересовался Николай.

— Пока дышит. А выживет ли, кто знает. Кровью изошла, бедняжка.

— Отдаст концы и в память не придет,— сказал другой рыбак.

— Какой же это подлец поднял на женщину руку?— возмущался Николай.

— Ищи-свищи его,—и рыбак тихо свистнул.—Море широкое.

— Да он где-то тут, гадина,— мрачно проговорил второй рыбак и повел вокруг взглядом, будто искал виновника.

— Удивительная история,— сказал Николай и ушел в кубрик.

Тюленев прибыл на «Медузе», когда судовой врач закончил обработку ран на голове Анки и наложил повязку. Кровь не останавливалась и просачивалась сквозь бинты. Однако Тюленев уговорил врача перенести Анку на мотобот.

— Наша заведующая медпунктом, Ирина Петровна, опытный медицинский работник. Донор. Она и доставит ее в районную больницу,— сказал Тюленев.— А на Косе я буду через два часа.

— Хорошо,— согласился врач.— Везите ее на Косу.

Когда Анку перенесли на мотобот, Тюленев сказал Дубову:

— Идите на свой рейд, становитесь там на якорь. Рано утром я приду за вами. Если получится задержка, не ждите меня и идите к берегу своим ходом.

— Договорились,— и Виталий спустился в баркас к деду Фиёну.— Я с вами... взамен Анки.

В баркасе уже сидела Дарья Васильева, злая и угрюмая. Поднимая парус, Виталий вопросительно произнес:

— Какая же это сволочь покушалась на Анку?..

— Загадка, Виташка, загадка,— покачал головой дед Фиён.

— Будь он проклят, паразит,— сквозь зубы процедила Дарья и налегла на весло; разворачивая баркас.— Будь он проклят...

На «Медузе» торопко заработал мотор. Бот отвалил от борта «Буревестника» и пошел курсом на Бронзовую Косу, помигивая мачтовым огоньком. Судовой врач, стоя на юте, смотрел ему вслед.

К нему подошел Минько.

— Что, доктор, не смертельные у той рыбачки ранения?

— Выживет,— утвердительно ответил врач.

Минько молча отошел в сторону.

Утром «Буревестник» пришвартовался к Темрюкской пристани, чтобы запастись пресной водой. Минько явился к капитану и подал ему заявление о списании его на берег.

— Что же ты, гвардеец, струсил?— спросил капитан.—Моря испугался?

— Контузия не позволяет мне плавать... Муторно на воде.

— Причина уважительная,— сказал капитан, беря заявление.— Спишем.

XIX

Было два часа ночи. Ирина закрыла книгу, потушила свет и осталась сидеть у открытого окна, чтобы еще несколько минут подышать свежим ночным воздухом, напоенным сладким ароматом расцветшего в палисаднике табака и острыми запахами гвоздики и любистка.

Хутор спал. На улице ни звука, ни шороха. Белобрысая полная луна чем ниже опускалась по южному небосклону к горизонту, тем все больше наливалась янтарным золотистым соком. На темно-голубом небе слабо мерцали бледные звезды...

Ирина сидела неподвижно и тупо смотрела на луну и звезды. От горестных дум у нее тяжелела голова. Вот только что прочла книгу, а не помнит ни имени автора, ни содержания. Потому что все мысли были с ним... И теперь она думает только о нем... об Орлове...

Когда Ирина ехала на Косу, ей казалось, что, живя рядом с любимым человеком и дыша с ним одним воздухом, она обретет

покой. Но ее постигло горькое разочарование... С каждым днем любовь Ирины к Орлову становилась сильнее. Девушка старалась встречаться с ним как можно реже. Но чем дольше Ирина не виделась с Орловым, тем больше тосковала. Она и сама не заметила, как подкралась к ней ревность, могущая толкнуть честную девушку на какой-нибудь безрассудный поступок.

«Нет, нет!— испугалась Ирина, сжимая руками голову.— Нельзя доходить до того, чтобы потом ненавидеть самоё себя. Я не имею права завидовать, это — нехорошо... А ревновать мужа к жене?.. Да это же нелепо!.. Это — нечестно... Скорей бы наступило время отъезда в город... Да, скорей бы в институт и там... забыть обо всем этом... А пока в постель и забыться сном...»

Ирина поднялась с табурета. Она хотела закрыть окно, но медленно опустила руки и прислушалась. Кто-то в такой поздний час шел по улице. Шаги были тяжелые и торопливые, гулко отзывавшиеся в пустынной тихой улице. Вот они все ближе и ближе и, наконец, затихли у штакетного заборчика палисадника. Ирина выглянула из окна и в лунном свете узнала медвежью фигуру Тюленева. Он держал кого-то на руках.

— Василий Васильевич?

— Я, Ирина Петровна. Вот хорошо, что вы не спите. Скорей открывайте медпункт.

— Что случилось?— в тревоге спросила Ирина.

— Несчастье, Петровна...

Но Ирина уже не слышала его. Она тут же бросилась к двери, выскочила на улицу и, узнав Анку, тихо ахнула...

Тюленев, следуя за Ириной, прошел через приемную во вторую комнату, осторожно положил Анку на койку. Ирина пощупала у Анки пульс, кивнула на дверь, и они вышли в приемную.

— Что случилось с ней?— спросила Ирина.

Тюленев поднял плечи, вздохнул.

— Она упала, что ли?

Тюленев развел руками.

— Ничего не могу сказать, Петровна.

— Да как же так?..— изумилась Ирина.

— Когда я пришвартовался к «Буревестнику», судовой врач уже обработал раны и забинтовал их. Он тоже в полном неведении. Никто не знает, как произошла эта загадочная история...

— Кто же был с ней?

— Дарья. Но ее кумураевцы пригласили в буфет, и она ушла с ними. Анна Софроновна осталась на юте и смотрела кино.

— Может, она по неосторожности упала за борт и разбила себе голову о баркас?

— Нет. Врач установил, что ей нанесены удары каким-то металлическим предметом.

— Страшная загадка.

— И мы разгадаем ее только тогда, когда придет в память Анна Софроновна.

Ирина подумала и спросила вдруг:

— Яков Макарович знает об этом?

— Не знает. Я не хотел расстраивать их дочь и понес Анну Софроновну прямо к вам.

— Валюшка с Галинкой Дубовой в городе. Идите сейчас же к нему. Разбудите шофера, пускай подает машину сюда, к медпункту. Бегите. Дорога́ каждая минута.

Тюленев ушел. А вскоре прибежал Орлов, взволнованный и растерянный. Его заспанные глаза лихорадочно блестели, лицо было покрыто бледностью. И только он открыл рот, намереваясь спросить что-то, как Ирина приложила палец к губам и прошептала:

— Надо везти ее в больницу. Сию же минуту...

С улицы донесся рокот мотора. В приемную вбежал шофер. Ирина ввела его в другую комнату, где лежала Анка, показала на свободную кровать:

— Возьмите постель, матрац и отнесите в кузов.

Когда шофер вышел, Орлов приблизился к койке и впился глазами в потемневшее лицо Анки... Вошел шофер. Ирина сказала Орлову, приглушив голос до шепота:

— Возьмите ее на руки... Только бережно... Бережно... А вы, товарищ шофер, забирайте и эту постель с матрацем... Идемте.

Из двух постелей устроили в кузове одну и положили на нее Анку. Шофер плавно сдвинул с места машину и тихим ходом вывел ее из хутора. Грунтовая дорога была ровная, мягкая, машину не трясло, и шофер прибавил скорость. Орлов и Ирина сидели на доске, положенной поперек кузова, а у их ног лежала без сознания Анка, обложенная подушками. На белых марлевых бинтах чернели два пятна проступавшей через повязку крови. Ехали молча. За всю дорогу ни Орлов, ни Ирина не обмолвились ни словом, подавленные случившимся. Да и о чем было говорить? То, что знала Ирина об этом загадочном и горестном случае, было известно и Орлову от того же Тюленева. Когда въезжали в Белужье, Орлов спросил Ирину:

— Как вы думаете, выживет она? Ранения у нее не очень опасны для жизни?

— Раны я не осматривала. Но... будем надеяться на благополучный исход.

Светало, когда Анку внесли на носилках в больницу. Дежурный врач телефонным звонком поднял с постели главного хирурга. Тот явился незамедлительно. Он выслушал Ирину и Орлова, приказал разбинтовать Анку, тщательно осмотрел раны. Потом пощупал у больной пульс, не отрывая глаз от часов, и так вздохнул, что Орлов весь похолодел.

— Мда...— пожевал губами главный хирург.— Положение весьма и весьма серьезное. Она потеряла очень много крови. Это грозит нежелательными последствиями.

— Доктор...— обратилась к нему Ирина.— Я донор...

— Знаю. Слыхал о вас.

— У меня и у нее одна группа. Возьмите для нее столько моей крови, сколько потребуется, чтобы только спасти ее...

— Хорошо. Мы сейчас же приступим к переливанию.

Орлов крепко пожал Ирине руку, и слезы против воли брызнули из его глаз.

— Не надо... Не надо...— шепнула ему Ирина.— Все будет хорошо.

Утром следующего дня Анка открыла глаза. Она долго водила перед собой мутным взглядом, всматриваясь в неясные очертания каких-то предметов. А этими «предметами» были... Ирина, Орлов и секретарь райкома Жуков. Но вот она прищурилась, и по ее иссиня-желтому лицу скользнула едва заметная улыбка.

— Яша?..— слабым голосом проговорила она.

— Это я, Анюша, я,— нагнулся к ней Орлов.— Скажи, родная, кто поднял руку на тебя?

— Он... Он... с бородой... Я узнала его...

— Кто?

— Павел... Задержите его... Там... на «Буревестнике»...

— Ты не ошиблась, Анюша?

— Он... с бородой... Задержите... Убежит...— Она болезненно поморщилась.— Ах!.. Как болит... голова... рассыпается... И спа-а-ть... хочется... Спать...

Анка зевнула, закрыла глаза и снова впала в беспамятство.

Жуков взглянул на Орлова и сказал:

— Значит, правду говорила Таня Зотова, что видела этого гада в Германии, когда ее освободили из концлагеря. Он был в танкистской форме и... с бородой. Надо полагать, что он действительно жив и скрывается под чужим именем. Идемте, Яков Макарович, я сообщу прокурору.

— Идите, идите,— замахала рукой Ирина,— а я подежурю у ее постели.

Здоровье Анки быстро шло на поправку. Кровь Ирины действительно была чудодейственной, животворной. Через две недели лечащий врач разрешил Анке выходить на полчаса в больничный парк на прогулку. Орлов часто приезжал в Белужье. Навещали больную и Жуков и его жена Глафира Спиридоновна.

В первый день прогулки Глафира Спиридоновна, ведя Анку под руку по аллее парка, сказала:

— Удивительные, Аня, истории бывают в нашей жизни.

— Именно?

— Видимо, сама судьба послала вам эту чудесную девушку Ирину. Своей кровью она спасла жизнь Якову Макаровичу, а теперь тебя, почти умиравшую, вернула к жизни.

— Она святая,— задумчиво произнесла Анка.— Святая не в том смысле, как понимают религиозные люди...

— Понимаю, Аня. Я тебя хорошо понимаю. Ирина славная девушка, сердечная. Она — редкостный чуткости человек. Меня удивляет только одно: Ирина здоровая, красивая девушка, а вот до сих пор не замужем, хотя ей уже двадцать пять лет.

— Ирина проживет сто лет, а за это время и жених найдется подходящий,— улыбнулась Анка.

— Таким людям, как Ирина, я желаю двести лет жизни,— сказала Глафира Спиридоновна, усаживая Анку на скамейку под тенистым каштаном.

— Ирина — богатырь, проживет и двести,— все с той же теплой улыбкой задумчиво произнесла Анка.

Глафира Спиридоновна поняла, что Анке было приятно вспоминать и говорить об Ирине, которую успели полюбить все бронзокосцы за ее чистую душу.

— Но что же это она забыла про меня?

— Как забыла?— не согласилась Глафира Спиридоновна.— А ее приветы ты получаешь через Орлова?

— Что приветы... Я ее вторую неделю не вижу. Ведь могла же она приехать вместе с Яшей. Хотя бы на час...

— Наверное, много работы на медпункте,— заметила Глафира Спиридоновна.

— И так может быть,— согласилась Анка

Но ни Анка, ни Глафира Спиридоновна не знали того, что в тот самый час, когда они говорили об Ирине, она внезапно слегла в постель и часы ее жизни были уже сочтены...

Вернувшись из Белужьего, Ирина в первую же неделю почувствовала себя плохо. С каждым днем ей становилось все хуже, но она не придавала этому значения.

«Обычное недомогание...— решила Ирина.— Переутомление... Борьба за жизнь Анки... Встряска нервов... Пройдет...»

Наконец ей стало так плохо, что она, накладывая повязку на руку одному рыбаку, вдруг выронила бинт, зашаталась. Ее поддержала Дарья, усадила на табурет.

— Что с тобой, Иринушка?— встревожилась Дарья.

— Ничего... Это пройдет... Добинтуй ему руку,— кивнула Ирина на рыбака,— а меня отведи в мою комнату. Я лягу...

Ирина не подозревала, что уже третью неделю ее здоровый организм вел жестокую борьбу со страшным врагом, проникшим в ее кровь. И только теперь, заметив, как ее правую руку стало заливать синевой, она поняла все...

Дарья сидела на краешке койки и не сводила с Ирины влажных глаз.

— Красавица ты моя. Да как же ты сразу изменилась. И отчего бы это?

— У меня... заражение крови.

— Бог с тобой!— ужаснулась Дарья, отмахнувшись руками.— Страсти какие придумываешь

— У меня заражение крови,— повторила Ирина.

— От чего она могла заразиться?

— От инфекции.

— Да как она могла попасть в твою кровушку-то?

— Ее занесли там, в больнице, когда брали у меня кровь для Ани...

— Возможно ли?

— Да... В суматохе... в горячке... возможно и такое...

«Надо спасать ее!— забеспокоилась Дарья.— Спасать, спасать дорогого нам человека!..»— Она сказала Ирине:— Я на минутку,— и выбежала, бросив дверь открытой.

Через полчаса к медпункту подъехала колхозная грузовая автомашина. В комнату Ирины вошли Орлов и Дарья. Вид у Орлова был встревоженный и растерянный, как в ту ночь, когда Тюленев привез раненую Анку.

— Тебе плохо, Ира? — спросил Орлов.

— Очень...

— Я отвезу тебя в больницу.

— Поздно,— вздохнула Ирина.

— Да что вы ее слушаете... Везите... Сейчас же везите,— настаивала Дарья.

Орлов, не раздумывая, поднял Ирину, и понес из комнаты.

Он посадил больную в кабину, а сам взобрался в кузов, крикнув шоферу:

— Поехали! Да быстренько!..

Глаза Ирины светились тихой радостью. Говорят, что у каждого умирающего человека глаза на короткое время озаряются вспышками, последними вспышками внутреннего света...

Медленно угасала жизнь Ирины. Но умирала она в полном сознании. Ирина рассказала Анке все, все...

— Такое же право на Яшу имела и ты,— сказала Анка, сидя на табурете возле койки больной.— Ты спасла ему жизнь.

Ирина потянулась, шевеля губами, и закатила глаза.

— Яша!— вскрикнула Анка и закусила губу.

Орлов был в коридоре и быстро вошел в палату.

— Что, Аннушка?

— Ей плохо... Она умирает... Помоги спасти ее... Она умирает, Яша... Врача позови...

Орлов пристально посмотрел на посиневшее лицо Ирины, закрыл ей глаза и глухо проговорил:

— Поздно, Анюшенька... Она скончалась.

Анка неподвижно сидела на табурете словно окаменевшая. Слезы, срываясь с длинных ресниц, градом катились по щекам.

Гроб с телом Ирины бронзокосцы привезли в хутор и похоронили любимую «докторшу» в центре молодого парка. Они обнесли могилу оградой, поставили деревянный обелиск. На обелиске золотом отсвечивали под лучами солнца бронзированные буквы надгробной надписи:

Незабвенной
Ирине Снежкович
1922—1947 гг.

от
благодарных жителей
хутора
Бронзовая Коса

XX

В рыбаксоюзе и в порту, где базировалось поисково-вспомогательное судно, следователь Белуженской районной прокуратуры установил, что на «Буревестнике» все члены экипажа, начи-

ная с капитана и кончая коком, бритые. Бороду носит только помощник механика Николай Георгиевич Минько.

Из порта запросили по радио «Буревестника», когда он прибудет на базу? Капитан ответил: «Через два дня». Но судно пришло на третьи сутки. Следователь прокуратуры и милиционер терпеливо ожидали его в порту.

Когда «Буревестник» пришвартовался к пристани, первой по трапу сбежала на берег Олеся. Капитан, стоя на мостике, крикнул ей:

— Минько! Не задерживайся в городе! Через четыре часа выходим в море!

— Знаю!— помахала рукой Олеся.

«Минько?»— встрепенулся следователь и преградил ей дорогу.

— Простите, гражданка...

Олеся остановилась и с удивлением посмотрела на следователя и милиционера.

— Что вам нужно от меня?

— Вы жена помощника механика Минько?

— Нет. Мы однофамильцы.

— Земляки?

— Да нет же...

— Вы давно его знаете?

— По письмам с войны...

— С войны?— переспросил следователь.

Олеся насторожилась и замолчала.

— Говорите, говорите. Не смущайтесь. Я из прокуратуры.

— Да, с войны,— продолжала Олеся.— Видите ли... Он фронтовой товарищ моего брата... Тоже Николая... У них только отчества разные и годы рождения... Коля был тяжело ранен... Смертельно ранен... И умер на руках...

— Погодите,— опять прервал ее следователь.— Ваш однофамилец на «Буревестнике»?

— Нет.

— Как?— изумился следователь.

— Пять дней тому назад капитан списал его на берег. В Темрюке.

— Эх, черт возьми!— взмахнул рукой следователь, прищелкнув пальцами.— Подождите меня,— кивнул он милиционеру.— Я на минутку,— и вбежал по трапу на борт «Буревестника».

Капитан повторил то, что сказала Олеся, и показал заявление Минько. Следователь прочел заявление и покачал головой.

— Хитрая бестия. Ловок!

— А что такое?— спросил капитан.

— У него такие же контузии, как у вашего «Буревестника» крылья,— загадочно ответил следователь и ушел, оставив в недоумении капитана.

Олесю подвезли на машине к городской прокуратуре. Следователь ввел ее в отдельную комнату, усадил за стол и сказал:

— Вот вам чернила, ручка, бумага. Напишите все, что вам известно о вашем однофамильце.

Олеся отодвинула от себя бумагу, ручку и сердито посмотрела на следователя.

— Ничего писать я не буду.

— Будете,— мягко сказал следователь, улыбаясь ласковыми глазами.

— Скажите: я арестована?

— Задержана,— с той же теплой улыбкой ответил следователь.

— И надолго?

— Напи́шите, о чем я прошу, подпи́шите и вы свободны до суда.

— Какого суда?— недоумевала Олеся.— Кого будут судить?

— Вашего бородатого однофамильца.

— За что?

— За большие злодеяния. За предательство. За измену Родине. Мы давно разыскиваем его.

Мысли у Олеси спутались, и она развела руками:

— Ничего не понимаю...

— Объясню. Ваш однофамилец, которого спи́сали на берег, скрывается под чужим именем.

— Кто же он?

— Павел Тимофеевич Белгородцев. Уроженец хутора Бронзовая Коса. Из кулацкой семьи. При гитлеровцах был хуторским атаманом. Помните недавнее покушение на жизнь рыбачки Анны Бегунковой во время киносеанса на «Буревестнике»?

— Да, да... Так что же?

— Это его рук дело. Но теперь он будет разыскан и предан суду.

Олеся обхватила руками голову и закачалась на стуле.

— Боже мой!.. Он говорил, что мой брат Коля умер у него на руках... А может, он его... раненого и беспомощного... задушил своими звериными лапами и завладел его документами?

— Все возможно, гражданочка. От фашистского прихвостня всего можно ожидать.

— И это чудовище... Эта мерзость... Этот негодяй домогался взаимности... хотел жениться на мне...

— Ваше счастье, что вы не пошли на эту удочку. Пишите. Время идет.

— Да, да!— спохватилась Олеся.— Сейчас напишу... Я быстро...

Рука ее дрожала, перо прыгало по листу бумаги, но она упорно продолжала писать.

Николай Минько, он же Павел Белгородцев, был задержан в Ашхабаде и препровожден под конвоем в Мариуполь. Оттуда его доставили в Белужье. Задержанный утверждал, что он действительно Николай Минько, а о Павле Белгородцеве впервые слышит. Изменив до хрипоты голос, он возмущался «произволом», который чинят над ним, бывшим фронтовиком, пролившим кровь за Родину.

— Вы, тыловая крыса, понесете суровое наказание за издевательство над бывшим воином-гвардейцем!..— бросил он в лицо прокурору.

Тогда прокурор решил устроить ему очную ставку с Анкой, но Жуков запротестовал:

— Она еще не совсем выздоровела. Зачем расстраивать и волновать женщину? Отвезите его в хутор на очную ставку с бронзокосцами.

— Да,— согласился прокурор,— это будет разумнее.

— Пусть следователь прихватит с собой и парикмахера.

— Ясно, Андрей Андреевич,— сказал прокурор.

Через полчаса грузовая машина прокуратуры выехала из Белужьего и помчалась в сторону моря. Следователь сидел с шофером в кабинке, а милиционер, парикмахер и арестованный — в кузове.

Когда машина взбежала на пригорок, с которого открылся вид на море и хутор Бронзовая Коса, арестованный сдвинул брови и глаза его тревожно забегали.

— Куда вы меня везете?— спросил арестованный.

Ему никто не ответил.

— Я спрашиваю...

— Арестованным на вопросы не отвечают,— прервал его милиционер.— И задавать вопросы арестованный не имеет права.

Машина скатилась вниз, к хутору, пропылила по улице и остановилась возле сельсовета. Арестованного ввели в кабинет Анки. Там за письменным столом сидела Таня... Увидев арестован-

ного, Таня отшатнулась. У нее задрожали губы, а широко открытые голубые глаза застыли, словно омертвели.

— Садитесь,— сказал милиционер, указывая арестованному на диван.

Таня смотрела неотрывно на арестованного, но его уже не видела... Перед ее глазами проплывали ужасающие картины пережитого... Деревянное ветхое здание, обнесенное колючей проволокой... Женщины, девушки, подростки-девочки в лохмотьях, похожие на тени... А мимо все идут и идут по талому снегу советские воины туда, на Берлин... Вот шагают впереди пушек Митя и Виталий Дубов... Девочка, просившая рядом: «Хлебца, родненькие, хлебца...» Она окликнула их... Первым подбежал Митя и как пушинку подхватил ее на руки... Потом проходили автомашины, мешая талый снег с грязью... На одной машине ехали танкисты... А среди них бородатый солдат с сверкающими глазами хищника... Она узнала его, но ей не поверили...

Таня перевела дыхание, пристально посмотрела на арестованного, и тут возникла другая картина... В этом же кабинете, вот на том самом диване атаман разорвал на ней блузку, и стеклянные пуговицы рассыпались по полу... Она кинулась к двери, но там стояли ухмылявшиеся полицаи...

Вдруг Таня резко поднялась со стула и перевела взгляд на следователя:

— Где вы словили этого садиста?

— Что, узнаете его?

— Да это же атаман... блюдолиз гитлеровский.

— Ну?— обернулся следователь к арестованному.

— У нее мозговая машинка не в порядке,— прохрипел арестованный.

— А вы посмотрите, есть у него на спине отметина? Акимовна стреляла ему в спину.

— Есть!— вскочил арестованный.— Я был ранен в спину. И справка есть. Я был ранен и контужен.

— Хорошо, тогда я позову сюда хуторян. Посмотрим, признают они тебя, палача фашистского, или нет?

— Созывайте людей,— сказал следователь.— Мы за этим сюда и приехали.

— Иду. А вы сбрейте ему бороду. Нечего стариком прикидываться.

— За этим дело не станет.

Таня вышла. Следователь кивнул парикмахеру:

— Приступайте...

Парикмахер раскрыл чемоданчик, вынул машинку и безопасную бритву, подошел к арестованному.

— Пересядьте на стул.

Арестованный грубо оттолкнул его.

— Бороду вы снимете вместе с моей головой.

— Голова пока пусть болтается на плечах,— спокойно сказал следователь,— а бороду снимем. Не заставляйте нас применять физическую силу. Будьте хоть сейчас разумны и подчинитесь беспрекословно. Ясно?

Арестованный как-то сразу обмяк, помрачнел и пересел на стул. Парикмахер снял машинкой бороду, намылил арестованному лицо, соскоблил бритвой остатки шерсти на щеках, подбородке и шее и спросил по привычке:

— Желаете освежиться одеколончиком?

— Пошел ты к черту,— огрызнулся арестованный. Голос его был чист и звучен, без хрипоты. Он махнул рукой и сказал следователю:— Больше никому не нужна эта глупая комедия. Везите меня в Белужье, там я вам и дам показания. Все расскажу, ничего не утаю.

— Кто это — я! —спросил следователь, с хитринкой посмотрев на него.

— Я! Я!— ударил он себя кулаком в грудь.— Павел Белгородцев... Бывший атаман.

— Давно бы так,— сказал следователь.— Поехали...

Когда все уселись на машину и заработал мотор, к сельсовету подошла запыхавшаяся Акимовна. Павел обжег ее ненавидящим взглядом и опустил глаза. Машина тронулась, покатилась по улице. Акимовна рванулась было вслед, но застыла на месте с поднятыми кулаками...

Павла ввели в кабинет следователя. Там уже сидела в углу за маленьким столиком стенографистка.

— Садитесь,— сказал следователь Павлу,— и рассказывайте.

Павел тяжело опустился на стул, потер ладонью щеки и спросил:

— С чего начинать? С рождения?

— От рождения и до того момента, когда Акимовна выстрелила в вас, нам все известно. Начинайте с того, как вы «воскресли из мертвых» и продолжайте дальше.

Павел минуту сидел в глубоком раздумье, затем, не поднимая глаз, начал свое мрачное повествование:

— Я так испугался, что весь онемел... и хмель из головы вылетел. Упал я больше от испуга. Чую, что жив. И тут догадался: заряд был слабый. Мало пороху. И притворился мертвым...

Знал, что меня или в яр или с обрыва в море кинут. Думаю: «Пережду, а там, что бог даст...» Так оно и вышло. Пока меня волокли к обрыву, я немного отдышался. И вот я в воздухе... Открыл глаза... лечу в море... Вниз головой... Я выбросил перед собой руки, рассек воду. Трудно было в сапогах и мундире... ко дну тянуло, но я выкарабкался. Под обрывом есть ниша... прибоем вымыло ее... Я и залег в той нише...

Когда стало смеркаться, надумал я спасать свою душу... Разулся и разделся. В одну штанину шаровар запихнул свернутый мундир, а в другую насыпал песку. Завязал тесемки, а в поясе накрепко перехватил ремнем. Под обрывом глубоко, я в эту глубь и опустил свое снаряжение. Сапоги наполнил водой и ко дну пустил, связав их кальсонами.

— И остались...

— В трусах и нательной рубахе,— пояснил Павел.

— А если бы вас кто-нибудь встретил в таком виде?

— Ночью?.. Что ж, сказал бы, что был контужен в бою и не помню, как меня раздели.

— Дальше.

Павел отпил из стакана воды и продолжал:

— Поплыл я к пологому берегу и чуть не утонул. Рана жгла мне спину... Все-таки выбрался и пошел в сторону поселка Светличный... Там был жаркий бой в тот день... И набрел я на убитых... Их не успели подобрать... Повернул я одного лицом к лунному свету... У него была голова пробита пулей навылет... Пригляделся... Думаю, подойдет. Обшарил его карманы... В брюках нашел письма, а в нагрудном кармане гимнастерки комсомольский билет и красноармейскую книжку... Билет закопал в землю, а книжку взял... Потом стянул с него сапоги, брюки, и на себя их... С гимнастерки снял две медали «За отвагу» и в карман спрятал...

— Документов на медали не было?

— Нет. Только письма.

— На имя Николая Минько?

— Да. Письма были от его сестры Олеси.

— Как же вы прочитали при лунном свете?

— Прочел, когда развиднелось.

— А почему гимнастерку Минько не надели на себя?

— Нельзя было... Я ранен в спину, а его убило в голову. Его гимнастерка была целой. А на моей нательной рубахе была дыра от картечины.

— Хитро,— сказал следователь.

— А что мне оставалось делать?..

— Дальше.

— А дальше было так. . Я лежал в бурьяне, письма Олеси перечитывал, запоминал фамилию Минько Когда услыхал гомонившие голоса, начал стонать... Меня и подобрали санитары... Попал я в санбат танковой бригады... Там познакомился с офицером... Он техник... Узнав, что по гражданской специальности я токарь, техник и предложил мне отправиться с ним в походные мастерские... Я обрадовался и согласился...

Так, вспоминая одно событие за другим, Белгородцев подробно рассказал следователю мрачную историю, полную лжи и преступлений.

— А как вы решились плавать в Азовском бассейне, где могли встретить знакомых рыбаков?

— Тянуло к родным местам... Да и не думал я, что меня опознают.

— На бороду надеялись?..

Вместо ответа Павел налил в стакан воды и залпом выпил ее.

— А вот и опознали,— продолжал следователь.— И спрятать концы в воду вам не удалось... Чем вы нанесли удары по голове Бегунковой?

— Гаечным разводным ключом.

— С намерением убить ее?

Павел безмолвствовал.

Следователь позвонил. Вошел милиционер.

— Уведите арестованного,— сказал он милиционеру.

На другой день прокурор пришел к Жукову и показал ему стенографическую запись, подписанную Павлом Белгородцевым. Жуков прочел и сказал:

— А ведь дело Белгородцева не подлежит рассмотрению в гражданском суде. Этого преступника должен судить военный трибунал.

— И я, Андрей Андреевич, такого же мнения,— ответил прокурор.— Сегодня я отправлю дело Белгородцева в военный трибунал.

XXI

День первого сентября тысяча девятьсот сорок седьмого года надолго останется в памяти бронзокосцев как большой светлый праздник.

Три дня тому назад инженер-механик телеграфировал из Южнобугска о том, что сейнеры покинули верфь и вышли на

морской простор, держа курс к месту назначения. Эта радостная весть взбудоражила бронзокосцев, и они с нетерпением ожидали прибытия флотилии.

В Черном море, когда сейнеры огибали Крымский полуостров, в районе Балаклавы налетела буря, но превосходные рыболовецкие суда выдержали силу восьмибалльного ветра и шквальные удары штормовой волны.

На другой день плавания, перед вечером, сейнеры вошли через Керченский пролив в бассейн Азовского моря. Когда флотилия находилась на траверсе Белосарайской косы, капитан головного судна Сашка Сазонов получил из рыбаксоюза радиограмму, в которой сейнерам предлагалось зайти в Мариуполь и взять на борт имущество, предназначенное для Бронзокосской МРС.

Время было за полночь, когда сейнеры пришвартовались к мариупольской пристани. Там их ожидал Орлов.

— Яков Макарович!

— Товарищ замполит!— обрадованно бросились Сашка и Пронька к Орлову.

— Вы-то что тут делаете?— спросил Сашка, дымя трубкой.

— Ждал вас.

— А что за имущество?

— Капроновые сети.

— Вот это богатство!— воскликнул Пронька.

К Орлову подошел инженер-механик, поздоровался и, разгладив ладонью седые прокуренные усы, кивнул на сейнеры:

— А это не богатство?— и к Орлову:— Хотите полюбоваться нашими красавцами? Это вам не довоенные моторки. Силища!

— С удовольствием,— сказал Орлов.— Идемте.

Сашка толкнул Проньку:

— Слыхал? Ка-про-но-ва-я сеть! Морской порядочек!—и так задымил трубкой, что некурящий Пронька закашлялся:

— Да убирайся ты ко всем чертям со своим ядовитым зельем.

— Эх ты, морячок...— горестно покачал головой Сашка и потянул из кармана кожаный кисет, чтобы еще добавить табаку в трубку.

Пронька откашлялся и поспешил удалиться на сейнер.

— Как черт от ладана!— засмеялся ему вслед Сашка.

И вот... первого сентября ранним утром на Косу пришла другая телеграмма, еще больше взволновавшая бронзокосцев:

«Выходим Мариуполя пять часов. Имущество погружено. Люди чувствуют себя хорошо. Флотилия порядке.

Орлов».

Все бронзокосцы, от мала до велика, высыпали на берег. И никто из них не нарушил с давних времен установившейся традиции — каждый облачился в праздничную одежду.

Приехал на Косу и Жуков, ему тоже хотелось посмотреть на новые быстроходные суда, которые так расхваливали в письмах Сашка и Пронька. Секретарь райкома взял с собой и жену. Глафира Спиридоновна стояла на пригорке вместе с Дарьей, Анкой, Соней, Таней, Акимовной и Олесей. Олесю вызвали на Косу еще три дня тому назад как свидетельницу по делу Павла Белгородцева. Голова Анки, постриженная под машинку, была повязана красной косынкой. Женщины поглядывали на море, разговаривали, а рядом играли ребятишки.

Виталий Дубов, Василий Тюленев и дед Панюхай хлопотали на «Медузе». На всех баркасах дежурили рыбаки.

Жуков, Васильев и Кавун беседовали возле конторы МРС. Васильев, вздыхая, сказал:

— Помнишь, Андрей, тридцатый год?

— Помню,— кивнул Жуков.

— Ни сорочка́, ни ниток, ни крючьев для лова красной рыбы. Все припрятывали спекулянты и кулачье. Бедны мы были орудиями лова. Но зато богаты молодежью. Сильная была у нас комсомолия... А теперь и флотилия есть, и капроновые сети, а молодежи — кот наплакал. Валюшка Анкина и Галинка Дубова в городе учатся. Осталось четыре школьницы-комсомолки.

— Киля Охрименко, внучка Фиёна, с курсов радисток вернулась, — заметил Кавун.

— Вот и весь наш молодежный фонд. И ни одного комсомольца. Ежели бы этот поганец не отправил наших подростков в фашистскую Германию на погибель, о-о-о!— потряс кулаком Васильев,— теперь бы у нас была такая комсомольская сила...

— Будет, Гриша, будет в вашем колхозе такая сила,— перебил его Жуков.— Вон они,— показал он на кувыркавшихся на песке ребятишек,— будущие комсомольцы. И не заметишь, как они подрастут, как сменят пионерские галстуки на комсомольские значки. А Белгородцев, атаман лихой, завтра в суде получит с лихвой.

— Так-то оно так, но он, тварюга, не стоит и ногтя любого загубленного им подростка...

Кавун обернулся, посмотрел на пригорок, толкнул Васильева:

— Шо воны там гукають?

Взрослые и ребятишки заволновались. Придерживая на груди черные тугие косы, по тропинке вниз бежала Киля Охрименко, не переставая кричать:

— Идут! Идут! Наши идут!..

Васильев помахал фуражкой Дубову:

— Парторг! Сейнеры на горизонте!

— Слышу-у-у,—откликнулся Дубов и что-то сказал Тюленеву.

Через минуту заработал мотор «Медузы» — рыбаки на баркасах сели за весла.

— Наконец-то!— облегченно вздохнул Жуков.

Васильев, улыбаясь, спросил:

— Что, Андрей, волнуешься?

— Разве можно оставаться равнодушным, когда весь народ волнуется...

— Эге!— улыбнулся и Кавун, взглянув на усеянный народом берег.— Люди бачуть добро. Воны знають, что сейнеры несуть им велику радисть.

Вначале на горизонте моря появилась одна точка. Потом вторая... третья... четвертая. С каждой минутой они увеличивались и приближались, неясные формы становились отчетливее. Наконец, можно было определить невооруженным глазом, что это шли суда кильватерной колонной. Вот тогда-то и побежала Киля Охрименко вниз, к конторе МРС.

«Медуза» вывела баркасы из залива на буксире. Там, за песчаной косой, баркасы вскинули паруса и пошли за «Медузой», покачиваясь на белогривых бурунах вспененного моря.

Сейнеры шли с такой быстротой, что расстояние между головным судном флотилии и «Медузой» заметно для глаза сокращалось. Наконец «Медуза» остановилась. Закачались на волнах баркасы, приветливо помахивая парусами. Остановилась и колонна сейнеров.

Встреча мотобота и баркасов с флотилией сейнеров произошла в километре от Косы, поэтому и не было слышно ликующих голосов. Но зато все видели с берега, как на сейнерах, на «Медузе» и на баркасах рыбаки подбрасывали в воздух кепки, фуражки и клеенчатые шляпы. Это была такая торжественная и волнующая минута, что и на берегу замельтешили в воздухе мужские и женские головные уборы и ликующий гул людских голосов поднялся над взморьем.

«Медуза» развернулась и легла обратным курсом. Флотилия сейнеров малым ходом шла ей в кильватер. Баркасы разбились на две группы и, раскачиваясь на перекатных бурунах, сопровождали флотилию почетным эскортом.

Людская волна хлынула с пригорка вниз, когда «Медуза» первой вошла в залив.

— Мотобот в роли лоцмана,— заметил Жуков.

— Выходит, так,— улыбнулся Васильев.

И только сдержанный Кавун молча дергал себя за длинный висячий ус, не отрывая от флотилии сейнеров сияющих радостью глаз.

За «Медузой» вошел в залив головной сейнер «Мариуполь», За ним последовали «Темрюк», «Ахтарск» и «Таганрог». Головной сейнер и «Медуза» пришвартовались к пирсу с разных сторон одновременно. Через несколько минут причалили и остальные сейнеры, стали у пирса на прикол.

Когда Панюхай важно сошел с «Медузы», Дарья помахала ему платком.

— Привет Кузьмичу, отважному адмиралу бронзокосского флота!

Взрыв хохота прокатился по пирсу.

— Сатана языкастая, язви тебя белуга,— огрызнулся Панюхай.— Ты на рангу гляди, слепота куриная, а потом и величай по чину-званью. Я покедова контра-адмирал!— и поспешил на сейнер «Мариуполь», куда уже всходили по трапу Кавун, Васильев и Жуков.

Киля Охрименко, увидев Проньку на палубе «Темрюка», бросилась к нему.

— Ну, как?— нетерпеливо спросил Пронька.

— Радистка!— выпалила Киля.— Вот документ.

— Ах, ты, морячка моя сухопутная! Идем... посмотришь наш сейнер.— В штурвальной он обнял Килю и крепко поцеловал.

С пирса донесся веселый раскатистый смех. Пронька невольно обернулся и смутился... Только теперь он вспомнил, что штурвальная застеклена с трех сторон и с пирса видно все, что в ней происходит.

Инженер-механик доложил Кавуну о благополучном прибытии флотилии.

— Добре, добре,— махнул рукой Кавун.— Ну, як човны, гарни?

— Гарни, Юхим Тарасович. Восьмибалльный шторм на Черном море выдержали. Моторы, что звери, в сто пятьдесят лошадиных сил каждый.

— А хлопцы?

— И хлопцы гарни.

— В триста белужьих сил!— вставил Сашка.

— Да ты за десять акул потягнешь,— засмеялся Кавун, тряся двойным подбородком.— Жинка тоби, чертяке, потрибна.

— Женюсь, Юхим Тарасович.

— Э-э-э...— безнадежно махнул рукой Кавун.

— Клянусь своей неугасимой люлькой,— и он выпустил изо рта такое облако едкого дыма, что Кавун и Васильев отвернулись от него.— Уже и невеста есть.

— Добре. Показуйте нам ваш швыдкий човен... А де ж мий замполит и секретарь райкому?

— Орлов и Жуков сейнер осматривают.

— А Кузьмич? Контр-адмирал флота?

— С ними,— ответил инженер-механик.

— Пишлы и мы...

Начальство интересовало все: и штурвальная, и радиорубка, и трюм, и крановое приспособление для подъятия грузов из воды на палубу, кубрик, камбуз, машинное отделение...

Осмотром сейнера все остались довольны. Жуков сказал:

— Замечательное судно! Это корабль в миниатюре. А что, Григорий,— обернулся Жуков к Васильеву,— нам бы пару таких богатырей-скороходов в тридцатом году, а?

— Тогда мы и мечтать не смели о таком счастье.

— Нет,— не согласился Жуков,— мечтали.

— А выезжали на бабайках и веслах. Хребтина трещала. Штормы турсучили нас.

— Мечтали и верили,— продолжал Жуков.— Верили и надеялись. Вот и сбылись наши мечты. Оправдались надежды.— И еще раз похвалил:— Отличное судно!

Панюхай толкал Орлова кулаками в спину, просил:

— Кажи, зятек, капрон. Кажи...

— Сейчас, отец... Ну, товарищи, порадую и я вас одной вещью. Посмотрите, какой роскошью снабжает государство наших рыбаков,— и он распаковал один тюк.

У Панюхая от изумления глаза разбежались... Он осторожно брал в руки капроновую сеть, дул на нее, с восхищением восклицал:

— Мама двоеродная! Словно из паутины сделана... Будто из воздуха сплетена.

— Нить капрона очень тонкая и очень прочная,— сказал Орлов.— Заметьте себе, что эта нить в два с половиною раза крепче стальной нити.

— Стальной?— сморщил волосатое лицо Панюхай.—Мамочка ты моя двоеродная!

Палуба сейнера наполнилась рыбаками. Всем хотелось посмотреть и подержать в руках капроновую сеть. Кто-то потянул Сашку за руку. Он обернулся и увидел улыбающуюся Анку.

— Ты?.. Здравствуй, Анка! Как здоровье?

— Порядок,— ответила Анка.

— Молодец, красавица.
— Есть и покрасивее меня,— лукаво улыбнулась Анка.— Выйдем из этой толчеи.
Они сошли по трапу на пирс.
— Хочешь, Сашок, я порадую тебя?
— Радуй, моя красавица, радуй,— и Сашка торопливо стал набивать табаком трубку.
К ним подошли Дубов и Тюленев.
— Сашок, показывай нам своего красавца,— обратился к нему Дубов.
— Некогда, друзья. Там, на борту, мой помощник. Идите,— и он подтолкнул их к трапу.— Я занят, занят.
— Смотри, приятель, Орлов заметит,— сказал Тюленев.
— Ладно, ладно,— засмеялась Анка.
Дубов и Теленев поднялись на сейнер.
— Ну? Радуй, Анка.
— Олеся здесь. Олеся Минько.
У Сашки изо рта выпала трубка.
— Шу... шутишь? Откуда ты ее знаешь?
— Ее уже все в хуторе знают. Она третий день гостюет у нас. Рассказывала, как вы познакомились...
— Погоди, Анка... Каким же ветром ее занесло сюда?
— Завтра в Доме культуры трибунал будет судить этого слизняка... Пашку. Вот и вызвали Олесю. Она будет выступать на процессе как свидетельница.
— А где Олеся?— завертел головой Сашка.
— Ну и хорош же ты, Сашок, любимую девушку не видишь. Да вон она... возле конторы МРС с Глафирой Спиридоновной, Таней и Соней Тюленевой стоит. Узрел?
— Узрел!— и Сашка побежал по пирсу.— Леся!.. Да родная же ты моя!.. Лесенька...
Он с разбегу обнял Олесю и при всем народе расцеловал.
— А больше никого не приметил?— с хитринкой посмотрела на него жена Жукова.
— Олеся весь белый свет заслонила перед ним,— улыбнулась Соня.
— Эх ты, Сашок...— укоризненно покачала головой Таня.
— Глафира Спиридоновна!..— спохватился Сашка.— Сонюшка... Татьянка!.. Здравствуйте!..
— Наконец-то и нас разглядел!— засмеялась Глафира Спиридоновна.

XXII

Выездная коллегия военного трибунала рассматривала дело государственного преступника Павла Белгородцева в Доме культуры. Вместительный зрительный зал был переполнен. Бронзокосцы стояли у простенков, в проходах и на улице у открытых окон.

Павла привезли в хутор в крытой машине и ввели в зал Дома культуры под охраной двух конвоиров. Все думали, что судебный процесс затянется надолго, слишком много совершил Павел тяжких злодеяний, но разбирательство дела подсудимого и вынесение трибуналом приговора состоялось в тот же день, второго сентября...

Председатель суда зачитал обвинительное заключение при напряженной тишине всего зала.

Павел стоял с опущенной головой.

— Признаете вы себя виновным в преступлениях, перечисленных в обвинительном заключении?— обратился председатель суда к Павлу.

— Да, признаю... Безоговорочно,— ответил Павел, не подымая головы.

— Тем лучше,— сказал председатель и приступил к опросу свидетелей.

Первой вызвали Анку. Она сказала, что в Павле никогда не умирал кулацкий дух, что в нем не угасала звериная ненависть ко всему советскому, поэтому он с такой собачьей преданностью служил гитлеровцам.

Потом к судейскому столу подошла Таня. Она рассказала, как глумился над ней Павел, как отдал ее на позорное глумление полицаям, а потом отправил на невольничий рынок в Германию, где раздевали людей донага и продавали их в рабство...

Кто-то всхлипнул в зале и тут же послышалось глухое надрывное рыдание. Председатель позвонил. Таня обернулась. Глафира Спиридоновна выводила под руку Соню.

— Это Соня Тюленева,— сказала Таня.— Она была со мной вместе отправлена из Мариуполя в Германию... Там ослепили ее...— Она сжала кулаки и шагнула к барьеру, за которым сидел Павел.— Какое же право имеешь ты, душегуб, наслаждаться нашим солнечным светом?..

— Свидетельница Дубова, садитесь,— обратился к Тане председатель.

Олеся так волновалась, что не могла говорить. Наконец она справилась с волнением и рассказала суду все, что знала.

— Вот и все,— сказала в заключение Олеся, а сама продолжала стоять, и по лицу ее было заметно, что ее тревожит какая-то мысль.

— Свидетельница Минько, вы еще что-нибудь хотите сказать?— спросил председатель.

Олеся презрительно посмотрела в сторону Павла:

— Меня мучает одна мысль... Может быть и так, что мой брат Коля был тяжело ранен... Лежал беспомощным... А он, чтоб завладеть его документами и медалями... прикончил его. Может же и так быть?..

— Может!— потрясла кулаком Акимовна.— Он может!

— Я не убивал его! —огрызнулся Павел.— Клянусь богом, он был мертвым! Я не убивал его!..

Председатель резко зазвонил в колокольчик.

— Тише! Иначе мы будем вынуждены вести заседание при закрытых дверях.

В зале затихли. Были опрошены еще несколько свидетелей. Обвиняемый ничего не отрицал. Прокурор задал один-единственный вопрос:

— Вы поступили на службу к гитлеровцам по своей воле или вас принудили?

— Меня никто не принуждал... Я сам пошел к ним на службу. Гордыня обуяла меня. А теперь... каюсь. Фашисты вселили в мою душу дикого зверя... Будь они прокляты...

— Поздно приносишь покаяние,— не удержалась Дарья.

— Цыц...— строго посмотрела на нее Акимовна.

В своем выступлении прокурор требовал высшей меры наказания. Слишком тяжкими были преступления Павла и в тяжелые годы войны и в послевоенное время.

От защиты Павел отказался. Он понимал, что это бесполезно, что его никто не станет защищать. Ему оставалось только одно: самому просить суд о вынесении смягчающего приговора. И когда Павлу предоставили последнее слово, он сказал, все также стоя с опущенной головой:

— Я прошу вас... сохранить мне жизнь. Она раз дается человеку... Только один раз...

Эти слова его прозвучали так нелепо и мерзко, что по залу прокатился гул возмущения. Анка гневно прошептала:

— Какая сволочь...

— Говорят,— продолжал Павел,— что если подсудимый не отрицает своей вины... раскаивается, то это учитывается... А я и на следствии... и вот в суде... только правду говорил... Попутали меня проклятые фашисты... разум помутили... Грешен я пе-

ред Родиной... и перед своим народом... Грешен... Прошу прощения... Прошу сохранить мне жизнь.

Суд удалился на совещание. В зале оживленно разговаривали. Взгляды бронзокосцев были устремлены к барьеру, за которым сидел осунувшийся и мертвенно бледный Павел. Наконец он решился посмотреть в зал и сразу поник головой. Лица хуторян были суровыми и гневными. Ни одного сочувствующего взгляда... Анка и Олеся сидели на скамейке рядом и о чем-то тихо разговаривали. Они ни разу не взглянули на Павла.

Орлова и Васильева не было в зале, они уехали в район к Жукову. Не пришли послушать судебный процесс Дубов, Тюленев, Кавун и дед Панюхай.

— На эту фашистскую падаль смотреть тошно,— с пренебрежением сказал Дубов.

— И то вирно,— согласился Кавун.

— Да,— покачал головой Тюленев,— мразь отъявленная.

— На мою Анку повторно руку поднял,— возмущался Панюхай.— Пущай его, бандюгу, трибунал решает. А я лучше пойду с Фиёном сетки чинить...

Шум в зале то усиливался, то затихал. Павел зябко поежился: он услышал, как Дарья сказала:

— Дали бы эту собаку бешеную на расправу народу и законно было бы...

— Не дури, баба,— оборвала ее Акимовна.

— И расправились бы,—загорячилась Таня.

— Остынь,— осадила ее Акимовна.— Суд без нас разберется и порешит это дело.

На сцену вышел комендант трибунала и объявил:

— Встать! Суд идет!..

Приговор читали долго. В нем снова повторялось все, что было сказано в обвинительном заключении. Павел слушал равнодушно. Но когда сурово и четко прозвучали последние слова приговора:

— «...к высшей мере наказания — расстрелу»,— Павел вздрогнул, мертвой хваткой вцепился побелевшими пальцами в барьер.

В зале загремели бурные аплодисменты. Этим бронзокосцы выразили свое горячее одобрение справедливо вынесенному трибуналом приговору.

— Не имеете права!— вскричал Павел, дико сверкая глазами.— Второй раз не расстреливают!..

Суд ушел, а он, расшатывая барьер, продолжал бесноваться:

— Меня уже расстреливали тут, на хуторе! И нет такого закона, чтоб повторно казнить человека!

— Гадина ты, а не человек! — разгневалась Акимовна.— Иди к своему иуде — Бирюку, он давно ждет тебя на свалке! Чего беснуешься?

— Заткните ему глотку кляпом!

— Вырвать поганый язык у этой собаки!

— Суд оскорбляет!..

В зале загремели скамейки. Бронзокосцы поднялись грозной волной, вот-вот готовой ринуться к барьеру.

— Следуйте за мной, иначе вас растерзают,— сказал комендант.— Шагайте. Ну?

У Павла задрожал подбородок, округлились глаза. Он вобрал голову в плечи и шатко заковылял ослабевшими ногами. За ним последовали конвоиры.

В зале сразу наступила тишина. Люди, молча переглядываясь, медленно расходились. Последней вышла Акимовна. Она посмотрела на голубое небо, на синее море, облегченно вздохнула и сказала:

— Ну вот, люди добрые. Еще одной мразью меньше стало на белом свете...

XXIII

Олеся и Сашка сидели на берегу. Ночь была тихая, безлунная. Звезды горели ярко, но они не могли осилить густой темноты, скрывавшей море. Сашка и Олеся только чувствовали его влажное, с солоноватым привкусом и йодистым запахом ровное дыхание да слышали, как оно сонно ворочалось в темноте, накатывая на песчаный берег мягкую бархатную волну, с шелестом рассыпавшуюся у их ног.

— Нет, ты не поедешь,— решительно сказал Сашка, выбивая об носок ботинка искрящуюся золу из трубки.

— Как можно, Сашенька... Ведь я же на службе.

— Значит, я ждал этой встречи только для того, чтобы нам снова расстаться? Не выйдет. Ведь кто-то сейчас заменяет тебя на «Буревестнике»? Ну и пускай работает. А тебе и у нас такое же дело найдется. На моем сейнере первоклассная радиорубка.

— Но ведь надо оформить увольнение,— убеждала его Олеся.

Сашка был непоколебим:

— Завтра же радируй капитану «Буревестника» заявление, и он уволит тебя.

— Хорошо. А вещи я должна взять?

— Какие вещи?

— Два пальто — зимнее и демисезонное. Плащ. Платья. Белье. Постель. Обувь...

— У меня, Леся, хватит денежных сбережений, чтобы приобрести все эти вещи.

— Зачем понапрасну тратиться?

— Ладно. Встретимся в море с «Буревестником» и заберем твои вещи. Считаю вопрос наполовину исчерпанным,— и Сашка поднялся.— Идем, Леся, тебе отдыхать надо.

Олеся квартировала у Анки. Еще в первый день приезда на Косу, когда Олеся явилась в сельсовет и сказала председательнице о цели своего приезда, поведала ей о том, как познакомилась с бронзокосскими рыбаками в Южнобугске, Анка сразу же предложила девушке остановиться у нее. За короткий срок Олеся и Анка успели завязать крепкий узелок дружбы.

— Как хорошо здесь...— мечтательно проговорила Олеся.

— Пора отдыхать,— напомнил Сашка.

— Идем, идем. Дай мне руку...

Они поднялись по тропинке и вошли в хутор, не промолвив ни слова. Возле Анкиной хаты Олеся и Сашка остановились. В окнах горницы еще был виден свет. Значит, Анка не спала.

— Пойду,— сказала Олеся.— Хозяйка ждет меня.

Олеся спала с Анкой, а Орлов временно переселился к Панюхаю в прихожую, расположившись на диване, на котором до отъезда в город спала Валя.

— Спокойной ночи, родная,— Сашка поцеловал Олесю.

— Погоди, Сашенька,— задержала его Олеся.— А почему ты сказал там, на берегу, что вопрос исчерпан наполовину?

— Потому, что полностью он будет исчерпан завтра, когда мы в ЗАГСе оформим наш брак. Не возражаешь?

— И ты еще спрашиваешь...— она провела ладонями по его щекам и припала лицом к его широкой груди.— Морячок ты мой милый... Родной ты мой, Сашенька...

Орлов слышал, как Олеся вошла в хату, разделась и легла к Анке в постель. Затем из соседней комнаты послышался горячий приглушенный шепот.

— Вы о чем шепчетесь, девушки?— окликнул их Орлов.

— Готовься быть посаженым отцом,— ответила Анка.— Сашок женится.

— Я готов. А на ком он женится?
— А вот... на Олесе.
— Что ж, они под стать друг другу,— одобрил Орлов.— Мы, Аня, будем им посажеными родителями.
— Не возражаю,— сказала Анка.
— Значит, ты будешь моей мамкой? Да, Аннушка?
— Да, Олеся, да!— и обе рассмеялись.
— А я — батей, — отозвался из прихожей Орлов.
Панюхай забормотал спросонья, и разговоры наконец прекратились.
На другой день Сашок и Олеся пришли в сельсовет рано утром. Таня заполнила бланк «Свидетельство о браке», Анка подписала его, поставила печать и, вручая этот документ Олесе, трижды поцеловала ее.
— Желаю семейного счастья, Олеся. И тебе, Сашок...
Поздравили молодоженов с законным браком Орлов и Таня. Олеся прослезилась от радости.
Сашка сказал:
— Пускай теперь капитан «Буревестника» посмеет не уволить тебя, гражданка... Сазонова,— и многозначительно повторил раздельно по слогам:— Са-зо-но-ва! Звучит, а?..
— Звучит, Сашок, звучит,— сказал Орлов.— Идем, нас Кавун ждет. Сегодня мы выходим в далекий рейс.
— Пошли.— У двери Сашка остановился.— Леся, не задерживайся. Примешь у моего помощника имущество радиорубки.
— Хорошо, Сашенька, все будет в порядке.
Сашка подмигнул Олесе:
— Хоть ты и жена мне на данном этапе, но... капитан сейнера любит только...
— ...морской порядок,— досказала Анка и вытолкнула Сашку за дверь.— Иди, иди. Яша ждет тебя.

Флотилия сейнеров готовилась к отплытию в далекий рейс на экспедиционный лов. На суда уже были погружены продукты, капроновые сети, баки залиты пресной водой. Олеся и Киля на правах хозяек расположились в радиорубках. В экспедицию к анапским берегам отправлялись Орлов и механик Тюленев.
На производственном совещании Виталий Дубов сказал, что заведовать мастерскими МРС дело инженера, а механик Тюленев очень пригодится флотилии на экспедиционном лове. Предложение секретаря парторганизации было одобрено всеми.

— Я тоже пойду с флотилией,— высказал свое желание Орлов.— На берегу мне делать нечего.

— Правильно, замполит,— одобрил Дубов.— Вот и будет наша экспедиция обеспечена партийным руководством.

— А рыбу где будем сдавать, в Керчи или в Анапе?— спросил Сашка.

— Улов у вас будет принимать рефрижератор прямо в море. Сейчас у анапских берегов ходят косяки ставриды. Только не зевайте, добычу возьмете богатую.

— Зевать не в нашей натуре,— заметил Пронька, толкнув Сашку.— Не так ли, Сашок?

— Точно, дружок.

— А я со старой гвардией здесь буду промышлять рыбу,— сказал Дубов.— Сейчас пойдем к дальним буграм выставлять невода.

— И мне, что ли, отправиться с вами?— вызвался Васильев.

— Нет, председатель,— запротестовал Дубов,— вам с Юхимом Тарасовичем на берегу до́лжно быть. Нельзя же МРС и колхоз оставлять без руководства.

— А ким руководить?— поднял плечи Кавун.— Вси в море сплывают.

— А вы этак-то...— посоветовал Панюхай,— друг другом и руководите...

Все засмеялись. Дарья подмигнула Панюхаю:

— С подколочкой, Кузьмич? А говоришь, что я на язык остра.

— Решено,— сказал Васильев.— Пойдешь в море ты, Дарья.

— Упаси бог!— взмолился Панюхай.— Она, Афанасыч, изведет меня, злодейка.

— Что испугался, адмирал?— лукаво ухмыльнулась Дарья.

— До этой ранги я еще не возвысился, мама двоеродная. Полный адмирал у нас парторг, он поведет баркасы к буграм. А я покеда еще контра-адмирал.

— Все чины-званья расхватали,— в шутку обиделась Дарья.

— И тебе остался чин.

— Каким же чином ты меня возвеличишь, Кузьмич?— прищурила глаза Дарья.

— Цице-адмиральшей.

— Вице...— поправил Орлов тестя.

— Один хрен, зятек, что вице, что цице...

Дарья так заразительно захохотала, что никто не смог удержаться от смеха. Смеялся и Панюхай, поглаживая реденькую бородку.

Зазвонил телефон. Кавун послушал, кивнул головой, повесил на вилку трубку и сказал:

— Товарища Жукова вызвали в обком, на проводы приихаты не может. Вин желае експедиции счастливого плавания.

— Что ж, товарищи,— поднялся Орлов,— пора и отчаливать.

— В добрый час!— напутствовал Васильев.

— И нам пора,— заторопился Дубов.— Кузьмич, там на баркасах все в порядке?

— Порядок, Виташа. Фиён за всем досматривает.

Дарья взяла Панюхая под руку:

— Пошли, Кузьмич. Видно, связал нас бог одной веревочкой.

— Хай тебе грец,— дернулся Панюхай.— Вот прискипалась.

— Дарьюшка, ты не обижай Кузьмича,— сказал Васильев.— Ведь он тебя в адмиральши произвел.

— Мы с ним в дружбе,— засмеялась Дарья.— Правда, Кузьмич?

— Отчепись, хохотушка.

— Нет, я верна нашей дружбе. Тонуть буду, не отчеплюсь.

— И за какое прегрешенье мне такое наказанье вышло?— покачал головой Панюхай.— Ладно уж... Идем, чертовка языкастая.

— Добре, Кузьмич, добре,— засмеялся Кавун.

На склоне покатого берега и на пирсе было многолюдно. Соня что-то говорила Тюленеву, и тот утвердительно кивал головой. Анка попрощалась с Орловым, подтолкнула его к трапу.

— Ни пуха ни пера!

Олеся стояла на палубе сейнера рядом с Сашкой, счастливая и сияющая. На «Темрюке» показалась Киля и кому-то помахала рукой. Пронька взбежал на бак, подал команду:

— Отдать концы! Убрать трап!

Анка подошла к Соне и Тюленеву:

— Прощайтесь. Сейчас уберут трап.

Тюленев неуклюже поцеловал Соню, схватил протянутую Орловым руку и мигом очутился на борту «Мариуполя».

Заволновались женщины и ребятишки.

— Василечек! — крикнула Соня.— Ты не влюбись там в какую-нибудь черноморочку.

— За нашими мужьями Олеся присмотрит,— сказала Анка.

— Присмотрю!— улыбнулась Олеся.

В последнюю минуту прибежала с узелком Таня и взбежала по трапу на «Медузу».

— А ты куда?— удивился Дубов.

— С вами. Анка отпустила меня.

— Пускай проветрится,— махнула носовым платком Анка.— Пригодятся ее молодые руки.

— Ладно, Танюша,— согласился Дубов.

Среди провожавших не было только Акимовны. Она переволновалась на судебном процессе и слегла в постель. У старухи, потерявшей мужа и сына, пережившей ужасы фашистской оккупации, стали сдавать нервы, и она занемогла...

«Медуза» отвалила от пирса, взяла на буксир баркасы и повела их из залива. Дарья и Панюхай, опершись на бортовые поручни, стояли рядом и о чем-то мирно беседовали.

Начали отваливать от причала один за другим сейнеры. Кавун и Васильев зачарованно смотрели на новенькие быстроходные суда. К ним подошел инженер.

— Еще бы парочку таких скороходов, — сказал Васильев.

— Будущей весной получим столько же, — заверил инженер.

— Сильнó! — воскликнул Кавун, глядя на вспененную гребными винтами сейнеров воду.— Сильнó!— повторил он с восхищением.

— Богатеем, — сказал Васильев, приглаживая пальцами бурые с проседью усы. — Входим в силу, Юхим Тарасович. Война здорово общипала нас, а мы снова оперяемся, — и крикнул Орлову: — В добрый час, товарищи!

Флотилия сейнеров догнала тянувшую за собой баркасы «Медузу» за косой. Они прошли несколько кабельтовых рядом, потом разошлись в разные стороны. «Медуза» повернула влево, к буграм, а сейнеры — вправо, на юг, к Керченскому проливу.

Женщины и ребятишки схлынули с пирса. Теперь все стояли скученно на взлобке высокого берега, молчаливые и притихшие. Анка и Соня не переставали махать платками вслед быстроходным судам...

— Вот, Аня, теперь и я буду тосковать, выходить на берег и высматривать своего Василечка... — с грустью проговорила Соня, задумчиво глядя на море.

— Привыкнешь — улыбнулась ей Анка.

«Медуза» и баркасы еще были видны с берега, но взоры бронзокосцев были устремлены туда, где красавцы сейнеры уходили все дальше и дальше в голубые морские просторы...

пос. Седово Новоазовского р-на.

СЛОВАРЬ МЕСТНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

Брасовать — изменять положение паруса.
Брюлять — опускать парус.
Балбера (шмат) — поплавки на сетях.
Бузлуки — подковы с двумя шипами, которые тормозят скольжение по льду.
Бабайки — весла.
Бубырь — мелкая речная рыбешка.
Винцарада — брезентовый плащ.
Вешалы — реи, на которых просушивают сети.
Грега — восточный ветер.
Гиты — веревки, которыми подвязывают на рее убранный парус.
Дюбать — клевать.
Ерик — овраг, поросший кустарником.
Жигало — железный прут с заостренным концом.
Зюйд — южный ветер.
Застить — заслонять свет.
Крыга — льдина.
Кочеты — уключины.
Кумань — ловля рыбы на паях (отсюда: сухопайщик — не имеющий ни сетеснастей, ни баркаса).
Казан — ведро.
Кливер — треугольный (малый) парус, подымаемый впереди мачты.
Кушак — матерчато-резиновый широкий пояс.
Ляскать — болтать попусту, говорить лишнее.
Луска — рыбья чешуя.
Латрыга — беспечный.
Меделян — лоботряс.
Машинба — брезентовая надставка поверх бортов баркаса.
Микра — крошка, малютка.
Ополонь — большая проталина на льду.
Перетяги — две соединенные сети зимой и четыре — десять летом.
Подчалок — небольшая лодка.
Прискипаться — приставать, придираться.
Пожилина — пеньковая крученая веревка.
Полати — чердак.

Румпелек	— ручка руля.
Расхряпать	— разбить, разнести в щепки.
Рассыпаться	— рожать.
Роба	— одежда.
Сула	— судак.
Сухопайщик	— батрак.
Слеги	— поперечные реи на вешалах для развешивания мокрых сетей.
Сорочо́к	— крученый шнур, идущий на сетеснасти.
Сапетка	— плетеная из лозы корзина.
Сиделка	— поперечный мостик на баркасе для сиденья.
Сыпать сети	— ставить их в море на якорные буи.
Сипатый	— мокроносый.
Сарты	— тросы, поддерживающие мачту.
Тримунтан	— северный ветер.
Трусить сети	— выбирать из них рыбу.
Тузлук	— крепкий раствор соли (рассол), в котором несколько дней держат рыбу перед вялением и копчением.
Турсучить	— трясти.
Упыхаться	— умориться, обессилеть.
Хамлет	— хам.
Чебак	— лещ.
Чердак	— верхняя носовая часть баркаса.
Шип	— осетр.
Шукать	— искать.
Шорба	— уха.
Шабай	— презрительная кличка.

СОДЕРЖАНИЕ

Р2 / Д95 — 7–3–2 / 1972

Василий Власович Дюбин

АНКА

Трилогия

Редактор *А. Лисовицкая*. Художественный редактор *Н. Тарасенко*. Технический редактор *Г. Андреева*. Корректоры *В. Ларионова*, *Ю. Цуркан*.

Подписано в печать с матриц 30/XI-1971 г. Формат издания 60×84[1]/16. Бумага тип. № 1. Печатных листов 39,06. Уч.-изд. листов 38,3. Тираж 100 000 (2-й завод 50001—100000). Цена 1 руб. 37 коп. Заказ. № 1381.

Издательство «Картя Молдовеняскэ», Кишинев, ул. Жуковского, 44.

Кишиневская типография № 2 Полиграфпрома Госкомитета Совета Министров Молдавской ССР по печати.

7

197

503

— 3—2

1972

ческий

Бумага
завод

Минист-

1 руб. 37 коп.

«КАРТЯ МОЛДОВЕНЯСКЭ» * 1972

